

HISTORIA ROSSICA

МАЛЬТЕ
РОЛЬФ

ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ ПЕТЕРБУРГА

ОТ ВЕНСКОГО
КОНГРЕССА
ДО ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ



ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Annotation

В 1815 году Венский конгресс на ближайшее столетие решил судьбу земель бывшей Речи Посполитой. Значительная их часть вошла в состав России – сначала как Царство Польское, наделенное конституцией и самоуправлением, затем – как Привислинский край, лишенный всякой автономии. Дважды эти земли сотрясали большие восстания, а потом и революция 1905 года. Из полигона для испытания либеральных реформ они превратились в источник постоянной обеспокоенности Петербурга, объект подчинения и русификации. Автор показывает, как российская бюрократия и жители Царства Польского одновременно конфликтовали и находили зоны мирного взаимодействия, что особенно ярко проявилось в модернизации городской среды; как столкновение с «польским вопросом» изменило отношение имперского ядра к остальным периферийным районам и как образ «мятежных поляков» сказался на формировании национальной идентичности русских; как польские губернии даже после попытки их русификации так и остались для Петербурга «чужим краем», не подлежащим полному культурному преобразованию. Мальте Рольф – профессор Ольденбургского университета имени Карла фон Осецкого (Германия), специалист в области истории Центральной и Восточной Европы.

-
- [Мальте Рольф](#)
 -
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ](#)
 - [СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В СВЯЗИ С РУССКИМ ИЗДАНИЕМ](#)
 - [СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ](#)
 - [Глава I](#)
 - [ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ И ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЛАСТЬ](#)
 - [КОНТЕКСТЫ: _____ ТЕРМИНЫ, _____ КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ДИСКУССИИ](#)¹⁴
 - [Глава II](#)
 -

- РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ, ГЕРЦОГСТВО ВАРШАВСКОЕ И ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1772–1815)
- ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ МЕЖДУ ВЕНСКИМ КОНГРЕССОМ И НОЯБРЬСКИМ ВОССТАНИЕМ (1815–1831)
- ЧИНОВНИКИ, ЦЕНЗОРЫ И ЖАНДАРМЫ: ЭПОХА ПАСКЕВИЧА (1831–1855)
- СМУТНОЕ ВРЕМЯ: РЕФОРМЫ И ПУТЬ К ЯНВАРСКОМУ ВОССТАНИЮ (1856–1863)
- Глава III
 - ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ: РЕЖИМ ПОСЛЕ ЯНВАРСКОГО ВОССТАНИЯ (1863–1915)
 - Русификация, деполонизация или внутреннее государственное строительство? О горизонте действия имперских властей
 - Система управления Привислинским краем после подавления Январского восстания
 - ИМПЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И «ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР»: НАМЕСТНИКИ И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ 1864–1915 ГОДОВ
 - Федор Федорович Берг и Павел Евстафьевич Коцебу
 - Петр Павлович Альбединский
 - Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко
 - Павел Андреевич Шувалов и Александр Константинович Имеретинский
 - Михаил Иванович Чертков и Георгий Антонович Скалон
 - Десять посланников царя: коллективный портрет варшавских генерал-губернаторов
 - СЛУЖБА В ЧУЖОЙ СТРАНЕ: ИМПЕРСКИЕ ЧИНОВНИКИ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ
 - ГРАНИЦЫ, ШЛАГБАУМЫ И НЕПОДВЛАСТНЫЕ ИМ ИДЕИ: ЦАРСКАЯ ЦЕНЗУРА И ПОЛЬСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА

-
- Царская цензура в Царстве Польском: законы и институты, конфликты и ментальности
- Польская альтернативная публичная сфера? Подпольная деятельность и трансграничная коммуникация
- Цензура и русская публичная сфера в Варшаве
- «В БОРЬБЕ С ЛАТИНСТВОМ»: ПОЛИТИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ И КОНФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ
-
- Нация и религия в эпоху конфессиональной парадигмы
- О школьных молитвах и изображениях Богоматери: камни преткновения религиозной политики в мультиконфессиональной империи
- Глава IV
 - ЦАРСКАЯ БЮРОКРАТИЯ И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВАРШАВА В 1880–1915 ГОДАХ
 -
 - Варшава около 1900 года: гибель оккупированного города или рождение европейского мегаполиса?
 - «Двоевластие» в Варшаве: президент города, обер-полицмейстер и муниципальная администрация
 - Генерал-губернаторы и петербургские министры: Варшава как имперский город. Взгляд из столицы на локальный контекст
 - МОДЕРНОСТЬ КАК ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ: О ПРЕОБРАЖЕНИИ ВАРШАВЫ И О ЗОНАХ КОНТАКТА В КОНФЛИКТНОМ СООБЩЕСТВЕ
 - Позитивисты и филантропы: варшавское общество и имперская бюрократия в процессе городской модернизации
 - Домовладельцы и спекулянты, концессии и коррупция: модернизация как бизнес

- Технократические представления о городе будущего: инженеры и модернизация города
 - Имперское владычество и городская модернизация. Выводы
- Глава V
 - «РУССКАЯ ВАРШАВА»: ИМПЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДЕ НА ВИСЛЕ
 -
 - Благотворительное общество, мужской клуб и книжный магазин: точки формирования русской общности в Варшаве
 - «Золотые годы»: русская община в конце XIX века
 - Культурные контакты и этническая самоизоляция: повседневная жизнь русских в многонациональном мегаполисе
 - Образы города, пространственные структуры и культурные иерархии: о топографии русской Варшавы
 - «Национализация» образования? Императорский университет в Варшаве и политизация профессуры
- Глава VI
 - РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 ГОДОВ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ
 -
 - 1904–1906: долгая революция в Царстве Польском
 - «Восстановление порядка»: декабрь 1905-го – 1907 год
 - Изменения в иерархии страхов и уроки 1905 года: как мышление царских чиновников поменялось после революции
 - ДЛИННАЯ ТЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА. 1907–1914 ГОДЫ
 - Обычная жизнь при чрезвычайном положении: 1906–1909 годы
 - Нормализация? Социальная жизнь и политическая публичная сфера в период парламентаризма

- и свободы прессы. Варшава в 1909–1914 годах
 - [Между молотом и наковальней: польско-еврейский конфликт и антиеврейский бойкот 1912 года](#)
 - [Чужой край? Царство Польское накануне Первой мировой войны](#)
- [Глава VII](#)
 - [ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ ПОД ВЛАСТЬЮ ПЕТЕРБУРГА](#)
 - [ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ: ЦАРСТВО В ИМПЕРИИ](#)
 - [«Местные особенности» приграничного района: Царство Польское как особая провинция империи](#)
 - [Провинциализация центра? К вопросу о месте и роли польских земель в Российской империи](#)
- [АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ, СОКРАЩЕНИЯ](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ851](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)

- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)

- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)

- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)

- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)

- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)

- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)

- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)

- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)

- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)

- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)

- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)

- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)

- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)

- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)

- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)
- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)

- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)

- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)
- [690](#)
- [691](#)
- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)
- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)
- [699](#)
- [700](#)
- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)
- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)

- [724](#)
- [725](#)
- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)
- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)
- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)
- [760](#)

- [761](#)
- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)
- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)
- [774](#)
- [775](#)
- [776](#)
- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)

- [798](#)
- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)
- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)
- [812](#)
- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)
- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)
- [834](#)

- [835](#)
 - [836](#)
 - [837](#)
 - [838](#)
 - [839](#)
 - [840](#)
 - [841](#)
 - [842](#)
 - [843](#)
 - [844](#)
 - [845](#)
 - [846](#)
 - [847](#)
 - [848](#)
 - [849](#)
 - [850](#)
 - [851](#)
-

Мальте Рольф
Польские земли под властью
Петербурга: от Венского конгресса до
Первой мировой

Памяти моего отца Ханса Рольфа

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

На Английской набережной дул ледяной ветер и стояла кромешная тьма; было раннее утро, но люди, пришедшие за два часа до открытия, уже записывались в очередь в читальный зал Российского государственного исторического архива. В связи с предстоящим переездом РГИА должен был вот-вот закрыться на неопределенный срок, и в старом здании Сената в эти мартовские дни 2005 года царила суматоха, то и дело напоминавшая мне очерки Джона Рида о Смольном во время Октябрьской революции: словно в улье, где неустанно и на пределе сил трудится огромное количество пчел, хаотичное движение и гудение заполняли пространство между колоннами исторического здания, до 1917 года слышавшего только исполненную достоинства поступь престарелых сенаторов. Именно здесь выступали со своими речами некоторые из главных героев моей монографии, до выхода которой оставалось, когда я сюда пришел, еще десять лет; отсюда они пытались повлиять на судьбу империи и ее западной периферии. Теперь, в 2005 году, каждое утро по импозантной лестнице, созданной Карло ди Росси, топали тяжелые ботинки историков – тех, что мчались наперегонки к последним еще работавшим аппаратам для чтения микрофильмов и своим видом напоминали мне идущие на штурм здания революционные народные массы. В этой невероятно увлекательной обстановке, где исторические слои и образы разных времен накладывались друг на друга, где в плохо освещенном читальном зале прошлое царской эпохи все еще воспринималось как настоящее, я начал архивные изыскания для своей книги. Это было особое, захватывающее очарование первого часа, которое затем сопровождало меня в течение десяти лет и давало силы продолжать проект до конца.

Начавшееся тогда долгое путешествие привело меня во множество других архивов, и по ходу его возникло несколько публикаций, но все же только сейчас, с появлением этого, дополненного русского издания книги, путь для меня завершается. Ведь у авантюрных истоков моего исследовательского проекта лежала идея рассказать «всю»

историю Царства Польского под властью России с 1815 по 1915 год, и лишь позже, учитывая сложность того режима господства, который сформировался после Январского восстания (1863–1864), я решил сосредоточиться на второй половине этого столетия. Поэтому я с такой радостью принял предложение Алексея Миллера и российского издательства «Новое литературное обозрение» («НЛО») включить в книгу и разделы о более ранних этапах российского господства на территории прежней Польско-Литовской шляхетской республики: это дало мне возможность представить гораздо более полную картину истории разделенной Польши под управлением Петербурга, и только благодаря этому работа наконец может считаться выполненной.

Таким образом, перед вами нечто гораздо большее, чем простой перевод. Это полностью переработанная книга, содержащая дополнения и совершенно новые акценты, выходящие далеко за рамки предыдущих монографий. Однако, поскольку главы о периоде после 1864 года здесь пришлось в чем-то сократить, мне кажется уместным все же указать и на исходную публикацию – «*Imperiale Herrschaft im Weichselland*», где более пространно цитируется немецко- и англоязычная исследовательская литература, а в приложении даны подробные указатели имен и опубликованных источников. Эти справочные материалы, равно как и всеобъемлющая, дополненная и обновленная библиография, доступны также в Интернете по адресу: <https://uol.de/geschichte/geschichte-europas-der-neuzeit-mit-schwerpunkt-osteuropa/forschungsschwerpunkte/imperiale-herrschaft-im-weichselland/imperiale-herrschaft-im-koenigreich-polen-materialien/> (короткая ссылка: <https://bit.ly/2RX90ZA>).

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ В СВЯЗИ С РУССКИМ ИЗДАНИЕМ

Между 2005 и 2018 годами прошло немалое время, за которое этот исследовательский проект во многом стал более зрелым. Без поддержки множества людей никогда не была бы написана и первая монография –

«Imperiale Herrschaft im Weichselland», – и свою глубокую благодарность им всем я выразил в немецком издании 2015 года¹. А за публикацию значительно расширенной версии моей книги на русском языке я благодарю прежде всего профессора Алексея Миллера. Он выступил инициатором ее переработки, за осуществлением которой критически наблюдал; он дал мне важные импульсы и позволил сделать совершенно новые акценты. Без него эта книга в такой дополненной форме никогда не была бы реализована, за что я в долгу перед моим уважаемым коллегой и приношу ему свою огромную благодарность.

Но и другие люди потрудились для того, чтобы путь к выходу этой книги не был тернистым и мог быть преодолен так удивительно быстро. Особую благодарность я выражаю фонду ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, который щедро финансировал перевод. Главным куратором этого процесса выступал доктор Фабиан Тунеман; он сыграл важную роль и в параллельном исследовательском проекте «Имперские биографии», из которого я много почерпнул для этой монографии. Профессор Тим Бухен, профессор Брэдли Д. Вудворт, профессор Йорг Ганценмюллер, профессор Михаил Долбилов, профессор Уиллард Сандерленд, доктор Денис Сдвижков, профессор Дарюс Сталюнас, доктор Бенедикт Тондера, профессор Теодор Р. Уикс, профессор Фейт Хиллис, профессор Майкл Ходарковский и Филипп Шедль тоже дали мне важные импульсы в деле переработки и дополнения монографии. Я хотел бы поблагодарить и моих бывших коллег по Бамбергскому университету – за то, что они обеспечили мне среди академических будней необходимую для написания монографии свободу. В особенности Йоханна Грассер оказала мне огромную организационную поддержку: благодаря ее энергичным усилиям моя преподавательская работа в Бамберге была организована так удачно, что я смог параллельно писать эту книгу. Во время поездок

в московские архивы я всегда мог рассчитывать на теплый прием и поддержку моего друга Ивана Успенского. Всех коллег, перечисленных выше, я искренне благодарю.

Я очень благодарен переводчику Кириллу Левинсону. Его невероятно внимательное чтение позволило отследить последние нечеткие места рукописи. Его выдающаяся переводческая работа, понятийная точность и чутье к течению речи достойны восхищения. За целеустремленность и неизменно приятное сотрудничество хочу сказать спасибо издательству «НЛО» и его сотрудникам. Все они внесли свой вклад в подготовку издания на русском языке.

Не только немецкое издание, но и русское было бы невозможно без поддержки со стороны моей семьи. Я безгранично благодарен Йолите, Йонасу и Лее, а также моим родителям, Хансу и Герти. Они – источник моей жизни, моего творчества, моей радости.

Мне очень грустно, что моему отцу, доктору Хансу Рольфу, не суждено было дожить до выхода этой книги. Он был моим неизменным спутником, опорой и другом на протяжении всех лет нашего совместного пребывания в этом мире. Не только в личной жизни, но и в науке я всегда мог рассчитывать на его советы, его конструктивную критику и внимание к стилю и орфографии. Он прочитал и прокомментировал почти все мои научные публикации еще до их выхода, включая немецкую рукопись, лежащую в основе этой книги. Он сделал так много для того, чтобы язык моих текстов стал лучше, а аргументация – четче и острее. Вместе с матерью он сопровождал меня в моих исследовательских поездках в Москву, Вильнюс, Воронеж и Новосибирск, принимая живое участие в моих научных трудах, которые проходили иногда в нелегких условиях. Мои родители присутствовали и при рождении этого проекта, бродя с поднятыми воротниками пальто по московским сугробам зимой 2005 года. А созданный ими дом в Гёдесторфе – сказочное место для созерцания и вдохновения, благодаря которому обрели жизнь и форму все мои работы. Как часто именно шум ветра в деревьях, посаженных ими, наводил меня на новые мысли, подсказывал новые углы зрения на то, о чем я писал!

Мой отец умер в июне 2018 года. Эта книга посвящается его памяти.

Бремен, 31 октября – 1 ноября 2018 года

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

(предисловие к немецкому изданию 2015 года)

Эта книга не могла бы возникнуть без поддержки многочисленных коллег, друзей и родственников. Всем им я искренне благодарен.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Йорга Баберовского за внимание и содействие, которые он оказывал моему проекту на протяжении многих лет. Его дружеская поддержка придавала мне силы на долгом пути к завершению книги.

В ходе многочисленных обсуждений я получал комментарии, замечания и предложения по теме моих исследований. Вопросы и критические соображения, высказанные участниками дискуссий, весьма способствовали прогрессу моей работы и позволили ей стать такой, какой она в итоге получилась. Я хотел бы сказать спасибо прежде всего Дитриху Байрау, Яну Берендсу, Роберту Блобауму, Тиму Бухену, Кате Владимиров, Рикарде Вульпиус, Мирьям Галлей, Йоргу Ганценмюллеру, Клаусу Гестве, Кристофу Гумбу, Михаилу Долбилову, Агнешке Заблоцкой-Кос, Андреасу Каппелеру, Томашу Кизвальтеру, Роберту Киндлеру, Ханне Козиньской-Витт, Мартину Кольраушу, Клаудии Крафт, Яну Кусберу, Александру Мартину, Алексею Миллеру, Игорю Нарскому, Яну Пламперу, Роберту Пшигродзкому, Корнелии Рау, Габору Риттершпорну, Дарюсу Сталюнасу, Марку Стейнбергу, Теодору Уиксу, Давиду Феесту, Йорну Хаппелю, Лукашу Химяку, Ульрике фон Хиршхаузен, Майклу Ходарковскому, Бенъямину Шенку, Феликсу Шнелю, Вальтеру Шперлингу и Лоре Энгельштейн.

Важные рекомендации по окончательной доработке диссертационного исследования для превращения его в книгу дали мне рецензенты, представившие отзывы на диссертацию, а также редакторы серии «Системы порядка». Я очень благодарен Йоргу Баберовскому, Ханнесу Грандиту, Николаусу Катцеру и Ансельму Дёрингу-Мантойффелю за тщательное и критичное прочтение моей рукописи.

Благодарю я также тех многочисленных людей, которые оказывали мне содействие во время моих исследовательских поездок в Варшаву, Вильнюс, Петербург и Москву, особенно моего друга Ивана

Успенского, уже не впервые помогавшего мне. Хочу далее поблагодарить Немецкое исследовательское сообщество, без финансовой поддержки со стороны которого мне не удалось бы осуществить эти поездки в архивы, а также Фонд Фрица Тиссена и Фонд «Фольксваген», которые финансировали две конференции, проведенные в рамках моей работы по теме исследования.

Корнелия Райхельт, Ханс Рольф, Йоханна Грассер, Доротея Хюльс и Филипп Шедль взяли на себя труд вычитать рукопись и – порой в условиях острого дефицита времени – с замечательным вниманием и терпением проверили текст, насчитывавший первоначально более восьмисот страниц, а также верстку немецкого издания книги на предмет ошибок в изложении мыслей и в правописании.

Но самую важную и прекрасную поддержку в те годы, пока проводил исследование и писал свою работу, я получил от своей семьи. Йолита, Йонас и Лея – мое самое большое счастье. Они дают мне силы, чтобы работать, и смех, чтобы подниматься над жизнью. Я бесконечно благодарен им за их терпение и за радость, которую они приносят мне каждый день.

Моя особая благодарность – моим родителям, Герти и Хансу. Их сердечность, их щедрая и неустанная помощь, их заразительная жизнерадостность и их необыкновенные взгляды на все стороны жизни создавали атмосферу, в которой работа над рукописью шла легко; иногда она вообще только благодаря ей и шла: значительную часть этого исследования я написал, укрывшись от суеты будней в их деревенском доме. С чувством большого счастья и глубокой благодарности я вспоминаю о том, как много они сделали для меня, моей жизни и моего творчества. Им посвящается эта книга.

Бремен, 31 октября – 1 ноября 2014 года

Глава I

ВВЕДЕНИЕ

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ И ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЛАСТЬ

День 22 декабря 1913 года мог бы стать для Варшавы праздничным: предстояло торжественное открытие третьего моста через Вислу, строительство которого, длившееся почти десять лет, было наконец завершено. Выглядело это сооружение впечатляюще, однако праздничного настроения в городе не ощущалось. Дело было не только в зимней стуже и тьме. Церемонию омрачал конфликт между царской бюрократией и варшавянами по поводу того, какому епископу должна была выпасть честь освятить виадук: русскому православному или римско-католическому? Поскольку имперские власти воспротивились участию католического священнослужителя в церемонии, значительная часть приглашенных представителей варшавской элиты бойкотировала торжество. В городе ходили слухи и о других, более радикальных актах протеста, поэтому местные органы охраны порядка приняли повышенные меры безопасности. В итоге торжественное открытие моста прошло мирно, но даже один из царских чиновников отметил, что спор все же очень подпортил праздник².

Мост через Вислу стал результатом успешного сотрудничества центральных властей Российской империи, варшавской муниципальной администрации и части польской экономической и технической элиты. Но конфликт по поводу символической иерархии конфессий на церемонии открытия показывает, насколько хрупким был подобный консенсус в Царстве Польском. Мнения расходились, и весьма значительно, даже по вопросу о том, кому принадлежала изначальная идея постройки моста, призванного модернизировать Варшаву. С точки зрения польской общественности, этот проект был профинансирован из средств города и за счет налогов с горожан. На взгляд же чиновников, строительство инициировали, реализовали и обеспечили посредством правительственного кредита российские власти. В зависимости от интерпретации одни считали, что приоритет на церемонии открытия следовало отдать католическому священнослужителю, другие – что православному.

Но на самом деле в этом споре о главенстве церковных сановников речь шла и о гораздо более принципиальных претензиях на гегемонию в Царстве Польском и его столице. В символической борьбе, разгоревшейся в 1913 году, сфокусировались многочисленные конфликты, в сумме составлявшие тот антагонизм, что был характерен для существования польских земель под властью России на протяжении многих десятилетий. Речь шла о фундаментальном вопросе: кто имеет законное право управлять этой провинцией? Кому, как выразился чиновник, комментировавший конфликт вокруг моста, «принадлежат» Царство Польское и город Варшава?³ Здесь проявилась та конфронтация между бюрократией и населением, под знаком которой происходила вся повседневная коммуникация в местном конфликтном сообществе со времени разделов польско-литовской шляхетской республики в XVIII веке и восстановления Царства Польского на Венском конгрессе 1815 года и которая после поражения Январского восстания 1863 года обрела новое качество. Что породило этот антагонизм? Какие формы он принимал на протяжении столетия между 1815 и 1915 годами, и особенно после Январского восстания? Какие изменения он претерпевал и кто в нем участвовал? Поиску ответов на все эти вопросы посвящена данная книга.

Тем самым здесь будет поставлен и фундаментальный вопрос о формах, структурах и акторах господства над территориями, подвластными многонациональной Российской империи на позднем этапе ее истории, ведь взаимодействие бюрократии и населения в польской провинции, включая их многочисленные конфликты, позволяет увидеть, как была устроена царская Россия в целом и каковы были движущие силы ее трансформации на протяжении «долгого» XIX века. На примере «Привислинского края»⁴ можно увидеть всю сложность такого многонационального и многоконфессионального государственного образования, каким была Россия, и основные проблемы управления этой многонациональной империей, напоминавшей – особенно на периферии – лоскутное одеяло, составленное из множества областей с особым правовым режимом. Становятся видны как та интегративная функция, которую удавалось выполнять империи, так и ее нарастающая хрупкость. Появляется возможность рассказать историю повседневной практики осуществления имперской власти и показать, как эта власть налагала

свой отпечаток на социальные и культурные структуры одной из важнейших провинций государства. В книге будет описана полная противоречий и конфликтов коммуникация между сановниками и подданными, которая за десятилетия российского владычества над Польшей с конца XVIII по начало XIX века знала многочисленные моменты как нарушения заданных границ, так и консенсуса и сотрудничества.

В центре повествования будут находиться петербургские административные элиты. Именно они разрабатывали для чиновников правила работы в условиях гетерогенности подвластного населения, и они же на периферии репрезентировали притязание царя на власть и осуществляли на практике имперский режим правления. В Царстве Польском гегемония этих государственных функционеров была особенно ярко выражена, поскольку здесь руководящие должности в местной администрации после Январского восстания занимали исключительно чиновники неместного происхождения, назначаемые царем и его министром внутренних дел, а все органы местного самоуправления были ликвидированы. Исследование их административных практик, их внутренней и внешней коммуникации и их представлений о самих себе позволяет нарисовать социальный портрет этих важнейших носителей имперского господства в одной из важнейших провинций России.

В том, что Привислинский край играл ключевую роль в общей конструкции Российской империи, сомневаться не приходится. Из всех ее периферийных регионов Царство Польское обладало самым большим населением, самым важным военно-стратегическим и экономическим значением⁵. Будучи западным форпостом державы, находясь в непосредственном соседстве и конкуренции с частями Польши, отошедшими к Австрии и Пруссии, этот многонациональный и многоконфессиональный край во многом представлял собой ту лабораторию империи, где испытывались, апробировались или забраковывались, а отчасти и изобретались практики укрепления власти и интеграционные концепции⁶. Поэтому Царство Польское занимало особое место в стратегических и программных соображениях и решениях петербургских властей, и это тоже одна из причин, по которым исследование того, как Российская империя им правила, позволит лучше понять, какими способами она вообще

инкорпорировала и трансформировала свои окраинные владения, как они, со своей стороны, влияли на государство в целом и как в конечном счете это взаимовлияние создавало угрозу для стабильности последнего⁷.

Хронологические и географические рамки исследования определяются тем, что многослойность, противоречивость, но вместе с тем и фундаментально важные особенности имперского контекста удастся выявить в нужной мере только путем плотного описания специфического, «ситуационного» комплекса взаимодействий. Именно такой «ситуационный подход» даст возможность описать хаотичное нагромождение структур и акторов, взаимосвязь их интересов и представлений о себе, а благодаря этому подступиться к раскрытию взаимных воздействий центра и периферии империи во всей их сложности⁸. При таком взгляде обнаруживается проблематичность территориального и хронологического подхода, наблюдаемого в традиционных национальных историографиях: там конструируются сущности, обладающие большой длительностью, которые исторически не существовали или – как в случае с разделенной Польшей – на длительное время были выведены из игры. Вместо них при «ситуационном подходе» выявляется то определяющее значение, которое приобрели границы, проведенные империями, и поставленные в каждой из частей поделенной Польши административные структуры и акторы. Рассечение ее территории и истории, усиленно проводившееся царскими властями, задавало условия, в которых протекали локальные процессы. Поэтому настоящее исследование сосредоточено на Привислинском крае – территориально-административном образовании, возникшем по милости русского царя, и на периоде между переломными в его истории 1864 и 1915 годами. История установления и закрепления власти Петербурга над польскими землями в 1772–1863 годах также рассматривается в книге, однако в центре внимания все же будет Польша после Январского восстания, прежде всего – Варшава, центр управленческой бюрократии и зона повышенной плотности взаимодействия между имперской администрацией и местным населением⁹.

В книге будут рассмотрены *шесть тематических полей*. Административный аппарат, который царские власти создали после восстания 1863 года, чтобы вернуть себе контроль над взбунтовавшейся

провинцией, и который просуществовал до конца российского господства в Привислинском крае (1915), образует *первое и важнейшее* из них. Здесь будут выявлены структуры и внутренние логики государственного управления, представлены портреты важнейших акторов этой системы. В результате возникнет картина многослойной и гетерогенной бюрократии пореформенной эпохи, однако механизмы ее функционирования удастся понять, только если мы будем рассматривать ее в сравнении с теми попытками Петербурга целиком охватить и пронизать Польшу своей властью, которые предпринимались до 1863 года. Поэтому в книге целая глава – «Установление российского владычества над восточной частью разделенной Польши (1772–1863)» – посвящена подробному описанию того, как после разделов Польши в 1772-м и 1795-м, а также после Венского конгресса 1815 года российские власти покоряли польские земли, управляли ими и интегрировали их в Российскую империю. В первые десятилетия петербургского владычества уходят корнями многие процессы, характерные для всего периода до 1915 года, а с другой стороны, сопоставление с этой ранней фазой позволяет в полной мере оценить радикальность перелома, произошедшего в 1863–1864 годах. Период после Январского восстания характеризовался совершенно новой амбивалентностью: с одной стороны – профессионализация управленческого аппарата, с другой – сохраняющиеся сети аристократических и патрон-клиентских связей. В многочисленных коллизиях, имевших место внутри администрации, проявлялся и конфликтный потенциал взаимоотношений между центральными и периферийными инстанциями. На конкретную реализацию власти в окраинных провинциях империи такие споры о компетенциях оказывали самое непосредственное воздействие.

Особое внимание в исследовании уделено институту наместника (с 1874 года – генерал-губернатора) как верховного имперского чиновника в Привислинском крае. Человек, занимавший этот пост, играл главную роль в осуществлении власти Петербурга над польскими землями: именно он формировал управленческие практики на местах и одновременно оказывал влияние на принятие решений в центральных органах. Будучи непосредственным представителем царя, имеющим обширные полномочия, он обладал большой свободой действий в том, что касалось претворения в жизнь имперской политики. Стил

руководства, предпочитаемый тем или иным генерал-губернатором, позволяет увидеть и те разнообразные, изменчивые возможности выбора политической стратегии и тактики, которые имелись в распоряжении функционеров того периода. Мероприятия, нацеленные на предотвращение восстаний и на усиление централизации, директивы по «русификации» или «деполонизации» провинции и ее администрации, а также попытки найти некий *modus vivendi* с местным населением находились друг с другом в сложном отношении взаимного влияния и напряжения, которое провоцировало трения между разными государственными чиновниками и учреждениями. Воссоздав панораму этих практик господства, мы сможем сделать более общие выводы о том, как осуществлялась в Российской империи после 1860 года имперская власть, каковы были ее техники, концепции, стратегии и парадоксы.

Основные структурные признаки имперского административного аппарата в Царстве Польском определяли и констелляции тех конфликтов, которые разыгрывались между царской бюрократией и местным населением. Они образуют *вторую главную тему* настоящего исследования. Техники имперского господства обретали свою конкретную форму только во взаимодействии с жителями покоренной провинции. Это относится уже к периоду между разделами Польши и Январским восстанием, но после 1864 года проявилось в особенно сильной степени, потому что интенсифицировавшиеся попытки властей добиться гегемонии Петербурга в Привислинском крае, гегемонии в небывалых прежде масштабах, осуществлялись не в виде одностороннего действия, а во взаимозависимости с действиями и реакциями польских и еврейских подданных. Таким образом возникло конфликтное сообщество, в котором акторы-антагонисты пребывали в постоянной коммуникации друг с другом, и в столкновениях между ними происходили многочисленные процессы обмена и диалога¹⁰. Основную структуру и динамику конфронтации задавало стремление Петербурга не допускать местное население к решающим постам в администрации Царства Польского. Присланная из столицы бюрократия все время противостояла местному населению как некая внешняя сила. Практически ничего не меняло в этом и то обстоятельство, что некоторые из чиновников, прослужив

в Привислинском крае много лет и побывав в разных его губерниях, делались экспертами по управлению периферией империи.

В книге представлены такие примеры взаимодействия и конфликта, которые можно считать характерными. Царская цензура и государственная политика в области образования и религии, а также административные практики в крупном современном городе —

Варшаве — позволяют увидеть, как петербургская власть осуществлялась в повседневной жизни Польши. Вместе с тем эти примеры показывают, насколько сильно «особые условия» Царства Польского, о которых часто говорили современники, влияли на бюрократические практики, причем именно в те длительные периоды, для которых вооруженное противостояние и экстраординарный уровень насилия не были главными признаками. В будничных конфликтах между жителями Привислинского края и чиновниками проявлялись многочисленные связывавшие их взаимные воздействия, а также формы и границы сотрудничества между различными этническими и конфессиональными группами. Мы увидим паттерны и пространства такого сотрудничества, равно как и зоны, где оно было невозможно; увидим своего рода параллельные миры, равно как и моменты, когда границы между ними нарушались. В описываемых событиях проявляется также столкновение репрессивных сил и мер одной стороны с непокорностью и сопротивлением другой, включая вооруженные восстания. Кризисная ситуация 1905–1914 годов служит прекрасным свидетельством того, что эти, весьма непохожие друг на друга паттерны взаимодействия достаточно часто сосуществовали. Подавление восстания вооруженной силой и расширение легальной польской публичной сферы были не двумя противоположностями, а процессами, протекавшими одновременно и, более того, обуславливавшими друг друга.

Революция 1905–1906 годов не только временно поставила под угрозу как самодержавие, так и российское господство над Привислинским краем: для многих процессов и конфликтов, которым суждено было определять облик последнего предвоенного десятилетия империи, революция выступила катализатором. Волнения, сотрясавшие систему, побуждали правительственные инстанции вырабатывать новые стратегии удержания власти. Помимо этого, они создавали новые политические и общественные условия для осуществления имперского

господства и для артикуляции общественного мнения, создавали новые форумы для представительства политических интересов. Поэтому революции 1905 года и ее последствиям отведена в книге отдельная часть, посвященная хронологии бурных событий данного периода. Это необходимо, потому что революционная динамика и связанная с ней эскалация насилия требуют хронологического рассмотрения генезиса конфликта, того, как отдельные столкновения превратились в революцию, полностью охватившую все польские провинции.

Не в последнюю очередь именно революция выявила, насколько сильным было формирующее воздействие, оказываемое властью Петербурга с 60-х годов XIX века на общественные образования в Царстве Польском и на выдвигавшиеся ими политические требования. Тем самым мы подошли к разговору о *третьем тематическом поле* нашего исследования: на примере Привислинского края здесь будет продемонстрирована имперская власть как формирующий фактор. Еще до 1863 года она налагала отпечаток на общественную жизнь в Царстве Польском, а после разгрома Январского восстания ее влияние достигло невиданных прежде размеров: интенсифицировавшийся рост административных аппаратов самодержавной власти, увеличение численности их персонала и бюрократические распоряжения, издаваемые или выполняемые ими, оказывали глубочайшее воздействие на политические, социальные и культурные процессы в регионе. Рождавшиеся во взаимодействии между бюрократией и населением практики имперского господства надолго определяли как эволюцию социально-культурного ландшафта польских провинций, так и направление линий конфликта между государством и обществом. В эффектах административных практик царских управленцев, даже в непреднамеренных или противоречивших изначальным намерениям, обнаруживается это формирующее действие – закладывание рамочных условий, в которых протекала трансформация локальной социальной жизни и культуры.

То же относится и к представлениям административных элит о самих себе, образующим *четвертую главную тему* книги. Эти их представления отнюдь не основывались на каких-то устойчивых, неизменяемых верованиях и знаниях, а очень сильно зависели от взаимоотношений человека со средой – самовосприятие русских чиновников очень сильно зависело от восприятия их польским

окружением, а потому было подвержено непрерывным изменениям. Формы взаимодействия, практиковавшиеся в конфликтном сообществе Царства Польского, оказывали определяющее влияние на «образ Я» правительственных чиновников, служивших там. Настоящее исследование призвано реконструировать ментальные горизонты функционеров самодержавия и показать, как эти горизонты изменялись в условиях, когда поляки и евреи ставили под сомнение легитимность российского присутствия в Привислинском крае. Направлявшие деятельность правительственных чиновников концепции и системы понятий возникали в ситуации, где логики административных аппаратов, политический опыт акторов и динамика их взаимодействий с местным населением (достаточно часто немирных) меняли друг друга. Представления чиновника об империи, о том, что составляет ее основной характер, что ей угрожает и какова его собственная роль в поддержании порядка, зависели от того, как протекало его общение с местным населением, сопровождаемое многочисленными конфликтами. На проекты идентичности петербургских функционеров, присланных в польские губернии, влияло и то, как их воспринимало тамошнее католическое и иудейское окружение, какой образ «русского» был у поляков и евреев. Критерии для определения культурных различий и выстраивания иерархии подданных империи, входящих в нее народов, формировались у этих людей в ходе отграничения самих себя от польского Другого. Устойчивость конфессиональной парадигмы, используемой при определении разницы, и характерный для Привислинского края скепсис по отношению к мечтам славянофилов и панславистов о «сближении» и «слиянии» объясняются не в последнюю очередь той конфликтной обстановкой, что была характерна для Царства Польского как для пространства жизненного опыта российских чиновников.

Одновременно представители петербургского правительства своим поведением и самим своим видом формировали у поляков и евреев представление о том, что такое Российская империя и «русское владычество». Символы и ритуалы, отражавшие культуру различий и дискриминации, служили повседневными подтверждениями этой чужести русских и, с другой стороны, непосредственно влияли на формирование у поляков и евреев представлений о том, что значит быть поляком или евреем. Ставившие империю под вопрос проекты

модерных этнических наций, складывавшиеся начиная с 90-х годов XIX века новые формы общественной организации и все более внятно выражаемые требования политического участия и самоопределения были теснейшим образом связаны со структурами и практиками того господства, которое осуществлял в Привислинском крае Петербург. Однако и здесь не все сводилось к конфронтации: во многих случаях возможны были переходы в обоих направлениях через черту, разделявшую властвующих и подвластных. Поэтому в книге уделяется внимание и тем польско-еврейским кругам, которым империя давала шанс сделать карьеру, повысить социальный статус, завести дело и которые начинали смотреть на Россию в целом не как на оккупационный, угнетательский режим, а более позитивно.

Помимо этого, формирующее действие конфликтного сообщества в Привислинском крае можно хорошо увидеть, рассматривая складывание имперского общества в польских провинциях и, прежде всего, в Варшаве. Очерк социального и культурного мира этой имперской публики представляет собой *пятую тему книги*. Круг тех лиц, которые считали самих себя представителями империи, отнюдь не ограничивался одной только узкой группой чиновников царской бюрократии: в период после восстания 1863 года в Варшаву переселилось множество людей, не являвшихся государственными чиновниками в строгом смысле слова, однако являвшихся в собственном понимании членами большой имперской общности. Некоторые из них – ученые, инженеры или статистики – состояли на государственной службе, но в своей деятельности не руководствовались этим статусом, а выступали как частные лица. Другие – торговцы недвижимостью, адвокаты, публицисты или издатели – пытались обосноваться в Варшаве и завести там собственное дело. Члены этой имперской диаспоры, преимущественно православные, населяли «параллельную вселенную» – русскую Варшаву – и сформировали самостоятельный городской культурный ландшафт, почти полностью изолированный от мира, в котором жили их соседи-поляки или евреи.

Маркирование отличия от неправославной, «иноверческой» городской среды и провозглашение собственного верховенства по отношению к ней служили для обитателей этого русского анклава мощным стимулом к тому, чтобы, с одной стороны, размышлять о сущности своего отличия от нерусских, а с другой – требовать для

себя привилегированного положения среди других жителей империи. И здесь тоже революция 1905 года послужила катализатором, усилила позиции тех, кто выступал за радикальный переход от имперского принципа к национальному. В этот момент, если не раньше, обнаружились и те трения, что существовали между петербургским правительством и имперской общиной в Варшаве. Управленческая элита многонациональной империи, отличавшаяся много- и наднациональным характером, вызывала недовольство со стороны националистически настроенной общественности, которая все больше ставила знак равенства между «имперским» и «русским». Как станет видно из дальнейшего изложения, это в канун войны породило для царской бюрократии дополнительную проблему.

Сказанное относится не только к Привислинскому краю, но и к другим перифериям Российской империи и к ее центру – Петербургу. Однако Царство Польское во многих отношениях представляло особый случай в имперском контексте: происходившие там конфликты оказывали воздействие на остальную территорию империи и на ее столицу. Эта взаимосвязанность польских земель с другими окраинными территориями России и Петербургом – предмет рассмотрения в *шестом тематическом блоке* книги. Нередко польским провинциям доставалась роль испытательного полигона, где опробовались реформы и техники управления, которые в будущем должны были распространиться на всю империю¹¹. Этому в значительной мере способствовал и принцип ротации в системе государственного управления. Чиновники, обладавшие опытом службы и конфликта, приобретенным в Привислинском крае, часто служили в других окраинных районах России. Будучи экспертами по периферии, они занимали руководящие должности в приграничных губерниях, а некоторые дослужились и до постов в центральных органах власти в Петербурге. Вместе с этим персоналом циркулировало по стране и знание о тех практиках господства, которые хорошо зарекомендовали себя в Царстве Польском. Так чиновники с имперской биографией переносили из провинции в провинцию и с периферий в центр представления о конфликтах и концепции их «разрешения».

Привислинский край был «рассадником»¹² конфронтации, которая в значительной мере способствовала размыванию авторитета наднациональной правящей династии. Это касается отнюдь не только

революционных деятелей польского или еврейского происхождения: имперские чиновники и, прежде всего, представители варшавской русской общины высказывали в общероссийских дискуссиях свое мнение по «польскому вопросу». Они транслировали образы «мятежных поляков» и «русского форпоста на Висле», «борьбы народов» на западной периферии империи, а также, не в последнюю очередь, – образ империи, иерархически поделенной на «ядро» и «окраины». Некоторые из этих людей вели активную публицистическую деятельность, обращаясь к широкой общественности внутренних регионов страны. «Варшавские годы» – частый топос в публицистических текстах, в которых функционеры и глашатаи общественного мнения, прошедшие испытание пограничьем, пропагандировали концепции усиления национального момента в империи. Эти эксперты по чужести, приобретшие свой опыт на польской окраине, все больше задавали тон в политических дискуссиях по «национальному вопросу» в Санкт-Петербурге и пробивались в соответствующие публицистические издания и политические партии, тем самым способствуя «провинциализации» столичного рынка общественного мнения в Российской империи¹³. Такие взаимовлияния между провинцией и метрополией свидетельствуют о тесных связях, существовавших между периферией и центром.

Изучая российское господство в Царстве Польском на протяжении «долгого» XIX века, можно лучше понять те трансформационные процессы, которые характеризовали империю в целом на позднем этапе ее существования. Задача книги не в том, чтобы просто описать, как Петербург управлял одной из многих провинций своей державы: используя польский материал в качестве примера, книга поднимает фундаментальный вопрос о том, как формировалось имперское господство в этом многослойном и меняющемся переплетении административных аппаратов и методов управления, представлений акторов о своем месте в них, концептуальных горизонтов акторов и их конкретного опыта, встреч и конфликтов на местах. Кроме того, в книге ставится вопрос о долгосрочных последствиях, которые имела эта констелляция власти, воздействовавшая и на местные процессы, и на то, какое место данная власть занимала в структуре империи в целом. Здесь проявляются неоднородность Российской империи,

многослойность акторов, стремления к интеграции, а также силы, которые взрывали систему изнутри. Ибо общий принцип таков: вся сложность управления полиэтническими империями становится нам видна только в таких, местных конфликтных сообществах.

КОНТЕКСТЫ: ТЕРМИНЫ, КОНЦЕПЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ДИСКУССИИ¹⁴

В книге рассматриваются элиты Российской империи и самой западной ее провинции – Царства Польского. Основное внимание уделяется тому небольшому и закрытому кругу наиболее высокопоставленных чиновников – как правило, это были обладатели четырех высших классов по Табели о рангах, – которые, служа в правительственных инстанциях в Санкт-Петербурге и в местной администрации Привислинского края, определяли направление и реализацию имперской политики в отношении польских земель. Необходимо сразу сказать, какой смысл вкладывается в книге в понятие «российское владычество» (и в употребляемые синонимично с ним понятия «царская власть», «петербургская власть», «имперское господство»). Речь не идет об очередной попытке втиснуть столь многоликое и переменчивое образование, как Российская империя, в тесные рамки строгого определения. Скорее тут будет отмечен ряд важнейших для замысла этой книги рассуждений, высказывавшихся в ходе многочисленных дебатов об империи и имперскости. Некоторые выводы «новой имперской истории» (new imperial history) открыли новые перспективы для изучения российского присутствия в Царстве Польском. В том, что касается отношений между центром в Петербурге и польскими перифериями, невозможно констатировать ни четкой дихотомии «столица vs провинция» с характерным для нее иерархическим неравенством, ни якобы однозначного «колониального проекта» – например, в форме программы «русификации». В Привислинском крае существовали тесные взаимосвязи, отношения обмена и взаимодействия, иерархии были подвижны и постоянно становились предметом все новых и новых торгов и переговоров; здесь конкурировали множественные, в высшей степени непохожие друг на друга представления об интеграции провинций в структуру империи и о полноте проникновения в них власти центрального аппарата; здесь содержание споров вокруг «польского вопроса» формировалось в ходе контактов и конфликтов между периферийными и центральными акторами¹⁵.

Сказанное подводит нас к теме формирующего воздействия, которое имперское господство отказывало на подвластное общество. Ведь конstellации сил и процессы обмена в рамках описываемого здесь конфликтного сообщества определяли не только социальные, экономические и политические структуры Привислинского края. Они накладывали неизгладимый отпечаток и на культурные образы «себя» и «другого», существовавшие в сознании участников описываемых отношений. Имперские техники господства редко срабатывали так, как задумывали их поборники, но заложенные в их основу принципы включения и исключения приводили к тому, что под влиянием этих техник менялись рамочные условия, в которых люди встречались и разрешали свои конфликты.

Именно по этой причине внимательное рассмотрение того, как люди описываемой эпохи контактировали друг с другом, как осуществлялась между ними культурная коммуникация со всеми ее «продуктивными недоразумениями», имеет важнейшее значение, если мы хотим узнать что-то о том динамическом процессе, в ходе которого акторы приписывали себе и другим те или иные характеристики, намерения и действия. В числе прочего тут были важны и пограничные, амбивалентные зоны контакта, в которых столкновения между индивидами приводили в движение их сложившиеся ранее представления о себе и своем месте в социуме. Но сферы, где были возможны неортодоксальные взаимодействия, казавшиеся за пределами таких сфер немислимыми, и те площадки, на которых культурные различия можно было обсуждать, пренебрегая обычными закрепленными иерархиями, были очень малы и немногочисленны – в силу антагонизма между бюрократией и населением в Привислинском крае¹⁶. И тем не менее даже в таком контексте конфронтации происходило взаимное влияние, образы Своего и Чужого формировались на основе взаимности, конфликтные столкновения порождали аналогичное видение проблем, невзирая на все разногласия в том, что касалось предлагаемых для них «решений». В некотором смысле можно сказать, что имело место согласование мышления в отсутствие консенсуса. Даже враждебно относившиеся друг к другу, яростно спорившие друг с другом акторы ориентировались на один и тот же горизонт «польского вопроса», поскольку постоянно находились в диалоге друг с другом. Если власть распоряжалась

штыками армии, это никоим образом не означало, что она обладает гегемонией в области конкурирующих интерпретаций происходящего в мире. Как будет показано на примере споров об усилении национального элемента в империи, концептуальные импульсы зачастую исходили от «колонизированных». Представления посланников центра о самих себе тоже формировались в этом конфликтном сообществе на периферии, а потом оказывали влияние на публичные сферы в столице.

Сказав это, мы затронули следующую основную идею данной книги: представления, концепции и практики, генезис которых нередко происходил в провинциях, затем поступали в сеть коммуникации и трансфера, охватывавшую всю империю. Если мы рассказываем историю империи как историю переплетений, взаимосвязей, круговоротов и ротаций, то должны отказаться от той фиксации внимания на центре, которая долгое время господствовала в том числе и в историографии Российской империи. Особенно применительно к Царству Польскому оказались правы те исследователи, которые говорят о немалом инновационном потенциале именно провинции как экспериментальной лаборатории «колониального модерна»¹⁷, причем сразу в двух смыслах. Во-первых, Привислинский край тоже представлял собой лабораторию по разработке современных управленческих практик, ориентированных на интервенционистскую государственную бюрократию и часто выходивших за пределы того, что было характерно для административной деятельности самодержавия во внутренних районах империи. Как и в других европейских колониальных державах, методы управления, знания и понятия, сформировавшиеся на периферии, потом приходили и в метрополию. Недавние исследования по Габсбургской монархии уже показали, что подобные процессы имели место не только в странах, обладавших заморскими колониями, но и в сухопутной, континентальной империи¹⁸.

Во-вторых, – и в этом его заметное отличие от колоний других европейских империй – Царство Польское, и особенно Варшава в качестве его высокоразвитого городского центра, было встроено в общеевропейские процессы развития в гораздо большей степени, нежели подавляющее большинство других регионов Российской империи. Варшава была для нее новым «окном на Запад»; многие из

преобразований, превративших в XIX веке европейские крупные города в мегаполисы, приходили в Россию именно через Польшу. Таким образом, «колониальная модерность» получила в Привислинском крае своеобразное значение: периферия оказалась плацдармом на пути к европейскости, которая для российских элит и на рубеже XIX–XX веков не утратила своей роли желанного образца. Если в иерархии военной силы и власти Польша стояла в то время ниже России, то в культурной иерархии находилась, наоборот, на более высокой ступени. Те споры, которые были вызваны этой инверсией, указывают, однако, на ожесточенную конкуренцию между различными проектами модерности, сосуществовавшими в Привислинском крае. В эпоху *fin de siècle* [фр., буквально «конец века». – *Примеч. ред.*] среди государственных чиновников и российской общественности оживленно дебатировался вопрос о том, кто обладает суверенным правом на интерпретацию воображаемого «единого пути» европейского прогресса. В частности, спор с польскими концепциями латинской Европы укреплял позиции тех, кто выступал за собственный, российский цивилизационный проект и за то, чтобы в новом веке Россия пошла своим путем развития. Некоторые из представителей этого лагеря открыто заявляли о своем «антимодернизме», многие разделяли смутное недовольство по поводу неоднозначности современных форм жизни и моделей общества. Все эти проекты были также выражением большого разнообразия концепций модерности, существовавшего в то время¹⁹.

Динамическая природа периферии проявлялась и в других сферах. Так, эскалация насильственных практик, характерная для последних лет существования царизма, началась именно в периферийных районах Российской империи. Как и в других крупных европейских державах, сначала вдали от центра возникали очаги, где насилие достигало экстремального уровня, и интенсивность кровавых вооруженных столкновений там опосредованно повышала средний уровень насилия по всей стране²⁰. В Российской империи именно революционные группы стали прибегать к массовым убийствам в форме террористических актов. Труп полицейского на обочине дороги и губернатор, убитый в собственной карете, были знаками асимметричности методов ведения войны и революционных действий. В этом отношении периферия империи тоже оказалась областью особо

интенсивного насилия. Достаточно часто своими действиями противоборствующие стороны только подогревали реакции друг друга, так что на перифериях государства начинали раскручиваться спирали насилия. Такая эскалация будет рассмотрена в книге на примере революции 1905 года в Привислинском крае.

Следует упомянуть еще одну концептуальную рамку. Несмотря на всю критику, высказываемую в науке по поводу строгого противопоставления центра и провинции, понятие *колонии* до сих пор служит для описания заморских владений европейских империй. Применительно к Царству Польскому этот термин вводит в заблуждение. Пускай доминирование петербургского аппарата власти над местным и сегрегация имперской управленческой элиты указывают именно в таком направлении, все же есть некоторые доводы против того, чтобы называть Привислинский край колонией, а Варшаву – колониальным городом. Во-первых, слово «колония» не играло сколько-нибудь важной роли в самоописании имперских акторов. Ибо, несмотря на то что Российская империя де-факто создала на своих перифериях множество зон с особыми правовыми режимами, претензия самодержца на абсолютность и всеохватность власти препятствовала формированию под протекторатом России областей с неодинаковой степенью зависимости от центра: в самопонимании самодержавия все территории империи были подчинены правителю в равной мере²¹. Эта концепция имперской интеграции имела далекоидущие последствия для проникновения государства в жизнь периферий. Ведь насколько слабы были административные структуры из-за нехватки ресурсов и персонала, настолько же неоспоримым было притязание центра на единство империи как государственного образования. В период Великих реформ, если не раньше, Петербург начал активно бороться против особого статуса провинций и добиваться унификации администрации и права во всей империи. Этот унификационный проект охватывал и Царство Польское. Помимо прочего, он показал, что, с точки зрения центра, Привислинский край – это окраинная провинция империи, а не иностранная, хоть и зависимая территория.

И последнее, но не менее важное: термином «колония» затушевывается тот факт, что в польских землях, отошедших после разделов к России, доминирование метрополии над провинцией во многих отношениях оставалось неясным. Если, например, в военной

сфере гегемония Петербурга была гарантирована вооруженными силами, то разница в экономическом и культурном развитии, даже с точки зрения императорских чиновников, часто была здесь не в пользу центра. Именно по этой причине трудно было говорить о цивилизаторской – столь характерной для европейского колониализма – миссии метрополии по отношению к польским провинциям, говорить так, чтобы это выглядело правдоподобно в глазах широкой общественности. Кроме того, все попытки петербургских властей заявлять, что они и на западной периферии своих владений осуществляют некую *mission civilisatrice* [фр. «цивилизаторская миссия». – *Примеч. ред.*], сталкивались с антагонистическим контрпроектом польской стороны, сила которого была обусловлена не только давней традицией, но и тем, что он опирался на единый общеевропейский набор ценностей²².

Именно из него польское национальное сознание черпало уверенность в себе и на нем базировало свою аргументацию за автономию по отношению к российским притязаниям на гегемонию и на полное включение Польши в империю. Идея польской нации и ссылки на давнюю государственную традицию были постоянным вызовом Петербургу. Таким образом, исследование, посвященное польско-имперскому антагонизму, не может не затрагивать того дискуссионного контекста, в котором рассматриваются сложные и конфликтные отношения между наднациональными империями и проектами наций и национальностей. Совершенно справедливо подчеркивается разрушающий систему потенциал многих конкурирующих национализмов в многонациональных империях. В общем итоге они подорвали легитимность монархий и авторитет центров и внесли значительный вклад в падение империй. Однако национальные историографии – даже новейшие – склонны изображать триумфальное шествие нации к суверенитету в телеологическом ключе. В конечном счете большинство теорий национализма последовало в этом за ними. Тем не менее тот факт, что национальные государства восторжествовали над распадающимися империями, не должен приводить исследователя к описанию этого процесса как неизбежного. Требуется прояснения вопрос, почему империи, при всей своей хрупкости, так долго просуществовали и выдержали даже экстремальные нагрузки первых лет войны²³. Прежде всего, империю

не следует рассматривать как просто пространство, в котором происходили те процессы перехода к национальному принципу организации, которые в итоге привели к распаду империй. Скорее, имперское владычество правильнее было бы понимать и исследовать как определяющий контекст, который оказал значительное и неослабевающее влияние на споры о том, что есть нация и как она должна организовываться²⁴.

Эта взаимосвязь имперской политики и постепенного перехода от имперского к национальному принципу, существовавшая в эпоху национализма, – одна из тем книги. Этим объясняется и предпочтение в пользу «ситуационного подхода», разработанного Алексеем Миллером²⁵: ведь только при исследовании конкретной «ситуации», где переплетаются имперские и национальные взаимоотношения, существующие в конкретном регионе, мы сможем адекватно оценить сложные переплетения сети акторов и описать генезис представлений о «своем» и «чужом» как отношений обмена²⁶. Так в центре нашего внимания оказываются взаимная коммуникация, ожесточенные дебаты по «польскому вопросу», конфликтующие и конкурирующие символики «империи» и «нации», а также многочисленные и противоречивые попытки отграничить «свое» от «чужого». Репрезентации притязаний на политическую власть соперничали и вместе с тем влияли друг на друга. Многонациональное и многоконфессиональное конфликтное сообщество в Привислинском крае позволяет это ясно увидеть²⁷.

Среди участников этого переплетения взаимоотношений основное внимание в книге уделено *государственным акторам и их концепциям и практикам имперской власти*, т. е. сообществу представителей имперской элиты в Царстве Польском и в Варшаве, их внутренним и внешним социальным контактам и их культурной коммуникации в целом. Это объясняется в первую очередь тем, что в конфронтациях, происходивших в Царстве, они, занимая позицию власти, играли центральную роль. Но немаловажное значение имеет и то удивительное обстоятельство, что имперские элиты Привислинского края, в отличие от других регионов империи – остзейских провинций, Кавказа, Киевского или Виленского генерал-губернаторства, – до сих пор практически не становились предметом изучения: нет работ, посвященных локальным пространствам действия, репрезентационным стратегиям, а также обстоятельствам, навязывавшим представителям

имперской элиты тот или иной образ действий. Недостаточно внимания уделялось до сих пор и жизненному миру этой категории обитателей Царства Польского. Нет пока (если не говорить о взаимодействии польского и еврейского обществ в этих провинциях) работ, посвященных составлению «карт» *ментальных миров и горизонтов действий имперской элиты*. Целью настоящего исследования является создание такого портрета имперской элиты в Царстве Польском, который отразил бы ее многослойность, внутренние противоречия и конфликтную коммуникацию с окружающим местным населением²⁸.

Таким образом, открытых вопросов много: в какую структуру были встроены эти представители Петербурга на местах? Какие институты для осуществления имперской власти были сформированы в Царстве Польском до и после подавления восстания 1863–1864 годов? Кто были ключевые игроки в этой системе управления? Каковы были их сферы влияния и как формировалась конкуренция полномочий внутри этого административного аппарата, характерная для Российской империи? И последнее, но не менее важное: если говорить о ментальном горизонте, какие программные концепции, какие образы империи, какие представления этих чиновников о самих себе направляли их деятельность? Это – центральные аспекты, на которые будет направлено внимание в предлагаемой здесь истории структур и акторов петербургского владычества в Привислинском крае.

Глава II

УСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА НАД ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ РАЗДЕЛЕННОЙ ПОЛЬШИ (1772–1863)

Насколько глубоким был перелом, произошедший после Январского восстания 1863 года, настолько же глубоко и само восстание, и реакция петербургских властей на него были предопределены долгой историей российского владычества на территориях бывшей Речи Посполитой. Мотивы повстанцев, размах царских репрессий и степень последующего вмешательства государства во все сферы жизни, а равно и многие конфликтные узлы второй половины XIX века можно понять только с учетом того, как был устроен режим, установленный в «западных губерниях» начиная с 1772 года и затем в Царстве Польском – с 1815-го. Вот почему в качестве вводной главы здесь будет вкратце прослежено установление, укрепление и изменение этого режима в период между первым разделом Польши и восстанием 1863 года.

Прежде всего необходимо рассмотреть динамику разделов Польши в 1772–1795 годах. Именно этот последовательный разгром польской государственности привел к узурпации Россией большей части бывшей Речи Посполитой. Каковы были цели, преследуемые российской короной, какие конфликты, какая логика действий подталкивали события в направлении повторяющихся отторжений земель от Польши и в итоге к полной ликвидации польского государства?

Затем – после краткой интермедии в виде наполеоновского Герцогства Варшавского – будет рассмотрен вопрос о возникновении в контексте Венского конгресса Царства Польского, с чего и началось столетие российского владычества на Висле. Какое пространство для действия имелось у акторов в условиях государства с конституцией, парламентом и правительством и в то же время связанного личной унией с Российским государством?

Несомненно, уже неудачное Ноябрьское восстание 1831 года стало глубокой цезурой в этой истории. А потому в следующей главе необходимо будет выяснить, каковы были основные характеристики «эпохи Паскевича» в период после 1831 года. Только на фоне этой эпохи угнетения становится ясно, какие надежды были пробуждены в Царстве Польском реформами Александра II. Вместе с тем предстоит еще выяснить, почему либерализация, начавшаяся в 1856 году, быстро привела к обострению конфликта и к радикализации части польской общественности, что в конечном итоге и вылилось в Январское восстание 1863 года.

Итак, обратимся к процессу разделения Речи Посполитой во второй половине XVIII века.

РАЗДЕЛЫ ПОЛЬШИ, ГЕРЦОГСТВО ВАРШАВСКОЕ И ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (1772–1815)

Разделы Польши и Литвы в 1772, 1793 и 1795 годах были следствием той негативной политики в отношении Польши, что проводилась Российской империей на протяжении всего XVIII века с целью решительного и долговременного ослабления соседа и «кровного врага». При этом Россия, и Пруссия, и Австрия воспользовались политическим ослаблением шляхетской республики, которое отчасти явилось результатом Северной войны (1700–1721), но усугубилось прежде всего после Семилетней войны (1756–1763)²⁹.

На заключительной фазе Семилетней войны позиции противоборствующих сторон значительно изменились. Со смертью Елизаветы Петровны в 1762 году в российской внешней политике произошел решительный поворот по направлению к Пруссии. Петр III, горячий поклонник этой страны, без долгих разговоров прекратил конфликт с ней и отказался от всей прежней антипрусской стратегии России. Экспансия Российской империи на запад была отныне возможна только за счет земель все более хрупкой Польши. В выборной польской монархии после смерти короля Августа III главным вопросом повестки дня были поиски подходящего кандидата на трон. Екатерина II давала понять, что очень заинтересована в том, чтобы королем стал поляк, на которого легко было бы оказывать влияние. Выбор Екатерины и Фридриха II пал на польского дворянина Станислава Августа Понятовского, каковой и был коронован королем Польши в 1764 году под именем Станислава II³⁰.

Уже то сильнейшее влияние, которое соседние великие державы оказали на выборы польского короля, можно рассматривать как предварительную стадию раздела Польши. Кроме того, возможности самостоятельного политического действия у польского монарха были весьма ограничены в силу конституционно-правового принципа единогласия (*liberum veto*) при принятии решений сеймом. Поскольку Станислав II был представителем движения, выступавшего за конституционную реформу, уже очень скоро обострился конфликт

между ним и соседними государствами, которые стремились сохранить статус-кво, поскольку им был выгоден существовавший в Польше строй и обусловленная им слабость монархии. Все попытки Станислава устроить, в соответствии с принципами Просвещения и консенсуса, социальное и политическое сосуществование различных конфессий, представленных у него в стране, срывались при участии как российской, так и прусской сторон. Всякое внутривнутриполитическое обновление было заблокировано с помощью созданной в 1767 году Радомской конфедерации, составленной из шляхты, критически относившейся к реформе и выступавшей в защиту «золотой свободы», т. е. дворянских привилегий. Конституционный конфликт и разразившиеся беспорядки в Польше Санкт-Петербург использовал для усиления российского контроля над Речью Посполитой. В 1768 году Польша была вынуждена согласиться на заключение союза с Екатериной II, который понизил статус Польши до уровня российского протектората. Эффективно противодействовать этому процессу не могло и возникшее движение сопротивления растущему российскому влиянию – образованная в 1768 году Барская конфедерация³¹.

Окончательно дорогу к первому разделу Польши открыл международный конфликт. Победа России в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов обеспечила императрице Екатерине господствующее положение на Балканах, что означало вызов для Австрии. Внешняя политика Габсбургов еще с потери Силезии в 1740 году была направлена на территориальную компенсацию за счет Польши, и эта ее направленность усилилась в связи с произошедшим смещением баланса сил. Кроме того, геополитические интересы Пруссии, ориентированные на создание «перешейка» между Померанией и герцогством Пруссия, заставляли Гогенцоллернов также стремиться к отчуждению части земель Польского королевства. Инициатива проведения совместной стратегии, направленной на раздел Польши, начиная с 1770 года исходила в первую очередь от Пруссии. Екатерина поддержала созданный с такой целью альянс «трех черных орлов», вероятно, прежде всего для того, чтобы избежать прямого конфликта с Габсбургами в «восточном вопросе»³².

С 1771 года планы великих держав по разделу Польши стали приобретать все более конкретные очертания и в феврале 1772 года

привели к подписанию соответствующего российско-прусского, а в августе – российско-австрийского договора, по которым Польша и была в первый раз поделена между тремя соседями. По договорам к России отходили польско-ливонские, полоцкие и могилевские земли. Несмотря на то что Австрия не смогла реализовать свои притязания на возврат Силезии, в порядке компенсации ей досталась Галиция, включавшая «Червонную Русь», части Сандомира и Краков. Поскольку Россия отказалась от расширения своих владений на юго-восток за счет Молдавии и Валахии, Мария-Терезия отошла от прежней конфронтационной политики и одобрила первый договор о разделе. Пруссия получила Вармию и Западную Пруссию, но без Гданьска. Отторгнутые земли, общей площадью 220 тыс. кв. километров, составили около трети территории Польши³³.

Хотя при первом отторжении польских земель еще не существовало никакого плана полного разгрома польской государственности, все же динамика событий была направлена именно в эту сторону. Не только территория Польши была урезана, но и самое существование последней было уже под угрозой, и чем больше ее политическая элита была готова к внутренним реформам, тем больше трем соседним державам казалось, что новые территориальные требования – это удачный способ поддерживать Польшу в состоянии агонии. К тому же заключением альянса ради первого ее раздела стратегическое соперничество между Россией, Австрией и Пруссией было только отодвинуто на второй план, но никоим образом не устранено. Во многом в результате присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году российско-османские противоречия превратились в общеевропейский «восточный вопрос», который – поскольку теперь и Англия все более настороженно относилась к экспансионистским устремлениям России, видя в них вызов, – заключал в себе значительный потенциал для большой войны. Соблазн же для Петербурга реализовать свою экспансию вновь в Польше, а не в Причерноморье усиливался не в последнюю очередь из-за сравнительно невысоких и предсказуемых внешнеполитических рисков, связанных с подобным предприятием³⁴.

Решающим фактором, предопределившим решение о втором разделе Польши в 1793 году, стало, однако, принятие реформированной польской Конституции 3 мая 1791 года. В глазах Екатерины она

представляла собой афронт для России сразу по нескольким причинам. Во-первых – считалась вызывающе «якобинской», опасно приблизила дух Французской революции 1789 года к российским рубежам. Но главное – эта Конституция грозила положить конец внутривластическому параличу Речи Посполитой, а значит, и вмешательству России в ее дела³⁵.

Конституционная реформа 1791 года стала кульминацией процесса обновления польской государственности, начатого после раздела 1772 года. Польская Конституция – первый кодифицированный основной закон в Европе и второй, после Конституции США, в мире – была основана на принципе народного суверенитета, сформулированном Ж.-Ж. Руссо, и на идее разделения властей. Кроме того, она предусматривала усиление исполнительной власти, а в обеих палатах парламента решения должны были приниматься большинством голосов. Таким образом, принцип *liberum veto*, который прежде давал каждому депутату сейма возможность блокировать законодательство, был отменен. Отменялось и деструктивное право создания конфедераций, которое прежде обостряло внутренние политические конфликты. Важно также, что по Конституции была усилена роль армии в качестве гаранта самостоятельной политики как внутри страны, так и вовне. Армия должна была стать постоянной, формироваться «как вооруженная и упорядоченная сила, составленная из общей мощи нации»³⁶.

Такой конституционно-монархический строй нес угрозу для абсолютизма во всех трех державах, но прежде всего в Пруссии и России. На фоне Французской революции весьма реальной представлялась угроза дальнейших переворотов. Особенно Екатерина II опасалась распространения конституционалистских и республиканских идей, возникших во Франции. Поэтому неудивительно, что российская императрица исключительно агрессивно выступила против польской Конституции. Как утверждают, она назвала ее французской заразой на Висле и поделкой, какой не выдумало бы и французское Национальное собрание³⁷.

Таким образом, вмешательство российской царицы во внутривластический конституционный конфликт было лишь вопросом времени. Главным приоритетом для Санкт-Петербурга оставалось сохранение доминирующего положения России по отношению к Речи

Посполитой. То, что Россия не вторглась в Польшу еще в 1791 году, было связано с Русско-австрийско-турецкой войной (1787–1792). К тому же в первую очередь необходимо было создать альянс с Австрией и Пруссией для сдерживания Французской революции. Однако после заключения мира с Османской империей в 1792 году Екатерина II твердо вознамерилась вмешаться в польский конституционный конфликт. Была достигнута договоренность с Пруссией, а польскими магнатами в Санкт-Петербурге была создана Тарговицкая конфедерация, открыто направленная против Конституции 1791 года. Последовала скоротечная война между Россией и Польшей. Официально Петербург обосновывал свою интервенцию тем, что Четырехлетний сейм нарушил Конституцию и договор: ввел реформы, незаконно и без согласования с Россией, Пруссией и Австрией отменившие охраняемые Россией кардинальные права, такие как *liberum veto*. После быстрой капитуляции польского короля были отменены не только все реформы, одобренные сеймом, прежде всего Конституция 3 мая 1791 года: помимо этого, конфликт привел и к следующему российско-прусскому договору о новом разделе Польши³⁸.

Этот второй раздел имел катастрофические последствия для территориального состава Польши, поскольку теперь ее потери были намного серьезнее, чем в 1772 году. Важные города Гданьск и Торунь, равно как и вся Южная Пруссия с Познанью и Калишем, перешли во владения Гогенцоллернов. Приобретения России по площади были значительно крупнее: Екатерина аннексировала Киевскую, Минскую, Подольскую губернии и часть Волыни. По сравнению с первоначальным размером Польши до 1772 года к 1793-му почти две трети территории государства оказались отделены от нее тремя великими державами³⁹.

После второго раздела до окончательного разгрома независимой польской государственности оставался лишь маленький шаг. Восстание Костюшко в 1794 году и его подавление ускорили этот процесс. Восстание было отчаянной попыткой дать отпор чужеземному господству. Поскольку польская армия после второго раздела была сокращена до 15 тыс. человек, надеяться можно было только на общенациональное народное восстание — на то, что оно сумеет остановить грозящее окончательное расчленение Польши. Вождь этого

восстания, Тадеуш Костюшко, который участвовал в американской Войне за независимость, в марте 1794 года был провозглашен в Кракове диктатором и объявил «борьбу за свободу, целостность и независимость» Речи Посполитой⁴⁰.

Польская революционная война была организована с помощью всеобщей воинской повинности (по образцу французского *levée en masse* [фр. «народное ополчение». – *Примеч. ред.*]) в сочетании с использованием обычных вооруженных сил. Чтобы заручиться поддержкой крестьян, Костюшко сделал ставку на социальное законодательство, гарантировавшее им право пользования землей, а также снижение и унификацию их повинностей. Благодаря этому многие крестьяне добровольно присоединились к войскам повстанцев, образуя отряды «косинеров». Одновременно были сформированы «городские гражданские ополчения». Таким образом, Костюшко смог мобилизовать поддержку различных групп населения и объединить носителей самых разных интересов.

Тем не менее дело повстанцев было безнадежным – ввиду бесспорного военного преимущества великих держав. Как и следовало ожидать, восстание не только спровоцировало интервенцию со стороны России и Пруссии, но и укрепило позиции сторонников тотального разгрома Польского государства. Российская императрица сначала отдавала предпочтение идее полной интеграции последнего – точнее, того, что от него осталось, – в состав Российской империи, но это вызвало протесты со стороны Пруссии. Поэтому в июле 1794 года Екатерина согласилась на переговоры о разделе, которым после разгрома восстания и ареста Костюшко в октябре 1794 года уже никто не мог помешать⁴¹.

После того как предложение России полностью и в одностороннем порядке аннексировать остатки Польского государства было отвергнуто, интерес царицы сосредоточился на том, чтобы и при трехстороннем разделе все же заполучить как можно более крупную территорию. С этой целью в январе 1795 года Петербург заключил двустороннее соглашение о разделе Польши с Австрией, в котором смог обеспечить выполнение своих далекоидущих территориальных притязаний. То доминирующее положение, какое России удалось таким образом приобрести, царица в дальнейшем использовала, чтобы не допустить увеличения прусской доли. Соперничество Австрии

и Пруссии – их интересы в принципе были противоположны – дополнительно усилило этот эффект. Итак, Россия доминировала в альянсе, делившем Польшу в третий раз; прусская позиция была ослаблена по сравнению со вторым разделом и в конечном итоге оказалась менее успешной, в то время как Австрия была прежде всего озабочена восстановлением нарушившегося европейского равновесия сил. Соответственно этому и территориальные приобретения трех держав оказались различны. Россия получила наибольшую долю – Литву, Австрия включила в свой состав Западную Галицию, а Пруссия аннексировала так называемую Новую Восточную Пруссию. В ноябре 1795 года короля Станислава II принудили отречься от престола, и тем польской выборной монархии был положен конец, а после завершения в том же году раздела территорий Польша как государство была полностью стерта с политической карты Европы⁴².

Итоги российской экспансии 1772–1795 годов выглядели вполне удовлетворительными, с точки зрения Петербурга. Ковно, Вильна, Витебск, Гродно, Минск, Могилев, Волынь, Подолия и районы, лежащие непосредственно к западу от Киева, стали частью Российской империи. Это расширение территории России в западном направлении стало, несомненно, результатом сочетания «негативной польской политики» «союза трех черных орлов» с одной стороны и динамики внутripольского конфликта, разрушавшего хрупкую и в то же время готовую к реформам шляхетскую Речь Посполитую, – с другой. Но вместе с тем это расширение российской территории являет собой и следствие традиции, даже можно сказать – логики имперской экспансии, которая отличала Российскую державу на протяжении веков. Ведь установление гегемонии Москвы или Петербурга над соседними территориями традиционно приводило к включению этих территорий в состав Российского государства и лишь в исключительных случаях – к складыванию других моделей косвенного управления ими как протекторатами. Со времен Петра Великого, если не раньше, расширение территории государства составляло одну из основ легитимности императорского дома и, начиная с Северной войны, стало направляться на запад⁴³.

Поэтому оккупация и интеграция польских территорий не были чем-то новым для петербургских правителей и при последующем построении системы имперского управления новоприобретенными

землями они прибегали к знакомым схемам. Как и в случае с прибалтийскими провинциями, инкорпорация Польши сначала происходила путем кооптации местной лояльной знати в российское дворянское сословие. Еще Екатерина использовала этот проверенный интеграционный механизм домодерной полиэтнической империи; Александр I данный процесс форсировал⁴⁴.

И все же «восточные территории» бывшей Речи Посполитой представляли особый случай. Вероятно, в ответ на мощное негативное эхо, которым европейская общественность отреагировала на первое в истории полное уничтожение крупного европейского государства, российские авторы изображали присоединенные территории как исконно русские земли. Поэтому на них проводилась такая интеграционная политика, которая на протяжении всего XIX века отличалась от политики в отношении польских «основных провинций», узурпированных Санкт-Петербургом по результатам Венского конгресса. Это было сознательной программой, и потому российская интеграционная политика в западных губерниях характеризовалась принципиальным внутренним противоречием. С одной стороны, Петербург шел по пути кооптации элиты, но с другой – также делал ставку на расширение государственных институтов и сфер принятия решений, что для польского дворянства было равносильно недопустимому вмешательству извне. Эта амбивалентность регулярно вызывала напряженность и множество конфликтов при символической интеграции шляхты, при государственной регистрации дворянства и происходившем при этом понижении дворянских титулов. Тем не менее следует отметить, что и Екатерина II, и Павел I, и прежде всего Александр I в своей польской политике руководствовались в принципе прагматическими соображениями, которые при возникновении проблем диктовали выбор в пользу сотрудничества с местными элитами, а не форсированной экспансии государства⁴⁵.

Тот факт, что такая интеграционная политика Александра I, отмеченная неискоренимыми противоречиями, могла оказаться эффективной и инициировать удивительные реформы, объясняется не только либерализмом молодого царя. Князь Адам Ежи Чарторыйский как представитель фракции польского дворянства, лояльной царю, принадлежал к ближайшему кругу друзей и советников Александра и умел использовать свои возможности для расширения польской

автономии. Чарторыйский был с 1804 года министром иностранных дел Российской империи и сыграл значительную роль в разработке концепций создания независимого Польского королевства, которое должно было быть связано с царским домом личной унией. Одновременно – вероятно, благодаря влиянию Чарторыйского же – в концепцию общеимперской образовательной реформы 1802–1804 годов были перенесены основные принципы Образовательной комиссии, действовавшей в Речи Посполитой; согласно этой концепции империя была поделена на шесть учебных округов. Сам Чарторыйский в качестве куратора Виленского учебного округа впоследствии способствовал развитию образования в западных губерниях. Здесь, с дозволения Александра, он создал в значительной степени полонизированную школьную систему и реорганизовал Виленский университет в польскоязычное высшее учебное заведение. Такое российское владычество для части польского дворянства не было лишено привлекательности, особенно после того, как надежды на восстановление независимой, объединенной Польши оказались разбиты. Также свою роль, несомненно, сыграл опыт, говоривший, что у восстания, подобного тому, какое поднял Костюшко, шансов на военную победу нет⁴⁶.

Движение в этой ситуации было инициировано извне. Наполеон, одержав победу над Пруссией и Австрией, объединил польские земли, захваченные ими, в Герцогство Варшавское, создав таким образом новое Польское государство. В Тильзитском мирном договоре и во франко-прусском соглашении 1807 года было предусмотрено такое государственное образование, которое – по крайней мере, на бумаге – выглядело весьма впечатляющим. Оно было оснащено некоторыми французскими «экспортными товарами» того времени, такими как конституция, раздел властей и гражданский кодекс. Очень быстро была создана польская администрация во главе с бывшим маршалом Четырехлетнего сейма Станиславом Малаховским, которому подчинялась временная правительственная комиссия, состоявшая из четырех человек. После принятия Конституции в июле 1807 года его сменил на посту председателя Совета министров Станислав Потоцкий. Герцогом, управлявшим этой наполеоновской Польшей, где изначально проживало более 2,5 млн человек, был назначен саксонский курфюрст Фридрих-Август III. Тот факт, что Наполеон летом 1807 года ввел

в Герцогстве Конституцию, продиктованную им лично, не соответствовал ожиданиям польского правительства, которое задумывалось о возобновлении Майской конституции 1791 года. Некоторые из этих конституционных и гражданско-правовых нововведений, отличавших Герцогство Варшавское, сохранили свое значение и после 1815 года, когда Польша вновь оказалась под русским сюзеренитетом. Так, Конституция 1815 года частично была основана на французской, а наполеоновский Гражданский кодекс даже оставался в силе до 1915 года⁴⁷.

Тем не менее Герцогство Варшавское оставалось государством по милости Бонапарта, и быстро стало слишком очевидно, что оно выполняет прежде всего функцию плацдарма и резерва ресурсов для Великой армии, собираемой Наполеоном на Висле для его похода против России. И хотя борьба польских легионов за Французскую республику и наполеоновскую империю на полях сражений Европы могла стимулировать мифотворчество, прозаическое создание Герцогства Варшавского мало подходило для подобных проекций. Это было связано также с балансом власти в нем: фактически правил в Варшаве не герцог, а французский посол. Много энергии было направлено на строительство армии, во главе которой первоначально должны были встать генералы прежней польской армии – Юзеф Зайончек и Ян Генрик Домбровский. 96 тыс. польских солдат – т. е. самый большой контингент после войск Франции и Рейнского союза – участвовали в походе на Россию в составе Северного легиона. Кроме того, поскольку Герцогство Варшавское служило главным плацдармом для начала кампании 1812 года, а солдат Великой армии нужно было кормить и снабжать всем необходимым, казна ее вскоре была опустошена.

Неудивительно поэтому, что французское правление в Герцогстве Варшавском в глазах значительной части польского дворянства быстро привело к разочарованию в близости к Наполеону как партнеру по альянсу. Катастрофа, ожидавшая французов в России, коснулась самым непосредственным образом и польского контингента в составе Великой армии: только 24 тыс. из почти 100 тыс. польских солдат вернулись из похода на Москву. После того как русская зима принесла поражение Наполеону, влиятельные круги польской элиты быстро нашли в себе готовность вступить в переговоры с Александром I. Поэтому, когда

последние оставшиеся верными Наполеону польские войска во главе с Юзефом Понятовским еще сражались за отступающего Бонапарта, переговоры о передаче территориального ядра Герцогства Варшавского под русское господство уже состоялись. Когда Александр I вместе со своим бывшим министром иностранных дел Адамом Чарторыйским в 1814 году отправился на Венский конгресс, он смог представить партнерам по переговорам детально проработанный проект по созданию Царства Польского – проект, основанный не только на военной мощи российской армии, но и на поддержке со стороны некоторых влиятельнейших польских дворянских семей. Особенно консервативный, «белый» лагерь магнатов был готов сотрудничать с Россией в качестве новой/старой метрополии. Для России же возможность сослаться на то, что внутри Польши существует мощная фракция, поддерживающая притязания Петербурга, означала серьезное укрепление базы для переговоров на Венском конгрессе. Решения этого конгресса не только определили общеевропейский порядок посленаполеоновского периода, но и, прежде всего, закрепили для территории прежней польской аристократической республики то состояние территориальной разделенности, которое просуществовало вплоть до Первой мировой войны.

В Вене Александру отнюдь не удалось реализовать свою программу-максимум по решению «польского вопроса» в том ключе, какой отвечал бы его пожеланиям: противодействие со стороны Каслри или Меттерниха в этом вопросе было слишком сильным. Поэтому господство Австрии и Пруссии над значительной частью территорий, оккупированных ими в 1772–1795 годах, было конгрессом подтверждено. И все же создание Царства, самостоятельного, но связанного личной унией с российским императором, стало дипломатическим успехом русской делегации. Планы Александра I и Чарторыйского оказались убедительны для их партнеров по переговорам постольку, поскольку британская и австрийская стороны также хотели, чтобы устанавливаемый новый порядок сохранял свою стабильность в долгосрочной перспективе⁴⁸.

В результате на Венском конгрессе был закреплён «четвертый раздел» Польши. Районы старой польско-литовской Речи Посполитой – за исключением Кракова, который в договоре фигурировал как «вольный город» со своей собственной Конституцией, – разделялись,

как и до 1807 года, между Пруссией, Австрией и Россией. Российская часть Польши теперь включала 82% территории бывшей шляхетской республики, и еще более 3,3 млн поляков стали новыми подданными царя в качестве жителей Царства Польского. Это царство – хотя и было немного меньше, чем наполеоновское Герцогство Варшавское, – после 1815 года также включало города Варшаву, Калиш, Люблин и Плоцк, заходя в южном и западном направлениях далеко на центральные польские земли⁴⁹.

Очень большое значение имело и то, что в Венском трактате речь шла не только о государственной принадлежности разделенных польских территорий. Как справедливо подчеркнул Ханс-Хеннинг Хан, особенно важно было то, что и правовой их статус тоже был закреплён в договоре, и это имело значительные последствия. Благодаря этому и определенные польские претензии оказались отражены в Венском трактате: Царство Польское получило политически автономный статус и было однозначно названо «государством». Это «государство с особым управлением» должно быть связано с Россией через личную унию с русским царствующим домом. Кроме того, конституция Царства Польского, которой еще только предстояло быть написанной во всех подробностях, прямо определялась как часть договора. В то же время, однако, было проведено четкое различие между этим государственным новообразованием и другими территориями на востоке, отошедшими к России. Возможное в последующем присоединение старых польских восточных территорий к Царству *не* регулировалось Венским трактатом и оставалось обещанием, которое Александр несколько раз давал, но так и не выполнил⁵⁰.

В целом решения по «польскому вопросу», принятые в Вене, были отнюдь не однозначны. С одной стороны, старая Речь Посполитая в границах 1772 года уже не представляла собой политического единства. С другой стороны, она несколько раз упоминалась в тексте договора и вся совокупность польских земель все еще выступала в определенных областях – особенно в экономических вопросах – в качестве системы отсчета. Кроме того, трактат заключал в себе не только положение о границах, но и правовые положения. Казалось бы, договаривающиеся стороны исходили из *государственного* принципа, в соответствии с которым международно-правовой статус, а также государственно-правовая форма нового Царства Польского были

относительно четко сформулированы. Но, с другой стороны, в некоторых положениях (*политико-)*национальный принцип тоже учитывался – при заключении соглашений, которые должны были применяться ко всем жителям бывшей Речи Посполитой до 1772 года. Пассажи, посвященные межгосударственному единому (польско-литовскому) экономическому пространству, были здесь уступкой представлениям поляков о единой – существующей поверх границ – нации. В силу того, что в трактате были представлены и государственный, и национальный принципы, этот договор открывал пространство для интерпретаций, где были возможны очень противоречивые толкования, и тем самым программировался будущий польско-российский конфликт⁵¹.

Однако с российской точки зрения это не выглядело противоречием, поскольку, как представлялось петербургским властям, в постановлениях Венского конгресса были зафиксированы две вещи: во-первых, постоянное подчинение Польши российскому трону казалось гарантированным, поскольку не было никаких сомнений в том, кто будет играть главную роль во вновь создаваемом Царстве Польском. Во-вторых, прежние польско-литовские восточные территории международное сообщество косвенно тоже признало теперь российской территорией: это выразилось в том, что связь Царства Польского с данными районами *не* была сделана предметом договоров, заключенных в Вене. Таким образом, с российской точки зрения все было ясно. «Конгрессовая Польша» представляла собой то, что было связано с традицией польской государственности, а «западные губернии» отныне принадлежали к основной территории Российской империи, к той, которая все больше и больше изображалась теперь как «исконно русская» земля. И действительно, создание Царства Польского привело к тому, что его территории, расположенные в Центральной Польше, и «старые восточные» земли начали после 1815 года быстро развиваться в разных направлениях. Управленческие практики Петербурга в западных губерниях были таковы, что – вопреки всем обещаниям единого экономического пространства – эти земли в последующие годы все заметнее и заметнее отличались от Конгрессовой Польши⁵².

К тому, как после 1815 года развивалась ситуация в новом Царстве Польском, мы и обратимся в следующем разделе.

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ МЕЖДУ ВЕНСКИМ КОНГРЕССОМ И НОЯБРЬСКИМ ВОССТАНИЕМ (1815–1831)

Царство Польское было наделено далекоидущими привилегиями, которые казались немыслимыми для внутренней России, и это подчеркивало его государственную самостоятельность. Прежде всего, то была разработанная с участием Чарторыйского в 1815 году Конституция: она гарантировала Польше особый статус и сделала ее «опытным полем» для конституционных реформ Александра I⁵³. Конституция подчеркивала государственный суверенитет Конгрессовой Польши и предусматривала для нее правительство в виде Государственного совета, назначаемого монархом, и парламент – сейм, состоявший из палаты депутатов, члены которой избирались от провинциальных и муниципальных палат, и сената, члены которого назначались монархом. Сейм должен был собираться каждые два года и заседать в два раза дольше, чем во времена Герцогства. Согласно избирательному законодательству, более 100 тыс. граждан имели право голосовать, т. е. в Польше электорат был больше, чем во Франции в то время, однако это право все же оставалось монополией имущих классов.

Конституция закрепила «вечную» личную унию, по которой русский царь был польским королем. В этом качестве он возглавлял Государственный совет, однако собственно правительственной работой совета руководил наместник, которого назначал царь и которому были подчинены пять министров, тоже назначаемых царем. Деятельность правительства осуществлялась пятью комиссиями, работавшими весьма активно, особенно в области содействия образованию и экономическому развитию. Царь в качестве польского короля также председательствовал в сейме. Обе палаты сейма через три комиссии участвовали в законотворчестве с правом совещательного голоса. В то время как сенат состоял из членов магнатского сословия и царской семьи, избираемая палата депутатов оказалась форумом оживленного обмена мнениями и идеями⁵⁴.

В восьми провинциях Царства Польского сохранялся коллегиальный принцип управления. Провинциальные комиссии возглавлял президент (которого назначал царь), а провинциальные и муниципальные собрания направляли избранных представителей в советы провинций. Города управлялись городскими советами, сельские общины – войтами. Кроме того, в Царстве Польском имелся собственный Верховный суд, половину членов которого составлял сенат, а половину – лица, назначаемые царем. Введенный Бонапартом еще в Герцогстве Варшавском Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) был сохранен в качестве кодекса гражданского права. Наряду с этим в Конституции были подчеркнуты главные гражданские свободы, такие как свобода мнений и вероисповедания, защита собственности, равенство перед законом и защита от произвольного ареста.

И последнее, но не менее важное: царь гарантировал новому государству собственную, польскую армию, которая, правда, находилась под верховным командованием его брата, великого князя Константина, однако царь по крайней мере обещал, что ее солдаты будут использоваться только на европейских театрах военных действий. Для репрезентации особого положения Польши существование собственной армии имело центральное значение.

Подчеркнутая государственная самостоятельность, которую, как казалось, гарантировала Конституция, в первые годы после Венского конгресса была дополнена символической политикой примирения. Александр очень старался многочисленными примирительными жестами привлечь к строительству нового государства под своей верховной властью широкие слои польской аристократии. Административное деление следовало традиционной структуре польских воеводств, а чиновничий аппарат составлялся исключительно из местных, польских кадров. В 1815 году князь Юзеф Зайончек стал первым наместником и, тем самым, главой Государственного совета. Таким образом, в качестве официального представителя русского царя и в качестве главы польского правительства выступал человек, который еще недавно в чине генерала участвовал на стороне Наполеона в войне против России. С другой стороны, это назначение показывает, что царь больше не хотел давать сильную позицию Чарторыйскому, который к тому моменту утратил, по крайней мере частично, былое безграничное доверие Александра.

Вместе с тем регулярное присутствие царя в Варшаве свидетельствовало о том, насколько важны были на этом этапе польские дела для центра. Каждый визит самодержца служил демонстрации автономии Царства Польского. Во время пребывания в Варшаве Александр отдельно короновался как польский король, принял присяги от польских сословий, гарантировал права, закрепленные в Конституции, и лично открывал сессии сейма⁵⁵.

Самостоятельность Царства Польского была также подчеркнута созданием Варшавского архиепископства. Когда традиционные границы диоцезов после 1815 года меняли в соответствии с новыми политическими границами, исчезла прежняя функция примаса Польши, которую ранее выполнял архиепископ Гнезно, стоявший, таким образом, выше остального польского епископата. Теперь же в Гнезно-Познани, Львове и Варшаве находились равноправные епархии, что для Варшавы означало существенное повышение ее статуса в церковной иерархии. Среди мер, подчеркивавших польскую автономию, не последнюю роль играло и основание в 1816 году Варшавского университета: с одной стороны, оно должно рассматриваться как продолжение образовательных реформ Александра, с другой –

Петербург этим актом сигнализировал, что местные интересы и устремления поляков в области образования и развития имели для него первостепенное значение, поэтому Александр почтил вновь созданный университет своим личным присутствием на церемонии открытия. В последующие годы комиссии польского правительства именно в педагогической сфере развили особенно бурную деятельность. Прежде всего благодаря председателю Комиссии исповеданий и народного просвещения Станиславу Костке (в русском обиходе – Станиславу Евстафьевичу) Потоцкому в первые пять лет после Венского конгресса была проведена огромная работа в области как университетского, так и общего образования. Ревностный реформатор и масон, Потоцкий оставался в должности почти до самой смерти и вложил значительные средства в развитие системы начальных школ. Однако едва ли в какой-либо другой сфере правительственной деятельности так явно, как в вопросах образования и религии, можно было увидеть, что польское общество характеризовалось глубоким антагонизмом между реформаторами, продолжавшими традиции Просвещения и Конституции 3 мая, и консервативными силами,

которые пользовались поддержкой в среде высших церковных сановников и иезуитов. После того как в 1821 году Потоцкий умер, во главе Министерства просвещения встал Станислав Грабовский – представитель консервативного крыла. Вслед за этим в деле массового образования произошел резкий спад и наступил общий развал учебных заведений⁵⁶.

Напротив, действия министров финансов и промышленности оказали гораздо более устойчивое влияние на социальное и экономическое развитие Царства Польского. Созданная в 1816 году Главная горнопромышленная дирекция сначала попробовала свои силы на локальном уровне, в поддержке добычи угля в Домброве, а затем министр промышленности Станислав Сташиц возвел меркантилизм в ранг правительственной доктрины. Сташиц, который был также президентом влиятельного Варшавского общества друзей наук (Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk), по праву считается одним из самых активных просветителей и реформаторов первых лет после Венского конгресса⁵⁷. Начиная с 1821 года министр финансов Францишек Друцкий-Любецкий стал проводить обширную реформу национальной экономики. Некоторое время он занимал ключевое положение в правительстве, практически не встречая противодействия со стороны Зайончека, и в результате Министерство промышленности утратило свое значение.

Активная, интервенционистская экономическая политика Друцкого-Любецкого привела к тому, что в ключевых областях и отраслях – таких, как добыча полезных ископаемых, производство текстильных изделий и металлообработка, – произошло быстрое оживление промышленности. Он добился снижения российских таможенных тарифов для Польши и в то же время проводил протекционистскую политику в отношении Австрии и Пруссии, за счет чего гораздо больше привязал Польшу к Российской империи. Министр финансов успешно боролся за сбалансированный бюджет, и при его участии после нескольких лет переговоров с Пруссией и Австрией было достигнуто списание долгов Польши. Но не только это способствовало буму инвестиций в Царстве Польском. Основание польского государственного банка по инициативе того же министра открыло новый простор для маневра. Государственный банк предоставлял кредиты предпринимателям, желавшим инвестировать

капиталы в Польше, а также сам вкладывал деньги, особенно в области инфраструктуры.

Кроме того, министр финансов прекрасно понимал важность образования. Ему приписывают утверждение, что Польше нужны три вещи: торговля, промышленность и школы. И действительно, он выступал за расширение сети школ и за создание высшего учебного заведения для преподавания прикладных наук. Открытие в 1828 году в Варшаве Политехнического института означало не только то, что теперь можно готовить необходимый технический персонал для растущей промышленности: деятельность этого образовательного учреждения привела и к общей активизации культурной жизни Варшавы и – в среднесрочной перспективе – к дифференциации интеллектуального ландшафта Царства Польского. Таким комплексом мер Друцкий-Любецкий заложил основы той позднейшей промышленной революции, которая сделала Царство Польское одним из наиболее экономически развитых регионов Российской империи в целом⁵⁸.

Нигде эти новые экономические процессы не проявлялись более впечатляющим образом, нежели в провинциальной Лодзи и столичной Варшаве.

Город Лодзь, построенный на земле короны, благодаря целенаправленной поддержке промышленности за десятилетие превратился из деревни, где было всего лишь 800 жителей, в центр текстильной индустрии с почти десятитысячным населением. Этим была заложена основа для его развития, в ходе которого «Восточный Манчестер» к исходу XIX века стал вторым по величине городом в Царстве Польском и одним из важнейших промышленных центров всей Российской империи.

Одной из особенностей Лодзи была ее многонациональность и многоконфессиональность. Уже в 1820-е годы здесь поселилось несколько немецких сукноделов, построивших сеть прядилен для производства хлопчатобумажных и льняных тканей. Самыми богатыми и известными среди них стали Кристиан Фридрих Вендиш и, особенно, Людвик Гейер, а в 1850-е годы появились крупные производители Карл Вильгельм Шайблер и Юлиус Шварц. Благодаря быстрому расширению фабрик и притоку немецких рабочих к 1839 году немцы составляли уже до 80% населения города. Чуть позже в Лодзи

сформировалась еврейская община, значение которой особенно возросло после того, как в 1848 году вышло официальное разрешение на строительство фабрик. В 1834 году Кальман Познанский поселился здесь со своей семьей и быстро вошел в число самых богатых местных торговцев. В 1852 году он передал свои дела в Лодзи младшему сыну, Израэлю, который в последующие годы стал одним из крупнейших еврейских предпринимателей, фабрикантов и филантропов во всем Царстве Польском. Хотя быстрое развитие крупных предприятий и расширение индустриального текстильного производства с применением паровых машин приходится на вторую половину XIX века, все же основы для экономического подъема Лодзи и превращения ее в промышленный мегаполис были заложены еще до Ноябрьского восстания (1830–1831)⁵⁹.

Варшава тоже сильно выиграла от политики Государственного совета, направленной на концентрированную поддержку предпринимательства. Символическим оформлением этого экономического подъема стало открытие Варшавской биржи ценных бумаг, но замечен он был и в увеличении городского бюджета и значительном приросте населения Варшавы: за период с 1816 по 1830 год муниципальный бюджет увеличился в восемь раз, а численность населения к 1827 году составляла уже 120 тыс. человек, причем начала меняться его социальная структура, поскольку Варшава была теперь не только административным, но и промышленным центром – особенно интенсивно развивались обработка черных металлов и текстильная промышленность. Уже в первой половине XIX века в Варшаве и Лодзи наметились те социальные изменения, в ходе которых они все больше превращались в места проживания и трудовой деятельности растущего рабочего класса.

В то же время происходило превращение Варшавы в культурную столицу Царства Польского. В городском пейзаже начали доминировать крупные административные здания, театры и банки, выстроенные в стиле классицизма; были проложены новые улицы и аллеи, возникли просторные площади. Среди прочих выделялось, конечно, здание Большого театра, строительство которого началось в 1825 году под руководством Антонио Корацци: в то время это был один из самых вместительных театров Европы. Другим знаком нового культурного оживления была консерватория, открытая в 1821 году. И не

в последнюю очередь следует упомянуть польскую систему образования, которая особенно процветала в Варшаве благодаря созданным там высшим учебным заведениям. Помимо университета, располагавшегося на улице Краковское Предместье, в столице Царства Польского с 1828 года существовал Политехнический институт и весьма активно действовало упомянутое выше Общество друзей наук, руководимое Станиславом Сташицем. В 20-е годы он предоставил Обществу отдельное здание рядом с университетом – так называемый дворец Сташица, перестроенный в неоклассицистском стиле и расширенный тем же Антонио Корацци. В этом внушительном здании собиралось около 200 членов Общества, регулярно проходили публичные доклады, редактировались наиболее важные печатные органы Общества – «Ежегодник» (*Roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*) и «Варшавская хроника» (*Pamiętnik Warszawski*) – и находилась самая большая публичная библиотека в городе. Когда в 1830 году преемник Сташица, Юлиан Урсин Немцевич, открыл памятник Копернику на площади перед зданием, это было мощным выражением польского культурного самосознания. Именно в этой атмосфере духовного пробуждения и подъема жил и творил молодой Фредерик Шопен⁶⁰.

Даже сельское хозяйство, традиционно проблемная отрасль местной экономики, в период подъема после 1815 года характеризовалось по крайней мере частичным ростом. Исходное его состояние было самым жалким. Только около 34% земли фактически обрабатывалось крестьянами. В аграрном секторе ощущалась острая нехватка капиталов – цены на зерно были низкими, а кредитные учреждения практически отсутствовали. Обремененная высокими податями, значительная часть крестьянства была вынуждена вести натуральное хозяйство и, таким образом, не участвовала в рыночном обороте. Если учесть, что крестьяне составляли примерно 80% от общей численности населения, это было серьезным препятствием для экономического развития.

Государство являлось крупнейшим землевладельцем в Царстве Польском: около 1/5 возделываемой земли и значительная часть лесов принадлежали ему. Тем важнее было то, что правительство сделало выбор в пользу инноваций. Среди прочих мероприятий следует отметить создание Земельного кредитного банка в 1825 году,

улучшение сельской транспортной инфраструктуры, мероприятия в области животноводства и расширение площадей под посадки картофеля и сахарной свеклы – все это вело к увеличению инвестиций и росту урожаев. Начала развиваться сельскохозяйственная промышленность, особенно сахарорафинадные и ликеро-водочные заводы, что привело к увеличению доходов и к общей экономической активизации, по крайней мере в среде землевладельческой знати. Но более долгосрочные планы по продаже коронной земли единоличным собственникам-крестьянам реализовать не удалось, и вообще в крестьянском вопросе и связанном с ним вопросе о дворянских привилегиях никаких реформ проведено не было.

В целом экономическая политика Друцкого-Любецкого может быть охарактеризована как вполне успешная: она обеспечила Царству Польскому значительный экономический рост и мощный модернизационный импульс. Вместе с тем меры, принимаемые этим министром, отнюдь не у всех вызывали согласие. В то время как консервативный лагерь оказывал сопротивление реформам прежде всего в сельскохозяйственном секторе и в деле улучшения положения крестьянства, представители либерального лагеря критиковали возросшую экономическую зависимость Польши от Российской империи. Кроме того, Друцкий-Любецкий со своей дирижистской и интервенционистской политикой регулярно нарушал действующее право и закрепленные в Конституции полномочия сейма. Оппозиция из западной части страны, занимавшая либеральную точку зрения на экономику, все более и более открыто выступала против линии, проводимой министром финансов.

В общей сложности ни самостоятельность Царства Польского, предоставленная ему Конституцией 1815 года, ни поразительные экономические и образовательные достижения Государственного совета не способствовали долгосрочной политической стабилизации. Вскоре стало очевидно, что модель польской конституционной монархии в личной унии с русским царем имеет небольшой потенциал развития: взаимное недоверие и неудовлетворенность по поводу статус-кво были сильны как с польской, так и с российской стороны. Внутри польской знати сохранялась старая оппозиция между «красным» лагерем средней и низшей шляхты и «белым» лагерем высшей аристократии. Только последний был готов сотрудничать с Пруссией, Австрией и Россией

в долгосрочной перспективе, тогда как первый все сильнее проникался духом общеевропейской революционной эйфории, достигшей своей кульминации в 1848 году. Еще в 1819-м императорский наместник в Польше был вынужден, ввиду усилившейся критики в адрес работы правительства, ввести цензуру для прессы. Для мира средств массовой коммуникации в Варшаве, процветавшего предшествующие пять лет, это стало большим ударом. В 1820 году, на втором заседании сейма, либеральная оппозиционная группа из Калиша во главе с братьями Бонавентурой и Винцентом Немоевскими подвергла правительство жестокой критике. Немоевские осуждали произвол властей и их попытки заставить замолчать сейм и общественное мнение. Кроме того, братья настаивали на праве сейма высказывать недоверие министрам⁶¹.

Хотя эта критика вовсе не была направлена лично против монарха, Александр I, незнакомый с культурой парламентских дебатов, воспринял подобные выступления как афронт в свой адрес и нападки на престол. Возмущенный, он предоставил Константину широкие полномочия, позволявшие тому игнорировать некоторые статьи польской Конституции. Немедленно последовали и карательные меры: братья Немоевские потеряли депутатские мандаты, воеводская комиссия в Калише была распущена, а сессии парламента — приостановлены на несколько лет. И еще целый ряд мер указывал на консервативный поворот: Потоцкий был выведен из Комиссии исповеданий и народного просвещения, его преемником стал Николай Новосильцев, а внеконституционная позиция Константина была значительно усилена. На следующее заседание сейма, состоявшееся в 1825 году, возможные протестующие допущены не были, а публичные дискуссии были запрещены. Помимо всего прочего, Немоевским запретили приезжать в Варшаву, и, таким образом, либеральная оппозиция лишилась своих трибунов и замолкла. Но эта тишина была лишь иллюзией замирения, поскольку роль лидера критического общественного мнения теперь перешла к сенату, который в дальнейшем занимался прежде всего отстаиванием конституционных прав.

Те, кто считал, что Польша должна быть российской, с большим подозрением взирали на тенденции усиления польской автономии, причем еще до 1820 года. Консервативные голоса в Петербурге предупреждали о проблематичных последствиях, которые предоставление Конституции Польше будет иметь для самой России.

В Царстве же Польском главным критиком «польских притязаний» стал Николай Новосильцев, который еще до Венского конгресса, т. е. в последние дни Герцогства Варшавского, вел финансовые дела на Висле, а в 1815 году был назначен царем на должность особого уполномоченного для наблюдения за Государственным советом Польши и за политической и культурной жизнью в Царстве Польском. Новосильцев с самого начала крайне критически взирал на старания поляков максимально расширять сферы своей деятельности и свободу принятия решений. В то же время чрезвычайный, внеконституционный статус императорского комиссара вызывал большое негодование польской стороны. В ходе бурных дебатов по поводу сессии сейма 1820 года Новосильцев окончательно показал себя противником особого статуса Царства Польского и в последующем стремился этот статус минимизировать⁶².

Однако тот факт, что после 1820-х годов конфликты между польскими лидерами общественного мнения, правительством и российскими полномочными представителями обострились, был вызван еще и той неудачной ролью, какую сыграл весьма авторитарно действовавший великий князь Константин. Своими публичными выступлениями, а также суровым, отчасти даже brutальным стилем, в котором главнокомандующий польской и литовской армией руководил своими войсками, он стяжал сомнительную репутацию мучителя солдат и тирана. Будучи неподконтролен правительству, Константин установил в войсках режим личной власти, вызывавший, из-за жестокой муштры и страсти великого князя к парадам, раздражение и в польском офицерском корпусе. Когда после 1820 года влияние Константина существенно увеличилось и распространилось на политические сферы, это значительно способствовало обострению напряженности.

В последующее десятилетие особенно в среде молодого поколения распространилось ощущение, что закрепленные в Конституции права значительно ущемляются административным произволом и специальными уполномоченными, ответственными только перед царем. Вдохновленные общеевропейским масонским движением и примером немецких студенческих ассоциаций, стали возникать многочисленные тайные общества. Особенно в Варшаве бывшие масонские ложи быстро политизировались и начинали воспринимать себя в качестве передовых отрядов в борьбе за защиту и расширение

польской Конституции. В атмосфере конфронтации и патриотического пафоса, а также в условиях крайне ограниченной политической публичной сферы некоторые организации, такие как Национальное патриотическое общество, основанное в 1821 году, радикализировались — встали на позицию принципиального отвержения российского господства. Заявленная долгосрочная цель их активистов заключалась в восстановлении полной польской независимости и воссоединении всех территорий прежней польско-литовской дворянской республики.

Авторитарные российские властители преследовали такие тайные общества, и прежде всего на старых польских восточных территориях, поскольку любые артикуляции национального патриотизма рассматривались как принципиальная постановка под сомнение прав России на эти земли. Особенно те сети тайных обществ, которые сформировались вокруг Виленского университета, вызвали массовые репрессии. В 1822 году один из основателей Национального патриотического общества, майор Валериан Лукасиньский, был арестован и пожизненно заточен в Шлиссельбургскую крепость. После роспуска Союза филоматов, в 1824 году прошел крупный судебный процесс; среди двадцати обвиняемых были поэт Адам Мицкевич и историк Иохим Лелевель, в результате сосланные на определенное время в Россию. Некоторые из этих тайных обществ поддерживали контакты с оппозиционными кружками, в конце концов организовавшими восстание декабристов в Петербурге в 1825 году. Таким образом, уже при Александре I, в последние годы его царствования, политическая обстановка в Польше была напряженной. Эскалацию предотвращала главным образом личная позиция царя, в общем благосклонная по отношению к полякам. Когда он внезапно умер в Таганроге в 1825 году, этот стабилизирующий фактор отпал.

1825 год и восшествие Николая I на престол, произошедшее в смутный момент восстания декабристов, во многом означали поворотный момент для внутреннего развития Царства Польского. Целый ряд процессов и влияний в последующие годы способствовал быстрому обострению противоречий между имперской властью и польской стороной. Хотя новый царь в своем манифесте заявил о готовности уважать польскую Конституцию, он, с другой стороны, реагировал на неудавшееся восстание 14 декабря значительным

усилением цензуры и преследованием подпольных организаций любого рода. Следственная комиссия, созданная Константином, вскрыла связи, якобы существовавшие между Национальным патриотическим обществом и кружками декабристов⁶³.

Особенно пострадали от этого бывшие польские восточные территории. Царь уже в своем манифесте при восшествии на престол дал понять, что западные губернии должны рассматриваться как неотъемлемая часть Российской империи и что о сохранении какого-то особого статуса польских земель больше не может быть и речи. В контексте чисток, проведенных после восстания вновь созданной политической полицией – Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, – на литовских территориях стала осуществляться политика русификации. Командовать литовскими воинскими частями, созданными еще в 1817 году в Гродненской, Виленской, Минской, Волынской и Подольской губерниях, назначили русских офицеров, а Новосильцев был отправлен в качестве попечителя в Виленский учебный округ. Он проводил открытую русификацию учебных заведений, стараясь вытеснить и польский как язык обучения, и темы, связанные с Польшей, из школьного курса. Главным результатом строгого контроля над учебными программами и над самими учащимися Виленского университета со стороны Новосильцева было то, что в этом, некогда столь живом, заведении после 1825 года установилась удушливая атмосфера цензуры и репрессий⁶⁴.

В целом после 1825 года усилился дискурс, требовавший окончательного «слияния» бывших польских восточных территорий, расположенных между Вильной и Киевом, с Россией и ставивший цель максимальной культурной конвергенции этой земли и ее людей с остальной империей⁶⁵. Соответствующим образом менялась и административная практика на этих западных территориях, которые, с точки зрения Петербурга, представляли собой не что иное, как исторически русский и только временно и вынужденно «полонизированный» регион. В 1828 году в Петербурге был создан секретный комитет, который должен был заняться «униатским вопросом» и усилить давление на униатов с целью их «возвращения в православие». Одновременно в многочисленных публикациях пропагандировалось утверждение об исконно русском характере западных губерний, требующем форсированного культурного

сближения их с остальной Россией и особой защиты «русского дела» на западной периферии империи. Право на отдельность и инаковость – как с точки зрения административной политики, так и с точки зрения представлений о принадлежности к России – все больше ограничивалось пределами того своеобразного образования под названием «Царство Польское», которое как политический субъект, по статусу равный государству, возникло в результате Венского конгресса. А «западные губернии» как «исконно русские» территории стали усиленно приводиться начиная с 1825 года к единому знаменателю со внутрироссийскими областями⁶⁶.

Хотя преднамеренный разрыв с давней традицией сотрудничества с местными (польскими) элитами был особенно замечен в «западных губерниях», рост напряженности в последующие годы не обошел и Царство Польское. Здесь тоже все чаще имели место нарушения Конституции императорскими должностными лицами и множились случаи административного произвола. После того как в 1826 году умер наместник Зайончек, должность главы правительства, закрепленная в Конституции, больше не замещалась, поэтому де-факто великий князь Константин стал высшим должностным лицом в Царстве Польском. Когда в 1830 году Николай I короновался в Варшаве польским королем, представители различных сословий представили ему длинный список жалоб на открытые нарушения права и Конституции. На высочайшее имя было подано более сотни петиций, авторы которых требовали усилить контроль над Государственным советом со стороны сейма – например, в вопросах бюджета. В новом сейме тоже звучали критические голоса, призывавшие к либерализации в области цензуры и образования.

Таким мнениям способствовал все более явный конфликт между Константином и Новосильцевым. В конце 20-х годов Константин все более открыто выступал – даже перед царем – в поддержку польских интересов и призывал к продолжению пропольской политики Александра. В одном походя сделанном замечании, которое, однако, было отмечено польской общественностью, он в 1827 году даже открыто назвал разделы Польши «грабежом». Новосильцев же все активнее выступал против особого статуса Царства Польского – как против источника опасных конституционалистских идей, влияние которого считал крайне вредным для России. Одновременно он

распалял в обществе возмущение по поводу конкуренции польских товаров на внутрироссийском рынке. В конечном счете Новосильцев выступал за то, чтобы в отношении Царства Польского проводилась такая же усиленная политика интеграции, какую он уже осуществлял в западных губерниях.

Этот спор внутри имперской элиты о направлении политики, проводимой в отношении Польши, оживил обмен мнениями в среде польской общественности, где было мало сочувствующих Константину, которого считали brutальным солдафоном, но зато было много энергичных противников и линии Новосильцева. Критика здесь звучала как из консервативного лагеря, образовавшего конституционную оппозицию в сенате во главе с Чарторыйским, так и из либерального, который по-прежнему группировался прежде всего вокруг калишской партии братьев Немоевских. Общий политический климат в Царстве Польском на рубеже 20–30-х годов был очень напряженным и характеризовался все более открытой критикой многочисленных нарушений польской Конституции, а также более общей критикой постановлений Венского конгресса.

В дополнение к этому публичному выражению недовольства усилилась революционная риторика во многих тайных обществах. Активизировались они, как ни парадоксально, вследствие приговора, который польский сенат должен был вынести по приказу царя в отношении восьми членов Национального патриотического общества. Обвиненные в 1828 году в тесных контактах с декабристами, они, однако, были оправданы сенатом по обвинению в государственной измене, поскольку, с точки зрения сенаторов, планы переустройства Польши нельзя было классифицировать как преступление против государства. Относительно мягкие наказания, к которым сенат приговорил подсудимых, были поняты – особенно молодыми поляками – как закамouflированное разрешение создавать подобного рода тайные общества.

Кроме того, в Польше также была воспринята и усвоена общеевропейская революционная риторика, которая в 1829–1830 годах вдохновлялась бурными событиями во Франции, Бельгии и Греции: освобождением греков от османского владычества, антимонархической Июльской революцией в Париже и отделением католического Юга Бельгии от протестантского Севера. Казалось, революционные проекты

могут увенчаться успехом, и – по крайней мере, в некоторых тайных ложах Варшавы – теперь заговорили о вооруженном восстании против российского господства⁶⁷.

Здесь появилось новое поколение активистов, под влиянием западной романтики и идеалистической философии прославлявшее «героический исторический подвиг». Лидеры общественного мнения, такие как Мауриций Мохнацкий и историк Иоахим Лелевель, уволенный из Виленского университета и теперь развернувший активную деятельность в Варшавском, намеренно выступали против старого польского истеблишмента, группирующегося вокруг Чарторыйского и Друцкого-Любецкого, и призывали к новому, страстному и деятельному польскому национализму. В романтическом мышлении Польша была не просто нацией, а еще и символом высших идеалов, таких как свобода, справедливость и братство. Поэтому революционный акт превращался в символический акт освобождения человечества⁶⁸.

И вот небольшая группа энтузиастов революционного действия штурмовала 29 ноября 1830 года резиденцию Константина, попыталась убить великого князя и тем самым положила начало роковому бунту против российских властей. Учитывая, что спланирован он был плохо, по большей части даже вовсе никак, нельзя не признать удивительным тот факт, что эта дилетантская попытка государственного переворота, предпринятая несколькими военными, еще не получившими офицерских эполет, разрослась в настоящую польско-российскую войну, которая, пусть и ненадолго, пошатнула власть Петербурга в Царстве Польском. Здесь проявилась динамика революции, вынудившая даже таких сторонников сотрудничества с домом Романовых, как Чарторыйский и Друцкий-Любецкий, принять участие в повстанческом движении⁶⁹.

То, что начиналось как акт молодых заговорщиков, направленный не только против петербургского господства в Царстве Польском, но и против польского истеблишмента, после нападения на дворец Бельведер и на брата царя привело к тому, что народ штурмовал Арсенал и захватил оружие, а русские войска были вытеснены из многих районов Варшавы. Воспользовавшись этим «восстанием улицы», радикальные антирусские силы объединились в «Патриотический клуб», который под руководством тех же Иоахима

Лелевеля и Мауриция Мохнацкого попытался оказать давление на Чарторыйского и Друцкого-Любецкого, выступавших за переговоры с Петербургом. Уже 3 декабря 1830 года было сформировано временное правительство, а Юзефа Хлопицкого назначили главнокомандующим польской армией.

О том, как сильны были даже в этот момент надежды старого политического истеблишмента на компромиссное разрешение конфликта, свидетельствует тот факт, что Хлопицкий, 5 декабря ставший «диктатором», попытался маргинализировать революционные группировки и начать переговоры с Николаем I, с одной стороны, представляя самого себя гарантом восстановления мира и порядка, а с другой – требуя уступок для Царства Польского, в том числе объединения со старыми польскими территориями на востоке. Но царь оказался бескомпромиссным противником: он потребовал для начала безоговорочной капитуляции повстанцев. Непримируемая позиция Николая привела к эскалации конфликта и радикализации польских лидеров. 25 января 1831 года сейм объявил о низложении царя и образовал 30 января польское Национальное правительство, пять членов которого представляли основные политические течения: двое, в том числе Чарторыйский, принадлежали к консервативной фракции, два представителя так называемой калишской группы во главе с Винцентом Немоевским стояли на либеральных, легалистских позициях, в то время как Иоахим Лелевель был представителем левой радикальной оппозиции. В результате за одним столом оказались умеренные силы, все еще надеявшиеся договориться с царем, и жестко антироссийски настроенные сторонники национально-демократической революции. Этим внутренним компромиссом польское руководство значительно ослабило себя, так как у членов правительства почти не было общих представлений о пути выхода из конфликта и о будущем устройстве Польши – например, в том, что касалось сельского населения. Сказалась и власть сейма, мешавшая деятельности правительства: польский парламент с его 200 членами был далек от внутреннего единства, а между тем сохранял за собой полномочия по принятию решений в ключевых политических вопросах и даже в военных делах. Кроме того, восстание поставило под угрозу политическую архитектуру системы, созданной на Венском конгрессе, и таким образом стало делом международного значения. Пруссия

и Австрия быстро заявили о солидарности с Россией. Не последним из факторов, заставивших Петербург реагировать энергично, был формальный разрыв Польши с домом Романовых⁷⁰.

Обе стороны конфликта прибегли к мобилизации своих вооруженных сил. Первоначально у российской стороны было под ружьем 120 тыс. солдат, а в польской армии было чуть более 55 тыс. Однако Национальному правительству удалось довольно успешно нарастить свою военную мощь и к весне 1831 года мобилизовать около 80 тыс. человек. Таким образом, друг другу противостояли две необычайно многочисленные и хорошо вооруженные армии, а Гроховская битва с ее примерно 140 тыс. участников стала крупнейшей европейской батальей за период между Ватерлоо и Крымской войной⁷¹.

В ответ на детронизацию царя Национальным правительством российская армия под командованием фельдмаршала Дибича-Забалканского в феврале 1831 года вторглась на территорию Царства Польского. 25 февраля российские и польские войска сошлись в Гроховском сражении близ Варшавы, которое окончилось «вничью». Правда, польские войска были вынуждены отойти за Вислу, а русская армия заняла и разграбила варшавское предместье Прагу.

Тем не менее польским частям удалось перегруппироваться и нанести несколько поражений российским войскам, которые к тому же стали сильно страдать от холеры. Весной восстание перекинулось и на часть бывших польских восточных территорий. Особенно в Жемайтии оно опиралось на широкую социальную базу: в него включилось крестьянство, по преимуществу литовское. Под влиянием известий о том, что восстание охватило почти всю Литву, а польские войска одерживают победы в Мазовии, сейм в мае издал закон, по которому территории, потерянные Польшей в результате раздела 1772 года, включались в новое Польское государство. Это решение, однако, быстро стало чисто символическим, так как после поражения повстанцев в решающей битве при Остроленке 26 мая 1831 года и перехода командования царскими войсками в руки опытного генерала Ивана Паскевича победа России сделалась лишь вопросом времени. После того как Паскевич, тыл которому прикрывали пруссаки, перешел Вислу и стал угрожать Варшаве с запада, в столице вспыхнули беспорядки, вынудившие правительство уйти 16 августа

в отставку. Чуть позже произошли бои в Праге, и уже 8 сентября 1831 года Варшава капитулировала. Остатки польской армии сначала укрылись в крепости Модлин, потом, в октябре, ушли в Пруссию, где были интернированы. Таким образом, польское восстание закончилось менее чем за год⁷².

Ноябрьское восстание и его подавление стали переломным моментом в истории Царства Польского и польско-российских отношений в целом. Произошедшая после него Великая эмиграция радикально изменила облик польского дворянства и образованного слоя. Из примерно 50 тыс. изгнанников, вынужденных осенью 1831 года покинуть страну, почти 6 тыс. обосновались во Франции (в основном в Париже). Эта диаспора в последующие десятилетия сильно влияла на развитие польской культуры и публичной сферы. Именно в ее среде возникла концепция Польши как «Христа народов» и культивировалось польское мессианство; именно ею был создан тот революционный пафос, который, охватив польское население районов, поделенных между Россией, Пруссией и Австрией, вдохновлял сформировавшиеся там мифологию восстания и риторику воссоединения. Один из главных центров польской эмиграции располагался в приобретенной семьей Чарторыйских городской усадьбе Отель Ламбер в Париже; в возвышенные слова и звуки облекали настроения этого сообщества польских беженцев такие творческие личности, как Фредерик Шопен, Зыгмунт Красинский, Юлиуш Словацкий и особенно Адам Мицкевич. Безусловно, наибольшей известностью в данном контексте пользуются дрезденские «Дзяды» Мицкевича – произведение, где он рисует образ распятой, как Христос, Польши. Эта радикальная революционная эсхатология, соединявшая в себе русофобию, польский мессианизм и универсалистский, но основанный на национальной идее пафос свободы, не у всех в эмигрантском сообществе вызывала симпатию (так, Зыгмунт Красинский изображал в своих произведениях призрак апокалиптического хаоса беснующихся толп, а Чарторыйский предпочитал скорее легалистскую модель конституционной монархии), однако именно она задавала направление развития польского самоопределения и возвеличивания поляками себя как нации-жертвы, нации с великой миссией. Именно она послужила польским эмигрантам основой для их оживленных контактов с различными европейскими

«освободительными движениями», а иногда и для активного участия в них: например, Лелевель установил связи с тайным обществом «Молодая Европа» во главе с Джузеппе Мадзини и основал в Берне его отделение под названием «Молодая Польша»⁷³.

Не менее важное значение имел и извлеченный из неудавшегося восстания 1830–1831 годов урок, гласивший, что выступление против российского владычества без участия крестьянства обречено на поражение. Предлагались самые разные способы расширенной мобилизации сельских жителей – позиции радикального демократа Лелевеля отличались от взглядов более умеренных представителей Польского демократического общества во главе с Виктором Гельтманом или консервативных сторонников Чарторыйского в первую очередь по вопросу, в какой мере шляхте надо отказаться от своих старых привилегий. Общим для всех этих подходов было то, что польское крестьянство все больше перемещалось в центр интереса современников и их размышлений о политике. Тем самым были созданы предпосылки для формирования концепции, приписывавшей польскому народу (*lud*) – мифологизированному, якобы национально-аутентичному, – ключевую роль в восстановлении польской нации. В ходе польской рецепции позитивизма эта идея была подхвачена и получила дальнейшее развитие.

Но не только «большая» – парижская – эмиграция была катализатором идей и действий. Помимо нее, в существовавшем до 1846 года самостоятельном городе-государстве Краков, особенно в Ягеллонском университете, собирались влиятельные фигуры, поддерживавшие память о польской государственности, идею ее расширения до границ 1772 года и, не в последнюю очередь, идею ее реформы в духе Майской конституции 1791 года. Таким образом, определяющими факторами эры польского романтизма после 1831 года были – более, чем когда-либо прежде, – фундаментальный опыт утраты поляками собственной государственности и вера в возможность изменения неудовлетворительного статус-кво революционным путем. Одновременно это была кульминационная эпоха такого польского самосознания, в котором образ «себя» создавался путем четкого противопоставления «московитскому Другому», а поляки и русские рассматривались как представители двух антагонистических духовных начал⁷⁴.

Ноябрьское восстание имело последствия и для российской идейной жизни. С одной стороны, именно тогда родился топоним «неблагодарной» и «мятежной» Польши, который бытовал в среде имперской бюрократии и российской общественности до конца существования Российской империи. Яростное стихотворение Пушкина «Клеветникам России» – наглядный тому пример. Впервые оно было опубликовано в брошюре «На взятие Варшавы» и привело к длительной ссоре между Пушкиным и его польским другом-поэтом – Адамом Мицкевичем⁷⁵. С другой стороны, споры по поводу польского восстания способствовали тому, что в России начались дебаты, участники которых стали обсуждать содержание понятия «русский». Спор между западниками и славянофилами в 1830-е годы, конечно, имел более давние корни, но важнейший импульс был дан ему именно общественным возмущением по поводу «польского мятежа». В известном смысле триада «православие, самодержавие, народность», которую в те годы сформулировал недавно (1833) назначенный министр народного просвещения Уваров и которая стала идеологической основой российской государственности, тоже может рассматриваться как реакция на польское национальное восстание. Удивительная карьера Фаддея (Тадеуша) Булгарина, получавшего от государства привилегии за деятельность в качестве рупора правительственной пропаганды, тоже становится понятна только на фоне «польского вопроса». Здесь мы видим, как влияние мятежных провинций на внутрироссийские форумы общественного мнения уже предвосхищало многое из того, что мы будем наблюдать в интенсивном взаимодействии между периферией и центром в 1860-е годы⁷⁶.

Как же можно оценить значение этого долгого десятилетия после Венского конгресса для развития Царства Польского? Несмотря на все политические конфликты до и их эскалацию после 1825 года, это был все же период относительной стабильности, длившийся более пятнадцати лет. По крайней мере, применительно к Царству Польскому – но не к западным губерниям – можно утверждать, что, благодаря высокой степени государственной самостоятельности и участия населения в принятии политических решений, а также культурного развития, там образовалась атмосфера, первое время позволявшая значительной части польской элиты мириться с российским владычеством. И только когда со вступлением на престол

Николая I усилилось вмешательство Петербурга в польские дела и обострились репрессии, этот фундамент стал давать трещины и начался подъем тех радикальных молодых сил, которые выдвинули лозунг насильственного изменения ситуации.

По иронии судьбы именно насыщенная культурная и образовательная жизнь процветающей Варшавы и послужила питательной почвой для этих радикальных настроений. Свободы, предоставленные Конституцией и политической системой, созданной в 1815 году, обеспечили наличие форумов, на которых – как раз к тому моменту, когда петербургские власти начали эти свободы урезать, – формулировалась все более фундаментальная критика российского господства. Поколение, воспитанное в это долгое десятилетие расцвета культуры, социальных и интеллектуальных достижений и надежд, не желало принимать все более авторитарную политику николаевского режима. После 1815 года образовалась – прежде всего в столице – стабильная сеть учреждений, организаций и связей, позволявшая польскому движению протеста и сопротивления становиться все более динамичным и радикальным.

Более того, именно эти пространства свободы в 1820-е годы породили у людей сознание принадлежности к польской нации как к некой политической сущности, причем оно вышло за пределы узких кругов дворянства и интеллигенции в широкие слои общества. Ярким доказательством тому явилась всенародная поддержка восстания 1830 года, по крайней мере в Варшаве. Ноябрьское восстание, несомненно, значительно интенсифицировало этот длительный процесс формирования политических мнений и идентичности.

Не менее очевидным образом Ноябрьское восстание продемонстрировало, что и через пятьдесят лет после первого раздела представители польской элиты все еще рассматривали себя как культурное и политическое единство в границах, которые совпадали с границами старой польско-литовской аристократической республики. Выражения солидарности и высокая готовность населения идти добровольцами в отряды к повстанцам наблюдались не только в прусской и австрийской частях Польши: по крайней мере дворянская элита в западных губерниях России также приняла участие в восстании. Это показывает, насколько период с 1815 по 1830 год характеризовался волей к сохранению и частично даже к интенсификации связей между

старыми польскими восточными территориями и Царством Польским. Несомненно, этому в значительной степени способствовали три польских университета – Варшавский, Виленский и Краковский. Многие деятели того времени, в том числе и Лелевель, работали в одном или нескольких из них, тем самым укрепляя межрегиональное общение. Кроме того, существовали многочисленные интеллектуальные кружки и литературные салоны, которые тоже поддерживали связи между польскими территориями. Трансграничный литературный и интеллектуальный рынок общественного мнения позволял идее польской нации распространяться по линиям этих связей. Не случайно три выдающихся романтика польской литературы – Адам Мицкевич, Зыгмунт Красинский и Юлиуш Словацкий – были родом из восточных «кресов». Благодаря развивавшемуся таким образом в 1815–1830 годах культурному национализму даже в те времена, когда единой польской государственности не существовало, идея *одной* Польши продолжала жить, а риторика воссоединения передавалась от поколения к поколению.

Есть и еще одна причина, по которой значение этих нескольких лет автономии Польши для последующего ее развития трудно переоценить. Дело в том, что период 1815–1830 годов представлял собой точку отсчета во всех последующих рассуждениях о том, как можно – и можно ли вообще – решить «польский вопрос» в политической системе Российской империи. Эту роль данный период играл и в проектах реформ Александра Велёпольского в 1860-е годы, и в позднейших требованиях автономии, высказывавшихся более умеренной частью польского политического спектра, и в дискурсе той части царской бюрократии и российской общественности, которая была склонна уступить требованиям автономии со стороны Польши. Даже для противников таких уступок Царство Польское, созданное по милости Александра I, представляло собой важную точку отсчета: по их мнению, здесь можно было сразу наглядно убедиться, что предоставление значительной автономии только породило бы «мечту» о восстановлении старого Польского государства.

Однако в первый послереволюционный период эта мечта казалась далекой и недостижимой. Под диктатом генерала Паскевича, ставшего императорским наместником, началась полоса угнетения длиной более

двадцати лет, когда российские чиновники, цензоры и жандармы контролировали всю политическую и культурную жизнь в Царстве Польском.

ЧИНОВНИКИ, ЦЕНЗОРЫ И ЖАНДАРМЫ: ЭПОХА ПАСКЕВИЧА (1831–1855)

После 1831 года российское господство в Царстве Польском приобрело новые черты. Действие Конституции Конгрессовой Польши было приостановлено, парламент – ликвидирован, а независимая армия – распущена. Кроме того, Николай I объявил в мятежном районе бессрочное чрезвычайное положение. Таким образом, изданный в 1832 году «Органический статут», заменявший собой Конституцию для Царства Польского, сразу стал макулатурой, так как не действовал с момента провозглашения военного положения в 1833 году и до самой кончины императора в 1855-м. Вместо основного закона царь дал Варшаве нового наместника – в лице победоносного полководца Паскевича. Получив от Николая титул князя Варшавского, Паскевич оставался на данном посту вплоть до своей смерти в 1856 году, и именно на нем лежит основная ответственность за репрессивный характер «эпохи жандармов», продолжавшейся в Царстве Польском более двух десятилетий⁷⁷. У Паскевича за плечами была впечатляющая военная карьера, боевой опыт он приобрел не только во время Наполеоновских войн, но и в походах против Персии и Османской империи, а также на Кавказе⁷⁸.

Первые действия как Паскевича в новой должности, так и петербургских властей после подавления «мятежа» были направлены на наказание повстанцев. Всеобщая амнистия, объявленная царем, не распространялась на тех, кого были основания считать «изначальными заговорщиками». В результате 80 тыс. человек из Царства Польского и западных губерний были сосланы в Сибирь, имения дворян, подозреваемых в участии в восстании или его поддержке, были конфискованы и переданы неполякам, в первую очередь русским. По оценкам, таким образом лишились своей собственности 3 тыс. землевладельцев, связанных с восстанием. Кроме того, значительная часть солдат и офицеров бывшей польской армии должны были отныне нести службу во внутренних районах Российской империи. Немало поляков было отправлено на Кавказ, где в 30–40-е годы бушевала кровопролитная война⁷⁹.

Репрессивные меры коснулись и католической церкви. Архиепископ Варшавский потерял титул примаса, был закрыт ряд монастырей и церквей, подвергались аресту ксендзы. Ценная церковная утварь конфисковывалась в массовом порядке, как и другие, светские культурные ценности (в том числе большая библиотека Варшавского общества друзей наук), – все это было отправлено в Петербург. В последующие годы православной церкви оказывалось демонстративное предпочтение, была образована православная Варшавская епархия, а католическая церковь подвергалась мелочной регламентации со стороны органов власти, в которых все больше влияния приобретали русские чиновники, вмешивавшиеся во внутреннюю структуру костела. Действовали правила, дискриминировавшие в смешанных католико-православных семьях тех из супругов и родителей, кто принадлежал к католическому вероисповеданию.

Тем самым мы подошли к разговору об одной из основных тенденций петербургской политики после 1831 года: и столичные министерства на берегах Невы, и Паскевич на месте пытались вытеснять поляков-католиков с руководящих позиций в гражданской администрации – впрочем, по большей части безуспешно: не хватало чиновников из внутренней России, которыми тех можно было бы заменить, да и воля петербургских властей к деполонизации местной административной структуры была в конечном счете недостаточно сильна. Это проявлялось, помимо прочего, в том, что польский язык и после 1831 года оставался в Царстве Польском языком гражданской администрации.

Данное обстоятельство указывает на одну характерную черту петербургской политики в целом: если мы посмотрим на десятилетия после подавления Ноябрьского восстания, то едва ли сможем разглядеть какую-то ясную программную переориентацию имперской административной практики. Российские меры после 1831 года были нацелены прежде всего на осуждение повстанцев в прямом смысле, а также на своего рода символическое наказание «неверных поляков» и на предотвращение дальнейших беспорядков. Но строго выверенной политики в отношении мятежных провинций, которая была бы нацелена на устойчивую интеграцию этих территорий в состав империи, не прослеживается. Наоборот, имперская политика в Царстве

Польском в последующие десятилетия характеризовалась многочисленными противоречиями. Например, хотя Паскевич как уполномоченный представитель императора руководил всеми правительственными делами в Польше, там вплоть до 1841 года продолжал существовать Государственный совет, а Министерства внутренних дел, юстиции и финансов по-прежнему действовали в качестве независимых ведомств. С одной стороны, в 1847 году в Царстве Польском было введено российское уголовное право, а с другой – Кодекс Наполеона продолжал применяться без изменений в области гражданского права. В 1837 году была введена новая структура губерний, выстроенная по российской модели, однако местная администрация продолжала следовать традиционной модели сотрудничества элит. И хотя польские валюта и система мер и весов были заменены на российские, это мало что изменило в независимой финансово-экономической политике польской провинции. В этом смысле можно сказать, что существовало принципиальное расхождение между теми административными мерами, которые были призваны крепче привязать Царство Польское к остальной империи, и теми практиками и директивами, которыми царское правительство показывало, что оно по-прежнему признает принципиальную инаковость Конгрессовой Польши.

В конечном итоге это нашло выражение и в Органическом статуте 1832 года: хотя данная квазиконституция в реальной управленческой деятельности не играла никакой роли, она все же символически свидетельствовала, что и после Ноябрьского восстания Польша продолжает существовать как особая правовая зона. Таким образом, в принципе этот период не означал пересмотра фундаментальной интеграционной стратегии Петербурга в отношении Польши. Даже при Николае I правительство в первую очередь заботилось о сохранении территориального, политического и социального статус-кво в многонациональной Российской империи и об обеспечении ее единства через традиционную интеграционную идеологию лояльности царю и через сотрудничество с местными нерусскими элитами. Хотя Петербург был очень заинтересован в том, чтобы усилить контроль над мятежным регионом, все же принцип особого административного положения Царства Польского оставался незыблемым⁸⁰.

Это особенно заметно по контрасту с теми мерами, которые были осуществлены Петербургом в западных губерниях в качестве реакции на восстание, воспринятое властями как вызов и оскорбление. Здесь, на этих – рассматриваемых как русские – территориях директивы, направленные на подавление любого локального партикуляризма и своеобразия, шли намного дальше, чем в Царстве Польском. Был создан специальный Комитет по делам западных губерний; традиционный Литовский статут – отменен и заменен российским правом; органы городского самоуправления и выборность должностных лиц – существенно ограничены. И без того сильная позиция губернатора как представителя царской власти была значительно расширена; на важные административные, судебные и образовательные должности стали назначать только русских, а русский язык получил почти исключительный статус всеобщего языка государственного делопроизводства. Кроме того, была централизована школьная система, а количество школ значительно сократилось. Но главное – было почти полностью закрыто единственное высшее учебное заведение в этих краях – Виленский университет, считавшийся рассадником польского заговора. Только медицинскому и богословскому факультетам разрешалось продолжать свою деятельность⁸¹.

Объектом государственной политики репрессий, которая вышла далеко за рамки непосредственных наказаний первого периода после восстания, стали прежде всего католическая и униатская церковь, а также польское или полонизированное дворянство. Недаром сказано, что в Польше происходил антикатолический «культуркампф» – происходил, когда такого понятия еще не существовало⁸². Многочисленные католические церкви и монастыри были закрыты, а греко-католическая религиозная община подвергалась гонениям. В 1839 году Петербург решил полностью ликвидировать униатскую церковь в западных губерниях и принудительно объединить ее с иерархией Русской православной церкви; идеологически это было оформлено как «возвращение». В то же время многочисленные правовые нововведения сильно ударили особенно по низшим и средним слоям польской шляхты. После 1836 года имперские власти стали требовать доказательство благородного происхождения для признания дворянства и впоследствии вычеркнули множество представителей мелкопоместной шляхты из дворянских родословных книг.

В особенности генерал-губернатор юго-западных губерний Дмитрий Бибииков отличился в этом: только в Киевской, Подольской и Волынской губерниях свыше 60 тыс. человек потеряли дворянские титулы. Кроме того, в течение двух десятилетий после восстания более 50 тыс. представителей шляхты были принуждены переехать в глубь России, а многие из их земель были преобразованы в военные поселения⁸³.

В целом воцарилась атмосфера недоверия по отношению к польским дворянам вообще и к выборным должностным лицам в частности. В период после 1831 года жандармы Третьего отделения, чрезвычайно активные в западных губерниях, регулярно раскрывали реальные или выдуманные виды деятельности, напоминавшие о восстании. Традиционно существовавшая оппозиция между дворянским обществом и государственной властью теперь все больше интерпретировалась как национальная. Петербург поставил себе целью добиться максимального контроля над местной администрацией, и добивался он этого за счет резкого сокращения выборных должностей, что привело к заметному ограничению прав дворянства на участие в управлении на местах и в судопроизводстве.

Все эти меры были направлены на более полную интеграцию территорий, отошедших к России по разделам 1772–1795 годов, в единую структуру империи, а также на ослабление их связи с Царством Польским. Кроме того, целенаправленные действия против католической и униатской церквей и против местной польской знати указывают на стремление Петербурга окончательно «деполонизировать» западные губернии и сломить культурное и социальное доминирование в них польской шляхты⁸⁴. Такая программная ориентация в среднесрочной перспективе усилила различия между этими территориями и Царством Польским. И именно на эту, все возрастающую со временем, разницу главным образом и ссылались, когда хотели подчеркнуть непольский характер западных губерний и исконную их связь с Россией. Таким образом, для политики Петербурга маркирование отличий приобрело важнейшее значение. Эта фигура мысли имела прямые последствия и для логики действия имперских властей в Царстве Польском, потому что любая попытка привести Конгрессовую Польшу в более полное соответствие с общероссийскими стандартами грозила поставить под сомнение ее отличие от западных губерний. Данная дилемма мучила царских

чиновников до самого конца российского присутствия в Польше. В период репрессий 1830–1840-х годов она, несомненно, значительно способствовала тому, что власти так и не пересмотрели фундаментальный постулат об особом положении Царства Польского.

Тот факт, что польскими подданными империи этот период тем не менее воспринимался как время угнетения, был связан с контрастом между новыми порядками и недавно утраченными свободами. Память о самоуправлении была еще свежа. К тому же общественную и культурную жизнь сильно сковывали ужесточенные правила цензуры, которые самодержавие сначала ввело в России, реагируя на восстание декабристов, а затем, в 1843 году, распространило и на Царство Польское. Устав о цензуре в Варшавском учебном округе от 1843 года во многом напоминал Указ о цензуре в Российской империи от 1828 года, давая царским чиновникам весьма широкие полномочия⁸⁵. Культурные и научные ассоциации, такие как прежде очень активное Общество друзей наук, были распущены, библиотеки и коллекции произведений искусства – частично вывезены в Россию. Полицейская сеть Третьего отделения, созданного после восстания декабристов, распространилась и по всему Царству Польскому; многочисленные запреты, аресты и депортации были направлены на предотвращение польско-патриотических «интриг». Работу тайной полиции можно назвать весьма успешной: все попытки поляков после разгрома возобновить политическую жизнь в форме подпольных кружков кончались провалом⁸⁶.

Ущемление свободы прессы и культурной жизни сопровождалось мерами, призванными поставить образование – считалось, что именно оно послужило рассадником революционной мысли, – под строгий контроль государства. Варшавский университет был полностью закрыт, поскольку его подозревали в том, что он является центром подпольных ассоциаций и, следовательно, подрывных тайных обществ. Дисциплинарный надзор за регулярными начальными школами был в 1839 году поручен Министерству народного просвещения в Петербурге. Отныне министерство с берегов Невы контролировало преподавательский состав и учебное направление преподавания в Варшавском учебном округе⁸⁷.

В результате этих мер установилась тягостная атмосфера надзора и репрессий. Неудивительно, что символом времени польская

публицистика сделала строительство мощной Александровской цитадели в Варшаве: этот оплот царской армии на Висле интерпретировался как воплощение всего, что изменилось после 1831 года. В нем российский гнет и николаевский дух реставрации слились в один мрачный символ. Теперь Варшава казалась зажатой в железный обруч укреплений⁸⁸.

Помимо крепости, появились памятники, с помощью которых российские власти после 1831 года демонстрировали свое превосходство и собственную интерпретацию Ноябрьского восстания, – прежде всего, обелиск на Саксонской площади, напоминавший о тех погибших на польско-русской войне, которые сражались на стороне русских войск. Это было преднамеренной демонстрацией власти. Разбитые повстанцы были здесь «разжалованы» в изменники, тогда как сторонники царской власти прославлялись в качестве защитников Отечества⁸⁹. Эта политика символов была призвана показать, что в подчиненном положении Польши и в ее интеграции навечно в состав Российской империи не могло быть никаких сомнений.

Подобные символические «разжалования» вели к тому, что другие, более позитивные изменения, которые характеризовали Царство Польское в послереволюционный период, проходили почти незамеченными. А между тем прогресс в экономическом развитии и в области технических инноваций в 30–50-е годы был довольно значительным. Прежде всего следует сказать об отмене таможенной границы между Россией и Польшей в 1851 году – данная мера обеспечила заметное возрождение экономики в Царстве Польском. Социальные и экономические преобразования этих десятилетий включали в себя, помимо прочего, дальнейший рост и техническое обновление польской промышленности, особенно в 1840-е годы.

Установление таможенной границы между Польшей и Российской империей в 1831 году вначале создало серьезные препятствия для польского производства. Например, многие текстильные фабрики переехали в Белосток, располагавшийся на российской таможенной территории, что облегчало и удешевляло им изготовление сукна для русского рынка, и прежде всего для русской армии. Так едва ли не за одну ночь Белосток стал крупным центром сукноделия и одним из главных промышленных городов в западных губерниях⁹⁰.

Что касается фабрик, оставшихся в Царстве Польском, то, чтобы снизить себестоимость продукции, они вынуждены были внедрять инновации, и поэтому, особенно в 1840-е годы, производство все больше механизировалось. Когда в 1851 году таможенные барьеры между Польшей и Россией пали и экспорт польской продукции на российский рынок стал быстро расти, технически хорошо оснащенные фабрики в Царстве Польском заняли ведущие позиции в империи. Наиболее концентрированное проявление этот экономический бум польских территорий нашел в Лодзи – текстильной столице, которая, как уже было сказано выше, за несколько десятилетий превратилась в большой город, где фабриканты, такие как Шайблер или Познанский, осуществляли промышленное производство сукна в невиданных ранее масштабах⁹¹.

Но были и другие признаки динамичного экономического развития. Добывающая промышленность и тяжелая тоже процветали: особенно бурно росли добыча угля и сталелитейное производство, притягивая из сельской местности огромное количество рабочих в растущие промышленные районы. Основанный еще в 1826 году Польский государственный банк взял на себя ту роль главного двигателя экономики, которую до Ноябрьского восстания играла администрация Друцкого-Любецкого. Случались, впрочем, и ошибочные инвестиции: так, чрезмерная концентрация производства железа на заводе «Гута Банкова» – одном из крупнейших в Европе металлургических предприятий на то время – привела к серьезному экономическому кризису в 40-е годы. Лучше обстояли дела на угольных шахтах в Домбровском бассейне и, прежде всего, на железнодорожном транспорте, сеть которого расширялась.

Уже в 1845 году началось движение по Варшавско-Венской железной дороге, за счет чего активизировался обмен между Царством Польским и империей Габсбургов. Проект, который существовал с 1835 года, первоначально осуществлялся акционерным обществом, а после его банкротства в 1842 году правительство взяло на себя и строительство, и управление этой железнодорожной линией. Несколько лет спустя расширение железнодорожной сети было продолжено. С одной стороны, намечалось соединить Варшаву, Катовице и Домброву-Гурничу (это было осуществлено к 1859 году), с другой стороны, в 1851 году началось строительство дороги Варшава–

Петербург. Хотя Крымская война вынудила на время прекратить строительство Петербургско-Варшавской железной дороги, все же в начале 50-х годов в расширение сети железных дорог уже были вложены значительные государственные средства. Для Варшавы, где сходились железнодорожные линии, этот новый вид транспорта означал не только экономическое оживление, но и существенные перемены в жизни города: с появлением новых вокзалов и перестройкой районов вокруг них городской пейзаж сильно изменился. Железная дорога появилась в Варшаве уже в 1843 году, когда был открыт первый участок линии Варшава–Вена, а в 1845-м открылся построенный по проекту Генрика Маркони импозантный Венский вокзал (Dworzec Wiedeński) на углу Маршалковской улицы и Иерусалимских аллей, что значительно повысило статус южной части центра города. Многочисленные трудоемкие и дорогостоящие строительные объекты в этой ключевой инфраструктурной отрасли быстро стали крупными работодателями и важными потребителями продукции металлообрабатывающей промышленности. Благодаря этому через какое-то время удалось наконец компенсировать потери, вызванные исчезновением польской армии, бывшей прежде главным заказчиком для промышленности⁹².

В других районах экономическое развитие было, надо признать, гораздо менее динамичным. Примером здесь может служить Люблин – на 1814 год второй по величине город в Царстве Польском и вместе с тем образчик «города на задворках модерна». Сюда тоже усиленно привлекали иностранных предпринимателей и специалистов, однако это обеспечило в 1840-е годы лишь очень скромный рост люблинской промышленности. Правда, снятие таможенных барьеров после 1851 года и инвестиции Польского банка не прошли бесследно и для Люблина: предпринимательская активность в нем тоже оживилась⁹³.

То же самое можно сказать и о сельском хозяйстве в Царстве Польском: в 1840-е годы в этой отрасли отмечался небольшой рост. Увеличить урожайность позволили главным образом внедрение улучшенных аграрных технологий и диверсификация продукции. Двигателями перемен оказались прежде всего коронные земли, в особенности потому, что на них чаще работали не барщинные крестьяне, а крестьяне-арендаторы. Вместе с тем, согласно строгим правилам аренды, крестьян, имевших задолженность по арендным платежам, быстро сгоняли с земли. Из-за этого быстро росло число

безземельных крестьян, часть которых мигрировала в растущие промышленные центры.

Тем не менее заметные экономические улучшения 40–50-х годов давали повод и для сдержанного оптимизма. Как бы гнетуще ни действовало правление Паскевича на политическую и культурную жизнь Царства Польского, все больше было зримых признаков того, что новое усиление польской нации – лишь вопрос времени. Этот процесс национальной регенерации, как считали некоторые польские современники, сначала должен был совершиться в далеких от политики социальных и экономических сферах. Поэтому 40-е годы справедливо названы ранней фазой осуществления программы «органичного труда», которая заключалась в ненасильственном укреплении польской нации за счет наращивания экономического потенциала и народного образования. Особенно распространены были такие соображения в среде польских аристократов и интеллектуалов в Познани; свое первое прочное институциональное оформление они получили в 1841 году, когда Кароль Марчинковский и Август Чешковский основали Общество научной помощи (Towarzystwo Pomocy Naukowej).

Хотя время для интенсивной рецепции этой разновидности позитивизма в Царстве Польском еще не пришло, все же в среде варшавской буржуазии стали раздаваться первые голоса, призывавшие более критически взглянуть на повстанческий пафос и мессианизм поляков. Неудача революций 1848 года способствовала усилению скепсиса по поводу всех взрывообразных и насильственных вариантов перемен, особенно после того, как в 1850 году в соседней Галиции на должность наместника был назначен поляк Агенор Голуховский и там – при всех заявлениях о лояльности императору – открылся неожиданно широкий простор для пропольской локальной политики. Анджей Замойский, один из будущих основателей Сельскохозяйственного общества, уже в 40-е годы осуществлял в своих имениях инновации, вдохновленные идеями «органичного труда». Эти же дискурсы и горизонты сравнения вдохновляли впоследствии и реформатора Александра Велёпольского, который вскоре развернул активную деятельность в Варшаве²⁴.

Однако, пока в качестве «князя Варшавского» Польшей правил Паскевич, подобным реформаторским настроениям были поставлены очень узкие рамки. Слишком сильное впечатление произвело на

генерала подавление Ноябрьского восстания, слишком большое влияние оказывали на его манеру правления топоры о «неблагодарной» и «клеветнической» Польше. Новые возможности для маневра открылись только через двадцать пять лет после Ноябрьского восстания, со смертью царя Николая I (1855) и его варшавского наместника (1856). Вступивший на престол Александр II увидел необходимость фундаментальной перестройки всего государства, включая и политику в отношении Польши.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ: РЕФОРМЫ И ПУТЬ К ЯНВАРСКОМУ ВОССТАНИЮ (1856–1863)

Назначение Михаила Горчакова на пост наместника поначалу не предвещало никаких перемен в стиле правления, ведь в 40-е годы он служил при Паскевиче военным губернатором Варшавы. Но уже очень скоро стали заметны первые признаки готовности Петербурга к уступкам. Первую же свою поездку в Царство Польское – в мае 1856 года, когда в качестве польского короля он принял присягу подданных, – Александр II использовал, чтобы пообещать реформы и сигнализировать о готовности Петербурга к примирению. Прием, оказанный Александру польской аристократией, был поэтому самым восторженным, хотя царь и напомнил, что «никаких мечтаний» питать не следует⁹⁵.

Фактически в правление Горчакова, продолжавшееся до 1861 года, происходило осторожное изменение курса в отношении Польши, которое надо рассматривать в контексте начинавшейся реформаторской деятельности Александра II в целом. После поражения в Крымской войне вопрос о внутренней реформе встал для многонациональной Российской империи как никогда остро, потому что стало очевидно, насколько Россия уступает западноевропейским державам не только в военных и логистических вопросах, но и в деле набора рекрутов и мобилизации населения для войны вообще. Давние дискуссии о необходимой модернизации России получили новый импульс с восшествием на престол Александра II и вылились в комплекс реформаторских мероприятий, вошедших в историю как «Великие реформы». В течение неполных двадцати лет царь вместе с активной группой бюрократов-реформаторов осуществил радикальные изменения, которые призваны были коренным образом преобразовать социальный и культурный ландшафт империи и поставить государство как институт на новый фундамент⁹⁶.

Пакет решений, предусматривающий, помимо освобождения крестьян (1861), также реформу судебной системы (1864), органов сельского и городского самоуправления (1864 и 1870), системы образования (1865), военной службы (1874) и цензурного дела (1865),

имел целью приблизить Россию к модели современных европейских держав. Образцом при этом во многих отношениях послужила Франция, где Наполеон III осуществлял централизацию монархии. В то же время Россия ни в коей мере не ориентировалась на модель «национального государства», а главным образом перенастраивала механизмы господства перед лицом быстро меняющегося мира. Идея империи как многонационального государства, легитимность которого обеспечивалась династией Романовых, не подвергалась в Петербурге сомнению.

Модернизация, на которую были направлены реформы, по существу преследовала две конкретные цели внутренней перестройки России. Во-первых, реформы должны были расширить государство как институт и, прежде всего, унифицировать его внутренне в административно-правовом плане. Во-вторых, создание ограниченных пространств для участия общества в социально-политических делах должно было способствовать расширению слоя лояльных граждан⁹⁷.

Эти цели непосредственно влияли и на то, как Петербург намеревался преобразовать администрацию польских провинций. Здесь в 50-е годы была намечена осторожная, не выходящая за четко обозначенные границы активизация общества, на лояльное сотрудничество которого власти надеялись, когда одновременно осуществляли модернизацию и расширение государства. Поэтому «приглашение общества», с которым Александр II и его бюрократы-реформаторы обратились к представителям гражданского общества на местах, привлекая их к участию в некоторых локальных процессах управления, распространялось и на Царство Польское. Дискурс о «гражданственности», получивший развитие с конца 50-х годов и ставший ключевым понятием эпохи Великих реформ, первоначально охватывал и польских подданных империи⁹⁸.

Соответственно, Александр уже очень скоро после своего восшествия на престол продемонстрировал польскому обществу готовность к примирению и смягчил установленные ранее ограничения. Уже в марте 1856 года, в своем тронном манифесте, монарх объявил о предстоящих фундаментальных реформах. Помимо всего прочего, Петербург разрешил снова занять архиепископскую кафедру в Варшаве, и в том же году Антоний Мельхиор Фиалковский

был назначен архиепископом Варшавским и утвержден в этой должности папой. В 1857 году была проведена амнистия политических заключенных и в ограниченной степени были вновь разрешены польские ассоциации, организации и учреждения. В качестве одного из первых символических актов, имевшего, однако, долгосрочный эффект, в Варшаве была создана Медико-хирургическая академия, на первых порах размещенная – и это выглядело не менее символично – во дворце Сташица, где прежде размещалось легендарное Общество друзей наук. Но самую большую роль в будущем предстояло сыграть созданному в эти годы Сельскохозяйственному обществу (Towarzystwo Rolnicze). Благодаря большому количеству членов и многочисленным местным отделениям оно превратилось в центр новой польской общественной жизни. Всего за несколько лет его численность выросла с 1 тыс. до более чем 4 тыс. членов. Поскольку на заседаниях этой организации не только обсуждалась реформа аграрного устройства Польши, но и шли принципиальные дебаты о будущем Царства Польского в целом, есть все основания сказать, что Общество было «заменой парламента» и существенно способствовало постепенной политизации польской общественности⁹⁹.

Ранние Александровские реформы охватывали и западные губернии. В экономически более развитых районах бóльшая часть местного дворянства, которое было в основном польского происхождения, положительно восприняла идею отмены крепостного права. Особенно от помещиков Ковенской и Гродненской губерний поступило множество петиций в поддержку освобождения крестьян. Таким образом, аграрный вопрос ввиду его далекоидущих последствий для политического и социального устройства западных губерний здесь весьма широко обсуждался. Присущий этим дебатам с самого начала политический характер усиливался тем, что с 1857 года в западных губерниях полякам снова было дозволено занимать должности в управленческом аппарате. Уже в 1858 году польский язык был разрешен в качестве языка обучения в средних учебных заведениях Северо-Запада Российской империи¹⁰⁰.

Таким образом, в первые годы правления Александра были заметны весьма обнадеживающие признаки наступления новой эры реформ. Тем не менее начиная с 1858 года политические дебаты в Царстве Польском и отчасти в западных губерниях России все более

радикализировались. Открыто вспыхнул давно тлевший, проявившийся уже в 1831 году конфликт между консервативным аристократическим крылом «белых», продолжавших традиции Чарторыйского, и радикально-демократическим лагерем «красных», к которому примыкали, как правило, представители мелкой и средней знати. «Красные» считали, что в контексте реформ можно будет достичь далекоидущих уступок в пользу автономии Польши. Это были люди молодого поколения, сформировавшиеся под воздействием литературных идеалов революционного романтизма Словацкого и Мицкевича; образцом для подражания они считали европейские объединительные и национальные движения, особенно в Италии и Румынии. Среди студентов художественной и медицинской высших школ, незадолго до того открытых в Варшаве, быстро стали возникать группировки, которые призывали к конфронтации с царскими властями¹⁰¹.

В Сельскохозяйственном обществе конфликт между двумя лагерями, представлявшими очень разные политические концепции, тоже становился все заметнее. Здесь противостояли друг другу консервативный круг магнатов, чьи мнения выражал председатель Общества граф Анджей Замойский, и те сторонники радикальных аграрных реформ, которые сплотились вокруг маркиза Александра Велёпольского. В принципе все члены Сельскохозяйственного общества говорили о настоятельной необходимости реформ в Царстве Польском, но они расходились в том, какие стратегии предпочтительнее для реализации этих реформ, а также преследовали очень разные долгосрочные цели политического развития польских территорий.

Наиболее запущенной сферой считалось образование. Строгий административный контроль над школами в эпоху Паскевича оставил здесь свой след. Многие школьные инспекторы не владели польским языком, уровень преподавания в целом был низким. Из-за недостатка школ одной из главных проблем стала широко распространенная неграмотность. Соответственно, требования реформ, в том числе и со стороны Сельскохозяйственного общества, касались прежде всего образования. Кроме того, звучали голоса, призывавшие положить конец правительственному контролю над католической церковью и допустить более свободную религиозную жизнь.

Сначала казалось, что на требования реформ, раздающиеся с польской стороны, Петербург реагирует сигналами о готовности к дальнейшим уступкам. В 1861 году наместник Горчаков позволил создать Комиссию духовных дел и народного просвещения, а во главе ее поставил реформистски настроенного Велёпольского. Кроме того, в мае 1862 года Александр II назначил маркиза также начальником гражданского управления, т. е. фактически премьер-министром Царства Польского. Это дало Велёпольскому возможность воплотить некоторые из своих реформаторских замыслов на практике.

Велёпольский как польский аристократ и крупный землевладелец еще в 1830 году был избран от консерваторов в сейм. Он участвовал в Ноябрьском восстании – его задачей было добиться в Лондоне поддержки или по крайней мере посредничества Англии в польско-русской войне. Успеха его миссия не имела, и после разгрома повстанцев маркиз на долгие годы удалился в эмиграцию, а по возвращении в Царство Польское направил свою энергию на экономическое и культурное развитие собственных имений. В этом легко увидеть влияние позитивистского мышления и реформ Анджеев Замойского 40-х годов, хотя Велёпольский и Замойский не только питали друг к другу глубокую личную неприязнь, но и выдвигали конкурирующие программы. Маркиз считал себя продолжателем традиции Францишека Друцкого-Любецкого, легендарного министра финансов и экономиста 20-х годов¹⁰².

Велёпольский был, несомненно, ключевой фигурой в период до Январского восстания. Из прагматических соображений он выступал за тесное сотрудничество с царскими властями и стремился к тому, чтобы был введен в действие Органический статут 1832 года. Таким образом, его позиция была гораздо менее радикальной, нежели у многих поляков, требовавших возвращения к ситуации 1815 года, поэтому в польской публичной сфере Велёпольский быстро оказался в изоляции. Таков контекст, в котором следует понимать его известное высказывание, что реформы он проводит «для поляков, но не с поляками».

Тем не менее после 1861 года Велёпольский как в Варшаве, так и в Петербурге добился удивительных успехов в реализации своей обширной программы политических реформ. Так, в 1861–1862 годах было вновь учреждено польское правительство в виде

Государственного совета, а кроме того, было высочайше дозволено создание местных польских органов самоуправления. Таким образом, в распоряжении Велёпольского оказался свой собственный правительственный аппарат, который под руководством маркиза действовал в значительной степени автономно и был в состоянии претворять декреты о реформах в жизнь. В целях расширения и укрепления власти своего аппарата Велёпольский начиная с 1862 года постепенно осуществлял полонизацию чиновничества, что в конечном счете и обеспечивало восстановление административной автономии. Параллельно он и его соратники разрабатывали проекты земельной реформы, в рамках которой крепостное право предполагалось заменить чиншем.

В экономическом отношении Велёпольский и его правительство выиграли от того, что постепенно негативные последствия Крымской войны ощущались в Царстве Польском все слабее и к началу 60-х годов уже видны были признаки улучшения экономической ситуации. Росли инвестиции в инфраструктуру, возникали новые фабрики – например, в Варшаве в 1860 году Леопольд Станислав Кроненберг основал табачную фабрику, на которой было занято более 700 работников. Железнодорожное строительство снова выступило двигателем экономики. Работы на участке между Варшавой и Петербургом, прерванные из-за Крымской войны, были возобновлены. В 1860 году пошли первые поезда от столицы империи до Вильны, а в 1862-м – они пришли и в Варшаву.

Как и раньше Венский вокзал, новая станция, куда стали приходить поезда из Петербурга, вызвала оживление в окрестных районах Варшавы на восточном берегу Вислы. В 1859 году началось строительство первого стального моста через реку. Внушительный Александровский мост – современники часто называли его «мостом Кербедза» (по имени строившего его инженера, генерал-майора Станислава Кербедза) – изначально планировался как железнодорожный, но в эксплуатацию был введен в 1864 году как путепровод для уличного движения. Этот мост, решетчатая металлическая конструкция которого была видна издали, располагался совсем рядом со старинным королевским дворцом и для многих наблюдателей в те годы служил доказательством того, что и в Варшаве начались новые времена.

Железнодорожная сеть Царства Польского расширялась и по другим направлениям: в 1859 году была завершена линия Варшава–Домброва-Гурнича, а в 1860-м – под руководством предпринимателя и финансиста Германа Эпштейна началось строительство линии Варшава–Быдгощ, соединившей Царство Польское с Пруссией. Эпштейн (который уже в 1857 году получил от правительства в управление Варшавско-Венскую железную дорогу), как и банкир Кроненберг, с помощью займов у иностранных банков и инвесторов обеспечил капитал, необходимый для крупных инвестиций в Царстве Польском. Особенно в угольной и железоделательной промышленности в эти годы наблюдались значительные темпы роста; заметно возросла промышленная механизация в текстильной отрасли, пищевая промышленность также бурно расширялась: например, производство сахара за период между 1853 и 1860 годами утроилось. В сельском хозяйстве изменения проявлялись лишь очень постепенно, и на рубеже 50–60-х годов Царство Польское, как могло показаться, стремительно превращалось в капиталистический индустриальный регион. По имеющимся оценкам, на фабриках в это время было занято около 100 тыс. рабочих.

Аналогичным образом казалось, что и в области культуры расширяются зоны свободы. Во главе архиепископства Варшавского стоял теперь Зыгмунт Щенсный Фелинский, подчеркнуто стремившийся к межконфессиональному миру. Однако наиболее важное значение имело открытие Варшавской главной школы (Szkoła Główna Warszawska), дозволенное указом царя. Это учебное заведение было основано на базе Медико-хирургической академии, открывшейся еще в 1857 году, но вскоре переехало в одно из зданий старого Варшавского университета. Тем самым оно не только символически продолжало его традиции, но и – ввиду широты спектра преподаваемых в нем дисциплин – вполне могло претендовать на статус полноценного университета. Помимо медицинского в школе были также юридический, историко-филологический и физико-математический факультеты.

За короткий период существования школы – уже в 1869 году она была инкорпорирована в русскоязычный Императорский Варшавский университет – в ней получило образование целое поколение польских активистов, литераторов, ученых и выдающихся позитивистов, в том

числе Болеслав Прус, Генрик Сенкевич, Адольф Сулиговский, Александр Свентоховский и Ян Бодуэн де Куртенэ¹⁰³.

Первый ректор школы, Юзеф (в русском обиходе – Иосиф Игнатьевич) Мяновский, сыграл решающую роль в ее успехе. Этот известный медик, друг поэта Словацкого, пользовался отличной репутацией не только в польском обществе: будучи личным врачом членов царской семьи, он также имел превосходные связи при императорском дворе в Петербурге – и благодаря этому обстоятельству школа прошла потом практически без потерь даже через бурные времена Январского восстания. За активную исследовательскую и преподавательскую работу в Царстве Польском Мяновский в 80-е годы получил особый знак признания: выпускниками школы был основан Фонд Юзефа Мяновского, ставший важнейшим польским фондом финансовой поддержки научных исследований в эпоху до Первой мировой войны.

В 1861–1863 годах Варшавская главная школа под руководством и защитой Мяновского стала одним из центров культурного и политического возрождения Царства Польского, и прежде всего Варшавы. Однако некоторые из ее студентов – те, кого отличал радикализм, питаемый романтизмом и революционной мифологией, – способствовали и эскалации событий в преддверии Январского восстания. Если Мяновский в своей инаугурационной речи говорил о западной культурной ориентации поляков лишь в самых общих выражениях, то в некоторых студенческих кругах «ярмо» русского владычества все чаще воспринималось как невыносимое. Большим влиянием пользовались здесь также кружки, которые были основаны польскими студентами в университетах Петербурга, Москвы, Дерпта и Киева и в своем революционном пафосе даже превосходили варшавское студенчество.

Не менее важной для общества была еще одна реформа Велёпольского – закон от 24 мая 1862 года, уравнивший евреев в правах с остальными жителями Царства Польского. «Еврейский вопрос» приобретал все более заметное значение уже в предшествующее десятилетие, когда наблюдался поворот части польского еврейства к активному взаимодействию с польским обществом и интерес к польской культуре. Движущими силами этого процесса были, с одной стороны, такие раввины, как Дов Бер Майзельс, которые считали себя

польско-еврейскими патриотами, а с другой – экономически усилившаяся еврейская буржуазия Царства Польского. Представления о том, насколько далеко должна зайти ассимиляция, значительно разнились – из консервативного лагеря раздавались и критические доводы против нее¹⁰⁴, – но идея *общего* польско-еврейского проекта эмансипации была в 50-е годы широко распространена. С требованием такой эмансипации закономерно сочетались и часто раздававшиеся призывы к установлению равноправия для евреев. Эмансипация в результате реформы 1861 года стала исполнением этих требований применительно к Царству Польскому, но не к западным губерниям. Благодаря ей даже радикальным польским требованиям была обеспечена мощная поддержка со стороны евреев, особенно в кругах ведущих еврейских священнослужителей, интеллектуалов и предпринимателей Варшавы¹⁰⁵.

Таким образом, маркиз Велёпольский за два коротких года осуществил впечатляющую программу реформ, которая к тому же опиралась на экономический рост в Царстве Польском. Но эти далекоидущие преобразования не помогли успокоить политическую ситуацию. Настроения в Варшаве быстро стали настолько радикальными, что тесное сотрудничество Велёпольского с петербургскими властями, необходимое последнему для проведения реформ, уже толковалось как измена польскому делу. Во внутripольских дебатах Велёпольский с его авторитарным стилем руководства оказывался во все большей и большей изоляции¹⁰⁶.

В этом противостоянии с политическим курсом Велёпольского утратил свою актуальность даже антагонизм между «белыми» и «красными». Им все чаще удавалось прийти к согласию по поводу общего списка требований, включавшего восстановление Конституции и польской армии, а также объединение Царства Польского с «восточными территориями», т. е. выходящего далеко за рамки того, о чем готовы были вести разговор петербургские власти. Поэтому все попытки переговоров между имперскими чиновниками и представителями польского политического спектра были обречены на неудачу. Даже те мнения, которые высказывал Анджей Замоиский, считавшийся консерватором, выглядели с российской точки зрения совершенно неуместными.

С 1861 года Варшава была охвачена спиралеобразно нараставшим насилием, которое вело в сторону нового восстания. Первые патриотические манифестации состоялись уже в 1858 году, и в последующие годы они повторялись. Это, безусловно, способствовало тому, что атмосфера сгущалась и нарастало «давление улицы» на политические дебаты, но до 1861 года демонстрации проходили еще мирно. Следующий виток напряженности начался в феврале 1861 года, когда в связи с ежегодным собранием Сельскохозяйственного общества политическая ситуация крайне обострилась. Среди прочих прибыли студенческие делегации из западных губерний, придавшие своими требованиями расширения прав поляков на «аннексированных» территориях дополнительный жар дискуссиям в Сельскохозяйственном обществе. 25 февраля состоялась большая публичная демонстрация в память Гроховского сражения, во время которой произошли первые столкновения между демонстрантами и полицией. 27 февраля российские войска стали стрелять по демонстрантам и пять человек были убиты. Так началась череда событий, в ходе которых то и дело происходили стычки между полицией и войсками с одной стороны и демонстрантами и участниками национально-религиозных праздников – с другой; в результате было множество жертв. Одновременно стало ясно, в какой высокой мере все слои и профессиональные группы населения Варшавы готовы теперь к мобилизации ради «национального дела»¹⁰⁷.

Нельзя сказать, что не предпринимались попытки разорвать порочный круг насилия. Наиболее известным примером является, конечно, Городская делегация (*Delegacja Miejska*) – так назвал себя сформированный в феврале комитет варшавян, стремившихся путем диалога с российскими властями стабилизировать ситуацию. В состав Делегации входили представители различных профессиональных групп и такие видные фигуры, как банкир Леопольд Станислав Кроненберг, писатель Юзеф Игнаций Крашевский, купец Францишек Ксаверий Шленкер и раввин Дов Бер Майзельс. С одной стороны, Делегация пыталась, используя свои собственные дружины гражданского ополчения, восстановить контроль над публичным пространством, охваченным хаосом и насилием; с другой стороны, она – вместе с членами Сельскохозяйственного общества – обратилась к царю с петицией, в которой требовала восстановления польской автономии.

Попытка восстановить спокойствие такими средствами успеха не принесла. Уже 3 апреля Делегация была по приказу царя распущена. Еще хуже было то, что уже вскоре после этого произошло новое, весьма кровопролитное столкновение демонстрантов с российской полицией и армейскими подразделениями. В боине на Дворцовой площади солдаты открыли огонь по толпе и убили более 100 человек. Их похороны стали поводом для новых патриотических манифестаций, которые привели к конфронтации с полицией и армией и к новому кровопролитию. Спираль эскалации насилия продолжала раскручиваться в течение всего лета 1861 года, несмотря на реформаторские усилия Велёпольского – новоназначенного главы ведомства духовных дел и народного просвещения.

Этому способствовало и то обстоятельство, что у правительства России не было никакой концепции относительно того, как – помимо военных мер по наведению «порядка» в публичном пространстве – реагировать на конфликты. В эпоху, когда и внутренние российские губернии то и дело сотрясались от крестьянских восстаний, а энергию и внимание чиновников в Петербурге поглощали реформаторские мероприятия, казалось, ни царь, ни его министры не имеют представления, как поступать в ответ на события в Польше. Наглядным проявлением отсутствия концепции была чехарда наместников в Варшаве: после смерти Горчакова в 1861 году на его место был назначен сперва Николай Сухозанет, затем – Карл Ламберт. Последний в особенности уповал на полицейские и военные методы «замирения», но провел в должности наместника только три месяца: уже в октябре 1861 года его сменил Александр Лидерс. Того, однако, тоже очень скоро – в июне 1862 года – сменил брат царя, великий князь Константин Николаевич.

Эти короткие сроки пребывания наместников в должности, с одной стороны, свидетельствовали об отсутствии ясной линии у имперских властей, а с другой – сами стали дополнительным фактором дестабилизации, поскольку умеренные силы в Царстве Польском оказывались лишены надежного и долговременного партнера по переговорам. А когда еще и Велёпольский на несколько месяцев был вызван в Петербург, чтобы дать отчет о событиях в Польше и о реформах, которые он намеревался провести, – готовый

к сотрудничеству с властями лагерь остался без своего наиболее дееспособного лидера.

Некоторая стабильность восстановилась в кабинетах имперского наместничества в Варшаве только с назначением Константина Николаевича. Поэтому не случайно в дальнейшем имело место довольно продуктивное сотрудничество между великим князем и Велёпольским. Брат царя, известный как поборник реформ, придерживался этой линии и в Польше. Причем, несмотря на рану, полученную им в результате покушения, предпринятого вскоре после его назначения, продолжал считать, что успешные реформы возможны лишь при условии «приглашения общества» или по крайней мере той его части, которая готова к сотрудничеству¹⁰⁸.

Однако в 1862 году время было уже упущено: в предшествующие месяцы острая конфликтная ситуация привела к политической радикализации именно этих, умеренных кругов. «Белая» дворянская оппозиция также покинула почву строгой законности и уже зимой 1861/62 года начала создавать свои собственные тайные организации. Эта мера была первоначально направлена на создание противовеса подпольной деятельности «красных», чьи конспиративные кружки, например Городской комитет (Komitet Miejski) или Комитет действий (Komitet Ruchu), разрабатывали планы революционного террора и пропагандировали идею насильственного государственного переворота. В начале лета 1862 года радикальные активисты, такие как Ярослав Домбровский, объединили эти организации в Центральный национальный комитет (Komitet centralny narodowy), который все больше и больше претендовал на роль теневого правительства, конкурирующего с администрацией Велёпольского, и решительно готовился к вооруженному восстанию против российского владычества.

Под давлением активности «красных» постепенно радикализировались и лидеры «белых», начав выдвигать требования, абсолютно неприемлемые для царских властей. Поэтому попытка Константина Николаевича наладить контакт с основателем Сельскохозяйственного общества Анджеем Замойским потерпела неудачу: беседа между наместником и лидером консервативного фланга польского общественного мнения закончилась катастрофой. Константин назвал графа «мечтателем» и «безумцем», который не только потребовал восстановления польской Конституции и армии

в качестве предварительного условия сотрудничества, но и заговорил о бывших польских восточных территориях¹⁰⁹.

Эта неудача имела серьезные последствия сразу в двух отношениях. Во-первых, она усилила голоса тех в «белом» лагере, кто выступал за сотрудничество с «красными» и все более и более сочувствовал идее вооруженного восстания. Этому не в последнюю очередь способствовало то обстоятельство, что Замойский после конфликта с Константином был вызван в Петербург, а затем выслан из страны. Во-вторых, царским властям стало понятно, что они в своей изоляции могут полагаться практически только на Велёпольского и его ближайшее окружение. Парадокс короткого и столь напряженного периода между летом 1862-го и январем 1863 года заключается в том, что Велёпольский энергично продвигал вперед свои реформы и при этом пользовался поддержкой наместника, а в то же самое время «белые» и «красные» активисты в подполье все более организованно готовили восстание. Таким образом, в те месяцы, когда осуществлялась полонизация административного аппарата, когда открылась Варшавская главная школа, когда даже архиепископ Фелинский призвал к патриотизму умеренному, Центральный национальный комитет взимал «национальный налог» для финансирования будущего восстания, и с осени 1862 года значительная часть польской шляхты была готова этот налог платить.

В ситуации такой фундаментальной конфронтации Велёпольский стремился изолировать наиболее радикальную, «красную» фракцию. Его усиленная реформаторская деятельность летом и осенью 1862 года была, помимо прочего, попыткой вовлечь часть оппозиционного движения в его, маркиза, политический проект, нацеленный на восстановление ограниченной польской автономии. Одновременно он усилил репрессии против представителей «красных»: некоторых арестовал, а некоторых даже предал публичной казни.

Наиболее рискованным шагом Велёпольского стала попытка лишить радикалов социальной базы путем массового призыва молодых мужчин, в особенности из Варшавы и окрестностей, на военную службу зимой 1862/63 года. Распоряжение о рекрутском наборе пришло из Петербурга, но Велёпольский намеревался использовать его для собственных политических целей: удалить часть людей из рядов радикалов в польской столице. Первоначально набор должен был

осуществляться путем жеребьевки, но маркиз заменил ее поименным списком рекрутов, в который попало непропорционально много молодежи из Варшавы. Даже наместник Константин Николаевич критиковал этот подход как ненужную провокацию и катализатор конфликта, но Велёпольский оказался достаточно влиятельным, чтобы провести свою линию.

Революционные активисты с полным основанием увидели в предстоящем рекрутском наборе большую угрозу для себя. Зимой 1862 года принципиальное решение о восстании было уже принято, однако относительно его даты и тактики среди революционеров существовали большие разногласия. Избранный Велёпольским маневр – игра на опережение – поставил заговорщиков в ситуацию цугцванга, и они поспешно решили в разгар зимы начать вооруженное выступление, чтобы упредить рекрутский набор. 22 января 1863 года Национальный комитет провозгласил себя Временным национальным правительством, объявил войну Петербургу и выпустил манифест, в котором призвал все народы и все религиозные общины прежней дворянской республики к восстанию против царского владычества. В манифесте члены комитета провозгласили свободу и равенство всех граждан и объявили крестьян собственниками той земли, которую они обрабатывали. Помещикам предполагалось впоследствии выплатить компенсацию из государственных средств. В польских провинциях, гласил манифест, окружные воинские начальники должны взять на себя как военное командование, так и гражданское управление. Началось Январское восстание – третий раз Польша поднялась против диктата Петербурга¹¹⁰.

Главная причина восстания 1863 года заключалась не в нежелании имперских властей допустить реформы в Царстве Польском. Перестройка администрации и либерализация общественной жизни, которые царские чиновники терпели, а отчасти даже сами проводили, были направлены на восстановление частичной польской автономии. Наместник, великий князь Константин Николаевич, старался обеспечить адекватную основу для переговоров с важнейшими польскими лидерами.

Дело, таким образом, было скорее в уменьшении давления со стороны петербургских инстанций: это уменьшение постоянно увеличивало ожидания польской общественности и способствовало

эскалации сначала внутренних конфликтов, а затем, в самом скором времени, и конфронтации с имперскими властями. В атмосфере некритичного романтического революционного энтузиазма и разговоров об объединении всех польских земель (т. е. включая как территории, отошедшие к Пруссии и Австрии, так и, прежде всего, восточные польские земли) – разговоров, которые велись и в эмиграции, и в Варшаве, – предложения уступок, приходившие из Петербурга, уже не могли удовлетворить растущих требований. Динамика насилия на улицах Варшавы в 1861–1862 годах значительно способствовала обострению конфронтации и укрепила большую часть польской оппозиции в убеждении, что вооруженное восстание в конечном счете неизбежно. Перед лицом растущей готовности идти на военную конфронтацию утратили важность даже разногласия между «красной» и «белой» партиями, а Велёпольский, несмотря на свою энергичную реформаторскую деятельность, оказался в изоляции.

При взгляде с другой стороны – российской – эти два года, предшествовавшие Январскому восстанию, сливались в один период «польской смуты»¹¹¹. Лишь немногие в правящих кругах империи обладали таким детальным знанием обстановки и такой готовностью к дифференцированному восприятию, как, например, великий князь Константин. Если он долгое время оставался при убеждении, что даже в накаленной атмосфере удастся найти людей с польской стороны, с которыми возможен диалог, то в Петербурге придерживались в основном шаблонных мнений о «неблагодарной», «вспыльчивой» и «мятежной» Польше. На позицию большинства царских сановников, причастных к этим событиям, неизгладимый отпечаток накладывало воспоминание о том, что именно готовность государства к уступкам спровоцировала процесс радикализации, ибо польской стороной эти уступки были истолкованы лишь как свидетельство непрочности имперского владычества. Деятельность бюрократического аппарата на следующие пять десятилетий определялась представлением, будто реформы опасны, так как послужат ложным знаком слабости государства, что приведет лишь ко все более «неумеренным» притязаниям поляков¹¹².

А пока имперским властям предстояло как-то справляться с вооруженным восстанием в Царстве Польском и в части западных губерний. Впрочем, в военном отношении повстанцев вскоре постигло

фиаско. Им не удалось захватить ни одного из крупных городов. Даже Плоцк, который повстанцы решили сделать своей временной столицей, они не сумели очистить от российских войск. Единоновременно в многочисленных стычках было задействовано, вероятно, не более 30 тыс. повстанцев, а общая численность участников восстания оценивается в 200 тыс. Им противостояла российская армия, насчитывавшая более 300 тыс. солдат, и, в отличие от Ноябрьского восстания (1830–1831), никаких серьезных военных проблем для нее польские отряды создать не могли. Видя вопиющее неравенство сил в открытом бою, повстанцы быстро перешли к тактике партизанской войны, и она принесла им определенный успех: их многочисленные нападения, особенно в лесистой местности, затрудняли жизнь российских войск. В такой форме восстание, основной силой которого была мелкая местная знать, а также часть крестьянства, даже перекинулось на литовские земли¹¹³.

Если учитывать военную слабость повстанцев, удивительно, что Временному национальному правительству удалось под самым носом у царского гарнизона в Варшаве создать относительно хорошо функционирующее подпольное государство, которое наладило собственную почтовую службу, взимало налоги с населения, чтобы финансировать восстание, и имело собственную полицию. Попытку государственного переворота поддержали самые широкие слои горожан, представлявшие все социальные и конфессиональные группы¹¹⁴.

Но после того как маркиза Велёпольского сняли с должности, а в Варшаву был направлен фельдмаршал Федор Федорович Берг (Фридрих Вильгельм Ремберт фон Берг), царская власть быстро возвратила себе инициативу. Берг – кавалер множества орденов, сражавшийся еще против Наполеона, – был сначала (в марте 1863 года) назначен Александром II «помощником» великого князя, а затем (в августе) царь отозвал Константина в Петербург и фельдмаршал стал новым наместником. Он выступал за жесткие репрессивные меры не только против повстанцев и тех, кто им непосредственно помогал, но и против широкого круга предполагаемых сочувствующих, особенно в городской среде. За короткий период между своим вступлением в должность и окончанием восстания в 1864 году Берг осуществил несколько сотен казней, более 1,5 тыс. человек были приговорены

к каторге и более 11 тыс. – к ссылке. Кроме того, были проведены многочисленные конфискации товаров и имущества, а также наложены гигантские денежные штрафы¹¹⁵.

В военных действиях против повстанцев косвенную, но оказавшуюся очень полезной поддержку России оказала вторая держава, участвовавшая в разделах Польши, – Пруссия. Русский царь заключил с ней так называемую Альвенслебенскую конвенцию, согласно которой российским войскам, преследующим польские вооруженные формирования, разрешалось на короткое время заходить на сопредельную прусскую территорию. Одновременно Пруссия пыталась пресекать все формы финансовой и логистической поддержки восстания своими собственными польскими подданными. Хотя в Познани, как и в Галиции, существовало местное отделение Временного национального правительства и некоторое количество прусских поляков вызвались добровольцами биться за независимость Польши, все же прочной и постоянной связи между прусской и российской частями Польши установлено не было.

Этой конвенцией державы, помимо военного сотрудничества, подтверждали друг другу, что границы, проведенные на Венском конгрессе, остаются в силе. И одновременно она была отражением той международной изоляции, в которой пребывали польские повстанцы. Хотя Франция и Англия настаивали на расторжении конвенции, а Наполеон даже говорил какое-то время о международной арбитражной конференции, никакой серьезной и последовательной поддержки восстанию ни одна из ведущих европейских держав оказывать не стала, да и широкую европейскую общественность стремление поляков к свободе заинтересовало в 1863 году гораздо меньше, чем в 1830–1831 годах.

Возможно, еще важнее для российских властей было то обстоятельство, что жесткие действия армии против польских повстанцев встретили широкую поддержку в российской публичной сфере, которая как раз в это время бурно развивалась в ходе Великих реформ. Впрочем, некоторые российские радикалы осмеливались заявлять о солидарности с восстанием, и русский контингент среди иностранных добровольцев, присоединившихся к повстанческим отрядам, был самым многочисленным. Здесь важную роль сыграла политическая публицистика Александра Герцена: отец-основатель

эмигрантских русских демократических движений уже давно выступал за совместные действия русских с поляками. Благодаря чтению статей Герцена интересы поляков стали ближе и понятнее некоторым российским активистам, да и впоследствии его идеи оказывали влияние на народников и членов первых революционных организаций, таких как «Земля и воля»¹¹⁶.

О том же, насколько изолированы были Герцен и его последователи с их пропольской позицией среди широкой российской общественности, можно судить, помимо прочего, по тому, что публицистическое влияние Герцена резко пошло на убыль, после того как он открыто выступил в защиту Январского восстания. Даже в либеральных оппозиционных кругах в Москве и Петербурге «польский мятеж» был воспринят как покушение на целостность государства, как угроза для курса реформ или даже как иностранный заговор, а потому встретил резкое неприятие. Это в особенности касается формировавшегося тогда патриотического идейного направления, которое группировалось вокруг таких издателей, как Михаил Катков, и таких писателей, как Иван Аксаков. У Каткова, издававшего влиятельные печатные органы «Русский вестник» и «Московские ведомости», восстание 1863 года даже стало причиной весьма фундаментальных перемен в мировоззрении. Если еще в 50-е годы он был видным сторонником реформ, то в середине 60-х — превратился в консервативного централиста, писал, как и издатель газеты «День» Аксаков, антипольские памфлеты и требовал реагировать на «мятеж поляков» так, как подобает русскому патриоту¹¹⁷. И даже либеральные авторы, например историк Сергей Соловьев, теперь с горечью говорили о поляках как об изменниках¹¹⁸. Подобные антипольские позиции разделяли многие ведущие деятели, формировавшие мнения в российской публичной сфере. Мнения эти во многом сильно расходились, однако царил широкий консенсус по поводу того, что Россия должна иметь в масштабах всей империи единообразное административное устройство, судопроизводство и русский язык в качестве обязательного государственного. Но прежде всего — сохранение российского владычества над Конгрессовой Польшей объявлялось вопросом жизни и смерти для империи и тем самым, опосредованно, условием выживания русской нации¹¹⁹.

В целом Январское восстание значительно ускорило процесс складывания общественного рынка мнений и публикаций в России и в то же время произвело на нем патриотический поворот. События 1863–1864 годов вызвали – и в этом тоже было их заметное отличие от 1830 года – широкий публицистический отклик со стороны сильно политизированной общественности. Кризис поднял целую волну как национально мотивированных заявлений о поддержке действий правительства, так и публикаций о якобы фундаментальном характере русской нации. Таким образом, «польский вопрос» укрепил категорию «нация» в качестве ментальной основы империи. «Нация» стала вездесущим топосом в патриотическом дискурсе, который формировался прежде всего усилиями Каткова, но был подхвачен и либеральными средствами массовой коммуникации, такими как «Голос»¹²⁰.

Поскольку и государственная цензура благосклонно отнеслась к такому подобному расцвету патриотической публицистической деятельности, Январское восстание по праву было названо поворотной точкой в истории русского национализма и одновременно в развитии российской журналистики. Высокие тиражи ежедневной прессы, постепенно вытеснявшей «толстые журналы», тоже могут интерпретироваться как свидетельство того, что новый национализм совпал с чаяниями читательской аудитории¹²¹. Поэтому «польский вопрос» косвенно способствовал и самоосознанию все более политизировавшегося рынка мнений, который требовал для себя права голоса в публичных дебатах. С «польским вопросом» всегда были связаны и «русский вопрос», и, следовательно, определение государственной нации. «Понимаемая таким образом „нация“ [...] сменила в умах сознательной общественности прежнюю концепцию самодержавия как исторически наиболее важной интегрирующей скрепы империи»¹²².

Поскольку этот дискурс использовал политическую лексику, одобряемую властями, – например, понятия «народность» или «единство России» – цензурное ведомство предоставляло ему удивительно широкий простор. Царские сановники, несомненно, понимали, что лояльный национализм был способен мобилизовать больше поддержки для сотрясаемого кризисом самодержавия, чем могла бы обеспечить традиционная, инспирируемая и управляемая

правительством публичная сфера. Оглядываясь назад, будущий варшавский генерал-губернатор Иосиф Гурко сформулировал это так: польское восстание 1863 года «пробудило народное самосознание русского общества»¹²³.

Благодаря этой широкой внутренней поддержке – и бездейственности других держав – петербургские власти смогли беспрепятственно использовать суровые военно-полицейские меры против повстанцев и населения Царства Польского. Но решающую роль в конфликте сыграло не только военное превосходство российских войск: власти понимали, что для надежного замирения мятежного края потребуется нечто большее, чем сила оружия.

Поэтому уже на ранней стадии восстания правительство попыталось завоевать лояльность крестьянства – прежде всего непольского – с помощью крупной земельной реформы в западных губерниях. Указом, который был обнародован в марте 1863 года, право собственности на землю и другие многочисленные права были пожалованы литовским крестьянам, а летом того же года эмансипационное законодательство было распространено и на провинции с преимущественно белорусским и украинским крестьянством. Осенью планировалось проведение крупной земельной реформы в Царстве Польском. С этой целью правительство образовало Учредительный комитет в Царстве Польском, в состав которого были введены такие известные люди, как Н. Милютин, князь В. Черкасский и Я. Соловьев. Милютин – один из главных авторов Манифеста 19 февраля 1861 года, освободившего русских крестьян, – казался вполне подходящей кандидатурой для выполнения подобной задачи. Вместе с ним по поручению царя над проектом земельной реформы для Царства Польского работали славянофилы Юрий Самарин и князь Владимир Черкасский¹²⁴.

Указ, опубликованный 19 февраля 1864 года, предусматривал уступки польским крестьянам, выходявшие далеко за пределы того, что было осуществлено при освобождении крестьян в России. Эта мера была направлена на то, чтобы лишить мятежников их социальной базы, и властям пойти на нее было тем легче, что реализовать ее можно было за счет «мятежных» польских дворян.

Перераспределение земли и правовая эмансипация крестьян, предпринятые властями в 1863–1864 годах, в долгосрочной

перспективе дали ожидаемый эффект. Хотя доля крестьян в рядах повстанцев изначально была даже больше, чем во время восстания Костюшко, после февральского указа их готовность поддерживать восстание пошла на убыль. В том числе и по этой причине реорганизация сопротивления и переход власти в повстанческих руководящих органах к «красным» осенью 1863 года почти ничего не изменили в развитии событий.

Дело в том, что, хотя военные силы повстанцев получали подкрепление и они совершили ряд покушений на царских чиновников, среди которых был и наместник Берг, это лишь незначительно изменило соотношение сил в целом. Наоборот, репрессии, осуществленные Бергом после покушения на него, вытеснили подпольную организацию повстанцев из Варшавы. В октябре бывший подполковник российской армии Ромуальд Траугутт встал во главе Национального правительства в качестве «диктатора» и тем самым маргинализировал еще остававшихся «красных» активистов. Ему удалось реорганизовать разрозненные партизанские формирования, мобилизовать более крупные подразделения для скоординированных нападений на российские войска и, таким образом, на короткое время снова оживить восстание. Однако после его ареста в Варшаве в апреле 1864 года военная деятельность повстанцев быстро развалилась. До конца 1864 года только отдельные рассеянные отряды оказывали вооруженное сопротивление царской армии. Сам Траугутт был приговорен российским военным трибуналом к смертной казни и повешен вместе с другими повстанцами в Варшавской цитадели в августе 1864 года.

Провал восстания объяснялся не только его военной слабостью и многочисленными тактическими ошибками при планировании. Оно было обречено на неуспех из-за отсутствия широкой социальной базы, ведь в основном это было движение знати. Конечно, польско-литовское дворянство само составляло немалую долю населения в Царстве Польском и западных губерниях: из этнических поляков около 20% принадлежали к шляхте. Дворянство способствовало, помимо прочего, и тому, что восстание перекинулось на бывшие польские восточные территории – какое-то время его наиболее активная зона даже находилась в северо-западных «литовских» провинциях. Временное национальное правительство сумело убедить социально разнородную

и политически неединую шляхту действовать сообща на территории, охватывавшей всю бывшую польско-литовскую республику в границах 1772 года. С этой точки зрения Январское восстание было впечатляющим мобилизационным достижением старых элит Речи Посполитой¹²⁵.

Помимо дворянства, разве что в крупных городах, прежде всего в Варшаве, восстание нашло широкую поддержку населения. Как и во время патриотических манифестаций в канун вооруженного выступления, значительная часть варшавян считала политические вопросы независимости Польши своим личным делом, ради которого готова была действовать и приносить значительные жертвы. Даже конфессиональные границы утрачивали свою прежнюю непреодолимость: так, евреи участвовали и в демонстрациях 1861–1863 годов, и в подпольной деятельности Национального правительства¹²⁶.

А вот крестьян в Царстве Польском повстанцы лишь в небольшой мере смогли заинтересовать своими целями. Хотя манифест о восстании в январе 1863 года обещал занимающемуся земледелием сельскому населению значительные права, эти обещания были перекрыты царскими указами об освобождении крестьян сначала в западных губерниях, а затем и в Царстве Польском. В партизанских отрядах было много крестьян, но все же вряд ли можно говорить, что сельское население действительно в широких масштабах поддержало национально-революционную программу восстания.

В целом провал восстания более чем ясно показал, что старая, сословная социально-политическая общность аристократической республики не имела никаких шансов против военных и административных сил Российской империи. Опыт этого поражения, несомненно, облегчил для значительной части польской общественности расставание с эпохой революционной романтики.

Восстание 1863–1864 годов и его разгром закончили первую главу истории российского владычества над польскими территориями и Царством Польским. После 1864 года начался новый этап, принципиально отличный от предыдущего. Дело в том, что, хотя Ноябрьское восстание (1830–1831) ознаменовало собой поворотный момент, все же фундаментальные интеграционные механизмы домодерной многонациональной империи не были поставлены тогда

под сомнение. Даже в условиях военного положения Петербург сохранял за Конгрессовой Польшей особый правовой статус. Усилия по интегрированию польских земель, особенно западных губерний, в состав России предпринимались, однако это не отменяло полностью принцип привлечения местных элит и сотрудничества с лояльной аристократией.

Январское же восстание (1863–1864) ознаменовало перелом гораздо более кардинальный. На бескомпромиссный вызов, брошенный имперской гегемонии и единству государства повстанцами, царские власти отреагировали не только жесточайшими военными и судебными репрессиями: в последующие годы они осуществили широкий комплекс мер, призванных навсегда замирить польские территории. Это в равной степени относилось и к Царству Польскому, и к западным губерниям, однако в результате проводившихся мероприятий пропасть между районами, присоединенными к России по разделам 1772–1795 годов, и Центральной Польшей значительно углубилась. Западные губернии в последующие десятилетия развивались совершенно иначе, чем Конгрессовая Польша, созданная в Вене¹²⁷.

Впрочем, и Царство Польское подверглось многочисленным насильственным преобразованиям. Изданные после 1864 года законы и указы были направлены на устойчивую и глубокую интеграцию этой провинции в Российскую империю и сглаживание всех тех «местных особенностей», которые ранее отличали данный регион. Вот почему есть все основания утверждать, что после подавления Январского восстания основной императив властвования, которым руководствовался Петербург в отношении к этой земле и ее людям, стал иным. О том, в какой степени принципы и методы российского господства в Царстве Польском изменились в последующие годы и десятилетия, пойдет речь в дальнейших разделах книги.

Глава III

**СТРУКТУРЫ, АКТОРЫ И СФЕРЫ
РОССИЙСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА
В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ
ПОСЛЕ 1863 ГОДА**

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ: РЕЖИМ ПОСЛЕ ЯНВАРСКОГО ВОССТАНИЯ (1863– 1915)

Итак, после неудачного восстания 1863–1864 годов история Царства Польского пошла в совершенно новом направлении. Уничтожены были все предшествующие иллюзии относительно воскрешения прежней шляхетской нации, и управлять Польшей Петербург стал теперь совсем по-иному. Таким образом, ментальный горизонт обеих сторон конфликта изменился фундаментально: в польском обществе была похоронена идея романтического повстанческого героизма, а среди российской общественности и в административном аппарате глубоко укоренилась полонофобия, сделавшаяся главным направляющим мотивом управленческой практики в десятилетия после Январского восстания. «Польский мятеж» стал в России одним из «мест памяти», и образ неверной, коварной Польши законсервировался в умах на полвека^{[128](#)}.

В результате мероприятий, осуществленных царским правительством в виде реакции на восстание, усилились и различия между тремя частями разделенной Польши: если Царство Польское и западные губернии были прочнее привязаны к Петербургу, то польские провинции Австрии и Пруссии двигались в иных направлениях. С провозглашением административной и культурной автономии Галиции после 1867 года и с образованием Германской империи в 1871 году различия эти дополнительно углубились. Однако и в пределах Российской империи части бывшей польско-литовской шляхетской республики расходились все дальше друг от друга – под воздействием мер, принимаемых правительством. Политика в отношении Царства Польского и западных губерний различалась уже и до 1863 года, но после подавления Январского восстания это приобрело совершенно иной качественный и количественный масштаб^{[129](#)}.

В данной главе в центре нашего внимания будут события в Царстве Польском и те мероприятия, которыми Петербург отреагировал на Январское восстание и которые привели к установлению административного режима, просуществовавшего вплоть до Первой мировой войны.

Список директив был длинен¹³⁰, однако это никоим образом не должно создавать у нас иллюзию, будто речь шла о реализации некой единой политической программы. Речь шла скорее о длительном процессе преобразований – на это указывает хотя бы уже тот факт, что многие из мер, которыми правительство пыталось укрепить свою власть в беспокойных провинциях, были приняты только в 70-е годы, т. е. более десяти лет спустя после восстания¹³¹.

Вопреки отсутствию единого плана, многие меры, принятые после 1863–1864 годов, имели долговременный эффект. Уже назначение нового наместника в лице Ф. Ф. Берга летом 1863 года ясно показывало, что Петербург проводит жесткую линию на последовательную борьбу с повстанцами. Как и его виленский коллега Михаил Муравьев, Берг усилил репрессии против тех, чье участие в восстании считал доказанным. В условиях военного положения он имел возможность лично приговаривать людей к смерти или ссылке и к конфискации имущества¹³². В общей сложности Берг казнил по суду более 400 человек, сослал многие тысячи и конфисковал 1660 имений польских дворян. Последняя карательная мера, как и взимавшиеся со шляхты особые подати для содержания российской армии, указывает на то, что Берг и его петербургское начальство рассматривали прежде всего именно аристократов-поляков в качестве зачинщиков восстания и потому старались надолго ослабить их позиции в обществе¹³³.

На то же было нацелено и провозглашенное царем 19 февраля 1864 года, в разгар восстания, освобождение крестьян в Царстве Польском. Разработанная Н. Милютиным реформа была призвана, во-первых, лишить восстание потенциальной поддержки со стороны крестьянства и нейтрализовать земельную реформу, провозглашенную революционным Национальным комитетом в январе 1863 года, а во-вторых – постепенно обеспечить маргинализацию польского дворянства. Одновременно Милютин полагал, что крестьянство, облагодетельствованное реформой, станет опорой императорской

власти в Царстве Польском. Соответствующий топос о «верном» и «благодарном» польском крестьянине встречается и в донесениях чиновников, написанных в начале XX века¹³⁴.

Казнь «диктатора» Ромуальда Траугутта летом 1864 года ознаменовала окончательный разгром. В последующие годы Петербург был занят главным образом радикальной перестройкой управления в польских провинциях. Отныне в служебной переписке правительственных инстанций стали избегать выражения «Царство Польское»: этот регион «разжаловали» в «Привислинский край» (Kraj Nadwiślański), дабы изгладить само воспоминание о самостоятельности Польши¹³⁵.

На данном этапе преобразований инициированному правительством Учредительному комитету в Царстве Польском выпала главная роль. Изначально он задумывался как инстанция, которая займется аграрным вопросом. Однако этот комитет, функционировавший с 1864 по 1871 год, быстро превратился в организационный центр имперского владычества в Польше, действующий относительно автономно под номинальным председательством наместника. Поскольку комитет, помимо прочего, в значительной мере отвечал за финансовую администрацию Царства Польского, у него была возможность сильно влиять на принимаемые решения¹³⁶.

В ходе реформы административной системы Петербург шаг за шагом поменял все учреждения в Варшаве, которые раньше осуществляли управление Царством Польским. Так, в 1867 году были упразднены Государственный и Административный советы, а вместо них сформированы структуры, аналогичные существовавшим во «внутренних областях» империи. Отныне сферы внутренних дел, финансов, юстиции и образования были переданы в ведение соответствующих министерств в Петербурге. Уже в 1866 году этот процесс перестройки административной структуры в основном завершился. Привислинский край был поделен на десять губерний, и во главе каждой стояли назначаемый царем губернатор и его аппарат¹³⁷. Верховное управление осуществлял сначала императорский наместник в Варшаве, а после смерти фельдмаршала Берга в 1874 году эта должность была преобразована в генерал-губернаторскую¹³⁸.

Наряду с фундаментальной административной реформой важнейшей целью Петербурга была также деполонизация управленческого аппарата. Осуществленные Александром Велёпольским назначения местных поляков на административные должности были пересмотрены. Посты в бюрократической иерархии, особенно высшие, стали теперь недоступны для католиков. Конечно, исключения из данного правила бывали¹³⁹, но в целом такая дискриминация католиков – а значит, поляков – оставалась одной из существенных характеристик административной политики Петербурга в этом крае вплоть до 1917 года, причем осуществлялась неформально: никаких антипольских норм ни в каком законодательстве Российской империи закреплено никогда не было.

Успехи этой деполонизации оказались, впрочем, довольно скромны: дефицит специалистов некаатолического вероисповедания заставлял власти и после 1864 года нанимать на службу в аппарат поляков-католиков. В 1869 году в администрации Привислинского края православные составляли лишь 12% персонала, и даже в 1897 году почти 60% чиновников там были католиками, в то время как доля православных – достигла только 23%¹⁴⁰.

Ситуацию практически не изменили и усердные попытки правительства побудить к переселению в Привислинский край чиновников из внутренних областей России. Чтобы сделать службу на этой чуждой окраине империи привлекательнее, были учреждены разнообразные надбавки и привилегии. Поэтому иногда Царство Польское называли «чиновничьим Клондайком»: благодаря повышенным окладам и льготам материальное положение государственных служащих там оказывалось значительно лучше, чем у их коллег во внутренних губерниях империи. Поскольку кадровой политике, нацеленной на вытеснение поляков из аппарата, было отведено в системе российского владычества в Польше центральное место, нам стоит более внимательно рассмотреть материальные условия государственной службы в Привислинском крае и то, как оценивали свое положение чиновники, прибывавшие туда из России¹⁴¹.

Высшие посты в управленческой иерархии Царства Польского оплачивались, несомненно, очень хорошо. Генерал-губернатор Скалон в 1908 году получал рекордно высокое жалованье: 36 тыс. рублей в год плюс доплаты в размере примерно 13 тыс.¹⁴² Начальник его канцелярии

в том же году заработал целых 9 тыс. рублей, а председатель Варшавского цензурного комитета в 1899 году получил 5,7 тыс.¹⁴³ Помимо высоких окладов, верхушка администрации в Варшаве пользовалась весьма комфортабельными служебными и жилыми помещениями: генерал-губернаторы жили в бывшем королевском дворце, варшавский губернатор и канцелярия генерал-губернатора размещались в бывшем дворце наместника на улице Краковское Предместье.

Кабинеты обер-полицмейстера и президента города находились в представительном здании ратуши, а штаб Варшавского военного округа даже занимал бывший королевский дворец на Саксонской площади. В то время как в России губернаторы регулярно жаловались на тесноту и обветшалость зданий, где им приходилось жить и работать, руководители ведомств в Варшаве пользовались помещениями, которые соответствовали рангу представителей имперской власти. Правда, уже губернаторы провинций и тем более низшие эшелоны чиновничества такой роскошью похвастаться не могли. Например, губернатор одного из десяти польских административных округов в 1870–1890 годах получал жалованье от 3,5 до 7,6 тыс. рублей в год, а служащие на нижних ступеньках иерархии довольствовались годовым доходом всего лишь в 350–1000 рублей¹⁴⁴. В 1886 году была установлена надбавка к базовому окладу чиновников русского происхождения за службу в Царстве Польском, но впоследствии она, при росте цен на местном рынке, не индексировалась. Многочисленные жалобы генерал-губернаторов говорят о том, что инфляция в Привислинском крае съедала все надбавки, а потому и вознаграждение за службу в польских провинциях уже вовсе не казалось таким привлекательным. Во многих случаях чиновники, особенно низшие, обращались с прошениями по поводу своих финансовых затруднений напрямую к генерал-губернатору, и он зачастую выдавал им разовое денежное вспомоществование. А когда чиновники выходили в отставку, им тем более приходилось пережить резкое снижение дохода, причем много теряли в деньгах и те, кто занимал руководящие должности. Хотя последним не грозила бедная старость, все же в условиях растущей стоимости жизни в Варшаве они уже с трудом могли позволить себе жить так, как требовали сословные стандарты¹⁴⁵.

Итак, служба в Привислинском крае отнюдь не приносила русским мелким чиновникам больших доходов. Возможно, именно поэтому, хотя на протяжении десятилетий численность православных административных служащих здесь и увеличивалась, все же доминировали в количественном отношении всегда поляки-католики. Финансовые возможности государства не позволяли осуществлять такую кадровую политику, которая обеспечила бы более радикальную смену персонала. В Царстве Польском, как и по всей империи, бюджет был таков, что штаты провинциальной администрации оказывались весьма ограниченными. Большим препятствием на пути осуществления планов по замене поляков русскими был также дефицит специалистов – традиционная проблема царской бюрократии. Не прекращались жалобы варшавских генерал-губернаторов на то, что чиновники, присылаемые из России, плохо знают свое дело. Например, генерал-губернатор Альбединский охарактеризовал «контингент русских», несших службу на низовых должностях, следующим образом: преувеличивая представление, что русской народности должна принадлежать первенствующая роль, и не доверяя всему чужому, некоторые правительствующие лица, писал он, усвоили себе не вполне правильные мнения относительно того, как нужно служить «русскому делу». Своим образом действий, проявляющимся зачастую в суровых и резких формах и оскорбляющим польское народное чувство напоминанием о былых событиях, эти деятели препятствуют желательному сближению польского общества с русской сферой¹⁴⁶. Но даже тем русским чиновникам, которые не вредили делу правительственной политики своей открыто демонстрируемой враждебностью в отношении поляков, было, по мнению генерал-губернатора, свойственно по большей части равнодушное и чисто формальное исполнение своих должностных обязанностей. Неудивительно, писал Альбединский, что у местного населения не возникает доверия к такого рода чиновникам¹⁴⁷.

Фундаментальная проблема – плохая квалификация, низкая мотивированность или агрессивная антипольская позиция чиновников, прибывших из внутренних областей России, – продолжала существовать еще и на рубеже XIX–XX веков. Генерал-губернатор Александр Имеретинский сетовал на то, что трудно привлечь на службу в Царство Польское подходящих людей. А тем, кто готов был ехать туда

служить, он дал уничтожающую характеристику: многие из новых русских чиновников, по его мнению, оставляли желать лучшего с точки зрения уровня образования, моральных качеств, служебного такта и добросовестности исполнения служебных обязанностей. Это в первую очередь касалось низшего чиновничества, но подобные недостатки встречались и в высших эшелонах государственной службы, что Имеретинский считал особенно вредным для правительства. На службу, писал он, поступали полуобразованные и плохо воспитанные люди, добродушные, ленивые, простые. Они приносили с собой целый арсенал предвзятых суждений, в соответствии с каковыми и стремились управлять Привислинским краем, который представлялся им пылающим очагом революции. В каждом поляке они видели угнетенного, но злобного врага правительства и их самих. Себя же они видели победителями и, следуя девизу «Победителя не судят», полагали, что свободны от всякого контроля, причем не только со стороны общественного мнения, но и со стороны своей собственной совести. В редчайших случаях эти предвзятые суждения, привезенные чиновниками из внутренней России, сглаживались при ближайшем знакомстве с условиями жизни в Царстве Польском. Но у большинства людей, прослуживших там несколько лет, наоборот, укреплялись их изначальные взгляды, характеризовавшиеся духом крайней нетерпимости ко всему польскому¹⁴⁸. Последствия этого для русско-польских отношений, продолжал Имеретинский, просто катастрофические: между российскими чиновниками и местным населением сохраняется глубокая враждебность, встречи между ними подобны «непрерывной борьбе [...] на каждом шагу»¹⁴⁹. Перед генерал-губернатором предстала «безотрадная картина»: недовольные русские чиновники и жалующиеся местные поляки. Все это, подчеркивал Имеретинский, наносит огромный вред интересам правительства, так как местное население имеет совершенно превратные представления о намерениях властей: эти представления складывались в ходе многочисленных столкновений с отдельными чиновниками, прежде всего в низшей администрации¹⁵⁰.

Поэтому Имеретинский требовал, чтобы в Царство Польское присылали только таких чиновников, которые обладают высоким уровнем образования и, соответственно, критическим умом и способностью быстро ориентироваться даже в незнакомом

окружении, а также отличать существенное от несущественного. Имея такие способности, русский чиновник, который, конечно же, прибывал из внутренних областей России с предрассудками, мог на основании собственного опыта быстро осознать их беспредметность¹⁵¹. Правительство, считал Имеретинский, непременно должно озаботиться таким качественным улучшением чиновничества в Царстве Польском, если хочет добиться эффективной и менее конфронтационной деятельности управленческого аппарата в Привислинском крае.

Подобная критическая оценка качеств российских чиновников была обусловлена отнюдь не одним лишь образом мыслей данного генерал-губернатора, известного своей реформистской ориентацией: преемник Имеретинского, консерватор Михаил Чертков, был в принципе того же мнения. Он тоже нарисовал крайне неприглядный портрет российского чиновника, прибывающего на службу в Царство Польское. Опасения Имеретинского по поводу «ненадежности служащих русского происхождения» Чертков считал вполне оправданными. Усугублялась эта проблема тем, что «местные служащие» – под ними Чертков имел в виду поляков-католиков, – даже служившие на самых низших должностях, были «культурно очень развиты», а из России прибывали в Польшу только те, кому на родине не удалось устроить свою жизнь. Но в особо трудных условиях Привислинского края подобные кандидаты оказывались совершенно ни на что не годны, и в конечном счете именно они несли ответственность за то, что в Царстве Польском «у всех русских служащих» была «дурная репутация»¹⁵². Даже на персонал своей собственной канцелярии Чертков не мог вполне положиться: в варшавских присутствиях, жаловался он, дела затягиваются, царит «канцелярская волокита», необычайно тормозящая работу административного аппарата¹⁵³.

Таким образом, выяснилось, что осуществить намеченную деполонизацию состава управленческого персонала практически не удастся. Во всяком случае, генерал-губернаторы подчеркивали: форсированная замена польских чиновников русскими при таком качестве кадров будет иметь для российской власти скорее отрицательные последствия. Поэтому едва ли приходится удивляться тому, что и большинство губернаторов в Привислинском крае избегали активных кампаний по русификации чиновничества в своих округах.

Прошло сравнительно немного времени после Январского восстания, и государственные служащие из числа католиков наконец перестали рассматриваться как большая проблема, тем более что заняты они были в основном на низших должностях. Последующие мероприятия, нацеленные на увеличение доли чиновников русского происхождения, осуществлялись уже только в особо важных – прежде всего в военно-стратегическом отношении – сферах, таких как транспорт в приграничных районах, почта и телеграф¹⁵⁴.

Смириться наконец с тем, что большинство государственных служащих по-прежнему составляют поляки, было легко еще и потому, что в распоряжении властей имелось и другое средство деполонизации административного аппарата, обещавшее более долговечный эффект: начиная с 1864 года они последовательно внедряли русский в качестве языка делопроизводства. И во внутренней переписке, и в общении с гражданами администрация в Царстве Польском после разгрома Январского восстания стала изъясняться исключительно по-русски. Всякий, кто имел желание или необходимость вступить в контакт с государственными органами, должен был пользоваться для этого только русским языком. Редкие отступления от принципа языковой русификации, допускаемые отдельными чиновниками, интерпретировались и обществом, и администрацией как символические акты, указывающие на повышенную готовность к диалогу¹⁵⁵.

В сфере образования также внедрялся русский язык. Помимо администрации, ни в одной другой сфере, подверженной вмешательству государства, не было произведено после 1864 года таких глубоких изменений, как в польской школе. Начало им положил царский рескрипт от 30 августа 1864 года. Первой целью было поставлено повсеместное создание государственных начальных училищ. Следующий царский указ, вышедший в 1869 году, ограничил влияние местной общественности на школу: назначение руководящих и педагогических кадров теперь осуществлялось извне. В учебные планы и практику преподавания тоже были принудительно внесены изменения: в гимназиях и средних школах языком преподавания всех предметов за исключением Закона Божьего был сделан русский. Польский мог преподаваться в качестве «иностранного языка» в гимназиях, которые должны были получать на это особое разрешение

от Министерства внутренних дел, однако языком преподавания на уроках польского тоже должен был быть русский. Кроме того, в таких предметах, как история, литература и география, внимание было последовательно перенесено на Российскую империю. Ученики средней и старшей школы должны были теперь изучать прежде всего историю русских царей и читать произведения авторов из русского литературного канона. В 1871 году эта же переориентация была отчасти осуществлена и в начальных школах Царства Польского, а русский язык был сделан обязательным для изучения предметом¹⁵⁶.

Схожую трансформацию претерпело и единственное высшее учебное заведение в Варшаве. Главная школа, основанная в 1862 году, фактически была польским университетом, хотя и не имела права носить такое звание. В 1869 году она его получила, но в то же время была и реформирована совершенно иным образом, нежели тот, на который рассчитывали поляки: ее преобразовали в Императорский Варшавский университет, где русский язык был введен в качестве языка преподавания, а в центр учебной программы – особенно в гуманитарных дисциплинах – были поставлены темы, связанные с русской историей, литературой и языком. Поэтому критически настроенные представители польской общественности тут же стали презрительно называть это учебное заведение не иначе как «русским университетом».

Чтобы осуществить такую масштабную русификацию средней и высшей школы, власти пытались импортировать профессоров и учителей из внутренних районов Российской империи в Привислинский край. Преподаватели «русского происхождения» получали надбавки к жалованью и другие льготы. Они должны были заменить тех польских учителей, которые в большом количестве были уволены во время «чисток» 60-х годов.

Параллельно с государственной системой образования существовал в Царстве Польском и целый ряд частных школ. Они были менее подвержены прямым вмешательствам со стороны государственных органов. Тем не менее, если такая школа хотела получить разрешение от российских министерств народного просвещения и внутренних дел, ей тоже приходилось следовать новым образовательным принципам. Государственные органы, ведавшие аккредитацией учебных заведений, проверяли их программы на

предмет ориентированности на Россию и регулярно проводили проверки. Также контролировалось и неукоснительное использование русского как языка преподавания.

Если меры, упомянутые до сих пор, относятся к первому десятилетию после восстания, то реорганизация образовательной системы в полном объеме развернулась лишь после того, как в должность попечителя Варшавского учебного округа вступил в 1879 году Александр Апухтин. Он сделал русский языком преподавания и в начальных школах, за исключением только таких предметов, как Закон Божий и польская грамматика. Кроме того, новый попечитель поставил перед собой задачу укрепить в учебных заведениях позиции православия: под его эгидой были созданы многочисленные православные школьные часовни и молельни, а роль католических священников в религиозном образовании он старался всемерно снижать. Апухтин активно вмешивался и в подготовку собственно католического духовенства: в 80-е годы он и в духовных семинариях сделал русский языком преподавания и обязательным предметом. Из-за открытой и агрессивной полонофобии Апухтина время его пребывания на посту попечителя Варшавского учебного округа, длившееся почти двадцать лет, поляки прозвали «апухтинской ночью»¹⁵⁷. Это название обличало одновременно и хронический недостаток финансирования образовательного сектора. В долгосрочной перспективе пренебрежительное отношение к нему имело серьезные последствия: перепись населения 1897 года продемонстрировала высокий уровень неграмотности – 69,5% от общей численности населения Привислинского края¹⁵⁸.

Агрессивность, с которой Апухтин в 80-е годы воевал с католическим духовенством, не была чем-то новым: уже первые годы после Январского восстания характеризовались многочисленными репрессивными мерами против католической церкви. По мнению российских чиновников, духовенство наряду со шляхтой было подлинной движущей силой восстания. Сам Николай Милютин говорил о католическом монахе как о коварном мятежнике, который, «с крестом в одной руке и саблей в другой», затевает бунт, чтобы свергнуть российское правление¹⁵⁹.

Государственные репрессии сильно ударили по католической церкви уже во время восстания 1863 года. Были произведены

многочисленные аресты духовенства, ряд священников оказались приговорены к казни или ссылке. Часть монастырей была закрыта, а церковное имущество в огромных объемах конфисковывалось. Уже в ноябре 1864 года князь Черкасский как член Учредительного комитета взял на себя управление всеми делами, касавшимися католического духовенства¹⁶⁰. В 1865 году высочайшим повелением католическая церковь в Царстве Польском и в западных губерниях получила новую административную внутреннюю структуру. В Привислинском крае теперь оставалось всего семь диоцезов, а через два года их число было вновь уменьшено. Священники теперь получали жалованье непосредственно из казны; в 1866 году Петербург запретил католическим епископам общаться с Ватиканом, а в 1871 году вся католическая иерархия в Российской империи была непосредственно подчинена Римско-католической духовной коллегии – отделу Святейшего правительствующего синода в Санкт-Петербурге. Многие епископы, отказавшиеся признать это подчинение, были отправлены в ссылку, а их епископские кафедры, оставшиеся вакантными, не замещались, поэтому к 1871 году епископы имелись только в трех из пятнадцати католических диоцезов российской части Польши¹⁶¹.

Сразу после Январского восстания в умах российских чиновников доминировал образ агрессивно миссионерствующего католицизма, и они считали своей первейшей задачей защитить простое православное население от миссионерских посягательств поляков¹⁶². Это был один из главных аргументов, приводимых в 70-е годы в пользу окончательного упразднения униатской церкви. После того как в 1875 году последняя, Холмская ее епархия была насильственно объединена с Русской православной церковью, Греко-католическая церковь в Российской империи прекратила свое существование. «Возвратившимся» в православие прихожанам было законом запрещено переходить в католичество, а «упорствующие» униатские общины и индивиды, противящиеся принудительному объединению с Русской православной церковью, подвергались жестоким репрессиям¹⁶³.

Но не только государственное управление, образовательная и церковная сферы подпали под репрессивно-унифицирующую политику Санкт-Петербурга. После Январского восстания схожие меры

были применены к таким областям, как юстиция, здравоохранение и экономика. При этом влияние Петербурга часто происходило с задержкой и к тому же характеризовалось преднамеренной или бессознательной политикой пренебрежения, что особенно заметно демонстрировала реорганизация медицинского дела. Так, существовавшее с 1830 года и укомплектованное в основном польскими кадрами учреждение – Главный опекунский совет, который заведовал больницами и прочими учреждениями здравоохранения в Царстве Польском, – было распущено только в 1870 году. Его преобразовали в советы по общественному призрению, которые подчинялись Министерству внутренних дел и, таким образом, были интегрированы в имперскую администрацию. Однако, поскольку эти инстанции, действовавшие на губернском и городском уровнях, страдали от хронического недофинансирования, а частная благотворительная деятельность в Польше в то время сократилась, потому что жертвователи не доверяли государственной администрации, система здравоохранения в Царстве Польском была печально знаменита прежде всего своими недостатками. Например, в Варшаве в 1902 году на душу городского населения приходилось значительно меньше больничных коек, чем в Санкт-Петербурге.

Несомненно, такая политика дискриминации в иных областях была, помимо прочего, результатом стратегических решений. Нельзя не увидеть сознательной дискриминации Привислинского края в том, что его десяти губерниям и его городам было отказано в праве на создание органов самоуправления. В связи с сохранявшимся чрезвычайным положением в Царстве Польском создание выборных земств и городских дум было здесь в 1864 и 1870 годах запрещено. Это имело в долгосрочной перспективе значительные последствия для положения административных чиновников на местах: с одной стороны, им не приходилось конкурировать с органами самоуправления, которые представляли бы местное общество, а с другой – они были лишены возможности переложить хотя бы часть повседневной административной работы на альтернативные инстанции¹⁶⁴.

Такое специфическое дискриминационное отношение к польским провинциям присутствовало и в других областях. Например, в Варшаве действовал собственный Цензурный комитет, чтобы обеспечить особо строгую цензуру местного рынка публикаций и мнений. В то же время

процедуры получения разрешений на создание клубов, ассоциаций и организаций были значительно затруднены тем, что требовалось получить ответ и от петербургского Министерства внутренних дел, и от варшавского генерал-губернатора¹⁶⁵. Точно так же и в судопроизводстве ощущалось двойное бремя: с одной стороны – унифицирующие меры, а с другой – дискриминационная политика апартеида. После 1876 года в Привислинском крае в соответствии с системой, введенной во внутренних областях России, были учреждены судебные округа в границах губерний, в Варшаве появилась судебная палата, русский был предписан в качестве единственного языка судопроизводства, но ни суды присяжных, ни выборные мировые судьи в Царстве Польском введены не были. Раздражающим фактором могло выступать и то обстоятельство, что Кодекс Наполеона, принесенный в Польшу в 1808 году, оставался в силе и после 1864 года: в последующие годы, когда усилились взаимосвязи между польскими провинциями и Центральной Россией, оно породило целый ряд сложных вопросов, касавшихся совместимости правовых систем¹⁶⁶.

Это усиление связей между Привислинским краем и центральными областями Российской империи после 1864 года было косвенным следствием экономической политики правительства, нацеленной на форсированную экономическую интеграцию польских провинций. Так, уже в 1866 году право формирования и утверждения их бюджета было передано в петербургский Комитет по делам Царства Польского. Однако первое время сохранялась имитация независимого польского бюджета, и Польский банк, известный своей активной экономической политикой, продолжал действовать в течение двух десятилетий. Только в 1886 году он был формально преобразован в филиал центрального банка империи¹⁶⁷. Экономическая взаимозависимость между польскими промышленными предприятиями и российским рынком начала нарастать с момента отмены таможенных границ в 1851 году, а в десятилетия после восстания данный процесс значительно ускорился. Главным фактором, способствовавшим этому, явилось строительство железных дорог, которые вскоре обеспечили логистическую интеграцию Привислинского края с центром Российской империи. Даже если то лишь отчасти была политика правительства, направленная на упрочение власти над Польшей, все же укрепление экономической привязки ее к России стало значительным

фактором во всеобъемлющем процессе вливания прежде обособленного Царства Польского в империю¹⁶⁸.

Чтобы представить панораму мероприятий Петербурга в отношении Польши после Январского восстания во всей полноте, необходимо сказать и о символической политике. Для многих польских подданных именно в ней зримо и особенно болезненно проявлялось их подчинение русскому господству. Вывески магазинов, тексты на рекламных щитах и названия улиц в Царстве Польском – теперь их следовало писать кириллицей. Все новые названия населенных пунктов и улиц были связаны либо с царствующим домом Романовых, либо с внутривосточными территориями. Даже некоторые города были переименованы: Бжещ мутировал в Брест-Литовск, Йенджеюв – в Андреев. Такая «русификация» топонимического ландшафта Царства Польского была призвана продемонстрировать не только что польские провинции бесповоротно стали частью Российской империи, но и что времена «польских особенностей» миновали. Имперские власти символически объявляли завершением тот исторический этап, когда Царству Польскому дозволялось иметь многочисленные отличия от центральных российских регионов. Отныне Привислинский край должен был стать просто одной из областей Российской империи – во всем подобной остальным.

***Русификация, деполонизация или внутреннее
государственное строительство? О горизонте действия
имперских властей***

Итак, список мер, принятых центральными властями в отношении «мятежных» польских провинций, был длинным и привел к фундаментальным и долговременным изменениям в их политическом, экономическом и культурном устройстве. Раньше историки толковали эти мероприятия как единую и последовательную программу русификации¹⁶⁹, и лишь недавно такая интерпретация стала подвергаться критике¹⁷⁰. В самом деле, намерения правительства были отнюдь не однозначны: в имперской политике пересекались различные интересы, представления и решения, которые отчасти усиливали, а отчасти блокировали друг друга.

В свете опыта 1830–1831 и 1863–1864 годов одной из главных целей Петербурга в Царстве Польском стало эффективное и долговременное предупреждение новых восстаний в этом стратегически важном регионе империи. Репрессии против непосредственных участников вооруженного выступления, размещение значительных воинских гарнизонов, расширение фортификационных сооружений, наращивание полицейского аппарата – все это было призвано навсегда «замирить» Привислинский край. Одновременно власть стремилась подорвать социальную базу тех сил, которые рассматривала как зачинщиков восстаний. Дискриминационные меры против польской шляхты и католического клира носили двоякий характер: это были одновременно и кара за «неблагодарность», и стратегическое ослабление данных социальных слоев.

Восстановление власти Петербурга в Царстве Польском, особенно в первые годы после Январского восстания, носило черты «правосудия победителей», направленного на наказание и унижение побежденных и на подчеркивание их подчиненного статуса. В частности, указы, которые вводили русификацию публичного пространства, были порождены этой жаждой продемонстрировать всем новоустановленную гегемонию победителей. Все, что считалось польским, подлежало символическому переводу в подчиненное положение. Демонстрировавшие свою устрашающую власть и мощь российские завоеватели, впрочем, в первое время вовсе не были уверены в собственном культурном превосходстве над покоренными поляками. Лишь постепенно у них выработался такой дискурс, который все сильнее и сильнее убеждал их, что они и в культурном отношении стоят выше побежденных: «романтическая» польская аристократическая культура характеризовалась в этом дискурсе как устаревшая, отсталая и потому – обреченная. Давний топос, согласно которому поляки якобы не способны к государственности, что проявилось в хаотичном устройстве и военно-политической слабости их шляхетской республики, шаг за шагом встраивался в колониалистскую иерархию, ранжирующую народы в целом по степени их «культурности»¹⁷¹. Мало оснований сомневаться в том, что огромное количество российских чиновников постепенно усвоило эту систему убеждений, в которой им самим отводилась более высокая ступень политического, военного и культурного развития, нежели покоренным. Когда новый генерал-

губернатор, Иосиф Гурко, в 80-е годы на торжественных приемах в своей варшавской резиденции заставлял присутствующих польских аристократов разговаривать не на французском, а на русском языке, то это было, с одной стороны, несомненно, актом преднамеренного унижения, а с другой – еще и сигналом, что высшую польскую знать, давно лишенную политического влияния и подвергаемую все более заметной социальной маргинализации, генерал-губернатор рассматривает уже не как равню себе, а как второстепенных подданных.

В полном соответствии с такой схемой мышления правительство предпринимало серьезные усилия для того, чтобы интегрировать польское деревенское население в свои – не очень отчетливые – планы относительно будущего Привислинского края. В патерналистский помещичий менталитет, характерный в особенности для высшего эшелона российского чиновничества, без проблем вписывался топос о «благодарном» и потому «верном» крестьянине. Здесь – в отличие от остзейских провинций, населенных «малыми» народами, – даже в долгосрочной перспективе не предполагалось постепенного обрусения сельских жителей; не шло речи о том, чтобы из польских крестьян-католиков сделать русских православных. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что никакой активной поддержки православной миссионерской деятельности бюрократия не оказывала¹⁷². Ее политика была основана на предположении, что ненависть поляков к российским властям раздували прежде всего шляхта и ксендзы. Освобождение крестьян в 1864 году и аграрная политика последующих лет были поэтому сознательно нацелены на то, чтобы обострять напряжение в отношениях между землевладельцами и крестьянами, дабы шаг за шагом ослаблять якобы пагубное влияние первых на вторых. Постепенно укреплявшуюся веру в собственное культурное превосходство топос о верном польском крестьянине даже усиливал: ведь отношения между чиновниками и крестьянами характеризовались социокультурным статусным неравенством, которое никогда не ставилось под сомнение. Возможно, именно по данной причине имперские чиновники не расставались с этой *idée fixe*. Даже после того, как революционные события в сельской местности и коммунальное движение в 1905–1906 годах ясно показали, что лояльность польского крестьянства царю и империи была не слишком

высока, топос о «верном крестьянине» продолжал фигурировать в текстах, выходивших из-под пера имперских управленцев: расстаться с этим убеждением, столь милым сердцу российских чиновников и так хорошо поддерживавшим их представления о собственном статусе, было явно нелегко¹⁷³.

В первое время, однако, такое иерархическое мышление у российской стороны еще не консолидировалось: именно об этом свидетельствует та полонофобия, которая наблюдалась у многих представителей администрации, а также – и прежде всего – у деятелей российской публичной сферы. Особенно по ранним реакция на восстание видно, что имперские власти испытывали должное уважение к противнику, признавая исключительно эффективную организацию подпольной работы у поляков. Поэтому лица, принимавшие решения в Петербурге, так настаивали на максимальной деполонизации управленческого аппарата. Как уже было показано выше, это стремление наталкивалось на финансовые ограничения, что, однако, не отменяло принципиальной цели: удалить поляков, которым приписывались неверность и склонность к образованию тайных обществ, по крайней мере со стратегических позиций в государственных органах.

Основной целью была не столько русификация, сколько деполонизация управленческого аппарата. Об этом говорит тот факт, что за десятилетия после Январского восстания кадровый состав органов государственного управления в Царстве Польском в принципе остался многонациональным. Из десяти наместников и генерал-губернаторов, сменившихся за период с 1864 года до начала Первой мировой войны, четверо были нерусскими по национальности; род Гурко тоже происходил от литовских магнатов. Этническая принадлежность не играла значительной роли ни в назначении на эту важную должность, ни в политических ориентациях того, кто ее занимал, ни даже в его самоидентификации. Какой факт может свидетельствовать об этом нагляднее, чем то, что в течение первых пятнадцати лет после Январского восстания судьбы Привислинского края вершили два немца – наместник генерал Фридрих Вильгельм Ремберт (в русском обиходе – Федор Федорович) фон Берг и генерал-губернатор Пауль Деметриус (в русском обиходе – Павел Евстафьевич) фон Коцебу? Главное было не в том, чтобы поставить на ключевые

должности людей русского происхождения, а в том, чтобы удалить с этих должностей поляков.

Политика, нацеленная на уменьшение польского влияния, встречала одобрение со стороны российской общественности. Январское восстание значительно ускорило процесс складывания рынка общественного мнения и публикаций в России. Издатели, такие как Михаил Катков, и писатели, такие как Иван Аксаков, создавали по поводу польского восстания памфлеты, отчасти носившие оголтелый антипольский характер¹⁷⁴. Впрочем, едва ли можно предполагать, что их агитация непосредственно влияла на политику: в 60-е годы XIX века принцип автономии государства от общества был само собой разумеющимся и незыблемым. Даже если имперские сановники и приветствовали антипольские кампании, которые развертывались в российской журналистике, все же они ни в коей мере не подчиняли свои решения никакому «общественному мнению»¹⁷⁵.

Контраст между публицистическими дебатами о будущем Привислинского края и политическими мероприятиями правительства дает возможность увидеть, в чем заключается проблематичность понятия «русификация» в данном контексте. «Польский мятеж» не только вызвал бурю возмущения в российской публицистике: в связи с «польским вопросом» многие стали глубже задумываться и над тем, в чем заключается истинно «русское» и какую роль оно должно играть в системе империи. Прежде всего славянофильское движение начиная с 60-х годов приобрело отчетливо русоцентричный характер путем дистанцирования от поляков как от «изменников»-братьев. В то же время в российской публичной сфере стало раздаваться все больше голосов с требованием более привилегированного положения для всего русского в империи. Многие из того, что стало потом, в 80-е годы, типичным для правления Александра III, предвосхищалось этими идеями, высказываемыми сразу после Январского восстания¹⁷⁶. В числе прочего в определенных общественных кругах пропагандировались и идеи культурной русификации польских окраин, а отчасти и других периферий империи. Государственную политику, согласно этим представлениям, следовало направить не только на вытеснение поляков с административных должностей, но и на расшатывание — хотя бы частичное — польской идентичности подданных, населявших

Привислинский край, дабы открыть путь для распространения там русской культуры.

Такого рода требования, впрочем, плохо сочетались с намерениями государственных деятелей, отвечавших после восстания за политику в отношении Польши. Лишь при поверхностном взгляде может сложиться впечатление, что мероприятия государства в Привислинском крае в 60–70-е годы представляли собой его «административную русификацию»¹⁷⁷. Использование такой терминологии не позволяет заметить, что за вмешательствами во внутреннее устройство Царства Польского, помимо желания «замирить» этот край, скрывалось прежде всего принципиальное стремление к унификации, вообще типичное для реформ Александра II. Административную реорганизацию Привислинского края следует рассматривать не изолированно, а в контексте Великих реформ 60–70-х годов¹⁷⁸. Главным в проекте этого комплекса реформ было намерение создать и активировать гражданское общество и «пригласить» его к ограниченному участию в управлении империей. Для этого необходимо было обеспечить повсюду одинаковые административные и правовые структуры. Чтобы замысел внутренне унифицированного – и ставшего благодаря этому более устойчивым и одновременно более активным – государства мог воплотиться в жизнь, нужно было покончить с плюрализмом особых административных и правовых зон в империи. Лоскутное одеяло из весьма несхожих между собой партикулярных систем, оставшееся Александру II в наследство от домодерной многонациональной империи, которая расширялась путем инкорпорации земель, элит и их привилегий, теперь предстояло трансформировать в некое единообразное целое¹⁷⁹.

В свете сказанного выше реорганизация административной и правовой систем в Царстве Польском после 1864 года предстает как «нормализация» внутренней государственной структуры. Тот процесс гомогенизации, который в последующие годы охватил и другие периферии Российской империи, в польских провинциях был ускорен восстанием, потому что после его разгрома власти оказались освобождены от необходимости относиться с уважением к местным правовым традициям – они могли перейти к политике радикальных преобразований, не обращая внимания на голоса местного населения, особенно польских элит. Административная реорганизация

Привислинского края, таким образом, представляла собой проявление нового государственного интереса: в политическом мышлении влиятельных петербургских сановников внутренняя унификация государства превратилась в самостоятельную ценность. Единообразие государственных структур во всех частях империи сулило прогресс и модернизацию, тогда как «чересполосица» напоминала о раздробленности и неповоротливости России времен дореформенного *ancien régime* [фр., буквально «старый режим». – *Примеч. ред.*].

Разумеется, стремление к унификации было лишь одним фактором из многих, и царские власти сами регулярно нарушали собственные принципы. Еще и много лет спустя после Январского восстания они – прежде всего в силу своего стойкого недоверия к польским подданным – вводили для Привислинского края особые правила, принципиально противоречившие идее единообразия. Существование должности генерал-губернатора, отказ от учреждения в Польше органов местного самоуправления и судов присяжных, а также «духовные шлагбаумы», которые воздвигал Варшавский цензурный комитет даже на восточной границе Привислинского края¹⁸⁰, – все это были институты и мероприятия, консервировавшие особое положение региона и в конечном счете вредившие унификаторскому замыслу реформ Александра II.

Как в унификационных, так и в дискриминационных своих мерах власти могли быть уверены в поддержке со стороны российской общественности. И тем не менее главной целью петербургских чиновников была отнюдь не русификация польских провинций, как она виделась некоторым из наиболее рьяных участников публичной дискуссии по «польскому вопросу». Главным для чиновников было привести новые земли к таким стандартам, которые применялись на всей территории Российской империи и которые можно назвать скорее «имперскими», а не «русскими». Поэтому и понятие «административной русификации» вводит в заблуждение, поскольку маркирует как «русское» то, что изначально замышлялось как «российско-имперское». Многие из принципов упорядочивания, экспортировавшихся на окраины Российской империи, были для центра столь же новыми, столь же «чужими», как и для периферии. Они вытекали из управленческой логики, рассчитанной на всю территорию империи, а не из императива повсеместного насаждения некой

«русской модели». «Русификация» этих структур была скорее постепенным процессом, пришедшимся на период правления Александра III, когда влиятельные голоса на российском рынке общественного мнения все чаще и все больше соглашались с правительством, которое все больше понимало себя как представительство «русского». То, что раньше мыслилось как «имперское», теперь все больше и больше означало «русское»¹⁸¹. Но эта позднейшая актуализация национального момента в империи еще ни в коем случае не являлась главным ориентиром деятельности чиновников в первые десятилетия после Январского восстания. Назвать административные и правовые реформы 1860–1870-х годов русификацией значило бы исказить первоначальные мотивы действий царских властей. В частности, это не позволило бы увидеть динамичный процесс последующего изменения интерпретаций с нарастающим доминированием именно русского элемента.

Частично это относится и к той перестройке системы образования, в ходе которой русский был сделан языком преподавания, а российская история, литература и география – основными предметами учебной программы. Польша была не единственным случаем, когда российским чиновникам в ходе Великих реформ стала очевидна необходимость форсировать единообразное использование «государственного языка» в сферах управления, права и образования. Унифицированная администрация, как им казалось, могла функционировать эффективно, только если поверх всего языкового разнообразия Российской империи установить один, общий для всех официальный язык, преподавание которого, в свою очередь, должно стать одной из важнейших задач государственных школ империи. Чиновники регулярно указывали на то, что введение русского языка в школьное преподавание имеет целью изучение «государственного» или «правительственного языка»¹⁸². При этом они, несомненно, скрывали другие намерения, особенно стремление сломить польскую культурную гегемонию в публичном пространстве, частью которого являлись и образовательные учреждения. И все же не следует недооценивать это заявление о намерениях с точки зрения его значения для деятельности царских чиновников: проект фундаментальной реорганизации административных структур в Привислинском крае мог увенчаться успехом лишь при условии закрепления за русским языком статуса

языка образования. О том, что именно такова была логика действий российского режима, свидетельствуют законодательные положения в области школы, следовавшие за административными мерами.

Кроме того, можно указать в этой связи на принципиальную разницу между 1860-ми и 1880-ми годами: образовательная политика, которую проводил с 1879 года попечитель Апухтин, была гораздо отчетливее ориентирована на то, чтобы в конечном итоге добиться культурной русификации школьников Привислинского края. Осуществленный этим чиновником переход к преподаванию на русском языке в начальных школах затрагивал один из основных институтов культурной социализации. Даже сам Апухтин, вероятно, никогда не верил, что сумеет сделать из поляков русских. В силу отвращения, питаемого им к полякам, он, наверное, считал такое смешение и нежелательным. Но его печально известное высказывание, что он видит цель своей образовательной политики в том, чтобы малолетние польские дети пели русские песни, все же ясно показывает: главное было не в освоении государственного языка, а в том, чтобы с раннего детства поляки усваивали русский культурный канон¹⁸³.

Некоторые из мероприятий 1860-х годов, несомненно, дают повод истолковывать их как следствие стремления к русификации. Кроме того, для многих представителей польской стороны, которых эти меры затрагивали, тонкие различия в направленности государственной политики вообще никогда не были важны или хотя бы заметны. Особенно в ретроспективе, т. е. при взгляде из эпохи «двоевластия» генерал-губернатора Гурко и попечителя Апухтина на имперскую политику, проводимую в Польше после 1864 года, мероприятия правительства выглядели как всеобъемлющая и продуманная концепция «наступательной русификации». Многие воспринимали десятилетия после Январского восстания как некое временное и программное единство, период, в течение которого российский оккупационный режим не только жестоко преследовал все символы польской государственности, но и уничтожал польскую культурную самобытность. То, что существовала разница между имперскими и русскими ориентирами в действиях царских властей, при таком их истолковании было второстепенным. Общеимперский контекст в критических репрезентациях оставляли почти полностью за рамками рассмотрения, а петербургские директивы интерпретировались прежде

всего как антипольская политика, которая все больше угрожала культурным основам польскости¹⁸⁴.

Все более интенсивное вмешательство центра в дела бывшего Царства Польского вызвало многочисленные процессы разграничения и, как и в других периферийных районах империи, порождало стратегии сопротивления, на которые имперские чиновники должны были как-то реагировать, что нередко оказывалось выше их сил. Однако новый режим, установленный Петербургом в Привислинском крае в ответ на Январское восстание, получился вполне жизнеспособным с имперской точки зрения. За исключением нескольких модификаций, он просуществовал в неизменном виде до конца российского правления в Польше.

Система управления Привислинским краем после подавления Январского восстания

Именно поэтому необходимо системно рассмотреть административные структуры, введенные после 1864 года и существовавшие до 1915-го, – ведь контактные зоны и конфликтные узлы, которым посвящено это исследование, становятся понятны только на фоне имперских принципов упорядочения, лежавших в основе управленческой деятельности в Привислинском крае. Центральной фигурой имперской администрации был с 1864 года императорский наместник. Он назначался непосредственно царем и отчетывался только перед ним. Наместник проживал в Варшаве, располагал собственной канцелярией и возглавлял администрацию десяти губерний края. Одновременно он был командующим войсками Варшавского военного округа и обладал – особенно в периоды действия военного и чрезвычайного положения – значительными особыми полномочиями. Так, он мог издавать «обязательные постановления» для обеспечения государственной и общественной безопасности. Нарушителей этих постановлений наместник должен был карать в административном порядке. Он также имел право передавать подозреваемых в военные суды – в случаях, которые оценивал как угрозу государственному порядку¹⁸⁵.

Командуя армией, наместник держал в своих руках мощный инструмент управления. Всякий раз, когда конфронтации

в Привислинском крае обострялись до угрожающей ситуации, наместник мог прибегнуть к своим чрезвычайным полномочиям, которые позволяли ему быстро использовать контингенты войск во внутренних столкновениях. Плотность размещения солдат в польских провинциях была беспрецедентной. Нигде в империи не имелось больше солдат на душу населения, чем в Варшавском военном округе¹⁸⁶. В общей сложности 240 тыс. человек несли регулярную военную службу в Привислинском крае, только в Варшаве после 1900 года было размещено более 40 тыс. военнослужащих. Во времена кризисов – например, в революцию 1905–1906 годов – их количество во всем крае достигало даже более 300 тыс. человек, в том числе в Варшаве – 65 тыс.¹⁸⁷

До 1874 года императорский наместник оставался главнокомандующим этой пугающей воинской силой. Однако после смерти генерал-фельдмаршала Берга данная должность никем не была замещена; большинство полномочий наместника перешло к вновь созданной должности варшавского генерал-губернатора. Несомненно, генерал-губернатор в символической иерархии рангов имперской бюрократии стоял значительно ниже императорского наместника и «принца Варшавского», а его полномочия были скромнее¹⁸⁸. Однако эта деградация мало что изменила в административном устройстве края. Варшавский генерал-губернатор тоже был и главнокомандующим Варшавским военным округом, и главным чиновником гражданской администрации, а следовательно – самой влиятельной инстанцией в том, что касалось конкретной имперской политики в этих губерниях. Его тоже направлял туда сам царь, отчитываться и держать ответ генерал-губернатор должен был только перед монархом. Удивительно долгие сроки службы некоторых генерал-губернаторов способствовали тому, что эти варшавские чиновники действительно могли оказывать на ход событий на местах долговременное и определяющее влияние¹⁸⁹.

Это не означало, что власть представителей Петербурга в регионе была неограниченной или бесспорной. Как когда-то наместнику, так теперь и генерал-губернатору приходилось иметь дело с чиновниками Собственной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства Польского, а также с членами межведомственного Комитета по делам Царства Польского. В последний входили, кроме генерал-губернатора, министры внутренних дел, военный и просвещения, глава

Департамента экономии; обер-прокурор Святейшего синода регулярно принимал участие в его заседаниях. Комитет был образован указом императора от 25 февраля 1864 года для того, чтобы различные министерства проводили в польских провинциях единую политику¹⁹⁰. Как часто и бывало в поликратической центральной администрации царской России, этот комитет превратился в место, где разыгрывались конфликты между ведомствами с различными интересами и велись длительные переговоры по поводу проблемных случаев. Комитет представлял свои решения царю на утверждение, но в многочисленных конфликтных ситуациях мог и возвращать обсуждаемые проекты реформ либо проекты процедур и законов в министерские департаменты для переработки¹⁹¹.

Наместник или генерал-губернатор должен был регулярно иметь дело с этим органом, так как предложения главного варшавского чиновника, поданные непосредственно на высочайшее имя, царь тоже часто перенаправлял в комитет. Это касалось прежде всего крупных проектов реформ, в которых были задействованы департаменты нескольких министерств. Такая инициатива, как предложенное генерал-губернатором Альбединским введение выборных органов муниципального самоуправления, обстоятельно обсуждалась на заседаниях комитета, а в итоге оказалась размолота между жерновами противоречивых позиций его членов¹⁹².

Сферы компетенций при принятии важных решений, касавшихся Царства Польского, не были четко определены. То, какие директивы мог издавать тот или иной член комитета, в значительной степени зависело от расклада сил и обстоятельств в каждом конкретном случае и от состава акторов, принимавших участие в работе. Сильный министр или влиятельный обер-прокурор мог быстро превратить комитет в инстанцию, серьезно конкурирующую с генерал-губернатором. Для последнего комитет представлял собой такого досадного супостата еще и постольку, поскольку верховный чиновник в Привислинском крае считал, что его статус непосредственного представителя царя в Варшаве этим комитетом умаляется. Подобные внутренние напряженности и противоречия между интересами участников превратили Комитет по делам Царства Польского в такую инстанцию, которая блокировала проекты реформ, приносимые извне, а собственной активной польской политики почти не вела. Роль

инициатора каких-либо крупных преобразований она брала на себя крайне редко.

Столкновения между генерал-губернатором и центральными инстанциями налагали решающий отпечаток и на коммуникацию между генерал-губернатором и руководителями столичных министерств. Переписка между главным варшавским чиновником и министерствами военных дел, просвещения и финансов демонстрирует многочисленные конфликты: здесь сталкивались ведомственные интересы – например, когда Военное министерство по стратегическим причинам вмешивалось в инфраструктурные проекты в Привислинском крае или когда петербургские министры проводили инспекции, чтобы выявить нарушения правил конкуренции со стороны польских предпринимателей, якобы имевшие место. Вместе с тем речь всегда шла еще и о распределении власти: так, варшавский генерал-губернатор Имеретинский пытался в конце XIX века отобрать у Министерства финансов контроль над местными коммерческими училищами, поскольку видел в существующей ситуации посягательство на властные полномочия на «своей» территории¹⁹³.

Однако наибольшее количество конфликтов возникало с министром внутренних дел. Это было связано с тем, что его ведомство должно было регулярно принимать решения, непосредственно касавшиеся управленческой деятельности генерал-губернатора. Даже на свои прошения о расширении полномочий в кризисные периоды последнему приходилось получать одобрение в петербургском Министерстве внутренних дел; кроме того, министру внутренних дел были подчинены губернаторы польских провинций; он же назначал и кандидатов на должности в местных полицейских органах и магистратах. В Привислинском без согласия столичного министра нельзя было выдать ни одного разрешения на создание общественной организации, и ни один приговор о ссылке, вынесенный варшавским генерал-губернатором, не мог быть приведен в исполнение без одобрения с Фонтанки. Конечно, в таком положении находился отнюдь не только генерал-губернатор Привислинского края – то была общая судьба губернаторов в Российской империи: их влияние в Петербурге и при царском дворе постепенно уменьшалось, тогда как министры внутренних дел, а после 1906 года премьер-министры, становились все влиятельнее¹⁹⁴.

Таким образом, конфликты между представителями центрального правительства и местной администрации были системно запрограммированы и, соответственно, многочисленны. И все же варшавскому генерал-губернатору удавалось ограничивать роль министра внутренних дел в местных вопросах управления Царством Польским. В ряде случаев генерал-губернатор смог даже настоять на своем вопреки воле министра, в других – хотя бы модифицировать петербургские директивы, чтобы привести их в соответствие с местными условиями и своими приоритетами¹⁹⁵. Хотя политическая и административная практика в Привислинском крае не могла осуществляться помимо центральных инстанций и есть множество примеров того, как проекты генерал-губернаторов, застревая в бюрократических чащобах Петербурга, оставались нереализованными, эта зависимость работала и в обратном направлении: петербургские инстанции тоже не могли действовать через голову варшавского генерал-губернатора. В условиях перманентного торга по поводу распределения власти и полномочий внутри аппарата управления генерал-губернаторы – по крайней мере, сильные – могли обеспечивать себе достаточно обширный простор для принятия существенных решений в «своих» провинциях.

Как ни удивительно, но абсолютный характер власти русских царей мало что менял в таком положении дел. Самодержец, конечно, был высшей инстанцией. Своими указами и кадровой политикой он определял направление политики режима в Привислинском крае. Царь лично направлял в Царство Польское генерал-губернаторов и губернаторов, к нему поступали их ежегодные доклады, и ему рапортовали ревизоры, направленные для контроля деятельности местной администрации. Он поручал соответствующим министрам разрешение спорных вопросов, ему представлялись все компромиссные формулировки Комитета по делам Царства Польского, и к нему обращался генерал-губернатор, если хотел принять какие-то меры в обход министра внутренних дел. Таким образом, монарх стоял в центре системы циркуляции информации и принятия решений, а в качестве верховного арбитра мог также, если хотел, разрешать конфликты между административными органами. И тем не менее трудно говорить о последовательной польской политике – как со стороны императора, так и со стороны межведомственного комитета.

Правда, Александр II проводил в ограниченных пределах одну последовательную линию – когда в период после Январского восстания 1863 года осуществлял административную реформу в Привислинском крае и курировал работу Учредительного комитета в Царстве Польском. Об этом свидетельствует также и то, что император дополнительно создал Канцелярию по делам Царства Польского и много внимания уделял «польскому вопросу»¹⁹⁶. Но уже правление Александра III отличалось значительно более сдержанной позицией в отношении польских губерний. Здесь самым важным его решением было, несомненно, назначение в 1883 году варшавским генерал-губернатором Иосифа Гурко. Монарх, таким образом, поставил во главе администрации Привислинского края человека, энергично укрепляющего «русский элемент» в Царстве Польском и в этом смысле действующего в соответствии со взглядами самодержца. В остальном же на время правления Александра III не выпало каких-либо достойных упоминания мероприятий короны по изменению законодательства или реструктуризации административного аппарата, которые касались бы Привислинского края. Это положение изменилось при последнем царе, Николае II, но лишь постольку, поскольку тот вошел на престол с обещаниями ряда реформ, что произвело эффект, заметный на польских территориях. Смена власти сопровождалась сменой персонала администрации в Царстве Польском. Однако в этом отношении было бы преувеличением говорить о некой цельной польской политике. Речь шла скорее о решениях, которые, как, например, указы 1897 и 1905 годов о религиозных практиках, касались всей империи и польских провинций в частности. Ни царь, ни его окружение не думали сколько-нибудь последовательно о том, как интегрировать этот богатый конфликтами регион в имперское целое. Когда события революции 1905 года на западной периферии России начали развиваться с головокружительной быстротой, Петербург оказался к этому совершенно не подготовлен.

Впрочем, как справедливо отмечают историки, лавирующий, реактивный характер был вообще характерен для действий властей многонациональной Российской империи. В господствующих представлениях о государственном интересе идея интервенционистского государства была проявлена мало. Конечно, существовала петровская традиция царя-реформатора, не

останавливающегося даже перед радикальной трансформацией внутреннего строя своей державы. Но в том, что касалось структуры многонационального государства, эта традиция была развита сравнительно слабо. Здесь элементы старинного подхода, согласно которому завоеванные территории интегрировались в состав империи без утраты своих социальных и правовых особенностей, сохранялись и после 1860 года, когда Российская империя начала стремительно модернизироваться. Даже административно-правовая унификация, к которой стремился Александр II, и попытки осуществить эту гомогенизацию на практике в ряде периферийных областей империи, предпринятые его преемниками, отличались во многом непоследовательным характером. Пусть полякам, прибалтийским немцам или финнам и казалось, что проводится скоординированная политика русификации, эти меры все же оставались на уровне административных, правовых и образовательных систем. А более далекоидущая национальная политика в виде социальной инженерии вообще не относилась в то время к числу категорий, в которых мыслили имперские чиновники. Поэтому неудивительно, что меры политики поселений были такими же половинчатыми, как и рефлексия по поводу того, можно ли использовать целенаправленное управление экономикой, чтобы править многонациональной империей.

Почти полное отсутствие концепции в деятельности центральных органов и самодержца оказывало на административную практику в провинции вполне конкретный эффект: лица, принимавшие решения на местах, получали значительную свободу в проведении собственных идей. Хотя и для генерал-губернаторов было характерно домодерное мышление, согласно которому государственным органам надлежало сосредоточиваться в первую очередь на обеспечении общественного спокойствия и порядка, а в польском случае – еще и пресекать все сепаратистские устремления, тем не менее повседневная административная деятельность требовала вмешательства высшего должностного лица в Варшаве во множество различных дел. На этом-то влиянии на повседневные практики имперского управления и основывалась сила генерал-губернатора. Царь, его министры и Комитет по делам Царства Польского были далеко. В основном именно генерал-губернатор и его политические предпочтения определяли режим сосуществования конфессий и народов на местах

и то, насколько велик будет конфликтный потенциал в локальных столкновениях интересов¹⁹⁷.

Чтобы не допустить превращения этой самостоятельности местной администрации в неконтролируемое своевластие, Петербург использовал проверенные инструменты: инспекции и ревизии. Центр направлял особых уполномоченных чиновников, которые должны были вскрывать в провинциях злоупотребления и недостатки. Эти контрольные поездки вполне обоснованно воспринимались в периферийных ведомствах как серьезная угроза, и к ним заранее лихорадочно готовились¹⁹⁸. Однако крупные ревизионные поездки – вроде визита в Царство Польское в 1910 году сенатора Дмитрия Нейдгарта – плохо годились для того, чтобы снова взять местных акторов на короткий поводок, и одновременно были косвенным выражением той большой свободы, которую за многие годы завоевали генерал-губернаторы. К 1910 году природа ревизии изменилась мало: это как была, так и осталась прежде всего большая интрига. Контрольную поездку сенатора в Царство Польское инициировал премьер-министр Петр Столыпин – так как находился в конфликте с варшавским генерал-губернатором Георгием Скалоном. Столыпин ввел в игру, в качестве уполномоченного, сенатора Нейдгарта – своего шурина, о котором не без оснований говорили, что он имеет собственные виды на пост генерал-губернатора. Неудивительно, что итоговый отчет о ревизии оказался просто уничтожающим для Скалона: были выявлены многочисленные недостатки и злоупотребления в управлении провинцией, и все они указывали на то, что дело в «самовластии» ряда местных чиновников, обособившихся от петербургских властей¹⁹⁹. И все же попытка дискредитировать действующего генерал-губернатора и добиться его отстранения не удалась: Скалон сумел удержаться на посту до самой своей смерти в 1914 году. В этом случае ревизия оказалась довольно тупым оружием в руках центра, попытавшегося более активно вмешаться в жизнь автономно действующей местной администрации. Результатом ревизии стал весьма объемистый доклад, не имевший, однако, каких-либо конкретных последствий.

Высший царский чиновник в Варшаве мог осуществлять свою власть на местах не в последнюю очередь благодаря опоре на губернаторов десяти губерний, на которые было поделено Царство

Польское. Хотя эти губернаторы были встроены в структуру Министерства внутренних дел, все же в подавляющем большинстве случаев они, надо полагать, как на главную инстанцию ориентировались на генерал-губернатора. Ведь именно он мог оказывать определяющее влияние на рутинную ротацию чиновников и на перевод каждого из них в более или менее привлекательные ведомства. Нередко вся карьера чиновника, от начала и до конца, протекала в пределах административных границ Царства Польского; часто именно действующему генерал-губернатору человек был обязан своим прежним возвышением в иерархии должностей и рангов. К этому добавлялся старый добрый принцип абсолютистского двора, когда посредством смеси из взаимной конкуренции, интриг и доносов, прямой подотчетности по службе, а также приглашений на приемы и личные аудиенции губернаторы оказывались привязаны к персоне генерал-губернатора²⁰⁰. Во всяком случае, в деятельности губернаторов мы видим мало признаков изменения лояльности, которые говорили бы о переориентации на министров центрального правительства. Это тоже вело к тому, что прямое влияние далекого петербургского министра внутренних дел в польских провинциях было довольно слабым.

В остальном губернаторы играли в местной администрации центральную роль. Поэтому ниже эти должностные лица будут представлены в кратком коллективном портрете, где, наряду со служебными обязанностями и карьерными моделями, будут показаны и различия между ними в индивидуальной административной практике. В отличие от генерал-губернаторов местные властители только в исключительных случаях были людьми военными – напротив, с 1880-х годов большинство их получало гражданское высшее образование в одном из университетов Российской империи²⁰¹.

Как варшавский генерал-губернатор утверждал свою автономию от Петербурга, так и десять губернаторов со своими канцеляриями действовали у себя в губерниях в значительной мере самостоятельно. Относительная автономия была характерна прежде всего для губернатора Петроковской губернии – экономически развитой, но в то же время политически беспокойной территории, включавшей промышленный центр Лодзь. Менее однозначным было положение варшавского губернатора, которому приходилось теснее сотрудничать с вышестоящей и более сильной властью генерал-губернатора, а также

с влиятельным главным полицеймейстером и с президентом города Варшавы. Остальные восемь губернаторов стояли заметно ниже этих двух в чиновной иерархии Царства Польского. В своем медленном карьерном восхождении имперский чиновник мог пройти через несколько губернаторских должностей до того, как оказывался достойным или достаточно способным кандидатом на пост варшавского либо петроковского губернатора. С другой стороны, имея хотя бы краткий опыт службы в качестве вице-губернатора в Варшаве, человек считался пригодным для занятия губернаторского поста в провинции. Разница в значении между территориями отражалась и в рангах должностных лиц, руководивших ими. Варшавские и петроковские губернаторы, как правило, имели чин тайного советника, относившийся к третьему классу Табели о рангах; у некоторых из них не было гражданского чина, а имелся только военный. Среди других губернаторов значительно чаще встречались обладатели чина четвертого класса – действительные статские советники²⁰².

Но и между провинциальными губерниями Царства Польского существовали тонкие различия. Так, Седлецкая и Сувалкская губернии выделялись прежде всего смешанным, многонациональным и многоконфессиональным составом населения и теми конфликтами, которые из-за этого возникали после 1900 года, а Калишская, из-за своего расположения у самого западного рубежа империи, считалась стратегически важной и притом проблемной территорией. Губернатор значительно влиял на местные дела, и от того, как он правил своей губернией, зависело и то, как складывались отношения между царской бюрократией и местным коренным населением. Спектр акторов и предпочитаемых ими стилей исполнения должностных обязанностей был велик: от печально известных «полонофобов», которые порой сознательно искали конфликта с местным обществом, до сторонников мирного сосуществования, которые приобретали хорошую репутацию в регионе благодаря своей толерантности и вниманию к местным проблемам.

Однако влияние провинциальных правителей сильно ограничивалось тем, что по законам системы ротации государственной бюрократии польские губернаторы, подобно своим внутрироссийским коллегам, обычно служили в одной губернии всего несколько лет,

а затем их переводили в другое место в крае²⁰³. Такая циркуляция имперских чиновников способствовала и появлению признанных «экспертов по Польше» на уровне губернаторов. Многие губернаторы не только имели длительный стаж службы на других должностях в Привислинском крае, но и, зарекомендовав себя с лучшей стороны на должности главы одной из польских губерний, в глазах министра внутренних дел казались просто самой судьбой предопределенными для управления и прочими территориями в Царстве Польском. По крайней мере, бросается в глаза, что некоторые из губернаторов всю свою карьеру сделали, оставаясь в границах Привислинского края. Поэтому мнение, что царской бюрократией в польских губерниях руководили по преимуществу люди чужие и незнакомые с местными условиями, требует пересмотра: некоторые из этих чиновников, хотя и не родились на берегах Вислы, провели большую часть своей жизни и службы в польских провинциях и, несомненно, стали с годами прекрасно осведомлены о местных условиях.

О том, что длительная карьера в Привислинском крае не обязательно имела следствием особую близость к местному населению, свидетельствует пример сувалякского и люблинского губернатора Владимира Тхоржевского. За время своей более чем сорокалетней службы в Царстве Польском этот человек превратился в заклятого врага поляков и католической церкви, проводил, особенно в Люблине, непримиримую политику конфронтации – даже в те времена, когда генерал-губернатор Имеретинский стремился к разрядке напряженности²⁰⁴. Наличие полонофобии у Тхоржевского не лишено было и определенной иронии, ведь он принадлежал к числу тех немногих губернаторов, что происходили из польско-католических семей. Видимо, в силу этого у него была особенно выраженная потребность дистанцироваться от всего польского. Таким образом, даже очень близкое знакомство с Царством Польским не гарантировало дружественного к нему отношения. И все же не случайным было то, что почти легендарный «полонофоб» – плоцкий губернатор Леонид Черкасов – прибыл извне, прежде почти всю жизнь прослужив во внутренних районах России. Черкасов был направлен в Царство Польское в 1884 году, в период максимального обострения польско-русского антагонизма, и вел себя соответствующе, избегая любого контакта с местным населением²⁰⁵.

Но были и другие примеры, когда губернаторы за долгие годы службы в Царстве Польском сроднялись с польской культурой и местным населением. Так, Михаил Дараган, который стоял во главе Калишской губернии почти двадцать лет – с 1883 по 1902 год, – считался великим заступником местного общества. Так же и многолетний петроковский губернатор Константин Миллер старался наладить контакт с польским населением и нанял целый ряд поляков католического вероисповедания на важные посты в своей администрации²⁰⁶. В этом смысле спектр стилей властвования у имперских чиновников в Царстве Польском был широк. И тем не менее в целом можно сказать, что контакты провинциальных губернаторов с местным обществом были удивительно плотными и оживленными. Наряду с периодами конфронтации всегда имелись и длительные периоды, в течение которых большинство имперских должностных лиц стремились к максимально бесконфликтному сосуществованию с местным населением.

Если генерал-губернатор и его губернаторы были центральными опорами царской администрации в Царстве Польском, то охрана общественного порядка возлагалась на структуры полицейского аппарата. С 1866 года полицейские органы в Привислинском крае были значительно расширены.

Всеми полицейскими делами в Варшаве руководил, по столичному образцу, влиятельный обер-полицмейстер. Его обязанности были разнообразны: помимо донесений о «настроениях населения» в польских провинциях, он в своих ежегодных отчетах сообщал в Петербург данные о демографической и экономической ситуации, об образовании и об общественной жизни в целом. Статистика преступлений была лишь частью тех обширных обследований, которые проводили начальник варшавской полиции и его канцелярия, размещавшаяся на Театральной площади²⁰⁷.

Одной из центральных задач этих рапортов была оценка политических течений в польском обществе, а также – в первую очередь – обзор нелегальной деятельности запрещенных движений и партий. Варшавские обер-полицмейстеры стояли во главе службы, которая достаточно часто своими актами произвола способствовала тому, что для коренного населения полицейские были, пожалуй, самыми ненавистными представителями царской администрации

в Царстве Польском. Полицейский произвол выражался прежде всего в высылке «нежелательных лиц» из Царства Польского – в этой форме он особенно свирепствовал после революции 1905 года. Административная высылка инициировалась полицмейстером и им же, после одобрения генерал-губернатором, приводилась в исполнение.

Институциональная сеть полицейского ведомства простиралась до губернского и уездного уровней. Петербургские власти очень заботились о том, чтобы – в отличие от гражданской администрации – таким тонким делом, как безопасность государства, занимались, насколько это возможно, люди извне. В повятах полицейским помогали «начальники земской стражи», рекрутируемые из низших чинов армии и состоящие под командой офицеров²⁰⁸.

Параллельно с регулярной полицией, в Царстве Польском существовали аппараты Корпуса жандармов и охраны. Оба были серьезно представлены в Варшаве институционально: за исключением Санкт-Петербурга и Москвы, польская столица была единственным городом в Российской империи с собственным жандармским дивизионом и собственным бюро Третьего отделения. И жандармы, и охранка отвечали за вопросы государственной безопасности. Тайная полиция содержала в Царстве Польском разветвленную агентурную сеть и занималась революционными партиями и террористическими ячейками²⁰⁹.

Несмотря на эту институциональную параллельную структуру, попытки государства поставить полицейский аппарат в Привислинском крае на стабильный и широкий фундамент оказались в конечном счете бесплодными, потому что расширение этого ведомства не поспевало за взрывообразным ростом населения в польских провинциях. К тому же специальные выплаты сотрудникам плохо компенсировали быстрый рост цен в Царстве Польском, так что опасная и хлопотная служба была малопривлекательна в материальном отношении. К исходу XIX столетия жалобы на недостаток персонала, высокую текучесть кадров, а также на низкий профессиональный и этический уровень сотрудников полиции поступали в центр постоянно. Полиция не без оснований считалась одним из самых коррумпированных учреждений, затмевая даже легендарное взяточничество низовых чиновников государственной администрации. Революция 1905 года окончательно

продемонстрировала, насколько неэффективным и неадекватным своим задачам был полицейский аппарат в кризисной ситуации²¹⁰.

Слабость полиции способствовала тому, что другие органы царской администрации влияли на повседневную жизнь в Царстве Польском значительно сильнее, чем она. Это относится прежде всего к ведомству народного просвещения, которое своей школьной политикой вызвало бесчисленные конфликты с местным населением. Но и деятельность городского и сельского местного самоуправления, а также Цензурного комитета оказывала существенное влияние на отношения между польским обществом и петербургскими властями.

Варшавский цензурный комитет был важным учреждением, призванным способствовать поддержанию политического спокойствия в Царстве Польском. Он должен был утверждать все публикации, выходявшие на месте, а также любые импортируемые печатные издания, так что его роль в долгосрочном формировании культурного ландшафта Привислинского края была весьма высока²¹¹.

Это же относится и к той инстанции, которая отвечала за образовательные учреждения в Царстве Польском. Заведовавший ею чиновник – попечитель Варшавского учебного округа – подчинялся петербургскому министру народного просвещения и отвечал за организационные, кадровые и учебные вопросы в государственных школах и высших учебных заведениях. Хотя основополагающие стратегические решения, касающиеся системы образования, принимались на более высоком уровне, директивы попечителя в области школьной практики очень заметно влияли на повседневную жизнь коренного населения. Такой попечитель, как Апухтин, был особенно ненавидим еще и потому, что являлся не просто исполнителем решений, спущенных из Петербурга, но и могущественным актором, проводившим самостоятельную антипольскую образовательную политику в Привислинском крае²¹². Это было наиболее заметно в те времена, когда попечитель учебного округа и генерал-губернатор пребывали в гармонии друг с другом. О том, что практика, ориентированная на реформу, и практика, ориентированная на стабильность, тоже могли усиливать друг друга, говорит пример, относящийся к 1890-м годам. В то время генерал-губернатором в Варшаве был избегавший конфликтов Александр Имеретинский, а учебным округом заведовал Валериан Лигин. Его

образовательная политика после 1897 года отличалась прежде всего тем, что при составлении новых учебных планов он искал диалога с польским населением. Во всех этих случаях становится очевидным, какое огромное влияние попечитель оказывал на повседневную образовательную и культурную ситуацию в Царстве Польском. Многие конфликты с местным населением возникали именно по поводу вопросов, которые касались школ и преподавания в них, поэтому личность человека, занимающего пост попечителя, имела большое значение для спокойствия в крае.

Панорама инстанций имперской администрации в польских провинциях была бы неполной, если бы мы не упомянули местные административные структуры. В сельских районах в ходе реформ 1864 года были созданы органы самоуправления на уровне гмины. Собрания жителей гмины вел ее избранный глава – войт, выполнявший в данном поселении низовые полицейские, административные и правовые функции²¹³. Таким образом, в селах существовали по крайней мере рудиментарные структуры самоуправления, которые активизировались прежде всего во время революции 1905–1906 годов. В более же спокойные времена возможности у войтов были крайне ограничены и строго контролировались российскими чиновниками.

Города в Привислинском крае, напротив, были полностью лишены возможности создавать выборные органы самоуправления. Крупные городские центры управлялись магистратом, назначаемым министром внутренних дел. В губернских городах магистрат подчинялся местному губернатору, который регулярно и глубоко вмешивался в дела муниципального управления. Неким исключением были магистрат и городской президент Варшавы: несмотря на формальную зависимость от Министерства внутренних дел и генерал-губернатора, Варшавский магистрат все же отличался большей самостоятельностью. В его ведении находился крупный и постоянно растущий бюджет города, и решения магистрата по проектам городского развития имели для Варшавы большое значение²¹⁴. Некоторые варшавские президенты интерпретировали свою роль как весьма активную.

Муниципальная администрация до 1915 года неизменно назначалась государством: все проекты, направленные на учреждение выборных органов городского самоуправления в привислинских губерниях, были размотаны в жерновах конфликтов между

заинтересованными сторонами. После 1911 года соответствующие законопроекты так долго курсировали между Думой, Государственным советом, а также их специальными комиссиями, что в конечном счете понадобилось чрезвычайное распоряжение царя в соответствии с параграфом 87, вводившее в марте 1915 года в Царстве Польском городские думы с ограниченными полномочиями. Однако это распоряжение не возымело практического действия, поскольку спустя всего несколько месяцев Варшава была занята германскими войсками.

В целом система, постепенно установленная в Привислинском крае за первые два десятилетия после Январского восстания 1863 года, оказалась удивительно стабильной. Несколько формальных изменений, таких как замена наместника генерал-губернатором, не повлияли на административную практику, как не повлияли на нее и постепенные сдвиги баланса власти, в ходе которых центральные министерства с 1890-х годов приобретали все большее значение в ущерб власти местных губернаторов. Сильное положение варшавского генерал-губернатора значительно смягчало данный процесс. Это относится и к произошедшим после 1905–1906 годов изменениям в политической системе России, вызванным Манифестом 17 октября. Поскольку все проекты, направленные на установление более широкой культурной автономии, потерпели такую же неудачу (или их рассмотрение было затянуто до бесконечности), как и проекты создания органов самоуправления, система, сложившаяся после Январского восстания, до конца российского владычества в Привислинском крае оставалась в основном без изменений. Демонтаж в 1915 году этих структур, созданных в 1860–1870-е, был вызван внешними причинами – войной и вторжением германских войск.

ИМПЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И «ЛИЧНОСТНЫЙ ФАКТОР»: НАМЕСТНИКИ И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ 1864–1915 ГОДОВ

В системе управления Царством Польским в период после Январского восстания наместник или генерал-губернатор был главным царским представителем в Привислинском крае. Хотя он действовал в поле сил, в котором акторы, находившиеся в далеком Петербурге, или другие местные инстанции имели весомый голос, его убеждения касательно целесообразности той или иной политики, его интерпретация собственных должностных обязанностей, а также его предпочтения в области политико-коммуникативного стиля оказывали определяющее влияние на отношения между имперской администрацией и населением в Царстве Польском. В административной структуре, которая была в огромной мере адаптирована к личности генерал-губернатора и открывала ему значительные возможности для самостоятельного действия, очень большое значение имело то, кого именно царь направлял своим представителем в Варшаву. Генерал-губернаторы оставались на посту поразительно долго, зачастую целое десятилетие, поэтому каждый из них накладывал свой заметный индивидуальный отпечаток на конкретный облик петербургского владычества над Польшей. От тех, кто был представителем императора на Висле, в большой мере зависела интенсивность конфликтов между местным населением и имперскими властями, а также возможность реформ и сотрудничества. Поэтому нельзя не задаться вопросом о том, какими управленческими концепциями, какими представлениями об империи в целом и, следовательно, какими мыслительными категориями руководствовался тот или иной генерал-губернатор. Ответы на этот вопрос будут даны в представленных ниже портретах царских наместников и генерал-губернаторов Привислинского края.

Федор Федорович Берг и Павел Евстафьевич Коцебу

Первый длительный период истории российского владычества в Польше после Январского восстания нес на себе отпечаток личности наместника Федора Федоровича Берга, а затем – сменившего его генерал-губернатора Павла Евстафьевича Коцебу. На время службы Берга – одиннадцать лет, с 1863 по 1874 год, – пришлось большинство упомянутых выше административных нововведений, которые определили новую структуру управления Царством Польским²¹⁵. Некоторые более поздние меры, направленные на сглаживание польских «особенностей», были инициированы или осуществлены генерал-губернатором Коцебу. Например, к периоду его полномочий, продолжавшемуся до 1880 года, относится ликвидация греко-католической (униатской) епархии в Хелме, означавшая конец институционального существования униатской церкви в Российской империи. Коцебу также предпринимал усилия по насаждению русского языка «в качестве государственного» в начальных школах Привислинского края и препятствовал введению избранных глав городских гмин в польских провинциях²¹⁶.

Тем не менее именно в правление Коцебу произошло первое послабление в имперской административной политике: спустя десятилетие после подавления Январского восстания власть Петербурга была достаточно прочна, чтобы пойти на определенные уступки общественности Привислинского края. Поэтому Варшавский цензурный комитет разрешил такую публицистическую деятельность, в ходе которой молодое поколение польских позитивистов обнародовало свои позиции, сформировавшиеся под влиянием идей Огюста Конта. В подъеме этого, так называемого варшавского позитивизма, ставшего определяющим признаком интеллектуальной жизни города в 1870–1880-х годах, косвенно отражался отказ от государственной политики, направленной прежде всего на подавление восстания, на репрессии и административное нивелирование польских провинций. Только в условиях, когда российское правление воспринималось как менее гнетущее, позитивистская концепция «работы у основ» (*praca u podstaw*) могла показаться достаточно привлекательной. Ориентация позитивистов на развитие нации, реализуемое в области культуры, экономики и техники, была совместима с отсутствием у этой нации собственного государства, но для того, чтобы начать осуществление подобной программы,

требовалась ситуация стабильности, не воспринимаемой преимущественно как угнетение.

Петр Павлович Альбединский

То, что осторожно стало заявлять о себе при генерал-губернаторе Коцебу, подтвердилось при его преемнике – Петре Павловиче Альбединском. С приходом Альбединского в 1880 году на должность генерал-губернатора для польского общества начались «годы надежды»²¹⁷. Как и его предшественники, Альбединский до этого назначения приобрел репутацию эксперта по периферийным районам империи: с 1866 по 1870 год занимал пост генерал-губернатора Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, а затем в том же качестве служил в северо-западных губерниях. В недавних исследованиях подчеркивается, что Альбединский, по крайней мере в прибалтийский период, проводил линию, благоприятствующую местным интересам²¹⁸.

Этот же политический стиль он попытался внедрить и в Привислинском крае. Уже в 1880 году новый генерал-губернатор инициировал проект всеохватной реформы для польских провинций. Доклад, который Альбединский представил императору в обоснование своего плана, дает четкое представление о восприятии генерал-губернатором насущных проблем Царства Польского, об оценке им польского общества и его развития, а также о тех политических категориях и образах будущего, в которых он мыслил. Этот документ, ключевой для изучения периода полномочий Альбединского, заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее²¹⁹.

Альбединский указал в своем докладе на то, что после Великих реформ 1864 года прошло уже шестнадцать лет – за это время общественная жизнь в Царстве Польском кардинально изменилась. Крестьяне освобождены от «вотчинного строя», и им предоставлено самоуправление на уровне гмины. Все население получило публичные суды и школы. В целом прогресс в стране значительный: теперь, после многолетних «бредней» в польском обществе, политические страсти уступили место интенсивной работе в экономической и интеллектуальной сферах. Привислинский край полностью сосредоточился на своем внутреннем развитии и год от года становится все более богатым и умственно зрелым. В первую очередь

применительно к молодежи можно сказать, что здешние жители отrekliсь от прежних заблуждений и на основании знания, свободного от предрассудков, ориентируются исключительно на позитивную общественную деятельность. О столь отрадном развитии событий свидетельствует и то, что никаких антиправительственных происшествий в польских губерниях не наблюдается²²⁰.

Чтобы способствовать укреплению принципиально лояльных и готовых к сотрудничеству кругов местного общества, генерал-губернатор представил императору комплексную программу реформ. Она включала и улучшение земельного законодательства в пользу крестьян, и отмену дискриминационных положений в отношении бывших униатов, а также отмену других дискриминационных законов в отношении лиц польского происхождения, и вопросы политики в области просвещения и практики самоуправления. Предложения Альбединского в последних двух сферах были наиболее далекоидущими и весьма спорными. В том, что касалось государственного школьного образования, генерал-губернатор призвал к вовлечению общества в решение проблемных вопросов, и прежде всего в расширение сети начальных школ. С этой целью гмины должны были принимать участие в выборе учителей, а Закон Божий должны были преподавать местные священники. Кроме того, польский язык предлагалось снова ввести в качестве обязательного предмета в начальных школах и выделить на его изучение достаточное количество часов. Таким образом, Альбединский открыто выступил против политики попечителя Варшавского учебного округа, Апухтина, который только недавно, в 1879 году, перевел все преподавание в начальных школах на русский язык. Многочисленные жалобы польского населения на эти меры генерал-губернатор охарактеризовал как законные и неоднократно высказывал протест против «извращения цели» начальных школ и превращения их в «орудие обрусения крестьянства»²²¹.

Касательно устройства муниципальной администрации генерал-губернатор тоже призывал к пересмотру существующих порядков. Теперь, спустя шестнадцать лет после восстания, он считал правильным применить и в Царстве Польском городской устав 1870 года. При этом, однако, важно было учитывать «местные условия»: главу города должно избирать местное население,

обладающее правом голоса, без особого ограничения избирательного права. Кроме того, нужно урегулировать вопрос о языке в делопроизводстве, протоколах городской администрации и заседаниях городской думы. В качестве решения генерал-губернатор предложил компромисс: поскольку граждане, обладающие избирательным правом, и привлеченные эксперты по большей части русским языком не владеют, нужно по крайней мере разрешить проведение заседаний думы также и на польском языке. А для делопроизводства и постановлений городской администрации надлежит использовать «государственный язык», т. е. русский. Впрочем, при этом должен быть гарантирован перевод соответствующих документов и протоколов собраний на польский язык²²².

Таким образом, Альбединский в своем докладе призывал к реформам, которые были очень рискованными, поскольку касались тех сфер, где конфликты между петербургскими властями и местным обществом приобрели особую интенсивность и где в то же время обсуждались принципиальные вопросы власти Петербурга. Значительная часть предложений генерал-губернатора встретила со стороны императора одобрение, хотя Александр II и перенаправил вопросы для обсуждения и выработки конкретных положений в Комитет по делам Царства Польского. Уже в комитете Альбединский столкнулся с мощным сопротивлением, особенно со стороны министра народного просвещения – Андрея Сабурова и новоназначенного обер-прокурора Святейшего синода – Константина Победоносцева. После долгих дебатов было решено направить большинство предложений Альбединского в соответствующие министерства для «более подробного рассмотрения»²²³.

Убийство Александра II, случившееся спустя несколько недель, определило судьбу этого проекта. В напряженной ситуации после 1 марта 1881 года нельзя было и думать о широкомасштабных реформах в Привислинском крае. Попытка Альбединского летом 1881 года вернуться к разговору о городском самоуправлении потерпела неудачу из-за сопротивления новоназначенного министра внутренних дел – Николая Игнатьева. Последний утверждал, что в «трудное для России время» ни в коем случае нельзя пробуждать «опасные и вредные» надежды, потому что события, предшествовавшие

восстанию 1863 года, показали, что такие «уступки» никогда не смогут удовлетворить поляков²²⁴.

Столкнувшись с необоримым сопротивлением центральных ведомств и с новой политической ориентацией, инициированной Александром III, Альбединский быстро осознал, что дальнейшие реформы в Царстве Польском уже неосуществимы. Кроме того, еврейские погромы, потрясшие Варшаву, особенно на Рождество 1881 года, серьезно дестабилизировали ситуацию в Привислинском крае. Вплоть до своей ранней и внезапной кончины в 1883 году Альбединский уже больше не пытался реорганизовать имперское правление в польских провинциях. С назначением на пост генерал-губернатора Иосифа Владимировича Ромейко-Гурко либеральная фаза в Царстве Польском резко закончилась.

Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко

Хотя у двух генерал-губернаторов – Альбединского и Гурко – наблюдаются некоторые общие карьерные модели, характерные для высокопоставленного чиновника в Российской империи, они сильно расходились в своем понимании того, какой облик должна принять Российская империя и что значит вести эффективную имперскую политику. Гурко, родившийся в 1828 году, тоже сделал впечатляющую военную карьеру и дослужился до генерала от кавалерии. Воспитание он получил в Пажеском корпусе, служил в лейб-гвардии гусарском полку, участвовал в Крымской войне и в 1860 году стал флигель-адъютантом царя Александра II. Во время подавления Январского восстания и, особенно, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Гурко отличился и заслужил несколько орденов. Затем началась государственная служба в имперской администрации. В 1879 году Гурко был назначен генерал-губернатором Санкт-Петербурга, а в 1882-м – Одессы. С 1883 по 1894 год являлся генерал-губернатором в Царстве Польском и в это время (1886) был включен в состав Государственного совета. Лишь в 1894 году он был официально освобожден от должности генерал-губернатора – формально в связи с ухудшением состояния здоровья. Умер И. В. Гурко в 1901 году.

Уже в первом подробном рапорте с нового места службы Гурко дал понять, что планирует радикальную смену курса и считает многие действия своего покойного предшественника неправильными. Письмо, с которым в 1883 году генерал-губернатор обратился к Александру III, в ретроспективе выглядит как объявление политической и административной программы, которую Гурко потом и реализовывал в течение долгих одиннадцати лет правления в Привислинском крае²²⁵.

Гурко совершенно не разделял мнение Альбединского, что очевидное улучшение экономических условий усилило и политические тенденции, отвечающие интересам Петербурга. Напротив, государство в тот момент, по мнению Гурко, переживало период социальных и политических потрясений и следовало прежде всего очень серьезно относиться к социалистической пропаганде в Царстве Польском. Кроме того, по словам Гурко, опыт неизменно показывал, что поляки злоупотребляют теми правами, которые им бывают предоставлены, и используют их во вред правительству. В настоящее время в польском обществе преобладают два противоположных движения, из которых одно, «благоразумное и серьезное польское меньшинство», распрощалось с иллюзией «воскрешения самостоятельности» и «независимой отчизны». Учитывая это положение и общую «легкомысленность и возбужденность, свойственные польскому национальному характеру», писал Гурко, предоставление сельским и городским поселениям прав самоуправления вызовет лишь множество трудностей для правительства. Поэтому он как генерал-губернатор не может не протестовать самым решительным образом против введения органов самоуправления в Привислинском крае. Ввиду опасности, угрожающей авторитету государства, важно, чтобы Петербург наконец снова показал себя твердой и крепкой властью в Царстве Польском²²⁶.

Мышление, проявившееся в этом рапорте, и концепции имперской административной практики, из такого мышления вытекающие, были характерны для долгой декады правления Гурко. Страх перед эрозией авторитета государства, а также перед опасной динамикой, начало которой якобы могли положить возможные реформы и уступки в Царстве Польском, руководил генерал-губернатором при принятии решений. В этом смысле можно сказать, что Гурко практиковал «негативную политику» в отношении Польши. Ему важнее всего было

обеспечить стабильность петербургской власти в регионе, которая, как он считал, постоянно подвергалась опасности. Мысля в категориях «осажденной крепости», генерал видел в политике, делающей ставку на интеграцию местного населения, прежде всего сигнал слабости государства, который побуждает поляков к выдвижению все новых и новых требований. Государство, считал он, должно представлять монолитной твердыней и не создавать впечатления непостоянства и уступчивости. Это означало одновременно и отступление на позицию, с точки зрения которой под успешным администрированием понималось главным образом обеспечение общественного порядка²²⁷. Все реформы, выходящие за пределы этого, Гурко считал ненужными, а в особых условиях Привислинского края даже опасными для государства экспериментами.

Еще одной из основных черт правления Гурко было подчеркивание принципиального приоритета русского языка в империи. Как и Александр III, генерал-губернатор делал упор на русский характер Российского государства. В свете этого языковой вопрос получал особое символическое значение: насаждая русский язык в общественной жизни Привислинского края, администрация проявляла способность обеспечить этому языку на периферии империи доминирующее положение. Поэтому и Александр III во время своего визита в Царство Польское с особым удовлетворением отметил хорошие познания польского населения в русском языке; поэтому же Гурко настаивал на том, чтобы на его праздничных приемах говорили по-русски.

В соответствии с этой линией генерал-губернатор сделал лектора по русскому языку из Варшавского университета, Платона Кулаковского, главным редактором газеты «Варшавский дневник» – местного официозного органа. Кулаковский за годы своей деятельности на этом посту (1886–1892) превратился из человека, просто отдававшего предпочтение «всему русскому», в ярого националиста, действующего под лозунгом «Россия для русских»²²⁸. В Императорском Варшавском университете Гурко проводил аналогичную кадровую политику: уже в 1883 году генерал-губернатор выступил за назначение ректором Николая Лавровского. Время пребывания последнего на этом посту – до 1890 года – было отмечено усиленным привлечением русских профессоров на берега Вислы.

Кроме того, Лавровский – по специальности лингвист и литературовед – работал над расширением институциональных позиций российской филологии в университете. В своих многочисленных торжественных речах ректор не устал подчеркивать важность русской культуры для славянского сообщества в целом и для Привислинского края в частности²²⁹. И не в последнюю очередь надо упомянуть ужесточение цензурной политики по отношению к польской прессе и публицистике, которое тоже было частью целенаправленной политики администрации Гурко, с крайним недоверием взиравшей на общественную жизнь польского общества.

Характерным для Гурко было типичное вообще для того времени неразделение «всего русского» и православного вероисповедания. Привилегии, даваемые православной церкви в Царстве Польском, были прежде всего средством продемонстрировать русскую гегемонию. Многочисленные православные храмы, возведенные в годы правления Гурко, имели целью не столько миссионерскую деятельность среди католического населения, сколько подчеркивание постоянного присутствия русской власти в Польше. В результате строительства помпезного собора Святого Александра Невского в центре Варшавы, которое Гурко инициировал и держал на личном контроле, отчуждение между царскими властями и польским обществом только углубилось²³⁰.

Подобные мероприятия, кадровые решения и проекты вызвали у местного населения ожесточение и сопротивление. В то же время не следует упускать из виду, что управленческая практика Гурко никогда не имела настолько программного характера, чтобы можно было говорить о продуманной проактивной политике. В отличие, например, от того, что наблюдалось в Прибалтике, где в те же годы проводилась систематическая политика административной унификации, и тем более в отличие от прусской административной практики в Познани – практики, которая представляла собой сознательно направляемую аграрную и демографическую политику, – российское правление эпохи Гурко в Царстве Польском выглядит относительно инертным и ни в коем случае не интервенционистским. Те меры по интеграции региона в империю, которые вынужденно принимались в 1860–1870-е годы, при этом генерал-губернаторе не получили дальнейшего углубления. Главной целью правления Гурко было обеспечение российского господства, т. е. пассивная политика, ориентированная на

поддержание «спокойствия и порядка» и управленческую деятельность в режиме статус-кво.

Такое принципиальное предпочтение, отдаваемое пассивной направленности, даже привело к тому, что Гурко со скептицизмом отнесся и к слишком активной русификации, в частности на удивление резко раскритиковал образовательную политику Апухтина. Она, по словам Гурко, привела к тому, что в государственных школах Царства Польского к польским детям стали относиться прямо-таки враждебно. Их упрекают за польское происхождение, оскорбляют их национальные чувства, их религию презирают, их родному языку отводят место в программе только после иностранных языков – французского и немецкого²³¹. Гурко прежде всего имел в виду негативные последствия полонофобии, проявляемой школьным руководством и преподавательским составом: приходя домой, отмечал он, дети сообщают об оскорблениях, претерпеваемых в школе, своим родителям, которые и без того не отличаются любовью к русской нации. Такое бессердечное отношение к школьникам, подчеркивал генерал-губернатор, ведет, разумеется, к результату, прямо противоположному тому, какого ожидает от этих учебных заведений правительство: вместо того чтобы воспитывать у ученика любовь к России, его заставляют уже в юности возненавидеть все русское, потому что в свои лучшие годы он познал от русских столько обид и пролил столько горьких слез²³².

Эта резкая критика одновременно показывает, насколько время правления Гурко было пронизано многочисленными противоречиями. Усиленный акцент на русском и православии соседствовал со скептическим отношением к интервенционистской русификации. Кроме того, генерал-губернатор не препятствовал деятельности открытых приверженцев политики сближения: он не только предоставлял простор для деятельности таким людям, как Апухтин, но и терпимо относился к разносторонним проектам президента Варшавы Сократа Старынкевича, а также назначил на влиятельную должность петроковского губернатора Константина Миллера – сторонника пропольской политики уступок. Старынкевич стал, без сомнения, самым популярным царским чиновником в Царстве Польском –

благодаря своей дальновидной политике модернизации городской инфраструктуры Варшавы и целенаправленной интеграции представителей местного городского общества в руководящие органы

магистрата. Здесь поражает то, что в течение долгого периода своего правления президент города почти не конфликтовал с генерал-губернатором, а наоборот, последний был готов поддерживать проекты Старынкевича в Петербурге²³³.

То же самое касается и работы губернатора Миллера, который уже в бытность келецким вице-губернатором и, особенно, губернатором Плоцкой губернии приобрел репутацию чиновника, ищущего диалога с местной общественностью и таким образом продолжающего политику своего политического покровителя, Альбединского, после его смерти. Гурко не только перевел Миллера в 1890 году на ключевую должность во главе Петроковской губернии, но и оказал ему важнейшую поддержку, когда тот в связи с доносом попал под подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями²³⁴. Столь же неоднозначная кадровая политика Гурко наблюдалась и при назначении на должность варшавского губернатора – самого важного в крае: если вначале Гурко предельно резко критиковал губернатора Николая Медема – это был близкий знакомый генерал-губернаторов Коцебу и Альбединского и сторонник реформ, начатых последним, – то последующее десятилетие их службы бок о бок прошло в основном бесконфликтно²³⁵.

Несмотря на все эти контрастные и неоднозначные характеристики стиля руководства, отличавшие Гурко, долгое десятилетие его правления вряд ли можно охарактеризовать как период кооперации между царской бюрократией и местным обществом. Даже представителей варшавского позитивизма или консервативных сторонников мирного сосуществования отталкивала грубая манера общения генерал-губернатора. Вряд ли кто-то из них был опечален, когда в 1894 году Гурко был отозван со своего поста новым царем и на специальном поезде отбыл в Петербург.

Павел Андреевич Шувалов и Александр Константинович Имеретинский

Николай II, как некогда и его отец, использовал свое восхождение на престол, чтобы осуществить значительные кадровые перестановки в Царстве Польском. Замена Гурко на слывшего умеренным Павла Андреевича Шувалова была лишь одним из важных кадровых решений

этих лет, а вторым был перевод Апухтина в 1897 году на другое место службы и назначение либерального профессора математики Валериана Николаевича Лигина попечителем Варшавского учебного округа.

Эти изменения способствовали тому, что на короткое время у польской общественности возникла надежда на «эру перемен» и началось действительно продуктивное сотрудничество части местного общества с царским административным аппаратом. Решающую роль здесь сыграл прежде всего Александр Константинович Багратион-Имеретинский – преемник Шувалова, освобожденного, по состоянию здоровья, от должности генерал-губернатора уже через два года. Хотя сам Имеретинский занимал этот пост только четыре года, на период его правления (1896–1900) все же выпал ряд решений, которые заметно изменили если и не принципиальную структуру, то стиль имперского господства в Привислинском крае²³⁶.

Имеретинский был грузинским князем и генералом царской армии, свой первый опыт службы в польских провинциях он приобрел еще во время разгрома Январского восстания. Подобно Гурко и Альбединскому, Имеретинский тоже получил воспитание в Пажеском корпусе, затем обучался в Николаевской академии Генерального штаба, а в 1850-е годы участвовал в военных действиях на Кавказе. Во время подавления польского восстания 1863 года он завоевал доверие наместника Берга, который в 1867 году добился его назначения начальником штаба войск в Варшаве. В 1873 году Имеретинский стал начальником штаба всего Варшавского военного округа. Таким образом, он более десяти лет из своей военной карьеры провел в беспокойных краях на Висле. Во время Русско-турецкой войны, в 1877 году, Имеретинский участвовал в осаде Плевны. Наконец, в 1881 году Александр III назначил его главным военным прокурором и начальником Главного военно-судного управления, на каковых постах Имеретинский и прослужил до 1891 года. В 1892-м император сделал его членом Государственного совета. В 1896 году состоялось назначение князя на пост варшавского генерал-губернатора.

Несмотря на участие в подавлении Январского восстания и в военном обеспечении петербургского владычества над польскими землями в 1860–1870-е годы, Имеретинский уже на момент своего назначения генерал-губернатором считался сторонником российско-

польского диалога. По словам историка Сергея Татищева, Имеретинский сформулировал свою миссию следующими словами:

[...] доказать полякам на деле, что русская власть печется и заботится об их нуждах и пользах и всегда готова, насколько это от нее зависит, споспешествовать не только их материальным интересам, но и духовным их потребностям, под одним неперменным условием, чтобы они пребывали верными подданными Императора Всероссийского, сознавая себя гражданами единого и нераздельного русского царства²³⁷.

Таковы были принципы, которыми руководствовался в своем исполнении должности генерал-губернатора Имеретинский. Он заботился об активизации сотрудничества с той частью польского общества, которая была готова принять факт окончательной инкорпорации Польши в Российскую империю. Имеретинский исходил из соображения, что долгосрочная стабилизация польских провинций возможна только в том случае, если по крайней мере весомые группы местного населения будут относиться к петербургской власти положительно. Инициированные генерал-губернатором реформы и уступки были направлены на восстановление «доверия» со стороны поляков. Цель была не в том, чтобы кардинально изменить структуру управления Привислинским краем, а в том, чтобы в символических полях, по поводу которых шла борьба, показать готовность к переговорам и компромиссам. Первый подробный рапорт Имеретинского из Царства Польского читается как манифест его реформаторских намерений²³⁸.

Центральным поприщем его деятельности была политика в сфере образования. Был ли Имеретинский инициатором отзыва Апухтина, неизвестно. Но отъезд последнего в 1897 году из Варшавы Имеретинский использовал, чтобы подвести сокрушительные итоги деятельности бывшего попечителя: в результате ошибочной школьной политики последних восемнадцати лет, писал он в Петербург, существует множество недостатков в низших и средних образовательных учреждениях. Прежде всего необходимо срочно изменить общую антипольскую направленность школ. Целью является создание новой государственной школы, которая будет оказывать

влияние за счет своей внутренней моральной силы, а не за счет угнетения незащищенных детей и их родителей. Только такая школа, подчеркивал генерал-губернатор, сможет в будущем служить истинным связующим звеном между польской окраиной и основным ядром российской государственности²³⁹. Поэтому школьное воспитание должно быть одной из главных забот правительства, писал Имеретинский, ведь это такой элемент слияния окраины с центром, который заключается не в системе запретов и не в чисто материальной связи экономических интересов, а во внутреннем воздействии на сознание, на душу польского юноши²⁴⁰. Генерал-губернатор надеялся таким образом, относясь с принципиальным уважением к некоторым «польским особенностям» и учитывая их в работе школы, одновременно обеспечить более тесную связь польских подданных с внутренней Россией.

Исходя из этих принципиальных соображений, Имеретинский стремился прежде всего повысить статус польского языка в начальных и средних школах. Вместе с тем он планировал контролируемую государством образовательную инициативу и для более широких кругов местного населения: выступал за создание «народных библиотек», которые были бы нацелены, помимо прочего, на то, чтобы вытеснить нелегальные и иностранные печатные издания, ходившие по рукам грамотных польских подданных царя. В области высших учебных заведений Имеретинский тоже выступал за изменение прежней политики. Так, он поддержал требование поляков открыть в Варшаве политехнический институт.

Гораздо меньше ощутимых результатов последовало за заявлением Имеретинского, что он поддержит в Петербурге введение в Царстве Польском городского самоуправления в соответствии с уставом 1892 года, предусматривавшим выборные городские думы и выборных городских голов, которым подчинялись бы важные секторы городского самоуправления. Сторонники этого проекта, в том числе и для городов Привислинского края, приветствовали заявление Имеретинского с энтузиазмом²⁴¹. Однако дело тем и ограничилось – принципиальной поддержкой проекта со стороны генерал-губернатора. В отличие от своего предшественника, Альбединского, Имеретинский не предпринял никаких попыток, преодолевая сопротивление петербургских инстанций, претворить конкретный проект в жизнь.

Самую большую сенсацию Имеретинский спровоцировал актом символической политики: никакая другая административная мера этого генерал-губернатора не привлекла к себе столько внимания польской общественности, как разрешение на установку памятника Адаму Мицкевичу в Варшаве. Изготовленный в 1897–1898 годах монумент было дозволено разместить и торжественно открыть прямо в центре Варшавы, на улице Краковское Предместье. Статуя оказалась настолько объемной, что ее установка означала полное переустройство этого важного участка улицы²⁴². Выдача генерал-губернатором разрешения на памятник была задумана как символический акт примирения, который должен способствовать большему доверию поляков к имперским властям. О том, насколько трудное это было предприятие, свидетельствует тот факт, что представители элиты польского общества в знак протеста против предварительной цензуры своих речей открыли памятник в коллективном молчании. И все же данный монумент наглядно показывал, что теперь в Привислинском крае польские притязания могут иметь успех – хотя бы в том, что касается репрезентативных объектов в публичном пространстве.

Это контрастировало с лишь недавно завершившимся «двоевластием» Гурко и Апухтина и заставило некоторых видных представителей польского общества поверить, что наступила новая эпоха примирения и эра перемен. По сравнению с польскими землями, отошедшими после раздела к соседним государствам, ситуация в Царстве Польском при Имеретинском также выглядела более многообещающей: в Пруссии, казалось, все больше усиливалась политика германизации, в северо-западных же районах становились все более жесткими антипольские меры²⁴³. Известия, поступавшие в то время из прибалтийских провинций и Финляндии, тоже вряд ли действовали на читателей польских газет успокаивающе: в то время как в Гельсингфорсе в 1899 году новый генерал-губернатор Николай Бобриков, наделенный чрезвычайными полномочиями, отменил финляндскую Конституцию, в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии форсировались унификация и насаждение русского языка в сфере образования²⁴⁴.

С учетом таких процессов в других, сопоставимых периферийных районах империи, осторожные реформаторские усилия варшавского генерал-губернатора действительно смогли на какое-то время убедить

часть польской общественности, что по крайней мере в Царстве Польском наступили времена перемен. Это была последняя фаза доминирования «угодников» – консервативных представителей политики примирения, – а также пропагандистов варшавского позитивизма; свое почти эйфорическое выражение она нашла при визите царя летом 1897 года. Четырехдневное пребывание Николая II в Варшаве и его доброжелательные высказывания по отношению к представителям польского общества были истолкованы некоторыми комментаторами как «переломный момент» в российско-польских отношениях²⁴⁵.

Однако такой диалог между поляками и российской властью был очень хрупким – это стало очевидно хотя бы по тому, что подрастающее поколение активистов и критиков режима уже не довольствовалось столь смутными обещаниями и актами символической политики. Те акторы, которые в 1890-е годы участвовали в формировании многочисленных подпольных организаций и партий, стремились к принципиальному противостоянию с царскими властями и требовали такого переустройства общества, которое предусматривало уничтожение империи и, более того, монархии вообще²⁴⁶.

Но и в лагере бескомпромиссных сторонников «угоды» вера в реформаторские намерения Имеретинского быстро иссякла. Когда в 1899 году выдержки из рапортов Имеретинского и переговоров по их поводу в Санкт-Петербурге были контрабандой вывезены за границу и опубликованы в Лондоне, они потрясли даже консервативную часть общественности²⁴⁷, потому что ясно показали, насколько глубоко генерал-губернатор не доверяет польскому обществу и насколько он одержим идеей полного контроля. В то же время эти документы показали, что Имеретинский принципиально придерживался проекта дальнейшего «объединения» польских провинций с основной российской территорией и рассматривал свои реформы в конечном счете как средство для ускорения такой интеграции.

Можно лишь гадать, стали бы отношения между Имеретинским и поляками вновь более спокойными, если бы он дольше прослужил в Привислинском крае, – уже в 1900 году генерал-губернатор скончался. Но предположение, что пафос «эры перемен» был бы возрожден, кажется маловероятным, ведь в последующие годы кризис в Царстве Польском стремительно обострялся. Преемники

Имеретинского в XX веке прежде всего старались реагировать на быструю эрозию государственной власти, а не размышлять о возможных проектах реформ.

Михаил Иванович Чертков и Георгий Антонович Скалон

Непосредственный преемник Имеретинского, Михаил Иванович Чертков, занимал руководящую должность в Царстве Польском всего пять лет – до своей смерти в 1905 году²⁴⁸. Его правление прошло под знаком попыток справиться с нарастающими конфликтами между социальными и этническими группами в крае и с обострением противостояния между государственной властью и значительной частью населения. Кроме того, ввиду обострения межэтнической напряженности Чертков с 1903 года проводил политику русификации взрывоопасных и приграничных административных районов, где намеревался заменить всех католических чиновников русскими православными. Ни в одной из этих областей деятельности Черткову не суждено было добиться успехов. Менее всего он оказался способен что-либо противопоставить быстрому падению авторитета государственной власти, расширению протестного движения и вооруженным конфликтам. Еще до того, как в 1905 году, после петербургского Кровавого воскресенья, произошла эскалация революционных событий по всей империи, в Привислинском крае кризис уже достиг революционных масштабов, и некоторые сигналы царского режима о готовности к компромиссу уже не могли его остановить. Ни императорский указ от 12 декабря 1904 года об отмене дискриминационных норм, действовавших в Царстве Польском, ни указ о свободе вероисповедания и о пересмотре других антипольских распоряжений в апреле 1905 года не успокоили население края²⁴⁹. Наоборот, новый генерал-губернатор – Константин Клавдиевич Максимович, назначенный в марте 1905 года, столкнулся с волной революционных выступлений, которые периодически приводили к потере государством контроля над значительной частью Царства Польского. Только после того, как Максимович, сочтенный недостаточно решительным, был летом 1905 года отозван, а новым генерал-губернатором был назначен Георгий Антонович Скалон

и в Привислинском крае было объявлено военное положение, царский режим вернул себе инициативу.

Скалон оставался в должности генерал-губернатора Привислинского края до своей смерти в 1914 году²⁵⁰. Его правление, особенно на ранней стадии, было отмечено жесткими репрессиями против участников революции по всему краю. Вместе с тем он проводил, однако, политику ограниченного сотрудничества с теми частями польского общества, которые после 1905 года дистанцировались от стремления к насильственному свержению монархии. Таким образом, все девять лет своего пребывания в должности Скалон совмещал перманентное чрезвычайное положение с постепенной «нормализацией» общественной жизни. Особые условия военного положения и развитие политической публичной сферы соседствовали друг с другом – точно так же, как и многочисленные новые антипольские меры и контакты между генерал-губернатором и ранее враждебным «национальным лагерем». Эта фаза неоднозначности проходила под знаком националистического поворота в российской политике, начавшегося при Столыпине, после 1907 года; но вместе с тем она была отмечена и сдерживающим влиянием генерал-губернатора Скалона, который заботился о поддержании общественного порядка и потому был заинтересован в жизнеспособном *modus vivendi* в Царстве Польском. Тот факт, что между премьер-министром и генерал-губернатором имели место открытые разногласия и споры, значительно способствовал более позитивному имиджу Скалона, по крайней мере в глазах части польской общественности.

Умер Скалон в феврале 1914 года, когда уже шла непосредственная подготовка к скорому военному конфликту с Германской империей. Планы эвакуации были давно разработаны. Теперь генерал-губернатором в Привислинский край, на самые западные оборонительные рубежи империи, был направлен генерал Яков Григорьевич Жилинский – начальник Генерального штаба русской армии. Вскоре, когда опасения сбылись и война началась, Жилинский принял на себя и командование Северо-Западным фронтом. Он руководил наступлением 1-й и 2-й армий в Восточно-Прусской операции, и, таким образом, на нем лежала часть ответственности за разгром российских войск в битве при Танненберге в августе 1914 года. Когда скандальные подробности катастрофы и роли Жилинского в ней

дошли до Петербурга, он был снят с должности главнокомандующего и направлен осенью 1914 года во Францию – представлять российское командование в Совете союза²⁵¹. В Царстве Польском его место занял генерал Павел Николаевич Енгальчев, задачей которого стала эвакуация Варшавы в следующем году. Летом 1915 года российские ведомства и многие русские православные жители покинули столицу Польши – перед тем, как в августе отступающие российские войска ушли из города, а вскоре после этого и из большей части Привислинского края²⁵².

Десять посланников царя: коллективный портрет варшавских генерал-губернаторов

Такой портрет представителей императора в Царстве Польском – девяти генерал-губернаторов и одного наместника – позволит не только дать сжатый обзор истории петербургского правления в Польше, но и выявить некоторые основные черты, общие для этих «imperial men» [англ. «имперские люди». – *Примеч. ред.*] при всех разногласиях между ними. Одинаковой для всех была модель образования и приобретения служебного опыта – характерная для того правящего слоя, который монополизировал высшие должности в царской административной иерархии. Все десятеро культивировали свой имидж представителей элиты, рассматривали себя как опору функционирующей государственности и одновременно как хранителей и распространителей европейской цивилизации в России. Их объединяло не только равенство сословного положения, но и сходство имперских биографий и профессиональных карьер, и благодаря этому сходству у всех десятерых, при всех расхождениях между ними, были аналогичные базовые представления о том, как функционирует хорошо устроенное государство. Этими-то представлениями они и руководствовались во время службы в Царстве Польском²⁵³.

Все десятеро – один наместник и девять генерал-губернаторов – за период с 1863 по 1915 год были дворянского, частично даже весьма знатного происхождения, все они имели за плечами многолетнюю военную карьеру. Во внутренних районах России в администрации губернского уровня тоже было много людей, получивших хотя бы часть своего образования в военных учебных заведениях, но в Царстве

Польском все высшие должностные лица были генералами от инфантерии или кавалерии (Берг даже носил звание генерал-фельдмаршала). Это было связано с тем, что варшавский генерал-губернатор одновременно занимал пост и главнокомандующего Варшавским военным округом, одним из стратегически наиболее важных в Российской империи. В то же время имперская концепция политики в отношении беспокойного Польского края требовала военного руководства этими губерниями.

Сходство в военных карьерах начиналось уже в раннем возрасте будущих генерал-губернаторов. Для детей их положения обязательным считалось получение образования в одной из двух главных кузниц кадров в Санкт-Петербурге – в Пажеском корпусе или Николаевском кавалерийском училище. Из варшавских генерал-губернаторов четверо – Альбединский, Гурко, Шувалов и Имеретинский – окончили Пажеский корпус. Иногда, как в случае Имеретинского и Жилинского, к полученному диплому добавлялось дальнейшее образование в Николаевской академии Генерального штаба. Служба в гвардейском полку тоже являлась одним из центральных элементов успешной офицерской карьеры.

Неотъемлемой составляющей военной карьеры было участие в боях на театре военных действий. Логика империи с беспокойными окраинами была такова, что варшавские генерал-губернаторы приобретали опыт не только во время Крымской или Русско-турецкой войн, но и во время командировок во внутренние районы страны для участия в «замирении» и подавлении местных волнений. Некоторые из них участвовали в боях на Кавказе, но прежде всего – в самой Польше. Вплоть до Имеретинского, срок полномочий которого закончился только в 1900 году, большинство генерал-губернаторов Привислинского края обладали личным опытом подавления восстаний в периферийных регионах России.

Однако этим их знания об окраинах империи отнюдь не исчерпывались. Тесное переплетение гражданской и военной администрации, которое было особенно ярко выражено в периферийных провинциях, вело к тому, что, как правило, должности там занимали офицеры. В свою очередь, система ротации, существовавшая в царской администрации, обеспечивала государственному чиновнику биографию, весьма разнообразную

в географическом отношении. Окраинные области империи играли очень заметную роль в *curriculum vitae* [лат. «путь жизни». – *Примеч. ред.*] варшавских генерал-губернаторов: они служили на Кавказе, в Финляндии, в прибалтийских губерниях, а также в северных и юго-западных приграничных областях. Хотя петербургская кадровая политика определялась множеством факторов, мало связанных с профессиональной пригодностью кандидатов, все же на ответственные посты в важные и беспокойные периферийные районы империи назначались только лица, имевшие определенный опыт службы на окраинах²⁵⁴.

Карьерные траектории варшавских генерал-губернаторов дают, кроме прочего, представление о том, какое значение в картине мира российской государственной бюрократии имел пост главного чиновника в администрации Царства Польского, или Привислинского края. Пост этот располагался, несомненно, в самой верхней части административной иерархии. То была должность, годность к которой нужно было сначала продемонстрировать – во время многолетней службы в других губерниях. Свидетельством тому – высокий средний возраст наших героев: на момент своего вселения в варшавский Королевский замок они были в среднем старше 62 лет. Петр Альбединский, назначенный генерал-губернатором в 54 года, и Павел Коцебу, которому уже исполнилось 73, когда он встал во главе имперской администрации Царства Польского, образуют крайние точки возрастного спектра. В геронтократической системе царской администрации такой возраст был свидетельством высокого статуса, которым обладала данная должность. В пользу этого же говорит и то, что большинство главных чиновников Царства Польского завершили ею свою служебную карьеру и прослужили в Варшаве необычайно долго. Среднее время пребывания на посту генерал-губернатора в Привислинском крае – 5,2 года – было выше, чем у губернаторов внутри России: для тех было характерно в среднем менее 3 лет пребывания в должности. Особенно длительным был период службы в Варшаве у наместника Берга, а также у генерал-губернаторов Коцебу, Гурко и Скалона. С другой стороны, нельзя не заметить, что в годы революции и мировой войны варшавские генерал-губернаторы могли и очень быстро потерять свой пост²⁵⁵.

Тот, кто был направлен в Варшаву в качестве генерал-губернатора, как правило, оставался на этой должности до своей кончины. Петербург явно был заинтересован в минимальной текучести кадров на данном посту. Вместе с тем возможности дальнейшего восхождения бывшего варшавского генерал-губернатора по служебной лестнице были ограничены. Одним из возможных шагов, который мог последовать за столь высоким административным постом и который в бюрократической логике того времени не воспринимался как понижение по службе, было назначение членом Государственного совета. До 1905 года все варшавские генерал-губернаторы были кооптированы в него императором, но не после службы в Царстве Польском, а параллельно с ней. То есть они не были таким образом «убраны с повышением» со своей должности на почетное, но лишенное всякого влияния место в этом органе, как то часто случалось среди великовозрастных служащих царского административного аппарата, где не существовало регулярного порядка выхода на пенсию. Назначение членом Государственного совета при одновременном сохранении в должности являлось символическим отличием, которого император лично удостоивал чиновника, занимавшего главный пост в Царстве Польском. Благодаря принятию варшавского генерал-губернатора в этот элитный круг одновременно и сама его должность символически получала более высокий статус. Постепенно сложилась – и просуществовала до преобразования Государственного совета по Манифесту 17 октября – традиция, в соответствии с которой варшавский генерал-губернатор как бы «по должности» одновременно становился и членом Государственного совета²⁵⁶.

О том, что генерал-губернаторы Привислинского края общались с центральными министерствами, проявляя полное сознание того, что занимают одну из высших должностей в региональной администрации империи, выше уже говорилось. Престиж поста и достоинство лица, занимающего его, усиливали друг друга. Пост варшавского генерал-губернатора был для князя Имеретинского местом службы, соответствующим его сословному статусу, и одновременно высокородное происхождение этого генерал-губернатора и его предшественников способствовало повышению символического достоинства той должности, которую они занимали. Всякий раз, когда тому или иному варшавскому генерал-губернатору нужно было

преодолеть сопротивление центральных министерств его планам, он охотно ссылаясь на то, какого высокого ранга люди были его предшественники. Тем самым он старался подчеркнуть особый, более высокий ранг своей должности в иерархии царского административного аппарата и этим придать больший вес своим проектам²⁵⁷.

Таким образом, стратегическое мышление способствовало формированию своего рода должностной генеалогии, в которую вписывали себя генерал-губернаторы Царства Польского. Кроме того, вопреки всем содержательным разногласиям, которые – по крайней мере, во внутриведомственной переписке – формулировались вполне ясно, большинство из этих десяти должностных лиц обладали сознанием того, что они – продолжатели давней и славной традиции варшавских генерал-губернаторов. Это было связано, с одной стороны, с логикой их службы: должностные задачи чиновника, занимавшего данный пост, почти не менялись на протяжении полувека. А с другой стороны, играли свою роль и сословная солидарность высокородных государевых слуг, и родственность образа мыслей, формировавшаяся в пространствах опыта, заданных очень похожими карьерами. Консерватизм, идущий от неизменности должностных обязанностей, от сословных традиций, от профессиональной социализации и, не в последнюю очередь, от пожилого возраста при вступлении в должность, приводил к тому, что формировался устойчивый, общий для всех генерал-губернаторов набор как представлений об империи, категорий мышления и способов восприятия проблем, так и соответствующих принципов административной деятельности. Данный набор определял и формируемые этими имперскими чиновниками представления о самих себе, о характере и функции своей должности. Конкретное их поведение в рамках имперской практики власти, их контакты с местным населением, общение с центральными инстанциями – все это осуществлялось в пределах одного, общего ментального горизонта.

СЛУЖБА В ЧУЖОЙ СТРАНЕ: ИМПЕРСКИЕ ЧИНОВНИКИ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ

В том спектре убеждений, в котором царские чиновники, служившие в Царстве Польском, интерпретировали свою административную деятельность, можно выделить несколько лейтмотивов. Главное место в иерархии ориентаций генерал-губернаторов занимала, несомненно, директива охраны «общественного порядка и спокойствия». Эта традиционная для российских губернаторов политическая функция мало изменилась и в конце XIX века. Однако применительно к Царству Польскому под обеспечением общественного порядка одновременно подразумевалось и надежное поддержание власти Петербурга в польских губерниях. Таким образом, «спокойствие края» означало и то и другое: и необходимость сделать все, чтобы гарантировать спокойное состояние общества, и необходимость пресекать любые политические тенденции, которые могли бы поставить под сомнение имперский диктат²⁵⁸.

Помимо этого, генерал-губернаторы не уставали повторять, что выполняют поручение, данное им лично самодержцем. Мотив «посланника царя» играл одну из важнейших ролей в самовосприятии главного чиновника Привислинского края. Так, Гурко подчеркивал, что управлять этим краем он был поставлен волею царя. Точно так же его преемник, Имеретинский, называл себя «исполнителем монаршей воли». Определение себя как непосредственного агента царя было осознанной стратегией, используемой, особенно во время конфликтов с центральными властями, для укрепления собственной позиции в переговорах с министрами. Тем не менее значимость этого образа императорского посланника для чиновничьей идентичности генерал-губернаторов и логики их действий не следует недооценивать: она придавала актерам ощущение, что они имеют право устанавливать собственный стиль властвования в подчиненной им провинции, за который отвечают только перед монархом.

Для всех генерал-губернаторов было несомненным фактом, что ситуация в польских губерниях – особая. Все они подчеркивали, что

вверенный им край – чужой. В этом топосе и в связанном с ним представлении о собственном положении косвенно отражаются и более общие их представления об империи. Наиболее отчетливо их сформулировал генерал-губернатор Чертков, который в письме в Министерство внутренних дел констатировал: «Составляя часть исторической Польши, население которой непосредственно соприкасается с одноплеменными частями, отошедшими к Пруссии и Австрии, губернии Привислинского края находятся, в отношении административного управления, в весьма исключительных условиях», и петербургские чиновники командированы сюда для службы «в чужой стране»²⁵⁹. Но даже там, где выбор слов не так однозначно указывал на самостоятельность другой «страны», а использовались амбивалентные слова «край» или «окраина», объединявшие в себе значения «территория» и «пограничье», чиновники не оставляли никаких сомнений в непохожести этого края на другие. Его «особенности», или «особленности», были в ведомственной корреспонденции одним из основополагающих топосов, принятых всеми участниками коммуникации²⁶⁰.

В образе себя, как его рисовали имперские чиновники в Царстве Польском, господствовал мотив собственной чужести в этом приграничном крае. Так, Альбединский писал о себе как о чужаке, который провел первые годы своего пребывания в должности, изучая внутреннюю жизнь и местные особенности этого «чужого края»²⁶¹. И его преемник, Гурко, оглядываясь назад, писал, что в его ведение был отдан край, «внутренняя жизнь и отличительные особенности которого» были ему мало знакомы. Спустя почти десять лет Гурко, сильно утрируя и думая, что это произведет впечатление на публику, указывал на роковые последствия этого положения имперских чиновников как чужаков в Царстве Польском: он организовал сбор пожертвований в России, надеясь приобрести дополнительные средства на строительство в Варшаве собора Святого Александра Невского. Призыв к пожертвованиям начинался «приветом из чужой страны». Необходимость дорогостоящего строительства собора Гурко обосновывал тем, что положение русских людей в этом «иноверческом и далеком крае» очень тяжелое: православные отчуждены от остального населения²⁶², и только в православном храме они могли бы

почувствовать себя ближе к Родине и «матушке России» и отдыхать душой от «тяжести службы на далекой окраине»²⁶³.

Пусть даже эти образы далекой и чужой земли и «тягостности положения заброшенных на чужбину русских людей»²⁶⁴ были здесь и утрированы Гурко ради агитационных целей, в других коммуникационных ситуациях, таких как внутренняя корреспонденция имперской администрации, господствовали подобные же представления²⁶⁵. Его преемник, Имеретинский, характеризовал польские губернии как страну, еще чуждую русским по языку, нравам и обычаям, но объединяющуюся с империей и способную сыграть значительную роль в дальнейшем развитии государства²⁶⁶. Будущий генерал-губернатор Чертков, рассуждая на эту тему, писал, что для «русского» положение Чужого и Иного особенно тяжело, ведь он, «русский», больше всего любит трудиться «на родине» и неохотно меняет ее на «места незнакомые». Хотя Царство Польское и было частью Российской империи, «родиной» его отнюдь не считали²⁶⁷.

Описание сути этих «особенностей» и «чужести» польских губерний всегда включало в себя образ католической Польши как «Другого»²⁶⁸. Отношение имперских чиновников к этой стране и ее жителям варьировалось в спектре от глубокого уважения к польской культуре как принадлежащей к западноевропейской цивилизации до презрения к якобы средневековой отсталости польской государственной традиции и политической культуры. В любом случае недоверие и открытая враждебность поляков оказывали негативное влияние на русских, служивших в этой «далекой приграничной области». Не случайно генерал-губернатор Имеретинский сетовал, что служба административных чиновников в Царстве Польском необычайно тяжела, так как польское общество характеризуется «глубоким недоверием» ко всем государственным служащим. Из-за этого любой административный вопрос здесь автоматически приобретает политический характер, что предельно усложняет управленческую работу в крае по сравнению с «другими частями империи»²⁶⁹.

Такое акцентирование инаковости Привислинского края, несомненно, было связано с определенной административной логикой, которую использовали генерал-губернаторы. Ведь любое подчеркивание особого статуса места службы повышало и значимость того должностного лица, которое отвечало за данную территорию.

Однако представление о принципиальной разнице между польскими и российскими областями империи было широко распространено среди людей того времени вообще. Описания в путеводителях, эссе о Царстве Польском, заметки о его экономическом потенциале – все подобные тексты изображали Привислинский край как чужую страну²⁷⁰. За этим стояло представление об империи как о территориально строго иерархизированном образовании, которое делится на русский центр и нерусскую периферию. В такой картине мира не ставилось под вопрос неделимое единство империи, но признавался в качестве ее имманентного структурного признака дуализм: с одной стороны – «коренная русская земля», или «основное ядро российской государственности», с другой – «окраины», пограничья²⁷¹.

Этот дуализм имел важнейшее значение не только для диффузной среды русских националистов: он в качестве базовой посылки лежал в основе иерархии имперского пространства, как она виделась и государственным служащим, о чем свидетельствуют высказывания варшавских генерал-губернаторов²⁷². Поскольку польские земли воспринимались как «чужие», «иные» и частично «враждебные», генерал-губернаторы осуществляли административные практики, ориентированные на «местные особенности» и потому отличавшиеся от тех, что бытовали во внутрироссийских губерниях. Одновременно такие порядки и такие меры закрепляли несходство между Привислинским краем и центром, а отчасти даже значительно углубляли его. Например, опасения государственных чиновников привели к тому, что в Царстве Польском не были созданы сельские и городские органы местного самоуправления, которые в течение пореформенных десятилетий, напротив, существенно изменили облик центральных российских губерний. Отсутствие этих институтов стало впоследствии ключевой отличительной особенностью Привислинского края, и генерал-губернаторы, такие как Имеретинский, ссылались именно на нее, когда подчеркивали принципиальное своеобразие польских губерний²⁷³.

Таким образом, у имперских чиновников не было никаких сомнений в особом положении Царства Польского. Но вот что делать с этой особостью, непохожестью? Для ответа на данный вопрос в чиновничьем дискурсе той эпохи имелись три разных понятия. Можно было говорить о желательности «слияния» польских земель

с русским ядром империи, можно было выступать за их постепенное «сближение» или, наконец, довольствоваться государственным «объединением» территорий. Насколько различны были курсы, намечаемые этими понятиями, настолько же мало сами они кристаллизовались в набор четко сформулированных, взаимоисключающих концепций. Наоборот, использование их было чрезвычайно гибко и они ни в коем случае не понимались как обозначения для несовместимых, противоречащих друг другу вариантов. Часто за выбором того, а не иного слова стояло лишь небольшое смещение акцента.

Стремление к более тесному соединению польских земель с империей высказывали все генерал-губернаторы. Так, Альбединский писал, что целью имперской политики применительно к местной общественной жизни является «сближение с русской сферой»²⁷⁴. А его преемник, Гурко, объявил, что целью преобразований в Царстве Польском после 1864 года было «объединение его с империей» и потому главной задачей внутренней политики правительства стало способствовать «слиянию» этого края в одно «гармоничное целое» с остальными частями государства.

Сам Гурко задавал риторический вопрос, какие меры необходимы для того, чтобы достичь желаемого «объединения» и «слияния обеих национальностей в общем русле государственной жизни». Прежде всего, отмечал он, «гражданская свобода, равенство прав и обязанностей, невзирая на вероисповедное различие населения, создают единство общественных интересов, а следовательно, и политическое единство населения». Поэтому законы, действующие в России, должны были бы распространяться и на Царство Польское, однако социальные и политические проблемы, возникшие вскоре после убийства Александра II, не позволили проводить такую политику²⁷⁵.

Удивительно, что этот генерал-губернатор, которого часто поносили как агента русификации, пропагандировал идею единого правового пространства. Отсюда видно, что и Гурко был сформирован политической обстановкой Великих реформ. А кроме того, становится ясно, что с понятием «слияния» не были автоматически связаны представления о культурном слиянии народов. Это обусловлено тем, что данное понятие возникло в годы реформ в государственном дискурсе. Так, Александр II во время своего визита в Варшаву в мае

1856 года высказал надежду на «полное слияние» польского народа с другими народами империи²⁷⁶. Это не означало, что русская культура как главенствующая в России станет культурой и поляков: царь высказал пока лишь надежду на то, что возникнет фигура гражданина империи.

Такие коннотации позволили преемнику Гурко, генерал-губернатору Имеретинскому, тоже использовать понятие «слияние», хотя он-то как раз выступал за более уважительное отношение к некоторым особенностям польских губерний. В принципе Имеретинский не видел никакого противоречия в том, чтобы, с одной стороны, население этой «чужой страны» сохраняло свой язык, нравы и обычаи, а с другой – более интенсивно объединялось бы с империей²⁷⁷. Ведь «слияние» с «русской государственностью» в одно «неразрывное целое» под скипетром царя допускало и то и другое. В неделимости имперского целого, разумеется, не было ни малейшего сомнения. Поэтому генерал-губернатор на все замечаемые им сепаратистские тенденции реагировал всей мощью государственного репрессивного аппарата²⁷⁸.

В дискурсе же российского общественного мнения той эпохи, напротив, с этими понятиями частично были связаны совсем иные коннотации. Нередко словом «слияние» называлось в том числе и культурное объединение «братских славянских племен» как цель, к которой надлежит стремиться, причем тут речь шла гораздо чаще о «духовном слиянии» или «духовном единстве» народов, а не государственных территорий²⁷⁹. Это были очень туманные формулировки, которые в конечном счете ничего не говорили о том, как именно должно выглядеть слияние народов и как следует реагировать на упорное желание поляков сохранить свою культурно-языковую самостоятельность. И все же данное понятие пропагандировало базовые культурные аспекты некоего процесса объединения, далеко выходявшие за рамки государственно-гражданских концепций имперского чиновничества.

Это отчетливо проявлялось и в том дискурсе разграничения, который государственные служащие использовали, реагируя на упреки в русификации. Подпольная и зарубежная пресса регулярно выдвигала это обвинение и клеймила царских чиновников словом «обрусители». После изменения законодательства о печати в 1905–1906 годах

в легальной публичной сфере империи тоже стали раздаваться обличительные голоса, говорившие, что петербургское правительство проводит политику «обрусения» в Привислинском крае²⁸⁰. Таким образом, понятия, обозначающие русификацию, были оружием в актуальной политической борьбе, и имперская управленческая бюрократия должна была занять по отношению к нему какую-то позицию.

Эта позиция царской административной элиты была однозначной: слово «обрусение» имело и в чиновничьих кругах негативные коннотации, так как данное понятие репрезентировало политическую практику, от которой чиновники старались четко дистанцироваться. В отличие от традиционных понятий «обрусевание» и «обрусѣние» (с «ятем») существительное «обрусение» (с «е») и глагол «обрусить» обозначали преднамеренные, форсированные и направленные на максимальную аккультурацию действия по превращению поляков в русских²⁸¹. Это, с точки зрения государственных чиновников, было дело в высшей степени проблематичное, и потому уже генерал-губернатор Альбединский предпринял попытку от него дистанцироваться. Одна из целей его реформаторских проектов заключалась, по его словам, в том, чтобы показать местному населению, что правительство вовсе не имеет намерения попираť национальность и использовать меры принуждения, дабы в будущем добиться слияния поляков с русской национальностью, и что вообще правительству чужды любые меры, нацеленные на репрессии и русификацию либо носящие принудительный характер²⁸². В постановлении Комитета по делам Царства Польского, содержащем по большинству предложений Альбединского либо отрицательные решения, либо ответы выжидательного характера, данная принципиальная оценка ситуации, сформулированная генерал-губернатором, получила подтверждение. В протоколе заседания Комитета говорилось, что даже законы, принятые после 1864 года, никогда не были направлены на то, чтобы «насильственно обрусить» население Привислинского края²⁸³.

Почти два десятилетия спустя генерал-губернатор Имеретинский на слушаниях в Комитете министров тоже резко выступил против политики принудительной русификации: «При осуществлении этого объединения правительство [...] не задавалось несбыточной мыслью

об обрусении местного населения в смысле обращения его в русское». Такой ошибочной политике Имеретинский противопоставил проект создания новой гражданственности: цель политической программы государственных школ должна была, по его мнению, заключаться в том, чтобы в каждом ученике крепить сознание, что он прежде всего есть русский подданный, а только потом – поляк²⁸⁴.

Хотя Имеретинский столкнулся в Комитете министров с сопротивлением его конкретным реформаторским предложениям расширить преподавание польского языка в школе, все же и его оппоненты были едины во мнении, что речь ни в коем случае не должна идти об «обрусении» польского населения. Как министр народного просвещения Николай Боголепов, так и обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев подчеркивали, что «обрусительная тенденция» не является и не может являться целью школ в Привислинском крае. Обер-прокурор добавил к этому критическое замечание: слово «обрусение» допускает так много разных толкований, что лучше вовсе избегать его, дабы не порождать недоразумений²⁸⁵.

Таким образом, имперские сановники поддерживали проведение в Царстве Польском политики, обеспечивавшей русскую культурную гегемонию, включая навязывание детям русского как языка преподавания уже в начальной школе; соответственно, их цели были гораздо радикальнее, чем простое распространение русского как «государственного языка», они открыто выступали за «проникновение» подданных «духом и идеями русского народа»²⁸⁶, однако в их самосознании все это было чем угодно, только не «русификацией». Потому что последняя представляла собой проект, который можно было реализовать по отношению к «малым народам», но не к польской нации, которую все же рассматривали как часть западного цивилизационного сообщества. К тому же это был замысел, по поводу которого Победоносцев очень трезво констатировал, что он «совершенно невыполним»²⁸⁷. Поэтому и в постановлении Комитета министров от 1904 года говорилось, что в намерения правительства «не может входить стремление обрусить поляков и денационализировать их»²⁸⁸.

Итак, должностные лица в Царстве Польском стремились четко показать, что «обрусение» – это не то, чем они занимаются. Они либо полностью избегали данного понятия, либо спешили отграничить

собственную позицию от негативного поля ассоциаций, связанных с ним. Дело было и в том, что слово «обрусение» сильно напоминало одну из наиболее резко негативных категорий имперского дискурса западных губерний – «ополячивание», – которая жупелом кочевала из одного текста царских чиновников в другой. Сдерживание процесса ополячивания государство сделало после 1864 года одной из своих основных задач в Привислинском крае и западных губерниях²⁸⁹. Это способствовало тому, что и термин «обрусение» или «русификация» постепенно превратился в такое понятие, которое можно было во внутриведомственной коммуникации использовать как ругательство. Например, генерал-губернатор Скалон в 1906 году заклеил попытку своего оппонента, министра внутренних дел Петра Дурново, вмешаться в избирательную процедуру в Царстве Польском как возвращение «к прежней русификаторской системе». При желании воспрепятствовать какой-нибудь инициативе политического противника ее удобно было дискредитировать как «русификаторскую»²⁹⁰.

Этому не противоречил тот факт, что верховные царские представители в Привислинском крае неизменно заявляли о себе как о защитниках «русского дела». Данным понятием, в отличие от понятия «обрусение», обозначалось в имперском чиновничьем дискурсе нечто положительное. Ни один генерал-губернатор в Царстве Польском не уставал подчеркивать, что нужно защищать русское дело на западной периферии империи. Неудивительно, что именно в этом особенно ярко заявил о себе Гурко, который уже вскоре после вступления в должность провозгласил, что в своей деятельности руководствуется «глубоким чувством долга и беззаветной преданностью русскому делу»²⁹¹. Но и более реформаторски настроенные генерал-губернаторы не оставляли сомнений в том, что служение «русскому делу» является основным содержанием их миссии²⁹². Например, Имеретинский объявил своей задачей привлечение «истинных пионеров русского дела на окраинах государства»²⁹³.

Тем самым генерал-губернаторы, однако, отнюдь не заявляли о себе как о поборниках узко понимаемого этнического национализма. Высшие чиновники, хотя и говорили иногда о русских как о «господствующей народности», имеющей право на приоритет²⁹⁴, под «русским делом» все же подразумевали скорее вопросы имперской государственности, нежели этнически русское содержание этого

понятия. «Русское дело» выступало синонимом «русской власти» или «русской государственности» как власти правительства на местах²⁹⁵.

Понятие «русская власть», таким образом, описывало имперское владычество Петербурга и не подразумевало этнизацию империи и ее центрального правительства. Напротив, скептицизм по отношению к распространявшемуся в то время национально-этническому мышлению был очень велик. Форсирование различий между национальностями не входило в политическую повестку дня государственных чиновников, как и усиление этнического элемента в политике вообще. Те «русские интересы» и «русское дело», которым высшие чиновники обязались служить, – это были этнически нейтральные интересы столичных властей на западной периферии империи. Генерал-губернаторы считали себя представителями империи и посланниками царя, а не уполномоченными агентами русского этноса²⁹⁶. Когда Гурко действительно имел в виду этнически или конфессионально определенный «русский народ», то использовал тонкую, но показательную дифференциацию понятий и писал о «русском *народном* деле»²⁹⁷.

В принципе имперские чиновники всё и вся соотносили с интересами государства, и в начале XX столетия эта их склонность стала подвергаться критике со стороны тех представителей общественного мнения, которые выступали в качестве поборников «русского дела» именно в узконациональном понимании. В публичной сфере, находившейся под все более сильным влиянием русских националистов, наднациональные позиция и самопонимание представителей имперского государства в Царстве Польском превратились в проблему. Так, в 1905 году националистическая организация «Русское общество в городе Варшаве» весьма уверенно выступила перед генерал-губернатором с категорическим требованием защищать «национальные и культурные интересы русского народа» в Привислинском крае. При взгляде с таких позиций «укрепление российской государственности в крае» означало уже прежде всего «борьбу на благо России и ее великого народа»²⁹⁸. Таким образом, Россия сводилась к русским, как и было заявлено в партийной программе Русского общества. Согласно ей, русская государственность должна была обеспечить то, чтобы национальные интересы русских как носителей этой идеи на всей территории империи выступали

«руководящими началами». Авторы программы постулировали радикальное превращение империи в национальное государство, и это имело мало общего с тем пониманием «русского дела», которое было характерно для высшего чиновничества XIX века²⁹⁹.

Такие националистические активисты в Варшаве пользовались в годы пребывания Петра Столыпина на посту премьер-министра полной поддержкой со стороны центра. В условиях прогрессирующей этнизации власти те должностные лица, которые не соглашались принять это мировоззрение, подвергались все более резкой критике. Теперь старый топос «русского дела» стал использоваться против чиновников не «русского происхождения». Если прежде и для таких генерал-губернаторов, как немец Коцебу или грузин Имеретинский, защита «русского дела» была чем-то само собой разумеющимся, поскольку представляла собой этатистскую, а не этническую категорию, то после 1900 года нерусские чиновники, такие как Скалон или Миллер, стали мишенями националистических нападок.

Например, в 1908 году в доносе, поступившем к министру внутренних дел, Скалона обличали в измене «русскому делу» в Привислинском крае. Авторы, назвавшие себя «русскими из Варшавы», обвиняли генерал-губернатора в неспособности «поднять русское имя» и надлежащим образом защитить «национальные интересы на Висле». Вместо этого, писали они, Царство Польское оказалось «прочно в руках врагов России»³⁰⁰. Хотя текст доноса не оставлял сомнений, что под этими «врагами России» подразумевались прежде всего поляки, в нем содержался и намек на то, что невыполнение Скалоном своего долга связано с его нерусским происхождением. А всякого, кто готов бороться за «русское дело», говорилось далее в тексте, в крае клеймят как «обрусителя», поэтому положение «русского общества» в Царстве Польском отчаянное. Авторы обращаются к министру с просьбой принять к сердцу «гибнущее русское дело в Польше» и отменить предпринятые скалоновской администрацией «беззастенчивые меры» против тех многочисленных мелких чиновников, которые не считают, что можно «уступать занятые русскими в крае позиции врагам России»³⁰¹.

Подобные же обвинения в «измене русскому делу» выдвигались и против губернатора Петроковской губернии, Константина Миллера³⁰². Ему поставили в вину не только его немецкое

происхождение, но и то, что, как утверждалось в одном доносе, он целенаправленно наносит «вред русскому делу», поскольку женат на католичке. О том, что теперь подобную критику решались высказывать отнюдь не только в анонимных доносах, свидетельствует и отчет о ревизии сенатора Нейдгарта 1910 года. Сенатор, по крайней мере косвенно, обвинил Скалона в пренебрежении интересами «русского дела» в крае. Тот факт, что Нейдгарт подчеркивал прежде всего упущения генерал-губернатора при строительстве Русского народного дома в Варшаве, показывает, в какой высокой степени он усвоил аргументацию местных русских националистов. Это строительство представляло собой центральный проект, который националистическое Русское общество в Варшаве уже несколько лет энергично, но безуспешно пыталось продвигать³⁰³. Таким образом, Нейдгарт поддержал главное требование националистов – чтобы местная административная политика была направлена в первую очередь на поддержку русских, – и содержание понятия «русское дело» в его отчете о ревизии получило ту самую этническую окраску, которую придавали ему представители этого лагеря³⁰⁴. Впрочем, о том, чтобы в отчете сенатора о ревизии открыто ставить в вину Скалону то, что он немец, в 1910 году еще не могло быть и речи, хотя откровенно антипольские и антиеврейские тирады, направленные против многих варшавских предпринимателей, и могли содержаться в тексте. Однако, как свидетельствуют записки Алексея Брусилова, в восприятии современников, все более чувствительных к национальному вопросу, еще за несколько лет до войны с Германской империей этническая принадлежность варшавского генерал-губернатора уже выглядела проблемой. Когда в 1911 году в качестве помощника командующего войсками Варшавского округа Брусилов был командирован в Варшаву, он критически писал, что Скалон окружил себя немецкими группировками, которые монополизировали высшие посты в местной администрации³⁰⁵.

С учетом такого – все более национального, а порой и националистического – истолкования топоса «русское дело» после 1900 года, вряд ли покажется удивительным, что в самоописании генерал-губернатора Скалона о нем уже не говорилось. Если нерусское происхождение Берга, Коцебу или Имеретинского не играло никакой роли ни для их лояльности, ни для их карьеры, что наглядно

доказывало многонациональный характер управленческой элиты Российской империи, то в начале нового столетия этническое происхождение стало проблемой не только для тех чиновников, кто был поляком и католиком. В эпоху ожидания войны, когда росло влияние таких национально мыслящих деятелей, как Брусилов, нерусские – или, по крайней мере, «немцы» – среди имперских чиновников стали подвергаться все более серьезному давлению. Тот факт, что Скалон, несмотря на все националистические нападки, до самой своей смерти в 1914 году смог удерживаться на посту генерал-губернатора, показывает, что этнизация административного аппарата происходила не быстро. Но все же «русское» мало-помалу сводилось к «русскому». Постепенное изменение семантики понятия «русское дело» в Привислинском крае может служить индикатором данного процесса.

Одновременно этот сдвиг значения показывает, что высшие имперские чиновники определяли собственный политический и социальный профиль не полностью самостоятельно: генерал-губернаторы находились в постоянной взаимосвязи с широкой общественностью, которая формировала иные, отчасти конкурирующие образы административного аппарата, его акторов и их задач, приписывая им те или иные признаки, заявляя определенные ожидания, выступая с нападками. Все это отражалось и в чиновничьем жаргоне. В то же время принципы, которыми, реализуя политику центра, руководствовались в своих действиях генерал-губернаторы, должны были проходить проверку в напряженном диалоге с местным населением. И здесь высшим царским чиновникам тоже приходилось действовать в условиях местных конфликтов и пересечения интересов, а также иметь дело с реакциями общественности. Имперская политика осуществлялась не в бесконтекстном пространстве – она приобретала свой конкретный облик только во взаимодействии с местными акторами. Едва ли какой-то другой инструмент имперского господства может нагляднее продемонстрировать это столкновение разных сил, противодействие и взаимодействие представителей государственной власти и местных акторов, нежели цензурное ведомство, к рассмотрению которого мы теперь и обратимся.

ГРАНИЦЫ, ШЛАГБАУМЫ И НЕПОДВЛАСТНЫЕ ИМ ИДЕИ: ЦАРСКАЯ ЦЕНЗУРА И ПОЛЬСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА

Власть Петербурга в Царстве Польском держалась на штыках царской армии. Всякий раз, когда режим считал, что его противники бросают ему вызов, военная сила была к его услугам, готовая подавлять восстания, бунты или стачки. В кризисные периоды – 1830–1831, 1863–1864 и 1905–1906 годов – становилось очевидно, что применение войск представляет собой «последний довод» имперских властей в Привислинском крае. В конечном счете все попытки поляков сбросить власть Петербурга оказались неудачными именно из-за этого ее силового ресурса. Многочисленная армия, состоящая не из поляков, представляла собой главную опору петербургских властей при чрезвычайном положении. А во время длительных фаз снижения интенсивности конфликта, напротив, значительно важнее была роль других методов и институтов имперского господства. Одной из главных сфер столкновений между населением Привислинского края и правительством в период с 1864 по 1915 год была деятельность государственной цензуры. Служившая мощным силовым инструментом имперского правления, она одновременно позволяет увидеть контуры того конфликтного сообщества, в котором были представлены и петербургские чиновники, и их местные коммуникативные партнеры и оппоненты. Во взаимодействии между практиками власти, аппаратами, реализующими их, и вызванными ими реакциями на местах возникает сложная картина жизни на западной периферии государства, нормальное положение дел в которой включало в себя изрядную долю конфронтации.

«Дозволено цензурой» – такой гриф должна была иметь до 1905 года каждая публикация в Российской империи. Даже по относительно либеральным законам о печати, введенным после революции 1905 года, цензоры могли контролировать книги и газеты и при необходимости конфисковывать их³⁰⁶. Таким образом, царская

цензура являла собой фактор, в течение длительного времени оказывавший влияние на функционирование формирующейся публичной сферы в стране. Именно цензура обозначала границы того, что можно было сказать и написать. Она определяла политические темы, а также социальные и моральные ценности, о которых дозволялось (и предписывалось) говорить литературе; она же табуировала темы, понятия и имена. Царская цензура как могущественный актор участвовала в коммуникационном круговороте и обуславливала формы и форумы общественного мнения в Российской империи.

Деятельность цензуры в Царстве Польском имела для царской администрации особое значение. Она призвана была обеспечить контроль над локальной печатью. Тем самым она глубоко вмешивалась и в письменное творчество местной общественности. Таким образом, цензура в Царстве Польском была одной из точек, в которых встречались бюрократия, состоявшая из неместных чиновников, и местное население. Здесь чиновники Цензурного комитета – как правило, русские – и писатели, публицисты, издатели – польские или еврейские – были вынуждены общаться и зачастую вступать в конфликт друг с другом.

Предметом нижеследующей части этой книги является царская цензура и то, как она влияла на формирование специфической публичной сферы в Привислинском крае. Будут рассмотрены институты и акторы администрации, а также внутренние противоречия, существовавшие в данной сфере. В то же время нас будет интересовать и вопрос о том формирующем воздействии на развитие польской и русской публичных сфер в Царстве Польском в 1863–1915 годах, которое оказывали рогатки и барьеры, установленные цензорами на пути идей внутри границ и через границы Царства. Кроме того, речь пойдет и о том, какие виды трансграничной коммуникации существовали, несмотря на цензуру или даже благодаря ей.

Царская цензура в Царстве Польском: законы и институты, конфликты и ментальности

В той части бывшей Польско-Литовской шляхетской республики, что была оккупирована Россией, особые условия действовали

и в отношении цензуры. В 1843 году для Польши был издан собственный цензурный устав и создан отдельный Варшавский цензурный комитет. Цензурное ведомство в Варшаве было одним из крупнейших в Российской империи: в нем служило столько же профессиональных цензоров, сколько было в Санкт-Петербургском комитете³⁰⁷. Решающее слово в цензурных вопросах в первое время оставалось за вице-королем. После Январского восстания 1863 года был учрежден особый контролирующий орган – Отдел периодической печати, – которым сначала руководил Н. И. Павлищев и который должен был прежде всего следить за отечественной и зарубежной прессой, а также контролировать декларации и песни. Эта отдельная цензурная инстанция просуществовала до 1869 года³⁰⁸. Только в следующем году – т. е. на пять лет позже, чем в других районах Российской империи, – Варшавский цензурный комитет был формально подчинен Министерству внутренних дел в Санкт-Петербурге. Он по-прежнему оставался необычайно крупным учреждением. Даже в канцелярии цензурного ведомства в столице, т. е. в центральном подразделении всего аппарата, не было такого количества постоянных сотрудников. Из сорока шести профессиональных цензоров, которые в 1882 году несли службу в России, десять были заняты в одной только Варшаве. К началу Первой мировой войны их число возросло до двенадцати, и Варшавский цензурный комитет стал крупнейшим в империи. Уже в этом уникальном кадровом составе ведомства отразилось то, какое большое значение царские власти придавали цензуре как инстанции имперского господства в польских провинциях³⁰⁹.

К председателю Варшавского цензурного комитета предъявлялись высокие требования. Когда в 1899 году предстояло новое замещение этой должности, генерал-губернатор Имеретинский сообщил в Санкт-Петербург о том, каких качеств он ожидает от кандидата: будущий председатель Цензурного комитета должен обнаруживать обстоятельнейшее знание условий местной общественной жизни и, конечно же, обладать очень хорошими познаниями в польском языке³¹⁰. Генерал-губернатор также подчеркнул то важное значение, которое Варшавский цензурный комитет, с точки зрения царских властей, имел для стабилизации власти Петербурга в Царстве Польском. Не должно быть никакого сомнения, писал Имеретинский,

в том, что эта должность должна рассматриваться как такой пост, с которым связана высокая ответственность и который представляет собой одну из важнейших опор русской правительственной власти³¹¹.

Руководство Варшавским комитетом по делам печати было желанным постом – подтверждением тому может служить карьера одного из претендентов. Александр Пеликан, который в 1899 году надеялся занять эту должность, имел за плечами блестящую одиннадцатилетнюю карьеру в петербургском цензурном ведомстве³¹². И все же Имеретинский отверг его кандидатуру, указав на то, что Пеликан – не местный. В письме к соискателю Имеретинский пояснял, какие функции имеет, в его представлении, цензура в Царстве Польском и какие проблемы кажутся ему первоочередными. Великолепное знание польского языка – критерий, которому Пеликан не соответствовал, – необходимо было, с точки зрения генерал-губернатора, потому, что предварительная цензура, под опекой которой польская пресса просуществовала много лет, наложила на нее особый отпечаток, которого не мог бы заметить человек, не говорящий бегло по-польски: варшавские газеты были полны двусмысленностей, недомолвок, кажущихся наивными сравнений в мелких, но вовсе не лишенных важности сюжетах. Кроме того, только тот, кто хорошо знал Варшаву, смог бы понять разнообразие местного польского общества, которое существовало полностью отдельно от служивших в городе русских людей, так что чиновнику, прибывшему из других мест, было бы вдвойне труднее познакомиться с этим польским обществом и с его выразительницей – польской прессой³¹³. Имеретинский был услышан в Петербурге: новым руководителем Цензурного комитета назначили Христофора Эммаусского, который служил в этом ведомстве с 1879 года и, соответственно, имел более чем двадцатилетний опыт работы в Привислинском крае.

Формулируя свои требования к претенденту, Имеретинский одновременно показывал, как высоко ценит местных чиновников, которые, пусть и не будучи местными уроженцами, обладают многолетним опытом работы в Царстве Польском – опытом, который сделал их «экспертами по всему чужому», или, точнее, «экспертами по всему польскому». Опасение якобы возможной «индигенизации» этих кандидатов и вытекающей из нее неоднозначности их лояльности отступало перед теми соображениями, что только знаток местных

условий сумеет выполнить центральную государственную задачу цензуры в труднопроходимой чащобе польского культурного ландшафта. Таким образом, в описании Имеретинского присутствует и открытый страх, и имплицитное уважение к непроницаемости польской публичной сферы. Как и чиновники цензурного ведомства, генерал-губернатор постоянно ожидал каких-нибудь «антиправительственных» замечок и критики, которые, будучи изложены эзоповым языком, могли прятаться в каждой строке польских публикаций. Они не должны были ускользнуть от бдительного ока контролирующего органа.

Такое отношение к службе варшавских цензоров способствовало низкой текучести кадров. Эммаусский был не единственным чиновником, прослужившим в Варшавском цензурном комитете несколько десятилетий. Эта стабильность узкого круга должностных лиц, в свою очередь, вела к тому, что до революции 1905 года и вышедших после нее законов о печати деятельность государственных цензоров практически не менялась. Протоколы заседаний комитета свидетельствуют о сложившейся на протяжении десятилетий рутине, на которую даже появление в 1890-е годы современной массовой прессы повлияло мало. Только отмена в 1906 году предварительной цензуры и вступление в полную силу нового законодательства в Царстве Польском, последовавшее после отмены в 1909-м военного положения, обозначили глубокую цезуру в истории царского цензурного ведомства. Об этом пойдет речь ниже, а для начала необходимо обрисовать трудовые будни этого учреждения в дореволюционные десятилетия, а также выявить критерии, которыми руководствовались цензоры в своих решениях, и тем самым определить, как они себе представляли основные угрозы для государства и каковы были их образы врага.

Члены Цензурного комитета, которых было от восьми до двенадцати человек, с 1870-х годов еженедельно собирались на общее заседание во главе с председателем. Каждый цензор докладывал о том, что подозрительного он обнаружил, и собравшиеся предлагали решения: вычеркнуть «проблематичные» пассажи или запретить публикацию всего произведения³¹⁴. Члены комитета делили между собой растущий объем контрольного чтения, причем обязанности каждого периодически менялись. Можно выделить четыре приоритетных направления, по которым структурировались

и протоколы заседаний. Во-первых, комитет занимался зарубежными публикациями, к которым относились и польскоязычные произведения из ближнего зарубежья, прежде всего из Галиции. Здесь Цензурный комитет определял, разрешить ли ввоз той или иной книги. Так же решалась судьба книг, которые уже были опубликованы на территории России, но еще не были ввезены в Царство Польское: комитет должен был оценить, является ли произведение безопасным в свете особой политической ситуации в Привислинском крае.

Вторая – основная – часть работы по предварительной цензуре касалась рукописей, которые авторы из Царства Польского обязаны были представлять комитету на утверждение. Все произведения, предназначенные для печати, – художественные, равно как и научные, тексты, учебники, календари, сборники песен или статистических данных, а также иллюстрации, коллекции открыток и прочие изобразительные материалы – полагалось до отправки в типографию подавать в цензурное ведомство в стандартном виде и ожидать постановления цензоров об отсутствии препятствий к опубликованию. На каждом еженедельном заседании комитета в 1880-е годы подробно обсуждалось около двадцати польских рукописей, и, как правило, две-три из них целиком или значительными частями падали жертвой цензурного запрета. На протяжении десятилетий объем работы цензоров заметно увеличился. Уже в 1897 году комитету пришлось проработать вдвое больше текстов, а в 1901–1902 годах число поданных произведений выросло еще заметнее.

Третья важная сфера контрольной деятельности касалась всех видов сценических постановок. В первые десятилетия российского владычества основное внимание комитета было направлено на театры, оперы и концертные залы, а с 1890-х годов к ним добавились кинематограф и другие публичные массовые мероприятия, такие как спортивные соревнования. Кроме того, когда в конце XIX века в Варшаве стало появляться все больше различных общественных организаций, у комитета прибавилась обязанность контролировать проводимые ими публичные лекции, вечера и другие мероприятия.

В том, что касалось театра, комитет утверждал репертуар и просматривал тексты драм, опер и лекций на предмет наличия в них пассажей, содержащих критику властей, но также был уполномочен контролировать и сами представления, поставленные по этим пьесам.

Последнее, впрочем, происходило, кажется, лишь спорадически. По крайней мере, те случаи, когда отдельных цензоров обвиняли в недостатке бдительности, касались в первую очередь переделок в декорациях или в костюмах исполнителей. После того как в варшавском Большом театре в постановке оперы «Ванда» на сцене появились польские флаги и другие «патриотические» символы, генерал-губернатор приказал, чтобы один из членов комитета обязательно присутствовал уже на генеральной репетиции каждой пьесы³¹⁵.

Такие формы контроля требовали значительных трудозатрат, но постепенно основную нагрузку в смысле объема работы и самую серьезную проблему начала представлять периодика. В Царстве Польском, в отличие от крупных внутрироссийских городов, обязательной предварительной цензуре подлежали и газеты, и журналы. До 1890-х годов контрольное чтение периодики еще держалось в рамках легковыполнимого – это находило отражение, в частности, в том, что газетные статьи, вызывавшие сомнения цензора, часто обсуждались коллективно на заседаниях комитета. Такое положение изменилось в последнее десятилетие XIX века, когда стремительно растущая нагрузка сделала необходимой специализацию чиновников: теперь отдельные цензоры занимались исключительно предварительным чтением прессы. То были первые признаки постепенной утраты контроля, обусловленной уже одним лишь объемом материала, подлежащего просмотру. После отмены в 1909 году военного положения Комитет по делам печати прежде всего именно в области периодики утратил способность осуществлять свои контрольные функции: это стало невозможно в силу стремительного развития газетного рынка.

Хотя на заседаниях цензоры рассматривали проблематичные моменты в вышеназванных четырех областях коллективно, протоколы этих заседаний не свидетельствуют о наличии у них выраженной культуры дискуссий: наоборот, по крайней мере этот уровень внутриведомственной документации не отражает никаких разногласий между членами комитета. Как правило, цензурные меры, предложенные тем или иным чиновником, принимались без углубленного рассмотрения, и цензор, обладавший наибольшим стажем службы, скреплял их своей подписью. Во многих случаях, очевидно, даже не

требовалось более или менее подробного рассказа о том, что именно было классифицировано в обсуждаемом произведении как проблематичное. Для того чтобы добиться цензурных санкций, вполне достаточно было, если один из цензоров определял некий пассаж в тексте как «польско-патриотический». Приводить объяснения, почему именно этот пассаж показался ему подозрительным, не требовалось.

С другой стороны, цензоры лично отвечали за те рукописи и книги, которые они допустили к печати или продаже. То же самое относилось к спектаклям и прочим массовым мероприятиям. В документах Варшавского цензурного комитета проверенные произведения и постановки были записаны за конкретными чиновниками, так что впоследствии легко можно было установить, кто проявил недостаточное внимание. Вновь и вновь цензоры получали выговоры за недосмотр. Административные меры против не вполне бдительных чиновников были достаточно суровы, вплоть до ареста или отстранения от должности. Последнее имело место лишь в одном, действительно серьезном случае пренебрежения служебными обязанностями. Этот случай вместе с тем позволяет увидеть, какими возможностями для действия обладала общественность в публичной сфере в Привислинском крае. В 1908 году в Варшаве цензор разрешил показ фильма, в котором позитивно изображалась жизнь революционной боевой группы. Когда чиновника привлекли за это к ответственности, он в свое оправдание сослался на плохое освещение в кинотеатре, не позволившее ему разглядеть что-либо на экране. Такое оправдание много говорит не только о состоянии кинематографической техники, но и — как отмечалось в яростном обвинительном письме генерал-губернатора Скалона, проинформированного о происшедшем, — о поверхностном отношении ответственного лица к своим обязанностям. Скалон приказал отстранить нерадивого чиновника от должности³¹⁶.

В будничной работе цензоров господствовала привычка, установившаяся еще с 1870-х годов, и даже в критериях, на которые они опирались при принятии решений относительно цензурных мер, мало что с течением времени менялось. Конечно, с 1890-х годов они все чаще констатировали, что рассматриваемое произведение затрагивает «рабочий вопрос» или «разжигает вражду между классами», однако господства прежних образов врага это поколебать не могло. Наиболее

многочисленные и наиболее крупные цензурные купюры касались тех пассажей в текстах или постановках, где высказывалась критика в адрес правительства или, по мнению цензоров, наблюдалась польско-патриотическая тенденция. Обвинение в «польской пропаганде» было в цензурных кругах неопровержимым аргументом. Достаточно было туманного указания на «общий тенденциозный характер статьи», чтобы ей было отказано в допуске к печати³¹⁷. Особенно опасными казались цензорам исторические темы. Само собой разумеется, что это относилось ко всем польским восстаниям. Воспоминания о 1830–1831 или 1863–1864 годах легально опубликовать в условиях предварительной цензуры было невозможно. Но и другие исторические сочинения представляли собой проблематичное поле, так как цензоры тут же усматривали в них нежелательные намеки на самостоятельную государственность и величие Польши в прошлом. Так, драма «Король Ягайло» подвергалась цензуре из-за того, как в ней изображалось объединение Польши с Литвой³¹⁸. И вообще, даже упоминание об исторических польских следах в западных губерниях было прикосновением к табуированной теме и влекло строгие цензурные меры.

Еще одно часто звучавшее со стороны цензоров обвинение заключалось в том, что обсуждаемое произведение способствует «расколу между русскими и поляками». Польский автор, объявлявший в тексте связи с русскими «предосудительными», а поездки в Россию – «изменой народному долгу», не мог надеяться на то, что его труд разрешат печатать. Но и более общие критические материалы – например, об алкоголизме в России – также не дозволялось публиковать. Все, что, по мнению чиновников, пропагандировало «враждебность» к России или тем более «ненависть к русскому», было лишено шансов пройти цензуру³¹⁹.

То же касалось и критики православия. Например, если автором высказывались сомнения по поводу господствующего положения этой конфессии в Привислинском крае, цензор вычеркивал соответствующие пассажи. Антикатолические же произведения, наоборот, никаких возражений не встречали. Более амбивалентно Цензурный комитет относился к антиеврейским публикациям. Если после революции 1905 года он выказывал подчеркнутое безразличие к этой теме и только в крайних случаях конфисковал соответствующие тексты или доводил

дело до суда, то в середине 1880-х годов – еще запрещал брошюру «Как и почему бьют евреев». Впрочем, эта цензурная мера была осуществлена по прямому указанию варшавского генерал-губернатора, который в то время – спустя всего четыре года после «рождественского погрома» в Варшаве – классифицировал антисемитскую агитацию как угрозу общественному порядку³²⁰.

Наконец, в 90-е годы XIX века к списку тем, на которые нельзя было высказываться, присоединился классовый антагонизм. Тексты, в которых как-либо затрагивался «рабочий» или «социальный вопрос», допускались к печати лишь в редких случаях³²¹. Как только чиновники Цензурного комитета усматривали в произведении обращение к теме межклассовых противоречий или тем более разжигание враждебности рабочих по отношению к предпринимателям, капиталистам и вообще имущим классам, в ход тут же шли красные цензорские чернила.

Конечно, чиновники осознавали, что и другая сторона – польские и еврейские авторы – была знакома с каталогом критериев цензурного ведомства. Иногда нельзя не удивляться тому, какая откровенная критика правительства и местных представителей имперских властей содержалась в некоторых текстах, поданных на утверждение в комитет. Очевидно, дерзкие авторы надеялись на общую невнимательность цензоров, на то, что те не заметят этих открыто обличительных пассажей. Более распространенной была практика маскировки критических высказываний об условиях, царящих в Привислинском крае, – маскировки с помощью намеков, иронии и скрытых двусмысленностей. Протоколы заседаний цензурного ведомства отражают страх, но и уважение, питаемые чиновниками по отношению к эзопову языку. Особое недоверие вызывала у них любая форма иронии. Так, Цензурный комитет требовал самой строгой проверки всех юмористических изданий, поскольку в них могли иметь место двусмысленности. В то же время в протоколе отмечалось, что издатель должен подробно объяснять такие строки, прежде чем ему может быть выдано разрешение на публикацию. Эпоха предварительной цензуры была довольно безрадостным периодом³²².

С другой стороны, эта цитата свидетельствует о беспомощности цензоров перед искусством скрытого высказывания. Они, в своей социальной изоляции, были почти неизбежно обречены отставать от процесса возникновения в польской публичной сфере новых

означающих: какое слово или какая формулировка передает критическое содержание – об этом цензорам становилось известно, как правило, лишь тогда, когда использование данного выражения было уже повсеместным. А к тому моменту создатели шифров уже давно уходили вперед, вводили в оборот новые символы, метафоры или аналогии. Таким образом, Цензурному комитету оставалась незавидная роль: отсекал лишь те проявления дискурса, критичного по отношению к имперскому господству, к русской гегемонии и к дискриминации поляков, которые чиновники вообще способны были заметить.

Однако цензурному ведомству приходилось заниматься не только такими, политическими проблемами. Как и внутри России, в Привислинском крае в задачи комитета входила также моральная цензура. Руководствуясь традиционно патерналистским представлением о цензуре как о «покровительстве», варшавские цензоры огромное внимание уделяли вопросам нравственности, и прежде всего в тех социальных средах, где, как им казалось, дело с нравственностью обстояло особенно плохо³²³. С момента взрывообразного расширения книжного рынка, которое началось в 1890-е годы, значительно участились случаи, когда цензоры считали необходимым встать на защиту морали. Соответственно, все чаще их приговор гласил, что книга не годится для детей или морально вредна для школьников. Особое внимание уделялось вопросам нравственности в тех случаях, когда текст был адресован «простым людям», которые, по мнению цензоров, были не способны к самостоятельному суждению. Тут наиболее проблематичной была сфера сексуальности. Поэтому из пьес вычеркивались пассажи, содержавшие слова, истолкованные цензорами как намеки на тему сексуального насилия, а сборники рекомендаций, касавшихся половых заболеваний, были включены в список запрещенных книг³²⁴. Сохранение общественного порядка, которое чиновники считали своим главным долгом, подразумевало в числе прочего заботу о порядочности, морали и нравственности.

Примечательно, что цензоры не спешили запрещать публикацию произведения целиком. Во многих случаях вмешательства были скорее избирательными: вычеркивались лишь отдельные фрагменты текста, а иногда цензор даже лично вносил поправки. Поэтому можно считать

типичным случай, когда возражения Цензурного комитета вызвала в Варшаве балетная постановка, в которой костюмы якобы напоминали мундиры польской армии 1830-х годов, а когда костюмы были перешиты, спектакль все же состоялся³²⁵.

В целом старания цензоров влиять на публичную сферу Царства Польского были – по крайней мере, до 1906 года – вполне успешны. Применительно ко времени до этого переломного момента можно даже говорить о сильном, определяющем воздействии цензуры: она внесла существенный вклад в формирование специфического стиля и содержания публичных дебатов в Привислинском крае. Особенно при сравнении с ситуацией во внутренних губерниях России становится заметно, насколько велико было влияние цензоров в польских провинциях в XIX веке. Причин тому было несколько. Во-первых, цензура в Царстве Польском была гораздо строже, чем в остальной империи. Это было связано прежде всего с подогреваемым польскими восстаниями недоверием имперских бюрократов к польскому обществу. В частности, считалось – и не без причины, – что романтические сочинения периода восстания 1830 года способствовали эскалации событий в 1863-м. Соответственно, царские цензоры неустанно стремились «вчитывать» реверберации романтического-крамольного мышления в польские публикации и вытравлять их оттуда. Предварительная цензура в Варшаве, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, никогда в XIX веке не отменялась, и даже либеральные законы о печати 1905–1906 годов первоначально на Привислинский край не распространялись. В условиях чрезвычайного положения, объявленного во время революции, предварительная цензура сохранялась здесь до 1909 года³²⁶.

Суровость цензуры в Царстве Польском была обусловлена также и тем, что в нем параллельно существовало несколько государственных инстанций, имевших право голоса при цензурных решениях. Источники говорят о таком сосуществовании этих институтов и акторов, которое лишь условно можно назвать гармоничным. Особенно часто возникали столкновения между генерал-губернатором и петербургским министром внутренних дел, поскольку вопросы разграничения компетенций и сфер влияния приходилось решать – в том числе и применительно к цензуре – путем переговоров, споров и торга. Например, варшавский генерал-губернатор Чертков в 1902 году

потребовал для себя права самому, не дожидаясь решения министра внутренних дел, просматривать и при необходимости подвергать цензуре уставы общественных организаций, создаваемых в Варшаве³²⁷.

Позиции генерал-губернатора и попечителя Варшавского учебного округа по цензурным вопросам тоже далеко не всегда совпадали. Так, в 1869 году попечителю были переданы цензурные полномочия в области образования, а в 1890-е годы генерал-губернаторы, стремившиеся к проведению реформ, пытались их ограничить. Например, Имеретинский противодействовал намерению попечителя Лигина увеличить долю русской литературы в фондах народных библиотек, планируемых властями к открытию в Привислинском крае, и одновременно подвергнуть более жесткой цензуре список польских книг. Имеретинский указывал на негативную реакцию, которую вызовет такая «русифицирующая» мера у польской общественности, и старался сохранить преобладание польских публикаций в библиотечном каталоге. В конце концов, получив поддержку со стороны императора, генерал-губернатор сумел одержать верх в споре³²⁸.

Все эти межведомственные конфликты делали цензуру в Царстве Польском не только строгой, но и непредсказуемой. Поскольку не было однозначного центра, определявшего границы того, что разрешалось говорить, правила цензуры были неоднозначными и трудными для понимания посторонних. Поэтому цензурные ограничения могли – причем почти независимо от общего политического климата – коснуться и таких изданий, которые, казалось бы, обладали устойчивым положением и благоприятной репутацией. Так, в 1897 году по представлению генерал-губернатора министром внутренних дел на полгода было приостановлено распространение «Польской газеты» (Gazeta Polska) – после того, как в ней появилась статья о проблемах общественной нравственности. Этот факт примечателен тем, что в 1897 году еще царила атмосфера общей разрядки, характерная для начала правления Николая II. Поэтому происшествие с «Польской газетой» стало примером того, что и в провозглашенную «эпоху доверия и примирения» нельзя было полагаться на незыблемость пределов допустимого³²⁹.

Вместе с тем данная цензурная мера продемонстрировала, какое внутреннее давление оказывалось на цензоров. Генерал-губернатор

в своем обосновании просьбы о приостановке выпуска газеты указывал, что в условиях предварительной цензуры любая статья, не подвергнутая цензуре, будет рассматриваться общественностью как скрытая декларация намерений правительства. Неосторожно допущенная к публикации заметка будет сочтена сигналом к общей смене курса царских властей. Таким образом, каждое не подвергнутое цензуре письменное выступление было равнозначно официально одобренному заявлению и потому получало программный характер. Неудивительно, что генерал-губернатор распорядился сурово наказать того цензора, который пропустил критическую статью в «Польской газете»: чиновник был посажен под арест на пять суток на Варшавской гауптвахте³³⁰.

Как показывает этот пример, царские управленцы и цензоры постоянно ощущали себя под наблюдением польской общественности. Они прекрасно понимали, что даже, казалось бы, второстепенные детали могут быть поставлены в связь с дебатами вокруг «польского вопроса», а небольшие уступки будут трактоваться как сигналы о кардинальном изменении государственной политики в Царстве Польском. С точки зрения царских чиновников, авторитет государственной власти постоянно был под угрозой и потому требовал постоянной и наглядной демонстрации силы и непреклонности.

Такая забота чиновников о том, как их действия воспринимаются наблюдающей общественностью, оказывала непосредственное влияние на их готовность к реформам: они воспринимали реформы в первую очередь не как мероприятия, чья обоснованность определяется их содержанием, а как акты, отсылающие к основам имперского господства. То есть важнее всего казалось им то, что мероприятия в принципе суть сигналы и что сигналы эти будут прочитаны и так или иначе восприняты предполагаемым польским «общественным мнением». В административном аппарате самодержавной власти степень рефлексии по поводу символического содержания политики была очень высока. Важность цензуры определялась тем, какое место она занимала в отношениях между администрацией и польской общественностью: отношения эти воспринимались как линия фронта, и потому царские чиновники считали необходимым двигаться по труднообозримому варшавскому полю боя лишь с величайшей

осторожностью. В случае сомнений они предпочитали использовать скорее слишком много красных чернил цензуры, чем слишком мало.

Польская альтернативная публичная сфера? Подпольная деятельность и трансграничная коммуникация

Но как выглядела эта польская альтернативная публичная сфера, ориентированная против российской? Как царская цензура создавала и видоизменяла ее форумы и формы? Суровая цензура, воспринимаемая современниками как произвол, оказывала долговременный эффект на акторов польского общественного мнения. Многие из них пытались находить способы обойти ее. Сделать это можно было многими путями. Одним из вариантов, которому отдавали предпочтение прежде всего национальные и социалистические движения, был переход на нелегальное положение. Создавались плотные сети тайных учебных заведений, кружков чтения, типографий и передачи текстов. Так, Национальная лига, ее Общество национального образования (Towarzystwo Oświaty Narodowej, TON), а также Союз польской молодежи (Związek Młodzieży Polskiej, ZET), находившийся под все более сильным влиянием Лиги, сумели создать широкую систему образовательных и партийных кружков по всему Царству Польскому. Не менее активны были Польская социалистическая партия Юзефа Пилсудского, Еврейский социалистический союз (Бунд) и отделение Социал-демократической партии в Царстве Польском³³¹. Кроме того, в северо-восточной Сувалкской губернии активисты литовского национального движения наладили работу литовских учебных кружков. Летучий университет (Uniwersytet Latający) или подпольные школы и общества Польской школьной матицы (Polska Macierz Szkolna) и Варшавского научного общества (Towarzystwo Naukowe Warszawskie) заполняли лакуны, которые оставила русифицированная система образования в Царстве Польском³³².

Все эти учреждения и действия свидетельствуют о том, что стратегии нелегальной работы пользовались широкой популярностью. Несмотря на то что царской полиции удалось на рубеже веков раскрыть и уничтожить некоторые из подпольных организаций, она так никогда и не смогла пресечь функционирование той публичной сферы, которая

сформировалась за границами, очерченными цензурой. Революция 1905 года окончательно продемонстрировала, в какой малой степени царские власти могли контролировать местное население и препятствовать формированию и действию альтернативной публичной сферы. Помимо прочего, это было связано с тем, что от царской цензуры можно было уклониться и в чисто пространственном смысле: инфраструктура книжной контрабанды была столь хорошо налажена, что существовала возможность с помощью публикаций, выпускаемых в Пруссии и Галиции, участвовать в дебатах, идущих в Царстве Польском³³³.

В особенности Галиция, пользуясь культурной автономией в рамках Габсбургской монархии, предоставляла защищенное от преследований пространство для польской трансграничной публичной сферы и давала приют многочисленным эмигрантам с российских территорий. Хотя Вена постоянно напоминала местным властям, что публичную критику в адрес России следует пресекать, галицкие цензоры, которые, как правило, сами были польской национальности, мало делали для того, чтобы ограничить деятельность эмигрантов из российской части Польши. Наряду с другими учреждениями важнейшую роль для ученых-эмигрантов играли университеты во Львове и Кракове, а также краковская Польская академия. Краков же был и основным местом издания публикаций, предназначенных для Царства Польского³³⁴.

Таким образом, почти без помех осуществлялась трансграничная коммуникация, поэтому в конце XIX – начале XX века польская публичная сфера существовала как единое дискурсивное пространство от Львова и Кракова до Варшавы и территорий, находившихся под властью Пруссии. В частности, этот трансграничный обмен текстами и идеями помогал сохранять представление о единой, неразделенной Польше: она существовала в опыте тех, кто читал тексты, напечатанные за рубежом. Царской цензуре в Царстве Польском удалось вытеснить часть польской литературной и идейной жизни за границу, но этим она сама способствовала тому, что бывшая Речь Посполитая продолжала существовать в качестве коммуникационного пространства³³⁵.

Свою роль здесь сыграла, впрочем, и российская пресса в Царстве Польском. В условиях конфликтной коммуникации русские авторы, постоянно стремясь отделить себя от своих польских оппонентов

и добиться интерпретативной гегемонии для собственного истолкования происходящего, часто оперировали ссылками на зарубежную польскую прессу. Но, цитируя эти издания, они тем самым информировали о них и противоположную сторону. Современники шутили, что большое количество подписчиков у полуофициозной газеты «Варшавский дневник» объясняется прежде всего тем, что нигде больше не найдешь таких хороших пересказов публикаций иностранной польской прессы³³⁶. Так польско-русская конфронтация способствовала транснациональной циркуляции идей и мнений.

Другая стратегия обхода цензуры, тоже опиравшаяся на трансграничную коммуникацию, заключалась в том, чтобы публиковать тексты в российских столичных городах. Ее использовали прежде всего сторонники программы, направленной на «примирение» и лояльность по отношению к русскому царю, избравшие Санкт-Петербург местом издания своего главного печатного органа – «Край» (основан в 1882 году) и других своих многочисленных публикаций. Представители крупной польской общины в столице – самыми известными среди них были Эразм Пильц, Александр Ледницкий и Влодзимеж (в русском обиходе – Владимир Данилович) Спасович – своими публикациями пытались участвовать в дебатах по «польскому вопросу», шедших как в Царстве Польском, так и в остальной империи. Пожалуй, нет более наглядного доказательства разницы между цензурными режимами, чем то, что польские публикации легче было печатать в столице империи, нежели на берегах Вислы³³⁷.

Трансграничными были и эти публикации – так как их нужно было перевозить через административную границу на востоке Царства Польского. На тот факт, что эта граница не просто линия, разделяющая административные единицы, современникам постоянно указывали в различных социальных и политических областях: едва ли можно было найти такую сферу жизни, для которой в Царстве Польском не действовали бы иные законы, нежели в остальной империи. Варшавская цензура тоже проводила границу между Привислинским краем и остальной империей. Поэтому часто бывало так, что произведения, которые во внутрироссийских губерниях были разрешены, варшавские цензоры тем не менее отказывали в праве публикации и распространения в Царстве Польском³³⁸. Даже императорские указы иногда запрещалось публиковать в местной

польской прессе, хотя столичные средства массовой информации уже давно их обсуждали. Тот факт, что эта форма повторной цензуры действовала не только для польских, но и для русских текстов, Влодзимеж Спасович резко осудил в одной из своих статей: «Духовные шлагбаумы», писал он, отсекали поляков от развития идей даже в пределах империи. Царство Польское из-за цензурной деятельности варшавских властей оказалось изолировано внутри самой России³³⁹.

Таким образом, цензура оказывала формирующее действие на публичную сферу в Царстве Польском за счет того, что ее строгость привела прежде всего к перемещению общественных форумов. Не пресса или книга были инструментами коммуникации, обеспечивающими формирование политических мнений, а такие места встреч, как знаменитые варшавские кофейни, опера и театр, но главное — суды, служившие в качестве пространства действия и зрительных залов замещающей публичной сферы³⁴⁰. Осваивались также другие тематические поля, в которых можно было более открыто обсуждать программные проекты, касающиеся положения Польши в империи. Например, проект третьего моста через Вислу, жилищное строительство в Варшаве или установка газовых фонарей в Плоцке были предметами публичных споров, в которых политические мнения формировались и выражались в связи с техническими проблемами и инфраструктурными вопросами. Точно так же и дебаты по религиозным вопросам в Царстве Польском образовали форум, на котором обсуждались принципиальные правила человеческого общежития.

Когда после отмены чрезвычайного положения в 1909 году во многих районах Царства Польского стали открываться неведомые прежде свободные пространства для формирования и функционирования политической публичной сферы, это не означало, что формирующее влияние царской цензуры прекратилось: она позволила некоторым дискуссиям, существование которых теперь терпела, процветать, в то время как другие тематические поля по-прежнему оставались запретными. Например, польско-еврейский конфликт, который разгорелся прежде всего в связи с выборами в IV Думу в 1912 году и привел к бойкоту еврейских магазинов и предприятий, смог набрать такую силу, помимо прочего, потому, что цензурное ведомство поначалу практически не ограничивало

антиеврейские выступления³⁴¹. В данном случае цензурный аппарат способствовал тому, что в польской политической культуре стала доминировать специфическая форма действия, в отношении к которой должны были как-то определиться гораздо более широкие политические круги, нежели одни только активисты Национально-демократической партии Романа Дмовского. Таким образом, цензурные органы, обремененные предрассудками, внесли свой вклад в превращение антисемитизма в один из центральных элементов политической культуры Варшавы накануне Первой мировой войны³⁴².

Одновременно царская цензура непреднамеренно добилась и того эффекта, что любые символические действия начали получать политическую коннотацию. Символические диверсии стали оружием слабых – людей, лишенных политической публичной сферы. И вот бурные аплодисменты на постановке гоголевского «Ревизора» оказывались способом выразить критическое отношение к «русским порядкам» в Царстве Польском. Или, нося публично траурную одежду, человек мог выражать свое недовольство политической ситуацией, а не посещая богослужения и молебны по случаю официальных праздников – заявлять о своем отказе подчиняться требованиям, навязанным чужой властью. Важными точками и моментами кристаллизации символического сопротивления были места и даты, связанные с польскими восстаниями против России, Пруссии и Австрии. Часто дань уважения «мученикам» эпохи восстаний могла получать свое выражение в прогулке на местное кладбище и посещении могил повстанцев³⁴³.

Особое значение имели памятные дни, когда патриоты напоминали согражданам о государственном суверенитете Польши до ее разделов. Важнейшим праздником было, несомненно, 3 мая – день памяти Конституции 1791 года. В конце XIX века участники польского национального движения все активнее пытались отмечать юбилеи Конституции публично. Неоднократно происходили столкновения между этими активистами и жандармами. Церемониальный центр этой культуры памяти польского национального движения располагался, впрочем, за пределами Российской империи – в Кракове. Здесь, в либеральном климате Галиции, пользующейся культурной автономией, состоялись такие крупные общественные мероприятия, как перезахоронение останков Адама Мицкевича (1890), а также

юбилейные торжества по случаю столетия Майской конституции (1891), пятисотлетия повторного открытия Ягеллонского университета (1900) и даже столетия восстания под руководством Тадеуша Костюшко (1894). Это пространство общепольской праздничной и ритуальной культуры было таким же трансграничным, как и пространство циркуляции польских печатных изданий. По случаю празднеств огромное количество путешественников пересекало российско-австрийскую границу.

Российская сторона прекрасно видела и знала подобные стратегии символического выражения критики в свой адрес. Царские чиновники в своем перманентном поиске польской подрывной деятельности зачастую вводили строжайшие ограничения даже в мелочах³⁴⁴. Так, в преддверии визита Николая II в Царство Польское в 1897 году цензоры даже в предложении одной варшавской делегации преподнести царю хлеб и соль не на подносе, а в чаше усмотрели символический акт отграничения поляками себя от России. Ибо какое другое намерение могло стоять за этим предложением, если на остальной части Российской империи символические дары гостеприимства подавались гостю всегда на подносе? Цензоры настояли на соблюдении этого общеимперского стандарта и категорически запретили полякам пойти символическим особым путем. Кроме того, намерение членов польской делегации преподнести царю дар от города Варшавы с надписью на польском языке было истолковано как хитроумный жест, с помощью которого поляки хотят указать на самостоятельность своей территории. Поэтому данное предложение было резко отклонено, а тому, кто должен был выступать от имени польской депутации, дали четкое указание произносить речь только на русском языке³⁴⁵.

Таким образом, царские цензоры постоянно связывали любые символические действия и формулировки с фундаментальной дискуссией по «польскому вопросу». В таком климате недоверия пространство для публичного высказывания мнений было весьма ограничено. Поэтому для политических и критических рассуждений приходилось искать иные средства коммуникации, помимо печати: ни варшавская пресса, ни местная литература не могли в условиях предварительной цензуры стать точками аккумуляции польских мнений. Это проявилось и в том, что Варшава не превратилась в крупный центр литературно-публицистического производства.

Несмотря на то что столица Царства Польского была третьим по величине городом Российской империи, до 1900 года она не входила и в десятку важнейших центров издательско-полиграфической отрасли. Большинство польскоязычных периодических изданий, выходивших в стране, печаталось не в Варшаве. Даже выбор книжных магазинов в городе был весьма невелик: до 1875 года их общее количество не превышало и тридцати пяти. Еще хуже обстояло дело в провинции: здесь из-за суровой цензуры польская пресса влачила самое жалкое существование³⁴⁶.

В 1890-е годы ситуация в польских городах изменилась, поскольку и там появились техника и логистика для современной массовой печати. Благодаря этим нововведениям увеличивались как тиражи, так и ассортимент периодики, прежде всего в Варшаве³⁴⁷. Но материалы Цензурного комитета свидетельствуют о том, что он по-прежнему контролировал быстро растущий рынок газет и мнений. Хотя цензорам в 1897 году и приходилось читать очень много, они по традиции тщательно обрабатывали и документировали все подвергаемые цензуре издания – это указывает на то, как невелико еще было количество проблемных случаев на рубеже веков. Роскошь быть педантичным орган, имевший от восьми до десяти штатных сотрудников, мог себе позволить только в условиях довольно нединамичного и, во всяком случае, небогатого конфликтами рынка книг и периодики. Очевидно, акторы с польской стороны осознавали, как мало раздвинулись границы того, что разрешалось говорить и писать, даже в наиболее либеральные времена – при генерал-губернаторе Имеретинском. Документы цензурного ведомства показывают, что фронтального опробования новых пространств высказывания не происходило и конфликтов между цензорами и выразителями общественного мнения в 1890-е годы не было.

И только когда авторитет государственной власти пошатнулся во время революции 1905 года, в «дни свободы» после провозглашения Манифеста 17 октября, а также после выхода в 1906 году новых законодательных положений о печати ситуация стала заметно меняться. Окончательно традиционный порядок в Привислинском крае смешался, когда в 1909 году было отменено военное положение. Теперь и в Варшаве газетный рынок стал стремительно расширяться. Протоколы Цензурного комитета после 1909 года свидетельствуют

о том, что этот орган, штат которого почти не увеличился, потерял контроль над ситуацией, столкнувшись с валом газет, журналов и других публикаций, а также со значительным увеличением количества публичных мероприятий и собраний: уже в 1908 году Комитет по делам печати зарегистрировал в общей сложности около ста периодических изданий, выходивших в Варшаве. А за один лишь 1912 год сотрудникам цензурного ведомства, числом десять—двенадцать человек, пришлось просмотреть более 3,4 тыс. публикаций только в газетах и журналах. При таком потоке материала даже особый уполномоченный по надзору за прессой, которого в эти годы назначал варшавский генерал-губернатор, не мог оказать комитету серьезную помощь³⁴⁸.

Работа царской цензуры была затруднена не только из-за возросшего количества публикаций: новая правовая ситуация тоже значительно затрудняла цензурную деятельность. После отмены тех дополнительных административных полномочий, которыми в условиях военного положения обладал генерал-губернатор, конфискацию печатных материалов, вызвавших возражения цензуры, приходилось обосновывать в суде, а для этого нарушение общеимперских уголовных законов должно было быть зафиксировано документально. Здесь не только судьи оказывались ненадежными исполнителями административных распоряжений, но и сам прокурор иногда вынужден был напоминать Комитету по делам печати об «отсутствии незаконных пассажей» в конфискованных произведениях и давать распоряжение о том, чтобы печатные издания, выведенные из оборота согласно судебному предписанию, были выпущены в продажу³⁴⁹.

Авторитет цензурных инстанций был сильно поколеблен, однако разница в свободе развития публичной сферы, существовавшая между Варшавой и крупными русскими городами, не исчезла, поскольку напряженная политическая ситуация в Привислинском крае заставляла царских чиновников и в последние предвоенные годы следить за местным рынком мнений гораздо внимательнее, чем это делалось в Петербурге или Москве. Поэтому и после 1909 года в Царстве Польском не получали цензурного разрешения издания, которые во внутренних областях России свободно продавались в книжных магазинах. Так, в апреле 1911 года Варшавский комитет по делам печати конфисковал книгу польского депутата Думы, Любомира

Дымши, в которой автор критически отозвался о создании отдельной Холмской губернии. Тот, кто хотел легально приобрести работу Дымши о «холмском вопросе», должен был бы отправиться за ней на берега Невы: здесь эта книга уже год как свободно продавалась³⁵⁰.

И в 1911 году Комитет по делам печати способствовал тому, что Привислинский край представлял собой отдельное цензурное пространство, в котором действовали собственные правила и которое было отгорожено от внешнего мира цензурными рогатками. Эта особая ситуация, таким образом, непреднамеренно подчеркивала своеобразие польских земель. Царская цензура входила здесь в набор техник имперского правления, наглядно демонстрировавших в повседневной жизни разницу между Царством Польским и империей и постоянно подкреплявших контраст между ними. Так границы, охраняемые цензорами, на долгие пять десятилетий закрепили отдельность польской окраины от остальной части Российской империи.

Цензура и русская публичная сфера в Варшаве

Царская цензура не только оказывала формирующее воздействие на развитие польской публичной сферы, но также – и даже в первую очередь – определяла облик русского рынка мнений, развивавшегося в Царстве Польском. Ведь не только во внутренних районах империи «польский вопрос» вызвал появление русской национальной и отчасти националистической публичной сферы. Молодая русская политическая пресса крепила свои позиции с помощью антипольских топов. Особое значение для истории цензуры имеет, несомненно, Михаил Катков, который своими тирадами против «польского мятежа» составил себе такую репутацию, что в 1880-е годы сделался самой могущественной фигурой российской прессы и начал определять направленность цензуры в России³⁵¹.

Но та значимость, которой обладал «польский вопрос», открывала русским акторам и в самом Царстве Польском невиданные просторы для деятельности. В частности, это проявлялось в институционально привилегированном положении и в постоянном щедром финансировании уже упомянутого «Варшавского дневника». Газета представляла собой полуофициозный печатный орган имперской администрации в Привислинском крае, однако старалась не только

публиковать правительственные постановления, но и позиционировать себя как полноценную местную газету³⁵². Царские власти гарантировали «Варшавскому дневнику» исключительный статус сразу в нескольких отношениях. Во-первых, Цензурный комитет обеспечил ему монополию на публикацию правительственных постановлений. В 1885 году председатель комитета поручил сотрудникам пресекать в конкурирующей польской прессе любые, даже косвенные сообщения о решениях или действиях генерал-губернатора. Кто хотел узнать что-либо о решениях имперских властей в Варшаве, мог прочесть о них только в «Варшавском дневнике». Кроме того, его издателям и журналистам была обеспечена финансовая поддержка со стороны государства – как в виде прямых дотаций, так и в виде многочисленных льгот, например бесплатной доставки газеты абонентам по почте. «Варшавский дневник» получал дотацию 5 тыс. рублей в год, вторую по величине среди ежедневных газет Российской империи: только полуофициозный «Виленский вестник» – аналог «Варшавского дневника», выходивший в Вильне, – получал больше: 6 тыс. рублей в год³⁵³.

Журналистика и цензура в Привислинском крае были тесно переплетены: ответственный редактор «Варшавского дневника» в первые годы после Январского восстания был одновременно главой Отдела периодической печати и, соответственно, выступал в качестве цензора местной и зарубежной прессы, а также драм и опер. В принципе, тесная связь между редактором и цензором, по возможности опиравшаяся на личное знакомство, была одной из важнейших предпосылок успешной работы печатного органа в условиях цензуры, которая часто зависела от личных решений должностного лица, принимаемых *ad hoc* [лат. «к этому», т. е. для конкретного случая. – *Примеч. ред.*]. Редакторы и журналисты «Варшавского дневника», несомненно, имели самый лучший доступ к имперской администрации в Варшаве³⁵⁴.

Но эти тесные связи русских авторов с властями выходили далеко за пределы деятельности данного полуофициозного печатного органа. Ощущение жизни в противостоянии между русской общиной и польским населением Варшавы создало здесь благоприятные условия для национальной и националистической русской публицистики. Варшава была одним из главных мест издания текстов такого рода,

посвященных вопросам о том, что значит быть русским, какое место должен занимать русский в структуре империи в целом и в западной ее провинции в частности. Эти публикации были частью дискуссий, которые велись в Москве и Санкт-Петербурге. Ссылаясь на варшавский «фронтальный опыт», авторы могли продемонстрировать особое экспертное знание вопроса и, соответственно, претендовать на более высокий авторитет³⁵⁵.

На фоне конфликтной обстановки неудивительно, что эти публикации были сконцентрированы на польских темах: в них постоянно шла речь об альтернативной и враждебной польской публичной сфере – та служила важнейшей точкой отсчета как для имперских бюрократов, так и для не состоявших на государственной службе публицистов, писавших от имени русской общины. В специфической ситуации, царившей в Варшаве, интересы местных деятелей государственной власти и представителей имущих слоев общества, обозначавшихся понятием «русский элемент», в большой мере совпадали³⁵⁶. Столь типичная для Российской империи дихотомия государства и общества, с их противостоянием, имевшим важнейшие исторические последствия, на периферии была ослаблена. Из-за конфронтации с окружающим – чужим и враждебным – миром поляков представители администрации и активисты русской общины в гораздо большей степени, чем это было бы возможно во внутренних районах империи, воспринимали себя как членов одного сообщества с общей судьбой. Ксенофобия, характерная для большинства русских в Варшаве, спаивала их воедино. Чувство сопринадлежности к маленькой, изолированной русской общине в городе на Висле явно помогало преодолевать антагонизм интересов.

Такая близость между государственными органами и общественными институтами оказывала влияние и на деятельность местных цензоров, снижая их недоверие к русскоязычным публикациям и высказываниям. Поэтому представители верхнего слоя русского общества в столице Царства Польского – например, члены Русского собрания в Варшаве, Русского общества в городе Варшаве, Русского благотворительного общества – получали от цензурного ведомства привилегированный доступ к форумам публичной сферы. Именно это локальное совпадение интересов правительственных чиновников и общественных активистов открывало дискурсивные пространства,

в которых возможны были размышления о превращении империи в национальное государство. Многочисленные варшавские авторы открыто рассуждали о примате русских, русского языка и русской культуры в Российской империи и о том, как подобное доминирование может быть достигнуто и закреплено. Наиболее активными и воинственными участниками таких дебатов показали себя ученые из Императорского Варшавского университета, которые, будучи националистическими активистами, представляли радикальные взгляды, способные подорвать процесс интеграции многонациональной империи. Эти голоса, высказывавшиеся с максимальной решительностью за усиление национального элемента в империи, в конечном счете ставили под вопрос самые основы имперской структуры, поскольку требовали неизменно привилегированного статуса для русской национальности во всех политических и культурных вопросах и отвергали наднациональную имперскую лояльность. Подобные позиции, несмотря на их подрывной характер, можно было заявлять в Варшаве открыто: чиновники цензурного ведомства почти не реагировали на них. У них не вызвала подозрений риторика, которая якобы формулировала интересы «государственного народа». К тому же в небольшом мирке русскоязычных жителей Варшавы эти мысли нередко высказывали и публиковали хорошие знакомые цензоров – члены местного Русского клуба и редакции «Окраин России»³⁵⁷.

Специфическая конфликтная ситуация в Царстве Польском, постоянный имперско-польский антагонизм и соответствующая направленность внимания царских цензоров способствовали процветанию русской националистической среды в Варшаве. И поскольку в этом отношении никакие цензурные рогатки и барьеры не отделяли окраину от внутрироссийской публичной сферы, варшавские авторы почти беспрепятственно могли выносить свои мнения на российский рынок идей и, несомненно, обеспечили значительный вклад в прогрессирующую радикализацию дебатов о будущем Российской империи. С этой точки зрения цензура предстает не только репрессивным органом царской бюрократии, но еще и механизмом, который предоставлял носителям определенных мнений возможность публиковать их и тем самым определял специфический характер публичной сферы. В своей постоянной борьбе против

воображаемой альтернативной польской публичной сферы царская цензура поддерживала такую структуру форумов и тем для общественного мнения, которая обеспечивала комфортную нишу для радикальных национальных и националистических концепций русской общины в Варшаве.

Сопоставимая динамика прослеживается и в области имперской религиозной политики с ее иерархизацией вероисповеданий и конфессиональных сообществ.

«В БОРЬБЕ С ЛАТИНСТВОМ»: ПОЛИТИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ И КОНФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ

Политика и религия, церковь и правители в Российской империи традиционно были особенно тесно связаны друг с другом. XIX век ознаменовался почти полным отождествлением самодержавия и православия. Отраженный в уваровской триаде симбиоз церкви и императора закреплял представление, что царь является подлинным хранителем православия, а монархия есть православная власть. Религия была центральной предметной областью политики, а политические действия часто имели религиозные коннотации. Эта фундаментальная модель задавала формы и форумы для политической репрезентации и практики в позднеимперский период³⁵⁸.

Взаимопроникновение политической и религиозной сфер было особенно ярко выражено в Царстве Польском, потому что политические конфликты, связанные с публичным пространством и занятием его различными конфессиями, здесь отличались повышенной интенсивностью. Политизация религии зашла так же далеко, как конфессионализация политики. Поскольку имперские, национальные и религиозные идентичности (приписываемые себе или другим) в Царстве Польском накладывались друг на друга, дебаты по религиозным вопросам почти неизбежно обретали политический характер. В огромном и хаотичном пространстве контактов и конфликтов, каким был мультиконфессиональный Привислинский край, между вероисповеданиями, между их политическими покровителями и между церковными протеже этих последних была постоянная конфронтация.

Эта непрерывная конкуренция конфессий определяла особенности восприятия у акторов в спорном пограничном пространстве. В ходе ожесточенных дебатов между ними всегда становились предметом переговоров, спора и торга даже основные правила человеческого общежития в Царстве Польском и Российской империи, конструировались иерархии и, таким образом, стабилизировались или ставились под сомнение соотношения сил. Прежде всего

конфессиональные споры касались сосуществования народов, поскольку конструкции национальных и религиозных общностей во многом совпадали. Соответственно, положения, затрагивавшие религиозные дискурсы и практики различных конгрегаций, имели непосредственные последствия и для сосуществования этнических групп в Царстве Польском. Не в последнюю очередь именно религия была важнейшим предметом политики центральной власти в многонациональных пограничных регионах империи. В Привислинском крае многие православные русские чиновники считали, что находятся на переднем крае «борьбы с латинством»³⁵⁹.

Нация и религия в эпоху конфессиональной парадигмы

Религиозные вопросы стали одним из главных предметов политических споров прежде всего потому, что конфессиональная парадигма при классификации общества в России имела давнюю традицию и оставалась в силе до конца существования империи. Помимо стратификации подданных сословного государства по социальным группам и профессиональным корпорациям, их в конце XIX века делили еще и по конфессиональным общностям. Таким образом, вероисповедание стало одним из ключевых критериев для многочисленных статистических сводок, составлявшихся имперскими чиновниками. Даже при Всероссийской переписи населения 1897 года религиозная принадлежность еще определяла в значительной степени деление подданных на категории, хотя на рубеже веков в опросные листы статистиков уже начали проникать такие этнокультурные критерии, как родной язык. Открытое обсуждение с опрашиваемыми их национальной самоидентификации большинство демографов, участвовавших в переписи, наоборот, решительно отвергало, считая, что подданные в массе своей не способны четко обозначить собственную национальную принадлежность. «Истинную» национальность опрашиваемых эксперты, как они полагали, могли определить сами, сопоставляя данные о родном языке и вероисповедании. Здесь проявилось базовое предположение, что конфессия является однозначной определяющей характеристикой подданных, в то время как их национальность – сущность расплывчатая³⁶⁰.

Таким образом, до конца имперского периода религиозная и национальная принадлежность в значительной мере совпадали в статистической категориальной сетке, равно как и в мировоззрении имперских чиновников и опрашиваемых подданных. В Царстве Польском и западных губерниях неразличение этих двух признаков было особенно заметно. Местные статистические документы показывают это весьма недвусмысленно: в сводках губернаторов и обер-полицмейстеров категория «национальность» не использовалась. Статистический комитет в Царстве Польском и статистический отдел городской администрации Варшавы определяли группы населения, а также их динамику до 1905 года исключительно по конфессиональному признаку. То же самое относится и к учету студентов Императорского Варшавского университета³⁶¹. Даже когда после 1905 года появились первые признаки эрозии этого порядка, некоторые статистические сводки по-прежнему не указывали национальной принадлежности. В отчете государственного статистического ведомства за 1906 год литовцы уже были выделены в национальную группу, поляки же и русские – объединены в категорию «славяне»³⁶². В следующем году, когда один из ведущих статистиков Привислинского края, профессор Владимир Есипов, решил в своей публикации ввести в таблицах графу «национальность», он, как и пояснял затем во введении, создал ее, просто взяв данные по конфессиям: даже профессиональный статистик еще в начале XX века не видел никакой проблемы в том, чтобы напрямую перевести религиозную принадлежность в национальную³⁶³.

Но не только в мире статистиков царила конфессиональная классификация – другие области следовали этому же принципу. Так, единственным надежным критерием, по которому власти в 1907 году определили, кто имеет право голоса в только что образованной «русской» избирательной курии, служило вероисповедание. При выборах в III Думу «русским» был тот, кто был православным. Те раздражающие пограничные случаи, когда люди, обладавшие избирательным правом, регистрировались как русские, а при этом не принадлежали к православию, разбирались генерал-губернатором в индивидуальном порядке, и большинство таких избирателей было отнесено ко второй, «общей» избирательной курии, в составе которой должны были идти на выборы католики, протестанты и иудеи³⁶⁴.

На этом же примере становится ясно видно, насколько однозначны были коннотации, которые бюрократия связывала с религиозной принадлежностью. В рамках конфессионально окрашенной классификации реальности царские чиновники распределяли подданных по категориям и ступеням иерархии, приписывали им нравственные или политические качества и делили их на «лояльные» и «нелояльные» группы. Последние были представлены главным образом «поляками-католиками»³⁶⁵. Среди петербургских эмиссаров царило представление, что польское национальное движение и римско-католическое духовенство в своей борьбе против российского владычества действовали заодно и были, как писал генерал-губернатор Имеретинский в отчете за 1898 год, тесно связаны друг с другом в своих антипатиях к русскому правительству, русскому народу и русской культуре³⁶⁶. Годом позже, т. е. спустя почти сорок лет после Январского восстания, обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев отметил, что католицизм представляет собой главную угрозу самодержавию. Когда впоследствии предпринимались попытки сократить долю «поляков-католиков» среди служащих железнодорожного, а также почтово-телеграфного ведомства в Привислинском крае, власти обосновывали необходимость этого трехступенчатым аргументом: «католик = поляк = неблагонадежен». Заслуживающими доверия, как сообщило Министерство внутренних дел, власти могли считать только «русских/православных», но не «чины католиков»³⁶⁷.

Есть множество доказательств того, что практиковалось и обратное: должностные лица царской администрации интерпретировали принадлежность к православию как неопровержимое доказательство надежности человека. Когда, например, петроковский губернатор Константин Миллер пытался добиться назначения своего знакомого, П. Хржановского, на важный пост обер-полицмейстера Лодзи, необходимо было затушевать его важный недостаток: польскую фамилию. Миллер сделал упор на вероисповедание Хржановского как на доказательство его надежности. Поскольку мать Хржановского, писал губернатор, была русской и православной, то и сам он был крещен в православие. Поэтому в его лояльности нет никаких сомнений³⁶⁸. А когда в Келецкой губернии против пограничника Мельникова было заведено уголовное дело,

губернатор вскоре его прекратил, сославшись на то, что, как показало расследование, пограничник добросовестно выполнял свою службу и никоим образом к контрабанде причастен не был. К тому же, не преминул добавить губернатор, Мельников православный. Более убедительного аргумента в пользу того, что чиновнику можно верить, было не найти. Понятия «православный» и «праведный» использовались здесь как синонимы³⁶⁹.

Не менее полно отождествлялись в глазах администрации Конгрессовой Польши евреи и иудеи: одно и то же слово было одновременно указанием на принадлежность к религии Моисея и на принадлежность к отдельной национальности. При такой классификации этнический и конфессиональный признаки все больше закреплялись как врожденные и неизменные. Особенно после волны погромов 1881 года власти полагали, что ассимиляция евреев уже вряд ли возможна, да и всё меньше считали ее желательной. Вместо нее государство перешло к систематическому наступлению на права этой религиозно-этнически дефинированной группы населения и к ее социальной эксклюзии³⁷⁰.

Интерпретация царскими чиновниками растущей внутрикатолической напряженности между поляками и литовцами также показывает, насколько устойчиво конфессиональная категориальная сетка задавала их восприятие мира. Прошло много времени, прежде чем царские чиновники хотя бы заметили конфликт между поляками и литовцами, обострявшийся в северо-западных районах страны. Сначала у них просто не было понятийного и концептуального инструментария, чтобы этот внутриконфессиональный конфликт как-то обозначить и зафиксировать. Как католики, литовцы считались частью польско-католического мира. Если какая-то дифференциация и осуществлялась в годы после Январского восстания, то в основном по сословным критериям: крестьянству в целом отдавалось предпочтение перед дворянством и духовенством, считавшимися нелояльными, а также перед мятежными мещанами. После восстания было создано Западно-русское общество – для целенаправленной поддержки литовского населения в качестве противовеса польскому. Но в первое время идеи такой поддержки не смогли завоевать признания – именно в силу господства конфессионально-сословной модели. Поэтому, например,

предложение перевести католическую литургию на литовский язык — и тем самым расколоть религиозную общность по линии этнических границ — осталось нереализованным³⁷¹. А когда после Январского восстания в западных губерниях была введена квота на прием в высшие учебные заведения, призванная преградить польской молодежи путь к высшему образованию, то она распространялась на поляков и литовцев в равной мере — как на католиков, поскольку абитуриенты тоже классифицировались по вероисповеданию³⁷².

Только к концу XIX века восприятие литовских католиков как самостоятельной «народности» и отдельной национальности стало завоевывать себе место и в мышлении царских чиновников, которые все больше и больше осознавали, какие возможности административной и политической деятельности открываются перед ними благодаря внутрикатолическому конфликту. Хотя концепция «разделяй и властвуй» так никогда и не стала последовательно проводимой частью программы имперских властей в Привислинском крае, все же конфессиональная парадигма постепенно размывалась³⁷³. Однако она продолжала существовать еще и в начале XX века в таких своеобразных концептуальных конструкциях, как, например, классификация, в которой в качестве отдельного «вероисповедания» числилось «литовское»: в 1908 году анонимный автор одного полемического памфлета, очевидно, счел, что убедительно описать литовцев как не-поляков можно только путем придания им еще и самостоятельной конфессии³⁷⁴.

Схожие проблемы возникали и при описании чиновниками других непольских католиков. Из-за господства конфессионального мировоззрения пространство, в котором власти могли действовать, значительно ограничивалось. Так, в 1880-е годы потерпели неудачу попытки дифференцировать (бело)русских католиков по национальным критериям и перенести их в другую графу, основываясь на этнолингвистических признаках. Этот проект, за который выступали, в частности, Михаил Катков и виленский генерал-губернатор Иван Каханов, а также варшавский профессор Платон Кулаковский, при обсуждении в государственном аппарате не смог преодолеть барьер традиционного мышления, характерного для большинства правительственных деятелей: в их глазах национальная и религиозная общности совпадали. Идея, что может быть русский католик,

в большинстве голов еще не укладывалась. Такое понимание национальности не соответствовало и самопониманию населения, которое определяло себя в первую очередь через конфессиональную принадлежность³⁷⁵.

Последнее обстоятельство указывает на то, как широко было влияние конфессиональной парадигмы на интерпретацию мира жителями Российской империи. Религиозные дифференцирующие категории опирались на широкий общественный консенсус. Профессора Императорского Варшавского университета, участвовавшие в создании статистических сводок и справочников, энциклопедий и карт, описывали и классифицировали страну и людей, используя конфессиональный подход³⁷⁶. Те немногие исследования по польской истории, издание которых дозволили царские цензоры в Варшаве, были посвящены польской церковной истории, и это подавалось как нечто само собой разумеющееся. Пожалуй, ни один путеводитель по Царству Польскому не обходился без информации о конфессиональных группах и их культовых постройках; в антипольских полемических выступлениях в ходе дебатов по «польскому вопросу» то и дело встречались указания на агрессивную религиозную пропаганду, характерную для католицизма поляков³⁷⁷. В мемуарах чиновников о годах службы в Привислинском крае опыт конфессионального единства фигурировал в качестве наиболее интенсивного переживания общности³⁷⁸. Религия, вероисповедание были основными категориями, по которым упорядочивались самые разные своды знаний и принимались решения в самых разных сферах жизни.

В том, как подданные Российской империи, жившие в Царстве Польском, конструировали собственную идентичность, тоже постоянно сказывалась политика правительства, дифференцирующая и дискриминирующая людей по конфессиональному признаку. Так, топос «поляк-католик» господствовал и в представлениях самих поляков о «польскости» – в той же мере, как и в мышлении имперских чиновников. Это сочетание веры, национальной идентичности и связанного с ними представления об Отечестве оказывало формирующее влияние на сознание людей в самых разных социальных слоях. Например, в галицких деревнях именно католическая конфессия,

ее ритуалы и праздники способствовали возникновению национальной идентичности в среде крестьянства³⁷⁹.

По мере того как национальный аспект в восприятии социальных групп получал все большее значение, религиозный аспект коллективного самоописания никоим образом не исчезал. Напротив, именно те активисты национального движения, которые сильнее всего интересовались темой уникального польского «национального характера», ставили конфессиональную составляющую собственной национальности в центр конструкции идентичности. Предметом их забот было то, что католический историк и открытый антисемит Феликс Конечный впоследствии сформулировал так: «Польша либо будет католической, либо ее не будет вовсе. [...] Судьба церкви в Польше связана с судьбой этой цивилизации»³⁸⁰. Национал-демократы, последователи Романа Дмовского, выступали с конца XIX века в качестве наиболее рьяных поборников такого дискурса, в котором не католики – а значит, в первую очередь евреи – из польской общности исключались³⁸¹. С другой стороны, сосредоточенность внимания на конфессиональном признаке привела к тому, что многие поляки долгое время отказывались признать и принять существование отдельной литовской национальности. «Литовское» понималось здесь – в традиции Адама Мицкевича – как региональный колорит в рамках католическо-польской идентичности, а Вильнюс был, конечно, Вильно – исконно польский город. И только на рубеже столетий «самостоятельное существование новых элементов, которые до недавнего времени были всего лишь этнографическим материалом (прежде всего литовцы)», было воспринято и принято как факт³⁸².

Но вовсе не одна только антисемитская эндеция выступала за конфессиональную сегрегацию общества. Как далеко зашло замыкание конфессиональных общностей, стало ясно как раз после 1906 года, когда новые российские законы открыли возможность для большей общественной самоорганизации во многих областях. Возникшие в огромном числе ассоциации и объединения были в Царстве Польском почти полностью моноконфессиональными. Параллельно существующие католические, православные и иудейские организации одного и того же типа были здесь не исключением, а правилом³⁸³. Едва ли можно найти более наглядное проявление господства конфессиональной парадигмы, отводившей религиозной

принадлежности главное место в иерархии социальных идентифицирующих признаков.

Этот взгляд на мир, при котором человек определял себя и других через конфессию, несомненно, способствовал той политизации религии, которая была характерна для Царства Польского после Январского восстания 1863 года. Религия не могла не стать в этом силовом поле одним из центральных предметов конфликта, а также важнейшим опосредующим механизмом, при помощи которого формулировались, согласовывались и изменялись правила человеческого общежития³⁸⁴. Это породило множество конфликтов в повседневной жизни на местном уровне. Так, один ксендз в Келецкой губернии отказался крестить ребенка, поскольку крестная мать была замужем за православным³⁸⁵. В том же году в Варшавской губернии разгорелся скандал между православным священником и польским уездным начальником, потому что последний устроил шумные работы по уборке улицы перед православной церковью во время богослужения. А ученики одного из реальных училищ в Варшавской губернии, протестуя против государственной школьной политики, критиковали прежде всего неравенство в статусе католических и православных праздников. Они бойкотировали послеобеденные уроки в день католического праздника, обосновывая это тем, что в праздничные дни православного церковного календаря занятия вообще не проводятся³⁸⁶.

Именно в условиях такого смешения политической и религиозной сфер имела смысл и та акция, которая описана в начале книги, – когда в 1913 году представители польской общественности призвали к бойкоту торжеств по случаю открытия третьего моста через Вислу, потому что мост должен был освящать православный священник. Здесь спор о том, кто же на самом деле является движущей силой модернизации Варшавы и может обосновывать этой ролью претензии на доминирование, получил конфессиональную окраску³⁸⁷. Даже в канун Первой мировой войны русско-польский конфликт все еще выражался прежде всего в религиозных формах. В первые десятилетия XX века католические церкви достаточно часто использовались в качестве мест, где можно было вслух высказать протест против имперского режима. Отмена католических богослужений в дни православных праздников, несовершение заздравных и поминальных месс в дни тезоименитства царей и в годовщины их смерти, прихожане

костелов, демонстративно не встающие при звуках гимна «Боже, Царя храни!» – все такие символические акты неповиновения, имевшие место в католических храмах, власти очень внимательно регистрировали и видели в них подтверждение правильности своей картины мира, в которой католицизм играл роль главной угрозы³⁸⁸.

Тем самым конфессиональная парадигма влияла и на самописание имперской элиты, служившей царю в Привислинском крае: религия – т. е. православие – была для нее важнейшей связующей силой. Высший слой административных чиновников в Варшаве был очень пестрым по национальному составу, но почти все они, за несколькими исключениями, принадлежали к православному вероисповеданию: из семидесяти четырех генерал-губернаторов и губернаторов, служивших в Царстве Польском с 1863 по 1915 год, только пятеро были лютеранами, остальные же, даже нерусские наместники, генерал-губернаторы или губернаторы (зачастую остзейские немцы), были православными³⁸⁹. Полякам в Привислинском крае, если они оставались верны католицизму, доступ к высшим должностям был закрыт. Этот конфессиональный критерий отбора в бюрократическом аппарате оставался неизменным: за пять с лишним десятилетий только один католик сумел дослужиться до вице-губернатора.

Конфессиональная дискриминация привела к тому, что даже религиозная принадлежность жены чиновника имела значение для его карьеры. В чиновничьей среде смешанные православно-католические браки были довольно частым явлением, так как молодые русские чиновники нередко прибывали на службу в Польшу еще холостыми и женились уже там, а незамужних православных женщин в крае найти было очень трудно. Но супруга, придерживающаяся католической веры, могла стать препятствием для получения чиновником протекции в продвижении по служебной лестнице и тем самым затруднить карьерный рост своего мужа³⁹⁰. В особо ответственных отделах имперского административного аппарата вероисповедание жены тщательно регистрировалось в личном деле служащего, и среди жен высших офицеров Варшавского дивизиона жандармов ни одной католички обнаружить не удалось³⁹¹.

Православие высших государственных чиновников регулярно демонстрировалось публично. При вступлении в должность каждый

новый губернатор посещал местный православный храм – еще до того, как осматривал свою резиденцию и служебные помещения, и до того, как начинал давать аудиенции представителям верхушки местного общества. Разумеется, не было ни одного важного религиозного праздника в богатом на праздники православном церковном календаре, который не справлялся бы при демонстративном участии высших должностных лиц в богослужении, общей молитве или крестном ходе. Важность этих проявлений правоверия подчеркивается тем фактом, что даже лютеранин Скалон участвовал в публичных православных ритуалах³⁹².

Эти символические действия указывают на то, что общественное пространство было одной из важнейших сфер, в которых осуществлялись репрезентации религиозности, а также происходила конфессионально окрашенная политическая коммуникация. Ведь в эпоху репрезентаций главное заключалось в том, чтобы делать свои претензии на гегемонию публичными и визуально обозначать иерархии. Поэтому православному чиновничеству было необходимо сделать свое собственное вероисповедание видимым и слышимым в Варшаве и всем Привислинском крае, где преобладали католики и иудеи. Публичное пространство предоставляло множество возможностей для демонстрации неравенства сил между вероисповеданиями и – тем самым – для обеспечения политического доминирования. Так, Александр III, бывший в Варшаве в 1884 году, посредством многочисленных посещений православных церквей и молитв в них подчеркнул привилегированное положение православия в крае. И во время поездки Николая II в Варшаву в 1897 году конфессиональный компонент стал одним из самых главных в драматургии монаршего визита. Заутреня, встречи с церковными сановниками и православными школьниками, посещения храмов, богаделен и образовательных учреждений – вся программа пребывания Николая II репрезентировала гармонию самодержавия и православия. Но одновременно эта демонстративная симфония означала и понижение статуса других исповеданий. Так, церемониальный распорядок царского визита отводил католическому епископу место рангом ниже, чем православному, который первым из духовных сановников приветствовал монарха по прибытии в город³⁹³.

Насколько далеко зашла конфессионализация политики, лучше всего показывает спор о православных культовых постройках. Сами должностные лица в Царстве Польском подчеркивали политическое значение строительства новых храмов. Православные церкви рассматривались как оплоты в борьбе против агрессивного католического окружения, и возведение их официально входило в компетенцию государственных органов. Церкви повсюду на западных перифериях империи были важнейшим средством репрезентации конфессионального и – тем самым – политического господства. Поэтому они активно строились в таких городах, как Вильна, Ковно, Рига, Ревель, Гельсингфорс, Лодзь и Варшава. Это была попытка символической интеграции данных территорий и визуализация притязаний Петербурга на власть в приграничных районах³⁹⁴.

Среди всех строительных проектов такого рода особое место занимал Александро-Невский собор в Варшаве: этот православный храм в столице Царства Польского далеко опережал по величине и помпезности все культовые сооружения на периферии Российской империи. Он же был самым дорогим, и на его строительство потребовалось почти двадцать лет (1894–1912). Но прежде всего эта церковь была одной из тех, что вызвали самые большие споры во всей империи. Даже выбор места и архитектурного стиля для собора Святого Александра Невского уже был демонстрацией власти и одновременно провокацией для местного польского общества. Здание, спроектированное Леонтием Бенуа, возвели в самом сердце Варшавы, на Саксонской площади – одной из главных площадей города. Оно не только затмевало своими размерами все вокруг, но и стилистически резко выделялось на фоне окружающей застройки. Золотые купола, декор фасада, напоминавший восточные мотивы, и колокольня высотой более 70 метров представляли собой демонстративный, выраженный архитектурными средствами захват земли иностранными завоевателями³⁹⁵.

Храм, в представлении царских чиновников, должен был символизировать незыблемость русской гегемонии в Царстве Польском. Они сделали многое, чтобы в соответствии с этим замыслом увеличить символическую мощь возводимого здания, укрепить его позиции в межконфессиональной конкуренции и превратить его в сакральный и церемониальный центр русской православной диаспоры

в Варшаве³⁹⁶. Важным событием в этом контексте стало посещение строительной площадки храма Николаем II, которое состоялось в рамках поездки царя в Варшаву в 1897 году. Торжества по случаю трехсотлетия царствования дома Романовых в 1913 году тоже дали повод представить собор в качестве центра русской православной общины: его отделка была завершена как раз к великому юбилею династии. Выступавшие на празднестве ораторы подчеркивали непосредственную связь храма с репрезентацией власти и сочетали российские претензии на господство с антипольскими филиппиками³⁹⁷.

Таким образом, собор был задуман как демонстрация русской православной власти – и так и воспринимался польским обществом. Через зарубежную прессу польская общественность резко критиковала это культовое сооружение в Варшаве. Монументальный православный собор в центре города интерпретировался как символ непрекращающегося иноземного господства и как выражение постоянного угнетения католической церкви. «Московитский» архитектурный стиль и представленные в соборе святые – все это прочитывалось как сигнал, как инструмент культурной и конфессиональной колонизации Царства Польского. В особенности изображение Кирилла и Мефодия в этом контексте было афронтом, поскольку представляло собой сознательную аллюзию на их миссионерскую деятельность среди славян. Их присутствие в соборе, казалось, маркировало ту конфессиональную и культурную миссию, которую царские власти приписывали этому храму. Польский страх этнической и культурной русификации сопровождался в конфессиональную эпоху ожиданием православной миссионерской деятельности. Здесь мы видим, что смешение сфер религии и политики было общим знаменателем русского и польского мышления, невзирая на всю глубину различий между их оценками Александро-Невского собора.

О школьных молитвах и изображениях Богоматери: камни преткновения религиозной политики в мультиконфессиональной империи

Политические конфликты по поводу религиозных вопросов и конфессиональных демонстраций случались в Царстве Польском не

только в связи с такими крупными объектами, как Александро-Невский собор. Политизацию религии стимулировали зачастую менее заметные, но повседневные конфликты конкурирующих религиозных практик. Например, предметом многолетних дискуссий и поводом для постоянных жалоб со стороны польского общества были распоряжения попечителя Варшавского учебного округа от 1870 года, радикально менявшие ежеутренний ритуал молитвы в школах. Согласно этим распоряжениям на всех школьников в Царстве Польском, независимо от их вероисповедания, налагалась обязанность произносить совместную православную утреннюю молитву на русском языке³⁹⁸.

В 1897 году данная практика была пересмотрена. Дебаты, развернувшиеся в контексте реформы, свидетельствуют о том, в какой значительной степени переросло в постоянный очаг религиозного и политического конфликта повседневное принудительное объединение конфессий. Вместе с тем споры, шедшие внутри административных органов, демонстрируют, как много акторов участвовало в принятии решений в области религиозной политики и насколько различны были те концепции и интересы, которыми они руководствовались.

Причиной столкновений, приведших в конечном итоге к значительному росту напряженности в Царстве Польском, было решение, принятое императором: 25 июня 1897 года Николай II объявил, что во всех образовательных учреждениях страны обязательное посещение православных богослужений для иноверных и инославных учащихся отменяется, а совместная молитва заменяется отдельными – по вероисповеданиям. Тем самым в Царстве Польском должна была быть прекращена практика принудительных совместных утренних молитв, существовавшая со времен распоряжения, изданного образовательным ведомством. Указ Николая был явной уступкой неправославному населению империи и подчеркивал тот курс на религиозную терпимость и примирение, которым молодой монарх в первые годы после восшествия на престол пытался показать, что его царствование, в отличие от правления его отца, станет эпохой реформ³⁹⁹.

Однако проведение монаршей воли в жизнь оказалось в Царстве Польском делом трудным – оно натолкнулось на неожиданные препятствия и упорное сопротивление со стороны местной администрации. В особенности попечитель Варшавского учебного

округа, Валериан Лигин, пытался саботировать реализацию реформы. В августе 1897 года он издал постановление, согласно которому при предстоящем введении отдельных утренних молебнов в школах Царства Польского для всех учеников языком молитвы должен был служить русский. То есть католики теперь должны были творить свою молитву отдельно и по своему обряду, но по-русски. Польским населением это было воспринято как полное искажение первоначального замысла императора, указывающее на стремление местных правителей сорвать примирительную меру Николая. Начались массовые протесты общественности. Распоряжение попечителя подверглось критике как акт произвола, направленный на сохранение гегемонии православия и дискриминацию остальных конфессий⁴⁰⁰.

Эта критика со стороны поляков показывает, что в глазах коренного населения именно местная администрация выглядела самым большим злом, тогда как центральной власти приписывали некоторую волю к реформам. Как и в вопросах цензуры, полякам казалось, что существует разница в интенсивности унижения и угнетения, исходящего от разных инстанций, и именно варшавское чиновничество рассматривалось ими как подлинный источник политических, конфессиональных и культурных репрессий и диктата.

То, что снаружи, т. е. в глазах польского общества, выглядело как политическое вмешательство в сферу религии, единодушно осуществляемое местной администрацией, на самом деле явилось результатом острых внутренних конфликтов: в связи с вопросом о школьных богослужениях разгорелся ожесточенный спор между варшавским генерал-губернатором Имеретинским с одной стороны и попечителем Варшавского учебного округа Лигиным и министром народного просвещения Деляновым – с другой. Конфликт этот показывает, в какой мере политизация религии превратилась в арену столкновений различных сил, на которой разнообразные акторы соперничали друг с другом и боролись за прерогативу толкования монаршей воли.

Из внутренней переписки становится видно, что движущей силой в реализации императорского указа в Царстве Польском был варшавский генерал-губернатор. Учитывая растущую напряженность в крае, он старался как можно быстрее ввести отдельные молебны на подведомственной ему территории. Однако он столкнулся с упорным

сопротивлением Министерства народного просвещения, в чьи компетенции входил также надзор за школами в Царстве Польском. Попечитель и министр единогласно утверждали, что разделению учащихся на группы для молитвы по конфессиям препятствовал прежде всего нерешенный вопрос о языке молитвы в Привислинском крае, а кроме того – отсутствие положения о том, какой именно текст следует использовать. К тому же, добавляли они, практика общей православной молитвы за последние двадцать семь лет хорошо себя зарекомендовала и нет никаких причин теперь ее менять. Использование православной молитвы в школах не затрагивает литургию другого вероисповедания, а недовольство поляков существующим порядком связано исключительно с их «ненавистью к русскому языку» и, особенно, со «свирепым фанатизмом нетерпимости» католиков, которые не в состоянии вместе с другими вероисповеданиями вознести свои молитвы к Богу. Поэтому все подготовительные меры, уже инициированные генерал-губернатором для изменения молитвенных ритуалов в школах Варшавского учебного округа, следует, писали Лигин и Делянов, отменить⁴⁰¹.

Таким образом, за, казалось бы, монолитным фасадом царской бюрократии обнаружились значительные трения. В своем ответном письме, сформулированном в жестких выражениях, Имеретинский указал министру просвещения на то, что указами от 25 июня 1897 года порядок совершения молитв в Привислинском крае поставлен на совершенно новую основу и, следовательно, положения 1870 года полностью отменены. Он, генерал-губернатор, видит свой служебный долг в том, чтобы немедленно устранить причины тех возмущений, которые наблюдаются в крае из-за задержки исполнения императорских указов⁴⁰².

В этом споре о компетенциях и приоритетах генерал-губернатору удалось добиться победы над министром просвещения. Чуть позже, в следующем письме Делянов прислал правительственную директиву о проведении школьной молитвы отдельно, по конфессиям, и на разных языках. Отныне православные ученики должны были молиться на русском, католики – на польском или литовском, а протестанты – на русском или немецком языке. Выбор текстов для молитв предписывалось осуществить попечителю учебного округа по согласованию с предстоятелями соответствующих конфессиональных

сообществ. Такой выбор был сделан уже в ноябре того же года, и, следовательно, все условия для отдельных молитв на нескольких языках в Царстве Польском были обеспечены⁴⁰³.

Трудности с введением отдельных молитв касались не только языка. Пришлось пересмотреть иерархию молитвенных сообществ и вопрос о совместимости православных икон и католических изображений Марии в одном пространстве. Сначала власти единодушно определили, что в школах, где для ритуальных практик имеется всего одно помещение, группы молящихся разных вероисповеданий будут отправляться на молебен по очереди и православные, разумеется, должны идти первыми. Этим подчеркивался принципиальный примат православия в конфессиональной иерархии империи⁴⁰⁴.

Более спорным оказался вопрос, как реагировать на требование польского общества повесить в молельнях, наряду с иконами, католические изображения Девы Марии. По этому вопросу снова пришлось преодолевать сопротивление со стороны Министерства народного просвещения, которое указывало, что иконы Спасителя и Божьей Матери, обычно висящие в учебных заведениях, должны, вероятно, быть святы для всех христианских вероисповеданий. И здесь генерал-губернатор смог одержать верх, указав на возможные протесты католических священников. Было принято решение: разрешить повесить в молитвенных комнатах католические изображения Мадонны. Остроту конфликта снизило то, что сакральные топографии двух конфессий не сталкивались друг с другом: место православных икон было в красном углу, а изображение Девы Марии размещалось, как правило, по центру стены, поэтому чиновникам было не трудно освободить для него это символическое место в классе⁴⁰⁵.

Шестимесячная одиссея между скалами и камнями различных ведомств, которую пришлось проделать императорскому указу с момента его издания в июне до реализации на местах в ноябре 1897 года, показывает, что решения, принимаемые и осуществляемые в Царстве Польском, не были просто исполнением директив, спускаемых по инстанциям из центра. Общее волеизъявление царя в ходе его реализации в сложной конфессионально-национальной ситуации в Царстве Польском дробилось на многочисленные вторичные комплексы проблем, в связи с чем возникала

непредвиденная нужда в разъяснениях, и решение этих проблем становилось предметом конфликтов и переговоров на местном уровне. Таким образом, конфессиональный конфликт по вопросу о порядке утреннего молебна дает нам представление о механизмах политического действия в Польше и в империи в целом. Принципиальная схема, которая просматривается и в этом, и во многих других конфликтных случаях, такова: всюду мы наблюдаем расхождение между весьма расплывчатыми формулировками неоспоримой монаршей воли и мелкой войной инстанций при претворении величественного жеста правителя в конкретные мероприятия на местах. Практическая разработка детальных положений применительно к местным условиям регулярно оказывалась полем битвы между различными органами власти, чьи компетенции сталкивались, и, следовательно, возникал непрерывный процесс конфликта и переговоров по поводу их разграничения и по поводу прерогативы принятия тех или иных решений. Чиновники, стоящие во главе ведомств, тщательно следили за тем, чтобы обеспечивать себе участие в принятии решений, которые каким-либо образом касались сферы их компетенций. Ввиду пересечения таких сфер возникали постоянные столкновения между ведомствами на местах, а также между центром и местными властями.

Как и в цензурных вопросах, в данном случае пересекались полномочия генерал-губернатора, попечителя учебного округа и министра народного просвещения. Кроме того, в конфликт по поводу права на регулирование школьных религиозных ритуалов были вовлечены и другие инстанции, что не только затруднило принятие решений, но и блокировало повсеместное проведение их в жизнь. Так, Министерство финансов оказало сопротивление и не издало распоряжения о отдельных молитвах в подведомственных ему учебных заведениях Царства Польского. Был уже апрель 1898 года, а варшавскому генерал-губернатору пришлось напоминать министру финансов Сергею Витте о необходимости выполнить прошлогодние императорские указы⁴⁰⁶.

Напряженные конкурентные отношения между этими ведомствами и должностными лицами были, однако, связаны не только с проблемой статуса. Как раз при принятии политических решений, касавшихся повседневной, непубличной стороны религии, сказывались

принципиальные концептуальные разногласия: в то время как подавляющее большинство генерал-губернаторов, по крайней мере в этой области, выступало за учет потребностей польского католического общества, Министерство народного просвещения почти всегда придерживалось конфронтационного курса.

Это было связано с тем, что данное министерство традиционно активно требовало акцентировать русский и православный элементы в Царстве Польском⁴⁰⁷. Центральные и местные органы народного просвещения и их служащие пребывали в плену педагогической утопии, которая привела их к мысли, что ключом к созданию лояльных подданных в Царстве Польском является образование, полностью ориентированное на Россию. Русскоязычные государственные школы приобретали в свете этой концепции огромное значение. Там, надеялись чиновники Министерства народного просвещения, была возможность вырвать питомцев из-под вредного антироссийского влияния их родителей-поляков. Неослабевающее влияние обер-прокурора Святейшего синода, Константина Победоносцева, на Министерство народного просвещения проявилось, помимо прочего, в том, что наряду с усиленной ориентацией школьного образования на русскую культуру центральным образовательным и культурным достоянием, которое надлежало передать ученикам, считалось православие. Несмотря на то что, вопреки утверждениям некоторых польских критиков, государственные школы в Привислинском крае не стали местами активной православной миссионерской деятельности, их задачей все же было не только воспитывать политически лояльных школьников, но и учить их тому, что православие есть религия высшего ранга. Поэтому Министерство народного просвещения проводило идеологическую линию, направленную на то, чтобы сломить польскую гегемонию на культурном фронте и маргинализировать католическую конфессию. С такой точки зрения религиозные дела неизбежно становились вопросом политики, в том числе и образовательной⁴⁰⁸.

Функциями генерал-губернатора обуславливались совершенно иные приоритеты в работе: главным политическим делом для него были меры по обеспечению стабильности в Царстве Польском, в первую очередь предотвращение восстаний и общественных волнений, а не культурная русификация или православная миссионерская деятельность среди поляков. Соответствующим образом

он определял и сферу политического: повседневные религиозные практики и школьные молебни не входили в число тех вопросов, по которым требовалось политическое действие, потому что, как считало большинство варшавских генерал-губернаторов, конфессиональные вопросы, будь то в быту или в школе, авторитета государственной власти не затрагивали. В отличие от строительства Александро-Невского собора и от конфессионально-церемониального упорядочения публичного пространства во время высочайших визитов школьные молитвы не рассматривались генерал-губернаторами в качестве актов, главным содержанием которых была репрезентация имперского господства. В них не мерились силами претенденты на политическое доминирование, так что, например, генерал-губернатор Имеретинский, несмотря на все недоверие к «латинцам», был готов в вопросе о школьных молебнах следовать базовому имперскому принципу терпимости по отношению к признанным конфессиям⁴⁰⁹.

Иными словами, вопрос, будут ли религиозные проблемы восприниматься чиновниками как политические или же будут отнесены к сфере веры⁴¹⁰, никоим образом не был решен однозначно для всех раз и навсегда. Скорее, дебаты по поводу школьных молитв служат доказательством того, что, при взгляде с точки зрения генерал-губернатора, было вполне возможно и даже желательно деполитизировать эту религиозную тему и перенести ее в отдельную сферу чисто конфессиональных дел. Такое стремление, несомненно, было связано с тем, что ежеутренние молитвы в учебных заведениях являлись делом гораздо менее публичным, нежели такие репрезентативные действия, как Александро-Невский собор. В пользу данного тезиса говорит и то, что уже в начале 1880-х годов генерал-губернатор Альбединский демонстрировал готовность к уступкам католическому населению в вопросе о преподавании Закона Божьего в школах. По постановлению Альбединского ксендзы были допущены к преподаванию этого предмета в приходских начальных школах, хотя и под строгим государственным контролем. С учетом повсеместного недоверия чиновников к католическому клиру то был значительный шаг⁴¹¹. Даже генерал-губернатор Гурко, занявший бескомпромиссную позицию по вопросу об обязательном использовании русского языка в преподавании, в 1890 году счел возможным пойти на уступку и разрешить в школе обучение Закону Божьему римско-католическими

священниками. Потом закон от 16 мая 1892 года окончательно оставил вопрос о допуске ксендза к преподаванию на усмотрение директора учебного заведения⁴¹². Так что еще до императорского указа 1897 года существовала уже достаточно длительная традиция решения религиозных вопросов, когда правительственные органы не превращали их в предмет политизированных дебатов, а решали прагматическим образом внутри школьных стен.

Итак, границы «политического» были подвижны, а политически мотивированные мнения чиновников о необходимости действовать могли в разной степени касаться той сферы, которую люди воспринимали как религиозную. В конечном счете существовал широкий консенсус всех заинтересованных сторон по поводу того, что религия в принципе должна быть предметом государственного регламентирования. В необходимости религиозных ритуалов в общественных учреждениях никто сомнений не высказывал. Религия, независимо от конкретного вероисповедания, считалась гарантом общественного порядка и опорой морали и нравственности. С конца XIX века царские власти считали, что наблюдают прогрессирующий упадок нравственности, который, по их мнению, служил причиной многочисленных новых явлений, в том числе таких, как социалистическая угроза⁴¹³. Религия и ее практики получили в данном контексте совершенно новое значение, поскольку представлялись теперь фактором, стабилизирующим пошатнувшийся моральный порядок. Поэтому они нуждались в удвоенной заботе и усиленной защите со стороны правительства. Такая концепция, превращавшая религию в государственное дело, была на руку всем конфессиям. Хотя мы встречаем свидетельства упорной убежденности и после 1900 года, что католическая «пропаганда» опасна для государства, все же в это время уже становилось заметно то, что революция 1905 года продемонстрировала с окончательной определенностью: политической системе угрожает не «католическая опасность», а социальный бунт обнищавших масс. Царские чиновники в этот опасный период утраты ими власти подметили, что консервативная верхушка католической церкви отнеслась к революционным волнениям отрицательно и что католический клир не был активным участником протестов. Теперь главным врагом стал уже не католический монах «с крестом в одной

и саблей в другой руке»⁴¹⁴, а польский революционер с револьвером, спрятанным под кожаной курткой.

Это открыло новые возможности для имперских властей, искавших союзников, а также позволило взглянуть по-новому на католицизм. В особенности генерал-губернатор Скалон отличался – после «замирения» Привислинского края военными средствами – прагматичным курсом: он искал сотрудничества с теми кругами польского общества, которые были готовы принять как базовую данность факт российского владычества и стремились к изменениям в рамках этой парадигмы. Католические иерархи в Царстве Польском были одной из таких сил⁴¹⁵.

В то же время некоторые конфессиональные конфликты в Привислинском крае свидетельствуют о том, насколько сильно польское общество и его требования могли со своей стороны влиять на административный аппарат. Даже бюрократия, считавшая себя автономной инстанцией, принимающей решения, была вынуждена взаимодействовать с польскими контрагентами. Уже в таких конфликтных областях, как цензура и религиозная политика, а также в связанных с ними публичных дебатах проявились взаимосвязи и взаимозависимости между государственными и общественными акторами. Структура подобного «конфликтного сообщества» становится видна как раз тогда, когда мы обращаемся к повседневным реалиям имперской администрации. Вряд ли есть другой пример переплетения отношений, который позволял бы так же плотно описать эту напряженную комбинацию взаимного общения, конфронтации и сотрудничества, как пример функционирования имперской власти в городском пространстве и решения повседневных проблем, с которыми она сталкивалась.

Глава IV

**ИМПЕРИЯ И МЕГАПОЛИС:
ПРИМЕР ВАРШАВЫ**

ЦАРСКАЯ БЮРОКРАТИЯ И ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗ САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВАРШАВА В 1880–1915 ГОДАХ

Вторая половина XIX века – время зарождения европейского мегаполиса современного типа. Такие города, как Лондон, Париж, Барселона, Берлин, Будапешт или Вена, в эту эпоху стремительной урбанизации, технической модернизации городов и формирования новой городской культуры в корне поменяли свой облик и характер. В Российской империи после 1870 года тоже наступило время мегаполисов. В Санкт-Петербурге, Риге или Одессе не только в бешеном темпе росло население: радикально преобразился центр города – в соответствии с современными стандартами. Общеввропейские тенденции – от архитектуры стиля модерн до электрического трамвая, от бульвара до канализации – были подхвачены и приспособлены к местным условиям. Превращение базовой структуры российских городов было таким образом усилено, и разница между модернизированными центральными районами и бедными пригородами проявлялась все сильнее⁴¹⁶.

Варшава в этом смысле не была исключением. В конце XIX – начале XX века административный центр Царства Польского превратился в современный мегаполис с большим населением и присвоил себе звание Восточного Парижа⁴¹⁷. Здесь тоже сформировался двойной характер города: презентабельные буржуазные кварталы резко контрастировали с кварталами городской бедноты. Однако генезис современной Варшавы происходил в иных условиях, нежели те, которыми располагали другие мегаполисы в Западной Европе или России, – трансформация города на Висле протекала в условиях российского владычества: муниципальные административные чиновники назначались из неместных, а руководители ведомств присылались из Санкт-Петербурга. Все попытки ввести в Царстве Польском какие-либо формы городского самоуправления разбивались о сопротивление имперского

правительства. В эпоху форсированной городской модернизации Варшава не имела выборного органа самоуправления, а местное население было почти полностью отстранено от процессов принятия управленческих решений. До 1915 года Варшавский магистрат и возглавлявший его президент города были непосредственно подчинены министру внутренних дел и, таким образом, сами являлись составной частью царской государственной администрации.

В данной главе рассматривается роль, которую эти царские чиновники сыграли в трансформации Варшавы на рубеже XIX–XX веков. Поскольку городское управление находилось в руках бюрократии, имперские элиты выступали важнейшим актором городской модернизации. Здесь будет проанализировано взаимодействие различных инстанций в рамках административного аппарата и тем самым очерчена бюрократическая система, включавшая различных, частично сотрудничавших, частично конкурировавших субъектов. Будет показано, как влияли на преобразование Варшавы генерал-губернаторы, обер-полицмейстеры и руководители Городского магистрата.

Однако царское чиновничество не было полностью закрытой средой – оно было связано с тем городским окружением, в котором ему приходилось жить и действовать. Поэтому в данной главе будет прослеживаться взаимодействие имперской элиты с теми частями варшавского общества, которые участвовали в модернизации города. Представления царских чиновников о самих себе, о Российской империи как целом, о мегаполисе на Висле возникали и менялись в контакте с польским и еврейским населением города. Сталкиваясь с инициативами и с сопротивлением, с требованиями и критикой со стороны местного общества, переживавшего радикальную трансформацию, чиновники меняли свои представления и практики, имевшие решающее значение для управления городом.

Варшава была основным местом концентрации имперской элиты в Царстве Польском. Здесь проживала бóльшая часть представителей имперской власти, здесь это сообщество сформировало собственную культурную жизнь, здесь генерал-губернатор принимал важные политические решения. Поэтому в Варшаве взаимоотношения между чиновниками и местным населением были особенно интенсивными. Повседневные и трудные дела, связанные с управлением мегаполисом

на Висле, конституировали пространства контакта, в которых имперская элита и варшавское городское общество были вынуждены постоянно взаимодействовать.

На показательных примерах – случаях, когда коммуникация внутри этого конфликтного сообщества была особенно плотной, – ниже будут рассмотрены основные модели и темы конфликтов, а также формы сотрудничества и консенсуса между царским чиновничеством и различными этническими, социальными и конфессиональными сегментами городского населения. Будут реконструированы ментальные миры акторов, а также нормы и принудительные механизмы деятельности бюрократических аппаратов. В принципе, и в этой главе будет продемонстрировано то формирующее воздействие, которое было оказано длительным российским господством на локальный контекст. Историю имперской элиты в том, что касается превращения Варшавы в мегаполис, нельзя писать в виде истории о том, как российские властители препятствовали модернизации города. Российское господство следует понимать скорее как силу, которая задавала контекст и некоторые процессы инициировала или поддерживала, а другие – пресекала либо тормозила. Таким образом, она представляла собой столь же важный, сколь и продуктивный фактор в сложной городской системе уровней и акторов модернизации и взаимодействия сил⁴¹⁸.

Варшава около 1900 года: гибель оккупированного города или рождение европейского мегаполиса?

Варшава конца XIX века была динамично развивающимся городом. Население бывшей польской столицы с 1880-х годов стало расти бешеными темпами: если в 1882 году оно составляло 380 тыс. человек, то через пятнадцать лет (1897) его численность превысила 680 тыс., а к началу Первой мировой войны (1914) увеличилась еще на четверть – до 884 584 человек. Таким образом, примерно за тридцать лет она выросла более чем вдвое и обещала скоро достичь миллиона. Варшава оставила далеко позади все прочие города Привислинского края, стала крупнейшим польским городом, третьим по величине в Российской империи и заняла восьмое место среди мегаполисов Европы⁴¹⁹.

Демографическая статистика демонстрирует стремительную и радикальную трансформацию Варшавы в современный мегаполис. Но как протекали эти трансформационные процессы и сопутствующая им модернизация города? Какую роль играли в них царские власти? Часто пишут, что петербургская власть блокировала модернизацию Варшавы и Царства Польского в целом. В том, что касается социально-урбанистической эволюции Варшавы, это утверждение на первый взгляд кажется справедливым. Существует множество примеров того, как царская бюрократия не давала модернизировать город на Висле. Так, не были приняты меры для решения проблем санитарии и гигиены в большей части Старого города и для преодоления хронического дефицита городской инфраструктуры. Но главное – администрация не делала ничего, чтобы облегчить катастрофическую ситуацию с жильем в перенаселенной Варшаве⁴²⁰.

Поскольку до начала Первой мировой войны царская власть отказывалась отменить ограничения на поселение, продиктованные плотным кольцом укреплений вокруг Варшавы, город рос «внутри». Приток мигрантов из сельской местности не иссякал, и всем им приходилось размещаться на очень тесном пространстве. Из-за этих ограничений пригороды были слабо связаны со столицей, как демонстрирует проект запуска электрических пригородных поездов, предложенный генерал-губернатору одним из акционерных обществ: в 1913 году такие поезда все еще ходили только на восточном берегу Вислы⁴²¹.

В большей части центра плотность населения до Первой мировой войны составляла 100 тыс. человек на квадратный километр. Таким образом, чрезвычайная перегрузка жилого фонда в бедных кварталах Варшавы была правилом, а не исключением. В пересчете на весь город средняя численность обитателей одной комнаты колебалась в последние годы XIX века между четырьмя проживающими и пятью. Обычным явлением были не только многочисленные квартиранты, снимавшие углы у людей, снимавших квартиры, но и люди, не имевшие даже собственной кровати и вынужденные арендовать спальное место у чужих людей. Подавляющее большинство квартир были к тому же однокомнатными, и располагались они зачастую в подвалах или на чердаках. Так, в 1891 году однокомнатные

квартиры, в которых проживало около 41% населения города, составляли 45–47% всех квартир в Варшаве⁴²².

Санитарно-гигиеническое состояние большей части этих жилищ было ниже всякой критики, смертность среди их обитателей была ужасающе высока⁴²³. Крупная эпидемия холеры, имевшая место в 1867 году, заставила членов Варшавского магистрата, отвечавших за здравоохранение, осознать, что забота о санитарии и гигиене, профилактика эпидемических заболеваний – одна из главных задач их растущего города. Впрочем, этот импорт идей общеевропейского гигиенистского движения в первое время выразился только в том, что более систематизированно стали собираться сведения о существующих проблемах в данной области. Однако царская администрация так никогда и не смогла создать службу санитарного надзора, которая имела бы полномочия карать за особо грубые нарушения нормативных актов. Не было предпринято никаких шагов и к тому, чтобы преодолеть сопротивление многих домовладельцев, упорно отказывавшихся от мер по модернизации жилья, связанных с расходами. Власти пассивно взирали на то, как центральные районы Варшавы приходят в малоприспособленное для жизни состояние, не предпринимали они ничего и против невыносимых жилищных условий во вновь возникавших рабочих районах на окраинах⁴²⁴.

В других сферах царская администрация тоже, казалось, замедляла развитие города. Не в последнюю очередь это выражалось в хроническом недофинансировании городского бюджета и в запрете на создание выборных городских представительных и административных органов. Третий по величине мегаполис империи до конца ее существования так и не обрел муниципального самоуправления. Назначенные члены магистрата были очень зависимы от вышестоящих инстанций. Так, с 1892 года генерал-губернатор имел право накладывать вето на все решения магистрата, в том числе и на относившиеся к повседневным финансовым делам городской администрации. По вопросам, касавшимся сумм от 5 тыс. рублей и выше, решающее слово оставалось за генерал-губернатором; когда речь шла об инвестициях объемом более 10 тыс. рублей, требовалось одобрение министра внутренних дел, находившегося в Санкт-Петербурге⁴²⁵. Кроме того, по многим проектам, предполагавшим расширение городской инфраструктуры, также требовалось разрешение

от Министерства внутренних дел. Поэтому сношения между магистратом, канцелярией генерал-губернатора и этим ведомством были весьма интенсивны. Достаточно часто в обсуждение тех или иных вопросов вмешивались Министерства путей сообщения и военных дел, а также межведомственный Комитет по делам Царства Польского. Многие проекты модернизации городского хозяйства Варшавы застопорились именно в этом, конкурентном и конфликтном пространстве взаимодействия центральных органов власти.

Таким образом, существуют веские причины охарактеризовать царскую бюрократию прежде всего как аппарат чужеземного господства и угнетения, мало заботившийся о Варшаве. В восприятии муниципальной администрации поляками именно такая оценка быстро превратилась в устойчивый топос. В 1925 году Стефан Жеромский, оглядываясь назад, писал: «Варшава принадлежала к тому типу городов, которые были лишены наследства, которые столкнули с пути развития. В ее росте и расцвете, в ее монументальности и красоте видна история ее рабства. [...] И вот освобожденная столица свободной страны внешне по-прежнему выглядит как провинциальная пограничная крепость императорской сатрапии»⁴²⁶.

С другой стороны, такая оценка уже представляет собой определенный выбор точки зрения, ведь к столь негативной оценке развития города на Висле можно прийти, только если избрать для сравнения определенную точку отсчета. Если сравнивать Варшаву с Парижем, Берлином или Веной и Будапештом, то препятствия, затормозившие городскую модернизацию, бросаются в глаза. В то время как другие европейские мегаполисы в эпоху *fin de siècle* осваивали технические и эстетические новшества, оккупированная и управляемая иноземными властителями Варшава, казалось, отстала от них в своем развитии.

Именно это сравнение всегда присутствовало в качестве фона в критике, высказывавшейся в адрес российского муниципального управления поляками, и одновременно являлось выражением их собственного чувства принадлежности к Западной Европе. Столь важный для польского самосознания миф о Польше как об *antemurale christianitatis* [лат. «оплот христианства». – *Примеч. ред.*], в соответствии с которым поляки считали себя бастионом, защищающим (католический) христианский мир, а впоследствии

и цивилизацию в целом, от угроз, идущих из Азии, отразился и в этой ментальной локализации Варшавы: город на Висле считали входящим в европейское сообщество мегаполисов, претендующим на звание «Восточного Парижа». Тем самым одновременно указывали и на варварский характер российской оккупации, и на отсталость царской муниципальной администрации.

Еще более наглядным и контрастным получалось сравнение Варшавы с городами в соседней австрийской части Польши. Древняя королевская столица Краков и современный административный центр Львов в условиях культурной автономии превратились не только в острова польской учености и культуры, но и в современные урбанистические образования. Поэтому города Галиции в восприятии поляков имели весьма позитивный имидж. Галицкие статутные города, такие как Львов и Краков, смотрелись в сравнении с Варшавой особенно выигрышно, ведь в них с 1871 года было установлено местное самоуправление, которое на территории города было наделено полномочиями государственной районной администрации; в них избранный городской совет обладал как законодательной, так и исполнительной властью в вопросах, касающихся жизни города. Магистраты, каждый из которых возглавлялся городским президентом, имевшим большую силу, и располагал аппаратом из профессиональных чиновников, были в Дунайской монархии учреждением, способным самостоятельно осуществлять градостроительное планирование и во многом действовавшим как «суррогат государственной бюрократии»⁴²⁷. Особенно Львов сделался архитектурным символом польского городского модернизма: облик центра города радикально изменили шикарные бульвары, электрические трамваи и представительные здания оперного театра и концертных залов. Совсем близко, но за российско-австрийской границей, варшавские комментаторы и критики российской городской администрации видели образец обновления города и потенциал, которым обладала польская городская культура.

Горизонт опыта и система ценностей русских чиновников, прибывавших в Варшаву, были совсем другими. Их образцы для сравнения лежали в глубине России, а потому эти чиновники были невосприимчивы к жалобам варшавского общества. Ведь в отличие от того, как выглядела жизнь в российских городах, даже в Петербурге, Варшава смотрелась по-европейски прогрессивно. Даже в Риге,

которую повсюду хвалили как образцово управляемый город, строительство системы сточных коллекторов началось только в 1894 году, а многие районы Петербурга и до 1917 года не располагали современной подземной канализацией, тогда как Варшава с 1886 года могла похвастаться одной из самых современных канализационных систем Европы. И в то время, как многие русские критиковали «азиатский характер» городов России, Варшава в качестве западного форпоста империи однозначно ассоциировалась с «Европой»⁴²⁸. Например, Владимир Михневич в своих «Наблюдениях» 1881 года описал Варшаву как привлекательный город с западным характером⁴²⁹. А профессор Императорского Варшавского университета Владимир Есипов в 1907 году отметил, что Варшава с точки зрения продолжительности жизни и в плане санитарно-гигиенических условий отличается более высоким уровнем, чем Петербург или Москва⁴³⁰. Иван Шумилин, который вырос в Варшаве, считал, что этот город, выделявшийся прежде всего своей чистотой, был похож на Париж в миниатюре⁴³¹. В Российской империи сравниться с Варшавой по уровню развития могли только процветающая Рига и – с оговорками – шикарная Одесса. Таким образом, восприятие Варшавы как «отсталой» или, наоборот, как воплощения европейской модерности зависело от принципиального выбора: с чем ее, Варшаву, сравнивать?

Но и помимо таких индивидуальных ориентаций ментального горизонта многое говорит в пользу того, чтобы не приписывать беды Варшавы одному только репрессивному характеру российского господства. Например, тот факт, что в условиях острого жилищного кризиса государственные средства в жилищное строительство практически не вкладывались, отнюдь не есть специфически варшавское явление: то же самое наблюдалось и в крупных городах внутренних регионов России, и в городах Габсбургской монархии. Все еще господствовало представление, что не дело государства или городской администрации вмешиваться в ситуацию на рынке жилья, пытаться управлять им и инвестировать значительные средства в жилищное строительство. Среди существенной части служащих администрации по-прежнему преобладала традиционная концепция городского управления – как института, призванного в первую очередь обеспечивать спокойствие и порядок в общественных местах и, соответственно, реагировать на конкретные угрозы этому порядку.

А интервенционистская модель городского управления, подразумевающая активную политику администрации, направленную на обслуживание интересов горожан, на востоке Центральной Европы во второй половине XIX века еще только постепенно складывалась, и то далеко не везде⁴³².

Образ российского владычества как эпохи сорванной городской модернизации Варшавы нарушается еще и бурным развитием города на Висле в конце XIX века. На рубеже веков и здесь наступила новая эпоха. Типичная для востока Центральной Европы догоняющая урбанизация позволила Варшаве стать мегаполисом не только в демографическом смысле: она имела следствием трансформацию обширных районов города, социальную дифференциацию жителей и появление современного городского образа жизни. Как и в других европейских мегаполисах, городское пространство в Варшаве все заметнее делилось на элегантный район нового «сити» и кварталы городской бедноты на окраинах и в северной части Старого города. В Варшаве сити с его современными административными, деловыми, торговыми и жилыми зданиями образовался в южной части центра (Śródmieście). Здесь появились новые роскошные постройки, зеленые бульвары, просторные площади и парки. Особенно презентабельная улица Маршалковская, обсаженная деревьями и предназначенная как для деловой жизни, так и для фланирования, была, что нетрудно заметить, создана по образцу парижских бульваров.

Эти аллеи служили пространствами репрезентации для современной архитектуры. На Маршалковской и прилегающих улицах, таких как Мокотовская, Кошикова и Пенкна, варшавские архитекторы на рубеже веков построили великолепные здания. Учитывая дефицит и чрезвычайную дороговизну земли, в этом буржуазном квартале возводили технически сложные постройки, этажность которых была рекордной для Российской империи: жилые дома имели обычно от восьми до десяти этажей, а в некоторых случаях жилые здания и конторы были даже выше⁴³³.

Возникновение новых жилых и коммерческих зданий сопровождалось обновлением городского транспорта. Вновь проложенные железнодорожные линии и их вокзалы существенно изменили облик примыкающих районов. Так, после открытия Варшавско-Венского вокзала Иерусалимские аллеи превратились

в одну из центральных транспортных осей. Конки, а после 1909 года электрические трамваи значительно повысили мобильность пассажиров в городе. С новым транспортом возникли новые перекрестки и транспортные узлы, вокруг которых бурлила ускорившаяся городская жизнь.

Становившаяся все более плотной система уличного освещения изгнала ночную тьму из центральных городских районов, а асфальтирование их улиц положило конец ежегодной распутице и летней пыли. Одновременно в центре были возведены филармония, театры, музеи, картинные галереи, кинематографы и кафе, ставшие новыми аренами городского стиля жизни, коренным образом менявшими городской культурный ландшафт⁴³⁴. Этот новый городской образ жизни отвечал потребностям крепнущего и богатеющего буржуазного гражданского общества в саморепрезентации и товарном потреблении. Вместе с тем он служил в Варшаве, как и в других крупных городах, двигателем для дальнейшей социальной дифференциации городского населения и для формирования растущего слоя неслужащей городской интеллигенции, в судьбе которой мегаполис был не только культурным космосом, но и тем, что обеспечивало доход. В конце XIX века эти «новые люди» уже стали неотъемлемым элементом варшавской городской жизни⁴³⁵.

В то время как под влиянием капитала и культурного потребления радикально преобразовался центр Варшавы, такие же революционные перемены произошли начиная с 1880-х годов и в облике и структуре ее окраин. Стремительная индустриализация превратила Варшаву в крупный промышленный город. Особенно способствовали развитию Варшавы строительство железных дорог и металлообрабатывающих предприятий, которые обслуживали внутренний российский рынок. На протяжении долгого XIX века столица Царства Польского стала одним из пяти крупнейших промышленных центров Российской империи. Фундаментальные процессы иммиграции из губерний Привислинского края и бывших восточных областей Польши привели к тому, что бедные кварталы быстро заполнились мигрантами, бежавшими из деревни и ищущими работу в городе. Благодаря им в Варшаве произошел демографический взрыв и в рабочих районах возникли изолированные, самостоятельные формы городской жизни.

Итак, в период между 1880 и 1914 годами Варшава радикально изменила свое лицо, и теперь жизнь города, в ее различных формах, ориентировалась на новые стандарты европейского модерна. Но каким образом эти изменения были связаны с петербургским владычеством и его представителями? Необходимо выяснить, как различные акторы имперского управления, сочетая административные ограничения, толерантность и раздачу привилегий, вмешивались в местные трансформационные процессы.

«Двоевластие» в Варшаве: президент города, обер-полицмейстер и муниципальная администрация

Царская бюрократия не была монолитна. Она имела ту сложную, столь же многослойную, сколь и неоднородную структуру, где люди с очень разнообразными концепциями участвовали в обеспечении процесса городской модернизации и в управлении им. И в этой структуре сосуществовали отчасти принципиально разные представления о том, что такое «современная жизнь» и кто должен быть к ней причастен. Так, наблюдались значительные различия между сторонниками, скептиками или противниками форсированной трансформации Варшавы. Мы видим не только существенные разногласия, но и столкновения внутри аппарата. В центре системы «двоевластия», которую уже современники рассматривали в качестве постоянного очага конфликта в городской администрации, стояли два протагониста: президент города и обер-полицмейстер⁴³⁶.

Активной силой, продвигавшей городские интересы в царской администрации, был, без сомнения, Варшавский магистрат и стоявший во главе его городской президент. Последний монополизировал право на все важные решения, он имел штат сотрудников, распределенных по многочисленным подкомиссиям, которые осуществляли сбор данных и составляли экспертные заключения, а также поддерживали контакты с представителями городского общества, чьи интересы затрагивались теми или иными проектами. В той мере, в какой деятельность этого ведомства может быть реконструирована, создается впечатление, что в различных службах, таких как магистратская канцелярия, строительный и санитарно-гигиенический надзор, экономический, финансовый и юридический отделы, работали профессиональные

чиновники, рассматривавшие себя как экспертов в сфере своей компетенции и культивировавшие ярко выраженный технократический дискурс⁴³⁷. Нельзя не заметить, что в Варшаве отсутствовала та классическая группа гонораторов, которая играла столь важную роль в составе и деятельности городских административных органов там, где существовали самоуправляемые магистраты. Главными фигурами здесь были не патерналистски властвующие члены совета из числа знатных и уважаемых родов, «отцы города», чьи плечи и грудь украшала тяжелая золотая цепь. Габитус муниципального административного чиновника в Варшаве был совсем иным: это был технократ, ориентированный на прогресс. Некоторые варшавские президенты имели за плечами военную карьеру, и, возможно, армейский опыт способствовал тому, что они отдавали предпочтение именно этой форме самопрезентации. Несомненно, важную роль играло присутствие инженеров на многих ответственных постах в магистрате. Представление о себе как о современной управленческой структуре, нацеленной на обслуживание интересов горожан, проявилось и в том, что Варшавский магистрат имел собственное статистическое бюро. Оно готовило данные для ежегодных отчетов, предоставляемых городом в Петербург, а кроме того, отличалось большой самостоятельной издательской активностью. Сбор данных, подсчет населения и землемерно-геодезические работы в городском пространстве – таковы были формы накопления современного управленческого знания, которое в XIX веке, в условиях прогрессирующей юридикации конфликтов по поводу земельной собственности, сделалось важнейшим ресурсом власти. Не случайно именно к этому магистратскому ведомству варшавский генерал-губернатор обращался с просьбой о помощи, когда хотел прояснить вопросы, касавшиеся прав собственности или землепользования⁴³⁸.

Магистрат помещался в представительном дворце Яблоновских, что отражало высокую значимость этого ведомства. Варшавская ратуша еще в 1860-е годы была значительно расширена и впоследствии вновь неоднократно расширялась. Она располагалась напротив оперного театра, т. е. в топографическом и символическом центре города.

Здесь, в ратуше на Театральной площади, были разработаны основы комплексного градостроительного планирования. Это было связано, в частности, с тем, что руководители магистрата пребывали

в должности удивительно долго: в отличие от генерал-губернаторов после Январского восстания варшавские президенты по большей части занимали свой пост более десяти лет⁴³⁹. С одной стороны, тем самым они приносили в городскую администрацию кадровую стабильность, а с другой – за долгие годы их службы интересы города становились для них собственными интересами. Неоднократно бывало так, что приходили они на должность чужаками, присланными из других мест, а с годами превращались в локальных патриотов, идентифицирующих себя с городом и гордящихся тем, чего достигли⁴⁴⁰.

Деятельность президента в области градостроительного планирования облегчалась тем, что городской бюджет с 1880-х годов постоянно и значительно увеличивался. Если в 1865 году городские доходы составили всего лишь 1,6 млн рублей, а к 1878 году увеличились только до 2 млн, то в 1888 году магистрат имел в своем распоряжении уже 3,9 млн, а в 1894 году – 5,3 млн рублей. К 1914 году бюджет увеличился до 16,1 млн рублей. Доход города в расчете на душу населения составлял в канун Первой мировой войны около 18 рублей⁴⁴¹. Имея больше денег, можно было больше сделать, хотя магистрат никогда не переставал сетовать на недостаток средств. Несмотря на то что чрезвычайные полномочия генерал-губернатора де-юре означали ограничение возможностей магистрата, де-факто президенту города и его ведомству все же удалось развернуть масштабную и долгосрочную деятельность в области городского управления и модернизации. Так, начиная с 70-х годов XIX века магистрат занимался реформированием системы общественного призрения в Варшаве и сравнительно успешно добивался сбалансированного бюджета⁴⁴². Президенты города инициировали ряд городских строительных проектов, заботились об улучшении транспортной инфраструктуры, водоснабжения и уличного освещения, параллельно стараясь увеличивать расходы на больницы и учебные заведения. В целом, по сравнению с другими городскими администрациями Российской империи, Варшавский магистрат отличался большой склонностью к инвестиционной деятельности. Так, расходы муниципальной администрации выросли с 10,2 млн рублей в 1910 году до 14,9 млн – в 1913-м. По капиталовложениям на душу населения Варшава занимала одно из первых мест в империи: в 1904 году городские расходы составили 25,5 рубля на душу

населения, что было существенно выше, нежели в Москве, Одессе или Киеве⁴⁴³.

Особенно много сделал в этой сфере Сократ Иванович Старынкевич, занимавший пост президента города почти два десятилетия – с 1875 по 1892 год – и проявивший способность осуществлять крупные и смелые проекты в условиях дефицита ресурсов и полномочий. Бывший артиллерийский инженер и генерал-лейтенант российской армии, он – тот редкий представитель бюрократии, о ком у поляков сохранилась добрая память как о человеке, неустанно заботившемся об интересах города.

Тем, что такие символы современности, как телефон и трамвай, появились в Варшаве уже в начале 1880-х годов, город был обязан этому царскому чиновнику и его ведомству. Ко времени его службы относятся превращение Маршалковской улицы и Иерусалимских аллей в шикарные бульвары и строительство газовых заводов в районе Воля, а также значительное расширение системы уличного освещения. Старынкевич, кроме того, инициировал создание нового публичного парка в центре города – Уяздовского, который быстро стал излюбленным местом прогулок варшавских фланеров⁴⁴⁴.

Но наиболее впечатляющим из проектов, осуществленных Старынкевичем, несомненно было фундаментальное обновление систем водоснабжения и канализации в растущем мегаполисе. Первые шаги по их модернизации сделал уже его предшественник – поляк Каликст Витковский. Для Старынкевича строительство закрытых систем снабжения Варшавы питьевой водой и отвода стоков, а также необходимых для этого современных очистных сооружений стало делом всей жизни⁴⁴⁵. Едва вступив в должность, он сразу призвал к разработке конкретного проекта для решения этой проблемы. Одним из первых его действий как президента города было создание в магистрате канализационного управления. В обоснование чрезвычайно дорогостоящего инфраструктурного проекта – обновления всей канализации в Варшаве – Старынкевич, с одной стороны, указывал на шедшие по всей Европе дебаты о санитарно-гигиенической пользе как фильтров для подготовки питьевой воды, так и закрытых канализационных труб (вместо сточных канав), а с другой – ссылался на результаты работы медицинской комиссии, которая изучала причины эпидемии холеры в Варшаве в 1867 году⁴⁴⁶. В итоге ему удалось

в 1879 году получить средства на канализационную сеть, и в 1881-м началось ее строительство.

Проект был поручен одному из известнейших европейских специалистов по канализационным системам – британскому инженеру Уильяму Линдли, который до того строил канализацию в Гамбурге, Дюссельдорфе и Франкфурте. Под руководством Линдли в 1880-е годы в Варшаве была построена одна из самых современных во всей континентальной Европе система фильтрации питьевой воды и обработки сточных вод. Это позволило не только значительно улучшить санитарно-гигиеническую обстановку в растущем мегаполисе на Висле, но и эстетически сделать Варшаву современным городом: именно закрытие сточных канав стало предпосылкой для создания городских бульваров с широкими тротуарами, мощением и деревьями⁴⁴⁷.

В этой связи должен будет остаться открытым вопрос, согласен ли был бы на столь дорогостоящую инвестицию тот классический городской совет из гонорациоров, какой был во многих российских городах с правами самоуправления. Варшавскому же магистрату, с одной стороны, пришлось получить обещание финансовой поддержки со стороны центральных петербургских инстанций, но, с другой стороны, не пришлось преодолевать сопротивление гражданского общества, которого эти гигантские расходы коснулись бы напрямую, поскольку оно платило налоги. То обстоятельство, что Старынкевич все же искал такого диалога с местной общественностью, свидетельствует о стиле его руководства, предполагавшем контакты с горожанами и учет их мнений. По инициативе президента Варшавский магистрат приглашал представителей общественности с совещательным голосом на заседания плановых комиссий, дал возможность в 1880 году провести общественные слушания по проекту канализации и призывал местную прессу обсуждать спорные вопросы. Одновременно Старынкевич позаботился о том, чтобы представлять общественности официальную информацию и обоснование запланированной широкомасштабной инфраструктурной меры. По поводу этого и других магистратских решений он – русский чиновник, назначенный Петербургом, – стремился к удивительно интенсивному диалогу с местным населением и одновременно создал весьма необычные для царского бюрократа формы публичности

и форумы общественного участия в управлении городом. Возглавляемый Старынкевичем магистрат сознательно общался с местным населением на польском языке⁴⁴⁸.

Все это способствовало тому, что, в отличие от большинства представителей царской бюрократии, президент города Сократ Старынкевич прорвал изоляцию русской общины в Варшаве. Он был принят в кругах польского общества, поддерживал дружеские контакты с представителями крупной варшавской буржуазии, они приглашали его на свои праздничные и культурные мероприятия⁴⁴⁹. После того как в 1892 году Старынкевичу по возрасту пришлось оставить службу, он остался жить в Варшаве до самой своей смерти. Его похороны в августе 1902 года стали торжественной массовой демонстрацией: сотни тысяч варшавян провожали тело бывшего президента своего города на православное кладбище в Воле.

Эти хорошие отношения с польским обществом, которых Старынкевич никогда не скрывал, нисколько не подрывали его авторитета в российских инстанциях. В глазах имперской бюрократии он тоже был ценным и уважаемым чиновником. Это видно, в частности, по исключительно высокой пенсии, которая была назначена бывшему президенту города после выхода в отставку: 3 тыс. рублей в год, которые получал Сократ Старынкевич, были исключительной привилегией, а значит – особой наградой, какой после него не удостоивался более ни один варшавский президент⁴⁵⁰.

Однако то, что ратуша во дворце Яблоновских превратилась в место интенсивных русско-польских контактов, было не только личной заслугой Старынкевича. Дело в том, что здесь гораздо больше, чем в других государственных органах, было польских служащих родом из Варшавы. В принципе, имперская администрация на низовых должностях везде была укомплектована в основном поляками-католиками⁴⁵¹. Кроме того, в аппарате управления города осталось большое количество чиновников-поляков со времен Зыгмунта Велёпольского и Каликста Витковского, к которым впоследствии добавились новые – прежде всего эксперты с инженерным образованием. Поэтому в глазах варшавской русской общины магистрат был «польским бастионом» или местом «польского сговора» и неоднократно раздавались призывы к штурму этой крепости. Тем не менее успехи различных кампаний по русификации аппарата были

скромными: высокая концентрация поляков-католиков среди сотрудников магистрата сохранялась и в начале XX века⁴⁵².

Не только Сократ Старынкевич был хорошим знатоком варшавского польского общества. Его не столь знаменитые преемники тоже поддерживали добрые отношения с горожанами. Как правило, генерал-губернатор высоко ценил ту роль посредников между российской администрацией и польской городской элитой, которую выполняли президенты города, и обращался к ним, когда искал диалога и сотрудничества с варшавянами⁴⁵³. По-видимому, президент города обычно брал на себя функцию обеспечения такой коммуникации.

Не был Старынкевич и единственным, кто активно способствовал городской модернизации. Его преемники выступали за продолжение этой линии и проявляли готовность содействовать обновлению городского пространства. Последующие президенты – Николай Бибилов, Виктор Литвинский и Александр Миллер – энергично отстаивали потребности растущего мегаполиса. Они неоднократно проявляли высокую, связанную с рисками готовность к капиталовложениям в области городской инфраструктуры. Так, Николай Бибилов инициировал строительство больших крытых рынков, которые должны были обеспечить снабжение Варшавы продуктами питания. Лучшим среди этих современных павильонов был, несомненно, построенный в 1899–1901 годах Мировский (Hale Mirowskie), при создании которого коллектив проектировщиков мог опираться на прежние планы знаменитого варшавского архитектора, Стефана Шиллера. При Бибикове же началось и возведение третьего моста через Вислу – самый крупный после строительства канализации инвестиционный проект магистрата.

Преемник Бибилова, Виктор Литвинский, помимо прокладки дополнительных телефонных линий, форсировал прежде всего электрификацию уличного освещения и трамвайной сети. Одновременно он осуществлял реконструкцию зданий, находившихся под государственным управлением. С 1908 года, например, шли масштабные работы по модернизации государственных театров. Не только тщательно отремонтировали фасады: в каждом театре была оборудована собственная электростанция со всем необходимым оснащением, а также система туалетов со смывом и внутренняя телефонная сеть⁴⁵⁴.

Благодаря этим инвестициям значительно изменилась и структура расходов городского магистрата. Если при Старынкевиче расходы в области водного хозяйства и канализации составляли чуть более 20% бюджета, то потом, к 1914 году, они значительно снизились. Даже наоборот: после того как была проложена значительная часть дорогостоящей трубопроводной системы, городские водопроводные станции в начале XX столетия начали ежегодно получать по 2 млн рублей дохода. Зато увеличились вложения в строительство и поддержание дорожно-уличной сети, и в 1914 году на это ушло более 24% расходов городского бюджета (самая крупная статья расходов за всю его историю). Значительно возросло также участие города в благотворительной деятельности и эксплуатации больниц. Если в 1883 году в них было инвестировано всего 3,2% бюджета, то в 1914-м магистрат выделил на них уже 16,6% своих средств⁴⁵⁵.

Такая активная инвестиционная деятельность в области обновления инфраструктуры мегаполиса требовала особого мышления, ориентированного на местные интересы и подразумевающего готовность рисковать ради развития города. Кроме того, ввиду нестабильного финансового положения городского бюджета от президента требовалась также большая настойчивость: достаточно часто городские интересы приходилось отстаивать, защищать от вмешательства генерал-губернатора или петербургских министерств.

Прекрасным примером такого конфликта может служить борьба Александра Миллера за интересы населения Варшавы. За годы президентства ему неоднократно приходилось оборонять немногочисленные зеленые зоны города от тех, кто желал использовать их под застройку. Защищая варшавские парки, Миллер был готов пойти как против генерал-губернатора, так и против министра внутренних дел. Начиная с 1906 года, уже при планировании строительства в Варшаве Русского народного дома, местные сторонники проекта и их петербургские покровители стали претендовать на участок, составлявший часть Уяздовского парка в северо-западном его углу, т. е. в одном из самых представительных мест нового варшавского сити. По инициативе Русского общества в Варшаве здесь должны были построить огромное здание для общественных мероприятий и конгрессов, с библиотекой и собственным театральным-концертным залом⁴⁵⁶.

Магистрат отклонил этот план, за который выступали такие могущественные фигуры, как генерал-губернатор Георгий Скалон и премьер-министр Петр Столыпин. Споры продолжались с 1906 по 1913 год, и в итоге магистрат победил. Русскому обществу пришлось довольствоваться другим участком для строительства. Тот факт, что Варшавский магистрат в отстаивании городских интересов смог одолеть сильных противников в Варшаве и Санкт-Петербурге, для проекта Русского дома означал преждевременную смерть: прежде чем возобновилось планирование строительства на предоставленном участке, который не нравился инициаторам проекта, война положила конец всей затее⁴⁵⁷.

О том, что продемонстрированная здесь способность Варшавского магистрата отстаивать интересы города не сводилась к единичным случаям, свидетельствует шедший параллельно конфликт вокруг строительства нового здания Православной духовной семинарии. Расклад сил в этом конфликте был аналогичным, если не считать того, что в лице православного епископа Варшавской епархии и деятелей Святейшего синода в упорную борьбу за подходящий участок земли были вовлечены дополнительные сильные и влиятельные акторы. В свете опыта постройки собора Святого Александра Невского – здания, занявшего бо́льшую часть Саксонской площади, – можно было бы предположить, что выбранный епископом кусок земли в районе на правом берегу Вислы, носящем название Прага, будет быстро предоставлен в его распоряжение под строительство семинарии. Однако и здесь сопротивление магистрата было энергичным и вновь успешным. Президент города и представители муниципальных ведомств ссылались на то, что согласно императорскому указу 1867 года этот участок перешел в собственность города и был зарезервирован для городского сада. Кроме того, подчеркивалось значение данного сквера для гигиены Варшавы: сокращение числа зеленых зон было бы весьма нежелательно, и особенно в густонаселенном рабочем предместье, таком как Прага, где их уменьшение было бы чрезвычайно вредно для местного населения, ведь здесь почти не осталось незастроенных площадей⁴⁵⁸.

Экономические, санитарно-гигиенические и – с оговорками – социально-политические соображения пересекались в мышлении муниципальных чиновников, которые, несмотря на, казалось бы,

безнадежное неравенство сил, выступали в этом конфликте весьма уверенно. И, как ни удивительно, в случае с проектом здания Православной духовной семинарии Варшавский магистрат опять сумел добиться победы над объединенной армией противников, состоявшей из православных церковных иерархов, генерал-губернатора и петербургского министра внутренних дел. Поскольку ожесточенная дискуссия о том, кто имеет право распоряжаться спорным участком общественной земли⁴⁵⁹, затянулась до лета 1914 года, с началом Первой мировой войны спор прекратился сам собой. Новая Духовная семинария так никогда и не была построена. На этом примере тоже видно, что президент города в первую очередь рассматривал себя как представителя местных, варшавских интересов, а ни в коем случае не как пособника имперской, русской, православной власти в ее стремлении распоряжаться пространством мегаполиса.

Очевидно, что должность президента города обуславливала особый взгляд на Варшаву и ее потребности. Это выражалось, в частности, в том, что у человека, занимающего данную должность, складывался чрезвычайно позитивный образ себя как двигателя модернизационных процессов в городе. В публикациях магистратского статистического комитета, посвященных развитию Варшавы, мы видим свидетельства того, что данное учреждение представляло себя основным носителем модернизации. Возглавляющие магистрат царские чиновники заботились одновременно о региональном и городском развитии, ставя на первый план потребности Варшавы – или, по крайней мере, то, как каждый из них эти потребности понимал.

Менее ярко это было выражено у других государственных чиновников, чьи должностные обязанности также затрагивали сферу городской администрации. В отличие от должности президента города на многих других уровнях бюрократии решающую роль играли принципиальные вопросы имперского правления, которые и определяли выбор при обсуждении того или иного градостроительно-планировочного решения. Насколько тесно взаимосвязаны были проблематика муниципального управления и имперская проблематика обеспечения порядка и укрепления власти, можно ясно показать на примере деятельности царской полиции и ее руководителей – варшавских обер-полицмейстеров.

Обер-полицмейстер непосредственно подчинялся Министерству внутренних дел и, таким образом, был в Варшаве в значительной степени автономной инстанцией⁴⁶⁰. Его должностные обязанности по обеспечению «правопорядка» в общественных местах указывают на двойственный характер деятельности этого чиновника: с одной стороны, его задачей было предотвращение или раскрытие уголовных преступлений, с другой – он был ответствен и за «политическую безопасность» беспокойных польских провинций. Одновременно его же ведомство обеспечивало надзор за городским строительством, торговлей и санитарно-гигиеническим состоянием города. Как видим, компетенции руководителя варшавской полиции демонстрировали принципиальную амбивалентность. К сфере его компетенций относились как общие имперские практики властвования, так и очень конкретные местные проблемы, возникающие в административной повседневной жизни мегаполиса. Несколько утрируя, можно сказать, что обер-полицмейстер должен был заботиться как о единстве и стабильности империи, так и о засорившихся канализационных трубах в варшавском предместье.

Для городской жизни обе стороны его деятельности были заметны и важны, потому что власть обер-полицмейстера глубоко вторгалась и в культурную жизнь мегаполиса на Висле, и в сферы строительства и аренды жилых помещений, предпринимательства и торговли. О том, как тесно общался обер-полицмейстер с местным населением, можно судить, в частности, по его официальным распоряжениям, которые регулярно публиковались в специальном двуязычном печатном органе – «Варшавской полицейской газете»⁴⁶¹.

Население зависело от начальника полиции в своей общественной жизни, так как до 1906 года без его разрешения нельзя было провести ни собрание, ни концерт, ни бал, ни лекцию, нельзя было создать ассоциацию или клуб. Тем не менее в Варшаве сформировался широкий спектр городских стилей жизни, возникали многочисленные театры, кафе-читальни и кинотеатры, организации создавались сотнями, и анонсы культурных мероприятий заполняли страницы объявлений в варшавских газетах: все это свидетельствует о том, что контрольная деятельность полиции вовсе не препятствовала культурной жизни города. С другой стороны, нельзя не отметить, что обер-полицмейстер оказывал формирующее влияние на городской

культурный ландшафт, запрещая, например, такие мероприятия, в которых предполагал связь с запрещенными политическими партиями; тем самым он существенно ограничивал прежде всего возможности развития благотворительных организаций и организаций самопомощи, занимавшихся социальными вопросами⁴⁶².

Но важнее для жизни горожан было то, что обер-полицмейстер осуществлял надзор за различными зонами взаимодействия предпринимателей и потребителей в строительной и коммерческой сферах. Так, он был обязан контролировать соблюдение правил строительства и, прежде всего, пожарной безопасности. Одновременно он ведал фабричной инспекцией и санитарно-гигиеническим надзором не только в общественных местах, но и на крупных и мелких предприятиях. В принципе, во многих областях существовала проблема «двоевластия» магистрата и полиции, так как сферы компетенции этих ведомств не всегда были четко отделены друг от друга. Это способствовало тому, что отношения между городской администрацией и полицией были сложными и конфликтными.

Столь часто вызывавшее нарекания «двоевластие» конкурирующих инстанций сильно затрудняло процесс урегулирования мелких, повседневных городских проблем. Красноречивым примером тому может служить коллапс вывоза снега в Варшаве зимой 1906/07 года. В ту зиму снегопады были необыкновенно обильны. Властям не удалось вывезти из города заледеневший снег, и в посленовогодние дни большая часть Варшавы стала непроходимой. В январе 1907 года обер-полицмейстер Мейер обратился к генерал-губернатору Скалону с жалобой, в которой указывал на упущения магистрата в деле уборки улиц, каковая, включая и зимнюю уборку снега, – читаем мы в жалобе Мейера, – входит в обязанности магистрата, но последний этой обязанностью пренебрегает по экономическим причинам⁴⁶³. В объяснительной записке президента города, как и следовало ожидать, дело было представлено иначе: корень зла, по утверждению президента, – не скупость магистрата, а необычайно сильные снегопады и завышенные цены на аренду гужевого транспорта для вывоза снега. Однако специальная комиссия, назначенная генерал-губернатором, обнаружила проблемы фундаментального свойства. Основной причиной вопиющей неспособности городских властей справиться со снегом является

вышеупомянутое «двоевластие» магистрата и полиции, существующее и в этой сфере: президент города действует как «хозяин», который предоставляет средства для очистки улиц, в то время как полиция выступает в качестве ведомства, отвечающего за проведение снегоуборочных мероприятий. И вот начальник городского гужевого парка — важнейшего органа, исполняющего указания обоих учреждений, — получил от них противоречивые предписания. Вывод комиссии был таков: для улучшения уборки улиц необходима фундаментальная реформа. В конечном счете проблему вывоза снега удалось решить только специальной мерой, принятой генерал-губернатором в разовом порядке: административным распоряжением он откомандировал дополнительные возы для транспортировки снега⁴⁶⁴.

Этот небольшой пример показывает, насколько сложными могли оказаться конкретные административные мероприятия при наличии проблем с разделением компетенций ведомств и как трудно бывало проводить реформы в ожесточенной атмосфере взаимного недоверия и первоочередной заботы о собственном интересе. Однако косвенно описанная ситуация свидетельствует и о том, насколько сильно был вовлечен обер-полицмейстер в повседневную жизнь муниципальной администрации. Магистрат не обладал монополией в деле управления городом. И все же противопоставлять «полонофильски» действующий в интересах общины варшавян магистрат с одной стороны и полонофоба-обер-полицмейстера — с другой было бы слишком большим упрощением, как показывает один многолетний спор, возникший между этими двумя ведомствами по поводу разваливающейся системы канализации в квартале Шмулик в предместье Прага. Получив жалобу от местных жителей, обер-полицмейстер Мейер вместе с медицинским инспектором своего ведомства в сентябре 1908 года осмотрел этот район в восточной части Варшавы и пришел в ужас: расположенные там мелкие предприятия, в основном занятые производством соли, обильными выбросами газов отравляли воздух. Но еще хуже были миазмы, которые поднимались от открытых сточных канав. Главную их причину полицейская санитарно-гигиеническая инспекция усмотрела в недостаточном перепаде высоты сточных канав, а также в недостаточном объеме воды в стоках. В отчете инспекции содержался призыв к магистрату осуществить скорейшую и капитальную реконструкцию канализационной системы в данном

районе. Но магистрат к этому не был готов. Он ответил, что, с учетом предстоящего в скором времени начала работ по созданию закрытой канализационной системы в Праге, такая дорогостоящая инвестиция была бы неоправданной. Вина за ужасающее положение дел лежала, по мнению представителей магистрата, также на владельцах окрестных домов, которые пренебрегали возложенными на них обязанностями по прочистке канав. Магистрат отказался делать большие капиталовложения в Праге – районе, о котором он в принципе мало заботился. Еще и в 1911 году проблемы со стоками там так и не были устранены, а жалобы местных жителей и ожесточенная переписка между ведомствами образовывали все более высокую стопку бумаг на столе генерал-губернатора⁴⁶⁵.

Варшавская городская администрация – несомненно, из финансовых соображений – не пошла на те меры, каких требовал от нее обер-полицмейстер, хотя, как он едко заметил, сумма, о которой шла речь, – менее 2 тыс. рублей – вряд ли пробила бы брешь в городском бюджете. Здесь проявилось высокомерие магистрата и систематическое пренебрежение потребностями бедных предместий: как и в других европейских мегаполисах, территориальное планирование и инновационная политика в Варшаве были ориентированы на буржуазные районы. В этих условиях обер-полицмейстер, подавая жалобу на бездействие городских властей, выступил истинным хранителем городского порядка и одобрил свое письмо указаниями на социально-политические последствия такого пренебрежительного отношения «господ» из ратуши к Праге⁴⁶⁶.

За этим самолюбованием полицейского чиновника, представившего себя народным трибуном, просматривается принципиальный конфликт интересов между двумя ведомствами: обер-полицмейстер был в Варшаве главной инстанцией, обязанной принимать превентивные меры по борьбе с эпидемиями и следить за их выполнением. Так, во время большой холерной истерии 1908 года ситуация в Праге стала предметом донесений и наблюдений. Не случайно обер-полицмейстер в гораздо большей степени, чем магистрат, учитывал общегородские взаимосвязи. В то время как магистрат осуществлял планирование градостроительства и благоустройства всегда в виде социально-пространственной сегрегации и, например, расширение электрической трамвайной сети

в представительной южной части центра Варшавы на левом берегу считал делом более важным, чем канализация в Праге, начальник всей варшавской полиции и работавшие в его ведомстве специалисты по санитарии и гигиене не могли не думать о высокой инфекционной опасности холерных вибрионов, которые в своем перемещении не останавливались на границах между районами города⁴⁶⁷. В некоторых случаях – например, при борьбе с эпидемиями – именно обер-полицмейстер мыслил в общегородском масштабе и, таким образом, – вольно или невольно – становился сильным союзником дела модернизации Варшавы.

Такой профиль «двоевластия» магистрата и полицейского ведомства одновременно показывает, насколько сильно обе инстанции влияли на развитие города и контролировали его. Управление Варшавой находилось в руках этих двух учреждений царской администрации, и они играли огромную роль в преобразовании городской среды. Их представителям приходилось согласовывать свою миссию по осуществлению имперской власти с управленческими мерами, продиктованными местным контекстом. Однако магистрат и полиция действовали отнюдь не в условиях вакуума власти – наоборот, им приходилось бороться за свои позиции в иерархической системе принятия решений, которую представляла собой царская бюрократия. Нередко те проблемы, какими занималась городская администрация в Варшаве, решались не в полицейском управлении и не в ратуше на Театральной площади: последнее слово оставляли за собой генерал-губернатор, располагавшийся в варшавском Королевском дворце, и далекие петербургские министерства – могущественные инстанции, которые любили принимать решения и регулярно вмешивались в дела городской администрации.

***Генерал-губернаторы и петербургские министры:
Варшава как имперский город. Взгляд из столицы на
локальный контекст***

Генерал-губернатор – сильнейший из акторов в городе на Висле – был непосредственно вовлечен в местные, городские повседневные проблемы. Он тоже вынужден был реагировать на те вопросы, которые регулярно ставились на повестку дня быстрыми переменами,

происходившими в Варшаве. Именно к генерал-губернатору прежде всего должен был обращаться магистрат, когда речь шла о решениях, касавшихся финансов, инфраструктуры, а также культурной жизни города. Нельзя было ни расширить улицу, ни заменить опору моста, ни проложить канализационную трубу, ни начать торги на ярмарке, ни открыть кинотеатр без согласия варшавского генерал-губернатора. Поэтому в многочисленных комиссиях, которые занимались горящими вопросами городской административной практики, регулярно председательствовал специальный представитель генерал-губернатора⁴⁶⁸. К тому же мы видим, что во многих конфликтах, возникавших по причине «двоевластия», все стороны обращались к генерал-губернатору как к примирительной инстанции. Хотел он или нет, а городские дела составляли значительную часть переписки его самого и его канцелярии. В Варшаве, таким образом, скорее имел место триумvirат, нежели «двоевластие».

В целом мы можем констатировать, что повседневные вопросы управления городом решались между ведомствами генерал-губернатора и президента почти бесконфликтно. Стандартные положительные резолюции генерал-губернатора на заявках магистрата исчисляются тысячами. Тем не менее можно обнаружить существенные различия в подходе к управлению Варшавой между городскими президентами с одной стороны и генерал-губернаторами – с другой. В выборе того или иного варианта действий и в ценностных мерках у них были принципиально разные приоритеты. Так, генерал-губернаторов трудно было заинтересовать долгосрочными проектами в области градостроительного планирования или далекоидущими инфраструктурными мероприятиями. Интервенционистский способ управления государством был им чужд. Поэтому существовал целый ряд проблемных областей – таких, как вопросы расширения города и жилищного строительства, – в которых президент города не мог добиться от генерал-губернатора активной и заинтересованной позиции⁴⁶⁹.

Усиливалось это различие тем, что чиновники магистрата и генерал-губернатор по-разному представляли, что такое городское пространство и каковы его функции и задачи. Генерал-губернаторы руководствовались пониманием пространства как сферы репрезентации власти, что было прямо противоположно лейтмотиву модерного,

технизированного городского пространства, характерному для президента города. Не только среди тех генерал-губернаторов, которые, как Иосиф Гурко, отличались явно выраженной полонофобией, господствовала трактовка варшавского городского пространства как площадки для репрезентации российского господства. Предшественники и преемники Гурко, менее враждебно относившиеся к полякам, все равно в первую очередь думали о визуализации российского господства на западной периферии империи. Городское общественное пространство, соответственно, было прежде всего местом проведения военных парадов и других ритуалов власти, местом для символических репрезентаций русской гегемонии, таких как присвоение названий улицам, возведение памятников и предпочтение архитектурных стилей, как-либо связанных с «империей» (ампир) или кем-то из царей, или таких как военные укрепления и иные демонстрации военной силы⁴⁷⁰.

Кроме того, поскольку православная религия в Варшаве воспринималась как нечто в значительной степени совпадающее с царской властью, православные церкви также могли взять на себя роль репрезентации империи. Их связь с ней подчеркивалась выбором архитектурного стиля русс. Уже построенная в варшавской Праге церковь Марии Магдалины была украшена фасадными элементами в таком неорусском стиле, т. е. воплощала эту новую эклектику якобы истинно русского происхождения. Безусловно, самым известным примером попытки переkreить варшавскую топографию с помощью зрительных символов русской гегемонии был монументальный собор Святого Александра Невского в центре города. Проект его строительства на Саксонской площади находился под непосредственным покровительством генерал-губернаторов, которые энергично выступали за его реализацию и, следовательно, за хотя бы частичную русификацию пространства.

Кроме того, военные нужды часто играли важную роль в установлении границ, с помощью которых генерал-губернатор препятствовал росту Варшавы. Та стратегия, где Варшаве отводилась роль важного оборонительного пункта по отношению к Пруссии и Германской империи, вследствие чего с 1890-х годов кольцо фортификационных сооружений вокруг города стало еще мощнее, была разработана в Военном министерстве в Петербурге. В рамках этой

системы генерал-губернатор как главнокомандующий войсками Варшавского военного округа был лишь исполнителем военной стратегии, определяемой в столице. Для него не было тайной, что кольцо укреплений до 1911 года блокировало пространственное расширение Варшавы и косвенно приводило к ряду серьезных негативных последствий, таких как перенаселенность, связанные с ней санитарно-гигиенические проблемы и, соответственно, повышенная опасность эпидемий. Тем не менее все запросы городского президента на разрешение использовать, хотя бы частично, пустующие земли вблизи фортов генерал-губернатор – по своей воле или вынужденно – отклонял⁴⁷¹.

Несмотря на то что, вводя или поддерживая все эти ограничения, генерал-губернатор препятствовал модернизации Варшавы, нельзя говорить о полном игнорировании им нужд развития города. Об этом свидетельствуют отчеты, которые генерал-губернатор ежегодно отправлял в Петербург, докладывая о состоянии вверенной ему административной единицы⁴⁷². Они показывают, как сильно влияло на взгляды генерал-губернатора всеобщее направление мышления, центральной категорией которого являлось развитие. Главной темой отчетов было – наряду с поддержанием спокойствия и порядка в крае – его растущее процветание. В ведомственной корреспонденции экономическое и культурное развитие Царства Польского и его административного центра служило важным аргументом в спорах о расширении компетенций или в конфликтах по поводу статуса в бюрократической иерархии. Местные генерал-губернаторы регулярно с гордостью указывали на то, что «их» Варшава является третьим по величине мегаполисом империи и экономически процветает. Таким образом, они поддерживали тот нарратив развития, в котором «устойчивое российское господство» с 1864 года служило лейтмотивом, а успех этого господства подтверждался в том числе – и прежде всего – расцветом городов в Привислинском крае.

При той полноте власти, какой обладал генерал-губернатор, индивидуальные предпочтения отдельных лиц, занимавших эту должность, не могли не оказывать большого влияния на городское развитие. Поэтому неудивительно, что у таких непохожих друг на друга генерал-губернаторов, как Петр Альбединский, Иосиф Гурко, Александр Имеретинский или Георгий Скалон, были разные

политические стили и подходы к решению одних и тех же вопросов. Их отношение к введению городского самоуправления может служить удачным примером, позволяющим более точно очертить эти различия. Если Альбединский инициировал учреждение в Царстве Польском выборных городских советов, то Гурко был решительным противником данного проекта⁴⁷³. Но одновременно нельзя не заметить, что в остальном их политические решения, касавшиеся хода модернизации Варшавы, принципиально не различались. В отличие от образовательной, языковой или религиозной политики вступление в должность нового генерал-губернатора не означало заметного перелома в этой сфере. Нацеленность на развитие города была общей чертой всех лиц, занимавших высшую административную должность в Царстве Польском. Не забудем, что именно в «темные годы» правления Гурко Варшава обрела свою образцовую канализационную систему.

Однако в восприятии генерал-губернаторов главный город Царства Польского всегда был частью чего-то большего – единого комплекса империи. В этом отношении такой генерал-губернатор, как Иосиф Гурко, существенно не отличался от своих преемников – Александра Имеретинского или Георгия Скалона. Этот имперский горизонт четко прослеживается по тому, что именно предпринимали генерал-губернаторы в связи с неоднократно грозившими городу эпидемиями холеры. В отличие от обер-полицмейстера, который в первую очередь старался предотвратить или сдержать распространение болезни по всему городу, генерал-губернаторы, как свидетельствуют документы из их канцелярии, мыслили в общероссийском масштабе и подчеркивали способность эпидемии распространяться на смежные регионы и государства⁴⁷⁴. Проследивая движение возбудителей холеры от Астрахани или Царицына до Варшавы, верховные царские чиновники в Царстве Польском не только показывали, что усвоили медицинские познания о причине этого заболевания и борьбе с ним. Они также демонстрировали, что сама должность заставляет их рассматривать варшавские проблемы как часть имперского целого. Именно значение тех или иных событий и явлений в контексте этого целого – в большей мере, нежели конкретный ход дел на местах, – было определяющим фактором для действий генерал-губернаторов. Об этом свидетельствуют составленные ими отчеты, где подчеркивается

актуальность таких проектов, как железная дорога или постройка моста, для всей России: не Царство Польское или Варшава находятся в центре внимания, а их развитие в контексте усиления империи и роста ее престижа. Поэтому мы видим и значительную разницу между позициями варшавского президента, ориентировавшегося на местное общество, и генерал-губернатора как представителя имперской бюрократии. Этой разницей объясняются многие из различий в подходах того и другого к модернизации Варшавы.

Такая акцентировка общеимперской актуальности различных проектов была тем более характерна для тех инстанций в Петербурге, которые принимали решения о крупных инвестициях. Комитет по делам Царства Польского и столичные министерства, прежде всего внутренних дел и финансов, ведали всеми принципиальными вопросами, касающимися края, в том числе и модернизацией Варшавы. К этим инстанциям Варшавский магистрат должен был обращаться, в частности, по поводу кредитования крупных строительных проектов. Таким образом, Министерство внутренних дел и Министерство финансов располагали рычагами управления, с помощью которых существенно влияли на ход событий в мегаполисе на Висле. Например, большой кредит в размере 33 млн рублей, предоставленный Варшавскому магистрату в 1903 году, вызвал кратковременный строительный бум и «перегрел» инвестиционный климат в городе, на фоне чего резкий спад, вызванный сокращением промышленного производства после начала Русско-японской войны в 1904 году, выглядел особенно глубоким⁴⁷⁵.

Итак, петербургская бюрократия была значимым актором и на локальной арене Варшавы. Но и здесь не складывается однозначной картины: в административной деятельности столичных чиновников и министров были представлены все варианты в спектре от жесткого блокирования изменений до активного их инициирования. Если говорить о варшавских делах, то «список грехов» у Петербурга был длинный: хроническое недофинансирование городского бюджета; зависимое положение, в котором удерживался магистрат за счет запрета любых форм муниципального самоуправления; пресловутое кольцо укреплений, мешавшее расширению города, – вот лишь некоторые, наиболее убедительные примеры негативного влияния принципиальных политических решений, принимаемых в имперском

центре, на развитие Варшавы. Дополнительные неблагоприятные эффекты возникали, когда, например, высокие затраты на постройку крупных соединений войск в Варшаве частично перекладывались на городской бюджет. Запрет петербургского Военного министерства на строительство новых железнодорожных линий в западном направлении приносил ущерб столице Царства Польского как промышленному центру и значительно ограничивал почтовое и пассажирское сообщение между Варшавой и Берлином⁴⁷⁶.

Кроме того, Министерство внутренних дел и премьер-министр непосредственно вмешивались в споры между группами, представлявшими интересы разных жителей мегаполиса на Висле. В особенности для варшавской русской общины Петербург выглядел не нейтральным арбитром, а решительным заступником «русского дела», которое, как считали русские варшавяне, они отстаивали. В лице Петра Столыпина они нашли союзника, который был готов использовать свое влияние ради интересов этой небольшой части населения Варшавы. Переписка между варшавским генерал-губернатором и премьер-министром свидетельствует о том, что Столыпин активно вмешивался в повседневную жизнь и отношения варшавян и притом однозначно выступал на стороне «русских». Польским населением города это воспринималось и критиковалось как интриганство, пристрастность и неуместное вмешательство извне⁴⁷⁷.

Но, если мы на такой характеристике влияния центральных властей на местные дела и остановимся, картина не будет полной. Можно назвать целый ряд мероприятий, инициированных из Петербурга, которые были положительно оценены польскими жителями. Важным примером в этом ряду является открытие Политехнического института. С инициативой создания такого высшего учебного заведения выступило Техническое отделение Варшавского общества для содействия русской промышленности и торговле, нашедшее влиятельного союзника в лице генерал-губернатора Имеретинского. Но реальное создание института входило в компетенцию петербургского правительства. После того как Николай II одобрил проект, Комитет министров в феврале 1898 года принял постановление о создании учебного заведения, и уже в сентябре того же года институт принял первых студентов⁴⁷⁸.

Политехнический институт был вторым высшим учебным заведением в Царстве Польском и в последующие годы сыграл важную роль в подготовке деятелей модернизации и формировании местной технической элиты. Здесь была воспитана когорта инженеров и специалистов, которым суждено было сыграть центральную роль в реализации модернизационных проектов как в Российской империи, так и во Второй Польской республике межвоенного периода. Открытие института было с восторгом воспринято польским обществом⁴⁷⁹, которое придавало ему огромное значение. Это проявилось, например, в том, что на первых порах равнодушные граждане предоставили для занятий студентов временные помещения на престижной Маршалковской улице (в доме 81). Строительство крупного комплекса зданий для института, спроектированного знаменитым варшавским архитектором Стефаном Шиллером в неоренессансном стиле, продвигалось стремительно. Внушительный, созданный также Шиллером, Большой актовый зал был стилистической смесью королевского замка, напоминающего краковский Вавель, и головокружительно высокого церковного нефа, символизирующего статус Политехнического института как храма науки. Так языком архитектурных форм были выражены те большие ожидания, которые значительная часть польского общества связывала с этим учреждением⁴⁸⁰.

Однако у петербургских властей взгляд на варшавский институт был совсем другой. Открывая его, они думали в первую очередь не о содействии развитию именно этого региона: подобные институты в то время создавались по всей империи. Значительные государственные капиталовложения в данной сфере были обусловлены пониманием того, что техническое образование, предлагавшееся до тех пор в рамках элитных дворянских учебных заведений, не могло удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах, которая постоянно росла в быстро индустриализирующейся стране. Таким образом, Варшавский политехнический институт стал одним из элементов крупномасштабного общеимперского проекта по созданию в Российской империи собственной когорты специалистов-техников. Тот факт, что в числе его студентов оказалось большое число местных поляков, не столько отвечал поставленной цели, сколько был «издержкой», с которой петербургские власти смирились.

Это, в свою очередь, полностью противоречило взгляду царских чиновников, несших службу в Варшаве. Генерал-губернатор писал, что продолжающийся многие годы, в том числе из-за отсутствия образовательных учреждений, отток польской интеллигенции за границу – серьезная проблема для вверенного ему региона. Он подчеркнул важность института и для «внутреннего воздействия на сознание, на душу» местной молодежи: отрицательное отношение молодых поляков к царской власти возникает или усиливается во время обучения за рубежом либо в подпольных учебных заведениях. Этому можно противодействовать только с помощью легального высшего учебного заведения в Привислинском крае, писал генерал-губернатор⁴⁸¹.

Петербургские инстанции действовали в рамках имперской логики, примером чему может служить эпизод с мостом через Вислу, который был построен после 1900 года и назван в честь Николая II⁴⁸². Этот инфраструктурный проект имел огромное значение для Варшавы, потому что «третий мост», как его называли в прессе тех лет, открывал напротив нового района сити новую транспортную артерию для пассажирских и грузовых перевозок между западным и восточным берегами, т. е. в том числе между западными и восточным железнодорожными вокзалами. Кроме того, в ходе обширных строительных работ произошла трансформация района Повисле, расположенного в долине Вислы, и открылась возможность освоения пустоши Саска Кемпа на восточном берегу реки. А благодаря этому возникала и перспектива значительного расширения города, которое обещало снизить давление населения в перегруженных центральных районах⁴⁸³.

Строительство моста, затянувшееся на срок от 1904 по 1914 год, стало возможным только благодаря выделению Санкт-Петербургом крупного кредита, в котором значительная сумма была зарезервирована именно для этого проекта⁴⁸⁴. Однако официальное разрешение петербургских министерств на постройку моста было обусловлено не стремлением стимулировать региональное развитие, а экономическими и, прежде всего, военно-стратегическими соображениями общеимперского масштаба. Здесь мы можем в концентрированном виде наблюдать ту разницу углов зрения, которая во время многочисленных дискуссий по поводу модернизационных проектов становилась

источником недоразумений и конфликтов. В локальной перспективе мост представлял собой инфраструктурный проект, связь между западным и восточным берегами Вислы. В имперской же – был прежде всего приспособлением, облегчающим передвижение войск и тем самым способствующим защите западной границы Российской империи. В отношении моста через Вислу сферы интересов имперской и местной направленности соприкасались. Однако достаточно часто – например, в случаях с фортификационными сооружениями, окружавшими Варшаву, с постоями войск или с замедленным строительством железных дорог – эти логики оказывались взаимоисключающими, и тогда местная политика развития наталкивалась на непреодолимое препятствие.

В принципе, превращение Варшавы в современный мегаполис происходило не в стороне от этих структур и акторов, а в том пространстве возможностей, которое они создавали. Империя – в лице тех, кто принимал в ней решения, – задавала условия, рамки, в которых могла происходить эта трансформация. Конфликтный контекст городского развития, созданный имперскими административными структурами, конечно, не был спецификой Варшавы. На примере Москвы тоже можно показать острые конфликты, происходившие между выборным органом муниципального самоуправления и исполнительной властью, между государственными чиновниками в городе и петербургскими министрами. Однако в Варшаве сложилась особая ситуация: в отсутствие городского самоуправления все компетенции принятия решений находились в руках государственных чиновников, которые были в городе чужаками. Ведь даже самый преданный Варшаве президент все равно был назначенным, т. е. не избранным, был бюрократом, прибывшим извне и отчитывающимся только перед своим начальником – петербургским министром внутренних дел. Монополия на власть, неизменно остающаяся в руках чужеземной бюрократии, закрепила у местного польского общества ощущение, что российские властители намеренно отсекают его от благ современной европейской жизни. Но даже назначенная из столицы администрация не могла действовать в полном отрыве от местного населения. Она была вынуждена общаться с ним и – отчасти – была способна даже сама искать диалога и вести его.

МОДЕРНОСТЬ КАК ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ: О ПРЕОБРАЖЕНИИ ВАРШАВЫ И О ЗОНАХ КОНТАКТА В КОНФЛИКТНОМ СООБЩЕСТВЕ

Позитивисты и филантропы: варшавское общество и имперская бюрократия в процессе городской модернизации

Быстроте изменений, происходивших с городом Варшавой, соответствовала и глубина изменений, происходивших с городским обществом. Население Варшавы быстро расслаивалось и делилось на новые группы по мере того, как в город притекали массы мигрантов из окрестностей и районов, расположенных дальше к востоку, и по мере того, как происходили социальные и культурные перемены и возникали новые политические движения. Говорить о каком-то едином «варшавском обществе» невозможно, если учитывать совершенно различные культурные типы и горизонты опыта, например, старых аристократических элит, «новых людей» из числа представителей свободных профессий и простолюдинов, бежавших в город из сельской местности, а также различные среды обитания, сосуществовавшие в этом «городе трех наций»: католическую, иудейскую и православную общины с их разными ценностями, параллельными сетями социальных связей и отдельными районами расселения. Неоднородность населения была огромной, и Варшава, казалось, распадалась на множество различных общностей, которые друг с другом общались мало, редко, а то и вовсе никогда.

Все эти группы и социальные среды практиковали различные формы взаимодействия с царской администрацией и ее представителями. Одни старались крепить режим сотрудничества, другие – избегать каких-либо соприкосновений и держаться подальше от русской власти, в своих изолированных католических или еврейских мирах, а некоторые с бомбой и пистолетом в руке нападали на имперских сановников. Эта часть книги посвящена первой группе, в ней речь пойдет о тех значительных акторах, которые сознательно

стремились к довольно напряженному, но ненасильственному взаимодействию с царскими чиновниками. Здесь наша цель – выявить те круги в варшавском обществе, которые вступали в диалог с администрацией, и определить формы этого диалога, а также темы, вокруг которых он преимущественно разворачивался. Таким образом, в центре рассмотрения окажется гражданское общество – те из варшавских гонораторов, кто – хотя это часто были люди с аристократическими корнями – составлял варшавскую городскую буржуазию. Они были готовы к сотрудничеству с местными представителями петербургской власти, и – по крайней мере, иногда и хотя бы отчасти – царские чиновники прислушивались к тому, что они им говорили. Усилия этих гонораторов по установлению контактов еще раз подчеркивают неоднородный характер российской бюрократии в Царстве Польском. Кроме того, на примере этого диалога можно будет продемонстрировать, какой интенсивной и непрерывной была коммуникация между царскими чиновниками и польским обществом, хотя она не обязательно означала взаимное согласие, а протекала зачастую даже достаточно конфликтно.

После того как опыт неудавшихся восстаний, последовавших за ними жестокими российскими репрессиями и установленным в 1864 году всевластия царских чиновников подорвал волю к борьбе за освобождение от российского владычества, часть польского общества пришла к осознанию того, что сотрудничество с имперскими властями необходимо, причем с точки зрения как местных интересов, так и общепольских. Особенно в последние два десятилетия XIX века поляки начали искать в среде могущественной русской бюрократии тех, с кем могли бы вести диалог. Такие поиски осуществляли с одной стороны поборники движения, нацеленного на «примирение», «согласие» (*ugoda*) с российскими властями, и прежде всего лично с верховным властителем; с другой стороны – представители уже упомянутого варшавского позитивизма, наиболее интенсивно налаживавшие контакты с царскими чиновниками. Эти два течения будут ниже обрисованы более обстоятельно.

«Угодовцы» происходили из консервативно-аристократической среды землевладельцев и, не говоря этого вслух, продолжали традиции Александра Велёпольского, политическая концепция которого гласила, что изменение ситуации в Польше может происходить только в тесном

сотрудничестве с Россией. Оформившиеся в 1882 году в самостоятельную политическую группировку, а в 1905-м слившиеся с Партией реальной политики (Stronnictwo Polityki Realnej), угодовцы подчеркивали, что лояльность монарху является основой их деятельности⁴⁸⁵. Поскольку жесткий цензурный режим в Варшаве сильно ограничивал возможность публичных дебатов по поводу программы, подлинный пресс-центр этого движения сформировался в Петербурге. Там выходил польскоязычный журнал Kraj, который стал центральным печатным органом всех сторонников примирения и согласия в Российской империи и имел много читателей в Царстве Польском. В этом печатном органе работали такие влиятельные сторонники «угоды», как главный редактор Эразм Пильц и издатель журнала юрист Влодзимеж Спасович⁴⁸⁶. Хотя угодовцы так никогда и не стали сильной политической организацией, они все же сформулировали несколько фундаментальных программных положений, которые – как, например, антинемецкая направленность – оказали сильное влияние на польскую идейную жизнь. Царские власти, контакта с которыми искали угодовцы, были, впрочем, прекрасно осведомлены об относительно изолированном положении этой группировки в польском обществе. Тем не менее она была для имперской администрации важным партнером по коммуникации, так как в лице угодовцев русские чиновники имели дело с людьми, в принципе – хотя и отнюдь не безоговорочно – готовыми к диалогу⁴⁸⁷.

То же самое относится и к представителям общественного течения, вошедшего в историю под названием «варшавский позитивизм». Эта польская адаптация позитивизма стала базой для чрезвычайно влиятельного движения в польском обществе 1880–1890-х годов, так что часто говорят даже об «эре позитивизма»⁴⁸⁸. Под влиянием Огюста Конта варшавские позитивисты разработали свой общественно-политический прагматизм, который сознательно порвал с пафосом романтического периода восстаний. В программе этих позитивистов были требования не независимости и не воссоединения Польши, а, в лучшем случае, расширенной автономии и частичного самоуправления. Пропагандируемая ими концепция «органичного труда» гласила, что «работа у основ» в областях экономики, образования и науки позволит обеспечить выживание нации без государства.

Своим открыто демонстрируемым антиаристократическим габитусом позитивисты значительно отличались от консервативных представителей дворянства (в том числе и высшего), представлявших концепцию «угоды». Несмотря на то что между двумя лагерями существовали некоторые точки соприкосновения в программах и реальной политике, их разделяли принципиальные разногласия: позитивисты однозначно выступали за «прогресс» в смысле технической, промышленной и социально-культурной модернизации страны, ее городов и населения; для них на первом плане стояло развитие образования, науки и экономики, которое они объявляли патриотическим долгом. Элиты открыли «народ» и пытались его просвещать посредством многочисленных образовательных инициатив. Цель состояла в том, чтобы из крестьян сделать поляков. Образование тоже было патриотическим актом, так как речь шла о заложении основ национального самосознания среди широких масс населения⁴⁸⁹. Прославление «органичного труда» у позитивистов связывалось с такими представлениями о модерности и нации, которые в значительной степени определялись научно-техническим дискурсом. Обновление, понимаемое подобным образом, обещало поставить польскую нацию на современную – а значит, и без собственного государства жизнеспособную – основу.

Многочисленные влиятельные представители такого позитивистского прагматизма подвизались в политических, общественно-просветительских или культурных сферах. Многие из них учились в Варшавской главной школе, которая за короткое время своего существования превратилась в кузницу кадров позитивизма. Прежде всего здесь следует назвать имена адвоката, правоведа, публициста Адольфа Сулиговского и писателя, историка, главного редактора еженедельника *Prawda* Александра Свентоховского⁴⁹⁰. Именно эта среда адвокатов, публицистов, писателей и ученых, включавшая таких влиятельных людей, как Болеслав Прус, Генрик Сенкевич или Ян Бодуэн де Куртенэ, наиболее активно отстаивала позитивистские позиции. Заметки Болеслава Пруса в таких печатных органах, как *Kurier Warszawski* или *Nowiny*, воспринимались современниками в качестве позитивистских манифестов, указывающих направление дальнейшего движения⁴⁹¹.

Все позитивисты стремились к культурному, научному и экономическому развитию Царства Польского под знаком политического прагматизма. Одной из центральных тем, которыми они занимались, была стремительная трансформация Варшавы, проявившаяся в форме «жилищного вопроса», а также социальных, моральных и санитарно-гигиенических проблем городских низов. Здесь особенно выдающуюся роль играл Адольф Сулиговский, который уже в 1889 году написал записку, где указал на огромный подрывной потенциал жилищного вопроса и на связь между нехваткой жилья, ужасающими санитарно-гигиеническими условиями, высокой смертностью и скрытой опасностью эпидемий⁴⁹². Из сказанного видно, что и в Варшаве вторая половина XIX века была временем наивысшего подъема гигиенистского движения и медиализации дискурсов о проблемах общества. Формировавшееся в столице Царства Польского гражданское общество, находясь под влиянием идей позитивизма, сделало местное Гигиеническое общество (Warszawskie Towarzystwo Higieniczne) одним из центральных институциональных локусов своей самоорганизации. У этого общества имелся собственный печатный орган – журнал *Zdrowie*, и посредством многочисленных публикаций в нем оно принимало самое живое участие в дискуссиях по проблемам, связанным с быстрым ростом городов, жилищно-бытовой гигиеной и новыми принципами гигиены тела. Варшава, где состоялись в 1887 и 1896 годах две крупные тематические выставки, стала лидером гигиенического движения в Российской империи. Эти выставки, пользовавшиеся необычайным успехом, проходили в Уяздовском парке – месте, символическом с точки зрения санитарно-гигиенического оздоровления города. По данным организаторов, выставку 1887 года посетило до 100 тыс. человек, а в 1896 году было 140 тыс. гостей, купивших билеты, плюс 100 тыс., посетивших экспозицию бесплатно.

Однако все эти действия формирующегося и начинающего заявлять о себе гражданского общества были возможны только в тех зонах свободы, которые предоставляла царская администрация. Приходилось либо придерживаться правовых рамок – соблюдать требования регистрации организаций и получения разрешений на мероприятия, – либо переходить в нелегальную сферу. Поэтому постоянные контакты с инстанциями царской администрации,

уполномоченными принимать соответствующие решения, были частью повседневной рутины любой общественной организации. В конце XIX века, в периоды расцвета как позитивизма, так и фракции «согласия», между угодниками и позитивистами с одной стороны и государственными чиновниками – с другой было необычайно оживленное общение, хотя точки соприкосновения все же отчасти различались и истолкования происходящего тоже не совпадали.

Коммуникация между российским генерал-губернатором и активистами этих двух движений протекала отнюдь не бесконфликтно и в том, что касалось вопросов управления городом. Это было вызвано тем, что даже частности управленческой практики или социальные проблемы Варшавы тут же связывались с «большими вопросами» – такими, как положение Польши в империи или участие общества в делах государства. То была, говоря в целом, очень бурная история сотрудничества и конфликта, зачастую тесно соседствовавших друг с другом.

Снова и снова в этой истории становились видны границы сотрудничества между имперскими чиновниками и представителями польского общества. Это было особенно характерно для первых лет после разгрома Январского восстания 1863 года. При наместнике Ф. Ф. Берге и генерал-губернаторе П. Е. Коцебу царило строгое разделение между петербургскими победителями и побежденными варшавянами и общения через «линию фронта» между ними почти не происходило. Заметная разрядка напряженности и готовность к диалогу были характерны только для периода правления либерального генерал-губернатора Петра Альбединского, который встретил большую поддержку с польской стороны, когда осуществлял свои реформы в области городского самоуправления⁴⁹³. Гурко же, занимавший пост генерал-губернатора с 1883 по 1894 год, не скрывал своего презрения к польскому обществу вообще и к той его части, которая в принципе была готова к сотрудничеству с имперскими властями. Десятилетие его правления по праву считается одним из самых сложных этапов в истории российско-польских отношений между 1864 и 1914 годами на этом высшем уровне администрации Царства Польского.

Тот факт, что 1880-е годы были тем не менее временем расцвета варшавского позитивизма, указывает на силу этого движения, которое, даже в условиях диктата Гурко, в принципе признавало необходимость

общаться с имперской бюрократией. Осознание такой необходимости не означало капитуляции перед русскими (в которой позитивистов обвиняли тогда их противники): это была осуществленная позитивистами – с полным сознанием собственных сил и возможностей – формулировка своих позиций, которые при определенных условиях позволяли сотрудничать с официальными инстанциями. И не случайно общение на уровне городской администрации стало особенно интенсивным именно тогда, когда магистрат, возглавляемый Сократом Старынкевичем, продемонстрировал готовность допустить поляков к участию в принятии некоторых – важных для города – решений⁴⁹⁴.

Но даже после того, как Иосиф Гурко был отозван, коммуникация между царскими чиновниками и представителями местного населения оставалась нестабильной. Например, Имеретинский неоднократно запрещал публичные выступления таких влиятельных польских деятелей, как Адольф Сулиговский, Александр Свентоховский или маркиз Зыгмунт Велёпольский, ссылаясь на то, что в своих речах или лекциях они слишком сильно подчеркивают «польскую самобытность», тем самым желая подчеркнуть разницу между Царством Польским и империей⁴⁹⁵. Всякий раз, когда властям казалось, что звучит этот опасный топос, от толерантности генерал-губернаторов не оставалось и следа. Так, в 1908 году торжество в честь сорокалетия деятельности ученого, поэта, публициста и истового позитивиста Александра Свентоховского переросло в нечто большее, когда организаторы, пригласив делегатов от крестьянства, собрались чествовать, как показалось русским чиновникам, единство польского народа и его отличительные национальные особенности. Генерал-губернатор, заявив, что планируется демонстрация «польской обособленности», запретил вообще любые торжества⁴⁹⁶.

Границы толерантности генерал-губернаторов по отношению к деятельности позитивистского движения отнюдь не отличались широтой. Это было связано, с одной стороны, с конкретными политическими конstellляциями и актуальными спорными вопросами. Но, с другой стороны, за конфликтами в польско-русском диалоге стояли гораздо более глубокие причины, нежели одна опасная тема, которой кто-то мог коснуться в праздничной речи. В самом своем принципе некоторые из модернизационных проектов, предложенных

польскими позитивистами именно в сфере городского управления, взрывали рамки действий чиновников. Ведь при всей риторике развития основное внимание генерал-губернатора было направлено на поддержание общественного спокойствия и порядка, внутреннего мира и, следовательно, на сохранение статус-кво, а радикальные модернизационные концепции, наоборот, угрожали существующему социальному балансу. Например, более широкое участие общества в процессах принятия решений, которого требовали позитивисты, поставило бы под сомнение традиционные и по-прежнему устойчивые границы между сословиями в Российской империи. А такие позитивистские требования, как активное «решение» жилищного вопроса государственными инстанциями, предполагали совершенно иные представления о государственном интересе, нежели те, что соответствовали самосознанию царских чиновников и их представлениям о надлежащем порядке вещей⁴⁹⁷.

И все же, несмотря на все эти барьеры, то и дело наблюдались периоды или ситуации, когда имперские должностные лица не мешали активистам польского гражданского общества. Иногда бывало и так, что эти неравные партнеры по конфликтному и интеракционному сообществу интенсивно и продуктивно сотрудничали. Примеров развития гражданских инициатив, выдвинутых варшавской городской буржуазией, множество, и самый известный из них – это, безусловно, установка помпезного памятника Адаму Мицкевичу, инициированная польскими гонорациорами и дозволенная генерал-губернатором. Возведенная и освященная в 1897–1898 годах, статуя заняла видное место прямо на улице Краковское Предместье, в двух шагах от резиденций варшавского губернатора и генерал-губернатора⁴⁹⁸.

Когда в начале XX столетия разрабатывались планы установки в Уяздовском парке первого памятника Шопену, такая свобода развития монументальной культуры, предоставленная полякам генерал-губернатором, зашла, по мнению некоторых представителей русского общества, уже слишком далеко. В жалобе на имя министра внутренних дел они сетовали на то, что польское общество свободно осуществляет свои «национальные домогательства» в публичном пространстве и на казенной земле «может поставить свой памятник польскому национальному музыканту Шопену»⁴⁹⁹. На генерал-губернатора,

однако, этот протест не произвел никакого впечатления, и открытие памятника состоялось, как и было запланировано.

Другие примеры тоже свидетельствуют о том, что представители польской общественности вполне успешно реализовывали проекты по вопросам городской культуры, развития образования, а также городского социального обеспечения и гигиены, поддержанные или по крайней мере не блокированные соответствующим генерал-губернатором. Особенно в 1890-е годы, благодаря многочисленным инициативам состоятельных и влиятельных варшавян, были созданы коммерческие и ремесленные училища, открыты музеи промышленности, сельского хозяйства или ремесла, государственные больницы и библиотеки, введены в эксплуатацию недорогие народные бани. Нередко эти учреждения финансировались исключительно за счет частных средств и подтверждали удивительную эффективность гражданской филантропии.

Образовательные учреждения были центральными объектами гражданских инициатив. Так, при организации Политехнического института движущей силой стали представители варшавской буржуазии. Казимеж Обрембович, директор Технического отделения Варшавского общества для содействия русской промышленности и торговле, инициировал создание института, а предприниматель и банкир Станислав Ротванд координировал общенациональный сбор средств, который принес в общей сложности более миллиона рублей. Даже после того, как в Петербурге было принято положительное решение о создании института, именно варшавское гражданское общество позволило быстро начать обучение в нем: в частности, «король польской железной дороги» Ян Блох (в русском обиходе – Иван Блюх) предоставил для учебного заведения временное здание⁵⁰⁰.

То, какое огромное значение польские элиты придавали открытию новых образовательных учреждений, внезапно стало ясно царским властям, когда они во время революции 1905 года временно ввели более либеральные правила получения разрешений на открытие школ. Польское общество тут же быстро и эффективно организовало автономную и разнообразную сеть частных школ и высших учебных заведений. Здесь можно назвать не только уже упомянутую известную Польскую школьную матицу, в которой доминировали национал-демократы, и организованный их конкурентами – социалистами

Университет для всех (Uniwersytet dla Wszystkich) или политически нейтральный, основанный еще в 1881 году Фонд Юзефа Мяновского (Kasa im. Józefa Mianowskiego): после 1905 года было создано множество менее известных частных школ. Хотя многие из этих учебных заведений вскоре были по указу генерал-губернатора закрыты, нет оснований считать, что царские власти намеревались вернуться к политике тотального запрета. Наоборот, временное закрытие польских средних школ было охарактеризовано самими чиновниками как «крайняя мера административных репрессий», которая обоснована непрекращающимся бойкотом государственных школ и участвовавшими нападениями на их учеников⁵⁰¹. Когда польская пресса публично дистанцировалась от этих актов насилия, генерал-губернатор Скалон разрешил вновь открыть ранее закрытые учебные заведения. Таким образом, ни в коем случае нельзя утверждать, будто российская администрация принципиально блокировала функционирование этого важнейшего сектора польской общественной деятельности⁵⁰².

Но и в других сферах мы тоже обнаруживаем со стороны властей подобную политику непротивления местным инициативам. Так, власти никоим образом не возражали против того, чтобы общественность принимала меры к облегчению хронического (и обострившегося начиная с 1880-х годов) жилищного кризиса в Варшаве: генерал-губернатор давал разрешения на реализацию частных благотворительных проектов, подобных, например, инициативе предпринимателя и финансиста Станислава Ротванда, который в 1897 году в нескольких приобретенных им домах сделал дешевые квартиры для рабочих, а также организовал бесплатный уход за детьми и бани для бедных детей⁵⁰³. Таких попыток хоть ненамного облегчить ситуацию с жильем, которая становилась в растущем мегаполисе все хуже и хуже, было предпринято несколько. Но единственный крупный жилищно-строительный проект, который удалось довести до завершения, — это жилой комплекс Колония Вавельберга в промышленном и рабочем районе Воля, построенный на деньги банкира Ипполита Вавельберга и его жены Людвики Вавельберг. В этих домах, сданных в 1900 году, могли со скромным комфортом разместиться 330 семей⁵⁰⁴. Проект был частной инициативой. И хотя государственные органы никак не участвовали в его финансировании, они сыграли роль в его успехе тем, что предоставили необходимое

разрешение на строительство быстро и беспрепятственно. Генерал-губернатор Имеретинский публично выразил свой «личный интерес» к Колонии Вавельберга и тем самым морально поддержал от имени высшей администрации края эту благотворительную инициативу. Аналогичная картина наблюдается и в том, как относились власти к благотворительной деятельности польской общественности в сфере ухода за больными, сиротами и пожилыми людьми: генерал-губернатор способствовал или не препятствовал образованию таких сфер, где могла развиваться филантропическая деятельность варшавской общественности⁵⁰⁵.

Невозможно переоценить то значение, какое имела для развития городов на протяжении долгого XIX века эта готовность горожан вкладывать деньги и силы в благотворительность. Это относится к Европе вообще и к Варшаве в частности. Более того, поскольку в казне Варшавского магистрата зачастую было мало средств, здесь подобная готовность приобрела еще бóльшую актуальность. Буржуазия через фонды и пожертвования стремилась участвовать в улучшении жизни города помимо властей, и это ее стремление оказало столь же непреходящее влияние на культурный ландшафт польской столицы, как и на архитектурный ее облик. В мегаполисе на Висле было множество зданий, которые убедительно репрезентировали это представление городского среднего слоя о себе как о патроне городской культуры и польской высокой культуры вообще. Наиболее известными примерами здесь, конечно, служат внушительное здание галереи искусств «Захента» (Zachęta) на Саксонской площади и великолепное здание Варшавской филармонии. Общество покровительства изящным искусствам в Варшаве (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie) возникло еще до Январского восстания. Но потребность в собственном крупном здании его правление осознало лишь в конце XIX века. На рубеже веков архитектору Стефану Шиллеру, чье имя не раз упомянуто в этой книге и чьи творения можно видеть в Варшаве повсюду, был заказан проект здания с помещениями для выставок и культурных мероприятий. В 1903 году «Захента», выстроенная в стиле неоренессанса, была торжественно открыта для публики, после чего быстро превратилась в один из самых важных культурных центров столицы Привислинского края. Почти одновременно состоялось и открытие *Национальной* филармонии: так варшавская буржуазия

демонстрировала сознание своей роли и миссии носителя высокой культуры. Пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский, а также финансист и меценат Леопольд Кроненберг, основавшие филармонию по принципу акционерного общества, осуществили весьма успешный симбиоз искусства и капитала. Представительный концертный зал для филармонии был построен в 1900–1901 годах в новом элегантном деловом квартале Варшавы⁵⁰⁶.

Мотивы, заставлявшие представителей варшавской буржуазии активно заниматься благотворительностью, были разнообразны. Помимо всего прочего, это было проявлением буржуазной рецепции дворянского габитуса, поскольку знать в Царстве Польском традиционно была не чужда филантропии. Но, несомненно, столь же важную роль сыграла здесь и позитивистская традиция «работы у основ общества». Филантропия понималась в подобных кругах как патриотический акт и обставлялась соответствующим образом. Это касается, между прочим, и небольшого круга ассимилированных варшавских евреев. Варшавские семьи предпринимателей и банкиров иудейского вероисповедания – Блюхи, Кроненберги, Натансоны, Вавельберги – своей особо усердной деятельностью в области благотворительности и поддержки наук старались показать себя польскими патриотами и неотъемлемой частью варшавской буржуазии. Они позиционировали себя как «поляков Моисеевой веры» – традиция, восходившая к недолгой фазе католическо-иудейского сотрудничества во время Январского восстания (1863–1864). Теперь совместная деятельность на благо польской нации и культуры продолжалась мирными средствами – в виде благотворительности⁵⁰⁷.

Эти публичные демонстрации еврейско-патриотического мышления приобрели еще большее значение на рубеже веков, когда такие политические лидеры, как Роман Дмовский или Феликс Конечный, громко пропагандировали узкотрактуемый – конфессионально и этнически – польский национализм, в котором быть поляком значило быть католиком, а антисемитские элементы проявлялись все сильнее и сильнее. Однако подобная, все более юдофобская, ориентация не была монополией диффузной среды «национальной демократии»: в кругах польских позитивистов и либералов тоже росло недовольство тем, что значительная часть еврейского населения, казалось, не хочет ассимилироваться.

Либеральные публицисты, такие как Александр Свентоховский или издатель журнала *Myśl niepodległa* Анджей Немоевский, также крайне пренебрежительно высказывались о живущих в Польше евреях и только в ассимиляции видели основу для предоставления им равных прав⁵⁰⁸.

Еврейская благотворительность была формой сопротивления этим агрессивным притязаниям на монопольное право определять, что значит быть поляком и патриотом; она являлась зримым выражением конфессионально открытого понимания нации и национальности. Не в последнюю очередь с ней некоторые еврейские семьи Царства Польского связывали надежду занять место в «хорошем обществе». Благотворительные проекты, такие как Колония Вавельберга, всегда были, помимо прочего, еще и попыткой евреев задекларировать свои притязания на право принадлежности к сообществу горожан, преодолеть узкие границы изолированного еврейского квартала вокруг улицы Налевки и заявить о повсеместном присутствии большого еврейского населения в Варшаве⁵⁰⁹.

С другой стороны, царская бюрократия проявляла все бóльшую готовность разрешать такие филантропические инвестиции и в этой своей политике терпимости удивительно нейтрально реагировала на то, из какой конфессиональной среды происходят подобные инициативы. Повышенная толерантность администрации была связана с тем, что государственная власть начиная с конца XIX века должна была справляться со все более сложной задачей – править растущим молохом, каковым являлась Варшава. Необходимо было поддерживать социальные и санитарно-гигиенические условия на приемлемом уровне, а из-за скудости бюджета власть сама была сильно ограничена в возможностях для действия.

Руководители царских органов управления созывали специальные комиссии и предоставляли варшавской общественности возможность непосредственного участия как в работе этих комиссий, так и в осуществлении их решений. Например, в специальную комиссию, которая в 1907/08 году должна была заниматься проблемой вывоза снега, были назначены три представителя Варшавского гигиенического общества, несколько депутатов от Союза техников, представители Варшавского кредитного общества и Адольф Сулиговский как эмиссар Варшавского общества домовладельцев. Из тридцати трех человек,

участвовавших в работе этой комиссии, только тринадцать были сотрудниками государственных органов⁵¹⁰. То же самое относится к созданной в 1908 году постоянной магистратской комиссии, которая должна была координировать уборку общественных пространств и контролировать ее выполнение. Эмиссары от общественных организаций, профессиональных объединений, ассоциаций для защиты интересов тех или иных профессиональных групп и здесь составляли большинство: тринадцать из двадцати пяти членов. Тот факт, что подобное долгосрочное участие представителей общественности в бюрократических структурах было возможным, объясняется в этом случае – по крайней мере отчасти – недостатком средств в городском бюджете⁵¹¹.

Взаимосвязь таких факторов, как кризисная ситуация, дефицит финансовых средств в распоряжении магистрата и участие общественности в управлении городом, станет еще более очевидна, когда мы обратимся к противохолерным мероприятиям, которые, при возникновении эпидемий этой болезни в Российской империи, периодически были необходимы и в Варшаве. Здесь давала о себе знать принципиальная проблема: сложные превентивные меры стоили много денег. Снова и снова финансовые подразделения местных органов власти жаловались на тяжкое бремя, которым ложилось на их бюджеты создание холерных барачков, карантинных отделений в больницах или на вокзалах и лабораторий для бактериологических исследований, а также приобретение мобильных дезинфекционных устройств и оплата дополнительно нанимаемых врачей и фельдшеров⁵¹².

Ввиду ограниченности средств, имевшихся в распоряжении государственных и городских властей, имперская бюрократия вынуждена была опираться на сотрудничество с представителями городской общественности. Например, искать добровольцев, которые вызвались бы исполнять соответствующие работы. Студенты-медики, изъявлявшие желание участвовать в борьбе с холерой в Варшаве или в более пострадавших от эпидемии внутренних районах России, получали освобождение от занятий. Им разрешали сдать экзамены позже и выплачивали компенсацию расходов, понесенных в связи с добровольной работой⁵¹³.

Даже во времена чрезвычайного положения, введенного по политическим причинам, эти формы участия граждан

в государственных делах приветствовались. В 1908 году, спустя всего два коротких года после взрыва революционного насилия, у ворот Варшавы встала очередная угроза эпидемии холеры. Из Санкт-Петербурга в августе пришло сообщение о нескольких смертельных исходах, а уже 12 сентября умер первый больной в Варшаве. Однако состояние городской казны было – в том числе и в результате революции – катастрофическим: президент города еще в августе написал генерал-губернатору, что в казне не осталось финансовых средств для предупреждения эпидемии. В этой опасной ситуации Комитет по борьбе с холерой, назначенный генерал-губернатором, разработал проект «санитарного попечительства». Членов нового органа должно было предлагать Варшавское гигиеническое общество. Задачи так называемых санитарных попечителей включали в себя санитарно-гигиенический надзор за городскими районами, т. е. за состоянием общественных мест, школ, фабрик и других общественных учреждений. Попечители должны были выявлять потенциальные источники опасности и вести среди городского населения разъяснительные беседы о личной гигиене и санитарно-профилактических мерах. Кроме того, также предусматривалось, что попечители будут участвовать в полицейских контрольных мероприятиях. Итак, предложение об участии в борьбе с холерой, обращенное к обществу, подразумевало, что представители последнего будут прикомандированы, в роли помощников полиции, к государственным структурам и таким образом задействованы, по крайней мере символически, в осуществлении государственной власти на весьма ответственном участке работы⁵¹⁴.

Кроме того, генерал-губернатор в этот кризисный момент был готов преодолеть типичный для имперских должностных лиц страх перед контактами с католической церковью. Так, председатель Комитета по борьбе с холерой с одобрения Георгия Скалона связался со священнослужителями всех религиозных общин в Варшаве, включая католическое духовенство. Духовным лицам вменялось в обязанность немедленно сообщать властям обо всех случаях заболеваний, когда возникало подозрение на холеру. Вдобавок им было поручено популяризировать в своих общинах рекомендации по гигиене⁵¹⁵. Примерно так же, как городские власти Гамбурга, обычно отказывавшиеся иметь дело с социал-демократами, использовали их,

чтобы быстро распространить в максимально широких слоях рабочего населения города информацию о мерах предотвращения эпидемии, – так и царские власти в Привислинском крае были готовы использовать параллельные структуры, функционирующие в Варшаве. Нехватка средств в казне и надвигающаяся холера помогли варшавскому генерал-губернатору понять, что без привлечения церковных коммуникационных сетей и населения города к государственной работе по предупреждению грозящей всем опасности не обойтись.

Были и иные причины, по которым взаимодействие между сторонниками «примирения», позитивистами и филантропами разных вероисповеданий с одной стороны и генерал-губернатором – с другой было, по крайней мере частично, успешным. Если говорить о представителях «угоды», то, несомненно, сыграла свою роль дворянская сословная солидарность, ведь генерал-губернатор и некоторые из выдающихся деятелей этого движения – такие, как маркиз Велёпольский, – были в силу своего благородного происхождения связаны принадлежностью к аристократическому сословию. Но помимо этого их объединяла заинтересованность в поддержании общественного порядка и стабильности. Однако и позитивистам стабильность в крае представлялась условием экономического, общественного и культурного прогресса. Позиция филантропов основывалась на том постулате, что содействовать – с помощью меценатства и благотворительных мероприятий – культурному и социальному развитию общества легче в безопасные времена. Столовые для городских низов и концертные залы для светской элиты гармонично сосуществовали до тех пор, пока была обеспечена принципиальная стабильность общественных отношений и иерархий. Несмотря на большие разногласия по поводу дальних, стратегических целей и будущего польских провинций империи, все упомянутые здесь акторы все же были едины в своей ориентированности на такой идеал развития, согласно которому экономические и культурные перемены должны происходить очень постепенно и без радикального изменения социального статус-кво.

Однако именно в этом пункте российский генерал-губернатор и высокопоставленные представители польской шляхты и буржуазии столкнулись в конце XIX века с новыми проблемами: в 1890-е годы у них возник новый, непредсказуемый противник – в лице молодого,

радикального и нетерпеливого поколения национал-демократов и социалистов. Уверенному и безопасному существованию правящих и имущих кругов русской, польской и еврейской национальности в равной степени положила конец революция 1905–1907 годов. Опыт революционного хаоса и неконтролируемого насилия привел и в Царстве Польском к тому, что и в условиях чрезвычайного положения, объявленного генерал-губернатором Скалоном, сохранялись и даже стали активнее использоваться зоны контакта между варшавским гражданским обществом и царскими чиновниками. Тем самым разрешается и кажущееся противоречие между политическими условиями – сохранением до 1909 года чрезвычайного положения – и одновременно нараставшим общественным участием в городском управлении. Поскольку после волн революционного насилия потребность в установлении внутреннего мира в крае была общей, представители органов власти и эмиссары варшавской общественности могли вместе заседать в комиссиях⁵¹⁶.

Таким образом, контакты между представителями варшавской буржуазии и генерал-губернаторами характеризовались принципиальной амбивалентностью: такие формы коммуникации, как сотрудничество и конфликт, часто тесно соседствовали друг с другом. В отличие от этого «контрастного душа» в зоне контакта между городской общественностью и Магистратом Варшавы преобладал гораздо менее конфликтный режим многолетнего мирного сосуществования. Ратуша на Театральной площади, несомненно, была центром российско-польского сотрудничества, здесь царило очень плотное переплетение польской общественности и государственного аппарата, которое находило свое символическое воплощение в хороших, прямых контактах большинства президентов с местной буржуазной элитой.

Тесные отношения между магистратскими чиновниками и варшавским обществом основывались не только на том, что в муниципальной администрации работало особенно много поляков-католиков. Существовали и гораздо более принципиальные, концептуальные соприкосновения позиций между представителями ратуши и городской элиты: все они были едины во мнении, что модернизация Варшавы принципиально необходима и обеспечить ее можно только техническими нововведениями и соответствующими

инвестициями. Это ни в коем случае не означало, что политические коннотации данного постулата у обеих сторон были одинаковыми. Ведь даже Сократу Старынкевичу, наиболее открыто среди царских чиновников симпатизировавшему делу развития Варшавы, был чужд польско-патриотический аспект, важный для местных энтузиастов этой работы. Тем не менее акторы с обеих сторон могли договориться об «общем знаменателе» – необходимости модернизации города – не в последнюю очередь потому, что на городской модернизации можно было вместе заработать.

Домовладельцы и спекулянты, концессии и коррупция: модернизация как бизнес

Превращение традиционных городов в современные мегаполисы, помимо всего прочего, было большим бизнесом. Не только крупные промышленные предприятия способствовали быстрому процессу урбанизации, но и само городское пространство, его недвижимость, инфраструктура и услуги превратились в конкурентное поле инвестиций, концессий и прибылей, на котором частные финансисты, банки и акционерные компании боролись за влияние и максимизацию доходов. В «обществе, представляющем собой дело государственное»⁵¹⁷ – а именно в таком виде оно развивалось в условиях российского самодержавия – не вызывало удивления, что большие деньги можно заработать только в тесном сотрудничестве с государственными органами. Ни один предприниматель или банкир не мог позволить себе испортить отношения с государственными административными органами и лицами, принимающими решения. Будь то «король польской железной дороги» Иван Блюх, крупный банкир Леопольд Кроненберг или «короли Лодзи» – текстильные магнаты Луи Гейер, Карл Шайблер и Израиль Познанский, – все поддерживали интенсивные контакты с местными представителями имперской власти или, через посредников, с ключевыми фигурами в петербургских центрах принятия решений. Хотя банкиры и предприниматели считали себя польскими патриотами и поддерживали такой имидж в глазах польской общественности, все же они в огромной степени зависели от благосклонности царских властей. Поэтому их многочисленные усилия по приобретению

дворянских титулов, орденов и других наград представляли собой не только попытку восходящей буржуазии сравняться с культурным идеалом – аристократией – и получить привилегии, связанные с дворянским достоинством. Помимо этого, целью всегда было еще и защитить свои шаткие позиции в бизнесе от произвола государственных инстанций⁵¹⁸.

Такая непосредственная зависимость от государственных органов проявлялась и в локальном городском контексте. Поскольку предприниматели были обязаны получать разрешения на многие виды деловой активности, право генерал-губернатора на принятие соответствующего решения напрямую затрагивало экономические вопросы. Без лицензии, подписанной высшим царским чиновником, невозможно было открыть ни ярмарку, ни филиал торговой фирмы, ни помещения для производства или оказания услуг. Так же и в культурной сфере без разрешения генерал-губернатора нельзя было заниматься деятельностью, ориентированной на извлечение прибыли. Имелись и другие причины для тесного взаимодействия между бизнесом и государственными инстанциями. Прежде всего, сотрудничество с властями открывало прекрасные возможности для бизнеса, особенно в области модернизации города. С одной стороны, государственные заказы и долгосрочные откупы были чрезвычайно прибыльными, с другой – многие модернизационные мероприятия способствовали повышению динамики рынка и открывали невиданные ранее возможности извлечения прибыли. Последнее относится в первую очередь к рынку недвижимости, стоимость которой многократно возросла в ходе превращения Варшавы в современный мегаполис. Наверное, ни один европейский мегаполис не стал таковым без феномена спекуляции недвижимостью. Однако в Варшаве эта проблема дополнительно усугублялась дефицитом земли, пригодной для застройки. Особенно в районах, чья привлекательность возрастала в результате модернизации, цены на землю взлетали. В период с 1901 по 1911 год квартиры в среднем подорожали вдвое. Из-за недостатка земли застройка всех пустых площадей, а также снос старых построек и замена их новыми происходили в Варшаве очень быстро и беспощадно. В 1914 году у 80% домов в городе возраст был менее пятидесяти лет и 80% всех зданий были построены из камня или кирпича. Из этих каменных и кирпичных домов свыше 60% имели

четыре этажа или более. Еще одним следствием описанной ситуации на рынке недвижимости была высокая численность жильцов в многоквартирных доходных домах: в 1910 году в Варшаве на такой дом приходилось в среднем 116 жильцов, в Санкт-Петербурге – только 52, а в Москве – всего лишь 38⁵¹⁹.

Тому, кто собирался спекулировать недвижимостью, без тесного контакта с властями никак нельзя было обойтись, ведь рост стоимости земельных участков почти целиком зависел от инвестиций магистрата в инфраструктуру и транспорт. Одно принципиальное решение, принятое царскими чиновниками, могло буквально за ночь превратить глухой закоулок в место, через которое пройдет новая транспортная артерия. Например, когда власти окончательно определили, что третий мост через Вислу должен будет появиться на продолжении Иерусалимских аллей, бывший тупик стал одним из самых дорогих земельных участков города. Часто такая градостроительная деятельность требовала, чтобы государство в качестве покупателя обращалось к землевладельцам. Когда, например, в 1907–1908 годах планировалась модернизация канализационной сети и городу нужно было приобрести земельный участок для очистных сооружений, владельцы недвижимости имели возможность потребовать за него гигантскую сумму – более 120 тыс. рублей. Точно так же, когда планировалось расширение насосной станции, магистрат решил приобрести для нее соседний участок по цене 56 тыс. рублей. Однако в этом случае генерал-губернатор не дал согласия на сделку, сославшись на то, что данный участок был куплен нынешним владельцем только в прошлом году за 18,5 тыс. рублей, но, узнав о намерениях города, хозяин требует завышенную цену. Обвинение в неформальном сговоре и недопустимом разглашении информации о строительных планах городской администрации напрашивалось само собой⁵²⁰.

Таким образом, полученная своевременно информация из магистрата была в этом перегретом спекулятивном климате благоприятной основой для удачного ведения бизнеса и решающим преимуществом перед конкурентами. И не всегда, как будет показано далее, эта информация была бесплатной. А государственные инстанции в начале XX века все больше воспринимали стремительное увеличение цен на недвижимость в переживавшей бум Варшаве как серьезную

проблему для городского развития, поскольку дороговизна чувствительно ограничивала пространство для действий, которым располагали власти. Особенно магистратские чиновники во внутренних меморандумах, размышляя, имеет ли смысл городу или казне участвовать в том или ином проекте, указывали, что, учитывая дефицит средств и задолженность городской администрации, не следует и думать о покупке объектов недвижимости⁵²¹. В качестве меры против расцветшей спекуляции землей было принято постановление генерал-губернатора, устанавливавшее годичный интервал между завершением строительства здания и сдачей его в эксплуатацию. Однако такие регламентации в конечном счете оказывались неэффективны: до начала Первой мировой войны центр Варшавы считался одной из самых дорогих городских территорий Российской империи.

Но можно было и другими способами заработать на массовом присутствии государственных учреждений в центре Варшавы. Немаловажное значение имел здесь статус государства как прямого арендатора жилья: армия и гражданские власти вынуждены были арендовать площади у домовладельцев, так как не имели в собственности достаточного количества помещений, чтобы покрыть свои растущие потребности. Например, строительство казарм в Варшаве никак не могло поспеть за наращиванием войскового контингента после 1900 года и во время революции 1905 года, поэтому размещение офицеров и солдат на постой в квартирах варшавян стало для последних прибыльным бизнесом. Так, сдавая жилье для 79 солдат, можно было получить за год 11 964 рубля. За постой 186 солдат власти даже соглашались платить значительно более высокие арендные ставки, чем было предусмотрено официальными цифрами. С владельцем недвижимости Владиславом Каршо-Седлевским после длительных переговоров сошлись на арендной плате в 23 тыс. рублей в год, что соответствовало жалованью царского генерала за три года⁵²².

Впрочем, и гражданские власти были важным игроком на дорогом варшавском рынке аренды. Так, в 1907 году Врачебному отделу магистрата понадобилось снять новое помещение, поскольку в ратуше растущему ведомству стало тесно. Предложения на рынке не были дешевыми: помещение на улице Краковское Предместье, например, сдавалось за 4 тыс. рублей в год. В феврале 1913 года самому обер-полицеймейстеру пришлось отправиться на поиски съемных площадей,

потому что с одним из отделов его ведомства был расторгнут договор аренды. Верховный полицейский чиновник Варшавы собственной персоной осмотрел ряд предложенных объектов и в конце концов был вынужден платить ни много ни мало 3,7 тыс. рублей в год за служебные помещения в доме 56 по Маршалковской улице⁵²³.

Впечатление таково, что для якобы не любимой варшавянами российской администрации в принципе не было проблемой найти помещение для аренды. Во внутриведомственной переписке обнаруживаются сетования на слишком высокие цены, однако нет сообщений о том, что владельцы недвижимости не хотят пускать к себе в дома российские учреждения. И даже там, где возникали трудности, это были скорее чисто деловые споры, обычные для отношений между арендаторами и остальными жильцами, нежели проявления какого-то базового конфликта между представителями государства и обществом. Например, когда упомянутое подразделение полиции въехало в снятое помещение, соседи начали жаловаться на то, что в доме стало слишком много посетителей: ежедневно их приходило около 800 человек. Обер-полицмейстер отреагировал прагматично и позаботился об аренде дополнительных помещений, так что жалобы вскоре утихли. Нет никаких признаков того, что за этим конфликтом скрывалось нечто большее, кроме недовольства жильцов действительно неприятным ежедневным потоком входящих и выходящих посетителей полицейского учреждения⁵²⁴.

Но государство выступало не только в виде арендатора: оно было чрезвычайно динамичным фактором городской экономики, выступая в качестве арендодателя и раздавая концессии. Сдавать в аренду магистрат мог прежде всего свою недвижимость, концессии же он раздавал на широкий спектр городских услуг и инфраструктурных мероприятий. Долгосрочные концессии с гарантированной монополией выдавались в таких важнейших отраслях, как газоснабжение или эксплуатация городских конок и электрических трамваев. Но и другие модернизационные мероприятия, например замена строительных материалов на городских мостах и ремонт опор мостов, регулировались посредством концессионных договоров⁵²⁵. Не в последнюю очередь заключение таких договоров имело следствием прогрессирующую коммерциализацию общественного пространства. Рекламные вывески,

а также новшества вроде «афишных тумб» для плакатов отдавались в концессию частным предпринимателям.

В целом такие концессионные контракты были чрезвычайно популярным инструментом для привлечения частных инвестиций в дело городской модернизации, равно как и для получения прибыли. Однако они были отнюдь не беспроблемным способом управления экономическими процессами, потому что длительный срок концессий – во многих случаях он составлял двадцать пять лет – нередко препятствовал дальнейшему развитию и дифференциации предложения на рынке. Кроме того, в долгосрочной перспективе он лишал городскую администрацию источников прибыли, многие из которых стремительно повышали свою доходность.

Пугающих примеров бесхозяйственного подхода к концессиям и монополиям было много и в других местах Российской империи. Так, в Киеве проблема водоснабжения оставалась нерешенной почти до самой Первой мировой войны – из-за того, что городское самоуправление передало соответствующую концессию частному предпринимателю, который взвинтил цены на питьевую воду. То же самое относится к киевской трамвайной сети и электростанциям: эксплуатацию этих объектов, равно как и высокие доходы от них, городские власти упустили из своих рук, отдав концессионеру. А в Люблине концессионер, эксплуатировавший местный газовый завод, – предприниматель Анастазий Сулиговский – чрезвычайно успешно препятствовал электрификации части городских услуг, так как они нарушали его монополию. То, что часто казалось на первый взгляд скачком вперед по пути модернизации, из-за долгосрочных концессионных контрактов могло быстро стать тормозом развития населенного пункта. Как мало в этой области значила национальность акторов, показывает пример Сулиговского: он называл себя польским патриотом, был героем Январского восстания, а между тем в значительной степени именно по его вине первая электростанция в Люблине возникла только в межвоенный период⁵²⁶.

В Варшаве также не было недостатка в подобных случаях, когда развитие оказывалось блокировано концессиями и конфликтами интересов. Такие важные концессионные предприятия, как фирма Lindley und Söhne, отвечавшая за постепенное расширение канализации, могли очень уверенно предъявлять городским властям

свои довольно далекоидущие требования. Например, руководство указанной компании потребовало, чтобы магистрат для расширения насосной станции немедленно приобрел весьма дорогостоящий объект недвижимости, находящийся в частной собственности⁵²⁷. Постоянные столкновения имели место в особенности с Городским трамвайным управлением, которое с 1899 года эксплуатировало на правах концессионера городские конки, а с 1909-го – электрические трамваи⁵²⁸. Так, в 1908 году возник спор о том, кто отвечает за уборку снега. Обер-полицмейстер требовал наложить штраф в размере 500 рублей на трамвайное управление, потому что оно не исполняло своих обязательств по снегоуборке. Компания же смотрела на вещи иначе и подчеркивала, что по концессионному договору отвечает только за очистку рельсов. В конечном счете муниципальным властям пришлось уступить и самим заботиться об уборке снега⁵²⁹.

Однако более серьезные последствия имел тот факт, что концессионеры, эксплуатировавшие трамвай, настаивали на своем монопольном положении в сфере городских пассажирских перевозок. Благодаря этому не происходило дифференциации предложения на рынке транспортных услуг и, соответственно, снижения цен. В 1910 году поездка в первом классе стоила по завышенной цене семь копеек, во втором классе платили за билет по пять. Была сделана попытка создать наряду с трамваями систему автобусных линий в центре Варшавы, но она потерпела неудачу из-за энергичного сопротивления трамвайной компании, которая увидела здесь угрозу для своего монопольного положения⁵³⁰. Безуспешны были и все попытки заставить трамвайную компанию более интенсивно использовать рельсовую сеть и активнее реинвестировать прибыли. Без сомнения, город из-за этой концессии лишил себя очень значительного источника дохода, ведь, в силу стремительно растущего спроса на быстрые общегородские сообщения, трамваи в европейских мегаполисах быстро превратились в массовые средства транспорта со значительными оборотами. Частная управляющая компания в Варшаве уже в 1910 году, т. е. в первый же год после электрификации транспортной системы, достигла оборота 1,98 млн рублей, а чистая ее прибыль составила 653 891 рубль. Быстрого изменения этого положения – неблагоприятного с точки зрения городского бюджета – не предвиделось: срок действия

концессионного договора на эксплуатацию варшавского трамвая истекал только в 1922 году⁵³¹.

Причины легкомысленной раздачи концессий магистратами были разнообразны. Зачастую городские администрации, финансово плохо обеспеченные, были не в состоянии сами финансировать модернизационные проекты и потому перекладывали бремя инвестиций на частные предприятия. Так было в Варшаве, например, при строительстве конки и электрического трамвая⁵³². Кроме того, в выборных городских советах также играла немалую роль забота некоторых депутатов о собственных интересах: достаточно часто концессионерами становились члены узкого круга городской элиты⁵³³. В Варшаве, с ее назначавшейся извне администрацией, такого быть не могло, но и здесь достаточно часто решающее значение имела интенсивность контакта отдельных предпринимателей с членами плановых комиссий в магистрате. Похоже, некоторые конкурсы были проведены не без предварительных договоренностей. Например, в вопросе о концессии на поставки гранита для варшавского строительного ведомства проигравшему конкуренту удалось добиться расторжения концессионного договора: юристы фирмы Kuksz i Liedtke смогли доказать, что при предоставлении концессии фирме German Mejer были нарушены требования конкурса и мейеровский гранит не соответствовал нормативам по прочности. Конфликту между конкурентами, дошедшему до Санкт-Петербурга, положило конец только решение Правительствующего сената о повторном проведении конкурса⁵³⁴.

Этот эпизод наглядно демонстрирует, помимо прочего, как важны были связи между деловым миром и магистратом в условиях конкуренции за наиболее «лакомые» проекты в сфере городской модернизации, причем не только в быстрорастущих отраслях — транспорта и техники: можно привести пример и из сферы культуры. Ведь с тех пор, как в мегаполисе потребление развлечений стало массовым явлением, культура сделалась весьма ходовым товаром. Поэтому ею занимались теперь не только меценаты, движимые любовью к красоте и патриотическими мотивами: это был еще и жесткий бизнес, в котором тесные связи с властями имели не менее важное значение для выживания, чем в остальных отраслях экономики.

Один из красноречивых примеров тому – филармония, созданная Леопольдом Кроненбергом и Игнацием Яном Падеревским.

Уже одна только регулярная концертная деятельность филармонии, организованной по принципу акционерного общества, требовала тонких согласований с государственными инстанциями. Это было связано не только с тем, что генерал-губернатор как главный чиновник контролировал любую культурную деятельность, но и с тем, что он как ответственный за государственные театры в то же время ревностно следил, чтобы эта филармония, действовавшая в частном секторе экономики, не создавала им нежелательной конкуренции. Руководство филармонии выбрало очевидный путь прямого сотрудничества с государственными театрами: они заключили договор о совместном согласовании репертуара. Однако в первое время это сотрудничество шло не без трений, поэтому оказалось невозможно получить согласие государственных органов на расширение филармонии. В 1908 году руководство концертной площадки обратилось к генерал-губернатору с просьбой о разрешении перестроить не используемое тех пор боковое крыло здания в театральный зал. В нем на трех ярусах должны были разместиться более 700 зрителей⁵³⁵. Но такой проект власти согласовывать отказались, и причиной тому были, вероятно, не столько официально заявленные проблемы безопасности, сколько тлеющая конкурентная борьба между государственными и частными игроками на расширяющемся варшавском культурном рынке. Со временем управления государственных театров и филармонии нашли общий язык. Уже в 1910 году филармония даже смогла рассчитывать на ограниченную финансовую поддержку со стороны казны: очевидно, эти две площадки успешно поделили между собой городской культурный рынок⁵³⁶.

Возможность делать деньги в сфере культурного бизнеса привела также к тому, что царские власти не возражали против коммерциализации общественного пространства. Все более вездесущей становилась реклама в виде неоновых вывесок и афишных тумб в общественных местах, и это приветствовалось как хороший источник дохода. Вообще, в некоторых областях мы наблюдаем удивительный прагматизм правительственных инстанций. Так, в 1899 году было одобрено строительство элегантного отеля «Бристоль» на улице Краковское Предместье, хотя здание отеля буквально затмило

непосредственно прилегающий к нему старый дворец наместника: семиэтажный «Бристоль» с его 220 номерами, построенный преимущественно на деньги польского капитала, был значительно выше дворца, и постояльцы отеля могли с балкона смотреть сверху вниз на почтенное здание канцелярии генерал-губернатора. Ни соображения безопасности, ни символическое принижение здания, центрального для российского владычества, не заставили власти усомниться в целесообразности постройки отеля. Тот факт, что «Бристоль» в последующие годы должен был стать (и стал) одним из главных плательщиков налога на недвижимость в городе, наверняка облегчил принятие этого решения⁵³⁷.

Итак, всякий, кто в эпоху *fin de siècle* хотел заработать на трансформации Варшавы в современный мегаполис, должен был найти прямой контакт с правительственными инстанциями, принимавшими соответствующие решения. Осознание этого факта имело динамичные последствия: многие крупные и мелкие предприниматели заваливали своими прошениями и жалобами столы в административных ведомствах. Особенно в тех случаях, когда возникали конфликты интересов между конкурентами, именно царские власти вовлекались в противостояние в качестве якобы нейтральных арбитров. Вследствие этого генерал-губернатору приходилось заниматься и такими вопросами, как установление арендной платы на торговые помещения, выдача разрешений на торговлю рыбой или хлебом, а также установка канализационных труб в частных домах. Как и в других организационных вопросах градостроительной модернизации, высший представитель царской власти в Привислинском крае занимался будничными вопросами деловой жизни Варшавы⁵³⁸.

По большому счету, конкурировали между собой два принципа разрешения деловых конфликтов. С одной стороны, наблюдалась прогрессирующая юридизация отношений, с другой – ей противостояло прямое правление генерал-губернатора, и нередко эта амбивалентная ситуация порождала при повседневном урегулировании споров неразрешимые противоречия. В пользу повышения законности и устойчивости правовых отношений в городской экономической жизни говорит то, что с конца XIX века государственные инстанции почти не пользовались таким инструментом, как принудительное отчуждение, даже когда частная собственность значительно мешала действию

административного аппарата. Ни магистрат, ни генерал-губернатор не отдавали предпочтения такой принудительной национализации; они стремились путем сложных, долгих и зачастую очень дорогостоящих переговоров подвигнуть частных собственников к продаже того или иного участка земли, если он был им нужен для какого-то инфраструктурного проекта. Например, когда Варшавский магистрат под давлением министра внутренних дел искал участок для строительства Русского народного дома, то попытался путем обмена объединить несколько земельных участков на Иерусалимских аллеях в один большой. Однако владелец недвижимости А. Тренеровский и арендаторы Рон и Желенский не проявили понимания и отказались от предложенного обмена. Принуждать их власти не стали, и проект строительства Русского народного дома застопорился⁵³⁹. В данном конкретном случае можно было бы заподозрить магистрат в том, что таким способом он косвенно саботировал нежеланный, навязанный Петербургом проект. Но подобное предположение абсолютно невозможно в другом случае: когда в ратуше на улице Ксёнженца планировали срочно необходимое расширение одной из улиц, которая должна была связать центр города с низиной у Вислы, в этом проекте более всех была заинтересована городская администрация. Но и ему помешала частная собственность на землю, поскольку владельцы соответствующих земельных участков на улице Новый Свят потребовали 500 тыс. рублей – а такую цену город и не хотел платить, и не мог. Тем не менее даже в этом случае магистрат не стал инициировать процедуру экспроприации, изменив вместо того проект и проведя улицу в другом месте. И даже в одном из тех редких случаев, когда президент города настаивал на принудительном сносе строения, так как считал, что городская земля узурпирована частным предпринимателем и используется нецелевым образом, Министерство юстиции выступило против и потребовало разрешения спора в суде⁵⁴⁰.

Как видим, здесь ничто не напоминает произвола оккупационной власти или хотя бы тех беспощадных экспроприаций, которые практиковались бароном Османом в Париже. Много говорит о том, что лица, принимавшие решения в магистрате, понимали: модернизацию Варшавы можно и должно осуществлять только в тандеме с местными владельцами недвижимости, а не против их воли. Очевидно, осознание общности интересов было слишком велико, чтобы прибегать

к административному насильственному разрешению конфликтов собственности и интересов.

Такое уважение правовых норм и частной собственности контрастировало с принципом прямого административного вмешательства, который репрезентировал главным образом генерал-губернатор. Представитель царя в Варшаве воплощал собой самодержавный принцип прямого управления постольку, поскольку, обладая особыми полномочиями, мог поставить свою волю выше права собственности. Это имело вполне прагматические, будничные последствия, так как не только вело к яростной критике системы произвола в принятии административных решений, но и порождало живейшую культуру писания петиций, охватывавшую и хозяйственную жизнь города: огромное число варшавян обращалось за решением вопросов, связанных с их деловыми интересами, непосредственно к генерал-губернатору, надеясь, что представитель власти своим административным распоряжением прекратит то ущемление их интересов, с которым они, по их мнению, столкнулись в деловом конфликте. Эффективным средством разрешения хозяйственных споров люди считали не только обращение в суд, но и призыв к царскому чиновнику непосредственно осуществить свою власть⁵⁴¹.

Написанием прямых прошений к генерал-губернатору занимались как крупные компании, так и частные лица, и речь могла идти как о миллионных суммах, так и о мизерных – менее 100 рублей. Иногда просители достигали успеха и им удавалось добиться того, что конкурс по государственным заказам объявлялся заново. Но, как правило, подобные петиции, судя по всему, не приводили к желаемому эффекту. Если в борьбе с политическими движениями царский чиновник не боялся применять административные меры, то, когда речь шла о конфликтах интересов между субъектами экономической деятельности в Варшаве, он действовал очень осторожно. Нельзя, однако, не отметить, насколько серьезно канцелярия генерал-губернатора относилась к прошениям граждан. Каждая петиция порождала целую цепочку внутренней корреспонденции, в которой соответствующие ведомства и должностные лица, такие как магистрат или обер-полицмейстер, должны были подробно изложить свои позиции по обсуждаемому делу⁵⁴².

Поэтому в принципиальной готовности генерал-губернатора вмешаться в конфликт податели ходатайств никогда не сомневались. Поток прошений, касающихся экономических вопросов, не прекращался и в начале XX века. Вера в потенциал прямого административного действия, предпринимаемого со стороны верховного чиновника, не ослабевала. Тем самым многие просители внесли вклад в сохранение принципа, согласно которому суверенитетом в принятии решений обладала административная, а не законодательная или судебная инстанция, – поскольку сами постоянно требовали жесткого вмешательства царских административных ведомств в те или иные сферы жизни общества.

Достаточно часто за старанием привлечь генерал-губернатора на свою сторону в хозяйственном конфликте стояло намерение разорвать сети связей, существовавшие между магистратом и группами местной экономической элиты. Петиции на имя генерал-губернатора следовали той же логике, что и прошения, которые подавались царю: это были попытки добиться вмешательства высшей инстанции, с тем чтобы изменить ситуацию на месте, казавшуюся просителю несправедливой. В многочисленных спорах варшавских граждан и магистрата генерал-губернатор фигурировал как якобы нейтральный арбитр. Это касалось особенно тех случаев, когда расхождения во мнениях представляли собой одновременно и противостояние между католиками и иудеями. Евреям генерал-губернатор представлялся потенциальным союзником, дистанцированным от польско-католического альянса частных лиц и магистратов, – православное вероисповедание главного чиновника в крае играло здесь важную роль. Петиции достаточно часто содержали просьбу к генерал-губернатору назначить для разрешения спорных вопросов омбудсмена православного вероисповедания⁵⁴³.

Но и во время столкновений между католиками генерал-губернатора тоже нередко просили вмешаться как нейтральную инстанцию, очевидно надеясь, что он не входит в ту отлаженную систему криминальных связей, которая существовала между магистратом и экономической элитой и позволяла обходить конкурентов при распределении городских заказов. В целом генерал-губернатор не оправдывал возлагаемых на него ожиданий: об энергичных действиях высшего должностного лица, направленных против решений магистрата, в источниках ничего не говорится. Как

правило, генерал-губернатор консультировался с канцелярией президента города, чтобы быстро и без разногласий урегулировать обсуждаемый вопрос. Во внешней переписке – с просителями – он также подчеркивал, что тот или иной рассматриваемый вопрос входит в сферу компетенции муниципальных властей⁵⁴⁴.

Процветающая петиционная культура одновременно служит и свидетельством интенсивности контактов между частью городских предпринимателей и чиновничеством, ведь, с одной стороны, критика, содержащаяся в прошениях, часто касалась именно слишком близких, по мнению просителя, отношений между кем-то из его конкурентов-предпринимателей и сотрудниками администрации, а с другой стороны, сами прошения имели точно такую же цель: привлечь администрацию на свою сторону и оттеснить конкурентов от кормушки государственных подрядов. Насколько тесными бывали порой эти связи между властью и деловым миром, показал крупный коррупционный скандал, потрясший Варшаву в 1908–1911 годах. Начало ему положила серия разоблачительных публикаций в варшавской газете *Gonies*. В этом печатном органе, близком к национал-демократическим сецессионистам, часто помещались материалы, клеймившие хозяйственные злоупотребления магистрата, расхищение казенных средств, коррупционные эпизоды, купленные незаконные разрешения на эксплуатацию предприятий в ряде отраслей промышленности. Газета проводила журналистские расследования, отправляла своих репортеров за материалом на предприятия, оказавшиеся в центре скандала и в проблемных зонах городского хозяйства и управления, а также связывалась с информаторами в органах власти⁵⁴⁵. Мотивом, стоявшим за этими разоблачениями, были, несомненно, трения между партиями в национал-демократической части политического спектра, усилившиеся после 1908 года. До 1907 года газета *Gonies* была одним из главных печатных органов эндееции. Однако в 1907 году редакция вместе с рядом других группировок покинула партию Дмовского, считая, что та недостаточно энергично преследует политическую цель – завоевание польской автономии. Эти сецессионисты рассматривали Варшавский магистрат как близкого союзника польских «примиренцев». Поэтому публикация материалов, представлявших отношения между ними в скандальном свете, была еще и ходом в политической игре польских партий. Но главное – разоблачительные

материалы способствовали росту тиражей, и тон их был соответствующим: он мало отличался от подачи обычных сенсационных новостей в массовой и бульварной прессе.

Удивительно то, что общественное давление действительно подвигало государственные органы к официальному рассмотрению обвинений. В 1909 году генерал-губернатор учредил специальную Комиссию по расследованию злоупотреблений в Магистрате города Варшавы. В расследованиях участвовали и обер-полицмейстер, и прокуратура⁵⁴⁶.

Дознание, проведенное следственной комиссией, выявило огромный объем денежных потоков и коррупционных сетей, доходивших до самого президента города – Литвинского. В 1909 году давление на него стало настолько велико, что он попытался выпутаться из этой аферы, уйдя в отставку «по домашним обстоятельствам»⁵⁴⁷. Тем не менее вскоре против него и других магистратских чиновников было выдвинуто обвинение в хищении средств и получении взяток. Масштаб аферы оказался столь велик, что привлек к себе внимание всей империи. Кроме того, он дал повод для сенатской ревизии, которая выявила множество других непорядков в городской администрации. Впрочем, без всякого сомнения, отправка из Петербурга в Варшаву группы ревизоров во главе с сенатором Нейдгартом имела и иные предпосылки: в деле было замешано еще и принципиальное противостояние между действующим генерал-губернатором Скалоном и премьер-министром Столыпиным. Нейдгарт был шурином Столыпина и, как поговаривали, сам метил на пост генерал-губернатора⁵⁴⁸.

Поэтому к результатам его ревизии следует относиться с осторожностью, однако они в существенных пунктах совпадают с критикой, высказываемой в то время в прессе, и с выводами генерал-губернаторской Комиссии по расследованию злоупотреблений⁵⁴⁹. Фурор произвели прежде всего факты, связанные с затягиванием строительства третьего моста через Вислу, которое началось в 1904 году: на момент ревизии (1910) еще не были завершены даже работы над виадуком, подводящим к мосту. Между тем вместо требовавшихся по изначальной оценке 4,5 млн рублей строительство поглотило уже более 8 млн. Прошло еще почти четыре года, прежде

чем в декабре 1913-го мост, столь необходимый для развития Варшавы, был сдан в эксплуатацию.

Этот громкий скандал продемонстрировал не только размах коррупции, но и тесное переплетение интересов и действий чиновников городского управления и представителей варшавского делового мира. В случае с Николаевским мостом ключевую роль играл польский инженер Мечислав Маршевский. Магистрат назначил его, как члена строительного комитета, одновременно и председателем строительной конторы, действовавшей в значительной степени автономно. Благодаря совмещению постов Маршевский пользовался большой свободой в принятии решений, поскольку контролировал как первоначальное моделирование мостов и виадуков, так и расчет стоимости строительства; он же руководил конкурсом на проект, а также отвечал за осуществление надзора за строительством. Маршевский использовал свое монопольное положение не только для того, чтобы добиться принятия собственного проекта моста, но и для обеспечения фирм, которые, в свою очередь, щедро вознаграждали его «премиями». В общей сложности Маршевский получил взятку на 100 тыс. рублей. За это он гарантировал предприятиям значительную прибыль, устанавливая завышенные фиксированные цены на используемые стройматериалы и тем самым существенно обременяя городской бюджет. В ходе прокурорского дознания Маршевский был освобожден от должности и ему было предъявлено обвинение. В 1910 году он был приговорен к тюремному заключению и возмещению полученных премий⁵⁵⁰.

Расследования, проведенные в 1909–1910 годах, выявили и в других случаях тесные контакты между магистратом и варшавским деловым миром. При распределении подрядов на реализацию городских инвестиционных проектов чиновники и предприниматели часто действовали в интересах друг друга. Так, с концессией на эксплуатацию электрического трамвая были допущены некоторые нарушения. В 1899 году одна из фирм получила от города концессию на эксплуатацию конной железной дороги. Этот договор истекал в 1902 году. Его продление было одобрено министром внутренних дел Плеве только при условии, что в договор будет включено право города на выкуп концессии. Однако при перезаключении договора это условие соблюдено не было и более того – был выбран вообще другой вариант

договора, который предусматривал концессию на двенадцать лет на условиях значительно менее выгодных для города. Когда вскоре после этого проводилась электрификация конных дорог, магистрат полностью предоставил инициативу компании-концессионеру, и та сделала выбор в пользу фирмы Siemens-Schuckert, хотя ее американский конкурент – Westinghouse – предлагал осуществить техническое оснащение трамвайной сети значительно дешевле. Вероятно, не последнюю роль в таком выборе сыграло то обстоятельство, что председатель Управления городского трамвая, П. Спокори, одновременно был местным представителем фирмы Siemens-Schuckert. Все эти нарушения покрывал магистрат, который, заключая концессионные договоры, сознательно шел на то, что городской бюджет ежегодно недополучит чистой прибыли более чем на 650 тыс. рублей⁵⁵¹. В конечном счете так и не удалось установить, имели ли здесь место, как при строительстве моста, незаконные сговоры между концессионерами и магистратскими чиновниками и были ли произведены незаконные выплаты. Но в целом трудно отделаться от подозрения, что многолетняя практика распределения концессий в обход альтернативных, более выгодных для города предложений не обходилась без нарушения правил рыночной конкуренции.

Это же относится и к расширению варшавской системы канализации в 1908–1909 годах. Здесь дознанием тоже были выявлены факты, вызвавшие вопросы. Для расширения канализации и устройства очистных сооружений магистрат приобрел «каскадный» участок вблизи Вислы. За эту землю была уплачена на удивление высокая цена – 121 696 рублей. Дознание, призванное пролить свет на темные дела президента города, Литвинского, показало, что он был должен свыше 3 тыс. рублей одному из бывших собственников «каскада»⁵⁵². Даже если в данном конкретном случае наличие договоренностей доказать и не удалось, он все же свидетельствует о существовании очень сложной и отлаженной системы, в рамках которой предприниматели с помощью премий и кредитов, выплачиваемых чиновникам магистрата, оказывали влияние на решения, касавшиеся прибыльных государственных контрактов, или обеспечивали себе завышенные цены на недвижимость и стройматериалы. Таким образом, отцы города позаботились о том, чтобы модернизационные проекты сначала принесли выгоду им, а потом уже всей Варшаве. В подобном

отношении к службе — как к источнику самообогащения — часто обвиняют представителей городской администрации, избираемых из гонораторов, но здесь мы видим, что то же самое имело место и в столице Царства Польского, администрация которой назначалась извне. Взаимодействие последней с местной экономической элитой было в некоторых областях настолько интенсивным, что интересы обеих во многом совпадали.

Технократические представления о городе будущего: инженеры и модернизация города

Однако утверждать, что за участием в совместной деятельности по модернизации города стояло лишь общее стремление к личной выгоде, было бы не только упрощением, но и искажением. Существовали и многие другие мотивы, которые обеспечивали возможность прагматического сотрудничества поверх противоречий, разделявших администрацию и общество, а также поверх границ между национальностями и конфессиями. Так, надежным фундаментом общения и деловых связей служил общий для людей того времени пафос модерности, который и сопровождал превращение Варшавы в мегаполис. Особенно инженеры, со своими в значительной степени технократическими представлениями о будущем города, находили друг с другом общий язык и наводили мосты — как в прямом, так и в переносном смысле. В их среде модерность оказалась главным фактором, обеспечивающим как общение, так и сотрудничество.

Инженеры выступали посредниками, и они же конкретизировали общие модернизационные намерения. Вместе с тем не вызывает сомнений, что именно эта профессиональная группа играла ключевую роль в административных учреждениях, в частных предприятиях, а также в общественных инициативах. Некоторые инстанции и комиссии, принимавшие решения по поводу модернизационных проектов, находились полностью в руках инженеров. Обновление Варшавы, начавшееся в последние десятилетия XIX века, было по преимуществу их делом.

В Царстве Польском многие из этих инженеров являлись государственными служащими. Царская бюрократическая машина давала работу большому количеству специалистов, таких как

землемеры, техники или врачи, и они были плотно встроены в административный аппарат. Поскольку сельского или городского самоуправления в Привислинском крае не существовало, специалисты, оплачиваемые государственной бюрократией, как бы заменили то «третье сословие», которое внутри России сформировалось с развитием земств и институтов городского самоуправления. Представители этих профессиональных групп были в Царстве Польском в подавляющем большинстве поляками-католиками, потому что дискриминация, в силу которой католики на руководящих должностях в бюрократическом аппарате были редчайшим исключением, на экспертов, нанимаемых государством, не распространялась. Вместе с низшими административными чиновниками эти профессионалы были столь многочисленны, что благодаря им поляки-католики составляли в общей сложности две трети от персонала бюрократического аппарата на местах. Это, несомненно, способствовало той посреднической функции, которую брали на себя специалисты при коммуникации между администрацией и обществом. По своему социальному происхождению они существенно не отличались от неслужащей польской интеллигенции. Сохранившиеся личные дела свидетельствуют о том, что чаще всего представители этой категории государственных служащих происходили из польского дворянства. Хотя в целом царская бюрократия относилась к шляхте с большим недоверием, здесь это проявлялось мало: например, не существовало конкретного запрета на профессию, который не допускал бы потомков обедневшей знати на государственную службу. Если по стандартному запросу к обер-полицмейстеру о политической благонадежности человека не выяснялось, что за ним числится какая-либо проблематичная деятельность, то для найма образование и опыт работы были важнее происхождения⁵⁵³.

Среди всех этих специалистов инженеры, несомненно, были одной из наиболее влиятельных групп (хотя и не единственными сторонниками перестройки общества в соответствии с требованиями модерности). Это касалось и административных структур, которые подчинялись генерал-губернатору, обер-полицмейстеру или губернаторам, и части центральной министерской бюрократии, и многих армейских структур: во всех подобных учреждениях во второй половине XIX века количественная и качественная роль людей,

обладавших инженерно-техническим образованием, значительно возросла. Например, такой человек, как инженер Г. Гюнтер, после 1900 года стал главной фигурой на службе у генерал-губернатора, возглавив в качестве особого уполномоченного многочисленные комиссии⁵⁵⁴.

Особенно высокий процент инженеров наблюдался в муниципальной администрации. Такие органы, как Отдел строительства, канализационные и водопроводные службы, были укомплектованы в основном инженерами, а главный инженер магистрата был центральной фигурой во многих вопросах: в его руках находились такие ключевые компетенции, как надзор за различными строительными проектами и приемка готовых сооружений, выдача разрешений на эксплуатацию и контроль за соблюдением нормативных актов в самых различных областях городского хозяйства и снабжения. Так, лишь под надзором и с согласия этого чиновника сдавались в эксплуатацию новостройки, проводилась оценка при страховании зданий, принимались после капитального ремонта квартиры из государственного или муниципального фонда, вводилась в эксплуатацию система канализации или открывались для публики всякого рода зрелищные сооружения⁵⁵⁵.

Нередко главный инженер и президент города вместе представляли интересы муниципальной администрации: технический эксперт, кажется, во многом был правой рукой главного чиновника в ратуше. Это относится не только к периоду президентства Старынкевича, который в ходе своей армейской карьеры сам получил инженерное образование. В последующие годы главные инженеры тоже получали от президента города ответственные поручения и иногда даже отправлялись, в качестве эмиссаров городской администрации Варшавы, на переговоры в Санкт-Петербург⁵⁵⁶.

Инженеры были также одной из главных сил в многочисленных специальных комиссиях, занимавшихся повседневными проблемами городского хозяйства. Их доля была особенно высока благодаря тому, что во многих случаях те представители, которых направляли в эти органы общественные организации и предприятия, тоже были инженерами. Свое символическое воплощение это всеобщее уважение к инженерной профессии нашло во время церемонии встречи царя, прибывшего в Варшаву в 1897 году: в состав делегации из лучших

людей города, которые должны были приветствовать правителя на вокзале от имени варшавян, входили два инженера⁵⁵⁷. А всего год спустя власти одобрили создание самостоятельного Общества техников (Stowarzyszenie Techników), которое в 1903 году обрело свою новую резиденцию в Доме техников в центре Варшавы. Это глубокое уважение высшей администрации к инженерам разделялось широкими кругами бюрократии и варшавской общественности, что проявилось не в последнюю очередь в том, какое место было отведено инженерно-строительным дисциплинам в Политехническом институте, открывшемся в Варшаве и подготовившем после 1897 года новую когорту польских инженеров.

Итак, инженеры присутствовали в системе городского регулирования повсеместно. Они были основными носителями, а отчасти и авторами идеи модернизации и – технократизации этой идеи. На рубеже веков на сцену вышло новое поколение инженеров, отличавшееся улучшенным практическим техническим образованием, повышенной готовностью к практической работе, а также все более технократическими представлениями об обществе. В своем представлении о самих себе и своей роли они выступали авангардом модерности. В числе насущных задач они видели не только победу над природой путем строительства шахт, мостов и железных дорог: многие из них были также приверженцами социально-моральных утопий, в которых низшие слои населения крупных городов играли все более важную роль в качестве того экрана, куда проецировались утопические картины будущего устройства общества. Техника и прогресс, по убеждению этих инженеров, были панацеей, способной решить, помимо всех прочих, и социальный вопрос, что порождало новые мифы о них. В романах той эпохи то и дело фигурировал инженер – как великий мастер, изменяющий и спасающий мир.

Этот тип инженера был тогда и в Царстве Польском весьма распространенной фигурой. Некая польская специфика проявлялась разве что в том, что инженеры-поляки переняли заложенное уже в позитивизме преклонение перед техническим трудом и успешно использовали его для героизации собственного имиджа. Они были носителями другой концепции империи, нежели царские власти, на службе у которых они нередко состояли, и воспринимали польскую провинцию по-иному: взгляду инженера Привислинский край зачастую

представлялся лабораторией и опытным полем. Он был зоной соприкосновения с Западной Европой и проходной станцией на пути трансфера технологий. С другой стороны, вынужденное и непосредственное сравнение с Западом заставляло острее воспринимать собственную отсталость.

Внедрение газового освещения в губернском городе Плоцке – пример, позволяющий увидеть, как в действиях и мышлении инженера, ведавшего этим проектом, пересекались различные проблемные линии. Заказ на проект был выдан должностными лицами городской администрации, но осуществлялся он польскими и русскими инженерами и техниками, которые трактовали его в духе социальной инженерии: как писал один из участников в своем меморандуме, с появлением газового освещения в маленьком городке сразу сократится и проституция⁵⁵⁸. Меморандум дышит твердой верой в чудодейственную силу современных технических благ: достаточно одного технического новшества и улучшенной благодаря ему освещенности общественного пространства – и такие социально-моральные проблемы обедневших городских низов, как пользование услугами проституток, будут быстро и навсегда решены.

Это было связано с представлением об империи как о модернизирующем факторе. Имперское владычество воспринималось инженерами в первую очередь не как чужеземное засилье, несвобода или угнетение, а скорее как условие, обеспечивающее возможности для реализации модернизационных проектов. Это было связано, во-первых, с тем, что многим инженерам действительно вся Российская империя была открыта как поле для деятельности и они часто обладали многолетним опытом обучения или работы на ее просторах. Учеба в знаменитом Политехникуме в Риге, инновационные технологии строительства домов в Петербурге, прокладка путей и создание мостов для Транссибирской железной дороги – для талантливых и честолюбивых инженеров империя с ее просторами и разнообразием часто представляла собой пространство для самореализации. Польское же их происхождение при этом имело второстепенное значение: самым известным примером является, пожалуй, инженер Станислав Кербедз, который в 1860-е годы в Варшаве спроектировал Александровский мост, ныне известный как мост Кербедза (о чем уже

говорилось выше), а затем стал одним из пионеров строительства железных дорог и мостов в России⁵⁵⁹.

Кроме того, империя воспринималась еще и как решающий фактор в международном модернизационном соревновании: по всеобщему убеждению, для важных, крупных проектов необходима была государственная поддержка. Инженеры разделяли этатистскую ориентацию, считая, что государственные инстанции и денежные средства имеют решающее значение для модернизационных преобразований. В глазах этих приверженцев социального планирования моральная ответственность имперской государственной власти перед подданными делала модернизацию ее этическим долгом. С таким этатистским мышлением, заставлявшим видеть в царской власти и ее аппарате центральных акторов модернизационного процесса, была связана и некоторая амбивалентность, которой отличалось положение инженеров в польском обществе: пропагандируемая ими прогрессирующая модернизация Царства Польского зачастую означала одновременно усиленную его интеграцию в империю, будь то в экономическом или инфраструктурном плане. Поэтому инженеры, по крайней мере отчасти, всегда были представителями центра в Царстве Польском и способствовали квазиколониальному проникновению метрополии во все структуры края⁵⁶⁰.

С другой стороны, инженеры в Царстве Польском представляли собой общественную группу, которая, по их мнению, последовательно реализовывала позитивистские идеалы и путем модернизации Польши способствовала выживанию ее как нации без государства. В качестве примера этой позиции можно привести участие инженера Казимежа Обрембовича в создании Варшавского политехнического института. Создание кузницы инженерных кадров в Варшаве отвечало чаяниям не только профессионального сообщества, но и широкого круга людей, поддерживавших эту идею под влиянием позитивистских идей. Инженеры играли видную роль и в других общественных инициативах. Так, они приняли живейшее участие в организации публичных торжеств по случаю сорокалетия литературной и публицистической деятельности Александра Свентоховского – главного зачинателя позитивистского движения в Варшаве. Они играли ключевую роль в Варшавском обществе для содействия русской промышленности

и торговле, а в контексте революции 1905 года предприняли усилия к созданию Союза польских инженеров и техников (Związek Polskich Inżynierów i Techników)⁵⁶¹.

В целом инженеры считались важной опорой позитивизма, понимаемого как политическая и социальная программа. Соответственно, внутripольские споры о том, как правильно относиться к потере государственности и к российскому господству, определяли и ту позицию, которую позитивистски настроенные инженеры могли занять в польском обществе. Ничто не может проиллюстрировать этого более наглядно, чем столкновения, произошедшие в мае 1912 года, по случаю похорон Болеслава Пруса, между студентами инженерно-строительного отделения Политехнического института и их противниками. Будущие инженеры, ссылаясь на ту поддержку, которую Прус оказал делу создания института, потребовали для себя привилегированного места на похоронах писателя. По согласованию с вдовой именно им досталась честь нести гроб Пруса на заупокойную мессу. Однако это вызвало бурю протеста со стороны тех участников церемонии, которые настаивали на продолжении бойкота всех государственных учебных заведений: они обвинили студентов Политехнического института в предательстве польского дела. Когда гроб Пруса нужно было нести из церкви на кладбище, активисты бойкота с помощью фаланги из крепких работников трамвайных депо и официантов воспрепятствовали участию студентов в траурной процессии. Однако молодые инженеры не признали поражения: они обогнали процессию по параллельным улицам и у ворот кладбища выстроились в две шеренги по бокам от дорожки, отдавая последние почести великому варшавскому позитивисту⁵⁶². В этой символической стычке нашел свое выражение глубинный конфликт: те, кто были готовы к сотрудничеству с российскими властями, – лагерь, в котором тон задавали инженеры и студенты Политехнического института, – столкнулись с фракцией, тоже считавшей себя позитивистской, но выступавшей за продолжение конфронтации с государством.

Таким образом, отнюдь нельзя сказать, что притязания этих инженеров на статус единственных представителей позитивизма в польском обществе никем не оспаривались. Но в отличие от позитивистской программы профессия инженера была необходима

и для других политических лагерей. Можно было отказаться от «примиренческой позиции» позитивизма конца XIX века и вновь ступить на путь противостояния с имперской властью, но едва ли можно было отрицать, что инженеры будут играть решающую роль в будущих работах по строительству Польского государства. Поэтому и в революционных партиях национального или социалистического характера инженеры занимали важное место⁵⁶³.

Итак, инженеры, их движения и инициативы имели существенное значение для самоорганизации польского общества; однако и в среде царской бюрократии многие в то время разделяли ценности инженеров, поскольку технократическое мышление в конце XIX века уже достигло по крайней мере некоторых сегментов государственного аппарата, прежде всего городских управленцев. И даже такие консервативные институты, как генерал-губернатор и его администрация, по своему мировоззрению не были отделены непреодолимой пропастью от тех инженеров, для которых была характерна безграничная вера в технику и государство. Связанное с этим технократическим этатизмом акцентирование морального обновления как основной составляющей технической революции было – по крайней мере, частично – совместимо с патернализмом высших должностных лиц: последние считали себя представителями православной царской власти, которая виделась им антиподом «манчестерского» капитализма, чуждающегося государства, и – в собственных глазах – не занималась аморальной эксплуатацией людей, нацеленной исключительно на максимизацию прибыли. Инженеры с их представлением о будущем обществе, где социальная гармония будет достигнута с помощью техники, легко вписывались в подобное мировоззрение. Неудивительно поэтому, что они играли значительную роль в тех фабричных инспекциях, которые предусматривали государственный контроль за промышленными предприятиями и за соблюдением не только технических, но и моральных стандартов на производстве. Этот парадоксальный институт характеризовался фундаментальным противоречием между патерналистским самосознанием царских чиновников и их решительным неприятием любых форм рабочей самоорганизации, но для инженеров на государственной службе именно здесь открывалось поле действия. В рамках инспекции они тоже пропагандировали технические новшества в области санитарии и гигиены, безопасности

труда или повышения его производительности как ключевые меры гармонизации общества. Такая морально нагруженная технизация решения всех и всяческих проблем обеспечивала инженерам, даже в рамках имперской бюрократии, значительную интерпретационную власть⁵⁶⁴.

Иначе нельзя объяснить, почему они могли действовать как pressure group [англ. «группа давления». – *Примеч. ред.*] и проводить модернизационные мероприятия даже вопреки определенному сопротивлению со стороны чиновничьего аппарата. Сопровождавшееся коррупцией и скандалами строительство третьего моста через Вислу одновременно является примером, показывающим, как веско было слово инженеров в таких важных инфраструктурных вопросах. Несомненно, в отношении настоятельной необходимости постройки этого моста существовал принципиальный консенсус, охватывавший в том числе и петербургские инстанции, от которых зависело решение. Силу своего влияния инженеры, участвовавшие в данном предприятии, продемонстрировали скорее не в принципиальных вопросах, а в связанных с конкретной реализацией столь крупномасштабного инфраструктурного проекта.

Как известно, не отличавшийся высокой порядочностью инженер Мечислав Маршевский, являясь председателем строительного комитета, принимал конкретные решения, касающиеся деталей моста, выбора стройматериалов и эстетического оформления постройки. Вместе с инженерами Б. Плебинским и В. Пашковским, а также с вездесущим варшавским архитектором Стефаном Шиллером Маршевский разработал технически и эстетически экстравагантную конструкцию. Для моста длиной 506 метров был использован новый материал – железобетон, который Вацлав Пашковский называл строительным материалом будущего. Проектом предусматривались технически сложный виадук в начале моста и дорогостоящий декор в стиле неоренессанса⁵⁶⁵.

Однако это столь же выразительное, сколь и дорогое решение вызвало не только сопротивление генерал-губернатора Черткова, но и критику со стороны части польского общества. Неудовольствие царского чиновника было связано с тем, что стиль, в котором был выдержан декор моста, имел польские национальные коннотации и сильно напоминал здание галереи «Захента», созданное, как уже

упоминалось, Стефаном Шиллером в 1903 году. Поскольку «Захента» превратилась в один из центров развития польского культурного самосознания, российские власти с большим подозрением относились к ней. А ведь в отличие от «Захенты», которая была частной, мосту через Вислу предстояло стать важным государственным объектом, и его оформление в стиле, считавшемся «польским», несло нежелательные для властей смыслы. Впрочем, критику неоренессансной эклектики декора поддержала и часть польского общества – будь то по эстетическим соображениям или ввиду завышенной стоимости великолепного сооружения⁵⁶⁶. И все же, невзирая на это сопротивление, архитекторам и инженерам удалось осуществить избранный ими вариант проекта. Руководитель строительной конторы Маршевский сумел на какое-то время добиться удивительной автономии в принятии решений – что, как известно, привело к неэффективному управлению, злоупотреблениям, коррупции и манипуляциям с подрядами. Но и после отстранения Маршевского от должности у его преемника – известного инженера Любиского, обладавшего большим опытом в строительстве мостов, – по-прежнему сохранялась значительная свобода действий. Модель моста, выбранная Маршевским, была успешно завершена Любиским без каких-либо серьезных исправлений.

Если говорить о роли инженеров, то пример варшавского третьего моста показывает, что представители этой профессиональной группы не только были исполнителями указаний администрации, но и активно вмешивались в процессы строительства и модернизации. Они как группа специалистов были особенно влиятельны там, где речь шла о проработке конкретных технических деталей проектов. Но участвовали инженеры и в создании эстетической культуры формирующегося современного города, поскольку, выбирая те или иные строительные материалы и стили, налагали свой отпечаток на внешний облик репрезентативных современных построек.

Не на последнем месте среди характеристик этого процесса следует указать на то, что ему не был свойствен тот польско-русский антагонизм, который считается вездесущим и очевидным. С одной стороны, русские инженерные круги характеризовались неуклонно нарастающим национализмом, поскольку пребывали в состоянии жесткой конкуренции с иностранными специалистами,

а в Привислинском крае делались попытки создать чисто польскую профессиональную ассоциацию⁵⁶⁷. С другой стороны, технократический дискурс помогал наводить коммуникационные мосты, позволявшие преодолеть российско-польский антагонизм. Представляя себя главной инстанцией модернизации, инженеры при работе по конкретным проектам порой оказывались едины в своих интересах. Строительство третьего моста через Вислу стало примером успешного совместного предприятия русских и польских инженеров, где национальность участников играла меньшую роль, чем их совместное увлечение этим технически сложным строительным проектом. Так, в акционерном обществе K. Rudzki i S-ka, которому было поручено ведение строительства, работало множество русских инженеров – факт, связанный также с тем, что эта фирма прежде занималась главным образом строительством мостов в азиатской части Российской империи. Общий знаменатель – героизация техники и модерности, которые, казалось, парадигматически объединялись в работе инженера, – создал здесь то общее пространство дискурса и представлений, где люди понимали друг друга. Процесс прогрессирующего превращения империи в национальное государство – который повсеместно наблюдался в сосуществовании людей и групп в конце монархического периода российской истории и особенно отчетливо прослеживался в Варшаве – здесь за счет элитарного экспертного дискурса как минимум смягчался. Сотрудничество под знаком прогрессистской утопии было вполне возможно и поверх конфессиональных и национальных барьеров.

Имперское владычество и городская модернизация. Выводы

В проекте обновления Варшавы в конце XIX – начале XX века участвовали многочисленные группы акторов, обладавшие весьма несхожими представлениями о модерности и о том, как она достигается и к каким эффектам приводит. Отчасти они действовали как открытые сторонники модернизации, отчасти же тормозили обновление города, саботировали его или выступали в роли скептиков. На пороге эпохи модерна они создавали и пропагандировали разные, зачастую конкурирующие образы урбанизма и приписывали публичному пространству неодинаковые функции.

Если мы посмотрим, каким образом взаимодействовали эти группы, то увидим, что стигматизация царской власти как тормоза модернизации безосновательна. Царская бюрократия не была монолитом, сопротивлявшимся как один человек требованиям нового времени и процессу формирования мегаполиса: как мы убедились, в рамках этой многослойной административной структуры действовали очень разные силы, и некоторые из них внесли решающий вклад в то, что Варшава уже под российским владычеством приобретала все более современный облик.

Такое заключение, разумеется, не означает, будто следует доверять представлениям некоторых лидеров имперской административной элиты о самих себе как о главных инициаторах перемен. Когда русские авторы из Варшавы указывали, что в Привислинском крае лишь царская власть является носителем модерности, помогающим экономическому и культурному развитию приведенных в упадок польских земель, то при таком взгляде — это надо понимать — последовательно игнорировались сила и активность местного общества. А между тем, как было показано в данной главе, именно круги коренных варшавян инициировали и реализовали многочисленные процессы в мегаполисе. Контрастирующие с этим тщетные попытки русской общины создать нечто столь же значительное показывают не только слабость малочисленного русского населения Варшавы. Провалившийся проект Русского народного дома свидетельствует еще и о том, что даже при активной поддержке со стороны части царской администрации у русской общины не получалось добиться того, что коренные варшавяне в десятках случаев успешно осуществляли.

При этом было не важно, руководствовались ли польские акторы патриотическими или меркантильными мотивами, заботило ли их общественное благо, польская культура, или техническая модернизация, или собственная прибыль; достаточно часто эти интересы были нераздельно слиты друг с другом. И все приведенные примеры свидетельствуют о том, что варшавское общество обладало ресурсами для запуска масштабных и долгосрочных процессов городского развития там, где правительственным инстанциям зачастую не хватало средств. Возьмем ли мы создание Политехнического института, филармонии или «Захенты», финансируемую из частных

источников параллельную систему образования или движимое спекулятивными интересами жилищное строительство, возьмем ли технизацию городской жизни – всюду было наглядно продемонстрировано, что и в Варшаве раздающая распоряжения царская государственная власть не была единственным актором: на сцену уже давно вышло общество.

Не в последнюю очередь это привело к тому, что начали сталкиваться разные представления о том, кто именно инициирует перемены. Нагляднее всего это демонстрировал описанный в начале книги конфликт между царскими властями и польской общественностью, имевший место при торжественном открытии третьего моста через Вислу. Как считали лидеры польского общественного мнения, только католический священник имел право на церемониальное освящение постройки, поскольку новый мост был возведен исключительно на средства города, которые, в свою очередь, предоставили польские горожане. С точки зрения этих деятелей, модерный город и происходившие в нем инфраструктурные и технические нововведения являли собой прежде всего плод усилий коренного населения; о решающей роли кредитов, полученных в Санкт-Петербурге, тут даже не упоминалось. Превращение Варшавы в модерный мегаполис, согласно данной точке зрения, осуществляли в первую очередь сами варшавяне⁵⁶⁸.

Однако подобные споры о том, кто имеет права на этот город и кому принадлежит заслуга успешной его урбанизации, не скроют от нас того факта, что модернизировать этот, лишенный самоуправления мегаполис позволило лишь переплетение взаимодействующих государственных и общественных структур⁵⁶⁹. Возьмем тот же пример моста через Вислу: именно такое сочетание – государственного кредитования и муниципального планирования, министерского одобрения проекта и активной работы польских инженеров и архитекторов – привело к тому, что возник этот центральный для инфраструктурного обновления Варшавы объект. Деятельность на благо общества без согласия или одобрения со стороны администрации была так же невозможна, как не имели шансов на успех мероприятия имперской бюрократии без сотрудничества со стороны местной элиты. Власть, желающая чего-то большего, чем просто поддержание военного и полицейского контроля, не могла обойтись без сотрудничества

хотя бы с частью местного общества. Именно это, богатое недоразумениями, недоверием и ожесточением взаимодействие в рамках конфликтного сообщества и продвигало вперед трансформацию Варшавы.

Имперская точка зрения, с которой царские чиновники смотрели на Варшаву, впрочем, не противоречила их активной вовлеченности в местные дела: они были заинтересованы в модернизации этого города как в составной части усиления Российской империи. Сколь бы ни различались приоритеты таких должностных лиц, как президенты города и генерал-губернаторы, все они были объединены тем, что мысль о Варшаве была для них мыслью об империи. Этим облегчалось установление контактов с городской общественностью и обеспечивалась стабильная основа для прагматической коммуникации независимо от всех политических разногласий.

В ходе этого длительного процесса обмена имперские чиновники уже давно сами стали частью того города, господство над которым было их должностной обязанностью. Подобное превращение приезжих управленцев в местных жителей всегда было частичным и никогда не приводило к отказу от имперской точки зрения в пользу польских позиций. Даже такой открыто симпатизировавший польским интересам президент, как Сократ Старынкевич, оставался имперским чиновником, безо всякого понимания относившимся к пресловутым «польским мечтаниям» об автономии или тем более самостоятельности. И все же бросается в глаза, что должностные лица, чьи портреты были здесь представлены, рассматривали себя как часть организма города, а не как иностранную оккупационную власть. В отличие от тех националистически мыслящих экстремистов из русской общины, которые с начала XX столетия все больше настаивали на усилении национального начала империи, имперский чиновник-управленец не считал, что будущее империи – в режиме апартеида, при котором все нерусские будут лишь влачить существование в неблагополучных, сегрегированных пространствах под надзором полиции. То, что многие царские чиновники сами не были этническими русскими, безусловно усиливало этот скептицизм по отношению к подобным требованиям со стороны националистического лагеря. Но на представления многих чиновников влиял и многолетний опыт конкретного сотрудничества с местным обществом. Проект городского модерна, общий для всех,

неоднократно объединявший генерал-губернаторов, президентов города, инженеров и представителей предпринимательской буржуазии, продемонстрировал здесь, в Варшаве, свой устойчивый эффект и, таким образом, косвенно изменил практику имперского господства.

Ставший популярным как элемент самоописания городской общественности еще в период российского владычества, топос «Варшава – Восточный Париж» указывал именно на то, что мегаполис на Висле становится городом все более современным. Имперские чиновники не стояли в стороне от этого превращения Варшавы «в Париж», а были одним из продуктивных факторов данного процесса. Их роль в трансформации столицы Царства Польского в современный европейский мегаполис показывает, что имперское владычество в крае, помимо прочих своих измерений, в принципе обладало и формирующим воздействием. Поэтому власть Петербурга нельзя описывать как просто угнетение и торможение: ее следует понимать как силу, которая задавала контекст и тем самым оказывала долговременное и глубокое, определяющее влияние на местные процессы. Немногие из этих процессов оценивались поляками положительно. Но это не отменяет интерпретации имперского правления как фактора, продуктивного для политических, социальных и культурных процессов.

Такое формирующее измерение империи проявилось во многих сферах. В частности, его можно наблюдать и в формах коммуникаций и организации русского общества в Варшаве.

Глава V

ФОРМЫ ИМПЕРСКОГО ОБЩЕСТВА

«РУССКАЯ ВАРШАВА»: ИМПЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДЕ НА ВИСЛЕ

Посреди Царства Польского на протяжении долгого XIX века обитало сообщество людей, ощущавших себя избранными представителями империи в этом краю, членами некоей диаспоры, репрезентирующей центр на периферии. Это «имперское общество» включало в себя отнюдь не только узкий и эксклюзивный круг царской бюрократии. Оно было гетерогенным образованием, в которое входил широкий спектр профессиональных, сословных и статусных групп. В параллельной вселенной имперской общины в Царстве Польском жили как чиновники русской администрации и аппарата власти, так и офицеры армии, и публицисты, и книготорговцы, университетские профессора и учителя, священники и политики, предприниматели и инженеры, адвокаты и медики. Некоторые из них состояли на государственной службе, не считая себя чиновниками, другие имели в Привислинском крае собственное дело. Главным признаком, объединявшим их, была, без сомнения, принадлежность к Русской православной церкви. Подавляющее большинство представителей этой группы, если бы их спросили о национальности, отнесли бы себя к «русским». Однако и здесь гомогенность существовала лишь в ограниченной степени; в это имперское социально-коммуникативное сообщество входили также прибалтийские немцы и другие лютеране, православные грузины и армяне.

Всех их связывало упомянутое выше представление о самих себе: они репрезентируют здесь империю. Как конкретные функции, так и рвение, с каким они их исполняли, были у всех разные; различалось и понимание того, что значит «империя»; они поддерживали разной степени интенсивности контакты или конфликты с чуждым им польским и еврейским окружением. Тем не менее чувство общности было ярко выражено. Отграничивая себя от коренного населения – и реагируя на то, как оно отграничивало их от себя, – эти представители империи были готовы включать свою социальную и культурную деятельность в формирующиеся структуры и зарождающиеся институты имперского общества. Тем самым они

способствовали созданию целого специфического жизненного мира, который современники – т. е. и сами его обитатели, и те, кто в него не входил, – часто называли «русской Варшавой». Данным понятием обозначались как пространственная концентрация этих представителей Российской империи в столице Царства Польского, так и их гегемония в нем.

В настоящей главе будет описан генезис русской имперской общины, сосредоточенной в мегаполисе на Висле. Именно в Варшаве, где проживала бóльшая часть русских в Привислинском крае, они развили бурную социальную и культурную жизнь, и одновременно здесь же были наиболее интенсивными отношения обмена и конфронтации между ними и их польскими и еврейскими соседями.

Благотворительное общество, мужской клуб и книжный магазин: точки формирования русской общности в Варшаве

Достаточно часто, говоря о царской России, «общество» изображают как антипод самодержавного господства. Он ассоциируется с такими процессами, как эмансипация в дисциплинирующем государстве, формирование публичной сферы и гражданского общества с его специфическим активизмом, которые развиваются в противопоставлении себя государственным структурам и часто в противостоянии с ними. Если бы мы попытались применить такое понимание «общества» к русской общине в Варшаве, то пришлось бы, особенно в первые годы после Январского восстания, констатировать только отсутствие общества там: никакого русского «общества» за пределами государственных учреждений в Привислинском крае после 1864 года не существовало. «Русский элемент» в Варшаве и повсюду в Царстве Польском состоял главным образом из должностных лиц, служивших в бюрократическом аппарате и в армии. Еще в 1881 году известный и много путешествовавший петербургский журналист и фельетонист Владимир Михневич описывал русскую общину в Варшаве как нечто, образованное людьми, состоящими «на службе». Спустя более пятнадцати лет после разгрома польского восстания русское общество по-прежнему было прежде всего государственным установлением⁵⁷⁰. Подтверждает характеристику, данную русской общине Михневичем, и статистика того времени,

показывающая, что численность приверженцев православия в Варшаве была невелика. Так, в 1864 году в этом городе, находящемся на военном положении, наряду с большим количеством солдат царской армии проживал всего лишь 691 православный. Но и после «замирения» в первое время мало что изменилось: в 1866 году в Варшаве оказался всего 721 православный. И даже то, что кажется существенным увеличением их числа к 1876 году, – обманчиво, потому что значительное большинство из 10 026 православных, насчитывавшихся тогда в городе, составляли бывшие униаты: после того как в 1875 году и в Холмско-Варшавской епархии было осуществлено принудительное слияние Греко-католической церкви с Русской православной, приверженцев обеих стали включать в общую статистику православных⁵⁷¹.

И тем не менее источники говорят о социальной и культурной активности русской общины и в первые два десятилетия после Январского восстания. Ведь для современников вовсе не существовало этого – кажущегося нам явным – разделения между обществом и властью. Напротив, представители царской государственности были одновременно и главными фигурами того, что называлось «общественной жизнью» в Варшаве. Подобные формы социальности имели в русской общине свою традицию. Уже в 1859 году было создано Варшавское общественное собрание – в качестве русского ответа на польский Obywatelski Klub, поэтому оно даже стремилось называть себя Русским клубом, однако это название наместник князь Михаил Горчаков сначала не утвердил, дипломатично щадя чувства поляков. После 1863 года проявлять такую чуткость уже было не нужно, поэтому ассоциация в 1864 году была учреждена заново – под названием Русское собрание. Тот факт, что это Русское собрание образовалось в разгар Январского восстания, свидетельствует об удивительной нормальности общественной жизни в городе, охваченном боями⁵⁷².

Такие формы институционализации сообществ и в последующие годы тоже не развивались помимо государственных органов власти и правопорядка, а создавались и действовали при самом непосредственном их участии. Так, большинство членов Русского клуба, располагавшегося в бывшем дворце Замойского, составляли чиновники. Офицеры из российского гарнизона были в клубе желанными гостями, там можно было встретить даже наместника,

а впоследствии генерал-губернаторов. Согласно уставу Русского собрания наместник автоматически являлся попечителем этой ассоциации. Здесь, в здании на улице Новый Свят (дом 67), к услугам мужчин, состоявших членами клуба, были комнаты для игры в карты, для курения и для игры в бильярд, а также зал для балов и концертов; здесь можно было найти свежие российские и зарубежные ежедневные и еженедельные газеты или воспользоваться книгами из библиотеки клуба⁵⁷³.

Однако в восприятии современников клуб не был чем-то, созданным общественностью и принадлежащим лишь ей: главным патроном социальной жизни в Варшаве считался верховный чиновник государственной администрации. Поэтому балы и приемы, даваемые наместником или генерал-губернатором в Королевском замке, описывались как кульминационные точки общественной празднично-развлекательной жизни города. Такие званые вечера – например, по случаю дня рождения царя или празднования Нового года – очень способствовали тому, что русская община укреплялась в представлении о себе как о маленькой, но правящей элите в чужом краю. Русская культурная жизнь этих первых десятилетий после Январского восстания протекала под непосредственным попечительством царской администрации, примеров чему множество. Так, первая и долгое время единственная русскоязычная газета была печатным органом правительства: «Варшавский дневник» состоял из официальной части, где публиковались царские указы или распоряжения генерал-губернаторов, и неофициальной – где на нескольких страницах можно было прочесть местные новости. Такая же смесь правительственных объявлений с репортажами о повседневной жизни была характерна и для других газет, которые в последующие годы стали с разрешения генерал-губернатора издаваться в Царстве Польском. Двухязычная «Варшавская полицейская газета», «Губернские ведомости», начавшие выходить в 1866 году, а также «Беседа», созданная в 1880-е годы и предназначенная для чтения (про себя и вслух) крестьянами, – при помощи всех этих средств массовой коммуникации государство пыталось быть услышанным, а журналисты стремились пробудить интерес читателей. Последнее обстоятельство делало газеты важными культурными инстанциями для маленькой русскоязычной общины –

или по крайней мере для тех ее членов, которые хотели читать прессу не только из далеких Москвы и Петербурга⁵⁷⁴.

В особенности роль главного редактора «Варшавского дневника» была важна для самопонимания русскоязычной публики. Такие энергичные редакторы, как поэт Петр Вейнберг, фельетонист В. И. Писарев, славист Николай Берг или известный на всю империю публицист Константин Леонтьев, а позже, в 1890-е годы, – славист Платон Кулаковский и литератор Всеволод Крестовский, могли давать важные культурные импульсы небольшому русскому сообществу Царства Польского. Они, несомненно, сыграли важную роль в том, что русская община усиленно размышляла о форумах для формирования общества⁵⁷⁵.

Дело в том, что, хотя чиновники и офицеры доминировали в варшавской русскоязычной общине, нельзя не заметить и стремления ее членов устраивать собственные культурные мероприятия в таких местах, которые бы, с одной стороны, однозначно определялись как «русские», а с другой – располагались вдали от служебных кабинетов. В первое десятилетие после Январского восстания были основаны Русское музыкальное общество и Варшавское окружное управление Российского общества Красного Креста. Кроме того, было создано несколько кооперативных организаций самопомощи, объединявших представителей определенных профессий. В особенности следует упомянуть Русское благотворительное общество, которое соединяло в себе общественную жизнь и благотворительную деятельность. Это, несомненно, была самая важная и самая богатая русская ассоциация в Варшаве. Согласно уставу 1866 года к ее основным целям относилось попечение о бедных и сиротах; она содержала большой Мариинский приют в центре города, а также организовывала многочисленные культурные и образовательные мероприятия. На примере этого учреждения можно особенно хорошо проследить тесную связь между государственными структурами и общественными ассоциациями в Привислинском крае. Ведь генерал-губернатор не только был почетным членом правления Общества, но и предоставлял этой благотворительной организации из казны весьма значительные субсидии. То же относится и к другим подобным организациям – например, к основанному в 1895 году Обществу домов трудолюбия, ночлежных приютов и дешевых столовых-чайных в городе Варшаве,

председателем которого был варшавский обер-полицмейстер, поддерживавший Общество средствами из бюджета своего ведомства. Уже трудно было различить, где прекращается государственная инициатива и начинается общественная. Символически этот союз воплощался в роли попечителя общественной организации: как правило, данную роль брал на себя высокопоставленный чиновник. Кроме того, жены генерал-губернаторов были активными участницами многочисленных местных ассоциаций. Поэтому в восприятии поляков Русское благотворительное общество однозначно представляло собой орудие государства, которое к тому же снискало себе среди них печальную славу, русифицируя детей-полусирот из конфессионально смешанных браков⁵⁷⁶.

Однако польские критики упускали из виду тот факт, что многие из обществ, в названии которых фигурировало слово «русское», представляли собой не просто управляемые государством эквиваленты соответствующих польских обществ: кроме этого, в них еще и проявлялось стремление русской общественности дистанцироваться от административной иерархии, которая воспринималась ею как недостаточно русская, слишком немецкая. Наиболее активно участвовавшие в деятельности этих обществ чиновники были зачастую одновременно и наиболее видными критиками якобы германо- и полонофильской политики наместника – Фридриха Берга или генерал-губернатора – Павла Коцебу⁵⁷⁷.

Но в 1860–1870-е годы самоорганизация культурной жизни русских в Варшаве делала еще только первые, неуклюжие шаги. Это выражалось, в частности, в длинном списке российских организаций, которые не имели в Царстве Польском региональных отделений. Бросается в глаза, например, отсутствие варшавского отделения Русского географического общества (далее – РГО). Если локальное отделение РГО в Киеве стало одной из главных движущих сил всей этой ассоциации ученых, то в Варшаве долгое время ни о чем подобном не было слышно⁵⁷⁸. Ситуация изменилась только тогда, когда в связи с «холмским вопросом», в столкновениях трактовок, касавшихся этой области, все большее значение стало придаваться историко-географической экспертизе. Однако наверстать упущенное и создать наконец варшавское отделение РГО так и не удалось – в связи с недостатком ресурсов.

Многолетняя слабость русской общины в Варшаве становится еще более очевидной на примере неудачной попытки создать здесь первый частный русскоязычный журнал. С 1 января 1878 года М. Е. Терехов и профессор университета В. А. Яковлев стали издавать газету «Западная почта». В отличие от подходов польскоязычных конкурентов, которые, несмотря на сложные условия цензуры, поддерживали существование весьма разнообразного спектра прессы в Варшаве, бизнес-модель «Западной почты» оказалась несостоятельной⁵⁷⁹. Уже в следующем, 1879 году инициаторы вынуждены были прекратить издание газеты. Для того чтобы подобная попытка дифференцировать и коммерциализировать русскоязычную прессу в Привислинском крае могла увенчаться успехом, нужна была многочисленная русскоязычная читательская аудитория, а ее в конце 1870-х годов еще не было.

В свете сказанного неудивительно, что культурная жизнь русской общины ориентировалась главным образом на два учреждения, успевшие уже укорениться и окрепнуть: во-первых, на основанный в 1869 году Императорский Варшавский университет с его преимущественно российским профессорским корпусом – важное учреждение, объединявшее в себе различные виды общественной деятельности. Во-вторых – на православную церковь, которая даже во времена, когда русская община численно была слаба, давала ей возможность культурного самоутверждения. Церковь предлагала широкий и многослойный набор видов деятельности и культурного потребления – будь то посещение концертов синодальных хоров, чтение «Холмско-Варшавского епархиального вестника», выходившего с 1875 года, отмечание многочисленных праздников или участие в церковной благотворительной и образовательной работе, – набор, позволявший православным русским в преимущественно католическо-еврейской Варшаве осознать собственные инаковость и своеобразие. Кроме того, церковь выступала в качестве солидного покровителя различных общественных инициатив. Поэтому некоторые граждане обратились к архиепископу с просьбой поддержать их проект создания Варшавского общества религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви⁵⁸⁰. Но главное – православные храмы были основными местами, где собирались представители русской общины в Варшаве. Ни один дневник, ни одни мемуары, ни один исторический очерк и ни одна петиция в органы власти не обходились без указания на

важнейшее значение этих мест и на духовную силу православной литургии.

Такая важная роль церкви была, несомненно, обусловлена не только тем, что православная вера в принципе доминировала в культурном самопонимании русских, но и исключительной ситуацией в Варшаве, поскольку в эпоху, когда национальная самоидентификация осуществлялась прежде всего по конфессиональному признаку, «национальная конфессия» и ее представители не могли не казаться основными носителями национальной культуры. Поэтому неудивительно, что именно православные храмы стали символами русской жизни в Царстве Польском. Инициированное генерал-губернатором Гурко строительство собора Святого Александра Невского не представляло собой чисто государственный проект: оно сопровождалось широкой кампанией поддержки со стороны местной русской общины, которая помогла преодолеть трудности с финансированием⁵⁸¹.

С одной стороны, и связь православной церкви с государством, и важное значение последней для определения собственной идентичности русскими в Варшаве – все это укреплялось антикатолицизмом и антиполонизмом данной церкви. С другой стороны, русофобия, характерная для широких кругов польского населения, тоже этому способствовала. Ведь в условиях такого зеркального недоверия и взаимной чужести, презрения и открытой враждебности усиливалась не только изоляция российской среды, но и ее фиксация на государственных и церковных инстанциях как на силах, способных дать ей защиту. Владимир Михневич очень наглядно описывает эту взаимную антипатию в своем рассказе о путешествии в Царство Польское в 1881 году: враждебные взгляды польской среды и миссионерское рвение «русификаторов» встречались и постоянно укрепляли друг друга во взаимных предрассудках и антипатиях. Те из русских, кто не посвящал себя «миссии русификации», по словам Михневича, не выдерживали долгого пребывания в Привислинском крае, поскольку польское общество всюду и всегда их отталкивало. Оставались лишь «фанатики», которые охотно шли в бой за «русское дело», но достаточно часто отличались невысокими моральными качествами. Хорошей основой для ассимилирующего воздействия русского общества на польское окружение это, как сухо отмечал

Михневич, назвать нельзя⁵⁸². Наоборот, среди русских была велика озабоченность якобы сильным аккультурационным давлением со стороны поляков и губительным его воздействием на давно проживающих в Привислинском крае русских. И здесь государство представлялось им гарантом их культурной идентичности, так как охраняло маленький «русский элемент» от принудительной ассимиляции превосходящими силами поляков и агрессивного католицизма⁵⁸³.

В этой ментальности «осажденной крепости» центральную роль играла память о польском восстании. «Мятеж» и «заговоры» поляков относились к числу самых важных «мест памяти» русской общины в Варшаве. Первые же русскоязычные публикации, вышедшие там, были посвящены этой теме. Так, Николай Берг в своей монографии описал польскую традицию повстанчества как продукт «политического романтизма», якобы характерного для польской культуры. Здесь был создан топос романтично-горячего, легковозбудимого и лихорадочно действующего поляка, который не останавливается перед действиями исподтишка, подлостью и даже перед убийством из-за угла, принципиально движим ненавистью ко «всему русскому» и отличается неверностью и неблагодарностью по отношению к милостивому царю⁵⁸⁴.

Эти антипольские стереотипы подогревались влиятельным московским журналистом Михаилом Катковым, который своими публицистическими тирадами распалял российскую общественность⁵⁸⁵. Рецепция катковской газеты «Московские ведомости» в Варшаве была интенсивной, равно как и взаимодействие с русской общественностью в Вильне, чьи публикации характеризовались столь же ярко выраженной антипольской направленностью. Поэтому такого рода печатная продукция входила в стандартный репертуар Варшавской библиотеки для чтения. Здесь, несомненно, можно говорить о существовании трансрегиональной русской публичной сферы, деятели которой взаимно укрепляли друг друга в убеждении, что поляк коварен и опасен. «Поляк» стало в те времена расхожим бранным словом, которое – даже без всякой связи с «польским вопросом» – использовали для обличения неподобающего поведения.

Такая полонофобия, усиленная ощущением угрозы, вызванным местными обстоятельствами, способствовала самоизоляции варшавских русских. Поэтому даже самые ранние формы их общественной жизни уже указывают на то, что русская община стремилась создать своего рода параллельную вселенную, в изолированных пространствах которой ее культурная идентичность была бы защищена от враждебной среды. Большинство основанных в то время русских клубов и ассоциаций представляло собой русские альтернативы существующим польским организациям. Так же как и в других районах Российской империи, в Варшаве существовало по несколько однотипных ассоциаций, строго разделяемых по национально-конфессиональному признаку – русские православные, польские католические, еврейские и протестантские: четыре крупных благотворительных и три музыкальных общества, а также три велосипедных клуба. Русские жили в Варшаве, как отмечал Михневич, своей колонией, которую старались сделать как можно более самодостаточной⁵⁸⁶. Поскольку польская сторона не ощущала потребности в более тесном контакте с русскими жителями города сверх пределов необходимого сотрудничества с административными ведомствами, то и границы, разделявшие национально-конфессиональные группы, в эти ранние годы были весьма заметны. И поляки, и русские по молчаливому согласию предпринимали усилия к тому, чтобы их общины оставались четко отделенными друг от друга.

«Золотые годы»: русская община в конце XIX века

В 1880–1890-е годы русская культурная жизнь в Варшаве стала значительно динамичнее; нередко этот период называют также «золотыми годами». Под эгидой генерал-губернатора Гурко и попечителя учебного округа Апухтина «русский элемент» в мегаполисе на Висле значительно окреп, в первую очередь количественно: численность православных и русскоязычных горожан заметно возросла. Если по статистике 1882 года в Варшаве было 12 655 православных, то за последующие десять лет их число выросло вчетверо и достигло 49 997 человек. По данным переписи 1897 года, более 7% жителей города были русскоязычными. Такой автор, как Алексей Сидоров, заявлявший о своей приверженности «русскому

делу» в Привислинском крае, мог с удовлетворением оглянуться на минувшие два десятилетия: в своем обзоре, опубликованном в 1899 году, он с удовлетворением отметил, что с 1864 года доля русских в городском населении выросла более чем на 30% и в целом мегаполис на Висле стал гораздо менее «типично польским» – поляки теперь составляют лишь чуть больше половины его жителей. Сидоров не оставил никаких сомнений в том, что ожидал и приветствовал бы дальнейшую утрату городом «характерных польских черт»⁵⁸⁷.

В последующие годы, по российским источникам, абсолютная численность русских в Варшаве постоянно насчитывала около 40 тыс. человек, причем доля их в общем населении снизилась после 1900 года, поскольку бóльшая часть мигрантов, переезжавших в стремительно растущий мегаполис, происходила из польской округи или польско-еврейского населения западных губерний. Теперь доля русского населения города колебалась в диапазоне 4–5%. Правда, к этим гражданским лицам надо добавить еще солдат гарнизона, численность которых на рубеже веков тоже составляла 40 тыс., а в связи с революцией 1905 года и ожиданием войны в последующие годы даже была доведена до 65 тыс. человек (1907). В большинстве своем русские, офицеры и нижние чины, несомненно, делали «русский элемент» в Варшаве более заметным, хотя мало участвовали в общественной жизни русской общины.

Уже одно это количественное разрастание русской колонии принесло с собой ощутимое оживление ее культурной жизни. Это было связано еще и с тем, что начиная с 1880-х годов изменился состав русского населения. Хотя доминирование чиновников и военных сохранялось и в последующие годы, все же возросла доля русских, работавших и по крайней мере временно проживавших в Варшаве в качестве предпринимателей, служащих или представителей свободных профессий. Оживление русского культурного ландшафта было заметно во многих областях. Во-первых, плотнее стала сеть организаций, подчеркнуто позиционирующих себя как русские; во-вторых, существующие организации активизировали свою деятельность. Несомненно, такие околосударственные масштабные события, как приемы у генерал-губернатора, визиты монарха или других членов царской семьи и юбилеи дома Романовых, по-прежнему были для русской среды самыми важными⁵⁸⁸. Но палитра культурной

жизни помимо административных и автократических инициатив стала все же заметно шире. Например, Николай Лохов в 1906 году создал Русский варшавский литературно-научный кружок, а любители театра стали встречаться на собраниях Русского музыкально-драматического общества и Русского кружка любителей сценического искусства. В сфере спорта и досуга тоже стали возникать русские ассоциации. С 1890-х годов в Варшаве существовали русские велосипедный, конный и яхтклуб, а с 1909 года – Атлетическое общество. Варшавская 1-я мужская гимназия, которая располагалась в бывшем дворце Сташица, демонстративно перестроенном в «русском» стиле, стала местом, где активно культивировалась русская культура. Учащиеся ее сделались основной целевой аудиторией для русских активистов народного образования, но и сами вносили вклад в русскую общественную жизнь в Варшаве – спектаклями и прочими мероприятиями⁵⁸⁹.

Существовавшие уже давно организации, такие как Русское собрание, Общество истории, филологии и права или Русское благотворительное общество, с 1880-х годов значительно активизировали свою образовательную и культурную работу. Особенно Русское собрание в этот период вполне успешно компенсировало слабые стороны русской общественной жизни в Царстве Польском за счет культурного импорта из Москвы или Санкт-Петербурга: например, арендовало помещения для выставок русского искусства или для концертных вечеров с участием гастролирующих столичных певцов. В Варшаве прошла выставка передвижников, а сцены государственных театров стали активнее использоваться для проведения гастролей театральных трупп, музыкантов или оркестров из Центральной России. В 1892 году даже сам П. И. Чайковский дирижировал исполнением собственных произведений на концерте в Варшаве. Такие культурные мероприятия позволяли иногда преодолевать разделение между русским и польским обществом. Например, когда в 1895 году в Варшавской опере выступал детский хор московского Большого театра, в восторге были как русские слушатели, так и польские оркестранты. Последние прервали свою игру и аплодировали хору⁵⁹⁰.

Весьма оживился в эпоху *fin de siècle* русскоязычный книжный рынок в Варшаве. Не только количество русских книжных магазинов и библиотек увеличилось, но и ассортимент наименований русских книг, выпущенных в столице Царства Польского, значительно

расширился. Одной из важных тем местного литературного творчества на рубеже веков был генезис «русской Варшавы». В рефлексии по поводу собственной истории и в подчеркивании своего длительного, уже почти столетнего существования русская община искала подтверждения своему статусу, который все чаще и решительнее ставился под вопрос: хотя представители местной русской мысли и могли похвастаться численным ростом своей колонии, уже невозможно было закрывать глаза на то, что с 1890-х годов в польском обществе появились новые течения, которые вновь принципиально подвергали сомнению российское владычество и, следовательно, присутствие русских в Царстве Польском. Таким образом, имел место зеркальный процесс: параллельно с программными текстами польских социалистических и национал-демократических кругов и партий, включающими требования суверенитета Польши, с русской стороны расцвела литература, в которой предметом полемики стал «польский вопрос» и доминирование русского элемента в Привислинском крае. Отчасти можно обнаружить прямую коммуникацию между контрагентами внутри этого конфликтного сообщества, когда в публицистической схватке цитата из сочинения противника превращалась в стилистический инструмент собственной аргументации⁵⁹¹.

В этом отношении те перемены, которые принесли с собой Конституция 1906 года и связанные с ней свободы прессы и собраний, также ускорили развитие общественной жизни в Царстве Польском. Соответственно, и структура организаций русской общины стала более дифференцированной. Так, в 1905 году было подано ходатайство генерал-губернатору о дозволении создать Варшавское отделение Русского собрания, а в 1906-м – учреждено консервативное Русское общество в Варшаве, основанное на началах 17 октября как альтернатива давно существовавшему Русскому клубу⁵⁹². Созданное в конце концов профессором истории Императорского университета в Варшаве, Дмитрием Цветаевым, местное отделение Русского собрания в последующие годы быстро превратилось в одну из самых влиятельных русских ассоциаций в мегаполисе и во второе по величине местное отделение Русского собрания, насчитывая почти 800 членов.

Русскую общину в Варшаве стали все больше раздирать политические разногласия. Нарастающую дифференциацию мнений

отражает и расширение спектра местных русских газет. Если выходившее с 1910 по 1912 год «Варшавское слово» представляло либеральную позицию и сочувствовало кадетам, то основанный в 1906 году «Варшавский вестник» был рупором русского националистического лагеря. Выборы в Государственную думу 1906–1912 годов также способствовали формированию партийных группировок в русском лагере и внесли существенный вклад в формирование русской политической публичной сферы. В особенности же введенная в 1907 году отдельная избирательная курия для русского населения Варшавы создала «привилегированные» условия для политической деятельности: из двух депутатов, которых направляла в Думу Варшава, один определялся исключительно выборами в этой курии. Отчасти в Привислинском крае воспроизводились политические организации, существовавшие внутри России, отчасти же возникали совершенно самостоятельные, варшавские образования, которые можно объяснить только в контексте особого положения польских провинций. Так, националистическое Русское общество в Варшаве уже в своем учредительном манифесте говорило в первую очередь о специфических проблемах, которые нужно было решать именно в польских провинциях. Агрессивная полонофобия была характерна не только для первого кандидата от этой фракции, филолога-классика Сергея Алексеева: ею полны и позднейшие программные заявления данной партии, выдвинутые на думских выборах после 1907 года. Победившая в двух последних выборах, эта партия была специфическим локальным феноменом, и ограниченность ее программы и электората местными рамками отражала одновременно и крайнюю сосредоточенность русской общины в Варшаве на самой себе⁵⁹³.

***Культурные контакты и этническая самоизоляция:
повседневная жизнь русских в многонациональном
мегаполисе***

В целом процессы в общественной жизни, происходившие начиная с 1890-х годов, не положили конец изоляции русской общины в польско-еврейском городе. Если что-то и изменилось, то, наоборот, именно политизация общественной жизни в период парламентаризма

усугубила русско-польскую конфронтацию, особенно в сфере культуры. Бесспорно, контактов между растущим русским населением, поляками и евреями во многих областях стало больше. Некоторые из описанных выше видов взаимодействия, обусловленных процессами модернизации города, затрагивали и русских жителей Варшавы. Помимо деловой сферы, в быту, тоже имели место разнообразные контакты между мирами приезжих и местных жителей: некоторые документы свидетельствуют об оживленном пересечении границы между ними в обоих направлениях⁵⁹⁴.

Если говорить о культурной жизни мегаполиса на Висле, то гегемония поляков в этой области была полной и повсеместной. Филармония, театр, кинематограф – во главе всех этих культурных учреждений стояли поляки, и даже в государственных театрах большинство представлений шло на польском языке. Однако поход в концерт или в кино не обязательно означал непосредственный контакт с польской культурой, так как в Варшаве играли европейский репертуар и показывали европейские фильмы, а билеты печатались с одной стороны на польском, с другой – на русском языке. Тем не менее такие документы, как, например, дневник Аполлона Бенкевича, свидетельствуют о том, что это повседневное взаимодействие с польской средой воспринималось как нечто нормальное⁵⁹⁵. Помощник прокурора Варшавского окружного суда жил и работал в Варшаве несколько десятилетий. Его дневник – собрание семейных воспоминаний и личных зарисовок жизни города – золотое дно для историка, интересующегося повседневной жизнью русского православного чиновника в Варшаве в первые годы XX столетия. Контакты Бенкевича с окружающими были самыми разнообразными, и отношение к полякам у него сложилось в результате не особенно благосклонное, но повседневное взаимодействие, как оно отразилось в дневнике, было бесконфликтным.

Те блокноты, в которых Бенкевич делал свои ежедневные записи, сами по себе отражают переплетение культур. Чиновник использовал польский канторский календарь (*Dziennik dla kantorów*), поэтому даты и праздники в нем были указаны по григорианскому календарю. Однако Бенкевич, православный русский, в своем восприятии времени ориентировался на «старый стиль»: даты в блокнотах он использовал в соответствии с юлианским календарем и начинал каждый раз

с православного Нового года. Но так как он одновременно записывал и события «нового стиля», получилась путаница в датировках. Поэтому на первой странице календаря за 1 января 1902 года он к словам «Новый год» приписал «по старому стилю», а на странице за 19 декабря того же года написал: «Новый год – по новому стилю». Слово же «Пасха» на польском языке он либо игнорировал, либо зачеркивал⁵⁹⁶.

Этот беспорядок с датами есть нечто гораздо большее, нежели просто забава человека в приватном блокноте-календаре. Ведь несовпадение православных и католических праздников приводило к тому, что православный русский регулярно вынужден был подчиняться католическому ритму жизни города. Так, 11 декабря 1907 года Бенкевич записал, что в этот день было Рождество по новому стилю и для православных этот и последующие два дня тоже были нерабочими⁵⁹⁷. А годом позже 12 декабря он писал, что все магазины были закрыты и даже трамваи не ходили – город был полумертвый⁵⁹⁸. Даже 1 мая – день демонстраций социалистических движений – в период после революции 1905 года принуждал Бенкевича мириться с польским порядком исчисления времени, и 18 апреля (1 мая по новому стилю) 1907 года в дневнике появилась запись о том, что на дворе был «рабочий праздник», столкновений с применением насилия не было, но трамваи и извозчики не ездили и большая часть магазинов была закрыта⁵⁹⁹. Таким образом, тип календаря и городской ритм польско-католической Варшавы оказывали непосредственное влияние на повседневную жизнь русского чиновника.

Многочисленные свидетельства о контактах с польской социальной средой мы находим и в других записях Аполлона Бенкевича. Например, поляки регулярно бывали в списках гостей, которых он и его жена Мария приглашали на свои журфиксы – на так называемые вторники. С другой стороны, самого автора дневника регулярно приглашали к себе в гости польские коллеги и знакомые. Свои описания повседневной жизни Бенкевич постоянно сдабривал цитатами на польском языке⁶⁰⁰. Здесь, как и в иных местах дневника, можно наглядно увидеть, что он воспринимал «поляков» как «других», с которыми, однако, в повседневной жизни часто и, как правило, бесконфликтно имел дело.

Это отразилось и в восприятии городского пространства. Благодаря страсти Бенкевича к коллекционированию открыток и фотографий с видами городов его личный архив служит как бы каталогом тех точек в Варшаве, которые он считал достойными внимания. В нем мы находим пеструю смесь из русских достопримечательностей, таких как Свято-Троицкий собор и церковь Литовского полка или Императорский университет, с одной стороны, и польских, таких как колонна Сигизмунда, памятники Копернику и Мицкевичу, – с другой. Еврейская Варшава тоже нашла себе место в этом частном фотоархиве – она представлена видом Большой синагоги на улице Тломацке⁶⁰¹. Таким образом, взгляд Бенкевича на Варшаву характеризовался не четким разделением национально-конфессиональных сфер, а всеохватностью.

Дневник Бенкевича является редким исключением, потому что русские чиновники в Царстве Польском не отличались особенно активным писанием дневников или мемуаров. Однако надо полагать, что многие из русских чиновников – которые зачастую удивительно долго служили в Привислинском крае, и в частности в Варшаве, – существовали в очень похожей обстановке повседневного взаимодействия с польским и – в значительно меньшей мере – еврейским окружением. Уже один тот факт, что многие русские чиновники прослужили в Царстве Польском более десяти лет, может свидетельствовать о том, что они не совсем против своей воли обосновались в этой контактной зоне. Некоторые из них настолько прижились в Привислинском крае, что пожелали даже покоемся здесь и после смерти. Не только президент города Варшавы Сократ Старынкевич, умерший в 1902 году, завещал похоронить себя в Царстве Польском, но и многие другие, менее известные чиновники. Православное кладбище у ворот Варшавы с годами превратилось в галерею предков местной русской общины. О том, что длительное пребывание русских чиновников в польских губерниях обуславливалось не только особыми привилегиями, которые, несомненно, были связаны со службой в крае, уже говорилось: премиальные выплаты не были достаточно высоки, чтобы компенсировать стремительный рост стоимости жизни в Царстве Польском, и особенно в дорогом мегаполисе на Висле⁶⁰². Несомненно, имелись и другие причины, по которым жизнь на западной окраине

империи представлялась многим как минимум терпимой, а то и привлекательной.

Важным фактором, надолго привязывавшим представителей русского административного аппарата к месту их службы, были семейные связи. Многие русские чиновники, прибывавшие на службу в Царство Польское, впоследствии женились на польках. Такие браки вели к тому, что граница, разделявшая русскую и польскую Варшавы, нарушалась⁶⁰³. Брак с католичкой, несомненно, подразумевал, что православному мужу придется более интенсивно общаться с нерусским социальным окружением. Часто такие супруги сталкивались с отвержением и открытой дискриминацией, причем со стороны обоих конфессиональных лагерей. Например, губернатор плоцкий и петроковский Константин Миллер и его жена-католичка, дворянка Александра Концевич, страдали от нападков как с католической, так и с православной стороны. Например, Миллеру приходилось выслушивать от своих единоверцев упреки в том, что он в своем аппарате покровительствует полякам и вредит «русскому делу»⁶⁰⁴. Католическая же общественность отвергала Миллера как государственного чиновника и называла его мучителем поляков. На протяжении его почти пятидесятилетней службы в Царстве Польском супруги вели все более уединенную жизнь и избегали общества, независимо от вероисповедания⁶⁰⁵. Это может свидетельствовать о том, насколько трудна была семейная жизнь людей, которые решились шагнуть через границу между конфессиональными общинами.

С течением времени враждебность общества в отношении тех, кто не соблюдал данную границу, только усиливалась. Об этом говорит, например, эволюция образа «польки», как его рисовали лидеры общественного мнения, выступавшие за то, чтобы православный мир существовал отгороженно от остальных: топос «польской красавицы» отступил на второе место, а жена-полька в браке с православным русским в конце XIX века стала все больше и больше представляться серьезной опасностью для русского и православного характера семьи. В качестве особо опасной угрозы описывалась скрытая, почти не замечаемая мужем полонизация ею их общих православных детей. Мать-полька, как утверждалось, передает им со своим молоком ненависть ко всему русскому⁶⁰⁶. Требовали даже, если православный

отец умирал рано, принудительно помещать наполовину осиротевших детей в государственные приюты – чтобы вывести их из-под пагубного влияния матери-польки⁶⁰⁷. В этих негативных образах польской жены давний топос польской женщины как пламенной патриотки сплавлялся с нарастающей тревогой по поводу нежелательной ассимиляции русских жителей Привислинского края. Целью пропагандистов изоляционистского дискурса был четкий апартеид конфессиональных и этнических общин, а не установление контакта между ними и тем более не их смешение.

Тот факт, что в начале XX столетия к межрелигиозным и межнациональным союзам стали относиться еще более враждебно, свидетельствует о том, как далеко продвинулась самоизоляция значительной части русской общины в Варшаве. Это, конечно, касается прежде всего националистических кругов, которые считали себя «истинно русскими людьми», а все контакты с поляками клеймили как измену «русскому делу». Логическим следствием такой позиции являлось то, что в националистическом Русском обществе этническая принадлежность была уже в уставе прописана как решающий критерий для включения или исключения человека: согласно параграфу III статьи 5 Общество принимало в свои ряды людей «независимо от пола, звания и состояния», но подать заявку на членство мог только «полноправный русский»⁶⁰⁸. Одновременно это был демонстративный акт, которым основатели Общества – П. А. Федерс и С. Н. Алексеев – показывали, как они намереваются организовывать общественную жизнь в Привислинском крае в целом: они планировали создавать четко сегрегированные по национальностям пространства при привилегированном положении русских.

Но и за пределами этой националистической среды многие варшавские русские предпочитали жизнь внутри своей общины и не стремились к интенсивным контактам с польско-еврейским большинством населения города. Вести такую замкнутую жизнь стало легче благодаря значительному росту численности русской колонии начиная с 1890-х годов. Когда она достигла примерно 40 тыс. человек, стало легче организовать свой быт так, чтобы оставаться практически все время в однородно-русском пространстве.

Образы города, пространственные структуры и культурные иерархии: о топографии русской Варшавы

Количественный рост русской колонии в конце XIX века способствовал значительному оживлению русскоязычного культурного рынка Варшавы. С начала нового столетия появилось множество книг, журналов, календарей и путеводителей, написанных или издаваемых местными русскими жителями. Эти новые публикации внесли значительный вклад в то, что авторы и читатели составляли единое представление о специфически русской православной топографии города и все более иерархизировали городское пространство мегаполиса на Висле. Соответственно, эти публикации были зачастую красноречивыми свидетельствами прогрессирующей этнической самоизоляции. Примером такого документа может служить «Варшавский русский календарь»⁶⁰⁹. В 1903 году издатели вывели на местный рынок этот продукт, заявленный как «русский». Он представлял собой пеструю смесь адресной книги и программных текстов о присутствии русских в Привислинском крае, так что вряд ли можно было надеяться, что он найдет себе покупателей за пределами местной русской общины. Таким образом, данный календарь был одновременно и отражением дифференцированной общественной жизни «русского элемента», и выражением морального самоутверждения этой колонии: в нем адреса русских ассоциаций и фирм располагались непосредственно рядом с заметками о «событиях русской жизни» или об «оживлении русской общественной жизни в Варшаве». Подобные календари были в одно и то же время продуктами имперской колонии и резонаторами, усилителями, через которые она говорила сама с собой, все более изолируясь от окружающего мира. По степени самозамкнутости и латентно агрессивной идейной направленности эти календари заметно отличались от своих предшественников, таких как «Варшавский календарь», которые представляли собой прежде всего информационные брошюры, не содержавшие никаких заявлений о якобы «русском характере» города или страны, где они выходят⁶¹⁰.

О том, что в разрастающейся и все более уверенной в себе параллельной вселенной русской Варшавы вполне можно было устроиться с полным душевным комфортом, свидетельствовали

и русскоязычные путеводители той эпохи. Таких руководств для гостей города стало все больше публиковаться в Варшаве на рубеже веков – они удовлетворяли возросший спрос со стороны коммивояжеров, студентов и отпускников, во все возрастающем количестве устремлявшихся в столицу Царства Польского. В большинстве случаев авторами и издателями этих руководств выступали местные русские жители⁶¹¹, рисовавшие в них такой портрет города, который отражал топографическую иерархию именно русской Варшавы, тогда как польский характер мегаполиса оказывался в значительной мере скрыт, еврейский же – скрыт почти полностью. Панорама представленных зданий, площадей или памятников была идентична почти во всех изданиях – это свидетельствует о том, что русская топография Варшавы уже представляла собой прочно сложившуюся «ментальную карту».

В качестве мест, достойных особого внимания, путешественнику подавались прежде всего присутственные здания, православные церкви и русские памятники. Королевский замок как резиденция генерал-губернатора, дворец наместника как резиденция его канцелярии, дворцовый комплекс на Саксонской площади, занятый штабом Варшавского военного округа, ратуша как место деятельности президента города и обер-полицмейстера, а также дворец в Лазенках, используемый царем во время визитов в Варшаву, репрезентировали центры светской власти. С ними соседствовали описания православных церквей, таких как Свято-Троицкий собор, строящийся Александро-Невский или церковь Марии Магдалины на правом берегу Вислы, в Праге.

Эта панорама дополнялась русской мужской гимназией во дворце Сташица, который в начале 1890-х годов был подвергнут дорогостоящей реконструкции, как уже упоминалось, в «русском» стиле. Центральные улицы, на которые направлял фланера путеводитель, были обозначены русскими названиями: Владимирская, Александровская, Константиновская, графа Коцебу, Александровский мост и Александровский сад, названный в честь Александра I. Новый Свят путеводители расхваливали прежде всего за его русские книжные магазины и русские клубы или за то, что он напоминал родные улицы Внутренней России: в одном из путеводителей он был назван «местным Невским проспектом»⁶¹².

В символической топографии, с которой знакомили гостей города эти описания Варшавы, доминировала русско-имперская тематика. Так, в качестве мест, достойных посещения, прежде всего упоминались памятник князю Паскевичу – царскому генералу и наместнику – или обелиск в честь тех павших в 1830–1831 годах жителей края, что были верны царю, а также бюсты Екатерины II и Александра I. То же самое касалось и городских кладбищ: путешественника направляли на крошечное православное кладбище на западной окраине Варшавы, в то время как католическое Повонзковское кладбище с его роскошными семейными склепами едва упоминалось⁶¹³.

Путеводители представляли площади, здания и памятники, с которыми русские авторы себя идентифицировали, и этот принцип не нарушался тем, что сюда же бывали включены и некоторые места, обозначенные как польские: в то время как большое еврейское население Варшавы эта литература почти полностью скрывала от взора читателя, несколько заметных польских культурных объектов вполне могли быть интегрированы в портрет города. Особенно рекомендовались для посещения Старый город вокруг Старого рынка, Уяздовские аллеи, оперный театр или колонна Сигизмунда, памятник Копернику, а после 1897 года – также статуя Адама Мицкевича. Эти упоминания точек польской культуры в Варшаве не меняли фундаментальной топографической иерархии. Так, в путеводителе Николая Акаимова, вышедшем в 1902 году, главное место на фотографии Уяздовского публичного парка занимали купола в древнерусском стиле, принадлежащие располагавшейся по соседству православной церкви Литовского лейб-гвардии полка⁶¹⁴. Иерархизация была осуществлена и при сравнении «старых» и «новых» районов города. Например, в путеводителе подчеркивался контраст между двумя районами: один, населенный в основном русскими, – между Иерусалимскими аллеями и улицей Мокотовской; другой – Старый город. Первый характеризовался, согласно Акаимову, широкими, прямыми улицами с представительными зданиями; здесь жило множество русских, ценивших порядок, хороший воздух и комфортабельные жилища. Последний же, наоборот, отличался своими узкими извилистыми улочками; дворы там грязные, подчеркивал автор путеводителя, а вредные миазмы, тесные темные коридоры и переполненные квартиры, в которых обитает по несколько

семей, создают нездоровые условия жизни в этом районе⁶¹⁵. То был мир Других – католиков и евреев, ассоциируемый с грязью, нечистотами и зловонием.

Показательно в этой связи и то, что ни в одном из путеводителей не содержится более или менее подробного описания самого роскошного бульвара Варшавы, каким на рубеже веков была улица Маршалковская. Она не соответствовала тому образу города, который стремились представить гостям столицы Привислинского края авторы путеводителей, – образу города, чья история, может быть, и была польской, но современность – принадлежала русским. Такой образ был плодом сужения угла обзора, которое сознательно осуществлялось местной русской общиной. Это становится особенно очевидно при сравнении путеводителей, опубликованных в Варшаве, с описанием того же самого города, но выполненным человеком, смотревшим на него извне. В 1907 году было опубликовано русское издание путеводителя из знаменитой германской серии «Бедекер», посвященного городу на Висле. Автором его был широко известный путешественник и очеркист Григорий Москвич. Он изобразил Варшаву совсем иначе: маршруты предлагаемых им прогулок проходили по всем районам города. Москвич описал множество его польских или еврейских мест и зданий, не выстраивая отчетливой их иерархии. Наоборот, он неоднократно подчеркивал, что самое захватывающее в Варшаве – это именно не русский, а скорее «европейский» ее характер. В глазах этого журналиста, прибывшего в Варшаву из Пятигорска, ее характерными особенностями были национальная и конфессиональная пестрота и «западный» дух. От доминирования же «русского элемента» в портрете мегаполиса, нарисованном Москвичом, осталось немного⁶¹⁶.

Однако для патриотически настроенных поляков этот «Бедекер», был тем не менее провокацией, потому что в нем Варшава, несмотря на всю свою «европейскость», описывалась как бесспорно неотъемлемая часть Российской империи. Это резко контрастировало с тем, как рисовали город польские путеводители того времени: в них подчеркивался именно прежний статус Варшавы в качестве польской столицы, а все самое главное в ней ассоциировалось прежде всего с эпохами до разделов, в то время как связь с российским имперским контекстом была почти полностью скрыта. Так, Станислав Тугутт

в своей статье о Саксонской площади основное внимание сосредоточил на истории возведенного Августом II дворца и даже не упомянул названия Александро-Невского собора – стоявшего там же и почти достроенного на момент выхода путеводителя в свет (1912 год). В целом этот путеводитель сообщал мало хорошего о периоде российского господства: только в первые его годы, писал автор, когда Царство Польское еще было в значительной степени автономно, строились здания, которые «на нашей почве могут показаться несколько искусственными и неуклюжими, однако нельзя не признать, что им присущи весомость и монументальность». Ни о чем подобном в период после Январского восстания, к сожалению, не было и речи, продолжал Тугутт: теперь в Варшаве преобладают «некрасивые дома, банальные общественные здания и бесцветные, невыразительные церкви»⁶¹⁷. С такой точки зрения Варшава под русским владычеством могла быть описана только как история упадка; имперский контекст либо оставался неназванным, либо упоминался в связи с исключительно негативным его влиянием. Часть городского мира Варшавы, населенная русскими и православными людьми, в этом путеводителе оставалась просто скрытой от глаз читателя⁶¹⁸.

Конечно, русская Варшава существовала в жизни и в представлениях независимо от того, что прибывший из России журналист или местные поляки видели ее по-другому. Для местной общины вселенная русской Варшавы была, вне всякого сомнения, реальностью. Ее почти полная ментальная изоляция от польской и еврейской Варшавы в значительной мере сглаживалась сильной этнической и социально-пространственной сегрегацией рабочих и жилых кварталов вообще. Ведь большинство русских жили и работали в относительно четко ограниченных районах, где «русский элемент» действительно был представлен сильнее, чем где-либо еще. Так, основные государственные учреждения, в которых они несли службу, были сосредоточены всего лишь на нескольких улицах в центре города.

Здесь, в древнем Королевском замке, находились резиденция и служебный кабинет генерал-губернатора; здесь располагались Варшавская судебная палата и Свято-Троицкий собор – на площади Красиньских (plac Krasińskich); здесь, на Медовой улице (ulica Miodowa), жил варшавский губернатор – в непосредственной близости

от типографии обер-полицмейстера, от Варшавского цензурного комитета и бывшего униатского монастыря. На перпендикулярной Сенаторской улице (ulica Senatorska) был вход в ратушу, где проживал обер-полицмейстер, а в том же здании со стороны Театральной площади – президент города. Штаб Варшавского военного округа располагался в непосредственной близости от ратуши, в бывшем королевском дворце на Саксонской площади, где обелиск напоминал о воинах, павших в войне 1830–1831 годов, и где начиная с 1894 года строился Александро-Невский собор. Неподалеку, на улице Краковское Предместье, в бывшем дворце наместника, где перед воротами стоял памятник князю Паскевичу, находились канцелярия генерал-губернатора и служебный кабинет варшавского губернатора. Чуть южнее размещался образовательный центр русской Варшавы: Императорский университет, резиденция куратора, 1-я мужская гимназия во дворце Сташица и русский книжный магазин теснились на пяточке, имевшем чуть более 200 метров в длину и менее 150 – в ширину. В нескольких шагах еще дальше к югу, в здании бывшего дворца Замойских, располагалось Русское собрание с его актовыми, концертными и клубными залами. Таким образом, подавляющее большинство имперских ведомств, где служили российские чиновники, находилось на узкой полоске в центральной части города – размером чуть более километра в длину и шириной всего 500 метров.

Квартиры наиболее состоятельных русских семейств располагались так же концентрированно. Как свидетельствуют переписи магистрата и списки избирателей времен думских выборов, подавляющее большинство русских жило в квартале к югу от Иерусалимских аллей. Источники показывают нам внутреннюю структуру этого квартала, которая ориентировалась не столько на социальные, сколько на этноконфессиональные характеристики: улица Маршалковская считалась «бульваром поляков», и русские жильцы предпочитали не снимать квартир ни на ней, ни в выходявших на нее переулках. Они селились скорее поблизости от православной церкви Архангела Михаила (церкви Литовского лейб-гвардии полка), особенно много их жило на улицах Мокотовской (ulica Mokotowska) и Пенкной (ulica Piękna)⁶¹⁹.

В отличие от богачей, живших в центре, все возраставшее число русских рабочих и мелких служащих обитало на правом берегу Вислы:

предмestье Прага считалось не только воровским районом, но и средоточием русских низов. В этом отдаленном, запущенном районе возникла довольно активная русская жизнь, имевшая в церкви Святой Марии Магдалины свой духовный центр, а в Народном театре – культурный. Несмотря на общую этническую принадлежность, дистанция, отделявшая русское население предместья от имперской элиты, жившей на другой стороне реки, была огромной, хотя некоторые политические деятели во времена парламентаризма и пытались наладить отношения между русскими обитателями двух берегов Вислы поверх сословных границ⁶²⁰.

В двойной изоляции пребывали контингенты царской армии, дислоцированные в Варшаве. Регламент их повседневной жизни – по крайней мере, у нижних чинов – ограничивал контакты с гражданским населением. Кроме того, большая часть из этих примерно 40 тыс. мужчин жила в огороженных казармах на севере и юге города или в одном из девятнадцати фортov на городской периферии. В особенности Александровская цитадель, расположенная в северной части Варшавы, была городом в городе: в ней имелись церковь, пекарня, театральный зал и, конечно же, собственная тюрьма. Военные постройки на Мокотовском поле также представляли собой изолированную территорию на окраине Варшавы. Однако полная изоляция военнослужащих от гражданского населения в Российской империи никогда не была достигнута: при перемещениях войск солдаты нередко размещались на постой в частных домах⁶²¹.

В целом можно сказать, что изоляционистское структурирование жилого пространства способствовало сегрегации городского населения по этническому признаку. Оно превратило Варшаву – по крайней мере, на взгляд русских – в «двойной город», в котором апартеид наций и конфессий стал реальностью повседневной жизни. Проживающие здесь русские, таким образом, демонстрировали паттерн расселения, вполне сопоставимый с сегрегацией в британских или французских колониальных городах. Многочисленные прямые контакты с коренным населением, без которых не могли обойтись и русские жители города на Висле, принципиально ситуации не меняли. И такой человек, как Бенкевич, обитал в этом русском православном жизненном мире, даже притом, что в повседневной жизни у него были контакты с католиками или, реже, с евреями. Большинство русских считали себя «другими»

и ориентировались на ценностный и социальный горизонт, значительно отличавшийся от горизонта евреев или поляков.

Центр культурной и символической карты, актуальной для русских жителей польского мегаполиса, находился не в нем, а в столицах Российской империи. Внимание русской общины в Варшаве было сосредоточено на культурных событиях, происходивших в Москве или Петербурге. В этом тоже проявились описанные выше культурные и пространственные иерархии, ведь в такой ориентации на имперские мегаполисы и внутренние районы России выражался отказ русских обитателей Варшавы признать ее в качестве культурно значимого для них контекста. События общественной жизни, имевшие место в далеких столицах, тоже казались им важнее, чем то, что происходило непосредственно вокруг них. Памятник Пушкину в городе на Неве воспринимался ими как «свой», в то время как варшавский памятник Мицкевичу – как «их», т. е. оставался чужим. Неудивительно, что огромная часть русской общины активно участвовала в культурных мероприятиях, демонстрирующих тесную связь между общиной и «коренной Россией». Прежде всего, к таковым относились крупные торжества, которые монарх и его двор после 1903 года устраивали с большой помпой по всей империи, дабы укрепить сплоченность короны, страны и ее верных подданных. Так, годовщины основания Санкт-Петербурга (1903), Полтавской битвы (1909) и Бородинского сражения (1912), а также кульминация этого праздничного цикла – трехсотлетие царствования дома Романовых (1913) – отмечались и в Варшаве⁶²².

Столь же значительными событиями были и поездки царей и членов царской семьи в Привислинский край. Неоднократные визиты Александра II в Варшаву или турне Александра III в 1884 году становились для местной русской общины не только важнейшими поводами выразить верность своему монарху: благодаря символическим привилегиям, которые обеспечивал церемониал приветствия, приезды августейших особ одновременно давали местным русским возможность утвердиться в своем более высоком по сравнению с поляками статусе⁶²³. Особенно наглядно последнее значение проявилось при приезде царя летом 1897 года. Когда Николай II на четыре дня должен был прибыть в Варшаву, известие об этом вызвало бурную подготовку в русской общине. Поскольку

некоторые польские комментаторы трактовали приезд царя как «переломный момент» в отношениях между правителем и Польшей и говорили о новой «эре примирения», общине было необходимо превратить это событие в грандиозную демонстрацию верности русского православного населения Польши своему императору. Протокол обеспечил русским православным чиновникам и сановникам первое место в церемониалах встречи и изъясления верноподданнических чувств. При проезде царя в карете через город, на приеме в королевском дворце Лазенки, во время многочисленных посещений Николаем местных достопримечательностей – всюду церемониальный порядок определял привилегированное положение не только представителей правительственных ведомств, но и представителей русского православного сообщества. В особенности осмотр царем строительства собора Святого Александра Невского и его визиты в православные сиротские приюты трактовались как символические акты, подчеркивающие первенство русского православного элемента в Привислинском крае. Ту же цель преследовало и прямое указание католическому архиепископу не присутствовать при проезде царя через Варшаву: этим тоже демонстрировался и закреплялся более низкий ранг католицизма и католического клира⁶²⁴. Таким образом, непосредственные встречи с монархом становились ключевыми событиями, с одной стороны, позволявшими продемонстрировать русскую православную гегемонию на западной периферии империи, а с другой – помогавшими русской общине убедиться в сохранении ее прямой связи с имперским центром.

Ту же цель преследовала культурная деятельность в рамках варшавской русской общины, целенаправленно привязываемая к культурной жизни в отдаленных столицах России: все, что занимало общественность в Петербурге и Москве, должно было доходить и до периферийного мегаполиса на Висле. Например, здесь проводился сбор средств для того, чтобы и варшавская русская община внесла вклад в установку планируемых памятников Пушкину и Менделееву в Петербурге⁶²⁵. Русские варшавяне считали себя носителями имперской – понимаемой как преимущественно русская – культуры, чье превосходство нужно было продемонстрировать и населению Варшавы. Так они занимались конструированием культурных иерархий, рассчитанным прежде всего на польское население. Восславляя

«величие» таких литераторов, как Пушкин, или таких ученых, как Менделеев, они подчеркивали превосходство русской культуры и науки. Послание было однозначным: Россия и русские не только превосходят Польшу с точки зрения государственной силы и великодержавного имперского могущества, но и идут во главе прогресса в центральных областях высокой европейской культуры. Цель заключалась в том, чтобы позиционировать себя в иерархии народов – членов европейского культурного сообщества.

Тот факт, что такое значение идентификаторов российской культуры приписывалось исключительно внутрироссийским деятелям, отражал в то же самое время и относительную слабость «русского элемента» в Привислинском крае: местная община не породила ни одного «великого сына России». Как бы сильно русские здесь ни убеждали себя, что они являются жителями некой вселенной более высокого класса, нежели та, в которой обитает коренное местное население, все же в повседневной жизни им часто приходилось на опыте убеждаться, что дело обстоит ровно наоборот. Хрестоматийным проявлением этой слабости стал провал проекта Русского народного дома в Варшаве. Иногда случались тяжелые ситуации, когда отсутствие собственных крупных культурных фигур у русских варшавян как бы умножалось на недоразвитость местной инфраструктуры, на которую они так часто жаловались. Когда в 1906 году Русский варшавский литературно-научный кружок собрался, чтобы послушать чтение книги о Пушкине, несколько слушателей упали в обморок из-за нехватки кислорода, потому что скудный бюджет позволил арендовать лишь небольшую квартиру⁶²⁶. Таким образом, в Варшаве русским любителям Пушкина еще в начале XX века приходилось убеждать самих себя в собственном культурном величии, теснясь в одной душной комнатенке.

В числе немногих институтов, которые зримо и гордо демонстрировали свои притязания на то, чтобы даже посреди Варшавы выступать в качестве носителей высокой культуры, был Императорский университет. Поэтому неудивительно, что «русский университет» и его профессорский состав играли важнейшую роль в жизни русской общины. Одновременно университет был и тем местом, где наиболее ярко проявилась нарастающая политизация и радикализация русской общины после революции 1905 года.

«Национализация» образования? Императорский университет в Варшаве и политизация профессуры

Императорский университет был основан в 1869 году на базе Варшавской главной школы. Она была основным учреждением официальной системы образования в Царстве Польском, поскольку, наряду с Политехническим институтом, являлась единственным в крае высшим учебным заведением. Набор специальностей, преподаваемых в Варшавском университете, изначально ничем не отличал его от остальных учреждений высшего образования в империи: два крупных факультета – медицинский и юридический, а факультеты естественных и гуманитарных наук появились в университете значительно позже. Но по профессорскому и студенческому составу это учреждение обладало очень специфическим профилем. Среди зачисленных студентов до 1905 года большинство составляли католики⁶²⁷. Только в результате революции 1905–1906 годов их доля существенно уменьшилась: отток польских студентов был связан с появлением новых альтернатив на варшавском рынке образования. Что же касается преподавателей, то с момента основания университета здесь преобладали профессора русские и православные. Это относится прежде всего к гуманитарным наукам, представители которых также наиболее активно выступали в публицистических дебатах о задачах и заслугах университета⁶²⁸.

Поэтому в польской критике, равно как и в самоназвании профессоров, варшавская альма-матер именовалась однозначно: «русский университет». Такое название указывало на особый характер данного высшего учебного заведения, выражающийся в преподавании на русском языке, а также в том, что в программах гуманитарных дисциплин предпочтение отдается темам, связанным с Россией. Это нашло отражение даже в структуре историко-филологического факультета: он включал «классическое», «историческое» и «славяно-русское» отделения. Студенты последнего занимались польской литературой и языком лишь попутно, первоочередное же внимание уделялось таким предметам, как история и география России, русская литература. В учебную программу часто включались семинары и лекции по общеславянским темам, таким как развитие и сходство

славянских языков и культур. Но и здесь на первом плане стояло значение русского языка и русской культуры в качестве ведущих⁶²⁹.

Все это в решающей степени предопределило восприятие Императорского университета польской общественностью как чужого. Несмотря на то что несколько тысяч польских студентов посещали его и в нем получили образование многие польские врачи и юристы, университет этот в Царстве Польском не любили. Регулярно раздавались требования увеличить долю польского языка, будь то в качестве языка преподавания или в качестве учебного предмета. Возникавшие напряжения раз за разом оборачивались студенческими протестами, бунтами против «русского характера» университета, его руководства и профессуры⁶³⁰. В бурный революционный 1905 год произошла эскалация этих конфликтов. Когда требование расширить присутствие польского языка, польской литературы и истории в преподавании натолкнулось на отказ со стороны царской бюрократии, начался всеобщий студенческий бойкот учебного заведения. Реакцией властей стало закрытие университета на несколько лет. Таким образом, он окончательно превратился в предмет политических споров, которые разворачивались в публичной сфере, где национальный вопрос играл все более важную роль.

Русская профессура и до 1905 года предпринимала усилия для разжигания конфликта с польской стороной. Безусловно, одним из продуктов этой продолжающейся национальной конкуренции и ощущения необходимости оправдать собственную позицию была высокая готовность профессоров, особенно гуманитариев, участвовать в политических дебатах по «польскому вопросу» и составлять целый ряд меморандумов о достижениях и задачах российского образования в Царстве Польском⁶³¹. В этих публикациях варшавские профессора излагали свои концепции переустройства всей имперской системы, и идеи их были весьма отличны от взглядов их зачастую более либерально настроенных коллег в университетах внутренних районов России. Произведения этих варшавских профессоров характеризовались сильным чувством принадлежности к группе – к академической корпорации. Годы преподавания в Варшаве упоминаются и в позднейших мемуарах как формирующий личность опыт, а сплоченность бывших «варшавян» сохранялась и много времени спустя после окончания срока службы в городе на Висле.

Существовала стабильная референтная среда, в которой варшавские профессора, в том числе и бывшие, оказывали друг другу почтение посредством юбилейных сборников, некрологов и кратких биографий, а широкой общественности стремились представить знаменитостей из числа своих коллег⁶³².

Постепенно Императорский университет в Варшаве превратился в центр славяноведения (в широком понимании) и в оплот славянофильской и панславистской мысли. Варшавские профессора, такие как Иван Филевич, поддерживали тесные контакты со славянофильским движением в Москве и Санкт-Петербурге; историки Петр Лавровский, Иосиф Первольф и Александр Яцимирский составили себе репутацию исследованием славянских древностей⁶³³. История, культура и обычаи, литература и сравнительное языкознание использовались в качестве элементов для конструирования великой славянской общности. В Варшавском университете было много представителей теории единого праславянского языкового субстрата. Много было и представителей исторической школы права, участвовавшей в конструировании единого «литовско-русского государства» и, таким образом, провозглашавшей восточные области польско-литовской дворянской республики древним российским наследием⁶³⁴. В этом мировоззрении вероисповедание как определяющая черта принадлежности к общности отступало в большей мере на задний план: его по-прежнему исследовали и воспринимали как составную часть культуры, но не рассматривали как самостоятельный, отдельный от культуры критерий идентичности. Скорее, следуя традиции Иоганна Готфрида Гердера, считали, что в фольклоре и быте, т. е. в повседневных обычаях народностей, можно увидеть их подлинный, неискаженный «национальный характер»⁶³⁵.

Этот круг идей подвергся в период революции 1905–1906 годов значительной радикализации, и одновременно часть профессорского состава стала более политизированной. Студенческий бойкот и временное закрытие университета оказались переломным моментом в его истории, причем сразу в нескольких отношениях⁶³⁶. С одной стороны, он теперь и по составу своих студентов действительно сделался «русским университетом». В ответ на националистический тон профессоров польские студенты перестали записываться в этот университет и начали поступать в иные, легализованные во время

революции, высшие учебные заведения⁶³⁷. С другой стороны, это имело значительные последствия и для профессоров. Их чуждость по отношению к окружающему городу и обществу усилилась, что, в свою очередь, порождало повышенное чувство общности внутри академической корпорации, а также приводило к требованиям последовательного превращения всего образования в Привислинском крае в национальное. В постреволюционной конфликтной ситуации в этой части империи подобный изоляционизм национальных общин (определяемых по этническому признаку) воспринимался многими членами профессорского состава как единственно разумный вариант.

Тем самым изменилось представление о том порядке, том устройстве империи, к которому следовало бы стремиться. Ряд варшавских профессоров все больше рассматривали Российскую империю как по преимуществу русское дело. Она была домом сконструированного «мы» русских, которые защищали «наше дело» на «наших границах» и представляли себя носителями культуры на перифериях этой империи⁶³⁸. Такое приравнивание империи к русскому этносу было не только позицией радикального меньшинства профессоров, но и предметом широкого консенсуса в русской академической среде Варшавы в целом. Это проявлялось, помимо всего прочего, в тех предвыборных программах, с которыми многочисленные преподаватели Варшавского университета вступали в политическую борьбу в контексте выборов в III и IV Думы. Уже сам факт, что варшавские профессора, за какую бы партию они ни выступали, стали активно участвовать в предвыборной кампании, ясно указывает на высокую степень политизированности, характерную для академической среды мегаполиса на Висле в годы после Первой русской революции. В борьбе за то место в парламенте, которое с 1907 года было зарезервировано для русской избирательной курии в Варшаве, конкурировали несколько профессоров.

Несомненно, среди этих профессоров-политиков были и сторонники либеральных позиций. Например, филолог Александр Погодин в 1907 году пошел на выборы от прогрессистов⁶³⁹. Но гораздо больше представителей Варшавского университета было в партии октябристов. Профессор М. Филиппов в качестве кандидата от нее участвовал в избирательной кампании при активной поддержке со стороны Владимира Есипова, уже упомянутого известного

преподавателя, руководителя Варшавского статистического комитета и летописца «русской жизни» в Царстве Польском. Тот в одной из своих предвыборных речей прямо и недвусмысленно дистанцировался от позиций либералов, заявив, что федеративный принцип государственного устройства, за который они выступали, равносителен гибели империи⁶⁴⁰. На таких же позициях стояли и некоторые другие варшавские преподаватели, такие как Александр Евлахов и Иван Козловский. Первый баллотировался на выборах 1912 года в IV Думу от небольшой группы Национально-либерального центра, второй был выборщиком от 2-го варшавского избирательного округа⁶⁴¹. В центре их кампании стоял лозунг «неделимого государственного единства». Все народы, «вошедшие в состав» Российской империи, должны были, согласно этому лозунгу, окончательно отказаться от последних остатков своей прежней независимости, «обособленности» и «самобытности», а в качестве компенсации получить те же гражданские права и законы, что и русская «сердцевина» империи. Однако все гражданские свободы должны были основываться на «русских национальных началах». Хотя Евлахов и Козловский как представители Национально-либерального центра открыто полемизировали с кандидатом от правых националистов, приравнивание «российского» к «русскому» уже и для них было чем-то само собой разумеющимся.

С националистической точки зрения такая позиция была равнозначна измене Родине. Радикальные представители варшавского избирательного объединения Русского общества низводили империю до роли инструмента, обслуживающего «настоящих русских» и их полонофобию. В накаленном климате Варшавы с ее межнациональными противоречиями этот избирательный альянс тем не менее смог добиться победы, и его кандидат, Сергей Алексеев, был направлен в качестве русского депутата от Варшавы в III и IV Думы. Среди националистов также во множестве встречались профессора варшавских высших учебных заведений. В особенности Платон Кулаковский сделал себе здесь имя, некоторое время он даже числился «рекомендованным автором» в партийной газете Русского общества. В качестве выборщиков сотрудничали с националистическим избирательным объединением и Сергей Вехов, и правовед Александр Блок (отец и тезка поэта)⁶⁴².

Все они призвали к усиленной русификации: империя принадлежит русским, а не наоборот. Главным лозунгом было «Россия для русских»⁶⁴³. Столь радикальные позиции вели к тому, что мосты между русской и польской общественностью оказывались окончательно сожжены. Это же было предельно ясно продемонстрировано и в тех требованиях, которые предъявляли русские националисты в Царстве Польском к образованию. Требуя «национализации» образования, такие авторы, как Владимир Истомин, понимали под ней строгий апартеид по национальному признаку. Они подчеркивали, что правительство, разумеется, должно поддерживать только русские «национально-патриотические школы»⁶⁴⁴. В этом радикальном варианте империя принадлежала русским. Соответственно, анонимный автор мог на рубеже веков в полемическом трактате «Почему в Варшаве должен быть русский университет?» потребовать, чтобы императорский университет наконец обрел однозначно «русский характер»⁶⁴⁵. Только тогда он, как указывал другой анонимный автор, сможет стать двигателем «духовного сближения окраины с центром»⁶⁴⁶. Всем нерусским, отказывающимся ассимилироваться, здесь в конечном счете была оставлена лишь роль культурных илотов: они должны были в свободных от всякого образования и полностью управляемых армией пространствах служить интересам «русского дела». Близость к колониальному дискурсу эпохи, в котором отношения между периферией и центром открыто определялись как отношения слуги и господина, здесь как нельзя более очевидна.

Таким образом, после революции 1905 года многие русские профессора Варшавы в своих публикациях представляли себя главным образом бойцами на передовой линии войны за выживание, в которой главная задача заключалась в том, чтобы отражать постоянную опасность полонизации. Их тексты демонстрируют ощущения угрозы и изоляции, канализированные в агрессивный героический нарратив о самоотверженной борьбе за «русское дело» на «наших окраинах». Все нерусское интерпретировалось в большей и большей степени как «враждебное империи», а те, кого называли «примиренцами», – люди, выступавшие за компромисс с коренным населением, – быстро получали клеймо предателей народа и Отечества⁶⁴⁷. То обстоятельство, что после повторного открытия в 1907 году Императорский университет в Варшаве приобрел «русский характер» еще и в смысле

этнического состава учащихся, способствовало дальнейшему усилению этой ментальности. В постреволюционной конфликтной ситуации на западном пограничье России многим из русских ученых и преподавателей отождествление «империи» и «русских» казалось единственно логичным выводом из всего случившегося.

Именно в силу радикализма этой позиции значительная часть государственной бюрократии сохраняла критическую дистанцию по отношению к националистическим активистам. Генерал-губернатор Скалон даже активно, хотя и не особенно успешно, пытался ограничить политическое влияние Русского общества⁶⁴⁸. Ведь «национализация» образования, которой требовали агитаторы из академической среды, в предельном выражении означала, что политическими субъектами империи могут быть только русские. Все более универсалистский национализм, пропагандируемый некоторыми российскими профессорами Варшавского университета, представлял собой полное отрицание всех стратегий интеграции государства, предполагавших сохранение его многонационального характера, и таким образом сам способствовал подрыву основ многонациональной империи. Получалось, что верхушка варшавской русской общественности в лице академической среды гораздо более радикальна, чем те, кто принимает решения в центре монархической власти. У высших должностных лиц Царства Польского имелись все основания проявлять сдержанность по отношению к таким требованиям. Ведь одним из уроков революции 1905 года было то, что остро антагонистические конфликты с коренным населением национальных окраин могут быстро разрастись в фундаментальную угрозу для монархии в целом. В 1900–1914 годах Российская империя пережила столь же фундаментальный, сколь и длительный кризис.

Глава VI

**ИМПЕРИЯ В КРИЗИСЕ:
ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ В 1900–
1914 ГОДАХ**

РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 ГОДОВ В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ

1905 год, несомненно, знаменует фундаментальный перелом в истории Российской империи. Достаточно часто, говоря о свержении самодержавия в 1917 году, исследователи указывали, что события 1905 года были «началом конца». В ретроспективе Первая русская революция предстает генеральной репетицией того свержения царя, которое реально свершилось двенадцать лет спустя⁶⁴⁹. Даже если критически относиться к такой революционной телеологии, в ключевом характере революции 1905 года нет никаких сомнений, потому что как политическая система Российской империи, так и общество вышли из горнила революционных событий в корне изменившимися. Введение Думы, новое законодательство о печати и организациях, опыт так называемых дней свободы, а также революционного насилия и кровавых репрессий со стороны самодержавия – все это были структурные и ментальные сдвиги, которые сделали Россию после 1905 года существенно иной страной, нежели Россия до революции.

Сказанное в особенной степени относится к Царству Польскому, поскольку в этом регионе революция 1905 года отличалась такой интенсивностью, таким размахом насилия и такой широтой социального охвата, какие вряд ли можно было наблюдать в любой другой из земель, подвластных российскому самодержцу. Достаточно часто Польша оказывалась эпицентром революционных смут, в котором ситуация обострялась раньше, чем во внутренних районах России, и который становился катализатором для конфликтов в других местах⁶⁵⁰. С учетом застарелых и сложных конфликтных констелляций, сложившихся в Царстве Польском, такой эффект едва ли вызовет удивление. И тем не менее именно на этом примере можно показать динамику революционных процессов и собственную логику эскалации насилия. С одной стороны, революция протекала в Привислинском крае в собственном ритме и на революционной повестке дня стояли местные вопросы. С другой стороны, события в польских губерниях были взаимосвязаны с теми, которые происходили на других перифериях или внутри России, – хотя бы уже в силу того, что самодержавие было

вынуждено использовать для умиротворения этой провинции войска, численность которых равнялась почти трети тех сил, что сражались на фронтах Русско-японской войны: если в Маньчжурии никогда не было сосредоточено более миллиона солдат, то в Царстве Польском во время революционной смуты дислоцировалось общим счетом не менее 300 тыс. военнослужащих⁶⁵¹. Кроме того, коллапс государственного порядка в западных провинциях, временами почти полный, воодушевлял оппозицию в Европейской России на выдвижение все более радикальных требований. Иногда русские митинги и организации включали польские проблемы в собственную повестку, иногда повстанцы в российских мегаполисах непосредственно ссылались на восстания, происходившие в Польше⁶⁵². И наоборот: революционные беспорядки внутри России провоцировали эскалацию конфликтов в Царстве Польском, и неоднократно имели место забастовки солидарности, в ходе которых трудовые коллективы предприятий в Польше демонстрировали поддержку союзникам в России. Варшавская всеобщая стачка октября 1905 года, остановившая всю городскую жизнь в мегаполисе на Висле, была начата именно как такая акция солидарности и в дальнейшем своем развитии следовала московским и петербургским примерам. Подобное взаимное влияние придавало событиям на местах дополнительную динамику.

1905 год стал поворотным и для польского общества. Опыт революции не только привел к общей политизации жителей края, но и коренным образом изменил отношения между польскими и еврейскими группами населения⁶⁵³. И не в последнюю очередь самодержавие предстало в ином свете после того, как выяснилось, что угнетающая всех царская власть хотя бы на какое-то время могла пошатнуться. Исследователи справедливо подчеркивали этот аспект. Однако они не обратили достаточного внимания на то, как сильно революция 1905 года повлияла и на взгляды тех, кто непосредственно осуществлял имперское правление, как много она заставила их понять, изменила их базовые представления о том, какими способами надо справляться с беспокойным краем. 1905 год был ключевым годом и для управленческой элиты самодержавной России, и Царство Польское во многом стало для нее опытной лабораторией, где можно было выяснять, как в новой ситуации – в условиях революционных волнений и тех гражданских прав и демократических институтов, что были

введены в качестве вынужденных уступок, – можно эффективно и долговременно осуществлять имперское владычество.

Если мы хотим понять действия управленцев в динамичной ситуации революции, то прежде всего следует обратить внимание на все более плотную череду столкновений и восстаний. Ведь не только логика действий революционных сил питалась «динамикой, которая, по сути, проистекает из собственной логики самоподдерживаемых и ширящихся насильственных процессов»⁶⁵⁴: арсенал мер представителей имперской власти под воздействием революционных событий тоже подвергался ускоренным изменениям. Им тоже пришлось столкнуться с собственной логикой революционной эскалации насилия. Слово «революция» выступает здесь прежде всего как эвфемизм стремительной утраты государством контроля над событиями. Это динамика, подпитываемая волнами насилия, интервалы между которыми сокращаются. Обеспечивают такое ускорение происходящие децентрализованно и неуправляемо столкновения между силами охраны порядка и их противниками. И дело тут не только в том, что использование насилия одной стороной повышает готовность к насилию у другой стороны. Дело прежде всего в том, что с каждой стычкой становится все очевиднее неспособность правящего режима поддерживать порядок. Видя, насколько прогнила государственная власть, ее антагонисты делают ее увереннее, и их готовность к дальнейшей эскалации конфликта возрастает. Все больше и больше становится число участников, которые верят в то, что, раз колосс покачнулся, значит, он стоит на глиняных ногах и с помощью насилия его теперь можно будет повалить. И это тоже благоприятствует «собственной динамике несдерживаемого насилия», которая является мотором революций.

Вместе с тем первостепенное внимание в данной главе уделяется и попыткам властей остановить эту динамику. Как реагировали царские чиновники в Царстве Польском на фундаментальный кризис империи? Какие стратегии они использовали для прекращения революционных беспорядков? И какое влияние оказала временная утрата контроля над польскими территориями на иерархии страхов и образы врага, распространенные среди царских чиновников? Ведь революция, помимо всего остального, много чему их научила. В результате революционных потрясений и последствий Манифеста 17 октября

люди, которые осуществляли имперскую власть, столкнулись с принципиально изменившимися условиями.

1904–1906: долгая революция в Царстве Польском

Хотя 1905 год и стал переломным, революция отнюдь не была изолированным событием. Первые сигналы ее приближения имели место задолго до того, как в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года началась революционная буря. Уже современники воспринимали 1903–1905 годы как единый период смут, многочисленных восстаний против самодержавного строя и прогрессирующей эрозии государственной власти и ее авторитета⁶⁵⁵.

С точки зрения царского аппарата управления, события стали приобретать угрожающий оборот начиная с 1900 года. Это было особенно ясно в Царстве Польском. Контраст настроений между 1897 и 1900 годами был как нельзя более очевидным. В 1897 году имперские чиновники еще поддались эйфории от царского визита в Варшаву и генерал-губернатору князю Александру Имеретинскому казалось, что после многих лет напряженности стало возможным сотрудничество с умеренной частью польского общества.

Однако прошло всего три года, и тот же генерал-губернатор потребовал от Санкт-Петербурга обширных чрезвычайных полномочий для «усмирения» польских провинций⁶⁵⁶. Имеретинский докладывал о слиянии эскалации насилия со стороны городских низов с политической агитацией со стороны революционных партий. По его словам, особенно активистам Польской социалистической партии (или Польской партии социалистов, ППС) все больше и больше удавалось соединять социальное недовольство и общие антироссийские настроения с обещаниями, предлагаемыми «новыми», социалистическими учениями. Еще неполные два года спустя преемник Имеретинского на посту генерал-губернатора, Михаил Чертков, описывал обострявшуюся кризисную ситуацию в столь же драматических тонах: помимо «социалистической пропаганды» угрозу политическому спокойствию края несла усилившаяся «польско-католическая агитация»⁶⁵⁷.

Мы видим в официальных докладах сообщения о множестве отдельных «происшествий», которые свидетельствуют не столько

о скоординированных выступлениях, сколько об общем распаде существующего порядка. Так, с 1900 года скачкообразно увеличилось количество символических поступков, которыми люди выражали свое несогласие признавать российское владычество: массово отказывались петь царский гимн, то и дело демонстративно выступали против русского языка или против имперских чиновников.

Начало Русско-японской войны в феврале 1904 года значительно радикализовало эту ситуацию в Царстве Польском. Не только участились конфликты, но и повысился уровень насилия в них. Если на рубеже веков властям доставляло головную боль такое орудие преступления, как нож, то теперь в официальных отчетах все чаще фигурирует револьвер. Быстрота и легкость, с которыми участники столкновений теперь стали применять огнестрельное оружие, сделала стычки более кровавыми и более опасными для местных чиновников. Эскалации насилия способствовало прежде всего сочетание трех факторов: скопление людей, алкоголь и владение оружием. То и дело из толпы производились выстрелы в блюстителей порядка⁶⁵⁸. Уже в 1904 году власть режима в Привислинском крае находилась, таким образом, в процессе распада – с нарастающей частотой следовали друг за другом беспорядки и нападения, угрожающая интенсификация общей культуры насилия характеризовала последние годы перед революцией.

Эта спираль насилия вылилась сначала в так называемую бойню на Гржибовской площади 31 октября 1904 года. Той осенью события полностью вышли из-под контроля властей – в основном потому, что ППС под влиянием Юзефа Пилсудского и при координирующем участии Юзефа Квятека начала формировать для демонстраций вооруженные «отряды защиты» и представлять их членов (bojowcy) в качестве бойцов польского восстания. Когда полицейские и казацкие части 31 октября попытались разогнать антивоенную демонстрацию, боевики ППС открыли по ним стрельбу. Солдаты и полицейские ответили огнем и убили в общей сложности шесть демонстрантов⁶⁵⁹. Так у Варшавы появился собственный «кровавый день», менее чем за два месяца до печально известных событий в Санкт-Петербурге. Однако для польских провинций этот день не имел такого переломного значения, как столкновение перед Зимним дворцом для Российской империи. Дело не только в том, что число жертв было намного меньше,

чем в Петербурге. Перестрелка на Гржибовской площади вызвала со стороны польской общественности и даже из рядов социал-демократов гневные протесты против примененной ППС тактики нападений, партизанской борьбы и целенаправленного провоцирования вспышки насилия. Царские же власти, напротив, сигнализировали зимой 1904 года о своей пусть и ограниченной, но готовности к компромиссу. Царским указом от 12 декабря некоторые из дискриминационных норм, действовавших в Царстве Польском уже несколько десятилетий, были отменены. Но этот указ не надолго успокоил ситуацию: слишком неопределенно выглядели общие обещания, слишком недоверчиво относились польские лидеры к петербургским декларациям о намерениях и слишком влиятельны были круги, которые сделали ставку на эскалацию насилия в борьбе против режима.

После октябрьских событий, если не раньше, варшавскому генерал-губернатору Михаилу Черткову стало ясно, что многочисленные отдельные конфликты грозят перейти в общее революционное выступление. Поэтому уже в ноябре 1904 года он попросил об объявлении чрезвычайного положения в Варшаве, Варшавской и Петроковской губерниях. Наибольшую опасность представляли попытки социалистических партий сорвать мобилизационные мероприятия. В ноябре агитаторам ППС удалось поднять восстание рекрутов на Петербургском вокзале в Варшаве, которое смогли подавить только с использованием других, непольских воинских частей. На карту была поставлена боеготовность армии.

Известие о петербургском Кровавом воскресенье значительно способствовало эскалации беспорядков в Привислинском крае. Первые заявления о солидарности вылились в Варшаве во всеобщую забастовку, которую революционные партии объявили 14 января 1905 года. Стачку сопровождали уличные демонстрации, и генерал-губернатор приказал войскам разгонять их с применением огнестрельного оружия. В ходе столкновений 14 января в одной только Варшаве было сделано, по оценкам, 60 тыс. выстрелов; в этот и следующие два дня в городе погибло более 90 гражданских лиц⁶⁶⁰.

Как и в Санкт-Петербурге, такие жестокие действия властей дали дополнительный импульс волнениям во всем Царстве Польском. В польских провинциях в последующие дни в результате столкновений между демонстрантами и армией погибло более 200 человек. Протест

постепенно охватывал все группы общества. Соответственно, список требований, сформулированных различными группами, был пестрым. Одной из самых мощных движущих сил протеста оказались многочисленные стачечные комитеты и рабочие делегации, которые стали быстро формироваться на многих предприятиях. Эти делегации прежде всего предъявляли руководству своего предприятия конкретные требования, среди которых главными были – установить восьмичасовой рабочий день и повысить минимальную заработную плату. Решительные «политические» требования вошли в повестку дня лишь постепенно, в течение 1905 года⁶⁶¹.

Наряду с рабочими зимой 1905 года активное участие в волнениях принимали польские школьники и студенты. С конца января они обсуждали всеобщий бойкот государственных школ и высших учебных заведений. Их требования в первую очередь касались «полонизации» и «демократизации» государственной школы: отменить такие ограничения, как запрет говорить по-польски на школьном дворе и в университетском кампусе, ввести польский в качестве языка обучения и поставить школы под «общественный контроль». Организации школьников и студентов, близкие к социалистическим партиям, требовали также введения всеобщего бесплатного начального образования. В 1905 году в центре столкновений с царскими властями находились прежде всего студенты Варшавского университета и Политехнического института. Национальная и социалистическая радикализация учащихся обострилась с первых лет XX столетия, и голоса тех, кто требовал протестных акций против царского режима и против ситуации в высших учебных заведениях, все чаще доминировали среди политически активной части студентов. В январе 1905 года, сразу после петербургского Кровавого воскресенья и в контексте варшавской всеобщей стачки, польский Союз социалистической молодежи (Związek Młodzieży Socjalistycznej, ZMS) совместно с ППС, Социал-демократической партией Царства Польского и Литвы (SDKPiL/СДКПиЛ) и еврейским Бундом объявил забастовку в университете и Политехническом институте, которая быстро и невзирая на сопротивление, поначалу оказанное ей частью польской общественности, разрослась в общенациональную забастовку учащихся. Бойкот учебных заведений, к которому, несмотря на фундаментальные разногласия, присоединился и близкий к национал-

демократам Союз польской молодежи (Związek Młodzieży Polskiej, ZET), длился с коротким перерывом более двенадцати месяцев и охватил почти все учебные заведения Царства Польского⁶⁶². Царские власти сначала реагировали репрессивными мерами и полицейскими акциями, закрытием университета и принудительным отчислением студентов. Видя интенсивность сопротивления, летом 1905 года петербургский Комитет министров и попечитель Варшавского учебного округа Александр Шварц проявили готовность к компромиссу и согласились на создание кафедры польской литературы. Уступки, однако, оказались половинчатыми и уже не могли удовлетворить растущих требований все более революционно настроенных студентов. Сохранение символически значимого запрета использовать польский как язык общения на территории кампуса показало учащимся, что принципиальных перемен в высшей школе Царства Польского не произошло⁶⁶³.

Логическим следствием этого стала эскалация университетской стачки осенью 1905 года, нарушившая ход занятий вплоть до зимнего семестра 1908/09 года. Столкновения приобретали все более насильственный характер. Если во время протестных акций января 1905 года имели место только акты вандализма в отношении как портретов монарха, так и других символов царской власти, то осенью вооруженные студенты патрулировали улицы, следя за стачечной дисциплиной своих однокашников и запугивая русских учителей и профессоров. Угрозы смерти звучали нередко, а оскорбления в адрес ординарных профессоров были обычным явлением. Преподаватель В. П. Амалицкий был избит толпой студентов, вооруженных дубинками. Попечитель учебного округа Шварц покинул Варшаву в октябре 1905 года, многие российские профессора университета тоже бежали из города в эти дни хаоса и опасности. Их иностранные коллеги удалились туда, где было спокойно, – на родину⁶⁶⁴.

Параллельно со студенческим бойкотом университета шла стачка учеников средних учебных заведений в Царстве Польском. Эта школьная забастовка началась в Варшаве, но быстро распространилась и на провинцию, так что Шварц вынужден был временно приостановить занятия по всей Польше. Созванное им 6 февраля родительское собрание оказалось менее управляемым, чем он ожидал. Присутствующие на нем 1,5 тыс. граждан и родителей приняли

резолюцию с требованием вернуть преподавание на польском языке. Готовность к протесту была, как выяснилось, гораздо более распространена в обществе, нежели предполагали царские чиновники⁶⁶⁵.

Участникам такого морально окрепшего стачечного движения не могло не показаться афронтом со стороны Шварца намерение возобновить учебный процесс во всех варшавских школах уже на следующий день. Вера администрации в то, что можно просто вернуться к рутинному порядку вещей, была, как быстро выяснилось, наивной иллюзией. Бастующие студенты и школьники оперативно организовали патрулирование перед школьными воротами, чтобы не допустить в здания штрейкбрехеров. Между сторонниками и противниками забастовки нередко случались столкновения с применением силы⁶⁶⁶. Органы образования были вынуждены продолжать держать школы на замке и в то же время пытались воздействовать на активистов забастовки с помощью отчисления их из учебных заведений. Однако сдержать поднявшуюся по всему краю стачечную волну эти меры не могли. Наоборот, согласно неполной статистике попечителя, более 60% всех учащихся средних учебных заведений участвовали в школьном бойкоте.

В феврале школьная забастовка распространилась из Варшавы на губернские города, а весной охватила весь край и помимо гимназий к ней все чаще стали присоединяться и начальные школы. Это было связано с тем, что параллельно в польских сельских общинах ширилось так называемое гминное движение. Здесь сформировалась третья опора общественного протеста против существующего порядка. Уже в конце 1904 года более ста общин (gmina) составили резолюции, в которых потребовали введения польского языка для устных процедур в местных административных, образовательных и судебных учреждениях. К концу 1905 года две трети всех польских общин обратились к властям с такими резолюциями⁶⁶⁷.

Итак, в первые месяцы 1905 года чиновники имперской бюрократии столкнулись со всеобщим, но чрезвычайно неоднородным протестным движением. Сами они поначалу тщетно пытались выработать единую линию для того, чтобы реагировать на этот вызов. Если учесть, что государственные власти отмечали и наблюдали процесс постепенной эрозии в течение многих лет, то удивительно,

насколько нерешительно, без всякой концепции, действовали теперь должностные лица. Правда, генерал-губернатор уже 16 января 1905 года объявил чрезвычайное положение в Варшаве, Лодзи, Варшавской и Петроковской губерниях, а к середине февраля «усиленная охрана» была введена в других провинциях Царства Польского, однако полномочия губернаторов, связанные с чрезвычайным положением, оказались недостаточны. Административными арестами «нарушителей общественного порядка» на срок до трех месяцев рост бунтов и насилия уже было не затормозить. Регулярный полицейский аппарат, который должен был заниматься учетом «неспокойных элементов», в обстановке кризиса совершенно не справлялся со своими задачами. Количество сотрудников полицейского ведомства на душу населения было недостаточным, а кадры, особенно нижние чины полицейских вспомогательных войск, — слишком ненадежными. В связи с возрастающей опасностью терактов многие полицейские увольнялись со службы. Их страх вовсе не был надуманным: в период с января 1905 по июль 1906 года было ранено или убито почти четверть варшавских городских, и в последующие месяцы количество нападений и убийств не уменьшалось. С середины 1906 года каждого городского во время патрулирования сопровождало несколько солдат⁶⁶⁸. Последнее обстоятельство позволяет нам также составить представление о том, как сильно самодержавие в Привислинском крае опиралось на армию: размещенные там войска большой численности служили истинной опорой власти. Размеры этого военного контингента не имели себе равных в империи: в Варшавском военном округе уже в 1900 году несли службу около 200 тыс. солдат, а в 1904-м их численность была доведена до 280 тыс. То же самое можно сказать и о Варшавском гарнизоне: он и до 1905 года насчитывал более 40 тыс. солдат, потом (в апреле–мае 1905 года) был увеличен до 57 тыс., а затем (1907 год) — даже до 65 тыс.⁶⁶⁹

Таким образом, солдаты имелись в достаточном количестве, однако использовались они лишь спорадически. Опыт «кровавых воскресений» конца 1904 — начала 1905 года, приведших скорее к эскалации ситуации, чем к умиротворению, явно способствовал тому, что варшавский генерал-губернатор предпочитал воздерживаться от «усмирения» военной силой. Вдобавок многие конфликты происходили

на предприятиях, а губернаторы весьма скептически относились к государственному вмешательству во внутренние конфликты частных фирм. В то время как предприниматели и руководители заводов и фабрик, охваченных волнениями, с готовностью обращались с просьбами прислать им воинскую команду для дисциплинирования рабочих, власти даже в 1905 году всеми силами старались не дать впутать себя в эти конфронтации между фабрикантами и их наемными работниками⁶⁷⁰.

Одновременно из Петербурга приходили первые сигналы о готовности правительства к реформам. Объявив в апреле 1905 года императорский указ о свободе вероисповедания и о пересмотре некоторых антипольских нормативных положений, власти надеялись, что ситуация в Привислинском крае успокоится. Одной из важнейших уступок было разрешение передать в государственных школах религиозное обучение в руки католических священнослужителей, которым теперь дозволялось вести уроки по катехизису на польском языке. Однако в накаленной атмосфере весны 1905 года этих уступок уже было совершенно недостаточно. Студенты и школьники считали, что разговор может идти только об абсолютной полонизации государственной системы начального, среднего и высшего образования и никакие более ограниченные реформы обсуждению не подлежат⁶⁷¹. Поэтому мелкие уступки не смогли нейтрализовать школьную забастовку, а эдикт о веротерпимости скорее подтолкнул поляков к тому, чтобы форсировать создание частной польскоязычной школьной системы. Хотя подобная деятельность до октября 1905 года считалась незаконной, довольно быстро сформировались первые круги, пытавшиеся выстроить параллельную, «польскую» систему образования. Уже в конце апреля активисты национал-демократического Союза национализации школ (Związek Unarodowienia Szkół) и скорее позитивистски ориентированного Круга воспитателей создали Польскую школьную матицу – организацию, которая, продолжая традицию польских подпольных школ, начала свою деятельность нелегально.

Но действительно сотрясли основы режима не строптивые школьники и студенты. Только кровавые стычки в апреле и временный коллапс государственного порядка в Варшаве в мае 1905 года дали понять, что «революция», о которой столько говорили, действительно

могла превратиться в смертельную опасность для самодержавия. Уже во время первомайской демонстрации произошли столкновения на улицах Варшавы. Вновь назначенный генерал-губернатор Константин Максимович уже в феврале, в преддверии символической даты, предусмотрительно позаботился о том, чтобы усилить Варшавский гарнизон почти на 15 тыс. человек. Несмотря на это, однодневная всеобщая забастовка, объявленная социалистическими партиями, стала впечатляющей демонстрацией мощи: 40% тех, кто бастовал 1 мая 1905 года по всей империи, составили работники, не вышедшие в этот день на работу в одной только Варшаве. Начиная с десяти часов утра фабрики и городской транспорт остановились⁶⁷². В то время как активисты ППС и Бунда довольствовались такой демонстрацией мускулов, СДКПиЛ стремилась к провокационному нарушению запрета митингов, объявленного властями. Инициированная ею демонстрация прошла прямо через центр «лучшей Варшавы». Размещенные там войска открыли огонь, когда небольшая толпа демонстрантов вышла на Иерусалимские аллеи. В результате перестрелки и последующих нападений бомбистов на казачьи патрули, атаковавшие прохожих, погибли в общей сложности 38 человек⁶⁷³.

Атмосфера в Варшаве была накалена, и генеральный консул Великобритании Александр Мюррей ожидал дальнейших беспорядков⁶⁷⁴. Его ожидания оправдались, но та форма, в которой произошел взрыв насилия в Варшаве 11–13 мая, была совсем иной, нежели во время предыдущих столкновений. Те силы, что на три дня захватили власть над улицами Варшавы, не претендовали на звание применяющих «революционное насилие»: скорее это был кровавый конфликт между уголовниками и рабочими отрядами самообороны, следствием которого стал кратковременный коллапс государственного порядка в городе. Дело в том, что прогрессирующее ухудшение общественного порядка в 1903–1904 годах привело не только к росту уголовных преступлений и правонарушений с применением насилия, но и к тому, что рабочие группы начали вооружаться. В первые месяцы 1905 года неоднократно имели место случаи самосуда, когда недавно сформированные отряды самообороны расправлялись с теми, кого считали ворами или штрейкбрехерами⁶⁷⁵. В дни с 11 по 13 мая дошло до нападения на варшавские бордели, когда рабочие гонялись по улицам за уголовниками и проститутками. В ширящемся хаосе вскоре

не стало видно четких фронтов. В общей сложности за эти три дня, пока не действовали ни государство, ни закон, более ста квартир подверглись актам вандализма, многочисленные магазины были разграблены, были убиты пять человек, еще десять получили ранения, от которых впоследствии умерли. Этот своеобразный погром был прекращен только 13 мая, когда в дело, с опозданием, были введены войска, против своей воли защищавшие варшавский уголовный мир от разъяренной толпы⁶⁷⁶.

Запоздалость вмешательства царских властей, несомненно, объяснялась тем, что события, как казалось, представляли собой «внутреннее польско-еврейское» дело. Но, с другой стороны, она стала и свидетельством поразительной нерешительности должностных лиц, которые, очевидно, не осознавали, что рискуют вовсе потерять контроль над городским пространством. Из-за этого офицерам гарнизона пришлось бездейственно взирать на дикие беспорядки, творившиеся прямо у ворот цитадели. То обстоятельство, что генерал-губернатор Максимович на время удалился в безопасную крепость Ивангород (Демблин), расположенную за городом, не помогало ускорить принятие решения об использовании военных для восстановления общественного порядка. Здесь, как и в остальном, Максимович оказался не способен адекватно реагировать на ситуацию.

Майские дни всем дали представление о том, какие формы способно принять буйство разъяренной толпы, если государственная власть какое-то время не может или не хочет вмешиваться. Это имело большое значение для последующего развития событий в Царстве Польском в целом и в Варшаве в особенности, потому что такой опыт способствовал дальнейшему раскручиванию спирали насилия. Небольшие стычки, «резня» в одном месте, следующая за «бойней» в другом, а также кровавые конфликты между представителями городских низов повышали готовность к насилию у всех участников. Царские чиновники на глазах теряли инициативу по мере того, как охватившие город беспорядки принимали все более радикальный характер. Словом «революция» описывается именно этот процесс все более быстрой и полной утраты государством контроля над ситуацией. Процесс, который следует собственной логике самоусиливающейся динамики, где эрозия государственной власти и растущая готовность к насилию подпитывают друг друга.

Именно это и стало ясно после вспышек насилия в мае 1905 года. Уже в июне государственная власть столкнулась с проблемами на нескольких фронтах одновременно. В то время как в Лодзи происходили уличные бои между рабочими и солдатами, во многих польских провинциальных населенных пунктах вышло из-под контроля гминное движение. Вместе с тем продолжался, не ослабевая, бойкот государственных школ. И не в последнюю очередь проблемой всех губерний стали насилие и бандитизм.

Уличные бои в Лодзи были одной из самых кровавых глав революции 1905–1906 годов. В течение всего лишь двух дней, когда рабочие сооружали баррикады, когда боевые организации ППС совершали нападения на силы охраны порядка, а вызванные губернатором войска стреляли по восставшим, погибли в общей сложности 400 человек⁶⁷⁷. Впервые власти и командиры столкнулись с широким, энергичным и вооруженным сопротивлением со стороны большей части городского населения и оказались вовлечены в уличные бои без четких линий фронта. Противником их были вооруженные револьверами городские партизаны, которые нападали на солдат на узких улицах, стреляя из домов, и могли быстро уходить запутанными дворами и тайными проходами.

Этот опыт асимметричной тактики боя произвел на царские власти неизгладимое впечатление. Объявление о военном положении, изданное чуть позже генерал-губернатором, отражало этот новый вид столкновений и военную проблематику уличных боев. Помимо ожидаемых пунктов, таких как запрет собраний, комендантский час, а также запрет «революционных» и «патриотических» символов и печатных изданий, одно из центральных мест в данном документе занимали пункты, запрещающие продажу и ношение револьверов. Кроме того, в объявлении было предписано обывателям по распоряжению полиции немедленно закрывать все ворота, двери и окна. Царские чиновники пытались противодействовать тактике революционеров, привлекая к ответственности владельцев тех домов, где революционеры устраивали засады: если выстрелы производились из окон или подъездов, то за это должны были держать ответ владельцы соответствующих домов и квартир⁶⁷⁸. Даже образ действия армейских патрулей рано или поздно, но был приспособлен к условиям уличных боев: теперь при патрулировании солдаты перемещались враспынную,

винтовки на изготовку, используя здания в качестве укрытий, чтобы защитить себя от обстрела из револьверов. Позже, когда во время московского восстания на Пресне в декабре 1905 года все эти меры оказались неэффективными, командиры начали обстреливать кварталы, в которых шли бои, из пушек, перед тем как штурмовать их. Многочисленные жертвы среди гражданского населения, а также крупномасштабные разрушения жилых районов считались при таких артобстрелах приемлемыми издержками.

Подобная судьба, впрочем, миновала Лодзь и Варшаву, потому что там удалось на удивление быстро добиться усмирения восстаний, пусть и временного. Та быстрота, с какой войска, вызванные царскими чиновниками, восстанавливали государственный порядок, свидетельствует также о том, что революционные события не могли свергнуть режим, пока он имел возможность полагаться на армию как на инструмент борьбы с революцией. В империи в целом лояльность войск была довольно непрочной, однако национализация конфликта в Царстве Польском обернулась стратегическим преимуществом для властей: опасность братания солдат – в основном русских, прибывших из других мест, – с польскими повстанцами была значительно ниже; скорее наоборот, у военнослужащих Варшавского гарнизона развивалось прочное ощущение, что «кругом враги». Перед лицом постоянного риска стать жертвами террористических актов у них формировались латентные погромные настроения, которые могли выливаться и в нападения на гражданское население⁶⁷⁹.

Эта ментальность «осажденной крепости», несомненно, повышала внутреннюю дисциплину в войсках. Так, единственный крупный солдатский мятеж на западе Российской империи имел место в Гродно, тогда как в Варшавском военном округе происходили только беспорядки среди польских новобранцев, призываемых на Русско-японскую войну. В лице принципиально лояльной армии генерал-губернатор располагал огромной силой. Напомним, что уже в конце 1904 года численность войск в Привислинском крае составляла более 280 тыс. человек.

Кроме того, быстро стало заметно, что активным революционным силам никак не удастся координировать отдельные вспышки протеста и восстания по всей территории страны. Всеобщие забастовки, охватывавшие более одного населенного пункта или тем более целую

губернию, как, например, октябрьская стачка 1905 года, были исключением. Так, в июне 1905 года в Лодзи столкновения делались все ожесточеннее, а между тем в Варшаве, расположенной всего в 140 километрах, все было более или менее спокойно. Беспорядки в городских и сельских районах происходили в значительной степени независимо друг от друга и следовали собственной логике, не предусматривающей объединения. Таким образом, вплоть до осени 1905 года имели место, как правило, изолированные вспышки неповиновения властям, на которые имперская администрация могла реагировать, концентрируя свои силы всякий раз на одном участке.

Тем не менее Петербург по просьбе варшавского генерал-губернатора принял 10 августа 1905 года решение объявить в Варшаве и Варшавской губернии военное положение. Действующий генерал-губернатор был назначен «временным Варшавским военным губернатором» и в качестве командующего войсками военного округа наделен широкими чрезвычайными полномочиями⁶⁸⁰. Поводом к этой крайней мере послужила однодневная всеобщая забастовка в Варшаве, когда около 20 тыс. рабочих протестовали против дискриминации, которую означала для них Булыгинская Дума. Однако истинной причиной провозглашения военного положения, несомненно, было желание царской администрации вернуть себе контроль над ходом событий. В соответствии с этим генерал-губернатор Максимович, считавшийся нерешительным, был заменен энергичным генералом от кавалерии, помощником командующего войсками Варшавского военного округа Георгием Скалоном⁶⁸¹. Первым, что сделал новый генерал-губернатор после вступления в должность, был акт столь же практичный, сколь и символический: он одобрил заявку на расширение тюремного блока в Варшавской цитадели. Там, где в августе уже сидело под стражей 800 человек, должно было быть создано пространство для еще более чем тысячи арестантов. Впоследствии генерал Скалон проводил не менее жесткую линию. Вместе со своей правой рукой, тоже назначенным в августе «временным генерал-губернатором города Варшавы и Варшавской губернии» генерал-лейтенантом П. Д. Ольховским, он в 1905 и 1906 годах проводил политику максимальных репрессий против революционных беспорядков. Преодолевая растущее сопротивление военного руководства, он широко

использовал воинские части для подавления протестов и форсировал применение военных трибуналов, а затем и военно-полевых судов⁶⁸².

Введение военного положения сначала успокоило ситуацию в Царстве Польском. Но было бы упрощением назвать этот период временем «кладбищенского покоя», поскольку, несмотря на ограничения, наложенные на общественную жизнь военным положением, многие жители Царства не дали себя запугать и не отказались от участия в общественной и культурной деятельности. Конец лета и осень 1905 года были предвестниками «дней свободы», наступивших вскоре, после провозглашения Манифеста 17 октября. Очевидно, царила всеобщая убежденность в том, что пришло время перемен и они неизбежны. Иначе невозможно объяснить многочисленные попытки общественной самоорганизации в эти месяцы. Авторы заявок на учреждение газет, ассоциаций или школ ссылались на императорские указы от декабря 1904 года, февраля и апреля 1905-го или на смутные обещания, данные при объявлении «Булыгинской Думы». И разве обещания Комитета министров, высказанные в июне–июле 1905 года, не давали оснований надеяться на нечто гораздо большее? Разве Петербург не сигнализировал, что в скором времени станет возможным беспрепятственное создание частных школ с преподаванием на польском языке? ⁶⁸³

Великое ожидание закончилось в октябре. Поднимавшаяся с сентября волна стачек переросла во всеобщую забастовку, которая привела к остановке городской жизни не только в российских столицах, но и почти во всей империи. В Царстве Польском эта забастовка получила настолько широкую общественную поддержку, что местные власти оказались застигнуты врасплох и не смогли адекватно реагировать. Жизнь в Варшаве была парализована, возник дефицит угля и продовольствия, городская система газоснабжения не работала, равно как и конка и железные дороги, почта и телеграф были закрыты, уровень преступности в неосвещенном и незащищенном городе возрос взрывообразно⁶⁸⁴.

Продолжавшийся на протяжении нескольких недель коллапс общественного порядка по всей империи заставил царя пойти на то, чтобы 17 октября 1905 года издать Манифест об усовершенствовании государственного порядка, в котором он в туманных выражениях пообещал ввести народное представительство и гражданские права.

Еще раньше, 1 октября, другим царским указом было разрешено создание польскоязычных частных школ. А через несколько дней после Октябрьского манифеста, 21 октября, была объявлена амнистия для заключенных под административный арест. Но Манифест 17 октября не привел к успокоению ни в Привислинском крае, ни в других частях империи. В первые же дни после его объявления в Европейской России произошло множество ожесточенных столкновений с применением насилия. В то время как в некоторых регионах еще царила неуверенность по поводу того, действительно ли император пошел на объявленные уступки, в других местах происходили революционные возмущения, участники которых освобождали заключенных и тем самым вручную приближали выполнение обещаний манифеста и амнистии. Некоторые населенные пункты оказались во власти вооруженных групп, охотившихся на евреев и на тех, кто казался им революционерами. «Дни свободы» были одновременно и днями насильственного самоуправства и кровавых столкновений между соперничающими группировками. С точки зрения государственных должностных лиц, то были, несомненно, грозные дни анархии.

Это в полной мере относилось и к Варшаве. Манифест 17 октября, с одной стороны, вызвал необычайно быструю общественную самоорганизацию. Так, редакции газет *Kurier Codzienny*, *Gazeta Handlowa* и *Goniec* уже 19 октября выпустили свои издания без предварительной цензуры, а в последующие дни были созданы многочисленные новые газеты. Одновременно союзы, которые уже давно ожидали официального разрешения, самовольно начали осуществлять свою деятельность⁶⁸⁵. Октябрьский манифест сработал как приглашение к самочинному расширению пространств для маневра.

Это стало возможным потому, что у властей в те дни были заботы поважнее, чем выдача разрешений на создание ассоциаций. Ведь надежда (не лишенная оснований) на то, что в условиях кризиса самодержавия удастся добиться гораздо большего, чем оно, самодержавие, готово было уступить, заставила множество людей выйти на улицу. Раздавались требования всеобщей амнистии или немедленного выполнения обещаний манифеста. Несомненно, людей побуждало к участию в многочисленных демонстрациях еще и чувство свободы и собственной силы по отношению к казавшемуся бессильным

государству. Собраться большой толпой уже само по себе было актом революционного присвоения прежде регламентированной публичной сферы. Таким образом, даже многочисленные изъятия «благодарности» за манифест, организованные национал-демократами и католической церковью в конце октября 1905 года в Варшаве, подстегивали революционную динамику.

Быстро выяснилось, что скопления людей могут способствовать эскалации обстановки, когда вступают в конфронтацию с властями, которые не привыкли иметь дело с такой формой открытого собрания и не готовы принять этот новый модус политической публичной активности. 19 октября, во время мирной демонстрации на Театральной площади в Варшаве, прозвучали призывы к скорейшему освобождению всех заключенных. Когда толпа навалилась на ворота ратуши, размещенные там полицейские и казачьи отряды потеряли самообладание и открыли огонь по демонстрантам. От 20 до 40 человек были убиты, 170 получили ранения. Выходившая без цензуры пресса тут же представила события на Театральной площади очередной «резней»⁶⁸⁶.

События 19 октября, несомненно, увеличили напряженность в городе. Неудивительно поэтому, что митинги последующих дней, проводимые главным образом национал-демократами, высшему царскому чиновнику в Царстве Польском показались уже не изъятиями лояльности, а выражением дальнейшей революционной эскалации. В особенности императорский манифест от 22 октября, в котором Финляндии было обещано восстановление ее политической автономии, придал новый импульс событиям в Варшаве. Теперь людские сборища достигли небывалых масштабов: в тот же день, по оценкам, 100 тыс. человек собрались на манифестацию, инициированную национал-демократами и возглавляемую католическими сановниками. Таким образом, она была организована как церковное шествие: масса людей двигалась от церкви к церкви по всему центру Варшавы – внушительная демонстрация того, до какой степени население города было способно на мобилизацию в условиях эрозии царской власти⁶⁸⁷.

В этом царские должностные лица усмотрели опасную для них потерю контроля над общественным пространством Варшавы. В те же дни поступало все больше тревожных сообщений о подобных событиях

и в других польских губерниях. Поэтому 28 октября генерал-губернатор добился в Санкт-Петербурге объявления военного положения на всей территории Царства Польского. Однако быстро выяснилось, что одного лишь формального объявления для того, чтобы надолго восстановить общественный порядок, недостаточно: как только военное положение было 18 ноября отменено, беспорядки вспыхнули снова. В Варшаве, в кафе эlegantного отеля «Бристоль», взорвалась бомба, а в некоторых провинциях режим временно потерял контроль над целыми населенными пунктами⁶⁸⁸.

Этот опыт предопределил те решения, которые были приняты впоследствии царскими управленцами в Привислинском крае. Скалон и его подчиненные извлекли уроки и перешли к более радикальным мерам усмирения, так что 1906 год стал годом последовательных репрессий в отношении любого нарушения общественного порядка. Правовую основу для этого обеспечило повторное объявление 12 декабря военного положения. На этот раз оно действовало долго – четыре года. Только в 1909 году генерал-губернатор заменил военное положение более мягким режимом «усиленной охраны».

«Восстановление порядка»: декабрь 1905-го – 1907 год

В кризисные месяцы зимы 1905-го и в течение следующего года обнаружилось, что военное положение дало в руки самодержавия мощный инструмент для удержания имперского господства и подавления волнений среди населения. Однако предпосылкой для эффективного действия такого инструмента была готовность временных военных губернаторов последовательно реализовывать предоставленные им особые административные полномочия и при этом активно прибегать к военной силе. Опыт двух нестабильных периодов военного положения в августе и октябре 1905 года, несомненно, способствовал радикализации лиц, принимавших решения. Революция была процессом обучения не только для революционеров, рабочих или депутатов, но и для имперских чиновников. Если в 1905 году государственные инстанции по большей части еще бездумно и беспомощно реагировали на события, то в 1906-м Скалон и его вновь назначенные временные генерал-губернаторы вновь перехватили

инициативу. Убежденность, что «террор можно побороть лишь террором», царила среди этих новых людей в военной администрации.

Главное было не в тех нормах режима военного положения, которые были направлены на поддержание общественного порядка, — они в основном были нацелены против политических собраний и демонстраций, изготовления и распространения запрещенной литературы и символики, а также против ношения различных видов оружия. Все это и ранее было запрещено действующим законодательством или многочисленными «обязательными постановлениями», которые варшавский генерал-губернатор издавал начиная с 1900 года. Главная отличительная черта реализации государственной власти в условиях военного положения заключалась в более скоординированных действиях воинских частей и в ускоренной выдаче разрешений на применение огнестрельного оружия. Законы 1877 года позволяли генерал-губернатору и в мирное время вызывать солдат для обеспечения общественного порядка, но это нужно было делать в письменной форме. Кроме того, существовала патовая ситуация между гражданскими и военными инстанциями в том, что касалось численности используемых войск и применения ими оружия: гражданские власти должны были выдавать принципиальное разрешение на использование огнестрельного оружия, а военные командиры — отдавать на месте конкретные приказы об открытии огня. Эта взаимозависимость значительно задерживала использование военной силы и неоднократно приводила во время конфликтов к недоразумениям по поводу компетенций и к последующим взаимным обвинениям⁶⁸⁹. В период же военного положения использование воинских частей для внутреннего «усмирения» было значительно облегчено. Варшавский временный военный губернатор и временные генерал-губернаторы в провинциях теперь могли вызывать войска в устной форме, а письменного разрешения на использование огнестрельного оружия больше не требовалось. Вследствие этого командиры при принятии конкретного решения о действиях солдат на местах теперь пользовались почти полной свободой. И вследствие этого же воинские команды стали быстрее прибывать в точки конфликта, а начальники могли быстрее отдавать приказ о вооруженном подавлении любого «бунта».

Вместе с тем при военном положении временный военный губернатор форсировал вынесение приговоров военными трибуналами, а начиная с 19 августа 1906 года также военно-полевыми судами. При этом Скалон широко использовал статьи 12 и 19, регулировавшие правовые вопросы военного положения. Статья 19 касалась случаев насильственного сопротивления государственной власти и вооруженных нападений на должностных лиц, а также хищений частной и общественной собственности и покушения на нее. Временный военный губернатор в качестве командующего военным округом мог проводить эти нарушения государственного порядка через военные трибуналы и, если обвиняемый был осужден, приводить в исполнение в том числе и смертные приговоры. Однако военные трибуналы вовсе не были «послушными исполнителями» воли командующих, и ни военные прокуроры, ни военные судьи, ни военный министр не позволяли низвести себя до роли инструментов в руках министра внутренних дел и военных губернаторов. Как раз наоборот, именно в тех военных округах, где командующие были известны как сторонники смертной казни, военные суды часто отказывались выносить смертные приговоры. Царство Польское не было исключением. Так как Скалон достаточно часто отказывался отменять смертные приговоры, военные трибуналы выносили в Привислинском крае приговоры сравнительно мягкие. Тот факт, что Варшавский округ все же был на первом месте в империи по числу смертных приговоров, вынесенных военными трибуналами, показывает, насколько интенсивно Скалон использовал этот инструмент репрессий против повстанцев⁶⁹⁰.

В то же время статья 12 предоставляла в распоряжение генерал-губернатора средства, с помощью которых Скалон мог обойти военную судебную систему, которая, на его взгляд, проявляла излишнюю мягкость: в соответствии со своим толкованием этой статьи он имел право в случаях политических убийств или покушений на теракты выносить смертные приговоры даже без созыва военных трибуналов. После того как министр внутренних дел Дурново в письме от 30 декабря 1905 года предоставил варшавскому генерал-губернатору карт-бланш, Скалон в последующие дни казнил более 20 человек без суда, по административным приговорам⁶⁹¹.

Это была первая ласточка: 19 августа 1906 года премьер-министр Петр Столыпин на основании статьи 87 Основных законов создал

военно-полевые суды, которые в течение восьми месяцев своего существования служили Скалону главным инструментом борьбы с восстанием. Губернаторы тех провинций, что находились на военном положении или в режиме усиленной охраны, могли передавать в эти суды все те дела, в которых преступное деяние было настолько очевидно, что не возникало необходимости в его расследовании⁶⁹². Тем самым была создана возможность выносить приговоры, минуя те процессуальные процедуры, которые еще были обязательны даже в военных трибуналах. Военно-полевые суды формировались по мере необходимости генерал-губернатором и Верховным главнокомандующим, в них входило по пять офицеров, каковые без предварительного следствия, без обвинителей и защитников, за закрытыми дверями выносили вердикт, против которого нельзя было подать апелляции и который следовало привести в исполнение в течение 24 часов. Положение о военно-полевых судах позволило также значительно расширить спектр деяний, подлежащих их юрисдикции: в нее входили отнюдь не только политические убийства или покушения на теракты. В Привислинском крае генерал-губернатор передал в ведение таких судов и насильственные уголовные преступления⁶⁹³. Скалон был твердо убежден, что не только политически мотивированное насилие, но и бандитизм, вооруженная преступность и формы насильственного хулиганства способствуют фундаментальной дестабилизации государственной власти.

За короткий период своего существования – с августа 1906 по апрель 1907 года – военно-полевые суды вынесли, по оценкам исследователей, 1,1 тыс. смертных приговоров, из которых около 680 было приведено в исполнение. Привислинский край и в этом отношении занимал первое место: в польских провинциях такими судами было вынесено, по оценкам, 212 смертных приговоров, т. е. почти 20% от общего числа по всей Российской империи.

Одновременно варшавский военный губернатор форсированно применял высылку «нежелательных лиц» из Царства Польского. Скалон и его временные генерал-губернаторы в провинциях пользовались правом административной высылки настолько широко, что вызвали недовольство Петербурга: пребывание таких лиц во внутренних областях России само по себе стало проблемой. Высылки были удобным способом избавиться от неудобных людей, к которому

генерал-губернатор охотно прибегал даже тогда, когда, как он сам открыто признавал, материала для предъявления обвинения было недостаточно⁶⁹⁴. Как и в случае с военно-полевыми судами, это наказание налагалось отнюдь не только за «политические» преступления, но и за бытовые конфликты с применением насилия – например, за угрозу ножом бывшему работодателю со стороны человека, ищущего работу⁶⁹⁵.

Однако ни многочисленные высылки, ни быстро работавшие военные трибуналы, ни смертные приговоры военно-полевых судов не смогли бы реализовать своего устрашающего репрессивного потенциала, если бы не высокая боеготовность армии. В Царстве Польском, как и в остальной Европейской России, заметны были последствия окончания войны с Японией: в распоряжении правительства стало значительно больше войск, которые можно было послать на борьбу с «внутренним врагом». Для Привислинского края именно этим фактором можно объяснить разную эффективность военного положения, объявленного в октябре и декабре 1905 года: только в декабре в польских провинциях была заметно увеличена численность воинского контингента, который служил залогом успешного повсеместного применения вышеописанного особого судебного режима и других мер, направленных на подавление восстания. Начиная с рубежа 1905–1906 годов стала возможна такая плотность военных патрулей, обысков и караулов на фабриках, на перекрестках и в важных инфраструктурных узлах, которая компенсировала хроническую слабость полиции.

Как уже стало ясно ранее, без использования военных город и деревню больше нельзя было усмирить, нельзя было даже ими управлять. В год репрессий войска в Царстве Польском регулярно направлялись для борьбы против бастующих рабочих или не повинующихся властям крестьян, а на крупных предприятиях солдатские команды пребывали практически постоянно. Своей жестокостью российские полки снискали себе печальную известность среди польского населения. Повсюду царила атмосфера страха перед нападениями со стороны солдат. Например, когда в июле 1906 года появились слухи, что по случаю Дня святых Петра и Павла российские солдаты будут выпущены из казарм для устройства погрома среди городского населения, варшавяне массово бежали из города⁶⁹⁶. Эта

боязнь мародерских шаек была не совсем безосновательной: в еврейских погромах, которые произошли в Гомеле в январе, в Белостоке в июне и в Седльце в августе 1906 года, участвовали и российские полки.

Однако, в отличие от остзейских провинций, Сибири или Кавказа, в Привислинском крае не бывало таких карательных экспедиций, которые привели бы к многочисленным жертвам среди местного населения и к разрушению целых деревень. Для этого здесь, во-первых, не доставало такого радикализирующего элемента, как жаждущий мести локальный правящий класс. Кроме того, даже после 1905 года имперские чиновники видели в польском дворянине не столько союзника, связанного с режимом своей сословной принадлежностью, сколько потенциального бунтовщика и борца за польскую автономию. Во-вторых, даже после гминного движения 1905–1906 годов в мышлении царских должностных лиц сохранялось представление о лояльном польском крестьянине, который на протяжении многих поколений хранит благодарность русскому царю за великодушную земельную реформу 1864 года. Чтобы сохранить эту фикцию верного крестьянина, сельские беспорядки объясняли главным образом влиянием «чужаков» и «смутьянов»⁶⁹⁷.

Развитие событий в польских землях в 1906 году свидетельствует, что государственные инстанции смогли вернуть себе инициативу и без кровавых карательных экспедиций. Одним из главных шагов в этом направлении стало форсированное восстановление государственной монополии на оружие. Во время беспорядков 1905 года стало очевидно, какую крупную проблему представляет собой всеобщая доступность револьверов: из-за распространенности ручного стрелкового оружия и социальный протест, и деятельность уголовных банд быстро приобретали все более кровопролитный характер. С помощью ужесточения законодательства и увеличения числа обысков власти начиная с 1906 года пытались сократить количество огнестрельного оружия на руках у населения. Эффективной оказалась такая мера, как введение коллективной ответственности сельских и городских общин: они должны были оплачивать все расходы, возникавшие в ходе операций по усмирению и разоружению⁶⁹⁸.

Не в последнюю очередь важны были и те уроки, которые царские власти извлекли из неспособности полиции поддерживать

общественный порядок. Уже в 1906 году штат полиции в Привислинском крае был удвоен. В начале 1907 года службу в Царстве Польском несли почти 10 тыс. полицейских. Однако слабость полицейского аппарата, особенно в провинциальных городах и уездах, подобные кадровые меры устранить не могли. К тому же из-за низкой оплаты труда и постоянной опасности было сложно найти желающих поступить на эту службу⁶⁹⁹. Таким образом, принципиальная необходимость в использовании армии для поддержания общественного порядка не исчезла. Еще осенью 1906 года в Варшаве выполняли полицейские функции около 3,6 тыс. солдат. Это была одна из основных причин, по которым Скалон требовал сохранить военное положение в Привислинском крае надолго. По крайней мере в этом варшавский генерал-губернатор и министр внутренних дел были согласны: оба считали, что преждевременная отмена военного положения может быстро привести к дестабилизации ситуации⁷⁰⁰.

Такая оценка положения основывалась, помимо всего прочего, на том, что царским властям так и не удалось пресечь политический террор на улицах городов Царства Польского. Наоборот, в 1906 году количество террористических актов и в Польше, и во внутренних районах России значительно увеличилось. Если 1905-й был годом баррикадных боев, то 1906-й – годом террористических актов. В течение этого года по всей империи в результате терактов было убито 768 и ранено 820 человек.

Насколько опасна стала повседневная жизнь в мегаполисе на Висле летом 1906 года, наглядно показывает отчет британского генерального консула сэра Александра Мюррея от 13 июля. В качестве постскриптума к своему донесению из Варшавы он писал:

Как раз перед тем, как я вернулся домой, прямо напротив моего дома был застрелен рабочий. Слуга, услышав выстрел, выглянул наружу и увидел, как убийца спокойно убрал в карман свой револьвер и ушел, и никто его не остановил, хотя в это время на улице было довольно много людей. [...] Тело оставалось лежать на мостовой перед моим окном, пока я обедал. Сегодня утром, когда я шел в канцелярию, на улице, по которой я проходил, было сделано несколько выстрелов. Такова жизнь в Варшаве в начале двадцатого века⁷⁰¹.

В обстановке повсеместного насилия трудно было различить, кто стал жертвой политического убийства, кто – сведения счетов между бандами, кто – акции возмездия со стороны партийных отрядов самообороны, а кто – просто «пальбы куда попало». В то лето террора в Варшаве даже случайные прохожие подвергались постоянной опасности, а тем более – представители органов охраны порядка. Самой легкой мишенью для таких терактов были низшие полицейские чины – городовые, несшие постовую службу на улицах. В течение 1905–1906 годов из примерно тысячи полицейских в Варшаве более 200 получили ранения или погибли от бомб и револьверных пуль⁷⁰². Ввиду непрекращающихся коварных и опасных нападений варшавская полиция летом 1906 года представляла собой не более чем сборище перепуганных людей. Когда распространились слухи, что социалисты собираются убивать двоих полицейских за каждого казненного члена своей партии, 3 июля на улицах Варшавы не было видно ни одного городского. Чуть позже опасения сбылись: 2 августа члены боевой организации ППС в ходе акции, проведенной скоординированно по всему краю, совершили целый ряд нападений на стражей порядка. В этот день, получивший название Кровавой среды, в одной только Варшаве были убиты 16 полицейских и солдат, а еще 17 – ранены. По всему же Царству Польскому количество жертв террора в тот день составило 41 погибшего и 69 раненых представителей государственной власти⁷⁰³.

Но террористические акты были направлены отнюдь не только против нижних чинов полиции: жизнь и здоровье должностных лиц более высокого ранга находились в 1906 году тоже под постоянной угрозой. Соответственно, принимались самые интенсивные меры безопасности. Высокопоставленные чиновники, такие как генерал-губернатор, почти не показывались в общественном городском пространстве, а забаррикадировались в своих служебных и жилых помещениях. Когда Георгию Скалону приходилось покидать свою резиденцию, караван карет был похож на мобильную цитадель. Державшиеся в секрете маршруты его движения охранялись многочисленными агентами охраны в штатском⁷⁰⁴.

У представителей царской власти в Привислинском крае в самом деле имелись все основания опасаться за свою жизнь. В 1906 году, среди прочих жертв террора, были убиты заместитель генерал-

губернатора генерал-майор Маркграфский, а также генералы Вонялярский, Цукато и Вестенрик⁷⁰⁵. В августе 1906 года было совершено покушение на самого Скалона. Боевая группа ППС во главе с Мечиславом Маньковским пыталась устранить ненавистного генерал-губернатора. Покушение было совершено с помощью целенаправленного оскорбления генерального консула Германии в Варшаве: 5 августа, когда консул барон Густав Лерхенфельд выходил из местного яхт-клуба, на него налетел человек в форме российского офицера, который оскорбил его и ударил по лицу. В тот же день генерал-губернатор отправился к генеральному консулу, чтобы принести должные извинения. Когда он двинулся обратно в свою летнюю резиденцию Бельведер, на улице Кошиковой убийцы бросили в него бомбы. При взрыве двух бомб были легко ранены четверо сопровождавших Скалона казаков и несколько прохожих. Сам генерал-губернатор остался невредим. Тут же начатое полицейское расследование показало, что провокация против генерального консула Германии являлась частью давно готовившегося заговора с целью убийства Скалона. Квартиру в доме № 33/13 по Кошиковой улице, из которой были брошены бомбы, арендовали еще двумя месяцами ранее. Убийцы выбрали именно эту улицу, так как на ней велись работы с канализацией, из-за которых движение было односторонним. К тому же по этой улице с наибольшей вероятностью проходил обратный путь генерал-губернатора после визита к немецкому консулу. В конечном итоге теракт не удался только из-за плохо изготовленных бомб⁷⁰⁶.

Угроза для жизни генерал-губернатора сохранялась и после неудачного покушения 5 августа. Уже в конце того же месяца на Скалона было совершено еще одно покушение. В октябре удалось предотвратить убийство с помощью яда в берлинском санатории, куда он отправился на кратковременное лечение.

В отличие от Скалона, который оставался при всех этих покушениях невредим, целому ряду других государственных чиновников везло меньше. Если верить статистике Британского генерального консульства, только за период с 28 июля по 6 октября 1906 года в Варшавском консульском округе 124 должностных лица пали жертвами терактов и еще 108 – были ранены⁷⁰⁷. Таким образом, только за эти два месяца в Царстве Польском и западных губерниях

произошло 16% всех террористических актов, зафиксированных в Российской империи за весь 1906 год. В другом обзоре Владимир Есипов, руководитель Статистического комитета в Варшаве, писал, что за весь период 1905–1906 годов погибли 790 чиновников, а 864 человека были в результате покушений ранены. В общей сложности в Царстве Польском взорвалось за эти два года 129 бомб⁷⁰⁸.

Однако многочисленными терактами не удалось разжечь революционную динамику. Они оставались изолированными событиями, которые ни разу всерьез не поставили под угрозу стабильность общественного порядка. Постепенно их широкая поддержка обществом стала ослабевать.

Изменения в иерархии страхов и уроки 1905 года: как мышление царских чиновников поменялось после революции

Террористы оказывались во все большей социальной изоляции, поскольку политика временного генерал-губернатора никоим образом не ограничивалась одними лишь репрессиями. Подавление насильственных протестов сопровождалось повышенной готовностью к сотрудничеству с теми общественными кругами, которые не стремились к насильственному свержению российского господства. Уже современники характеризовали этих генерал-губернаторов как военных, которые в первую очередь стремились привести Польшу к повиновению, однако такая характеристика явно слишком однобока. Скалон очень целенаправленно вмешивался в непривычную политическую ситуацию, возникшую после выхода Октябрьского манифеста, чтобы управлять ею, но не допускал принципиальной обструкции основных гражданских прав, этим манифестом введенных. Его усилия были направлены скорее на то, чтобы заключать жизнеспособные союзы при этом новом политическом порядке, который он, возможно, не любил, но в принципе принял.

Опыт 1905 года заставил имперских чиновников пересмотреть старые образы врагов, потому что внезапно проявили волю к сотрудничеству такие социальные силы, которые еще незадолго до того однозначно причислялись к «революционным». Вообще, прежний образ тройки противников петербургского владычества и возмутителей спокойствия в крае, к которой царские чиновники относили польскую

аристократию, католическое духовенство и городскую интеллигенцию, стал распадаться⁷⁰⁹. С начала столетия распространилось понимание того, что основную угрозу государственному порядку несет прежде всего соединение социальных протестов против бедственного положения городских низов с «социалистической пропагандой» со стороны революционных партий. Революция 1905 года убедила в этом окончательно. На фоне угрозы бунта обнищавших масс и кровавого террора социалистических боевых организаций прежний «польский вопрос» потерял свое бывшее главное место в иерархии страхов русских чиновников⁷¹⁰.

Одновременно это привело к тому, что они смогли сохранять свою веру в лояльного крестьянина и после 1905 года, поскольку главное требование гминного движения – двуязычие административных процедур – не рассматривалось как фундаментальное отрицание российского владычества над Царством Польским. Уступки, к которым правительство было готово в 1905 и в последующие годы, касались прежде всего этой области. После того как в течение 1906 года опасность революции в сельской местности была, казалось, устранена, царская администрация почти не препятствовала сельским общинам в усилении самоорганизации. Показательно в этом отношении большое количество начальных школ и добровольных пожарных дружин, которые были созданы общинными активистами даже в условиях постоянного военного положения.

Однако еще более важным было то, что имперские должностные лица пересмотрели свое отношение к «патриотическому лагерю». Так, были возобновлены попытки диалога с умеренными, либеральными силами польского идейно-политического спектра. При поддержке петербургского Комитета министров варшавский генерал-губернатор уже в октябре 1905 года инициировал комиссию, которая должна была обсудить старый проект введения в Царстве Польском органов муниципального самоуправления. В бурные дни после выхода Октябрьского манифеста Скалон пригласил на переговоры таких выдающихся представителей польского национального движения, как, например, Адольф Сулиговский, чтобы конкретно обсудить с ними уставы городского самоуправления для Варшавы и Лодзи⁷¹¹.

Но имперские чиновники на местах были готовы заботиться о хороших отношениях не только со своими традиционными

союзниками. Они скорректировали и некоторые из давних предрассудков по отношению к другим сегментам общества, находившимся, как прежде считалось, в фундаментальной оппозиции к русскому владычеству. Так, католическое духовенство потеряло статус воображаемого главного врага царской власти. Слишком очевидно было, что церковь в дни революционной анархии вела себя сдержанно или даже открыто высказывалась за сохранение существующего порядка.

А главное – представители Петербурга в Привислинском крае пересмотрели свою оценку организаций и партий национал-демократического спектра. В 1890-е годы такие люди, как Роман Дмовский, являли собой в глазах властей существенную угрозу, потому что представляли новую городскую интеллигенцию, часто дворянского происхождения, начавшую борьбу за национальные права поляков и продолжавшую традицию «польского восстания». Дмовский еще в бытность студентом Варшавского университета и руководителем националистического Союза польской молодежи вступил в конфликт с властями и был приговорен к шести месяцам заключения в Варшавской цитадели. Вскоре после этого генерал-губернатор и вовсе выслал его из Царства Польского⁷¹².

Еще накануне революции в административных документах национал-демократическая агитация учитывалась под рубрикой «революционная деятельность»⁷¹³. Но уже в 1905 году стало понятно, что национал-демократы не закоснели в фундаментальной оппозиции к режиму. Под влиянием Дмовского они отказались от цели насильственного свержения петербургской власти и в деятельности социалистического подполья стали усматривать опасность для развития Польши. Так у представителей режима внезапно возник с польской стороны еще один партнер для диалога.

Опыт смут и хаоса 1905 года объединил широкий спектр польских консервативных, буржуазных и национал-демократических партий в общем страхе перед революцией. Слишком часто революционные события проявлялись в форме анархии и насилия. Последнее же имеет тенденцию отрываться от своих изначальных целей; выступающие экспертами в области насильственной борьбы индивиды и организации ради обеспечения своих интересов и самосохранения склонны к эскалации насилия. Разрыв между политическими и «обычными»

насильственными преступлениями быстро исчезает; насилие профанизируется и коммерциализируется и все больше направляется против тех, кто еще вчера считался союзником по восстанию.

Так было и в 1905 году в Царстве Польском: все более весомую роль в конфликтах играли акторы, осуществлявшие насилие, – боевые организации СДКПиЛ и ППС, наемные убийцы, стрелявшие в полицейских и штрейкбрехеров, конкурирующие отряды самообороны и вооруженные банды, воевавшие друг с другом и делавшие улицы города опасными для прохожих. Бунт, который изначально был призван поколебать российское владычество, в конце концов обернулся необузданным и вызывающим все больший страх насилием, которое стало определять повседневную жизнь всего населения. Огромное множество людей познало на собственном опыте, что полный крах царского аппарата власти не привел здесь ни к чему хорошему⁷¹⁴. То, что для одних было «днями свободы», для других представляло собой фундаментальную угрозу их жизни и собственности. Вышедшее из берегов насилие было направлено отнюдь не только против богатых: оно стало повседневностью и для городских низов, и для рабочих. Вооруженные отряды самообороны терроризировали друг друга.

Боевые организации, в особенности таких партий, как СДКПиЛ, ППС или ППС-Пролетариат, не колебались при использовании оружия. После выхода Октябрьского манифеста военизированные формирования социалистических партий пытались поддерживать социальную оппозицию режиму с использованием насильственных средств. Все «примиренцы», сомневавшиеся в осмысленности революции, теперь были объявлены предателями, и на них была открыта охота. В декабре 1905 года боевики СДКПиЛ, например, совершили убийства журналистов национал-демократической газеты *Gonies*, после чего традиционное противостояние социалистов и национал-демократов перешло в новое качество. В 1906 году национал-демократы отреагировали на нападения созданием собственной организации самообороны, называемой «народной милицией», которая имела вооруженные «боевые кружки» и своими целенаправленными акциями возмездия и нападениями на членов социалистических партий значительно способствовала раскручиванию спирали насилия⁷¹⁵.

Таким образом, от эскалации насилия страдали самые разные группы общества. Одним из последствий этого, несомненно, была готовность реагировать насилием на насилие; другим – понимание того, что революционная смута, казавшаяся все более бессмысленной, представляет собой силу прежде всего разрушительную⁷¹⁶. Логика необузданного насилия включает в себя, помимо прочего, эффект раскручивающейся карусели: некоторые из тех, кто изначально активно участвовал в запуске карусели насилия, были сброшены с нее растущей центробежной силой. В конкретной ситуации Царства Польского опыт насилия и страх перед угрозой для жизни, которую оно несло, повысили у части местного общества готовность принять государственных чиновников и их силы охраны порядка как необходимых гарантов общественной безопасности.

Обнародование императорского Манифеста 17 октября способствовало распространению такой позиции, в том числе – и даже в первую очередь – в национал-демократическом лагере. Дмовский и его союзники увидели, что появилась основа для получения дальнейших уступок мирным путем, через переговоры. Национал-демократы организовали благодарственные митинги на улицах Варшавы, и подпись Дмовского стоит под петицией к российскому правительству с требованием дополнительных привилегий для Царства Польского⁷¹⁷.

Главным действующим лицам насильственной революционной борьбы подобные признаки того, что фронт противодействия режиму начал рушиться, должны были показаться тем более угрожающими, что теперь к диалогу с властями стремилась уже не только небольшая, консервативно-элитарная, не особенно влиятельная группа угодцев, а гораздо более широкая сила. Социалисты сначала пытались дискредитировать национал-демократических «примиренцев», распуслав слух, будто Дмовский договорился с петербургскими властями о подавлении революции в Польше. Конфликт быстро обострился еще сильнее, когда царские власти перешли к последовательным репрессиям против социалистических движений, в то время как эндеции было разрешено продолжать свою политическую агитацию почти без ограничений. Начало избирательной кампании в I Думу в январе 1906 года подлило масла в огонь. После того как социалистические партии объявили бойкот выборам, они –

в первую очередь ППС – начали добиваться неучастия в выборах и от других, в том числе и насильственными средствами, а политических оппонентов запугивать вооруженными нападениями⁷¹⁸. Стал виден тот потенциал насилия, которым обладал этот конфликт, разросшийся в 1906–1907 годах в целую межпартийную войну, приведшую к огромному числу жертв: в общей сложности около тысячи человек было в ней ранено и более 300 – убито.

Варшавский генерал-губернатор внимательнейшим образом следил за этими конфликтами между польскими политическими силами и из противоречий между ними пытался извлечь пользу для стабилизации положения в крае. Прежде всего это выражалось в косвенной поддержке национал-демократии. Например, даже после объявления в декабре 1905 года Царства Польского на военном положении Скалон почти не препятствовал политической деятельности национал-демократов. Так, он не вмешался, когда в том же месяце эндеция организовала несколько собраний учителей, священников и крестьян в Варшаве, чтобы приобрести влияние на них, а через них – и на более широкие массы общества. Поскольку национал-демократы открыто отказались от цели свержения российского господства, в награду власти по крайней мере терпимо относились к их деятельности и организациям.

Предложением мирного сосуществования была и организация выборов: российские власти обеспечили проведение думских выборов в Царстве Польском даже в условиях военного положения, и Скалон лично самым энергичным образом заботился о том, чтобы они прошли без эксцессов. Он, несомненно, рассматривал обеспечение нормального хода избирательной кампании и самих выборов как демонстрацию силы государства: таким способом власти доказывали, что способны проводить эти важные мероприятия и защищать их от диверсий со стороны революционных партий.

Поэтому генерал-губернатор позволил начать избирательную кампанию очень рано. Общества и ассоциации, которые уже получили официальное разрешение, могли собираться, несмотря на запрет собраний. Польской прессе было разрешено публиковать репортажи об этом. Царские власти оказывали содействие в найме подходящих помещений для проведения крупных предвыборных собраний и выделили значительное число полицейских и солдат для защиты

выборов от нападений социалистических активистов, требовавших бойкота⁷¹⁹.

Генерал-губернатор, которого часто презрительно называли «Столыпиным на Висле», здесь показал себя удивительно прагматичным и готовым к компромиссу. В чем-то Скалон, очевидно, был сыном той эпохи, которую застал, когда служил в Привислинском крае при генерал-губернаторах Шувалове и Имеретинском, – эпохи расцвета диалога между царской администрацией и польскими активистами из лагеря, готового к сотрудничеству с Петербургом. Во всяком случае, показательно, что царские власти играли такую конструктивную роль в логистике и церемониальном оформлении думских выборов и в разгар революции предоставляли ресурсы, позволившие осуществить сложную процедуру составления списков избирателей, а также защищали предвыборные и избирательные мероприятия от нападений. Не в последнюю очередь это было попыткой создавать сферы общественной и политической «нормальной жизни» в такое время, которое было ознаменовано жестокими военными репрессиями против революции. Эти островки нормальной жизни служили предложением, адресованным относительно умеренным кругам: действовать на основе нового конституционного порядка, не ставя под сомнение российское правление в целом. Главным адресатом, несомненно, был национал-демократический лагерь. В отличие от лишенных всякого влияния консерваторов и элитарных позитивистов – традиционных партнеров власти по диалогу с польской стороны – эндация представляла собой современную массовую партию, которая вместе с подчиненными ей организациями имела широкую поддержку среди населения. В противостоянии с революционной агитацией и кровавым террором, которыми пользовались социалистические партии, боровшиеся с государством, это был важный плацдарм, с которого власти надеялись оказывать влияние на население беспокойного края⁷²⁰.

Конечно, и после Октябрьского манифеста между представителями петербургского режима и польскими национал-демократами сохранялась заметная дистанция. Последние настаивали на отмене дискриминационных законов, требовали прежде всего повсеместного введения польского языка в школах, судах, административных органах и вообще стремились к автономному статусу польских провинций.

В течение 1905 года эндеция сыграла важную роль в провозглашении и проведении школьных забастовок и развитии гминного движения. Национал-демократы никоим образом не отвергали открытые формы протеста. Только в 1908 году они окончательно пересмотрели свою позицию и выступили против продолжения бойкота государственных школ. Однако в 1905 и 1906 годах эта партия была мощным рупором, транслирующим требования обширных особых прав для поляков. После убедительной повсеместной победы на выборах в Царстве Польском она была представлена в Думе 37 депутатами, возглавляемыми лично Дмовским. «Польская фракция» пыталась добиться принятия Думой резолюции об автономии Царства Польского, однако эти усилия не увенчались успехом из-за непреодолимых противоречий между представителями эндеции и депутатами от партии конституционных демократов – прежде всего по вопросу о равных гражданских правах для евреев, а также об автономии национальных меньшинств в западных губерниях⁷²¹.

Тем не менее очевидно, что партия Дмовского и после 1905 года была отнюдь не легким собеседником для царских властей. Но в кризисной ситуации 1905–1906 годов генерал-губернатор был заинтересован в том, чтобы вступить в контакт с частями польского общества, которые поддерживали по крайней мере отход от вооруженной борьбы против имперского господства. Отказ национал-демократов от насилия, их условная готовность к сотрудничеству и, прежде всего, их резкая враждебность по отношению к социалистическим партиям создали основу для толерантной политики Скалона. Для окончательного подавления революции большое значение имело то, что в 1906 году царские власти сумели остановить «собственную динамику несдерживаемого насилия», опираясь не только на армию. Для долговременного преодоления фундаментального кризиса необходимо было допустить возникновение новых легальных форумов социального взаимодействия. Это открыло новые пространства для развития публичной политической и общественной деятельности. Манифестом 17 октября и последующими Основными законами была заложена правовая база для новой политической культуры. Даже во время военного положения была в ограниченном виде возможна легальная артикуляция политических интересов общественных групп.

ДЛИННАЯ ТЕНЬ РЕВОЛЮЦИИ: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА. 1907– 1914 ГОДЫ

Обычная жизнь при чрезвычайном положении: 1906– 1909 годы

И при чрезвычайном положении ходят трамваи, строятся дома и рабочие получают зарплату – так описывают Альф Людтке и Михаэль Вильдт тот факт, что и во времена, когда приостановлено действие прав и свобод, все равно происходит повседневная жизнь и даже не обязательно полностью отменяются правовые отношения⁷²². Это относится и к тому времени в 1906–1909 годах, когда Царство Польское находилось на военном положении. На долгие четыре года чрезвычайные условия стали перманентным состоянием польских провинций, и все же это не было свинцовое время, когда все остановилось. Нормальная жизнь продолжалась и при чрезвычайном положении: в Варшаве трамваи не только ходили, но и были электрифицированы, а дома не просто строились – в мегаполисе на Висле начался новый строительный бум. В период военного положения строилась канализация, проводились крупные ярмарки, заседали муниципальные комиссии, в которых чиновники и граждане обсуждали вопросы городского управления. Частная повседневная жизнь в условиях аномии включала в себя походы в цирк, кафе и театры, а также интенсивную издательскую деятельность. В 1907 году уже не было ничего немыслимого в том, что «русский Бедкер» Григорий Москвич выпустил для потенциальных туристов и коммивояжеров свой новый путеводитель по Варшаве⁷²³. Если не считать упоминания о комендантском часе, в его описании города на Висле о чрезвычайном положении не сказано ни слова. Но даже царские власти в то время, когда, казалось бы, все было в их руках, не могли избежать повседневных трудностей: так, Варшавская городская администрация вынуждена была заниматься согласованием нового договора аренды

на свои служебные помещения⁷²⁴. Как раз этот последний пример показывает, что военное положение в Польше вовсе не означало отсутствия правил и законов. Разумеется, полномочия царских чиновников, и прежде всего генерал-губернатора, были значительно расширены. Но и административная власть высших должностных лиц была ограничена фиксированными правилами, а приостановление действия прав и свобод в Царстве Польском было лишь частичным.

Существовало, бесспорно, множество сфер деятельности и фаз, в которых Скалон проводил жесткую политику. Период военного положения был беспокойным и исполненным насилия. Это была фаза массовых забастовок и закрытия заводов, фаза политических убийств и казней. Несмотря на то что печально известные военно-полевые суды действовали только до апреля 1907 года, число смертных приговоров, выносимых по всей Российской империи, оставалось до 1909 года неизменно высоким. Варшава и Царство Польское и по этому критерию были одной из зон наиболее интенсивного насилия: процент приведенных в исполнение смертных приговоров был выше только в Москве и Вильне⁷²⁵. В 1907–1908 годах в Привислинском крае был поставлен и рекорд административных высылки – более 8,5 тыс. человек, около трети всех высланных в империи, были осуждены к этой мере наказания варшавским генерал-губернатором. Уголовная преступность была большой проблемой в Царстве Польском, так как власти даже в условиях военного положения не могли справиться с незаконным оборотом огнестрельного оружия⁷²⁶. Постоянно высокий уровень насилия способствовал тому, что генерал-губернатор считал необходимым продолжать регулярное использование военной силы для поддержания общественного порядка и сохранять численность войск Варшавского гарнизона на уровне 65 тыс. человек до 1914 года.

Таким образом, времена военного положения в Польше характеризовались обыденностью насилия и повсеместным присутствием военных. Но этим повседневная жизнь в Царстве Польском отнюдь не исчерпывалась. После 1906 года люди быстро привыкали к перманентности чрезвычайной ситуации. Они обучились правилам игры, следуя которым могли жить своей жизнью в условиях военного положения и по которым должно было осуществляться взаимодействие в обществе. Кроме того, уже сама по себе большая продолжительность военного положения вела к тому, что оно не

оставалось статичной констелляцией условий: это был скорее комплекс многочисленных процессов торга и переговоров, временных договоренностей и частичных уступок.

Революция 1905 года, несомненно, способствовала широкой социальной и политической мобилизации населения. Опыт стачек, студенческого, школьного и гминного движений, у кого-то – участие в деятельности той или иной партийной организации или в одной из многочисленных ассоциаций, связанных с политическими партиями, использование новых форм печатного слова и собраний в «дни свободы» и не в последнюю очередь вынесенный из революционных событий урок, что широкое общественное движение способно заставить царский режим пойти на значительные уступки, – все это привело к широкой интеграции населения в политико-коммуникативную сферу, где обсуждались вопросы политического устройства страны в целом и польских провинций в частности.

Этому благоприятствовали и возможности для общественной самоорганизации, которые генерал-губернатор предоставлял гражданам даже в период чрезвычайного положения. Новые свободы и гражданские права, вытекавшие из мартовских положений и Основных государственных законов апреля 1906 года, действовали в принципе и на территории Царства Польского, однако ввиду военного положения действие их было частично приостановлено. Поэтому если с 1906 года общественная жизнь в крае значительно активизировалась, то это было результатом целенаправленной политики толерантности со стороны генерал-губернатора. Таким образом, в годы военного положения наблюдалась своеобразная одновременность чрезвычайного правового режима и обыденной общественной жизни, разрушительной деятельности, какой были репрессивные меры или теракты, и «созидательного труда» в традиционном позитивистском смысле.

В этом труде принимали значительное участие легализованные или по крайней мере непреследуемые политические партии. Их деятельность в ходе думских избирательных кампаний создавала новые форумы, где вырабатывались политические мнения и подходы, характерные для современной массовой политики. Когда в выборах во II Думу зимой 1906/07 года решили принять участие некоторые партии социалистической ориентации, соперничество за право называться в Санкт-Петербурге выразителями польских интересов обрело новое

измерение. В этом прямом поединке с социалистами национал-демократические партийные организации сумели добиться победы. Это было связано, во-первых, с тем, что они вместе с «реальными политиками» и «прогрессивными» создали надпартийный Союз национальной концентрации, т. е. проводили мудрую коалиционную политику. Во-вторых, они активнее, нежели их соперники-социалисты, занимались профессиональной массовой политической работой, через множество околопартийных организаций целенаправленно апеллируя к различным сегментам электората и поддерживая эту коммуникацию с помощью широкого спектра печатных органов⁷²⁷.

Здесь тоже сыграла свою роль терпимость имперских властей – они почти не препятствовали деятельности эндеции: в списке «революционных группировок», который составил Скалон в ноябре 1906 года, национал-демократы, в отличие от социалистических партий, не значились. Мобилизационные стратегии партии Дмовского и возглавляемого ею Союза национальной концентрации привели к успеху: им удалось добиться высокой явки на выборы II Думы даже в отдаленных регионах Царства Польского, а кроме того, они доминировали и на избирательном собрании, и в польской группе депутатов, прибывшей в феврале 1907 года в Таврический дворец. Но в дальнейшем – после того как 3 июня 1907 года Столыпин изменил избирательное право – политической активности, сравнимой по силе с этой, уже не удавалось достичь. Третьеиюньский государственный переворот нанес большой удар по позициям Царства Польского в парламенте: число польских депутатов сократилось с 37 до 14 и была введена «русская избирательная курия» в Варшаве, имевшая право избирать одного из двух депутатов от города. Разочарование было в Привислинском крае всеобщим⁷²⁸.

И все же думские выборы 1906 и 1907 годов имели долговременный эффект: широкие слои населения, в том числе и те, кто прежде был отрезан от политической жизни, приобрели новый опыт, познакомившись с партийной агитацией и приняв участие в выборах (пусть и не прямых). Численность членов партий и аффилированных с ними организаций свидетельствует о том, насколько широкий общественный охват имела политическая активность этих лет.

Более того: опыт участия в принятии общественно значимых решений отнюдь не ограничивался партийной деятельностью

и избирательными кампаниями. В особенности профсоюзное движение 1906–1907 годов обеспечило профессиональным объединениям в Царстве Польском широкую социальную базу. Несмотря на то что действующее военное положение существенно ограничило свободу союзов и собраний, закрепленную в Основных государственных законах, царские власти сначала разрешили создание и деятельность большого количества организаций, представлявших интересы как трудовых коллективов отдельных предприятий, так и целых отраслей. Однако профсоюзное движение в Царстве Польском, быстро поднявшись, так же быстро пошло и на спад. Уже в течение 1906 года многие организации получили от царских властей отказ в регистрации или были, после своего недолгого существования, ее лишены. В столкновении с работодателями профсоюзы во время «большого локаута» в Лодзи потерпели фиаско. В ходе трудового конфликта, продолжавшегося с декабря 1906 по апрель 1907 года, лодзинским фабрикантам удалось победить бастующих рабочих и поддерживающие их профсоюзы⁷²⁹. Но, хотя период широкой профсоюзной самоорганизации оказался недолгим, он все же способствовал всеобщей мобилизации общества. Многие из профсоюзных активистов 1906 и 1907 годов продолжили свою деятельность в последующие годы в различного рода иных общественных организациях.

В это же время процветала вновь возникшая публичная сфера, охватывавшая весь Привислинский край. После 1906 года образовались новые форумы, которые постоянно и повсеместно соединяли различные и изолированные частные публичные сферы в одну большую дискуссионную среду. Самым мощным медиатором данного процесса была печать. В этом отношении Основные государственные законы действительно изменили ситуацию коренным образом, ведь со времени императорских указов 1905–1906 годов не существовало более никакой предварительной цензуры, в том числе и в находившейся на военном положении Польше. Хотя генерал-губернатор имел расширенные полномочия, позволявшие ему пресекать публикации, найденные бунтовщическими, факт оставался фактом: предварительная цензура была отменена. Однако еще важнее было то, что новые свободы привели к быстрому росту печати в Царстве Польском: создавались многочисленные новые ежедневные и еженедельные газеты, спектр прессы дифференцировался как в плане политических

ориентаций, так и в плане содержательно-стилистических предпочтений. Появились печатные органы, рассчитанные на конкретные читательские аудитории, но параллельно процветали и массовые дешевые газеты. По статистике Варшавского комитета по делам печати, на 1 января 1908 года только в Варшаве было зарегистрировано более ста газет и журналов – немало для города, находящегося в режиме чрезвычайного положения⁷³⁰.

Вместе с тем новизна заключалась не только в разнообразии и возросших тиражах газет и журналов, но и в том, что они стали высказываться на политически взрывоопасные темы. Царские власти допускали удивительно открытые дебаты о реформах, необходимых для того, чтобы справиться с проблемами, стоящими перед краем. То же самое относится и к расширявшемуся книжному рынку: здесь обществу также было предоставлено коммуникационное пространство, в котором легально обсуждались темы, обладавшие большим конфликтным потенциалом. Имперские чиновники, очевидно, на тот момент уже свыклись с мыслью, что политика – это сфера, где слово могут брать и представители общественного мнения. Поэтому, например, предстоящее введение городского самоуправления в Царстве Польском можно было широко обсуждать⁷³¹, равно как и принципиальные аспекты «польского вопроса». В особенности тема возможной автономии Польши волновала умы и порождала широкий спектр полемических высказываний, но и тема устройства местного коммунального самоуправления тоже мобилизовала польскую общественность. Разумеется, и здесь существовали границы того, что можно было говорить и писать, и генерал-губернатор, используя свои административные полномочия, вмешивался в функционирование рынка мнений и обеспечивал преимущество русским голосам, которые критически или отрицательно высказывались по поводу дальнейших «уступок» в направлении особого статуса Польши. Скалон регулярно конфисковывал польские публикации, когда в них «разжигалась ненависть к России» или «пробуждалась мечта о независимой Польше»⁷³². Однако, в отличие от времен предварительной цензуры, после 1906 года генерал-губернатор уже практически не мог остановить приток в Царство Польское публикаций из российских городов. Напечатанные в Петербурге, Москве или Киеве сочинения по «польскому вопросу» можно было без проблем покупать и читать

в Варшаве. О существовании «духовных шлагбаумов» уже не могло быть и речи.

Но, возможно, у варшавского генерал-губернатора вовсе и не было намерения устанавливать слишком тесные рамки для формирования общественного мнения. Ведь не только в области печати и издательского дела наблюдалась политика толерантности, которая открывала удивительно большие возможности для социальной активности и публичного волеизъявления. Наиболее ярко эта политика проявилась, несомненно, в выдаче разрешений на создание клубов и обществ, которые не ставили себе открыто политических целей: после вступления в силу Основных государственных законов новые ассоциации стали возникать в массовом порядке, и Скалон не пытался встать на пути у этой волны. Уже в 1906 году были образованы Польское краеведческое общество (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze) и Общество защиты женщин, в 1907 году – Варшавское научное общество, Общество домов трудолюбия, ночлежных приютов и дешевых столовых-чайных в городе Варшаве, Еврейское благотворительное общество. Особенно в области благотворительности, а также культуры и науки спектр институциональных структур общественной самоорганизации в эти годы значительно расширился⁷³³.

Многие из этих организаций придавали себе подчеркнуто аполитичный облик, однако их трудно рассматривать как институты, не относящиеся к политической сфере, поскольку в них продолжалась давняя традиция варшавского позитивизма: забота о культурном, духовном и экономическом развитии нации в этом понимании была политической задачей. Это было известно и генерал-губернатору, который не дал ввести себя в заблуждение якобы аполитичным характером таких учреждений, как Добровольная пожарная дружина или Варшавское медицинское общество⁷³⁴.

Таким образом, если даже в период военного положения власти допускали расцвет местных общественных организаций, то причина этого была не в аполитичности последних. Совершенно очевидно, что, по крайней мере в восприятии Скалона, эксперимент конца 1905 – начала 1906 года был удачен. Стратегия генерал-губернатора оставалась неизменной: искать сотрудничества с той частью общества, которая расценивалась им как умеренная, и в то же время форсировать

репрессии против радикальных оппозиционных сил. Нельзя не заметить, что, в отличие от периода до 1905 года, в годы военного положения польских специалистов приглашали к участию в административных делах. Частью этой политики уступок, несомненно, был и относительно нестрогий подход к выдаче разрешений на создание союзов и ассоциаций, имевший вдобавок тот положительный эффект, что на польской стороне благодаря этому возникали институционально зримые партнеры по диалогу. Одним словом, генерал-губернатор Скалон никоим образом не противился активизации общественной жизни в крае. Более того, он прямо одобрял и поддерживал членство царских чиновников в польских благотворительных организациях и требовал работы в них на добровольческих началах⁷³⁵.

Все это привело к тому, что новые формы сосуществования государства и общества в глазах имперских должностных лиц стали принятой нормой, частью нормальной жизни. Несмотря на свою фундаментальную установку на самодержавное правление, верховные царские чиновники тоже быстро привыкли к легальному существованию партий, профсоюзов и критической печати. Этот процесс привыкания осуществился в течение 1905 года и во многом снял остроту столкновения мобилизованного общества и государства — наглядным свидетельством тому стало неожиданное спокойствие, которое царило в 1907 году в Варшаве в день Первомая, обычно сопровождавшийся боями⁷³⁶.

Итак, активизация общественности больше не рассматривалась царскими властями как основная угроза существующему порядку. Тем не менее военное положение давало им в руки инструменты, позволявшие генерал-губернатору в любой момент резко и существенно вмешаться в процессы, которые, по его мнению, принимали угрожающий оборот. Маятникообразные колебания между предоставлением обществу пространств для участия в управлении и их внезапным закрытием посредством административного указа наиболее наглядно можно видеть на примере краткой и полной крутых поворотов истории Польской школьной матицы (Polska Macierz Szkolna). Эта история также показывает, насколько нестабильны были условия для социальной самоорганизации во времена военного положения. Польская школьная матица была основана в апреле 1905 года

представителями национал-демократических и позитивистских организаций и по законам от марта 1906 года направила официальное заявление на имя генерал-губернатора о выдаче разрешения⁷³⁷.

В целом условия для частичной полонизации школьного образования были в этот момент сравнительно благоприятными. В том же марте 1906 года Министерство народного просвещения сообщило новому попечителю Варшавского учебного округа Беляеву, что и в государственных школах обучение может проходить частично на польском языке. Именно эти уступки в области государственных школ, несомненно, способствовали тому, что Скалон сначала оттягивал легализацию Польской школьной матицы: царские власти некоторое время надеялись, что снова оживут государственные школы, которые значительная часть учащихся продолжала бойкотировать. Однако эти надежды не оправдались — скептицизм польского общества по отношению к «правительственным школам» был слишком велик. Генерал-губернатор в конечном счете поддался общественному давлению и летом 1906 года выдал разрешение Матице на открытие сети частных образовательных учреждений⁷³⁸.

Во время долгого ожидания, пока ее легализуют, активисты этой организации не оставались в бездействии: они систематически готовились к работе. Поэтому уже в 1907 году в Царстве Польском были готовы к регистрации более 680 начальных и средних учебных заведений с общим числом учеников около 7 тыс. На следующий год Матица подала заявку на регистрацию уже более чем 1,2 тыс. школ, из которых царские власти одобрили, впрочем, только половину: уже стало заметно, что генерал-губернатор со все большим подозрением смотрел на образовательную деятельность эндеции и подчиненной ей Национальной организации (Organizacja Narodowa). Скалону не нравился успех этой быстро расширяющейся сети польскоязычных школ, потому что возникала польская параллельная система, которая составляла угрожающую конкуренцию правительственным школам. Несмотря на то что острота бойкота государственных школ в 1907 году несколько ослабела, отвержение польским обществом нелюбимых «русских» школ по-прежнему было высоким. В декабре 1907 года Скалон решился на радикальный шаг: запретить Польскую школьную матицу. В качестве обоснования генерал-губернатор привел якобы многочисленные нарушения правила, требовавшего проведения

определенного процента занятий на русском языке. После этого Матице пришлось прекратить свою деятельность – однако это был вовсе не конец широкой сети польскоязычных частных школ. Некоторые из них продолжали работать, поддерживаемые частными лицами. В канун Первой мировой войны в Царстве Польском насчитывалось целых 800 таких частных начальных и 191 средняя школа, которые посещали соответственно более 70 тыс. и почти 40 тыс. учеников⁷³⁹.

Короткая и полная перемен история Польской школьной матицы показывает, насколько узкие границы были установлены для самоорганизации общества даже в случае готовности к диалогу со стороны царской администрации. В любой момент, как только власти считали, что видят угрозу для статус-кво, они были готовы распустить даже институции своих фактически главных партнеров по диалогу. В числе парадоксов такой непостоянной, мечущейся из стороны в сторону политики царских властей оказалось то, что Школьную матицу – одно из центральных учреждений своих союзников, национал-демократов, – власти распустили значительно раньше, чем аналогичную образовательную организацию социалистов, конкурировавшую с Матицей. Ни для кого не было секретом, что основанный в декабре 1905 года по инициативе варшавской интеллигенции Университет для всех (Universytet dla Wszystkich) был близок к социалистическому движению. Тем не менее в последующие годы эта организация могла относительно беспрепятственно осуществлять свою образовательную деятельность и проводить целый ряд вечерних курсов, лекций или выставок в различных местах Царства Польского⁷⁴⁰. Скалон удивительно долго позволял этому университету существовать и только в октябре 1908 года приказал его закрыть. Такие примеры свидетельствуют о том, что вмешательство генерал-губернатора в деятельность развивающейся сети культурных учреждений часто было несистематическим и не следовало явным образом его тактическому курсу на поддержку национал-демократических сил при одновременном подавлении социалистического движения. Кроме того, описанные случаи демонстрируют, как резко и решительно генерал-губернатор мог вмешиваться в молодую социальную жизнь в Царстве Польском.

Власть его не ограничивалась политическими институтами: Скалон также приказывал закрыть пивные и издавал положения,

направленные на сдерживание роста проституции в Варшаве, предписывал продавцам газет прилично одеваться и регулировал торговлю, которая велась на варшавских улицах. Он использовал свои полномочия для борьбы против уголовных преступлений так же, как прибегал к возможностям «обязательных постановлений» для управления крестьянской миграцией в Сибирь⁷⁴¹. Это администрирование оказалось заманчиво простым способом решения насущных вопросов управления краем. На протяжении долгих лет постоянного военного положения именно эта роль генерал-губернатора – как инстанции, принимающей все решения, – рутинизировалась. Она стала таким фактором, на который конкурирующие социальные, экономические или политические силы рассчитывали и который они стремились инструментализировать в собственных интересах. Поэтому не только, например, варшавские рыботорговцы, но и множество других заинтересованных групп и отдельных лиц обращались непосредственно к генерал-губернатору, руководствуясь надеждой, что Скалон, обладая всей полнотой власти, в порядке прямого правления решит дело в их пользу⁷⁴².

Однако в последний год чрезвычайного положения появились признаки того, что ситуация в Царстве Польском стабилизировалась и его социальная жизнь все больше нормализуется. И можно проследить постепенный отход генерал-губернатора от интервенционистской политики управления, осуществляемого посредством административных распоряжений. Общая экономическая ситуация в крае начиная с 1907 года стала быстро улучшаться, массовая безработица исчезла как социальная проблема. В 1908 году национал-демократические и либеральные силы публично прекратили бойкот школ, а в Императорском университете в зимнем семестре 1908/1909 года возобновился нормальный учебный процесс. В то же время генерал-губернатор во многих случаях дал согласие на возвращение людей из высылки или на восстановление сотрудников после временного отстранения от работы. Если в пору революционных беспорядков имела место конфискация имущества, то теперь бывшие владельцы могли надеяться снова его обрести. Все эти приказания Скалона были результатом переговоров, в ходе которых заинтересованные стороны обращались к генерал-губернатору напрямую⁷⁴³.

Скалон проявлял на заключительном этапе военного положения относительную мягкость, потому что знал, что угроза со стороны революционных сил была уже в основном отвращена. Боевые группы ППС и подобные им формирования в Царстве Польском оказались в практически полной изоляции. Несомненно, этому способствовал террор, который они все больше обращали против тех, кого считали коллаборационистами, и против конкурентов по партийно-политической борьбе. Казни фабрикантов, таких как Мечислав Зильберштейн в Лодзи, или та кровавая вендетта между ППС и эндецией, жертвами которой в одной только Лодзи стали до 1907 года более 700 человек (из них 322 убитых), ослабили социальную поддержку убийц. В изоляции террористической подпольной ячейки насилие настолько вытесняло все остальное, что ее членам казались оправданными даже убийства школьников, если те появлялись на варшавских улицах в форме государственных учебных заведений. Так, в 1907 году приверженцы насильственных способов борьбы неоднократно стреляли в школьников, одетых в форму, и тяжело ранили некоторых из них. Такие покушения на убийство несовершеннолетних, которых можно было обвинить только в нарушении бойкота школ, дискредитировали подпольщиков. В следующем году подобные инциденты участились: почти ежедневно сторонники бойкота прямо на улице бросались с ножами на студентов и школьников или избивали их дубинками, нанося такие тяжкие телесные повреждения, что жертвы оказывались потом в больнице. Это вызвало бурю негодования среди польской общественности. В отличие от внутренних губерний России, где кадеты упорно отказывались осуждать политический террор, в Варшаве многие влиятельные лидеры общественного мнения дистанцировались от насильственных действий революционных групп⁷⁴⁴.

Видя, что ситуация в Царстве Польском успокоилась, в 1909 году генерал-губернатор принял решение о формальной отмене военного положения. То, что началось в 1903 году стремительной эрозией государственной власти, закончилось ее новым укреплением. В восприятии чиновников, один из уроков революции заключался в том, что из длинной цепочки польских восстаний русская власть в очередной раз вышла победительницей. Опыт собственного бессилия перед лицом взбунтовавшегося в 1905 году общества быстро поблек

и уступил место уверенности, что в руках властей предрежащих теперь имеются средства, необходимые для сохранения своего господства. Во всяком случае, среди чиновников Привислинского края не было ощущения скорого конца. Ничто не говорило о том, что дни российского присутствия в Польше сочтены. С этой непоколебимой уверенностью в себе представители петербургской администрации в крае вступили в динамичный период, который последовал за отменой военного положения.

Нормализация? Социальная жизнь и политическая публичная сфера в период парламентаризма и свободы прессы. Варшава в 1909–1914 годах

1909 год не стал переломным. Скорее, произошел плавный переход из поздней фазы военного положения, которое уже почти не замечалось, в период «нормализации», в течение которого царские власти по-прежнему прибегали к военным средствам, когда им казалось, что возникает угроза сохранению общественного порядка. Даже после отмены в Царстве Польском военного положения в некоторых его губерниях сохранялось состояние «усиленной охраны», и говорить о полном и окончательном умиротворении в крае можно было лишь условно. Продолжались нападения на представителей власти, вновь обострились споры по поводу «польского вопроса», социальные конфликты по-прежнему отличались высоким уровнем насилия, в то время как антагонизм между евреями и католиками в предвоенные годы развивался в сторону новой эскалации⁷⁴⁵.

Тем не менее окончание военного положения привело к заметным изменениям в общественной жизни Царства Польского. Уже в 1909 году публичная сфера, развитию которой больше ничто не препятствовало, обнаружила свою ранее неведомую власть. Разоблачительная кампания, проводимая варшавской газетой *Gonies*, быстро привела в смятение имперскую бюрократию муниципального уровня. В том же году президенту города Виктору Литвинскому пришлось оставить пост, а нескольким должностным лицам предъявили обвинение в получении взятки⁷⁴⁶. Конечно, скандальные разоблачения административных злоупотреблений, сделанные в прессе,

не коснулись имперского центра власти в Привислинском крае – канцелярии генерал-губернатора, – но продемонстрировали, что такое гласность во времена свободы прессы.

В других областях власти тоже столкнулись с обвинениями, которые предъявляли уверенные в себе граждане, требовавшие соблюдения своих законных прав. Так, после отмены чрезвычайного положения в большом числе были поданы судебные иски о злоупотреблении служебным положением и других нарушениях закона сотрудниками имперской администрации. С другой стороны, власти также были вынуждены обращаться в судебные инстанции. После снятия ограничений с прессы значительно увеличилось число случаев, когда власти подавали в суд иски против отдельных статей или целых газет. Бывало, что суды действительно предписывали конфисковать отдельные номера или даже закрыть ту или иную газету, но это отражало и ограниченные полномочия царской бюрократии: сделать то же самое просто административным путем теперь стало невозможно⁷⁴⁷.

В целом можно констатировать, что после 1909 года начался расцвет общественной жизни в Царстве Польском, и особенно в Варшаве. Было создано множество новых союзов, ассоциаций и тому подобных организаций; другие, запрещенные во время военного положения, возрождались – часто под новым названием. Многие из существовавших и прежде организаций смогли значительно увеличить численность своих членов и спектр своей деятельности. В наибольшей степени диверсифицировалось производство и потребление печатной продукции: в 1913 году в городе на Висле существовало сорок книжных магазинов, тринадцать библиотек-читален и четырнадцать киосков периодической печати. Оживление городского культурного ландшафта, несомненно, было связано и с тем, что начиная с 1907 года Варшава превратилась в город промышленного бума. Общее восстановление экономики в Царстве Польском привело к тому, что в столице хозяйственная активность возросла и приняла отчасти даже лихорадочный характер, причем не только в строительной или транспортной сфере. Такие крупные проекты в области культуры, как синематограф «Феномен» на 1,6 тыс. с лишним зрителей и расширение городских театров, отражали растущий спрос на культурные

развлечения. Варшава в годы после отмены военного положения была оживленным, быстро растущим мегаполисом.

Этот процесс эволюции большого города влиял и на самосознание польской общественности. Несмотря на восстановление экономики, успокоение политической обстановки и либерализацию после отмены военного положения, публичные дебаты представляли собой в первую очередь дискурс о кризисе. Многие представители польской интеллигенции, казалось, разделяли скептицизм Блока по отношению к современному мегаполису. Именно противоречивая Варшава провоцировала критику «темных сторон» городского пространства. Под таковыми понимался прежде всего упадок нравственности: мегаполис воспринимался как угрожающий и жестокий молох, как рассадник отвратительных пороков и болезней, которые интерпретировались в том числе и в качестве угрозы для польской нации. Как и в других европейских мегаполисах, восторг перед новшествами городской среды смешивался с недовольством по поводу утраты привычных социальных иерархий и поведенческих шаблонов. Однако, какие бы беды города ни обсуждались в этом дискурсе эпохи *fin de siècle*, данный дискурс был антиурбанистским лишь на первый взгляд. На самом деле он в огромной степени способствовал оживлению городской публичной сферы, так как снабжал литературный и журналистский рынок материалом для полемики и разжигал дебаты по поводу социального и морального самоопределения городской образованной элиты. Polemica на тему «гнезда порока и разврата» была прежде всего беседой варшавян с самими собой.

Характерной чертой этих дебатов о характере города являлась их интенсивная связь с вопросом о будущем польской нации. Это было связано с тем, что активизация широкой городской публичной сферы в Царстве Польском происходила в то же самое время, когда вновь обострился «польский вопрос» и значительно усугубились конфликты как внутри польского общества, так и, прежде всего, между этническими группами, проживавшими в крае. С 1908 года усилились признаки того, что петербургские инстанции восприняли проекты русских националистов. Как и в отношении Финляндии, центральное правительство под руководством Столыпина, казалось, стремилось к широкомасштабному вмешательству во внутренние дела Царства Польского, не обращая внимания на ту линию, которую проводил

генерал-губернатор. Выступая в Думе, Столыпин открыто заявил, что петербургская власть представляет притязания именно русских на власть в России и потому не может быть беспристрастным арбитром в соперничестве русских и поляков⁷⁴⁸.

Шедшие в то время дебаты о создании национальных курий в органах самоуправления западных губерний, о языке органов городского самоуправления и об отделении Холмской губернии от Царства Польского велись и в Варшаве со всей страстью. В особенности возбудил умы «холмский вопрос», и, когда давно существовавшие планы создания отдельной губернии и вывода ее из состава Царства Польского превратились в конкретные законопроекты и стали обсуждаться в Думе, это мобилизовало политическую публичную сферу в Польше⁷⁴⁹. В 1911–1912 годах в Варшаве действовал нелегальный Комитет национального траура, который призывал к ношению траурной одежды и отмене всех праздничных и развлекательных мероприятий в знак протеста против «четвертого раздела» Польши. Это символическое сопротивление было поддержано таким широким общественным движением, что генерал-губернатор, несмотря на свое собственное отрицательное отношение к отделению Хелма, вынужден был принять ответные меры: в январе 1912 года Скалон запретил появление на людях в траурной одежде всем, кроме тех, кто мог доказать, что потерял близкого родственника. В этом вопросе, как и в других, агрессивные интервенционистские планы петербургского правительства при поддержке Думы и Государственного совета в конечном счете были осуществлены. В июне 1912 года Дума благословила создание отдельной Холмской губернии, и в том же месяце царь подписал эту резолюцию. К исходу года была формально создана губерния, и в ней были проведены широкомасштабные мероприятия по русификации.

И в других сферах в Царстве Польском тоже стало заметно новое стремление центральных властей усилить российское влияние на перифериях империи. Прежде всего национализация Варшавско-Венской железной дороги в январе 1912 года стала тяжелым ударом для польской интеллигенции, так как здесь рисковало потерять работу большое количество польских техников, инженеров, а также административных чиновников. Чуть позже Петербург форсировал дальнейшее вытеснение католических работников из высших этажей

управления железной дороги, а также из почтово-телеграфного ведомства и их замену сотрудниками «русского и православного происхождения»⁷⁵⁰. Все эти законодательные и административные нововведения 1909–1913 годов, казалось, отражали скоординированную волну русификационных мер и дискриминационных актов против местного населения. Фактические же успехи русификации в сфере кадровой политики даже на государственной железной дороге и в почтово-телеграфном ведомстве были весьма скромны: до 1914 года по-прежнему от 60 до 70% работников составляли католики, однако этот факт едва ли мог смягчить ощущение угрозы, овладевшее поляками. Ему способствовало и то, что в сфере общественной самоорганизации тоже началось наступление властей на многие завоевания прежних лет. Так, с 1910 года значительно возросло число конфликтов государственных органов с местными добровольными пожарными дружинами⁷⁵¹ — а этот институт имел огромное символическое значение для польской общественности, потому что дружины находились под командой поляков и служили не только важным местом формирования общности, но и единственной организацией, которая позволяла полякам легально и с гордостью носить на публике униформу. То была небольшая репрезентационная ниша для общества, лишенного права носить эмблемы суверенитета. Поэтому огосударствление добровольных пожарных бригад, которого постоянно требовали русские националисты, представляло собой для поляков чрезвычайно болезненный сценарий. Но в данном случае структурная слабость Российского государства сыграла на руку польским активистам: взятие пожарных бригад на баланс государственного бюджета обошлось бы так дорого, что власти Привислинского края просто не смогли себе этого позволить.

Таким образом, фаза 1909–1913 годов тоже может быть охарактеризована как конфликтная. С одной стороны, сохранялась напряженность между организованным рабочим движением и властями, которая грозила в любой момент новой эскалацией, подобной той, какая была в 1904–1905 годах. Соответственно, власти проявляли осторожность. Например, после столкновений между войсками и бастующими рабочими на Ленских золотых приисках в апреле 1912 года были массово усилены меры безопасности и в Варшаве. Кроме того, на время предстоящего празднования

Первомайские солдаты были направлены на охрану логистически важных точек. По всей территории города было распределено двадцать военных постов по шесть человек в каждом, и войска были уполномочены использовать огнестрельное оружие в случае «нападения толпы»⁷⁵². Такая подготовка к бою отчетливо демонстрирует, что чиновники знали, насколько хрупким было относительное спокойствие этих лет.

Но напряженность исходила отнюдь не только от радикальной социалистической оппозиции. Политизация общественного дискурса была в целом высокой, и даже либеральные, национал-демократические и консервативные круги были озлоблены политикой Петербурга⁷⁵³. Этот усиливающийся антагонизм привел к тому, что среди ведущих деятелей польской интеллигенции не произошло такого отрезвления относительно собственного места в обществе, какое было характерно для части российских образованных слоев, – они по-прежнему считали себя спасителями польской нации, а значит, и «народа». Поэтому в послереволюционный период не могло возникнуть польского эквивалента тому сведению счетов с собственным революционным пафосом, какое в России представлял собой сборник «Вехи». В Польше никто не мог бы произнести фразу, подобную той, в которой Михаил Гершензон выразил горький урок, вынесенный им из революции⁷⁵⁴. Слишком неприкосновенной была аксиома национально-освободительной борьбы, где «народу» (lud) отводилась центральная роль. Идейное единство представителей именно этого «народа» – будь то в виде стилизованного крестьянина или пролетария – с представителями интеллигенции сохранялось в политическом мышлении как одна из основополагающих посылок. На этот счет между политическими течениями, включая жестоко враждовавших между собой национал-демократов и социалистов, царил негласный консенсус.

Тем не менее минувшую революцию эти политические акторы интерпретировали совершенно по-разному. В то время как социалисты пытались представить свою подпольную деятельность и опыт репрессий как продолжение традиции польского мученичества и, соответственно, свои революционные деяния – как служение нации, национал-демократы стремились отделить себя от событий 1905–1906 годов: внушавшие страх вспышки насилия тех лет они приписывали внешним силам – будь то боевые организации ППС или

якобы вездесущие «еврейские революционеры», – и таким образом источник насилия помещался вне польско-католического «народа», с которого, соответственно, снималось подозрение в том, что в смутные времена он превращается в неуправляемую толпу. Поэтому опубликованная Генриком Сенкевичем в 1910 году литературная интерпретация революционного насилия как бессмысленной разрушительной деятельности озверевшей толпы была с негодованием отвергнута широкой польской общественностью и подвергалась нападкам, особенно со стороны национал-демократических сил⁷⁵⁵. В условиях обостряющегося антагонизма между русскими властями и польскими акторами «народ» как воображаемый источник силы нации оставался священным и неприкосновенным.

На фоне только что упомянутого антагонизма может показаться удивительным, что местные должностные лица почти не попадали под огонь критики польских идеологов. Это, несомненно, объяснялось до некоторой степени теми границами свободы слова, которые были установлены законом о печати: если репортажи о дебатах в Думе и, соответственно, о резкой реакции польских депутатов на такие правительственные инициативы, как проект «Холмской губернии», были возможны, то открытая и прямая критика в адрес варшавского генерал-губернатора спровоцировала бы меры противодействия со стороны местной администрации. И все же мягкость, проявляемая умеренными кругами польского общества по отношению к скалоновской администрации, выходила далеко за рамки простой осмотрительности. Скорее, этот генерал-губернатор и его канцелярия представлялись просто лучшими из всех возможных вариантов на тот момент. На фоне того, что происходило в это время в Финляндии и прусской части Польши, а также с учетом политики центрального правительства, Скалон кому-то даже мог показаться защитником польских интересов.

Несомненно, Скалон выступал противовесом объединенным силам Столыпина и его шурина, Нейдгарта, с одной стороны, а также русским националистам в Думе, таким как варшавский депутат Сергей Алексеев и его местные товарищи по партии, – с другой. Это стало очевидно уже в 1907 году, на выборах в III Думу. Тогда генерал-губернатор, к величайшему раздражению Столыпина, открыто выступил против националистического Русского общества и попытался – впрочем,

безуспешно – помешать избранию Алексеева от русской курии Варшавы. Спустя всего два года пошли слухи, что Скалона скоро сменят и сенатор Дмитрий Нейдгарт при поддержке Столыпина наконец реализует свои притязания на пост генерал-губернатора. Эта перспектива вызвала у поляков не только печальные воспоминания о временах губернаторства Нейдгарта в Плоцке (1902–1904 годы), но и небезосновательные опасения, что грянет широкомасштабная волна русификации⁷⁵⁶. Скалон решительно сопротивлялся выделению Холмской губернии из состава Царства Польского и выступал за введение муниципального самоуправления в Привислинском крае, что обеспечило ему определенные симпатии польской общественности. Имело место частичное совпадение позиций, которое способствовало по крайней мере временному сближению между генерал-губернатором и представителями умеренных польских партий.

Такое же временное совпадение точек зрения возникло, когда националистическая фракция в Думе выступила с инициативой вообще упразднить должность генерал-губернатора⁷⁵⁷. Скалон по понятным причинам был против лишения себя власти, а польские лидеры выступили против понижения политического и символического статуса Царства Польского и превращения его в административную единицу, которая ничем бы не отличалась от внутрироссийских губерний. Насколько ненавистен был им в течение долгих лет институт генерал-губернаторства, настолько же важен он оказался теперь – так как репрезентировал то, что осталось еще от «польской обособленности», и напоминал о некогда существовавшей польской государственности. В восприятии тех, кто рассматривал территорию, на которую распространялась верховная власть варшавского генерал-губернатора, как остаток Польского государства, сохранение этого статус-кво соответствовало польским интересам. Большого единодушия между Скалоном и представителями умеренных кругов польского общества, чем в дни дебатов по поводу этой инициативы, пожалуй, никогда не бывало. Если в России Скалон и его соратники становились мишенью все более ожесточенной критики со стороны русских националистов, которые представляли их «сочувствующими полякам» и, главное, – утверждали, что как этнические немцы они являются потенциальными предателями российских интересов, то в Польше этническое

происхождение Скалона не обсуждалось даже в германофобских кругах национал-демократов⁷⁵⁸.

Последние, несомненно, представляли собой основную силу движения за сохранение прежнего *modus vivendi*, по крайней мере на локальном коммуникативном уровне. Невзирая на процесс распада национал-демократического лагеря, эндеция по-прежнему господствовала над польским партийным ландшафтом. Роман Дмовский после быстрого краха неославянского движения пришел к пониманию, что только тесное сотрудничество с государственными властями является прочной основой для борьбы с «немецкой опасностью». Даже отвергая политику центрального правительства, направленную на укрепление позиций православных и русских в западных губерниях и Царстве Польском, он тем не менее выступал за сотрудничество с государственным аппаратом⁷⁵⁹. С учетом конфронтации между Санкт-Петербургом и варшавским генерал-губернатором Скалон был для эндеции во многом более предпочтительным контрагентом.

Помимо таких, стратегических соображений были и структурные изменения в политической сфере после 1906 года, которые также повлияли на отношения между местной администрацией в Царстве Польском и польской общественностью. Дело в том, что основной характеристикой формировавшейся новой политической культуры была после 1909 года ее легальность. Это обусловило частичный отход от сопротивления царскому режиму как таковому и обращение к тем конфликтам, в которых шел спор о доминировании в этой новой, легальной политической сфере.

Переход политической деятельности и общественных организаций в легальную сферу вызвал активизацию политически информированного общества в самых различных средах, которые достаточно часто находились в прямом противоречии друг с другом. Это относится не только к конфликтам политических партий, по-прежнему имевшим форму кровавой вендетты между социалистами и национал-демократами. Линии разлома проходили также между рабочими и администрацией предприятий, а кроме того, между польскими, еврейскими и русскими форумами, на которых протекало формирование общностей. В число «достижений» революции входили не только профсоюзы, но и организации работодателей. И наряду

с многочисленными польско-католическими ассоциациями возникали еврейские, а также русские православные. Таким образом, о единстве новых зон общественной активности и публичной сферы говорить не приходится. Формирующийся новый политико-культурный ландшафт был неоднородным, расколотым и богатым конфликтами. Именно эта конфликтность и способствовала росту социальной самоорганизации, поскольку ускорила рост активизма, специфичного для той или иной партийной либо конфессиональной среды, и создала параллельные институциональные структуры.

Однако все эти конфликты в значительной мере обусловили и то, что лидерам общественного мнения теперь приходилось все больше внимания уделять отношениям с этими своими непосредственными конкурентами, а не с царской властью. «Внутренний враг» стал главной целью кампаний травли и занял верхние ступеньки в иерархии страхов, тогда как царский режим в целом отступил на второй план. Наиболее наглядно показать эту новую динамику может эскалация польско-еврейского конфликта в последние предвоенные годы.

Между молотом и наковальней: польско-еврейский конфликт и антиеврейский бойкот 1912 года

Столкновения между евреями и поляками были не единственным проявлением конфликтов внутри местного общества в Царстве Польском, вызванных новыми свободами. Но именно эти столкновения, безусловно, больше всего занимали варшавскую общественность в последние годы перед Первой мировой войной⁷⁶⁰. И вместе с тем они же позволяют увидеть роль имперской бюрократии в эскалации межэтнического и межконфессионального конфликта.

Исходная ситуация в плане польско-еврейского взаимодействия отнюдь не была неблагоприятной. С юридической точки зрения жители иудейского вероисповедания в Царстве Польском после эмансипации 1862 года были в заметно лучшем положении, чем их единоверцы в черте оседлости, невзирая на все многочисленные ограничения, которые царское правительство налагало на евреев в области государственной и военной службы, учебы или мобильности начиная с 1880-х годов. Непрекращающийся поток еврейской миграции в Царство Польское из внутрироссийских губерний, входивших в черту

оседлости, был обусловлен в значительной мере именно этим различием в правовом статусе⁷⁶¹. Кроме того, традиционная модель «польской нации» в первой половине XIX века была полностью лишена этнической или конфессиональной нагрузки. О том, что эта всеобщая приверженность идеалу свободы в польском политическом дискурсе была не просто химерой, свидетельствовали бои в период Январского восстания, в которых участвовали поляки как католической, так и иудейской веры⁷⁶². В период расцвета позитивизма в польском мышлении царили ожидания всеобщей ассимиляции. Сообщество поляков не мыслилось исключительно католическим, но ожидалось, что евреи быстро усвоят важнейшие элементы польской культуры. В представлении поляков о самих себе как о репрезентантах более высокоразвитой культурной нации оставалось мало места для принятия чьей-то культурной отдельности и самобытности. Поэтому, особенно в среде позитивистов, разочарование по поводу скептического или откровенно отрицательного отношения евреев, живших в Польше, к ассимиляции оказалось весьма велико⁷⁶³. Появление же еврейских национальных движений было, в свою очередь, встречено поляками решительно негативно – реакция, которая быстро превратилась в ресентимент по отношению к евреям вообще. Этот антисемитизм, возникший на рубеже веков в прогрессивных польских кругах, стал важной предпосылкой последующей эскалации польско-еврейского конфликта, потому что публикации таких авторов, как Александр Свентоховский или Анджей Немоевский, значительно способствовали превращению антиеврейского эксклusionистского дискурса в важный элемент польско-католической идентичности⁷⁶⁴.

Связь национальности и вероисповедания становилась все более прочной, особенно в организациях национал-демократического движения. В 1902 году Роман Дмовский в одной из своих публикаций свел вместе различные линии аргументации и сформулировал окончательный тезис: поляк может быть только католиком⁷⁶⁵. Хотя на тот момент конфронтация с еврейскими жителями края еще отнюдь не стояла в центре мышления Дмовского, все же он создал такую конструкцию польской идентичности, в которой иноверцам больше не было места⁷⁶⁶.

Революция 1905 года резко активизировала польско-еврейскую конфронтацию. Это можно проиллюстрировать на примере дискуссии

о «литваках» (литовских евреях), разгоревшейся около 1910 года. В принципе тема эта была намного старше: еще в начале 1870-х годов польские и еврейские круги обсуждали феномен еврейских иммигрантов из России, и еще на той ранней стадии к литвакам уже относились с большой настороженностью⁷⁶⁷. Но только после 1909 года польские полемические публикации, направленные против якобы чрезвычайно высокого притока еврейских иммигрантов из российских регионов черты оседлости, приняли резкий тон. В общественном сознании смешались разные сценарии угроз: с одной стороны, литваков клеймили как русскую пятую колонну, указывая на их высокую степень русификации и на то, что они даже в быту пользовались русским языком⁷⁶⁸. В этом проявился принципиальный страх перед чуждой культурой, приходящей с Востока. Литваки, как утверждалось, решительно не желали ассимилироваться. Восточным евреям, подобно традиционно-стереотипному образу москвиты, приписывались азиатские черты и бескультурье. В эпоху медиализации политического дискурса к набору страхов добавилось мнение, что эти евреи – носители болезней, как в прямом, так и в переносном смысле. Будь то холера или рост преступности – источник угрозы «здоровому народному организму» можно было легко найти в литваках. Не в последнюю очередь такое отношение к ним явилось выражением беспокойства поляков-католиков по поводу нарастающей деполонизации прежней столицы Польши – Варшавы⁷⁶⁹. С польской точки зрения повсюду и так сказывалось действие русификаторских мероприятий власти, а теперь еще и евреи с их экономическим влиянием способствовали маргинализации католического польского населения городов. Поэтому столь жаркие споры велись в то время по поводу доли евреев в населении Варшавы, их более высокой рождаемости, роста их численности за счет иммиграции, их первенства в сфере образования и якобы доминирующей роли во владении недвижимостью. В ходе подобных дебатов регулярно поднимался вопрос, кому же «принадлежит» Варшава⁷⁷⁰.

Такие, уже давно существовавшие нарративы об угрозе «иноплеменного засилья» и маргинализации поляков приняли новый оборот во время смут 1905 года. Революция подействовала как катализатор этого конфликта (равно как и многих других)⁷⁷¹. В обществе закрепился тоpos «еврея-революционера». Такое слияние

двух угроз выносило вонне ответственность как за революцию, так и за ее провал. Насколько вездесущим был этот топос в мышлении тех лет, настолько сильно его эксплуатировала эндения в своей предвыборной агитации⁷⁷². Уже во время выборов в I Думу национал-демократические агитаторы и печатные органы поставили «еврейскую тему» в центр своей предвыборной кампании. Антисемитизм стал ядром современной массовой политики. Как и в других контекстах, здесь старые предрассудки против евреев сочетались с приписыванием им новых отрицательных свойств и провинностей, в которых отражались беды модернизирующегося общества⁷⁷³. Например, утверждалось, что евреи контролируют глобальную торговлю девушками и продают молодых полек из Варшавы, через посредников, в публичные дома по всему миру: в этом обвинении сплелись воедино традиционные слухи, что евреи похищают христианских детей для ритуалов, современный экономический принцип глобальности торговли и распространенный в эпоху урбанизации дискурс об упадке нравственности в городах⁷⁷⁴. Центральную роль в антиеврейских кампаниях играла новая массовая пресса. В таких газетах, как *Gazeta Warszawska* или *Gazeta Poranna 2 grosze*, или в издаваемых Анджеем Немоевским и Яном Еленским еженедельниках *Myśl niepodległa* и *Rola* евреи объявлялись причиной преступности и болезней, угрозой нравственности и здоровью польской нации. Дискурс колебался между упреками евреям за то, что они отсталые и являются обузой для польского народа в его борьбе за выживание и модернизацию, и обвинениями их в том, что они доминируют в экономической жизни и тайно захватили власть в больших городах Царства Польского. Широко распространенной стратегией было придание антисемитским топосам псевдообъективного характера с помощью публикации статистических данных⁷⁷⁵.

Многие из этих мифов показывают, в какой большой мере общий дискомфорт, испытываемый польской интеллигенцией в связи с модернизацией общества, определил ее антисемитские взгляды. Трансформация социальных иерархий, ускоренная такими процессами, как индустриализация и урбанизация, вызвала глубокое раздражение в польских образованных слоях. Их элитный статус пошатнулся, и дополнительный удар по нему нанесла антипольская дискриминация со стороны императорских властей. Политика Столыпина, рассматриваемая как новая волна русификации, еще больше усилила

неуверенность польской интеллигенции в собственном положении. Поэтому уже современники говорили, что в антагонизме между русскими и поляками евреи Царства Польского оказались «между молотом и наковальней»⁷⁷⁶. В обстановке триумфального шествия антисемитизма по всей Европе, стремительного сужения понятия нации до этнической, а в польском случае и конфессиональной единицы, в условиях неуверенности в будущем – которая в Польше была особенно гнетущей из-за отсутствия собственной государственности и из-за модернизационных трансформаций, сотрясающих общество, – неудивительно, что «еврейский вопрос» стал одной из центральных тем для польского самосознания⁷⁷⁷.

Но только новым контекстом – легализованной после 1906 года политической публичной сферой – были обеспечены условия, необходимые для дальнейшей динамизации антиеврейской агитации. Только логика предвыборной борьбы и конкуренция между печатными органами, ассоциациями и союзами позволили широкому кругу акторов счесть для себя приемлемым использование антисемитизма в качестве средства мобилизации. Этому, несомненно, способствовало то, что новые свободы использовались и еврейскими акторами для создания собственных ассоциаций и организаций с целью отстаивания своих интересов. Такие объединения появились в большом числе уже в поздней фазе военного положения, благодаря чему еврейская самоорганизация стала гораздо более заметна в обществе. Возникла конкуренция между параллельно существующими польскими и еврейскими ассоциациями и клубами одинаковой тематической направленности, и это усилило ресентимент с польской стороны, потому что ставило под сомнение заявляемую польскими организациями претензию на право считаться единственными представителями местного общества в крае⁷⁷⁸. Эти условия благоприятствовали динамичному процессу формирования повестки, в ходе которого все лидеры общественного мнения должны были быстро занять какую-то позицию в отношении антисемитских выпадов, а читатели средств массовой информации пусть и не обязательно верили всем слухам, но были вовлечены в дискурс, в котором социальные проблемы Царства Польского тем или иным образом связывались с еврейским населением⁷⁷⁹. Именно в силу вездесущности еврейской темы людям, выступавшим в роли «анти-антисемитов», тоже

очень тяжело было мыслить вне антисемитских стереотипов. Довольно часто даже те – немногочисленные – публицисты, которые брались критиковать национал-демократическую линию, сами воспроизводили элементы вездесущего антиеврейского дискурса⁷⁸⁰.

То обстоятельство, что «еврейская тема» годами занимала одно из центральных мест в политической публичной сфере Царства Польского, подготовило почву для эскалации антисемитских настроений в 1912 году и для последовавшей затем кампании бойкота против евреев. Катализатором конфликта стал диспут по поводу того единственного депутата от Варшавы в IV Думе, который определялся «общей курией». Несколько факторов обеспечили еврейским выборщикам возможность оказать решающее влияние на выборы этого депутата. И дело было не столько в демографических тенденциях, сколько в имущественном избирательном цензе, благодаря которому владельцы недвижимости оказывались в привилегированном положении. В то же время ужесточение правил регистрации привело к сокращению числа зарегистрированных избирателей. Однако на выборах выборщиков в октябре 1912 года выяснилось, что процент избирателей, упустивших время и не зарегистрировавшихся, среди католиков был намного выше, чем среди евреев. То же можно сказать и о явке, и в результате группа «Еврейского списка» составила около 40% участников собрания выборщиков. Дмовский эти выборы уже проиграл, так что его возвращение в Думу стало невозможным. Однако кандидат от эндеции Ян Кухажевский все еще участвовал в предвыборной гонке. Но ввиду открыто антисемитских позиций национал-демократов выборщики-евреи отказались поддержать Кухажевского и проголосовали за компромиссную кандидатуру от социалистов – Эугениюша (в русском обиходе – Евгения Иосифовича) Ягелло, который и стал в IV Думе вторым депутатом от Варшавы⁷⁸¹.

Такое влияние еврейских выборщиков на исход борьбы было в удивительно широком диапазоне групп польского общества сочтено неприемлемым посягательством. Требование со стороны «Еврейского списка», чтобы Варшаву представлял такой депутат, который хотя бы не ставит под сомнение равные, с правами других граждан, права евреев на членство в муниципальных органах самоуправления, расценивалось как «еврейское вмешательство» в «польские дела»⁷⁸². Национал-

демократы воспользовались всеобщим негодованием, чтобы инициировать антиеврейский бойкот по всему краю под лозунгами, призывавшими поляков-католиков избегать еврейских магазинов, еврейских торговцев, ремесленников и еврейских представителей свободных профессий и обращаться только «Свой к своему за своим» («Swój do swego po swoje!»), покупая «Польский товар в польском магазине» («Polski towar w polskim sklepie!»). Тем, какую широкую поддержку, хотя бы на словах, получила эта антиеврейская кампания, были удивлены даже царские власти: обер-полицмейстер Варшавы отметил в своем докладе за 1913 год, что такое отторжение евреев жителями Привислинского края представляло собой на тот момент всеобщий консенсус общественного мнения⁷⁸³.

Однако в среднесрочной перспективе бойкот не удался. В провинции он не состоялся вовсе, а в Варшаве единый фронт участников кампании рассыпался спустя недолгое время. Роберт Блобаум интерпретировал это быстрое снижение энтузиазма как пассивное сопротивление антисемитским тирадам эндеции⁷⁸⁴. Во всяком случае, неуспех этой кампании национал-демократов продемонстрировал, насколько плотно были в повседневной экономической и потребительской деятельности сплетены друг с другом католическая и еврейская среды в Царстве Польском. И все же, несмотря на недолговечность бойкота, 1912 год по праву был назван поворотным в польско-еврейских отношениях: они были навсегда испорчены. Если в последующие годы между индивидами разных вероисповеданий случался конфликт, его тут же помещали в контекст общего польско-еврейского конфликта⁷⁸⁵. От бойкота 1912 года можно провести линию к насильственным действиям польских солдат против евреев в годы Первой мировой и Гражданской войн и к повторным бойкотам и другим антиеврейским кампаниям и законам времен Второй Республики. Будущая жесткость, с которой Польское государство в межвоенный период станет обращаться со своими меньшинствами, уже угадывалась в нетерпимом отношении к еврейской инаковости, проявившемся еще до Первой мировой войны.

Но главное, что было закреплено в 1912 году, – это представление, что «поляки» и «евреи» являют собой две разные и отдельные сущности. Не всегда они рассматривались как враждебные лагеря, но их принципиальное различие уже больше не подлежало сомнению.

В обстановке, когда считалось, что здравый смысл заставляет различать поляка и еврея, концепции еврейской польскости с трудом находили себе сторонников⁷⁸⁶. Таким образом, национал-демократы окончательно заняли роль силы, задающей тон общественной мысли в Польше: именно они теперь определяли важнейшие темы и иерархии. Хотя, казалось бы, на выборах 1912 года они потерпели поражение и от Варшавы в Думу был направлен депутат-социалист, все же именно национал-демократы представляли ту силу, которая формировала общественное мнение в Царстве Польском.

Это не осталось незамеченным и российскими властями. В докладе о политических настроениях в крае за тот год помощник генерал-губернатора генерал-майор Утгоф подчеркнул силу национал-демократов. По словам Утгофа, ни одна другая партия или течение не имели сопоставимой логики и такого мобилизационного потенциала, как эндеция⁷⁸⁷. В то же время авторы отчетов, донесений и рапортов в Петербург с озабоченностью описывали эскалацию конфликта между иудеями и христианами. В рапорте варшавского обер-полицмейстера этот антагонизм уже в 1912 году был охарактеризован как главная социальная проблема⁷⁸⁸. В том же году власти начали систематически собирать и анализировать антиеврейские документы, листовки и статьи в прессе⁷⁸⁹. В 1913 году ситуация, по их оценке, стала еще намного хуже, хотя до эксцессов и не доходило. Рапорт обер-полицмейстера не оставлял сомнений, что такой эскалации вполне можно было ожидать⁷⁹⁰.

Это отстраненное, но внимательное наблюдение за кризисом заставляет нас обратиться к фундаментальному вопросу о том, в какой мере царские власти терпели или даже инициировали межнациональный конфликт. В своем исследовании, посвященном погромному 1881 году, Майкл Окс убедительно показал, что высшее чиновничество было озабочено прежде всего поддержанием общественного порядка⁷⁹¹. То же самое наблюдалось и в последующие годы. Местные власти регулярно ужесточали меры безопасности в связи с потенциально угрожающими календарными датами, такими как Пасха или Рождество, а также в периоды крупных ярмарок. Например, в 1891 году генерал-губернатор Гурко по случаю десятой годовщины варшавского Рождественского погрома затребовал войска для усиления караулов, а обер-полицмейстер дал полиции инструкцию

вести особо внимательное наблюдение за местами массового общения людей, такими как церкви, телеграфные станции и корчмы, и пресекать любые собрания⁷⁹². Несомненно, было, особенно в первые годы XX века, достаточно много случаев, когда местные российские власти с их пассивной, выжидательной позицией несли часть ответственности за то, что акты антиеврейского насилия происходили, и за то, что они приводили к такому большому количеству жертв. Отдельные городские и солдаты принимали непосредственное участие в грабежах и убийствах евреев⁷⁹³. Однако нет оснований говорить, что власти принципиально терпимо относились к межэтническому конфликту или, тем более, систематически раздували его. Такого не наблюдалось ни в российских районах черты оседлости, где погромов было много, ни в относительно спокойном Привислинском крае⁷⁹⁴.

Это особенно относится к Царству Польскому в период после революции 1905 года. После вспышек насилия, после временной потери контроля над ситуацией чиновники были в первую очередь заинтересованы в обеспечении «спокойствия и порядка» в общественных местах. Данная, традиционная для властей цель приобрела здесь настолько первостепенное значение, что сорвала все планы тех, кто собирался, раздувая этноконфессиональные конфликты, проводить политику «разделяй и властвуй». Рвение, которое администрация проявила в расследовании случаев насилия по мотивам этнической или религиозной ненависти и в наказании виновных, свидетельствует о том, что она рассматривала еврейско-польский конфликт как очень серьезную потенциальную угрозу государственному порядку⁷⁹⁵. В программу действий по ограничению конфликтов входили также дисциплинарные взыскания, применявшиеся к низовым чиновникам, которые неисправно выполняли свой служебный долг⁷⁹⁶.

В целом есть мало свидетельств в пользу того, что царские управленцы терпели или даже подпитывали напряженность в отношениях между поляками и евреями, заменяя этим конфликтом конфликт между подданными и властями. Рапорты из польских провинций демонстрировали серьезную обеспокоенность уже в 1912 году⁷⁹⁷. Когда все произошло на самом деле и бойкот, по мнению чиновников, достиг критического предела (в ноябре 1912 года), генерал-губернатор вмешался в конфликт. Прежде всего он обязал

Комитет по делам печати противодействовать призывам к бойкоту⁷⁹⁸. Затем, в декабре, предупредил католического архиепископа в Варшаве о недопустимости проповедей, в которых одобряется бойкот⁷⁹⁹. Помня, что последний варшавский погром начался в 1881 году на Рождество, власти усилили присутствие войск на улицах города в день католического праздника⁸⁰⁰.

Но в следующем году ситуация не успокоилась, а, наоборот, накалилась – под влиянием, в частности, начавшегося в Киеве процесса против Менделя Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве. Тогда, в сентябре 1913 года, генерал-губернатор издал «обязательное постановление», в административном порядке запрещавшее любую деятельность, направленную на организацию и поддержку бойкота, как отдельными лицами, так и национальными или общественными группами⁸⁰¹. Это приказание-ультиматум возымело, по оценкам властей, быстрое успокаивающее действие⁸⁰².

Тем не менее, даже когда бойкот утих, «еврейско-польские отношения» по-прежнему постоянно фигурировали в отчетах царских чиновников как одна из составляющих проблемы. Так, после сентября 1913 года все еще четко указывалось, какие течения и органы печати призывают к продолжению бойкота, насколько успешно они добиваются мобилизации населения и какие общины требуют изгнания евреев из местечек или деревень⁸⁰³. Одновременно ждали новой эскалации, поскольку часть польского населения находилась под влиянием таких газет, как *Głos Polski* и *Gazeta Poranna 2 grosze*, которые, очерняя еврейских торговцев, ремесленников и евреев, представлявших свободные профессии, косвенно раздували кампанию за отказ от их услуг⁸⁰⁴.

О том, что имперские чиновники вовсе не рассматривали напряженные отношения между евреями и поляками как громоотвод, канализирующий энергию неудовлетворенности общества, свидетельствует не только это постоянное беспокойство о возможном новом обострении конфликта. Царские управленцы в Царстве Польском, а также на других периферийных территориях империи в последние годы перед Первой мировой войной стали осторожнее в использовании такой, направленной на обострение конфликтов, политики «разделяй и властвуй»⁸⁰⁵. Во-первых, у них отсутствовало представление о каких-либо перспективных целях политической

трансформации, ради которых стоило бы срабатывать друг с другом группы населения. Основное внимание местных органов власти было направлено на повседневные управленческие задачи – размышлениям о программах и моделях будущего для управляемого ими общества они не предавались. О некоей осознанной и продуманной национальной политике говорить не приходится – по крайней мере, на уровне местных управленцев, несмотря на все их полномочия по принятию решений в этой сфере. Во-вторых, свежий опыт революции 1905 года указывал на необходимость осторожности. Лица, принимающие решения в империи, теперь уже были не так наивны, как в 1880–1890-е годы, когда они считали, что, поддерживая «малые народы», получают в руки удобный инструмент, позволяющий подорвать господство традиционных периферийных элит. События в остзейских провинциях убедительно показали, что национальная и революционная мобилизация латышей и эстонцев представляет гораздо более фундаментальную угрозу для монархии, чем местная немецкая аристократия⁸⁰⁶. Политика срабатывания национальностей здесь в конечном итоге поставила под угрозу сам режим. А в Царстве Польском и возможности для такой политики были ограничены. С одной стороны, можно отметить определенное предпочтение, которое отдавалось литовскому населению: так, на акции литовского национального движения в Сувалкской губернии власти реагировали гораздо более снисходительно, чем на такие же акции по другую сторону административных границ, в северо-западных районах⁸⁰⁷. Литовцы всегда были удобным аргументом, когда нужно было отвергнуть притязания поляков на гегемонию в Привислинском крае и указать на его полиэтнический характер⁸⁰⁸. С другой стороны, административные методы в русле концепции «разделяй и властвуй» имели проблематичные последствия и в Царстве Польском: Сувалкская губерния стала одним из главных очагов революции в 1905–1906 годах, и власти были удивлены силой литовского национального движения, поднявшегося там⁸⁰⁹. Именно такой опыт и сделал местных администраторов более осторожными в послереволюционный период. Разжигать польско-еврейский антагонизм, чтобы тем самым косвенно упрочить петербургское господство в крае, теперь уже не казалось приемлемым политическим ходом. В начале 1913 года Скалон прямо

заявил, что правительство должно сохранять свою беспристрастную позицию по отношению к обеим национальностям⁸¹⁰.

В общем, усилия чиновников по удержанию контроля над ситуацией были весьма успешными. Учитывая интенсивность погромов, шедших в черте оседлости с начала нового века, этот успех не был чем-то само собой разумеющимся. Хотя сами национал-демократы призывали к ненасильственным действиям против евреев⁸¹¹, уже этот факт как таковой свидетельствовал о том, что имперские власти выступают в качестве силы, сдерживающей конфликт: они запретили такую эскалацию юдофобских тирад, которая доходила бы до открытых призывов к насилию. Временная эрозия государственности, во многих случаях способствовавшая октябрьским погромам 1905 года, теперь уже уступила место стабильной государственной политике по обеспечению общественного порядка, благодаря чему польско-еврейский конфликт в Привислинском крае обошелся, если не считать небольших инцидентов в Варшавской губернии, без вспышек насилия против евреев⁸¹².

Однако возникает вопрос, почему имперская администрация так долго бездействовала, наблюдая за усилением антиеврейской кампании в прессе в 1906–1912 годах. Отчасти это было связано с тем, что национал-демократам, которых Петербург считал своими союзниками в польском лагере, предоставили сравнительно большую свободу. Кроме того, стало очевидно, что многие из базовых антисемитских установок бытовали и в кругах царской бюрократии. Так, топос «еврея-революционера» имел в них столь же широкое хождение, как и топос еврейского засилья в экономике или особенно ярко выраженной эксплуатации работников предпринимателями-евреями. Многие бюрократы недолго думая указывали на еврейские кварталы как на рассадники болезней, а на еврейских торговцев – как на разносчиков инфекций⁸¹³. Таким образом, среди русских государственных служащих были весьма распространены юдофобские клише, которые, правда, были, по крайней мере отчасти, нейтрализованы столь же ярко выраженной полонофобией⁸¹⁴.

Но помимо этого нерешительная, выжидательная линия поведения властей объясняется и тем фактом, что после отмены военного положения в их руках остались лишь ограниченные возможности влиять на местную прессу. Если администрация не вмешивалась даже

тогда, когда в варшавских ежедневных газетах появлялись скандальные публикации о злоупотреблениях в самом административном аппарате, то с каким же безразличием она должна была отнестись к конфликту, который воспринимала прежде всего как внутреннюю польско-еврейскую распрю! Пока кризис не стал угрозой общественному порядку, имперским властям казалось, что нет необходимости в действиях с их стороны; придерживаясь неинтервенционистского стиля государственного управления, они долго позволяли конфронтации в обществе развиваться своим чередом, тем более что воспринимали ее как «конфликт других». Поэтому они в нее и не вмешивались, сведя свое участие в событиях лишь к обеспечению порядка. Как и во многих других случаях, режим не воспринимал события и процессы в Царстве Польском как нечто «свое». В мышлении представителей властей, за этим краем была закреплена фундаментальная чуждость: они оставляли за собой статус внешнего наблюдателя и хранителя самых общих государственных интересов, не вступая в более или менее активное взаимодействие с коренным населением этой «чужой страны».

Чужой край? Царство Польское накануне Первой мировой войны

Тот факт, что это население в новых условиях легализованной публичной сферы было занято в первую очередь поиском «внутренних врагов», имел для царской администрации незапланированный, но приятный побочный эффект: фокус конфликта оказался смещен. Интенсивность конфронтаций внутри общества в Царстве Польском, несомненно, способствовала тому, что не вмешивавшаяся в них русская администрация потеряла в глазах поляков статус главной угрозы. Что, впрочем, не означало сближения: политические дебаты, которыми характеризовался период между 1906 и 1914 годами, никоим образом не привели к большей интеграции Привислинского края в структуру Российской империи. Бесспорно, после Октябрьского манифеста новая политическая публичная сфера, возникшая в Царстве Польском, стала больше похожа на ситуацию внутри России, с введением свободы прессы информация легко, без цензурных барьеров курсировала между центром и периферией, а польские депутаты заседали теперь в том же

органе народного представительства, что и депутаты от всех других районов империи. Однако собственная, локальная логика событий, которая была характерна уже для течения революции 1905 года в Царстве Польском, определила и дальнейшие процессы, развернувшиеся после 1906 года: на протяжении тех лет, что оставались до Первой мировой войны, политическая публичная сфера в Привислинском крае тоже характеризовалась собственным ритмом и собственной проблематикой. Революция 1905 года во многом подкрепила опыт польской личности: польские участники революции воспринимали ее прежде всего как региональное восстание, лишь в очень малой степени взаимосвязанное с внутрироссийскими событиями. Эта сегрегация, которую предпочли сами польские политические акторы, в дальнейшем особенно наглядно проявилась в обособленном положении и даже изоляции польской фракции (кою) в Думе.

Но и вообще вся политическая публичная сфера Польши отличалась невероятной самозамкнутостью: тема польской автономии, дебаты о самоуправлении польских городов, не в последнюю очередь польско-еврейский конфликт — все это способствовало тому, что общественность Привислинского края была занята прежде всего собой, своей местной проблематикой и, самое большее, отмечала влияние Петербурга, которое, как правило, резко осуждала. Поэтому политическая культура, существовавшая в Царстве Польском после 1906 года, никоим образом не способствовала интеграции края в общеимперское целое, ведь при такой фиксации внимания на теме своего особого статуса оставалось мало места для других, непольских дел. Империя как общий контекст почти не становилась предметом рефлексии в польскоязычной прессе последних довоенных лет.

Такое закрепленное положение Царства Польского как инородного тела в империи не оставалось не замеченным и имперскими управленцами. В отличие от русских националистов, агрессивно осуществлявших дискурсивное присвоение польских губерний, у царских чиновников в предвоенные годы крепло понимание того, что, хотя Привислинский край и замирен в военном отношении, все же дальнейшее его объединение или тем более органическое слияние с российскими землями едва ли возможно⁸¹⁵.

Вследствие этого в последние годы российского владычества в Польше наметились значительное сокращение сферы действия имперской администрации и все более полная ее самоизоляция. Если раньше власти, уверенные в себе, осуществляли культурную колонизацию и демонстрировали польским подданным знаки лояльного отношения со стороны Петербурга или, по крайней мере, с позиции превосходства в силе принуждали их к участию в ритуалах прославления и укрепления империи, то внутренние распоряжения генерал-губернатора по случаю празднования столетия Бородинской битвы рисуют уже совсем иную картину: в них дано прямое указание проводить торжества только в кругах чиновничества и, самое большее, в районах с явным преобладанием русского населения⁸¹⁶. Это, конечно, было отчасти связано с поводом, по которому проводились торжества: среди лидеров польского общественного мнения было много франкофилов, за счет чего юбилей битвы русских с французами представлял собой проблематичное и потенциально конфликтное событие. Но, кроме того, здесь проявилось и самоограничение господствующей элиты, которая отказалась от всяких претензий на символическую интеграцию местного населения в общероссийский контекст. Поляки были уже практически потеряны для России как подданные, участвующие в ее жизни и ее праздниках.

О глубине неверия в лояльность поляков свидетельствуют и лихорадочные действия имперских ведомств в условиях нарастающей угрозы войны. Уже давно отказавшись от всех планов по дальнейшей русификации Привислинского края, в 1913–1914 годах они пытались хотя бы в приоритетных с военной точки зрения сферах и в стратегически важных пунктах осуществить частичное укрепление «русского элемента». Считалось вероятным братание между поляками с российской и германской или австро-венгерской стороны, направленное против России, и ему хотели таким способом воспрепятствовать, однако вплоть до начала войны этим запоздалым усилиям не суждено было никакого успеха⁸¹⁷.

В конечном счете у имперских административных элит в эти последние довоенные годы уже не имелось никакой концепции относительно того, что делать дальше с Привислинским краем. У имперских чиновников явно опустились руки, и безвыходность ситуации они вполне осознавали. Успокаивающе действовала, пожалуй,

только уверенность в собственном военном превосходстве, позволяющем подавить любые попытки вооруженного восстания. Однако обширные планы по эвакуации края указывают на то, что царские чиновники прекрасно понимали: в случае войны отстоять этот западный выступ вряд ли удастся⁸¹⁸.

Конечно, отделение польских губерний оставалось совершенно немыслимым вариантом, причем не только из военно-стратегических соображений. Российская империя основывалась на том принципе, что ее территориальная целостность неприкосновенна. Империя могла быть расширена за счет завоеваний, но потеря уже завоеванных территорий была невообразима. Более двухсот лет на этом принципе необратимой территориальной экспансии строилось самосознание романовской монархии и ее элит. Поэтому неудивительно, что «непонятливость» польских подданных, стремившихся эту неделимую целостность нарушить, не вызвала радикального переосмысления режимом своих базовых установок. Даже в условиях фундаментального кризиса – мировой войны – царские элиты не были готовы отказаться от «своей» Польши. В манифесте великого князя Николая Николаевича от 1 августа 1914 года говорилось о перспективе воссоединения Польши, ее самоуправления и свободы в вере и языке, однако видимость унии между Польшей и Российской империей по-прежнему сохранялась: воссоединение должно было произойти под скипетром русского царя. Не приходится удивляться, что у его польских подданных это обещание вызвало мало восторга⁸¹⁹.

Итак, имперские власти и в Привислинском крае, и в Петербурге двигались, практически без всякой концепции, навстречу фиаско Первой мировой войны. Тем не менее телеологически говорить о предначертанности краха не приходится. Для того чтобы пришел конец российскому господству над Царством Польским, потребовался внешний фактор – война. Только наступление немецких войск летом 1915 года завершило долгие 123 года петербургской власти в Польше. Поэтому следует с осторожностью относиться и к тем историческим построениям, которые подчеркивают применительно к последнему довоенному десятилетию прежде всего непрерывность кризиса и насилия и говорят о специфической хронологической связи между 1905 и 1921 годами⁸²⁰. Ведь такая однозначная хронология скрывает от нашего внимания те линии развития, которые указывают на частичную

стабилизацию внутренней политической обстановки после 1906 года, и прежде всего после отмены военного положения в 1909 году. Послереволюционные годы характеризовались раздражающим параллелизмом постоянного кризиса и нормализации, а также парадоксальной одновременностью таких явлений, как высокий уровень насилия и легализация политической публичной сферы, этот уровень снижающая. К особенностям данного периода относится и следующее противоречие: с одной стороны, польское общество последовательно обособлялось, с другой – новое вооруженное восстание против имперского режима становилось со временем все менее вероятным. И наконец, парадигматическое значение для этого периода неоднозначности имеет амбивалентность, отличавшая петербургских сановников: они, по их словам, свято верили, что российское господство в Привислинском крае вечно, но вместе с тем разочарованно признавали неудачу интеграции края и даже осторожно готовили свой уход оттуда, тайно составляя планы эвакуации.

Представители царской власти в Варшаве были избавлены от необходимости решать, как им относиться к этой своей амбивалентности: в июле–августе 1915 года, перед приходом наступающих немецких войск, российские части оставили Варшавскую цитадель, а саперы российской армии взорвали мосты через Вислу. Имперские чиновники покинули город незадолго до этого – большинство навсегда, а некоторые – до своего неожиданного возвращения через несколько лет в качестве беженцев, спасающихся от большевиков.

Глава VII

**ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ
И РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ ПОД ВЛАСТЬЮ ПЕТЕРБУРГА

Власть Петербурга над восточной частью разделенной польско-литовской дворянской республики длилась более века. Неоднократно предпринимались попытки свергнуть ее вооруженным путем: восстание Костюшко 1794 года, восстание 1830–1831 годов, Январское восстание (1863–1864) и революция 1905–1906 годов ставили под вопрос русскую гегемонию, но в конечном счете военная мощь самодержавия превосходила силы повстанцев. Царская армия была надежным гарантом имперской власти.

В истории этого долгого столетия петербургского господства Январское восстание (1863–1864) знаменует переломный момент. С образованием Привислинского края и соответствующими административными реформами царские власти не только создали новую систему имперского управления, но и изменили основные политические и общественные условия, в рамках которых происходило развитие польских губерний в последующие пять десятилетий. Поэтому многое говорит в пользу того, чтобы рассматривать период с 1864 по 1915 год как единое целое, отделенное глубокими цезурами и от предыдущего, и от последующего периодов. В данном исследовании были представлены основные особенности этих пяти десятилетий имперского правления в Царстве Польском и названы некоторые из основных зон контакта и конфронтации между государственной бюрократией и местным населением. В заключение укажем и на основные характеристики этого конфликтного сообщества. Это поможет нам вынести суждение о том месте, которое занимало Царство Польское в структуре Российской империи.

Принципы и практики управления Привислинским краем на протяжении второй части эпохи петербургского владычества в Польше оставались в значительной степени неизменными. Административная реструктуризация польских провинций после Январского восстания была нацелена – помимо долговременного замирения региона – прежде всего на то, чтобы принципы управления этой окраиной империи привести к той же модели, в соответствии с которой управлялся и ее

центр. Говорить в этой связи о «русификации» неверно: надо учитывать, что унификация шла по всей империи и вообще была одной из целей Великих реформ Александра II. Бесспорно, неотъемлемой и центральной частью этой административной трансформации в Привислинском крае являлась деполонизация местного управления. Хотя практически не удалось надолго сократить долю польско-католических чиновников на государственной службе, Петербург по крайней мере добился того, что высшие посты были заняты преимущественно не католиками, а православными. Этим он предопределил характерную до самого конца российского владычества ситуацию, когда руководители ведомств были в крае чужими.

Местный центр власти в рамках этой администрации представлял собой варшавский генерал-губернатор. Именно этот посланник царя определял, в сущности, направленность имперской административной политики в Царстве Польском. Несмотря на то что центральные инстанции в Петербурге, такие как Комитет по делам Царства Польского, Комитет министров или отдельные министры, а также не в последнюю очередь сам самодержец, регулярно занимались делами этого столь же важного, сколь и беспокойного региона, все же реальную практику правления определял главным образом генерал-губернатор. Он мог с помощью своих полномочий, своего центрального положения в аппарате и своего присутствия на месте добиваться победы в многочисленных конфликтах с центральными министерствами, прежде всего с Министерством внутренних дел.

При всем сходстве социально-сословных и образовательных профилей и карьерных траекторий всех варшавских генерал-губернаторов и наместника, эти десять высших должностных лиц представляли тем не менее разные концепции властвования. Они расходились прежде всего во мнениях о том, является ли желательным сотрудничество с местным населением, а если да, то в каких областях и с какими партнерами. С этой точки зрения режимы таких генерал-губернаторов, как Альбединский, Гурко, Имеретинский или Скалон, характеризовались значительными различиями в интенсивности конфликта. В то же время соответствующие периоды власти также характеризовались парадоксами имперского правления, которые были типичны для административной практики царских властей в целом. Маневрирование многонациональной Российской империи

направлялось скорее острыми повседневными вопросами, нежели концепциями, и трудно говорить о какой-то последовательной «национальной политике». Ее отсутствие наглядно проявилось, например, в неоднозначных кадровых решениях, которыми Министерство внутренних дел или генерал-губернаторы часто подавали противоречивые сигналы. Так, одновременно занимали свои должности очень несхожие личности, сильно различавшиеся именно своей манерой общения с местной общественностью. Назначение попечителем учебного округа Апухтина при генерал-губернаторе Альбединском или деятельность губернаторов С. И. Толстого и М. П. Дарагана, а также президента города Старынкевича во время правления генерал-губернатора Гурко – такие примеры показывают, что царская бюрократия никогда не проводила единой линии. Большая разнородность имперского административного аппарата не только порождала многочисленные внутренние трения, но и вела к тому, что о монолитном образе действий петербургских представителей в Привислинском крае не могло быть и речи. Эти неоднозначности объясняют, с другой стороны, удивительную порой гибкость администрации, которая на практике оставляла актерам на местах большое пространство для самостоятельности. Очевидно, что опосредованно это весьма способствовало долговечности существующих структур.

Свою роль играло и то, что, хотя чиновники, занимавшие высшие руководящие посты на местах, не были местными уроженцами, некоторые из них за годы службы в польских провинциях все же очень хорошо их узнали. В частности, это относится к генерал-губернаторам, особенно долго занимавшим свою должность. Кроме того, в силу принципа ротации, действовавшего в царском административном аппарате, некоторые из них ранее служили на различных постах в тех или иных местах Привислинского края. Те, кто предпочитал налаживать хотя бы ограниченное сотрудничество с местными элитами, знали, к кому обратиться. Но, как свидетельствует пример губернатора, а впоследствии сенатора Дмитрия Нейдгарта, даже многолетнее пребывание в Польше не было гарантией того, что чиновник проникнется симпатией к полякам. С другой стороны, нельзя и утверждать, что близкое знакомство с польско-имперским антагонизмом делало должностных лиц полонофобами. Не все

воспринимали годы своей жизни в Царстве Польском как фронтовой опыт и закалку в борьбе с поляками.

Независимо от продолжительности службы тех или иных генерал-губернаторов и от степени их готовности к сотрудничеству существовало несколько базовых убеждений, которые разделяли все высокопоставленные должностные лица царской бюрократии. В своей деятельности они руководствовались прежде всего тем, что Царство Польское – это «чужой край». Если неделимость империи не подлежала обсуждению, то принципиальную разницу между Привислинским краем и «основным ядром России» чиновники все же признавали. Поэтому – в отличие от западных губерний, которые считались территориями исконно русскими и лишь временно «насилованно полонизированными», – в Царстве Польском имперская политика не была направлена на коренное преобразование всей культуры этой земли и ее народа. Если генерал-губернаторы выступали в роли защитников «русского дела» в Привислинском крае, то имели в виду прежде всего интересы петербургских властей. На интересы русского этноса их практика господства была ориентирована в весьма малой степени – это видно было, в частности, по напряженным столкновениям с той частью российской общественности, которая с начала столетия требовала гораздо более радикального превращения империи в национальное государство⁸²¹.

Тем не менее коренным польским населением представители петербургского правительства воспринимались прежде всего как агенты иностранного господства. В особенности цензурная политика и религиозная порождали постоянный антагонизм между администрацией и местными жителями. Варшавский цензурный комитет оказался центральным органом управления публичной сферой, который, даже будучи неспособным полностью ее контролировать, все же оказывал определяющее влияние на общественное мнение. Некоторые из эффектов этого влияния были противоположны задуманному. Так, строгая цензура, осуществляемая комитетом, привела к тому, что значительная часть польской литературной продукции стала производиться за границей, в соседней Галиции. Тем самым цензоры непреднамеренно способствовали трансграничной коммуникации, которая постоянно напоминала о единстве польских территорий до разделов. В то же время Варшавский цензурный комитет

с его жесткой фильтрацией отечественной прессы и литературы содействовал тому, что интеллектуальный обмен между Царством Польским и обеими столицами Российской империи оставался ограниченным.

Но и Цензурный комитет не смог в конечном счете помешать превращению самой Варшавы в 1890-е годы в центр польскоязычной печати. С ростом числа и тиражей массовых газет и быстрой дифференциацией рынка публикаций цензурное ведомство перестало справляться со своей контрольной функцией, а затем законы 1905–1906 годов окончательно отменили предварительную цензуру и значительно ограничились возможности влияния цензоров на общественное мнение. И все же определяющее их воздействие сохранялось и в эти годы, потому что проводимая комитетом политика терпимости в значительной мере способствовала тому, чтобы в Варшаве уже на ранней стадии могла сформироваться русская националистическая публичная сфера. Здесь, под защитой цензоров, а частично даже при финансовой поддержке со стороны государственных органов, авторы могли свободно высказывать свои соображения о том, как нужно было бы усилить национальную ориентированность Российской империи: им не препятствовали, так как их высказывания совпадали с антипольской позицией цензоров или по крайней мере казались последним безвредными. Не случайно Владимир Гурко сделал себе имя националистическим памфлетом, написанным после того, как он много лет проработал начальником Варшавского цензурного бюро. Конфликтная ситуация в Привислинском крае так заметно отразилась на внутреннем российском рынке мнений еще и потому, что комитет в Варшаве создал благоприятные условия для публикации трудов националистических агитаторов.

Конфронтационное поле церковной и конфессиональной политики тоже наглядно показывает, как имперские практики управления надолго формировали ментальный ландшафт Царства Польского. В принципе конфессиональная парадигма, которой придерживались власти, оказалась удивительно стабильной. До самого конца российского владычества над Польшей при проведении государственных мероприятий основная ориентация осуществлялась по критерию конфессиональной принадлежности. Так, многочисленные

дискриминационные законы были направлены прежде всего против католиков и иудеев, тогда как православие отождествлялось с государственной властью. Только этим можно объяснить, почему православный храм – собор Святого Александра Невского в Варшаве – мог использоваться для демонстрации имперской власти.

Конфессионализация политической сферы оказала влияние и на польское общество: она способствовала процессу исключения, в ходе которого польская идентичность все больше сужалась до католического вероисповедания. Представление о поляке как о католике подкреплялось и имперской администрацией, которая постоянно подчеркивала конфессиональную разницу и клала ее в основу своей управленческой практики.

Церковный спор, разгоревшийся вокруг православных храмов, и прежде всего вокруг Александро-Невского собора, в значительной степени способствовал политизации религиозной сферы и общественного пространства, а среди представителей польской общественности спровоцировал соответствующие контрмеры. Строительный бум, который был характерен в первую очередь для Варшавы на рубеже веков, одновременно привел к возведению многочисленных католических церквей, что свидетельствует о том, какая сильная борьба велась на конфессиональном поле за доминирование и прерогативу интерпретации в городском пространстве. Здесь также проявилась двойная чуждость «московитского владычества». Даже в конфессиональных вопросах петербургская гегемония воспринималась как оккупационный режим, пытающийся поставить местную религию на колени. Апории реформ – таких, как директивы о раздельных школьных молитвах для представителей разных конфессий, – которые изначально задумывались в качестве уступок католическим подданным, показывали, как прочны были доминирование и государственный примат православия.

Однако именно постоянные столкновения вели к тому, что оппоненты оставались взаимосвязанными. Многочисленные взаимодействия в рассмотренных здесь областях конфронтации скрепляли конфликтное сообщество, в котором общались и, как правило, ссорились по очень схожим вопросам. Разногласия имели тот эффект, что задавали повестку дня: насколько сильно расходились мнения, настолько гарантированно противники вели разговор об одних

и тех же темах. Поэтому конфликтная ситуация в Привислинском крае характеризовалась не столько фундаментальной чужестью, сколько взаимосвязанностью оппонентов и общностью их проблемных горизонтов. Это не вело к общему примирению, но создавало возможности для сотрудничества по отдельным пунктам.

Последнее видно прежде всего при взгляде на повседневную практику городского управления Варшавы: здесь существовали многочисленные зоны контакта между царской администрацией и местной общественностью. Разнообразие индивидуальностей среди носителей имперской власти продемонстрировало и в этой области неоднородность государственного аппарата. Главные акторы Варшавского магистрата, ведомства обер-полицмейстера, канцелярии варшавского генерал-губернатора и петербургского Министерства внутренних дел были вовлечены в сложный клубок взаимодействий по поводу управления мегаполисом на Висле, характеризовавшийся регулярными внутренними конфликтами. Различные должностные лица в силу своих функций занимали разные позиции по вопросу о трансформации городского пространства. В то время как центральные петербургские инстанции рассматривали Варшаву прежде всего в контексте империи, президенты города были ориентированы в гораздо большей степени на местные проблемы и интересы.

Именно это позволяло им искать контактов и диалога с желающими сотрудничать элитами варшавского городского общества. Местные позитивисты и филантропы стали их партнерами, так как были готовы продвигать модернизацию мегаполиса в тандеме с властями. Кроме того, возможности для бизнеса, открываемые многочисленными стройками переживающей бум Варшавы, а также технократические проекты инженеров, играющих в этом буме одну из главных ролей, создали дополнительные пространства, где сотрудничество между должностными лицами и представителями местного населения протекало удивительно прагматично и бесконфликтно. Четкое, казалось бы, разделение между властями и обществом теряло свою однозначность в конкретных проектах городской модернизации, а жесткий, казалось бы, антагонизм между россиянами и поляками – улетучивался. Не в последнюю очередь это свидетельствует о том, что негативная оценочная интерпретация царского режима как инстанции, мешавшей обновлению города,

несостоятельна. Наоборот, государственные акторы в аппарате муниципального управления отличались очень большой склонностью к интервенционистскому управлению процессами, которое по уровню своей инвестиционной активности отчасти далеко превосходило то, что было типичным для гонораторов, заседавших в выборных городских думах. Эти государственные акторы внесли значительный вклад в превращение Варшавы в модерный мегаполис.

И все же именно в городском пространстве становятся очевидны границы того, что было общего у коренного населения и у имперской диаспоры. Общество имперских акторов в Варшаве, в котором доминировали русские, перманентно находилось в состоянии диалектического противоречия между контактированием и разграничением с окружающими его польскими и еврейскими обитателями города. Повседневные встречи между ними в городской жизни, а также точечные пространства и моменты сотрудничества не смогли в конечном счете предотвратить формирования русско-имперского параллельного мира в Варшаве. Живущие в этом мире люди образовали для себя пространство представлений и действий под названием «русская Варшава», четко отличавшееся от тех образов города и траекторий передвижения по нему, которые были характерны для поляков и евреев. Здесь в конце XIX века возникла своя, в значительной степени изолированная локальная система самоорганизации, имевшая свою, отдельную институциональную структуру, собственные социальные и культурные иерархии, а также собственную, непохожую на чужие городскую топографию.

Кроме того, границы, отделявшие эту формирующуюся имперскую общину от местной царской бюрократии, были крайне размыты. Ведь в ситуации периферии представители сообщества, понимавшего себя как имперское, и представители государственного аппарата находились друг с другом в тесно переплетенных отношениях. Нарастающая институционализация российской колонии в форме клубов, ассоциаций и других форумов происходила в постоянном взаимодействии должностных лиц и общественных акторов. О разделении сфер государства и общества говорить в контексте имперской диаспоры не приходится. И все-таки начиная с конца XIX века стал обозначаться конфликт, которому суждено было полностью развернуться в период после революции 1905 года. В ходе радикализации национальных

требований, формулируемых русскими лидерами общественного мнения, все больше ставился под вопрос наднациональный горизонт ориентации высших государственных служащих.

Этот ползучий процесс отчуждения проявился в одном из центральных культурных учреждений имперской общины в Варшаве. Императорский университет, его ректоры и деканы, а также часть его преимущественно русской профессуры все больше становились поборниками превращения империи в национальное государство. При этом в первый период своего существования данное учебное заведение, вопреки своей плохой репутации, сыграло важную роль в образовании польского студенчества. Но оно же было и местом постоянных, а с 1890-х годов – обостряющихся конфликтов между студенческими кругами и преподавателями, которые, особенно на гуманитарном факультете, были настроены славянофильски. В то время как первые требовали «полонизации» преподавания – его языка, а отчасти и содержания, – последние выступали за первенство русского языка в том, что понимали как славяноведение. Конфликты в Варшавском университете укрепляли стремление к максимальной «национализации» системы образования и, следовательно, к строгому этническому апартеиду в империи в целом.

Революция 1905–1906 годов стала катализатором этих процессов. Одновременно она обозначила и наиболее глубокий кризис имперского режима в Царстве Польском со времен Январского восстания 1863 года. С начала века государственная власть стремительно теряла авторитет. В столкновениях обнищавших городских низов, жертв экономического кризиса и революционных активистов самого разного происхождения возникла взрывоопасная ситуация, эскалацию которой обусловила Русско-японская война с ее внутривнутриполитическими напряжениями. Революционная динамика 1904–1906 годов привела к многочисленным вспышкам насилия и временной потере государством контроля над большей частью польских провинций. Только благодаря двойной стратегии, проводимой генерал-губернатором Скалоном, которая была направлена, с одной стороны, на подавление восстания военными силами, а с другой – на ограниченное допущение деятельности наиболее умеренных польских сил, власти сумели вернуть себе инициативу. Такое сочетание режима военного положения и взаимодействия с готовыми к сотрудничеству общественными

группами было характерно для административной практики этого генерал-губернатора вплоть до Первой мировой войны. Этот новый принцип управления возник в результате коренного переосмысления ситуации царскими чиновниками, которые теперь в качестве основной угрозы для государства стали рассматривать не столько своего традиционного врага — польское национальное движение, — сколько социалистические силы.

В 1905 году конфликтная ситуация в Царстве Польском значительно изменилась. Во-первых, революционная динамика в кратчайшие сроки радикализовала столкновения между режимом и его противниками. В этом отношении кризис, окончательно развернувшийся в 1905 году, лишь в ограниченной мере позволяет судить о конфронтации в период до 1900 года. Хотя старые конфликты способствовали эскалации революции, все же динамика восстания породила совершенно новый расклад сил, который оставался характерным и для последующих лет. К нему относится не только возросший уровень насилия в общественных конфликтах, но и политическая активизация более широких слоев населения. Вместе с новыми правовыми рамками, которые обеспечивались Основными законами 1906 года, была создана неведомая прежде форма политической публичной сферы. Еще во время действия военного положения и, особенно, после его отмены в 1909 году власти столкнулись с необходимостью управлять Царством Польским в новых условиях свободы прессы, думских выборов, легализованных партий и профсоюзов. С помощью административных директив можно было манипулировать составом избирательных курий, но нельзя было игнорировать эту политическую публичную сферу как новую норму взаимодействия власти и общества.

В связи с этим следует напомнить о спорах по поводу открытия моста через Вислу в декабре 1913 года. Тогда представители польского общественного мнения открыто и уверенно заявили в освобожденной от цензуры прессе, что считают себя фактическими творцами прогресса в крае и, следовательно, им полагается привилегированное место на церемонии открытия моста. Этот пример показывает, насколько велик был конфликтный потенциал ситуации в Царстве Польском до начала Первой мировой войны. Противостояния между представителями петербургского режима и местного общества были повсеместными, что

проявлялось и в необходимости постоянной боеготовности царских войск.

Взаимное недоверие было велико; широко распространено было ощущение, что выхода из этой дилеммы антагонизма между государственной властью и коренным населением Царства Польского нет. Во всяком случае, царские власти практически не имели никакой концепции в вопросе о том, что делать с этой мятежной провинцией, помимо ее насильственного «замирения» военными методами. Накануне Великой войны они оказались в парадоксальной ситуации: с одной стороны, они не сомневались в том, что петербургское господство над Царством Польским будет продолжаться «вечно». С другой стороны, у них не было видения того, как должна происходить более полная интеграция этого края и народа в империю. Данная дилемма, кроме прочего, объясняет, почему власти с повышенной нервозностью реагировали на растущую угрозу войны: они не только осознавали, что выдающуюся на запад территорию Привислинского края, несмотря на построенные укрепления, в военном отношении вряд ли удастся удержать. Они также понимали, что на лояльность местного населения можно рассчитывать лишь очень условно. Учитывая недостаточную интегрированность Царства Польского в имперские структуры, чиновники не надеялись, что ситуация там во время новой войны будет существенно отличаться от той, которая возникла с началом Русско-японской. Имея перед глазами этот свежий опыт, имперские власти не ожидали при военном конфликте ничего, кроме дезертирства поляков на фронте и новой вспышки политического террора и общественных волнений в тылу.

В перманентной конфликтной ситуации с безрадостными перспективами утешала разве что уверенность в том, что у царского правительства есть инструмент, который позволяет хотя бы в мирное время надежно гарантировать власть над Привислинским краем, — армия. В том числе и поэтому государственные инстанции ограничивались теперь своей основной функцией — поддержанием «спокойствия и порядка». Этот принцип, которым генерал-губернаторы руководствовались в своей административной практике уже в XIX веке, после 1909 года приобрел новый смысл, так как вел к постепенному самоустранению властей от политических дебатов, имевших определяющее значение для местной публичной сферы в те годы.

Польско-еврейский конфликт и его эскалация в виде бойкота 1912 года могут служить хорошей иллюстрацией этого процесса. Бюрократия ограничилась – как делала и при других конфликтах – в основном обеспечением стабильности и недопущением насилия в общественной жизни. До тех пор, пока не возникало впечатления, что опасность угрожает самому господству Петербурга в крае, представители власти не видели для себя необходимости вмешиваться в происходящее. Они как бы устранились и самоизолировались от внутренних дел Царства Польского.

Однако проблема заключалась в том, что высшее имперское чиновничество оказывалось в двойной изоляции: польская общественность избегала интенсивных контактов с должностными лицами, а русская общественность в Царстве Польском предъявляла им все более радикальные требования. Националисты стремились к расширению привилегий для русских, причем не только в польских провинциях, но и во всей империи. Они с возрастающей агрессивностью критиковали наднациональное самосознание царской управленческой элиты, которая и после 1900 года определяла себя скорее через сословное происхождение, служебную этику и верность короне, а не через принадлежность к какой-либо из этнических категорий, характерных для национального образа мыслей. При этом представителям петербургского режима оградить себя от нападков националистов оказалось гораздо тяжелее, чем иметь дело с позициями польских лидеров общественного мнения. Последних легко можно было вписать в традицию «польских притязаний» и просто игнорировать, а вот доминирующий в те годы русский националистический дискурс, который в значительной степени приравнивал «имперское» к «русскому», делал для властей предержащих трудным проведение границы ними самими и русской общественностью с ее националистическими протагонистами⁸²². Тем не менее в прогрессирующем процессе изоляции чиновничества это дискурсивное навязывание статуса «товарищей по борьбе» мало что меняло. В обществе, которое развивалось по всем линиям и все больше распадалось на этносы, представители имперской власти оказывались во все большем одиночестве.

В этом обобщающем обзоре итогов исследования можно назвать четыре главных аспекта петербургского владычества в Привислинском

крае. Во-первых, имперское господство осуществлялось посредством весьма разнообразного набора структур, акторов и практик. Между центром и периферией происходило сложное, иногда конфликтное взаимодействие, в котором проявлялась неоднородность имперской администрации. Эта неоднородность выражалась не только в многонациональном составе чиновничества, но и во внутренних трениях между ведомствами, между несовпадающими логиками их действий и между должностными лицами. Поэтому было бы неверно изображать имперскую администрацию в Царстве Польском главным образом как силовое ведомство и, соответственно, как аппарат угнетения и воспрепятствования развитию. Она была и этим тоже, но не только: в качестве аппарата, управляющего повседневной жизнью, эта администрация оказывала очень разнообразное, отчасти определяющее влияние на человеческое общежитие. Данный аспект имперской власти – ее формирующее влияние на социальные структуры и социальные взаимодействия – проявлялся во многих областях.

Тем самым оказывается затронута и вторая основная тема. Представители имперской власти и их польские и еврейские контрагенты создали сообщество в конфликте. Зоны контакта между местным обществом и бюрократией демонстрировали широкий диапазон возможностей для сотрудничества, трансграничного взаимодействия, а также для готовности к сопротивлению и для использования механизмов исключения.

Эти сближения и их границы в богатой конфликтами зоне контакта повлияли и на те представления, которые складывались у живших и работавших там людей: о собственной идентичности, о своем месте в социальной и культурной системе, а также о месте Привислинского края в империи. То же касалось и идентитарных проектов имперского общества, бывшего чужим в этих землях. Здесь мы отмечаем все увеличивающуюся разницу в самоописаниях между высшими административными чиновниками с одной стороны и все более националистически настроенной русской общиной в Царстве Польском – с другой. Для наднациональной административной элиты петербургского режима противостояние русскому национализму и радикальным требованиям превращения империи в национальное русское государство становилось все более неразрешимой дилеммой.

Однако в годину своего фундаментального кризиса имперское правление показало и способность к стабилизации. Угроза царскому режиму, которую принесла революция 1905–1906 годов, и его реакция на этот вызов составляют четвертую важную тему этой книги. Следует иметь в виду, что революционные годы – 1905–1906, равно как и 1830–1831 и 1863–1864, – представляют собой совершенно исключительную ситуацию. Нормальным же было состояние пусть и конфликтного, но гораздо менее насильственного сосуществования царской бюрократии и местного населения, и именно это было характерно для подавляющей части времени многолетнего российского правления в Царстве Польском.

Даже в условиях кризиса петербургский режим оказался устойчивым. Причиной тому было не только наличие военной силы в польских провинциях и готовность должностных лиц бескомпромиссно использовать эту силу против мятежного гражданского населения. Имперские власти смогли создать *modus vivendi* и обеспечить долговременное замирение беспокойного края. Поэтому не может быть сомнений в жизнеспособности петербургского правления в Царстве Польском в мирное время – несмотря на то, что у чиновников отсутствовали концепции долгосрочной интеграции «чужой страны» в Российскую империю. А потому есть все основания констатировать, что крушение российского владычества в Привислинском крае произошло по внешним причинам – оно было следствием войны и военных поражений царской армии.

Одновременно на примере Царства Польского проявляется гетерогенность и сложность, характерная для многонациональной и многоконфессиональной Российской империи в целом. Многие из конфликтов, происходивших здесь, были типичны и для других периферийных районов империи. Поэтому необходимо поставить вопрос о месте Царства Польского в ее структуре и обсудить релевантность его «особенностей», так часто подчеркиваемых современниками, имперскому целому.

ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ: ЦАРСТВО В ИМПЕРИИ

«Местные особенности» приграничного района: Царство Польское как особая провинция империи

Имперские чиновники и выразители мнений польской общественности мало в чем были настолько же единодушны, как в подчеркивании «особых условий», характерных для Привислинского края. Хотя они и делали совершенно разные выводы из констатации этой «особости» и обосновывали ею противоположные требования, в самом своеобразии этой части империи ни у кого из них сомнения не возникало, и во многих отношениях с этим мнением современников нельзя не согласиться.

Во-первых, помимо Царства Польского и остзейских провинций не было в Российской империи другого региона, где отношения власти и подчинения между центром и периферией настолько противоречили бы разнице в уровне общего регионального развития. Управляя Польшей, Петербург имел дело с провинцией, которая в значительной своей части далеко обгоняла в экономическом, социальном и культурном развитии внутрироссийские территории. Это было не столь очевидно применительно к крупным городам, особенно если иметь в виду Варшаву, но даже здесь начиная с 1890-х годов о сколько-нибудь значительном дефиците модернизации уже не могло быть и речи – Варшава стала бурно развивающимся мегаполисом. В целом экономическая мощь Царства Польского была огромна, темпы индустриализации, сопровождаемой технической и инфраструктурной революцией и урбанизацией, сделались с конца XIX века стремительными. Высокая плотность населения, относительно густая транспортная сеть, пространственная близость промышленных объектов и городов, а также превосходящая всех их Варшава как мощный двигатель трансформации складывались в общую картину региона, который уже хотя бы по уровню экономического развития резко отличался от всего, что было знакомо имперским чиновникам по внутренним регионам России⁸²³.

В то же время они имели здесь дело с таким культурным уровнем и такой интенсивной социальностью, какие были им неведомы и какие, с учетом антагонизма между имперским центром и польским обществом, порождали у них прежде всего ощущение угрозы. Даже во второй половине XIX столетия в Царстве Польском еще заметно было существование длительной традиции польской независимой государственности и сохранение идеи шляхетской нации. Внимание к этому прошлому в кругах элиты местного общества поддерживало память о польском величии даже в условиях царской цензуры и обеспечивало формирующееся национальное движение богатым арсеналом исторических символов, юбилеев и героев. Здесь имперские власти столкнулись с интенсивным политическим дискурсом на тему польской нации, а с 1890-х годов и на тему польской национальности, — с таким дискурсом, который в других областях империи существовал лишь в зачаточном состоянии или вообще стал формироваться лишь во второй половине XIX века.

Даже образы нации, характерные для романтического периода восстаний, были серьезным вызовом для правящей династии, поскольку проявлялись отнюдь не только в вооруженных, но в конечном счете бесперспективных восстаниях, а и в том, что сами по себе принципиально ставили под сомнение легитимность царского правления. В Польше Петербург не мог, как в других подвластных ему районах, позиционировать себя в качестве европейского режима, несущего цивилизацию, а предложение интегрироваться в наднациональное имперское целое не обладало для коренных жителей Привислинского края никакой привлекательностью. Впоследствии, на основе сохраненной памяти о независимой национальной государственности, в Царстве Польском сформировались — причем значительно раньше, чем в других окраинных районах Российской империи, — те духовные течения, которые понимали модерную нацию прежде всего как этнонацию, требовали для нее права на самоопределение, а самодержавие в ходе революции 1905 года привели на грань краха.

С другой стороны, ввиду этой традиции польской государственной нации, а также благодаря научным и литературным занятиям многих представителей польского общества, избиравшим ее своей темой, имперские акторы, при всем сознании собственной силы, с уважением

смотрели на культурный уровень элит Царства Польского. Среди них тоже царило мнение, что «поляки» принадлежат к цивилизационной общности Западной Европы. История Речи Посполитой, ее интеграция в мир европейских государств, ее архитектурное наследие, живая литературная культура и, до некоторой степени, католицизм вызывали такое уважение (а иногда и сочувствие), какого имперские элиты ни в одной другой провинции не проявляли. Так как в Царстве Польском, как нигде больше, культурная иерархия правящих и управляемых выглядела неоднозначной, особенно ярко была выражена и тревога по поводу аккультурации посланников Петербурга. Топос об опасности «полонизации» касался не только православных крестьян в западных губерниях, но и чиновников царской администрации, служивших в Привислинском крае.

Это было связано не в последнюю очередь с тем, что польское общество в период после Январского восстания принципиально изменилось. Оно достигло удивительно высокой степени институционализированной социальности и участия в деятельности публичных форумов общественного мнения даже в сложных условиях имперского режима. Тому было несколько причин: во-первых, ограничительными мерами 1860–1870-х годов удавалось лишь в небольшой мере подавлять формы общественной самоорганизации. В условиях хронической слабости государственных структур чиновники даже вынуждены были опираться на параллельные польские институты и, например, в области медицины допускали, хотя и неохотно и с ограничениями, сотрудничество со стороны поляков.

Во-вторых, политика петербургских властей, направленная на ослабление старых польских элит, приводила к незапланированным последствиям: дискриминационные законы, блокировавшие возможности карьерного роста для поляков-католиков на государственной службе, значительно повысили их общественную активность. Особенно переселявшаяся в города мелкая шляхта представляла собой резерв, из которого рекрутировались представители неслужилой интеллигенции, активно практиковавшие разнообразные формы самоорганизации в различных областях общественной деятельности и пополнявшие ряды деятелей столь различных институтов, как Варшавское гигиеническое общество, редакции газет, а также подпольные организации революционных политических

партий. Имперские власти периодически реагировали репрессиями на это стремление к социальной самоорганизации и активности, однако не могли обуздать его динамику. Они добивались лишь того, что значительная часть подобной деятельности осуществлялась нелегально и, следовательно, в открытом противостоянии петербургскому режиму.

Это показывает, что составляло, пожалуй, самую важную «особенность» Царства Польского. Ни в одной другой периферийной провинции Российской империи антагонизм между обществом и государством не был так ярко выражен, как здесь. Имперская администрация Привислинского края в своих высших эшелонах состояла почти исключительно из чиновников, прибывших извне. Пусть даже за долгие годы службы они и могли досконально узнать местные условия – все равно лишь в самых редких случаях они преодолевали границу, отделявшую имперский параллельный мир от коренного населения. То была добровольная изоляция, которая питалась глубоким недоверием чиновников к польскому обществу.

Несомненно, антагонизм между государственной бюрократией и верхушкой местного общества являлся основополагающей характеристикой самодержавия вообще. Однако в Царстве Польском у имперской администрации не было в распоряжении той местной аристократической элиты, что могла бы быть как-то кооптирована в государственно-административную деятельность. После восстания 1863–1864 годов, главными виновниками которого в глазах петербургских властей являлись именно представители польской шляхты, такой вариант сотрудничества элит был уже исключен. Многочисленные меры, с помощью которых режим в последующие годы пытался сломить власть старого польского высшего класса, привели к тому, что, когда петербургские власти вспомнили о сословной солидарности, влиятельных дворянских сил в крае уже не осталось. Это отличало Царство Польское от других имперских окраин, где Петербург своими мероприятиями по централизации и русификации тоже спровоцировал конфликт со старыми элитами, но все же – как, например, в Прибалтике – мог в условиях революции 1905 года опираться на традиционный союз с дворянством. В Царстве Польском ситуация была иная. Здесь наиболее влиятельные силы польского общества, сотрудничества с которыми в последующие годы искали петербургские правители, происходили из рядов эндеции –

модерной массовой партии, которая представляла совершенно иной принцип политического участия. В долгосрочной перспективе ожидать от нее стабилизирующего эффекта для системы российского господства в крае не приходилось.

Это, конечно, было связано с тем, что пропасть между администрацией и представителями общества была в Царстве Польском несравненно шире и глубже, чем внутри России. «Польский вопрос» постоянно подпитывал конфронтацию между коренным населением и царской властью. А когда после 1905 года часть государственной бюрократии попыталась использовать интеграционный потенциал, который, как ей казалось, был заложен в русском национализме, фундаментальный антагонизм еще больше обострился. Чем более маргинальным становилось понимание империи, характерное для высшего эшелона представителей царской власти в Привислинском крае, – империи как наднациональной системы, где главным является верность подданных и их преданность царю, – тем меньше оставалось надежд, что население Царства Польского смирится с имперским режимом, который оно воспринимало как русскую, а потому чужую власть.

Сыграло свою роль и то обстоятельство, что после Январского восстания антипольская направленность петербургской гегемонии превратила Царство Польское в особую административную и юридическую зону, где действовали иные правила и законы, нежели во внутренних районах империи. Этот набор специфических административных и правовых норм в принципе был наследием домодерной империи. Но в отличие от других окраин разница между Царством и империей в конце XIX века не уменьшалась, а наоборот: в некоторых институтах, таких как органы самоуправления, Привислинскому краю было отказано, другие же, такие как предварительная цензура, сохранялись, и этим инаковость польских провинций скорее дополнительно усиливалась. Царство Польское оставалось по большому счету инородным телом в составе империи: здесь действовали собственные законы и жили люди, которые не хотели иметь ничего общего с имперским целым. В некоторых заметках, сделанных царскими чиновниками незадолго до Первой мировой войны, видно осознание ими своего бессилия перед лицом непрерывного польского протеста и, не в последнюю очередь,

понимание, что Петербургу никогда не удастся заключить мир с этим краем и этими людьми. Постоянно высокая напряженность конфликта, несомненно, была одной из самых существенных и раздражающих «особенностей», отличавших Привислинский край.

Именно с этой особенностью был связан и тот факт, что ни один регион империи не отличался столь зримым присутствием государства в лице армии, каким отличалось Царство Польское. Опыт восстаний 1830–1831 и 1863–1864 годов, а также военно-стратегическое значение этой выдающейся на запад провинции заставляли Петербург держать в ней больше фортификационных сооружений, гарнизонов и дислоцированных воинских частей, чем где-либо еще. Если гражданские государственные структуры в Привислинском крае были столь же недоразвиты, как и в других частях империи, а чиновники в недоукомплектованном аппарате, учитывая численность населения, дифференцированность общества и отсутствие каких-либо органов самоуправления, были еще более перегружены, чем в других местах, то военные здесь присутствовали в более чем достаточном числе и представляли собой эффективный инструмент обеспечения господства на случай угрозы эскалации конфликтов на местах. Поэтому применительно к событиям революции 1905 года в Привислинском крае лишь в ограниченной мере можно говорить о вспышке насилия в «удаленном от государства пространстве»⁸²⁴. Скорее наоборот, именно повсеместное присутствие полиции и военных изначально и привело к эскалации конфликта – именно на их представителей были направлены террористические акты, – но в конечном счете их же повсеместное присутствие привело и к быстрому завершению восстания. На взгляд коренного населения, слишком часто власть Петербурга представала перед ним в облике своих солдат, Александровской цитадели или казачьего патруля. Это, несомненно, укрепляло тождество государственной бюрократии и оккупационного режима в восприятии поляков.

Доминирование военных было вызвано, конечно, не только мятежными традициями польских провинций, но и расположением данной территории в той зоне международного конфликта, которая с начала XX столетия все больше и больше рассматривалась как будущий театр военных действий. Вместе с тем такое положение Царства Польского – как самой западной провинции Российской

империи – подчеркивало его особое значение еще и в другом смысле: проницаемость границ обеспечивала возможность интенсивного обмена между разделенными территориями бывшей польско-литовской дворянской республики, а через Галицию и Познань интеллектуальные течения в Привислинском крае получали тесную связь с развитием идей в Центральной Европе. Не только в воображении царских цензурных чиновников, но и в реальности польские лидеры общественного мнения были прекрасно знакомы с тем, что происходит на европейском рынке идей, хотя почти полностью игнорировали интеллектуальные дебаты, шедшие в русской публичной сфере. На протяжении десятилетий сформировалась и закрепились разница между интеллектуальными мирами, в которых жили имперский центр и польская окраина.

Такое особое положение Царства Польского и его ориентация на Запад представляли собой не только наследие аристократической нации: они основывались и на логистике трансграничного оборота товаров, движения идей и пассажирских перевозок, в которые был интегрирован этот регион. Неудивительно поэтому, что польские активисты в Привислинском крае очень рано восприняли общеевропейские идеи модерного этнонационализма или быстро скопировали организационные и агитационные формы современных массовых политических партий. Эти деятели осуществляли трансфер, при котором западные образцы одновременно и поставлялись в Российскую империю, и множились здесь, в крае. Кроме того, заставляя династическую монархию сталкиваться с притязаниями модерного национализма, польские активисты параллельно способствовали тому, что многочисленные противоречия и конфликты в империи в целом принимали национальную окраску. Царство Польское превратилось в генератор такой конфронтации, которая в конечном счете поставила под угрозу всю многонациональную державу Романовых.

Однако этот край был не только рассадником конфликтов, сотрясавших потом всю империю, но и лабораторией имперских методов и практик правления, потому что здесь более интенсивно и, прежде всего, гораздо раньше, чем в других пограничных районах, центр вынужден был реагировать на специфические вызовы, поступающие от периферии. Польские территории были местом, где

испытывались методы имперского господства; отчасти они и разрабатывались именно здесь, а потом применялись в других провинциях империи. Это указывает на специфику Царства Польского и одновременно на его выдающееся место в структуре империи. Ведь все вышеописанные особенности существовали в крае отнюдь не изолированно от процессов, шедших в других имперских регионах: через многочисленные каналы и на различных уровнях особенности эти взаимодействовали с процессами, которые во второй половине XIX века принципиально изменили облик всей многонациональной Российской державы. Как ни парадоксально, но то важнейшее значение, какое польские провинции и связанный с ними «польский вопрос» имели для структуры империи и для сотрясавших ее волнений, подчеркивает именно исключительность этого региона: пожалуй, более ни один район страны не оказывал такого непрерывного, формирующего и устойчивого влияния на имперский центр и на остальные периферии, как территории бывшей Польско-Литовской дворянской республики.

Провинциализация центра? К вопросу о месте и роли польских земель в Российской империи

Царство Польское традиционно использовалось в качестве «опытного поля» для реформ и мероприятий, которые власти сначала испытывали на имперской периферии, прежде чем внедрять их в центре. Так, хотя Александр I открыто и не заявлял, что польская Конституция 1815 года является пробой или репетицией введения конституции во всей империи, у общественности того времени на сей счет не возникало сомнений. Польские восстания 1830–1831 и, особенно, 1863–1864 годов вынудили Петербург не только перенастроить свою политику в отношении Польши, но и кардинально пересмотреть свои концепции имперской интеграции и соответствующие практики властвования на всех окраинах империи. Как и в других колониальных державах Европы, на периферии генерировались те представления об имперской структуре и соответствующих техниках господства, которые в конечном счете оказывали влияние и на имперский центр.

Административные реформы, начатые Петербургом после Январского восстания в Привислинском крае, были гораздо больше, чем просто реализацией основных принципов Александровских реформ. Они представляли собой скорее модель новой концепции имперского правления, которая родилась в обстановке восстания. Восстание это показало акторам в имперском центре, что неоднородность империи является препятствием для модернизации и что разнообразие изолированных окраинных территорий легко может стать фундаментальной угрозой целостности империи. «Польский мятеж» усилил реформаторские устремления александровской бюрократии. Убежденность, что только унификация и централизация империи смогут в долгосрочной перспективе обеспечить ее существование, в борьбе с польскими повстанцами окрепла. Урок, извлеченный петербургскими властями из событий 1863–1864 годов – событий, в которых им явился призрак отделения Польши от России, – заключался в том, что Великие реформы нельзя ограничивать внутренними территориями империи, а следует распространять также на многочисленные административные и правовые сферы ее периферии. Поэтому невозможно говорить о разрыве с традицией имперской политики эпохи реформ применительно к тому, что Александр III и Николай II усиленно добивались стандартизации административных и правовых систем в остзейских губерниях и Финляндии: это была последовательная реализация того понимания, которое сформировалось в столкновениях с поляками. Используя несколько заостренную формулировку, можно сказать и так: амбициозный проект по преобразованию всей домодерной многонациональной державы в модерную империю зародился в кризисные годы польского восстания. И административные меры, принятые в 1860–1870-е годы в Привислинском крае, послужили моделью того, как следовало организовать имперское управление и остальными окраинами страны.

Январское восстание как урок для имперских властей, а призрак сепаратизма как учитель – этим объясняется и та интенсивность, с которой центральное правительство занималось Польшей и которая ни в какой другой имперской провинции не встречалась. При Александре III 30% всех резолюций, подписанных им по представлению Комитета министров, касались именно этого региона.

Такое доминирование проблематики польских земель в работе центральных учреждений империи не может быть объяснено исключительно экономической мощью этой периферии или ее важным военно-стратегическим положением. И лишь в ограниченной мере оно объяснялось тем, что даже после военного триумфа 1864 года данные территории остались беспокойными. Высокий процент мероприятий центрального правительства, касавшихся именно Польши, отражает центральную роль «польского вопроса» в переориентировке концепций империи и формировании представлений русских о себе во второй половине XIX века.

Январское восстание в Царстве Польском положило начало и формированию более или менее обширной российской публичной сферы. В 1860-е годы дискуссия о «неблагодарных поляках» форсировала и споры по поводу того, что такое империя и какую роль должны играть в ней русские. В то же самое время, отграничивая себя от «мятежных поляков», русские обсуждали и формировали новый образ себя, обладающий новыми признаками идентичности. Этот общественный дискурс об империи, о русских, о русском языке косвенно оказывал действие и на должностных лиц самодержавного режима, хотя государственные чиновники и сохраняли в своих мыслительных категориях и правилах деятельности значительную автономию по отношению к общественному мнению⁸²⁵.

Горьким разочарованием в полюбившихся априорных представлениях о славянском братстве и союзничестве объясняется резкость тех реакций на восстание поляков, что последовали в российской публичной сфере: ведь это не «дикарь» поднял оружие в труднодоступных и непроглядных горах Кавказа, а славянский «братский народ» снова призывал к «мятежу». Если уже события 1830–1831 годов положили начало процессу разграничения в кругах образованного российского общества, то после 1863–1864 годов этот процесс стал значительно интенсивнее. Январское восстание весьма способствовало тому, что образ себя у русских формировался все более явным образом как противоположность той католическо-западной европейскости, типологическим проявлением которой считали «поляка».

Кроме того, Январское восстание способствовало и тому, что в многочисленных представлениях о том, что значит быть русским, все

более важное место стала занимать мысль о приоритете русских в империи. Эта мысль имела эффект, действовавший одновременно в двух направлениях: во-первых, империя и сохранение ее целостности все больше перемещались в центр самосознания русских; во-вторых, требования признать за русскими первое место в империи становились все более популярными и громкими. Сужение значения «народности» – этого неоднозначного понятия в уваровской триаде – до «русского народа» произошло именно тогда, после польского восстания. Официальная «народность», которую пропагандировала бюрократия еще с 1830-х годов, теперь, путем отграничения себя от польского Другого, все более превращалась в прерогативу русских выступать «господствующей народностью»⁸²⁶. В этой связи актуален был и усиливающий эффект религиозного антагонизма, ведь противостояние с «латинством» мятежных поляков укрепляло православие в роли главного признака русской культуры, каковым оно и оставалось затем до конца существования империи. Точно так же католицизму суждено было занять и сохранять важнейшее место в польских проектах идентичности поляка: в российско-польском конфликте религиозные признаки взаимно увеличивали значение друг друга и закрепляли конфессиональную парадигму, в которой мир был разделен на «своих» и «чужих».

Таким образом, некоторые из столпов национальной русской идентичности были утверждены – а то и вовсе впервые помещены в центр идентитарных проектов – именно в результате публичного возмущения «неверными» польскими подданными. Конечно, в значительной своей части эти дебаты были старше: они определяли еще спор между западниками и славянофилами в 1830–1840-е годы. Но Январское восстание привело к тому, что противопоставление Европы и России стало абсолютно главенствовать на российском рынке мнений – независимо от того, какие альянсы заключали представленные на нем лагеря⁸²⁷. Тем самым в большой мере был предопределен духовный горизонт позднейших русских националистов.

Косвенно, но очень сильно эти события повлияли и на саму имперскую бюрократию, причем в результате не столько давления снизу, сколько осознания сверху. Чиновники самодержавной России еще и во второй половине XIX века были практически невосприимчивы к заявлениям и требованиям со стороны общества, даже если те

исходили от русских авторов. Но в этих сферах существовала параллельность мышления, которая была тесно связана с событиями в Царстве Польском: восстание 1863 года способствовало тому, что в глазах высшей имперской бюрократии надолго были дискредитированы вообще все периферии и принцип партикулярности. То есть значительно изменилось представление об общей структуре Российской державы: в глазах тех, кто управлял государством, наличие особых правил для приграничных районов стало выглядеть потенциальной угрозой всей системе, а лояльность жителей периферийных провинций стала восприниматься как ненадежная. Периферия не только казалась теперь анахронизмом в силу своей раздробленности на множество административных особых случаев и исключений: она также стала синонимом неверности и непредсказуемости. Вывод представлялся очевидным: петербургские власти стали полагаться на русский центр империи, а в акцентировании русскости – усматривать фактор стабильности всей многонациональной державы. С этим сочеталась вера в то, что возможна интеграция, которая крепче привяжет окраины к центру. Русские имелись на всех перифериях, пусть зачастую и в виде диаспоры, крохотных общин; именно они составляли значительную часть царского чиновничества в нерусских окраинных районах. Русский язык был определен как язык правительства, а его использование в работе местных администраций – как обязательное. Не в последнюю очередь и русская культура казалась одним из проводников влияния, способных обеспечить дальнейшее сближение многочисленных народов империи друг с другом.

Однако, если русскому элементу отводилось столь привилегированное место, это одновременно открывало дорогу и к тому, чтобы поставить знак равенства между Российской империей и русскими⁸²⁸. И надо отметить, что такое отождествление усиленно осуществлялось не только российской общественностью, но и имперской бюрократией, потому что восстания окраинных народов и опыт знакомства с облекающимся в национальные одежды сопротивлением, как это было в Царстве Польском, способствовали складыванию у царской бюрократии мировоззрения, оперирующего национальными категориями и иерархиями лояльности. Это, в свою очередь, закрепляло национальный характер сопротивления, и такое взаимное закрепление в большой мере способствовало росту значения

национального начала в империи в целом. В ситуациях контакта и конфликта, типичных прежде всего для Привислинского края, контрагенты укрепляли друг друга в национальных мировоззрениях. Лидеры общественного мнения в польской и российской публичных сферах, равно как и представители имперской бюрократии, имели очень разные, часто взаимоисключающие представления о том, как определять нации и какое место они должны занять в структуре империи, а потому предъявляли и разные требования к переустройству последней. Однако они во все большей степени были едины во мнении о том, что признак нации является чрезвычайно эффективным фактором социальной интеграции. Хотя многонациональная управленческая элита самодержавия отнюдь не перестала мыслить в наднациональных или ненациональных категориях, все же и ее картина мира постепенно окрашивалась национальными красками. На этом была основана и неспособность данной элиты распознать опасность для империи, заложенную в радикальных планах националистов по русификации окраин.

В этом контексте Царство Польское как очаг конфликта и связанный с ним «польский вопрос» играли центральную роль, потому что здесь гораздо сильнее, чем в других конфликтах, каждый из противоборствующих лагерей мог быть однозначно соотнесен с той или иной национальностью. Вместе с тем «польский вопрос» отнюдь не был локальной проблемой изолированного Привислинского края: он – в образе западных губерний – вторгался и во внутренние, центральные области российской территории. Объявив эти губернии исконно русскими землями, самодержавие, а вместе с ним и русская общественность поместили происходившие там конфликты с поляками в самый центр русских имперских представлений о себе и проектов идентичности. Соответственно, эти «западные русские рубежи» заняли привилегированное место на ментальной географической карте в головах имперских чиновников и русских националистов⁸²⁹.

Территории Царства Польского они еще могли в ограниченной степени – не сомневаясь в неделимости империи – рассматривать как нечто внешнее, как «чужую страну». Но любое проявление неиссякаемого польского присутствия в западных губерниях воспринимали как посягательство и на географический «коренной» русский ареал в узком смысле, и на представления русских о самих

себе. А поскольку имперское правление на протяжении десятилетий не смогло ничего поделать с тем, что ведущая роль польской культуры в этих губерниях была наглядно очевидна, дебаты о грозящей им и их жителям «полонизации» и о якобы агрессивном католицизме сохраняли высокую актуальность в кабинетах имперской бюрократии и на форумах российской публичной сферы. В этом дискурсе, несмотря на всю административную и идейную разницу между западными губерниями и Царством Польским, последнему тоже было отведено важное место, потому что через Холмскую губернию Привислинский край был непосредственно связан с этим промежуточным регионом, а кроме того, выглядел – благодаря своей процветающей польской культуре, своей экономической мощи и репутации гнезда революционных агитаторов – как в некотором роде «польский Пьемонт» внутри империи. В рассуждениях российских имперских чиновников и лидеров общественного мнения о западных губерниях Варшава фигурировала в качестве потенциального зародыша для возрождения Польского государства в границах 1772 года. Это также объясняет, почему, несмотря на признание его инаковости, Царство Польское воспринималось как постоянная угроза не только устоям целостности Российской империи, но и культурному и географическому самопониманию русских.

Ничто не проиллюстрирует эту связь лучше, чем портреты имперских акторов, действовавших в Польше. На основе биографий чиновников и представителей русской публичной сферы можно проследить трансфер идей и знаний, усвоенных в Привислинском крае, в другие окраинные регионы и центр. Конфликтная ситуация в Царстве Польском в качестве составной части личного жизненного опыта петербургских посланников отражалась на формировании имперских практик властвования. Эта ситуация была тесно переплетена с центром и другими перифериями в том числе и посредством карьерных траекторий должностных лиц.

Служащие или служившие в польских провинциях чиновники оказывали косвенное и непосредственное влияние на концепции имперской политики. Эти «привислинцы» целенаправленно старались по многим разным каналам оказывать воздействие и на формирование имперской политики, и на представления о «русском». Своими регулярными донесениями они делали весомый вклад в снабжение

имперского центра информацией и представляли собой определенное лобби при дворе, в Государственном совете и министерствах. К тому же чиновники с варшавским «пограничным опытом» часто направлялись на службу в другие приграничные районы, а некоторые – даже заняли посты в высших эшелонах власти.

Примеры таких карьер, сделанных людьми, набравшимися опыта в оккупационных воинских контингентах в Царстве Польском или местном административном аппарате, многочисленны: будущий министр внутренних дел и премьер-министр Иван Горемыкин, будущий министр народного просвещения Григорий Зенгер, сенатор Григорий Ульянов служили в свое время в Привислинском крае. Сын генерал-губернатора Иосифа Гурко Владимир, прослужив некоторое время в Варшаве, в 1906 году стал в Петербурге товарищем министра внутренних дел. Некоторые чиновники из Царства Польского переехали в другие окраинные районы, будь то западные губернии или Прибалтика. Иван Каханов и Константин фон Пален – виленский генерал-губернатор и губернатор соответственно, – а также соратник Муравьева Н. А. Крыжановский часть этапов своей карьеры прошли в Привислинском крае. Лифляндский губернатор Михаил фон Врангель ранее служил в администрации Царства Польского; Антон Будилович и Николай Лавровский тоже имели в послужном списке долгие годы варшавской службы, прежде чем были переведены в 1890-е годы один ректором в Юрьевский университет, а другой – на должность попечителя Рижского учебного округа. Объединяли всех этих видных деятелей имперской администрации крайне негативный опыт национальных противоречий в Царстве Польском и основанное на этом опыте неприятие любых требований, направленных на приобретение особых национально-культурных прав или тем более автономии. На новом месте службы Каханов и Крыжановский прославились как антипольские, Будилович и Лавровский – как антинемецкие активисты.

Однако период жизни в Привислинском крае с его многочисленными и острыми конфликтами был этапом обучения не только в том, что касалось отношения к «национальному вопросу»: он также способствовал тому, что эти чиновники начинали отдавать предпочтение политике «жесткой руки» и правлению посредством административных распоряжений, без уступок и компромиссов. Эта их любовь к администрированию выражалась, как правило, в том, что они

выступали за непреклонную государственную власть, которая в вопросе о формах участия общества в государственных делах не шла бы ни на какие уступки. Во всяком случае, у критически настроенных современников варшавские чиновники пользовались дурной славой: считалось, что они склонны к административному самовластию, к произволу, даже к злоупотреблению служебным положением, а также что они – принципиальные противники расширения участия общества в государственном управлении. Варшава считалась «любимым местом» бюрократии, и одновременно ее метафорически клеймили как «очаг» и беспорядков, и эпидемий⁸³⁰. Дело в том, что либеральные критики самодержавия не без оснований опасались, что распространенный в Привислинском крае стиль несения государственной службы распространится по всей Российской империи. Так, автор анонимно опубликованной в Лейпциге записки о российской политике в Польше одной из главных проблем назвал вредное влияние такой политики на внутреннее развитие России⁸³¹: «произвол и беззаконие», которые отличают «власть тайных циркуляров» в Привислинском крае, развращают чиновников и деморализуют население. В крае, писал анонимный автор, существует «автономия бюрократии», которая позволяет служащим там чиновникам «действовать свободно по своей воле». За десятилетия петербургского господства в Царстве Польском «произвол уже вошел в плоть и кровь представителей власти», вследствие чего край превратился в «рассадник произвола», который теперь оказывает влияние и на обстановку во внутренних районах империи. Ведь чиновники, вкусившие радостей собственного беззакония и произвола в Польше, потом переводятся с повышением во внутренние области России и там, как и в Царстве Польском, начинают отвергать любые рамки закона, воспринимая их как досадную помеху. Опытом службы в Польше в них закладывается «склонность к произволу», которая навсегда у них остается и в благоприятный момент раскрывается во всей своей полноте. А это оказывает такие серьезные и неблагоприятные воздействия на коренную Россию, каких, наверное, ни один русский не желает. Автор заканчивал выводом, что произвол и законность исключают друг друга и не могут существовать вместе в одном государстве, и подчеркивал, что внутреннее развитие России в огромной мере обусловлено формами государственного регулирования в Царстве Польском, а значит, пока существует произвол

в Польше, не будет уважения к закону и в России. В этом памфлете в особенно драматической форме была продемонстрирована неразрывная связь имперского режима в Царстве Польском с характером самодержавия в целом. Хотя в строках данной записки нельзя не отметить типичного для публицистической полемики преувеличения, все же не вызывает сомнений, что опыт службы в периферийном регионе накладывал неизгладимый отпечаток на чиновников. Привислинский край действительно был очагом произвола, где их обучали кажущимся преимуществам административного управления без участия общества, в результате чего они начинали скептически, а то и прямо отрицательно относиться к органам такого общественного участия и самоуправления.

В то же время Привислинский край и западные губернии представляли собой пространства, характеризующиеся национальным антагонизмом, где тоpos «мятежного поляка» превратился в реальность, подкрепляемую повседневным опытом службы. Такой опыт способствовал специфическому восприятию событий – склонности видеть в локальных противостояниях, имевших место в других периферийных районах империи, прежде всего национальные конфликты. Этим качеством, вырабатывавшимся у имперских акторов в ходе карьеры в различных регионах, одновременно усиливалось и единообразие устройства периферий. Сколь бы сильно ни отличались во многом друг от друга разные окраины империи, казалось, что в национально окрашенных конфликтах они схожи. Поэтому их легче было представлять себе как нечто единое: невзирая на все местные различия, в восприятии мобильных должностных лиц все больше и больше царило обобщающее и унифицирующее представление об «окраине», относительная гомогенность которой определялась контрастом с «русским ядром» империи.

Такое противопоставление центра и периферии было в Царстве Польском уже давней традицией, а в результате циркуляции чиновников, перемещавшихся с берегов Вислы на другие окраины империи, это изобретение – дуальная конструкция единого большого пограничья, окружающего центр, – распространялось и закреплялось в новых местах их службы. Отсюда был лишь один небольшой шаг до утверждения, что ко всем приграничным территориям должна применяться единая политическая программа. После 1905 года

призывы к такой жесткой политике в отношении окраин становились все громче и опять же исходили прежде всего от имперских акторов, которые ранее служили на периферии, особенно на бывших польских землях. Эти акторы выработали понятие «окраина», используемое в единственном числе и представляющее все окраины империи как нечто единое и гомогенное, и в таком виде импортировали данную концепцию в столичные правительственные инстанции⁸³².

Та радикальность, с какой в этой концепции унифицировалось отношение к различным регионам, означала разрыв с традицией Великих реформ и их программой стандартизации, а четкое деление на основное ядро России и пограничье представляло собой отказ от того проекта сглаживания различий между регионами империи, который был характерен для периода реформ. Но главное заключалось в том, что в конфронтациях на периферии чиновники выработали убеждение, будто единственную опору империи в ее окраинных областях представляет собой русский элемент. Как показывает пример Привислинского края, опыт повседневных конфликтов, национально окрашенные протесты местных противников самодержавия и выставляющая себя имперской силой русская общественность постоянно сливались в единый комплекс. Во взаимодействии этих лагерей, дискурсивно способствовавших укреплению друг друга, множество чиновников на периферии сознательно или бессознательно превратились в сторонников более сильной акцентировки национального фактора в многонациональной империи. Таким образом, территории бывшей Польской дворянской республики, отошедшие после разделов к России, послужили не только «школой произвола», но и рассадником национального и националистического мировоззрения, оказывавшего определяющее воздействие на бюрократические практики имперского управления и на политические идеалы некоторых представителей администрации. Эти края были одновременно лабораториями имперских стратегий властвования и инкубаторами конфликтов, сферой влияния которых являлась вся империя⁸³³.

Если это можно утверждать применительно к имперским чиновникам, то в отношении акторов рынка политических мнений и партий вывод исследования выглядит еще более однозначным. Как описано выше, цензурная политика в Царстве Польском обеспечила особенно благоприятные условия для расцвета русской национальной

и националистической публичной сферы. Сообщество образованных русских людей в мегаполисе на Висле отличалось активным производством печатной продукции, которая находила большой читательский спрос. Не случайно именно Варшава была одним из самых крупных центров сбыта националистической еженедельной газеты «Окраины России». Лидеры общественного мнения варшавской русской общины транслировали в российскую публичную сферу концепции «поляка», «русской миссии» и образ хаотичного политического спектра западной имперской периферии. Они могли выступать в амплуа экспертов по периферии: «варшавские годы» в биографии автора были расхожим топосом в меморандумах, с помощью которых закаленные в приграничных условиях активисты популяризировали проекты собственной, русско-имперской идентичности и концепции превращения империи в национальное государство. Некоторые государственные функционеры тоже участвовали в дебатах в этой части публичной сферы – к таковым, как было показано выше, относились прежде всего сотрудники Императорского Варшавского университета⁸³⁴. Но и административные чиновники в более узком смысле тоже питали публицистические амбиции и пытались повлиять на российский рынок мнений. Самый показательный случай здесь, несомненно, – сын генерал-губернатора Владимир Гурко, который в 1897 году, т. е. вскоре после того, как сам покинул кресло варшавского вице-губернатора, написал анонимные «Очерки Привислянъ» объемом почти четыреста страниц. В этом произведении, вызвавшем много дискуссий в прессе тех лет, Гурко высказался за радикальное «решение польского вопроса»: путем постоянного давления на польскую нацию. Только так, утверждал он, исчезнут различия, разделяющие поляков с русскими, и только тогда удастся вернуть поляков в «русскую семью». Полонофобский и в то же время антисемитский памфлет Гурко призывал к новой «цивилизаторской миссии» по отношению к полякам – это показывает, как сильно изменилось к концу XIX века соотношение сил в культурной сфере, согласно взглядам националистов⁸³⁵. Книга является также хрестоматийным примером того, как опыт национальных конфликтов в пограничье сформировал самопонимание российского чиновника, служившего там, и привел к радикальному слиянию имперских и национально-русских установок. То, что Гурко после 1906 года был

назначен товарищем министра внутренних дел, одновременно показывает, насколько открыт был государственный аппарат после революции для людей, готовых на преступление по националистическим убеждениям.

Это мысленное слияние империи и русского народа было характерно и для политических кругов, сформировавшихся после 1905 года в консервативно-националистической части российского партийного спектра. Не случайно и в рядах октябристов, и в националистическом лагере была особенно велика доля политиков родом с западных окраин. Опыт национальных конфронтаций в этих областях и знакомство с русско-польским антагонизмом способствовали политической активизации русских, выросших или проведших значительную часть жизни там. Националистические партии не просто давали им «пристанище»: многие из тех, кто приехал из западных регионов, оказали настолько большое влияние на программные позиции как «умеренных правых», так и «националистов», что можно говорить о политическом захвате этих партий периферией⁸³⁶. Кроме того, в кругах людей с опытом жизни в западных областях империи было ярко выражено стремление к созданию единой политической силы в раздробленном лагере русских националистов. Так, варшавское Русское общество выступало за то, чтобы в III Думе образовать единую национальную русскую партию. Свою роль в этом выходцы из Привислинского края видели как центральную: по мнению русских националистов из Царства Польского, само собой разумелось, что такую инициативу должен взять на себя русский депутат от Варшавы⁸³⁷. По их представлению о себе, они – люди, приобретшие «фронтный опыт» в западных областях и в ожесточенных столкновениях с «поляками», – по праву должны были возглавить процесс объединения русских национальных сил.

В какой-то степени выходцам с запада действительно удалось осуществить эти свои притязания на первенство в рядах национальных партийных организаций. Поскольку государство различными способами, включая избирательные законы и их последующие изменения, поддерживало их, в Думе им было обеспечено постоянное и большое политическое влияние. В то время как национальные избирательные курии в западных областях гарантированно поставляли в Таврический дворец русских депутатов преимущественно

националистической ориентации, «третьеиюньская система» обеспечила им доминирующее положение в парламенте и после 1907 года. В IV Думе (1912–1917) объединенные «националисты» одно время даже были самой крупной фракцией, превосходящей октябристов. Поскольку в обеих фракциях были одинаково плотно представлены политики из западных областей, IV Дума была не только «лакейской», но и «Думой западной окраины».

Таким образом, чиновники, ученые, журналисты, публицисты, священники и политики с опытом жизни и работы в бывших польских землях, ставших западной окраиной Российской империи, были весьма заметными фигурами в российской политической публичной сфере начала XX столетия. Их личная имперская биография, с одной стороны, послужила им поводом для активного занятия политической деятельностью и повышала авторитет их как экспертов по периферии и по всему нерусскому в публичных дебатах. В Петербурге эти поборники «русского дела» из западного пограничья все больше и больше задавали тон в горячих спорах по «национальным вопросам» и пробивались в соответствующие печатные органы и правительственные инстанции, тем самым способствуя «провинциализации» российской столичной публичной сферы. В последние годы существования Российской империи периферия впечатляющим образом поставила под свое влияние центр, а тем самым – и всю страну⁸³⁸.

Мощь этого эффекта объясняется и тем, что он отнюдь не ограничивался деятельностью имперских чиновников и русских националистов. Конфликтная ситуация в Царстве Польском и западных губерниях повысила, помимо всего прочего, мобильность местного населения и его готовность действовать. Царский режим на этих территориях означал непосредственный опыт оккупации для большинства проживающих там людей, которые по переписи 1897 года составляли почти 30% всех российских подданных. Империя являла себя в этих местах прежде всего в облике военной силы, административного произвола, правовой дискриминации и мероприятий по русификации, угнетавших местную культуру. Все это создавало благоприятные условия для непримиримости, которая постоянно подталкивала местных уроженцев сопротивляться самодержавию. Особенно начиная с 1890-х годов польские и еврейские

активисты были в большом числе представлены в политическом подполье Российской империи, а в самом Привислинском крае действовал весьма широкий спектр революционных группировок, ставивших своей целью свержение режима. В промежутке – в западных губерниях – находили для себя благоприятные условия социалистические партии всех видов. При этом быстро стало заметно, что такие люди из приграничных районов мыслили категориями национального мировоззрения даже тогда, когда пользовались терминологией классовой борьбы или социализма. Опыт, в котором социальные конфликты всегда представляли конфронтациями этнических групп, так же сильно повлиял на акторов из западных областей, как и на уроженцев Кавказа. Поэтому западное пограничье не только дало множество противников самодержавия (оказавшихся во внутренних районах России зачастую в результате высылки и ссылки, практиковавшихся генерал-губернаторами), но и внесло значительный вклад в то, что «национальный вопрос» в революционных дебатах и программах занял одно из центральных мест.

Это в еще гораздо большей степени касалось тех политических формирований, которые открыто провозгласили своей целью борьбу за национальное дело. В данном отношении тоже следует говорить о значительном влиянии польских территорий и действовавших там акторов на другие регионы: во-первых, «польский вопрос» косвенно стимулировал национальные движения, которые формировались начиная с 1860-х годов на перифериях империи. Репрессивный режим в Царстве Польском дискредитировал петербургскую власть в целом и провоцировал сопротивление прежде всего там, куда были перенесены практики господства, опробованные в Привислинском крае. Во-вторых, польский пример для параллельных (а в литовском случае и конкурирующих) национальных движений представлял собой точку отсчета и конкретную модель, которую можно было скопировать или на которой можно было хотя бы поучиться. С подъемом польской национал-демократии у всех перед глазами появился образец организационных структур современной массовой партии, чьи успехи на выборах после 1906 года не могла игнорировать ни одна партия имперских окраин, считавшая себя национальной. Поэтому не случайность, что наиболее заметные акторы литовского национального движения происходили из Сувалкской губернии, т. е. из

административного контекста Царства Польского: дело в том, что там царская администрация предоставляла литовским «интригам» большой простор, так как видела в них пользу для своей антипольской линии, и даже благосклонно взидала на них, считая, что они ослабляют поляков. Но помимо того важную роль сыграл и личный жизненный опыт этих литовских акторов, в котором был непосредственный контакт, а начиная с 1890-х годов – ожесточенное противостояние с польскими национальными активистами и их учреждениями. Все это породило литовских националистов, которые, в свою очередь, выработали очень далекоидущие представления о литовской автономии и одновременно копировали формы организации и агитации своих польских конкурентов⁸³⁹.

В таком общеимперском круговороте националистических мировоззрений и соответствующих паттернов образования сообществ и роста политической активности Царство Польское сыграло одну из главных ролей⁸⁴⁰. Привислинский край и в этом отношении служил одновременно экспериментальной лабораторией и инкубатором. Здесь сформировались конкурирующие толкования реальности и образы империи, практики властвования и подрыва власти, методы организации и способы репрессий, а также готовые к решительным действиям акторы антагонистических лагерей, чья деятельность или хотя бы влияние распространялись на всю страну. «Польский вопрос» заключал в себе не только косвенные последствия для имперского целого. Коммуникационное и конфликтное пространство на Висле представляло собой еще и базу для очень конкретных трансферных акций, посредством которых люди из польских провинций – высланные оппозиционные деятели или переведенные служащие, – прибывая в другие места, приносили свою конфронтационную логику в местные административные аппараты и политическую публичную сферу. В этом отношении можно только согласиться с анонимным автором «Политических итогов»: политика Петербурга в Царстве Польском непосредственным и роковым образом повлияла на внутреннюю ситуацию в России⁸⁴¹. Круговорот идей, акторов и практик происходил по всей стране, и процессы во внутренних районах России были неотделимы от приграничных.

Таким образом, и к монархии Романовых относится то, что исследователи, работающие в русле *новой имперской истории*,

установили применительно к отношениям между центром и периферией в колониальных и великих державах. Они подчеркивали не только общее взаимодействие между провинцией и метрополией, взаимосвязь периферии и центра. В контексте дебатов о «колониальном модерне» применительно к другим империям тоже было выявлено значение периферийных «экспериментальных лабораторий». То и дело перед нами предстают отдаленные пограничные провинции, которые генерировали методы, знания и понятия, оказывая обратное воздействие на столичные мировоззрения и модели действий. Идет ли речь об административных практиках, гигиенических и расовых дискурсах или о динамике насилия – в очень многих случаях имперские приграничные районы оказывались и местами возникновения инноваций, и местами радикализации, таким образом хотя бы отчасти способствуя «провинциализации» имперских центров⁸⁴². Так что не обнаруживаемый круговорот идей и практик составляет специфику романовской монархии. Особенностью Российской империи является скорее интенсивность взаимосвязей, а также нараставший с 1890-х годов дестабилизирующий эффект периферий. В отличие от большинства европейских великих и колониальных империй в России практически не было средств для создания границы между центром и периферией. Поскольку в российском имперском дискурсе понятие колонии как зависимой, но все же отдельной территории отсутствовало, не было и возможности дистанцироваться от событий в отдаленных провинциях. Хотя официально никогда не утверждалось, что это были «исконно русские» земли, все равно в русско-имперском самосознании территории Привислинского края принадлежали к единому имперскому целому. Базовая убежденность в неделимости империи с особой интенсивностью привязывала окраины к российским столицам, способствуя тем самым широкой циркуляции акторов, представлений и практик.

То же самое относится и к Габсбургской монархии с ее институтом коронных земель. Чтобы пояснить эту мысль, потребуется краткое сопоставление Австро-Венгрии и России. Хотя по своему внутреннему составу и общественно-политическому устройству эти две континентальные сухопутные империи сильно различались, они были схожи тем, как проявлялось взаимодействие между акторами, которые вели свою деятельность на окраинах полиэтнической империи и в ее

центре. Ни у той, ни у другой метрополии не имелось средств, чтобы удерживать от распространения внутри страны конфликты, обострившиеся на окраинах. Постепенная демократизация Австро-Венгрии и скачок России после 1905 года от самодержавия к конституционной монархии привели к тому, что эта взаимозависимость между центром и периферией еще больше уплотнилась, поскольку теперь парламенты в столице превращались в сцены, на которых разыгрывались национальные антагонистические конфликты окраин, а средства массовой информации позволяли распавшейся на политические лагеря общественности следить за этим спектаклем, где бы он ни происходил – в центре или отдаленной провинции⁸⁴³.

Показательное различие между двумя монархиями образовано степенью насильственности этих противостояний. В России революция 1905–1906 годов показала, какой потенциал насилия был заложен в этноконфессиональной напряженности и насколько быстро ее эскалация могла привести к фундаментальному кризису как самодержавия, так и целостности империи. Тот факт, что революционные события в Петербурге, Москве, Баку, Риге и Варшаве были связаны друг с другом, указывает на высокую степень взаимодействия не только между центром империи и ее периферией, но и между разными ее провинциями. В России окраины представляли гораздо более серьезную угрозу для имперских элит и для империи в целом, несравнимую с тем, что наблюдалось в коронных землях Австро-Венгрии, где кодификация плюрализма и полицентризма, а также имперская идея, направленная на баланс и компромисс, способствовали не только уменьшению насилия, но и тому, что часто государство выступало посредником между конфликтующими сторонами.

То, что в российском случае окраина была похожа на скопление пороховых бочек – а Царство Польское представляло собой целый доверху заполненный «склад динамита», – имело несколько причин. В отличие от Австро-Венгрии в случае Российской империи следует подчеркнуть усиливающее конфликты воздействие самодержавной политической системы, которая со времен Великих реформ стремилась к ликвидации всякого рода особых местных прав. В ситуации, когда отсутствовали или были в зачаточном состоянии институты

политического участия и возможность формулирования общественного мнения в средствах массовой коммуникации, конфронтация государства и общества почти неизбежно резко усиливалась на перифериях. Казалось, здесь повсюду центральная власть выступала в качестве силы, вторгающейся в местные контексты и оказывающей репрессивное и «русифицирующее» воздействие. Локальное ограничение конфликтов, при котором конкурирующие силы могли бы бороться за власть и влияние на соответствующих представительных форумах провинциального уровня, таким образом, не осуществлялось. Тем самым Петербург – в отличие от Вены – оказывался лишен и возможности вмешаться в качестве якобы более нейтральной инстанции в местные столкновения. Николай II не мог в своем сложном многонациональном государстве оказывать интегрирующее действие, хотя бы отдаленно сравнимое с тем, какое оказывал Франц-Иосиф, и дело тут было не только в личности монарха. Дело было еще и в других отношениях между центром и периферией: в Габсбургской монархии эти отношения были таковы, что хотя бы в некоторых случаях позволяли императору и его государственному аппарату играть роль арбитра. В Российской же империи усиливающееся давление центра на периферию привело к тому, что представители имперской власти воспринимались прежде всего как угрожающие, если не враждебные, противники. Несмотря на то что Основные законы 1906 года действительно позволили и в России обеспечить такую ситуацию, при которой местные конфликтующие стороны хотя бы отчасти занимались сами собой, – кредит доверия к государственной бюрократии, которая на протяжении десятилетий вела себя прежде всего как орган центральной власти, был давно израсходован. «Границы лояльности» по отношению к представителям Петербурга на местах стали повсюду заметны в преддверии Первой мировой войны. В отличие от Габсбургской монархии в России не существовало никакой традиции улаживания конфликтов путем компромисса. Государственной бюрократии не хватало гибкости по отношению к требованиям со стороны местных обществ. В Австро-Венгрии же происходило регулярное обсуждение государственно-правовых оснований, на которых строилась империя, и шли постоянные дебаты по поводу расширения прав автономии провинций. На первый взгляд казалось, что это делает государство нестабильным. Однако

происходившие споры не только принуждали государственные органы и их должностных лиц к готовности идти на существенные компромиссы, но и укрепляли веру в их принципиальную готовность к реформам. А в России местные лидеры общественного мнения воспринимали царских чиновников скорее как предвзятых агентов центра, нежели как посредников, имеющих целью минимизацию конфликтов. Это привело не только к тому, что и после революции сохранялась высокая готовность к насильственным действиям в отношении царских должностных лиц, но и к почти полной их изоляции: чиновники оставались чем-то внешним и чужим. Таким образом, локализация конфликтов в отдельных провинциях, достигнутая после 1906 года, не могла принести облегчения для центральной власти Российской империи⁸⁴⁴.

Это изолированное положение царских государственных чиновников в приграничных районах снижало эффективность их работы. Сотрудничество с местной общественностью если и имело место, то лишь от случая к случаю. Во время недолгих фаз «примирения» и «надежды» существовали определенные области взаимодействия, а также отдельные институты, которые обеспечивали возможность более интенсивного диалога между населением и государственными органами. Но значительная часть местного населения и тогда воспринимала государственные органы как инстанцию, принудительно навязанную извне. Это восприятие государства как чего-то чужого постоянно подкреплялось регулярными демонстрациями гегемонии со стороны петербургских чиновников. Тот факт, что существовавший вообще в Российской империи антагонизм между обществом и самодержавием усугублялся в периферийных районах чужестрою слуг правящего режима, имел существенные последствия для дееспособности государственного аппарата на местах. В условиях ограниченности ресурсов, имевшихся в распоряжении царской бюрократии, государственное строительство в окраинных районах быстро исчерпало возможности роста. Претендовавшее на всеисилие самодержавное государство, которое взялось организовывать общественную жизнь почти вовсе без участия общества, не сумело вырваться из этой изоляции, в какую само себя загнало. Лишенная социальной базы, государственная власть представляла собой слабого

актера, обладающего весьма ограниченными возможностями для управления ситуацией на местах⁸⁴⁵.

Без сомнения, после издания Основных законов 1906 года политические условия в России и Австро-Венгрии стали значительно более схожи. Теперь и в России заработала внутренняя динамика политической публичной сферы, даже притом что возможности участия российского общества в политической деятельности все еще были гораздо скромнее тех, которые существовали в австрийской части Дунайской монархии, и больше напоминали политическую ситуацию в Венгрии⁸⁴⁶. Как и в Габсбургской империи, возрастающий динамизм рынка политических мнений в России привел скорее к обострению, чем к успокоению многочисленных «национальных вопросов», существовавших в полиэтнической империи. В условиях дополнительной нагрузки, вызванной мировой войной, именно им суждено было привести к распаду обеих «композитных монархий». Специфика России здесь, безусловно, заключается в том, что государственная бюрократия в последнее десятилетие своего существования активно способствовала усилению национального момента в империи: пытаясь преодолеть кажущийся анахронизм «мозаичной монархии» с ее многочисленными особыми правовыми зонами, центральные инстанции все больше и больше делали ставку на открытое признание привилегированного статуса за русскими. Именно русские считались в приграничных регионах носителями царской власти и более, чем любой другой народ, представлялись гарантом единства и желаемой унификации гетерогенной империи. Пусть часть многонациональной дворянской элиты и чиновничества и противилась этой тенденции – все равно, начиная с правительства Столыпина, мы можем говорить об осознанном курсе Петербурга на превращение Российской империи в национальное государство, который, помимо прочего, позволил русским националистам занять гораздо более сильные политические позиции в III и IV Думах.

Итак, в отличие от Австро-Венгрии российская бюрократия своими все более активными и не надпартийными действиями способствовала обострению национальных конфликтов в империи и на ее периферии⁸⁴⁷. Национально окрашенные антагонизмы окраин подталкивали там и представителей центра мыслить в категориях национальной принадлежности и национальных противоречий.

Многочисленные проблемы, с которыми сталкивалась имперская власть в приграничных регионах, ускорили усиление национальной составляющей мировоззрений, в ходе которого прежние, наднациональные концепции лояльности все больше утрачивали свое значение и в петербургских властных инстанциях. Таким образом, периферия постепенно навязывала центру логику именно межнациональной конфронтации. В России, где составляющие ее земли сосуществовали как отдельные особые зоны, но в имперском мышлении сливались в великое единое и неразрывное целое, такая интенсификация взаимодействия провинции и метрополии была почти неизбежна⁸⁴⁸.

В этом интегральном представлении об империи заключалась весьма важная специфика Российского государства, которая в конечном счете и обрекла его политическую систему на крушение. Центр и периферия были сплетены друг с другом так, что насильственного отделения окраинных провинций монархия не выдержала. Самодержавие пережило потерю большей части своих западных окраин в 1915–1916 годах лишь на короткое время: в марте 1917 года Николай II был принужден отречься от престола. Даже Ставку российской армии уже нельзя было подвинуть на поддержку императора. Царь без империи был институтом лишним, от которого можно было безболезненно избавиться.

Для Царства Польского приход немецкой армии летом 1915 года означал внезапное окончание 123-летнего российского господства. Многие из перемен, происходивших потом – в годы войны под немецкой оккупацией и в годы Второй республики, – осуществились под влиянием разделов, отбрасывавших длинную тень в будущее. Иностранное господство, длившееся более века, оставило глубокие следы. Структурные различия между бывшими российской, австрийской и прусской зонами после 1918 года осложняли внутреннюю консолидацию молодой Польской республики. К этому добавлялись существенные различия в культурном облике, обусловленные длительной жизнью в составе трех империй. Не только железные дороги в трех частях Польши имели различную ширину колеи: их экономические и образовательные системы, социальные сети и культурные горизонты были – несмотря на кросс-граничный трансфер, имевший место в XIX веке, – сформированы

соответствующими имперскими структурами и практиками господства, существовавшими в трех разных великих державах. Так, опыт чиновника в Галиции, привыкшего жить и работать в провинциальной администрации, обладавшей значительной степенью автономии, принципиально отличался от политических ментальностей тех поляков, что выросли в условиях многолетней подпольной борьбы в российской части Польши. Вторая Польская республика столкнулась с почти неразрешимой проблемой преодоления раскола и создания однородного национального государства из фрагментов постимперских обществ.

На этом фоне легко понять стремление быстрее избавиться от зримых следов бывшего иностранного господства. И здесь новые польские правительства смогли добиться успехов. Когда в 1924 году Альфред Дёблин гулял по Варшаве, вновь ставшей столицей Польши, он едва ли не с удивлением отмечал, как мало в ней заметно было сброшенное русское владычество. Конечно, порой еще попадались остатки угнетательского режима. Так, увидев руины Александровского собора, Дёблин записал: «А тут – Бог свидетель – ужасно и цепеняще разинула свою пасть волжская степь. [...] Тут вздыбилась и замерла сдавливающая грудь Азия»⁸⁴⁹. Но снос уже начался, осиротевшее здание было окружено дощатым забором, обклеенным киноафишами. Дёблин увидел в этом победу современности, триумф новой, постимперской повседневности над прошлым российского рабства. За оградой рушилось наследие империи, а снаружи бурлила городская суeta современного мегаполиса: вот «проносится автомобиль, выкрикивают заголовки „Варшавского курьера“, сверкают современные витрины. [...] Воспоминание о былом несчастье и унижении устранено»⁸⁵⁰. Казалось, что российское владычество превратилось в оконченную главу для учебников истории.

АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ, СОКРАЩЕНИЯ

Варшавская городская публичная библиотека / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Варшава

Варшавская университетская библиотека / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), Варшава

Главный архив древних актов / Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Варшава

Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ), Москва

Государственный архив города Варшавы / Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (APW), Варшава

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Москва

Польская национальная библиотека / Biblioteka Narodowa, Варшава

Российская государственная библиотека (РГБ), Москва

Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург

Российский государственный исторический архив (РГИА), Санкт-Петербург

Сокращения в ссылках на архивные материалы:

KGGW: Kancelaria General-Gubernatora Warszawskiego / Канцелярия варшавского генерал-губернатора

KGW: Kancelaria Gubernatora Warszawskiego / Канцелярия варшавского губернатора

PomGGW: Pomocnik General-Gubernatora Warszawskiego do Spraw Policyjnych / Помощник варшавского генерал-губернатора по полицейской части

WKC: Warszawski Komitet Cenzury / Варшавский цензурный комитет / Варшавский комитет по делам печати

WWO: Warszawski Wydział dla Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego przy Zarządzie Warszawskiego Oberpolicmajstra / Варшавское

отделение охраны порядка и общественной безопасности при
Управлении варшавского обер-полицмейстера

БИБЛИОГРАФИЯ⁸⁵¹

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

Баженова А. Историки Императорского Варшавского Университета 1869–1915. Просвещение, наука, политика. Люблин, 2014.

Бардах Ю. Русские союзники борьбы за польскую высшую школу в Царстве Польском в 1905–1906 гг. // Шапов Я. Н., Фалькович С. М., Щавелева Н. И. (ред.). Культурные связи России и Польши XI–XX вв. М., 1998. С. 141–158.

Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи. Государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). М., 2004.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 2001.

Верт П. В. Трудный путь к католицизму. Вероисповедная принадлежность и гражданское состояние после 1905 г. // *Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis*. 2005. № 26. С. 447–474.

Волков В. К. (ред.). Российско-польские научные связи в XIX–XX вв. М., 2003.

Волков В. К. (ред.). *Studia polonica*: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.

Володин А. Ю. История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. М., 2009.

Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. В поисках новой имперской истории // Они же (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань, 2004. С. 7–32.

Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. Языки самоописания империи и нации как исследовательская проблема и политическая дилемма // *Ab Imperio*. 2005. № 1. С. 1–12.

Гетманский А. Е. Политика России в польском вопросе (60-е гг. XIX века) // Вопросы истории. 2004. № 5. С. 24–45.

Глезеров С. Петербург Серебряного века. Быт и нравы. М., 2007.

Глушковский П., Горизонтов Л. Ф. В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века. Эволюция идентичности и политических воззрений. СПб., 2013.

Горизонтов Л. Е. Выбор носителя «русского начала» в польской политике Российской империи. 1831–1917 // Хорев В. А. (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 107–116.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики. Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М., 1999.

Гринченко Н. А. История цензурных учреждений в России в первой половине XIX века // Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001. С. 15–46.

Гумб К. Угрожать и наказывать. Русская армия в Варшаве в 1904–1906 гг. // Ab Imperio. 2008. № 3. С. 157–194.

Данилов А. Г. Университет. Варшава – Ростов-на-Дону (1915–1917 гг.) // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 2000. С. 123–145.

Демин В. А. Верхняя палата Российской империи 1906–1917. М., 2006.

Джаксон Т. Н., Комаров А. А., Михайлова Ю. Л., Назарова Е. Л. (ред.). Россия и Прибалтийский регион в XIX–XX вв.: проблемы взаимоотношений в меняющемся мире. М., 2013.

Дмитриев А., Маурер Т. (ред.). Университет и город в России (начало XX века). М., 2009.

Долбилов М. Д. Конструирование образов мятежа. Политика М. Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863–1865 гг. как объект историко-антропологического анализа // Филюшкин А. И. (ред.). Actio Nova 2000: Сборник статей. М., 2000. С. 338–408.

Долбилов М. Д. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // Ab Imperio. 2001. № 1–2. С. 227–268.

Долбилов М. Поляк в имперском политическом лексиконе // Миллер А. (ред.). «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. М., 2012. С. 292–339.

Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010.

Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины Российской империи. М., 2006.

Долбилов М., Сталюнас Д. Обратная уния. Из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи 1840–1873. Вильнюс, 2010.

Дьяков В. А. Славянофильские тенденции в польской общественной мысли накануне и во время Славянского съезда 1848 г. // Досталь М. Ю. (ред.). Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994. С. 40–59.

Дьяков В. А., Миллер И. С., Мыльников А. С. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979.

Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001.

Иванов А. Е. Высшая школа в Российской провинции. География размещения (правительственная политика и общественная инициатива). Конец XIX – начало XX вв. // Шмидт С. О. (ред.). Российская провинция XVIII–XX веков. Пенза, 1996. С. 51–60.

Иванов А. Е. Профессорско-преподавательский корпус высшей школы России конца XIX – начала XX века. Общественно-политический облик // История СССР. 1990. № 5. С. 60–76.

Иванов А. Е. Русский университет в Царстве Польском. Из истории университетской политики самодержавия. Национальный аспект // Отечественная история. 1997. № 6. С. 23–33.

Карпачев М. Д., Долбилов М. Д., Минаков А. Ю. (ред.). Российская империя: стратегия стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004.

Каупууж А. В. О царском цензурном «шлагбауме» в Варшаве второй половины XIX в. // Взаимосвязи славянской литературы. Л., 1966. С. 152–155.

Качинская Э. Поляки в Сибири (1815–1914). Социально-демографический аспект // Романов П. С. (ред.). Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. С. 265–277.

Каштанова О. С. Польский вопрос в международной политике 1830-х – начала 1860-х гг. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 383–461.

Каштанова О. С. Развитие просвещения и культуры в Королевстве Польском в 30-х – начале 60-х гг. XIX в. // Фалькович С. М. (ред.). Меж

двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 603–655.

Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900–1917. М., 2003.

Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северно-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005.

Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия. М., 2001.

Кром М. М. (ред.). Новая политическая история: Сборник научных работ. СПб., 2004.

Кулик М. Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830 // Славяноведение. 2013. № 1. С. 105–107.

Лаптева Л. П. В. А. Францев как исследователь русско-польских научных связей в XIX в. // Щапов Я. Н., Фалькович С. М., Щавелева Н. И. (ред.). Культурные связи России и Польши XI–XX вв. М., 1998. С. 128–140.

Лаптева Л. П. Изучение славянских литератур в университетах России в XIX – начале XX века // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 1999. С. 101–120.

Лаптева Л. П. История Российских университетов в XVIII – начале XX века в новейшей отечественной литературе (1985–1999 годы) // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 2000. С. 3–28.

Лаптева Л. П. Русский историк Н. И. Кареев (1880–1931) и его взаимоотношения с политическими режимами России // Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Брянск: Центр славяноведения, 2000. С. 88–95.

Лаптева Л. П. Славянский вопрос в мировоззрении П. А. Кулаковского (по архивным материалам) // Дьяков В. А. (ред.). Славянская идея: История и современность. М., 1998. С. 111–126.

Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. по подлинным делам Третьего отделения собст. Е. И. Величества канцелярии. СПб., 1909.

Лескинен М. В. Польша и поляки в российских этнографических очерках конца XIX в. // Хорев В. А. (ред.). Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002. С. 134–155.

Липатов А. В., Шайтанов И. О. (сост.). Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.

Луночкин А. В. От сотрудничества к конфронтации. Газета «Голос» и цензура // Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001. С. 77–94.

Макарова Г. В. Патриотическое общественное движение в Королевстве Польском в 1830-х – начале 1860-х гг. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 271–383.

Мамонов А. В. Самодержавие и «славянское движение» в России в 1875–1877 годах // Отечественная история. 2004. № 3. С. 60–77.

Марней Л. П. Экономическое развитие Королевства Польского и Российской империи в 30–50-х гг. XIX в. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 199–271.

Маурер Т. Университет и (его) город. Новая перспектива для исследования истории российских университетов // Дмитриев А., Маурер Т. (ред.). Университет и город в России (начало XX века). М., 2009. С. 5–104.

Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи. От этнического к пространственному подходу // Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань, 2004. С. 427–458.

Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.

Миллер А. (ред.). «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. М., 2012.

Миллер А. Русификация – классифицировать и понять // *Ab Imperio*. 2000. № 2. С. 133–148.

Милюков П. Н. Воспоминания. М., 2001.

Милюков П. Н. Национальный вопрос. Происхождение национальности и национальные вопросы в России. Прага, 1925.

Михальченко С. И. Из истории юридического факультета Варшавского университета (конец XIX – начало XX века) //

Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 1999. С. 71–81.

Михальченко С. И. К истории Общества истории, филологии и права при Варшавском университете // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 2000. С. 146–153.

Могильнер М. Ното Imperii. История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.). М., 2008.

Новак А. Борьба за окраины, борьба за выживание. Российская империя XIX в. и поляки, поляки и империя (обзор современной польской историографии) // Долбилов М. Д., Миллер А. (ред.). Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 429–464.

Носов Б. В. Накануне Январского восстания (1856–1862 гг.) // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 655–735.

Носов Б. В. Подавление восстания 1830–1831 гг. и установление режима чрезвычайного управления // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 15–89.

Носов Б. В. Политика царского правительства в Королевстве Польском времени наместничества И. Ф. Паскевича // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 89–199.

Патрушева Н. Г. Цензура в России во второй половине XIX века в воспоминаниях современников // Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001. С. 95–101.

Пиетров-Эннкер Б., Ульянова Г. Н. (ред.). Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX – начало XX века. М., 2007.

Полунов А. Ю. Духовное ведомство и униатский вопрос. 1881–1894 // Кукушкин Ю. С., Захарова Л. Г. (ред.). П. А. Зайончковский. 1904–1983 гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998. С. 256–264.

Постников Н. Д. Террор польских партий против представителей русской администрации в 1905–1907 гг. // Морозов К. Н. (ред.).

Индивидуальный политический террор в России. XIX – начало XX в. М., 1996. С. 112–117.

Правилова Е. Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917. М., 2006.

Розенталь И. С. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2004.

Рольф М. Император в Варшаве. Визуализации империи на исходе XIX столетия // Нагорная О., Нарский И., Никонова О. (ред.). Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 2008. С. 319–338.

Рольф М. Чиновники в разъездах. К вопросу о структурах и действующих лицах имперской бюрократии на закате Российской империи // Исторический курьер. 2018. № 1. С. 84–102.

Сабирова А. Становление проблематики имперских и национальных исследований в современной российской научной периодике // Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань, 2004. С. 575–598.

Семенов А. М. Англо-американские исследования по истории Российской империи и СССР // Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань, 2004. С. 613–628.

Смирнов А. Ф. Государственная Дума Российской империи 1906–1917. Историко-правовой очерк. М., 2008.

Сокол К. Г. Русская Варшава: Справочник-путеводитель. М., 2002.

Солодухина И. И. Польский вопрос в русской публицистике в 60-е гг. XIX века по страницам газеты «День» // Московский государственный открытый педагогический университет. Ученые записки кафедры всеобщей истории. М., 1996. С. 54–63.

Сонин А. С. Георгий Викторович Вульф (1863–1925). М., 2001.

Сталюнас Д. Границы в пограничье. Белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных окраинах в период Великих реформ // Ab Imperio. 2003. № 1. С. 262–292.

Табачников Б. Я. Студенческое движение в высших учебных заведениях Королевства Польского в 1910–1911 гг. // Дьяков В. А., Миллер И. С. (ред.). Связи революционеров России и Польши XIX – начала XX в. М., 1968. С. 122–131.

Уортман Р. Поездки Александра II по Российской империи // Кукушкин Ю. С., Захарова Л. Г. (ред.). П. А. Зайончковский. 1904–1983 гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998. С. 220–237.

Фалькович С. М. Заключение // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 735–741.

Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016.

Фалькович С. М. Польская «Великая эмиграция» 1831 – начала 1860-х гг. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 461–603.

Фалькович С. М. Сотрудничество русских и польских неославистов и славянские съезды начала XX в. // Досталь М. Ю. (ред.). Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994. С. 113–127.

Фалькович С. М., Носов Б. В. Предисловие // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е гг. XIX в. М., 2016. С. 9–15.

Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001.

Фут П. Санкт-Петербургский цензурный комитет. 1828–1905. Персональный состав // Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001. С. 47–65.

Хорев В. А. (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.

Хорев В. А. Роль польского восстания 1830 г. в историографии и историософии // Липатов А. В., Шайтанов И. О. (сост.). Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000. С. 100–109.

Хорев В. А. (ред.). Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.

Чернуха В. Г. Цензура в Европе и России // Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001. С. 8–14.

Чирскова И. М. Университеты в системе правительственной политики России второй половины XIX века // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 2000. С. 65–84.

Штакельберг Ю. И. Об эмблематике польского восстания 1863 г. // Дьяков В. А., Миллер И. С. (ред.). Связи революционеров России и Польши XIX – начала XX в. М., 1968. С. 81–95.

Achmatowicz A. Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915. Warszawa, 2003.

Altieri R. Polen als Spielball der Mächte? // Altieri R. (Hg.). Spielball der Mächte. Beiträge zur polnischen Geschichte. Bonn, 2014. S. 7–13.

Aretin K. O. F. von. Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleichgewichtssystems der europäischen Großmächte. Die polnischen Teilungen als europäisches Schicksal // Zernack K. (Hg.). Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701–1871. Berlin, 1982. S. 53–68.

Ascher A. The Revolution of 1905. Russia in Disarray. Stanford, 1988.

Baberowski J. Auf der Suche nach Eindeutigkeit. Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und der Sowjetunion // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1999. Bd. 47. H. 3. S. 482–503.

Baberowski J. Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt am Main, 1996.

Baberowski J. Diktaturen der Eindeutigkeit. Ambivalenz und Gewalt im Zarenreich und in der frühen Sowjetunion // Baberowski J. (Hg.). Moderne Zeiten? Krieg, Revolution und Gewalt im 20. Jahrhundert. Göttingen, 2006. S. 37–59.

Baberowski J. Kriege in staatsfernen Räumen. Rußland und die Sowjetunion 1905–1950 // Beyrau D., Hochgeschwender M., Langewiesche D. (Hg.). Formen des Krieges. Von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn, 2007. S. 291–309.

Baddeley J. F. The Russian Conquest of the Caucasus. New York, 1969.

Balabuch H. Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915. Lublin, 2001.

Balkelis T. In Search of a Native Realm. The Return of World War One Refugees to Lithuania, 1918–24 // Baron N., Gatrell P. (eds). *Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924.* London, 2004. P. 74–97.

Balkelis T. *The Making of Modern Lithuania.* London, 2009.

Balmuth D. The Origins of the Tsarist Epoch of Censorship Terror // *American Slavic and East European Review.* 1960. Vol. 19. No. 4. P. 497–520.

Bassin M. Geographies of imperial identity // Lieven D. (ed.). *The Cambridge History of Russia.* Cambridge, 2006. P. 45–63.

Bazyłow L. *Polacy w Petersburgu.* Wrocław, 1984.

Beauvois D. La bataille de la terre en Ukraine, 1863–1914. Les Polonais et les conflits socio-ethniques. Lille, 1993.

Beauvois D. Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793–1830. Paris, 1996.

Berger S., Miller A. Introduction. Building Nations in and with Empires. A Reassessment // Berger S., Miller A. (eds). *Nationalizing Empires.* Budapest, 2015. P. 1–30.

Berger S., Miller A. (eds). *Nationalizing Empires.* Budapest, 2015.

Beylin K. W Warszawie w latach 1900–1914. Warszawa, 1972.

Beyrau D. Liberaler Adel und Reformbürokratie im Rußland Alexanders II // Langewiesche D. (Hg.). *Liberalismus im 19. Jahrhundert.* Göttingen, 1988. S. 499–514.

Beyrau D. Russische Interessenzonen und europäisches Gleichgewicht 1860 bis 1870 // Kolb E. (Hg.). *Europa vor dem Krieg von 1870.* München, 1987. S. 65–76.

Bhabha H. K. *Die Verortung der Kultur.* Tübingen, 2000.

Bilenky S. *Imperial Urbanism in the Borderlands: Kyiv, 1800–1905.* Toronto: Toronto University Press, 2018.

Binder H. Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Wien, 2005.

Blejwas S. A. Warsaw Positivism – Patriotism Misunderstood // *The Polish Review.* 1982. Vol. 27. No. 1–2. P. 47–54.

Blobaum R. E. Criminalizing the «Other». Crime, Ethnicity, and Antisemitism in Early Twentieth-Century Poland // *Blobaum R. E.* (ed.). *Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland*. Ithaca, 2005. P. 81–102.

Blobaum R. E. Feliks Dzierżyński and the SDKPiL. A Study of the Origins of Polish Communism. New York, 1984.

Blobaum R. E. Introduction // *Blobaum R. E.* (ed.). *Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland*. Ithaca, 2005. P. 1–19.

Blobaum R. E. Rewolucja. Russian Poland, 1904–1907. Ithaca, 1995.

Blobaum R. E. The Politics of Antisemitism in Fin-de-Siecle Warsaw // *The Journal of Modern History*. 2001. Vol. 73. No. 2. P. 275–306.

Bloch B. Urban Ecology of the Jewish Population of Warsaw, 1897–1939 // *Papers in Jewish Demography*. 1981. P. 381–399.

Bömelburg H.-J. Inklusion und Exklusion nach der Ersten Teilung Polen-Litauens. Die österreichische, preußische und russländische Regierungspraxis in Galizien, Westpreußen und den weißrussischen Gouvernements Polack und Mahileŭ im Vergleich (1772–1806/07) // *Bömelburg H.-J., Gestrich A., Schnabel-Schüle H.* (Hg.). *Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen*. Osnabrück, 2013. S. 171–200.

Bömelburg H.-J., Gestrich A., Schnabel-Schüle H. (Hg.). *Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen*. Osnabrück, 2013.

Boyer J. W. Karl Lueger. Christlichsoziale Politik als Beruf. Köln, 2010.

Brauneder W. Parlamentarismus und Parteiensysteme in der Österreichisch-Cisleithanischen Reichshälfte 1867–1918 // *Erdödy G.* (Hg.). *Das Parteienwesen Österreich-Ungarns*. Budapest, 1983.

Breyer R. Südpreußen, Neuostpreußen und das Herzogtum Warschau // *Rogall J.* (Hg.). *Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land der großen Ströme. Von Polen nach Litauen*. Berlin, 1996. S. 172–193.

Breyer R., Kenéz C. J. Das russische Teilgebiet 1815 bis 1914 // *Rogall J.* (Hg.). *Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land der großen Ströme. Von Polen nach Litauen*. Berlin, 1996. S. 282–341.

Brock P. Polish Nationalism // *Sugar P. F., Lederer I. J.* (eds). *Nationalism in Eastern Europe*. Seattle, 1971. P. 310–372.

Brower D. R. The Russian City between Tradition and Modernity, 1850–1900. Berkeley, 1990.

Brzostek B. Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek. Warszawa, 2015.

Brzoza C., Stepan K. (red.). Posłowie Polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. Słownik biograficzny. Warszawa, 2001.

Buchen T. Religiöse Mobilisierung im Reich. Die imperialen Lebensläufe und politischen Karrieren von Joseph Bloch und Stanisław Stojalowski in der Habsburgermonarchie // *Geschichte und Gesellschaft*. 2014. Bd. 40. No. 1. S. 117–141.

Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918) // *Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850–1918)*. Berlin, 2015.

Buchen T., Rolf M. Elites and Their Imperial Biographies. Introduction // *Buchen T., Rolf M.* (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918) // *Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850–1918)*. Berlin, 2015. S. 33–37.

Burbank J., Ransel D. L. (eds). *Imperial Russia. New Histories for the Empire*. Bloomington, 1998.

Cadiot J. Searching for Nationality. Statistics and National Categories at the End of the Russian Empire (1897–1917) // *Russian Review*. 2005. Vol. 64. No. 3. P. 440–455.

Cała A. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa, 1898.

Caumanns U. Miasto i zdrowie a perspektywa porównawcza. Uwagi metodyczne na przykładzie reform sanitarnych w XIX-wiecznej Warszawie // *Medycyna Nowożytna*. 2000. T. 7. No. 1. S. 45–62.

Cegielski J. Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–1964. Warszawa, 1968.

Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, 2000.

Chimiak Ł. Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego. Wrocław, 1999.

Chimiak Ł. Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. // *Przegląd Historyczny*. 1997. T. 88. No. 4. S. 441–458.

Chimiak Ł. Memoriał Generał-Gubernatora Skałona w sprawie obchodów w Warszawie setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego // *Przegląd Historyczny*. 1996. T. 5. S. 161–165.

Chimiak Ł. Rosyjscy gubernatorzy lubelscy w latach 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego // *Stegner T.* (red.). *Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody. Zbiór studiów*. Gdańsk, 1997. S. 208–235.

Chulos C. J., Remy J. (eds). *Imperial and National Identities in Pre-Revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Russia*. Helsinki, 2002.

Chwalba A. *Historia Polski 1795–1918*. Kraków, 2001.

Chwalba A. *Imperium korupcji w Rosji w Królestwie Polskim w latach 1861–1917*. Kraków, 1995.

Chwalba A. *Polacy w służbie Moskali*. Warszawa, 1999.

Cohen B. C. *The Press, the Public and Foreign Policy*. Princeton, 1963.

Corrsin S. D. *Language Use in Cultural and Political Change in Pre-1914 Warsaw. Poles, Jews, and Russification* // *The Slavonic and East European Review*. 2002. Vol. 68. No. 1. P. 69–90.

Corrsin S. D. *Warsaw before the First World War. Poles and Jews in the Third City of the Russian Empire 1880–1914*. New York, 1989.

Corrsin S. D. *Works on Polish-Jewish Relations Published since 1990. A Selective Bibliography* // *Blobaum R. E.* (ed.). *Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland*. Ithaca, 2005. P. 326–341.

Cybulski M. *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863–1918)*. Warszawa, 2009.

Czubaty J. *Księstwo Warszawskie (1807–1815)*. Warszawa, 2011.

Czubaty J. *Zasada «dwóch sumień». Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815)*. Warszawa, 2005.

Daly J. W. *The Watchful State. Security Police and Opposition in Russia, 1906–1917*. DeKalb, 2004.

Davies N. *God's Playground. A History of Poland. 1795 to the Present*. Oxford, 2005.

Davies N. *Heart of Europe. The Past in Poland's Present*. Oxford, 2001.

Deák I. *Der K. (u.) K. Offizier 1848–1918*. Wien, 1991.

Dmowski R. *Deutschland, Rußland und die polnische Frage (Auszüge)* // *Chwalba A.* (Hg.). *Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis*. Frankfurt am Main, 1994. S. 111–128.

Döblin A. *Reise in Polen*. München, 2000.

Dolbilov M. Loyalty and Emotion in Nineteenth-Century Russian Imperial Politics // Osterkamp J., Schulze Wessel M. (eds). *Exploring Loyalty*. Göttingen, 2017. P. 17–44.

Dolbilov M. Russian Nationalism and the Nineteenth-Century Policy of Russification in the Russian Empire's Western Region // Matsuzato K. (ed.). *Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire*. Sapporo, 2007. P. 141–158.

Dolbilov M. Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire's Northwestern Region in the 1860s // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2004. Vol. 5. No. 2. P. 245–272.

Drozdowski M. Die Reformen des Großen Sejms in der Praxis // Jaworski R. (Hg.). *Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791*. Frankfurt am Main, 1993. S. 43–53.

Drozdowski M. M. *Warszawiacy i ich miasto w latach drugiej Rzeczypospolitej*. Warszawa, 1973.

Dybaś B. (Hg.). *Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815*. Wien, 2020 (в печати).

Dziewanowski M. K. The Polish Revolutionary Movement and Russia, 1904–1907 // McLean H., Malia M. E., Fischer G. (eds). *Russian Thought and Politics*. Cambridge, 1957. P. 375–394.

Eckert A. Kolonialismus, Moderne und koloniale Moderne in Afrika // Baberowski J., Kaelble H., Schriewer J. (Hg.). *Selbstbilder und Fremdbilder. Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel*. Frankfurt am Main, 2008. S. 53–66.

Edgerton R. B. *Death or Glory. The Legacy of the Crimean War*. Boulder (Col.), 1999.

Eich U. *Rußland und Europa. Studien zur russischen Deutschlandpolitik in der Zeit des Wiener Kongresses*. Köln, 1986.

Eile S. *Literature and Nationalism in Partitioned Poland, 1795–1918*. Houndmills, 2000.

Eisenstadt S. N. *Die Vielfalt der Moderne*. Weilerswist, 2000.

Eklof B., Bushnell J., Zakharova L. (eds). *Russia's Great Reforms 1855–1881*. Bloomington, 1994.

Engelstein L. *Slavophile Empire. Imperial Russia's Illiberal Path*. Ithaca, 2009.

Evtuhov C., Gasparov B., Ospovat A., Hagen M. von (eds). *Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire*. Moscow,

1997.

Ferenczi C. Funktion und Bedeutung der Presse in Russland vor 1914 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1980. Bd. 30. H. 1. S. 362–398.

Fiećko J., Trybuś K. (red.). *Obraz Rosji w literaturze polskiej*. Poznań, 2012.

Figes O. *Crimea: The Last Crusade*. London, 2010.

Figes O. *The Crimean War: A History*. New York, 2011.

Flynn J. T. *The University Reform of Tsar Alexander I, 1802–1835*. Washington, 1988.

Fountain A. *Roman Dmowski. Party, Tactics, Ideology 1895–1907*. New York, 1980.

Friedrich A. Polish Literature's Portrayal of Jewish Involvement in 1905 // Hoffman S., Mendelsohn E. (eds). *The Revolution of 1905 and Russia's Jews*. Philadelphia, 2008. P. 143–151.

Fuller W. C. *Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881–1914*. Princeton, 1985.

Ganzenmüller J. *Ordnung als Repräsentation von Staatsgewalt. Das Zarenreich in der litauisch-weißrussischen Provinz (1772–1832)* // Baberowski J., Feest D., Gumb C. (Hg.). *Imperiale Herrschaft in der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich*. Frankfurt am Main, 2008. S. 59–80.

Ganzenmüller J. *Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Elitenintegration und Staatsausbau im Westen des Zarenreiches (1772–1850)*. Köln, 2013.

Ganzenmüller J. *Zwischen Elitenkooptation und Staatsausbau. Der polnische Adel und die Widersprüche russischer Integrationspolitik in den Westgouvernements des Zarenreiches (1772–1850)* // *Historische Zeitschrift*. 2010. Bd. 291. S. 625–662.

Gatrell P. *War, Population Displacement and State Formation in the Russian Borderlands, 1914–24* // Baron N., Gatrell P. (eds). *Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924*. London, 2004. P. 10–34.

Gebhard J. *Ein problematisches Modernisierungsexempel. Lublin 1815–1914* // Goehrke C., Pietrow-Ennker B. (Hg.). *Städte im östlichen Europa. Zur Problematik von Modernisierung und Raum vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert*. Zürich, 2006. S. 215–251.

Gebhard J. Lublin. Eine polnische Stadt im Hinterhof der Moderne (1815–1914). Köln, 2006.

Geraci R. P., Khodarkovsky M. (eds). Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia. Ithaca, 2001.

Gerasimov I. V., Glebov S. V., Kaplunovskij A. P., Mogil'ner M. B., Semyonov A. M. Homo Imperii Revisits the «Biographic Turn» // *Ab Imperio*. 2009. No. 1. P. 17–21.

Gerasimov I. V., Glebov S. V., Kaplunovskij A. P., Mogil'ner M. B., Semyonov A. M. In Search of New Imperial History // *Ab Imperio*. 2005. No. 1. P. 33–56.

Gerasimov I., Glebov S., Kusber J., Mogilner M., Semyonov A. New Imperial History and the Challenges of Empire // *Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A.* (eds). Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire. Leiden, 2009. P. 3–32.

Geršenzon M. Schöpferische Selbsterkenntnis // *Schlögel K.* (Hg.). *Vechi. Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz*. Frankfurt am Main, 1990. S. 140–175.

Getka-Kenig M. Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu. Przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1785–1830) // *Kulecka A.* (red.). *Urzednicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów*. Warszawa, 2017. S. 39–52.

Geyer D. Der russische Imperialismus. Studien über den Zusammenhang von innerer und auswärtiger Politik 1860–1914. Göttingen, 1977.

Geyer D. «Gesellschaft» als staatliche Veranstaltung. Bemerkungen zur Sozialgeschichte der russischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1966. Bd. 14. H. 1. S. 21–50.

Gill A. Freiheitskämpfe der Polen im 19. Jahrhundert. Erhebungen – Aufstände – Revolutionen. Frankfurt am Main, 1997.

Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków, 2000.

Golczewski F. Polnisch-jüdische Beziehungen 1881–1922. Eine Studie zum Antisemitismus in Osteuropa. Wiesbaden, 1981.

Gorizontov L. The Geopolitical Dimension of Russian-Polish Confrontation in Nineteenth and Early Twentieth Centuries // *Ransel D. L., Shallcross B.* (eds). *Polish Encounters, Russian Identity*. Bloomington, 2005. P. 122–143.

Grandits H., Judson P., Rolf M. Empires and Nations in the late 19th and early 20th centuries // Ferhadbegovic S., Puttkamer J. von, Borodziej W. (eds). *The Jena History of Twentieth-Century Central and Eastern Europe*. London, 2020 (в печати).

Grodziski S. Die Verfassung vom 3. Mai 1791. Das erste polnische Grundgesetz // *Aus Politik und Zeitgeschichte*. 1987. Bd. 30/31. S. 40–46.

Gruner W. D. Der Wiener Kongress 1814/15. Stuttgart, 2014.

Guesnet F. «Die beiden Bekenntnisse leben weit entfernt voneinander, sie kennen und schätzen sich gegenseitig nicht». Das Verhältnis von Juden und Deutschen im Spiegel ihrer Organisationen im Lodz des 19. Jahrhunderts // Hensel J. (Hg.). *Polen, Deutsche, Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft*. Wiesbaden, 1999. S. 139–170.

Guesnet F. Polnische Juden im 19. Jahrhundert. Lebensbedingungen, Rechtsnormen und Organisation im Wandel. Köln, 1998.

Guesnet F. «Wir müssen Warschau unbedingt russisch machen». Die Mythologisierung der russisch-jüdischen Zuwanderung ins Königreich Polen zu Beginn unseres Jahrhunderts am Beispiel eines polnischen Trivialromans // Behring E. et al. (Hg.). *Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südosteuropas*. Stuttgart, 1999. S. 99–116.

Hagen M. Das Nationalitätenproblem Russlands in den Verhandlungen der III. Duma 1907–1911. PhD Dis. Universität Göttingen. Göttingen, 1964.

Hagen M. Die Entfaltung politischer Öffentlichkeit in Rußland 1906–1914. Wiesbaden, 1982.

Hahn H.-H. Außenpolitik in der Emigration. Die Exilpolitik Adam Jerzy Czartoryskis 1830–1848. München, 1978.

Hahn H.-H. Die erste «Große Emigration» der Polen und ihr historischer Stellenwert // Krasnodebski Z. (Hg.). *Sendung und Dichtung. Adam Mickiewicz in Europa*. Hamburg, 2002. S. 207–227.

Hahn H.-H. Die Polenbestimmungen der Wiener Schlußakte. Eine politische und völkerrechtshistorische Analyse // Dybaś B. (Hg.). *Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815*. Wien, 2020 (в печати).

Hall C. *Civilising Subjects. Metropole and Colony in the English Imagination, 1830–1867*. Cambridge, 2002.

Hamm M. F. *Continuity and Change in Late Imperial Kiev* // Hamm M. F. (ed.). *The City in Late Imperial Russia*. Bloomington, 1986.

P. 79–122.

Hamm M. F. Kiev: A Portrait, 1800–1917. Princeton, 1986.

Hanisch E. Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Wien, 1994.

Haslinger P., Rolf M. Untergangsszenarien und Zukunftsvisionen in Europas Fin de Siècle – Zur Einführung // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 2015. Bd. 63. No. 11. S. 1–15.

Haumann H. Geschichte der Ostjuden. München, 1998.

Hausmann K. G. Die politischen Ideen Roman Dmowskis. Ein Beitrag zur Geschichte des Nationalismus in Ostmitteleuropa. Kiel, 1968.

Henriksson A. Riga. Growth, Conflict and the Limitations of Good Government, 1850–1914 // Hamm M. F. (ed.). The City in Late Imperial Russia. Bloomington, 1986. P. 177–207.

Hensel J. (Hg.). Polen, Deutsche, Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft. Osnabrück, 1999.

Herbst S. Ulica Marszałkowska. Warszawa, 1978.

Hildermeier M. Die jüdische Frage im Zarenreich. Zum Problem der unterbliebenen Emanzipation // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1984. Bd. 32. S. 321–357.

Hillis F. Children of Rus'. Right-Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation. Ithaca, 2013.

Hillis F. Making and Breaking the Russian Empire: The Case of Kiev's Shul'gin Family // Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918) // Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850–1918). Berlin, 2015. S. 178–198.

Hochedlinger M. «Herzensfreundschaft» – Zweckgemeinschaft – Hypothek? Das russisch-österreichische Bündnis von 1781 bis zur zweiten Teilung Polens // Scharf C. (Hg.). Katharina II., Russland und Europa. Beiträge zur Internationalen Forschung. Mainz, 2001. S. 183–225.

Hochedlinger M. Krise und Wiederherstellung. Österreichische Großmachtpolitik zwischen Türkenkrieg und «Zweiter Diplomatischer Revolution» 1787–1791. Berlin, 2000.

Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–1921 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2003. Vol. 4. No. 3. P. 627–652.

Horn D. B. British opinion and the first partition of Poland. Edinburgh, 1945.

Hosking G. Russia. People and Empire, 1552–1917. Cambridge (Mass.), 1997.

Hroch M. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Entwicklung der patriotischen Gruppen. Prag, 1968.

Ihnatowicz I. Uniwersytet Warszawski w latach 1869–1899 // Kieniewicz S. (red.). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915. Warszawa, 1981. S. 378–494.

Jaworski R. Das geteilte Polen (1795–1918) // Jaworski R., Lübke C., Müller M. G. (Hg.). Eine kleine Geschichte Polens. Frankfurt am Main, 2000.

Jedlicki J. A Suburb of Europe. Nineteenth-Century Polish Approaches to Western Civilization. Budapest, 1999.

Jedlicki J. Błędne koło 1832–1864. Warszawa, 2008. T. 2: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku.

Jedlicki J. Resisting the Wave. Intellectuals against Antisemitism in the Last Years of the «Polish Kingdom» // Blobaum R. E. (ed.). Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland. Ithaca, 2005. P. 60–80.

Judson P. M. Introduction // Judson P. M., Rozenblit L. M. (eds). Constructing Nationalities in East Central Europe. New York, 2004. P. 1–18.

Kalabiński S. (red.). Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905–1907 w Królestwie Polskim. Materiały archiwalne. Warszawa, 1956.

Kamiński Z. Dzieje Życia w pogoni za sztuką. Warszawa, 1975.

Kappeler A. Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992.

Kappeler A. The Ambiguities of Russification // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. Vol. 5. No. 2. P. 291–297.

Katscher L. (Hg.). Russisches Revolutions-Tagebuch 1905. Ein Werdegang in Telegrammen. Leipzig, 1906.

Katz M. Mikhail N. Katkov. A Political Biography, 1818–1887. Den Haag, 1966.

Khodarkovsky M. Between Europe and Asia. Russia's State Colonialism in Comparative Perspective, 1550s–1900s // Canadian-American Slavic Studies. 2018. Vol. 52. No. 1. P. 1–29.

Khodarkovsky M. Bitter Choices. Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus. Ithaca, 2011 [рус. изд.: *Ходарковский М.* Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа / Пер. с англ. А. Терещенко. М., 2016. – *Примеч. ред.*].

Kieniewicz S. Historia Polski 1795–1918. Warszawa, 1975.

Kieniewicz S. Historia Polski 1795–1918. Warszawa, 1983.

Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa, 1972.

Kieniewicz S. Warszawa w powstaniu styczniowym. Warszawa, 1965.

Kieniewicz S. Warszawa w powstaniu styczniowym. Warszawa, 1983.

Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Warszawa, 1994.

Kiepuska H. Uniwersytet Warszawski w latach 1899–1915 // *Kieniewicz S.* (red.). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915. Warszawa, 1981. S. 495–564.

Kiepuska H. Warszawa 1905–1907. Warszawa, 1991.

Kiepuska H. Warszawa w rewolucji 1905–1907. Warszawa, 1974.

Kiepuska H., Pustuła Z. Raporty Warszawskich Oberpolicmajstrów (1892–1913). Wrocław, 1971.

Kier Wise A. Aleksander Lednicki. A Pole among Russians, a Russian among Poles. Polish-Russian Reconciliation in the Revolution of 1905. New York, 2003.

Kijas A. Polacy w życiu społeczno-politycznym Moskwy na przełomie XIX/XX wieku // *Kraszewski P.* (red.). Cywilizacja Rosji imperialnej. Poznań, 2002. S. 213–226.

Kindler K. Die Cholmer Frage 1905–1918. Frankfurt am Main, 1990.

Kirwiel E., Maj E., Podgajna E. (red.). Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna. Lublin, 2012.

Kirwiel E., Maj E., Podgajna E. (red.). Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna. Lublin, 2011.

Kizwalter T. Über die Modernität der Nation. Der Fall Polen. Osnabrück, 2013.

Kizwalter T. (red.). Monumenta Universitatis Varsoviensis. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2016. Cz. I. Lata: 1816–1915.

Kleinmann Y. Der Vierjährige Sejm. Von der Adelsrepublik zur Staatsbürgergesellschaft? // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden. Stuttgart, 2017. S. 529–567.

Kleinmann Y. Die Verfassung vom 3. Mai 1791. Inhalt, Kontroversen, nationale und europäische Bedeutung // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden. Stuttgart, 2017. S. 567–605.

Klier J. D. Imperial Russia's Jewish Question, 1855–1881. Cambridge, 1995.

Kmiecik Z. Prasa warszawska w latach 1886–1904. Wrocław, 1989.

Kminikowska A., Pękała E. (red.). Polacy – Rosjanie. Wzajemne relacje. Gdańsk, 2007.

Koneczny F. Polen zwischen Ost und West (Auszug) // Chwalba A. (Hg.). Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis. Frankfurt am Main, 1994. S. 133–138.

Kozińska-Witt H. Krakau in Warschaus langem Schatten. Konkurrenzkämpfe in der polnischen Städtelandschaft 1900–1939. Stuttgart, 2008.

Kozłowski J. Dygnitarze rosyjscy nad Wisłą po powstaniu styczniowym // Kwartalnik Historyczny. 2001. T. 108. No. 2. S. 101–109.

Kozłowski J. Urzędnicy polscy w Królestwie Kongresowym po powstaniu styczniowym (do 1880 r.) // Szwarc A., Wieczorkiewicz P. P. (red.). Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały. Warszawa, 2002. S. 71–82.

Kozłowski J. Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867–1875 // Przegląd Historyczny. 1996. T. LXXXVII. No. 4. S. 819–841.

Kraehe E. E. Metternich's German Policy. Princeton (N. J.), 1983. Vol. II: The Congress of Vienna, 1814–1815.

Kraft C. Polnische militärische Eliten in gesellschaftlichen und politischen Umbruchprozessen 1772–1831 // Gestrich A., Schnabel-Schuele H. (Hg.). Fremde Herrscher – Fremdes Volk. Inklusions- und Exklusionsfiguren bei Herrschaftswechsels in Europa. Frankfurt am Main, 2006. S. 271–295.

Křen J. Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780–1918. München, 1996.

Kriegseisen W. Die Reformpolitik Stanislaw August Poniatowskis. Grundlage, Programme, Trägerschichten, Resultate // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden. Stuttgart, 2017. S. 495–511.

Król S. Cytadela Warszawska. Warszawa, 1978.

Krzywiec G. Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku. Warszawa, 2017.

Krzywiec G., Garlinski J. Chauvinism, polish style. The case of Roman Dmowski (Beginnings: 1886–1905). Frankfurt am Main, 2016.

Kulecka A. (red.). Urzędnicy i urzędy w społeczeństwie XIX wieku. Zbiór studiów. Warszawa, 2017.

Kusber J. Eliten- und Volksbildung im Zarenreich während des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung. Stuttgart, 2004.

Kusber J. Krieg und Revolution in Russland 1904–1906. Das Militär im Verhältnis zu Wirtschaft, Autokratie und Gesellschaft. Stuttgart, 1997.

Lambert D., Lester A. Introduction. Imperial Spaces, Imperial Subjects // Lambert D., Lester A. (eds). Colonial Lives Across the British Empire: Imperial Careering in the Long Nineteenth Century. Cambridge, 2006. P. 1–31.

Landau Z., Tomaszewski J. Wirtschaftsgeschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin, 1986.

Landgrebe A. «Wenn es Polen nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden». Die Entwicklung des polnischen Nationalbewusstseins im europäischen Kontext von 1830 bis in die 1880er Jahre. Wiesbaden, 2003.

Latawiec K. Naczelnicy powiatów gubernii lubelskiej w latach 1867–1915. Próba charakterystyki grupy // Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska: Historia. 2003. T. 58. S. 73–96.

LeDonne J. P. Frontier Governors General, 1772–1825. I. The Western Frontier // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1999. Bd. 47. H. 1. S. 57–81.

LeDonne J. P. Frontier Governors General, 1772–1825. II. The Southern Frontier // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2000. Bd. 48. H. 2. S. 161–183.

Leonard C. S. Agrarian Reform in Russia. The Road from Serfdom. New York, 2011.

Leśniakowska M. Architektura w Warszawie. Warszawa, 2005.

Lewandowski A., Radomski G., Woydyło W. (red.). Rosja w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku. Toruń, 2013.

Lewicki J. O uprzedzeniach w odbiorze i interpretacji wpływów rosyjskich w architekturze polskiej (o nieznanych i pomijanych przykładach inspiracji sztuką Cesarstwa Rosyjskiego) // *Kminikowska A., Pękała E.* (red.). Polacy – Rosjanie. Wzajemne relacje. Gdańsk, 2007. S. 39–46, 217–226.

Lewis R. D. Revolution in the Countryside. Russian Poland, 1905–1906 // *The Carl Beck Papers in Russian and East. European Studies.* 1986. Vol. 506. No. 30.

Lieven D. (ed.). British Documents on Foreign Affairs. Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print. Part I: From the Mid-Nineteenth Century to the First World War. Series A: Russia, 1859–1914. Bethesda, 1983.

Lieven D. Russia's Rulers Under the Old Regime. New Haven, 1989.

Lincoln W. B. Nicholas I. Emperor and Autocrat of All the Russias. DeKalb, 1989.

Lincoln W. B. The Great Reforms. Autocracy, Bureaucracy, and the Politics of Change in Imperial Russia. DeKalb, 1990.

Liszkowski U. Russland und die polnische Maiverfassung // *Jaworski R.* (Hg.). Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791. Frankfurt am Main, 1993. S. 64–85.

Löwe H.-D. The Tsar and the Jews. Reform, Reaction, and Anti-Semitism in Imperial Russia, 1772–1917. Chur, 1993.

Lüdtke A., Wildt M. Einleitung. Staats-Gewalt. Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes // *Lüdtke A., Wildt M.* (Hg.). Staats-Gewalt: Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes. Historische Perspektiven. Göttingen, 2008. S. 9–38.

Lukowski J., Zawadzki H. A Concise History of Poland. Cambridge, 2001.

Łupienko A. Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa, 2012.

Macey D. A. J. Government and Peasant in Russia 1861–1906. The Prehistory of the Stolypin Reforms. DeKalb, 1987.

Maierova O. War as Peace. The Trope of War in Russian Nationalist Discourse during the Polish Uprising of 1863 // *Kritika: Explorations in*

Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 6. No. 3. P. 501–534.

Majewski J. S. Warszawa nieodbudowana. Metropolia belle époque. Warszawa, 2003.

Maner H.-C. (Hg.). Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens. Münster, 2005.

Mankoff J. A. Russia and the Polish Question, 1907–1917. Nationality and Diplomacy. PhD Dis. Yale University. Yale, 2006.

Marin I. Reforming the Better to Preserve. A K. u. K. General's Views on Hungarian Politics // Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918) // Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850–1918). Berlin, 2015. S. 155–177.

Martin A. M. Romantics, Reformers, Reactionaries. Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997.

Marung S. Zivilisierungsmissionen à la polonaise. Polen, Europa und der Osten // Hadler F., Middell M. (Hg.). Verflochtene Geschichten: Ostmitteleuropa. Leipzig, 2010. S. 100–123.

Marzec W. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź, 2014.

Marzec W. Rising Subjects. Forging the Political During the 1905 Revolution in Russian Poland. PhD Dis. Budapest, 2017.

Marzec W. What Bears Witness of the Failed Revolution? The Rise of Political Antisemitism during the 1905–1907 Revolution in the Kingdom of Poland // Eastern European Politics and Societies. 2016. Vol. 30. No. 1. P. 189–213.

Matsuzato K. The Issue of Zemstvos in Right Bank Ukraine 1864–1906. Russian Anti-Polonism Under the Challenges of Modernization // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2003. Bd. 51. H. 2. S. 218–235.

Miąso J. Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim w latach 1905–1907 (w stulecie strajku szkolnego) // Rozprawy z Dziejów Oświaty. 2005. T. 44. S. 75–103.

Miliukov P., Seignobos C., Eisenmann L. (eds). History of Russia. Reforms, Reaction, Revolutions (1855–1932). New York, 1969.

Miller A. Between Local and Inter-Imperial. Russian Imperial History in Search of Scope and Paradigm // Kritika: Explorations in Russian and

Eurasian History. 2004. Vol. 5. No. 1. P. 7–26.

Miller A. Galicia after the Ausgleich. Polish-Ruthenian Conflict and the Attempts of Reconciliation // Central European University History Department Yearbook. 1993. P. 135–143.

Miller A. Natsiia, Narod, Narodnost' in Russia in the 19th Century. Some Introductory Remarks to the History of Concepts // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2008. Bd. 56. H. 3. S. 379–390.

Miller A. «Russifications»? In Search for Adequate Analytical Categories // Hausmann G., Rustemeyer A. (Hg.). Imperienvergleich. Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler. Wiesbaden, 2009. S. 123–144.

Miller A. Shaping Russian and Ukrainian Identities in the Russian Empire During the Nineteenth Century. Some Methodological Remarks // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2000. Bd. 49. H. 2. S. 257–263.

Miller A. The Empire and the Nation in the Imagination of Russian Nationalism // Miller A., Rieber A. J. (eds). Imperial Rule. Budapest, 2004. P. 9–45.

Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. Essay in the Methodology of Historical Research. Budapest, 2008.

Miller A. The Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century. Budapest, 2003.

Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». The Romanov Empire and the Polish Uprisings of 1830–31 and 1863–64 // Leonard J., Hirschhausen U. von (eds). Comparing Empires. Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century. Göttingen, 2011. P. 425–452.

Miller A., Rieber A. J. (eds). Imperial Rule. Budapest, 2004.

Mironov B. N. Wages and Prices in Imperial Russia, 1703–1913 // Russian Review. 2010. Vol. 69. No. 1. P. 47–72.

Mogilner M. Russian Physical Anthropology of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries. Imperial Race, Colonial Other, Degenerate Types, and the Russian Racial Body // Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire. Leiden, 2009. P. 155–190.

Moritz E. Preußen und der Kościuszko-Aufstand 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit der Französischen Revolution. Berlin, 1968.

Morley C. Alexander I. and Czartoryski. The Polish Question from 1801–1813 // Slavonic and East European Review. 1946. Vol. 25. P. 405–

Moszynski M. Niemojewski, Andrzej // Benz W. (Hg.). Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. München, 2009.

Müller M. G. Der polnische Adel von 1750 bis 1863 // Wehler H.-U. (Hg.). Europäischer Adel 1750–1950. Göttingen, 1990. S. 217–242.

Müller M. G. Die Erste Teilung Polens und ihre Folgen // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden. Stuttgart, 2017. S. 513–527.

Müller M. G. Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795. München, 1984.

Müller M. G. Hegemonialpolitik und imperiale Expansion. Die Teilungen Polens // Hübner E., Kusber J., Nitsche P. (Hg.). Russland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus – Aufklärung – Pragmatismus. Köln, 1998. S. 397–410.

Müller M. G. Polen, die deutschen Staaten und Russland in den internationalen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Systemzwänge und Handlungsspielräume // Dmitrów E. (Hg.). Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für Hans Henning Hahn. Frankfurt am Main, 2009. S. 57–75.

Müller M. G. Polen zwischen Preussen und Russland. Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736–1752. Berlin, 1983.

Müller M. G. Zweite Teilung, Kościuszko-Aufstand, Dritte Teilung // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden. Stuttgart, 2017. S. 607–618.

Naimark N. M. The History of the «Proletariat». The Emergence of Marxism in the Kingdom of Poland, 1870–1887. Boulder (Col.), 1979.

Nowak A. (ed.). Imperiological studies. A Polish perspective. Kraków, 2011.

Nowak A. Walka o kresy, walka o przetrwanie. XIX-wieczne Imperium Rosyjskie wobec Polaków, Polacy wobec Imperium (przegląd historiograficzny) // Долбилов М., Миллер А. (ред.). Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 429–464.

Olszewski H. Die Maikonstitution als Krönung der Reformbewegung in Polen im 18. Jahrhundert // Jaworski R. (Hg.). Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791. Frankfurt am Main, 1993. S. 24–42.

Opalski M., Bartal I. Poles and Jews. A Failed Brotherhood. Hanover, 1992.

Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. Warszawa, 1991.

Paszkiewicz P. The Russian Orthodox Cathedral of Saint Alexander Nevsky in Warsaw. From the History of Polish-Russian Relations // Polish Art Studies. 1992. Vol. 14. P. 64–71.

Paszkiewicz P. W służbie Imperium Rosyjskiego 1721–1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach Cesarstwa i poza jego granicami. Warszawa, 1999.

Petersen H.-C. «Us» and «Them»? Polish Self-Descriptions and Perceptions of the Russian Empire between Homogeneity and Diversity (1815–1863) // Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire. Leiden, 2009. P. 89–120.

Petronis V. Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800–1914. Stockholm, 2007.

Petrozolin-Skowrońska B. (red.). Encyklopedia Warszawy z suplementem. Warszawa, 1994.

Pickhan G. Kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Jüdische Identitätskonstruktionen im Polen der Zwischenkriegszeit // Kampling R. (Hg.). «Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel» (Num. 24, 5). Beiträge zur Geschichte jüdisch-europäischer Kultur. Frankfurt am Main, 2009. S. 157–170.

Pickhan G. Polen // Benz W. (Hg.) Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. München, 2008. S. 276–283.

Pietrow-Ennker B. Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft? Modernisierungsprozesse in Lodz (1820–1914) // Hensel J. (Hg.). Polen, Deutsche, Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft. Osnabrück, 1999. S. 103–130.

Pietrow-Ennker B. Wirtschaftsbürger und Bürgerlichkeit im Königreich Polen. Das Beispiel von Lodz, dem «Manchester des Ostens» // Geschichte und Gesellschaft. 2005. No. 2. S. 169–202.

Piskurewicz J., Zasztowt L. Towarzystwo Naukowe Warszawskie // Rocznik TNW. 1986. T. XLIX. S. 35–103.

Pistohlkors G. von. «Russifizierung» in den baltischen Provinzen und in Finnland im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 1984. Bd. 33. S. 592–606.

Pölitz K. H. L. (Hg.). Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf unsere heutige Zeit. Leipzig, 1833.

Porter-Szűcs B. Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland. Oxford, 2011.

Porter-Szűcs B. Religion in Everyday Urban Life. Shaping Modernity in Łódź and Manchester, 1820–1914 // Berglund B. R., Porter-Szűcs B. (eds). Christianity and Modernity in Eastern Europe. Budapest, 2013.

Porter B. A. When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland. Oxford, 2000.

Portnov A. «Unsere Leute» identifizieren. Die «ukrainischen Territorien» 1772–1831 // Bömelburg H.-J., Gestrich A., Schnabel-Schüle H. (Hg.). Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen. Osnabrück, 2013. S. 201–244.

Porycki J. Aleksander Apuchtin – właściciel majątku Kułaki // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Ciechanowiec, 2006.

Pravilova E. From the Zloty to the Ruble. The Kingdom of Poland in the Monetary Politics of the Russian Empire // Burbank J., Hagen M. von, Remnev A. (eds). Russian Empire. Space, People, Power, 1700–1930. Bloomington, 2007. P. 295–319.

Prussak M. (red.). Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. Warszawa, 1994.

Przygodzki R. L. Russians in Warsaw. Imperialism and National Identities, 1863–1915. PhD Dis. Northern Illinois University. DeKalb, 2007.

Radziejowski J. The Image of the Pole in Russian Publicistic Writings (1864–1918) // Acta Poloniae Historica. 1992. Vol. 66. P. 115–139.

Renner A. Nationalismus und Diskurs. Zur Konstruktion nationaler Identität im Russischen Zarenreich nach 1855 // Hirschhausen U. von, Leonhard J. (Hg.). Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich. Göttingen, 2001. S. 433–449.

Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855–1875. Köln, 2000.

Řezník M. Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772–1795). Frankfurt am Main, 2016.

Rhode G. Kleine Geschichte Polens. Darmstadt, 1965.

Riasanovsky N. V. Nicholas I. and Official Nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley, 1961.

Rindlisbacher S. Leben für die Sache. Vera Figner, Vera Zasulič und das radikale Milieu im späten Zarenreich. Wiesbaden, 2014.

Robbins R. G. The Tsar's Viceroys. Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Ithaca, 1987.

Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863–1905). Lublin, 1998.

Rogger H. The Jewish Policy of Late Tsarism. A Reappraisal // Rogger H. (ed.). Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley, 1986. P. 25–39.

Rohr E. K. Russifizierungspolitik im Königreich Polen nach dem Januaraufstand 1863/64. Berlin, 2003.

Rolf M. A Continuum of Crisis? The Kingdom of Poland in the Shadow of Revolution (1905–1915) // Fischer von Weikersthal F., Grüner F., Hohler S., Schedewie F., Utz R. (eds). The Russian Revolution of 1905 in Transcultural Perspective. Identities, Peripheries, and the Flow of Ideas. Bloomington, 2013. P. 159–174.

Rolf M. «Approved by the Censor»: Tsarist Censorship and the Public Sphere in Imperial Russia and the Kingdom of Poland (1860–1914) // Behrends J. C., Lindenberger T. (eds). Underground Publishing and the Public Sphere. Transnational Perspectives. Wien, 2014. P. 31–74.

Rolf M. Between State Building and Local Cooperation. Russian Rule in the Kingdom of Poland, 1864–1915 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2018. Vol. 19. No. 2. P. 385–416.

Rolf M. Die Revolution von 1905 und der Wandel der Nationsbilder im Russischen Reich // Frie E., Planert U. (Hg.). Revolution, Krieg und die Geburt von Staat und Nation. Staatsbildung in Europa und den Amerikas 1770–1930. Tübingen, 2016. S. 193–210.

Rolf M. Imperiale Biographien. Lebenswege imperialer Akteure in Groß- und Kolonialreichen (1850–1918) – zur Einleitung // Geschichte und Gesellschaft. 2014. Bd. 40. No. 1. S. 5–21.

Rolf M. Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864–1915). München, 2015.

Rolf M. Russische Herrschaft in Warschau. Die Aleksandr-Nevskij-Kathedrale im Konfliktraum politischer Kommunikation // Sperling W.

(Hg.). Jenseits der Zarenmacht. Dimensionen des Politischen im Russischen Reich 1800–1917. Frankfurt am Main, 2008. S. 163–189.

Rolf M. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915). Warszawa, 2016.

Rolf M. What is the «Russian Cause» and Whom Does It Serve? Russian Nationalists and Imperial Bureaucracy in the Kingdom of Poland // Aoshima Y., Werth P., Staliunas D. (eds). Protecting the Empire: Imperial Government and Russian Nationalist Alliance in the Western Borderlands in the Late Imperial Period. Budapest, 2020 (в печати).

Roos H. Die polnische Nationsgesellschaft und die Staatsgewalt der Teilungsmächte in der europäischen Geschichte (1795–1863) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1966. Bd. 14. H. 3. S. 388–399.

Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of the Empires. Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914–1923. London, 2001.

Rosin R. Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku. Łódź-Zgierz, 1995.

Sahadeo J. Epidemic and Empire. Ethnicity, Class, and «Civilization» in the 1892 Tashkent Cholera Riot // Slavic Review. 2005. Vol. 64. No. 1. P. 117–139.

Sanborn J. A. Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 2003.

Saunders D. Russia in the Age of Reaction and Reform, 1801–1881. London, 1992.

Schroeder P. W. The Transformation of European Politics 1763–1848. Oxford, 1994.

Schulze Wessel M. Russlands Blick auf Preußen. Die polnische Frage in der Diplomatie und politischen Öffentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates 1697–1947. Stuttgart, 1995.

Sdvižkov D. Империя / «Ich» und das Imperium. Das Kaiserreich und die russische Autobiographik, 1830–1860 // Aust M., Schenk F. B. (Hg.). Imperial Subjects. Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Köln, 2015. S. 113–134.

Sdvižkov D. Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg. Göttingen, 2006.

Seegel S. J. Mapping Europe's Borderlands. Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, 2012.

Senkowska-Gluck M. Das Herzogtum Warschau // Sieburg H.-O. (Hg.). Napoleon und Europa. Köln, 1971. S. 221–230.

Siemann W. Metternich. Strategie und Visionär. Eine Biographie. München, 2016.

Sienkiewicz H. Wirren. Zürich, 2005.

Słoniowa A. Sokrates Starynkiewicz. Warszawa, 1981.

Snyder T. The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. New Haven, 2003.

Sokoł K., Sosna A. Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815–1915. Moskwa, 2005.

Sołtan A. Kształtowanie się wielkomiejskiego oblicza Warszawy // Sankt Petersburg i Warszawa na przełomie XIX i XX wieku. Początki nowoczesnej infrastruktury miejskiej / Санкт-Петербург и Варшава на рубеже XIX и XX веков. Начало современной городской инфраструктуры. Warszawa: Muzeum Historyczne M. St. Warszawy, 2000. S. 79–86.

Squire P. S. The Third Department. The establishment and practices of the political police in Russia of Nicholas I. Cambridge, 1968.

Stachel P. Ein Staat, der an einem Sprachfehler zugrunde ging. Die «Vielsprachigkeit» des Habsburgerreiches und ihre Auswirkungen // Feichtinger J., Stachel P. (Hg.). Das Gewebe der Kultur. Kulturwissenschaftliche Analysen zur Geschichte und Identität Österreichs in der Moderne. Innsbruck, 2001. S. 11–46.

Stadelmann M. Großfürst Konstantin Nikolaewiç. Der persönliche Faktor und die Kultur des Wandels in der russischen Autokratie. Wiesbaden, 2012.

Staliunas D. Between Russification and Divide and Rule. Russian Nationality Policy in the Western Borderlands in the mid-19th Century // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2007. Bd. 55. H. 3. S. 357–373.

Staliunas D. Making Russians. Meaning and Practices of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam, 2007.

Staliunas D. (ed.). Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century. Brighton (MA), 2016.

Staliunas D. The Pole in the Policy of the Russian Government. Semantics and Praxis in the Mid-Nineteenth Century // Lithuanian Historical Studies. 2000. Vol. 5. P. 45–67.

Staliunas D. Wilno czy Kowno? Problem centrum narodowego Litwinów na początku XX wieku // Linek B., Struve K. (red.). *Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. / Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert.* Opole; Marburg, 2000. S. 259–267.

Starynkiewicz S. *Dziennik 1887–1897.* Warszawa, 2005.

Starynkiewicz S. *Mój Dziennik // Rocznik Warszawski.* 2002. T. XXXI. S. 191–222.

Staszyński E. *Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim. Od powstania styczniowego do I wojny światowej.* Warszawa, 1968.

Stauter-Halsted K. *The Nation in the Village. The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914.* Ithaca, 2001.

Steffen K. *Jüdische Polonität. Ethnizität und Identität im Spiegel der polnischsprachigen jüdischen Presse 1918–1939.* Göttingen, 2004.

Stegner T. *Liberałowie Królestwa Polskiego wobec kwestii żydowskiej na początku XX wieku // Przegląd Historyczny.* 1989. T. 80. S. 69–88.

Stoler A. L., Cooper F. *Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda // Stoler A. L., Cooper F. (eds). Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World.* Berkeley, 1997. P. 1–56.

Ströbel A. *Die polnischen Teilungen. Ein analytischer Vergleich // Altieri R. (Hg.). Spielball der Mächte. Beiträge zur polnischen Geschichte.* Bonn, 2014. S. 14–37.

Subtelny O. *Ukraine: A History.* Toronto, 1988.

Suchodolski B. *Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski.* Warszawa, 1973.

Sunderland W. *Empire Without Imperialism? Ambiguities of Colonization in Tsarist Russia // Ab Imperio.* 2000. No. 2. P. 101–114.

Swiderski B. *Myth and Scholarship. University Students and Political Development in XIX Century Poland.* Kopenhagen, 1987.

Thackeray F. W. *Antecedents of Revolution. Alexander I and the Polish Kingdom 1815–1825.* Boulder (Col.), 1980.

Thaden E. C. *Introduction // Thaden E. C. (ed.). Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914.* Princeton, 1981. P. 3–14.

Thaden E. C. *Russia's Western Borderlands, 1710–1870.* Princeton, 1984.

Thaden E. C. *The Russian Government // Thaden E. C. (ed.). Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914.* Princeton,

1981. P. 15–110.

Tolz V. Russia. Inventing the Nation. London, 2001.

Trees P. Wahlen im Weichselland. Die Nationaldemokraten in Russisch-Polen und die Dumawahlen 1905–1912. Stuttgart, 2007.

Treichler M. «Polnisches Piemont»? Die Autonomie Galiziens innerhalb Cisleithaniens und das polnisch-ruthenische Verhältnis in Galizien. München, 2007.

Trencsényi B., Kopeček M. (eds). Late Enlightenment. Emergence of the Modern «National Idea». Budapest, 2006.

Trencsényi B., Kopeček M. (eds). National Romanticism. The Formation of National Movements. Budapest, 2007.

Trotzki L. Mein Leben. Versuch einer Autobiographie. Frankfurt am Main, 1981.

Unruh G.-C. von. Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 als Beitrag zur konstitutionellen Entwicklung in Europa. Erster religiöser Minderheitenschutz // Unruh G.-C. von. Des Menschen Heimat im Staat: ausgewählte Aufsätze. Berlin, 2019. S. 379–380.

Ury S. Barricades and Banners. The Revolution of 1905 and the Transformation of Warsaw Jewry. Stanford, 2012.

Utz R. Rußlands unbrauchbare Vergangenheit. Nationalismus und Außenpolitik im Zarenreich. Wiesbaden, 2008.

Vahle H. Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 im zeitgenössischen deutschen Urteil // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1971. Bd. 19. S. 347–370.

Velychenko S. Identities, Loyalties, and Service in Imperial Russia. Who Administered the Borderlands? // Russian Review. 1995. Vol. 54. No. 2. P. 188–208.

Vladimirov K. The World of Provincial Bureaucracy in Late 19th and 20th Century Russian Poland. Lewiston, 2004.

Völkl E. Zar Alexander I. und die «polnische Frage» // Saeculum. 1973. Bd. 24. S. 112–132.

Vulpus R. Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860–1920. Wiesbaden, 2005.

Vulpus R. Ukrainische Nation und zwei Konfessionen. Der Klerus und die ukrainische Frage // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2000. Bd. 49. H. 2. S. 240–256.

Waldmann P. Gesellschaften im Bürgerkrieg. Zur Eigendynamik entfesselter Gewalt // Zeitschrift für Politik. 1995. Bd. 45. No. 4. S. 343–368.

Walicki A. National Messianism and the Historical Controversies in the Polish Thought of 1831–1848 // Sussex R., Eade J. C. (eds). Culture and Nationalism in Nineteenth-Century Eastern Europe. Columbus, 1985. P. 128–142.

Walicki A. The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Oxford, 1975.

Walicki A. The Slavophile Thinkers and the Polish Question in 1863 // Ransel D. L., Shallcross B. (eds). Polish Encounters, Russian Identity. Bloomington, 2005. P. 89–99.

Wandruszka A. Ein vorbildlicher Rechtsstaat? // Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Wien, 1975. S. IX–XVIII.

Wandycz P. S. The Lands of Partitioned Poland 1795–1918. Seattle, 1974.

Weeks T. R. 1905 as a Watershed in Polish-Jewish Relations // Hoffman S., Mendelsohn E. (eds). The Revolution of 1905 and Russia's Jews. Philadelphia, 2008. P. 128–139.

Weeks T. R. A National Triangle. Lithuanians, Poles and the Russian Imperial Government // Evtuhov C., Gasparov B., Ospovat A., Hagen M. von (eds). Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire. Moscow, 1997. P. 365–380.

Weeks T. R. Between Rome and Tsargrad. The Uniate Church in Imperial Russia // Geraci R. P., Khodarkovsky M. (eds). Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia. Ithaca, 2001. P. 70–91.

Weeks T. R. Defining Us and Them. Poles and Russians in the «Western Provinces», 1863–1914 // Slavic Review. 1994. Vol. 53. No. 1. P. 26–40.

Weeks T. R. Fanning the Flames. Jews in the Warsaw Press, 1905–1912 // East European Jewish Affairs. 1998/99. Vol. 28. P. 63–81.

Weeks T. R. From Assimilation to Antisemitism. The «Jewish Question» in Poland, 1850–1914. DeKalb, 2006.

Weeks T. R. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb, 1996.

Weeks T. R. Official Russia and the Lithuanians, 1863–1905 // Lithuanian Historical Studies. 2000. Vol. 5. P. 68–84.

Weeks T. R. Poles, Jews, and Russians, 1863–1914. The Death of the Ideal of Assimilation in the Kingdom of Poland // *Polin*. 1999. Vol. 12. P. 242–256.

Weeks T. R. Polish-Jewish Relations 1903–1914. The View from the Chancellery // *Canadian Slavonic Papers*. 1998. Vol. XL. No. 3–4. P. 233–249.

Weeks T. R. Polish «Progressive Antisemitism». 1905–1914 // *East European Jewish Affairs*. 1995. Vol. 25. P. 49–68.

Weeks T. R. Religion and Russification. Russian Language in the Catholic Churches of the «Northwestern Provinces» after 1863 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2001. Vol. 2. No. 1. P. 87–110.

Weeks T. R. Russification. Word and Practice 1863–1914 // *Proceedings of the American Philosophical Society*. 2004. Vol. 148. No. 4. P. 471–489.

Weeks T. R. The Best of both Worlds. Creating the Żyd-Polak // *East European Jewish Affairs*. 2004. Vol. 34. No. 2. P. 1–20.

Weeks T. R. Zwischen zwei Feinden. Polnisch-jüdische Beziehungen und die russischen Behörden zwischen 1863 und 1914. Leipzig, 1998.

Weinberg R. The Pogrom of 1905 in Odessa. A Case Study // *Klier J. D., Lambroza S. (eds). Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History*. Cambridge, 1992. P. 248–289.

Wendland A. V. «Europa» zivilisiert den «Osten». Stadthygienische Interventionen, Wohnen und Konsum in Wilna und Lemberg 1900–1930 // *Janatková A., Kozińska-Witt H. (Hg.). Wohnen in der Großstadt 1900–1939. Wohnsituation und Modernisierung im europäischen Vergleich*. Stuttgart, 2006. S. 271–296.

Werth P. W. Orthodoxy as Ascription (and Beyond). Religious Identity on the Edges of the Orthodox Community, 1740–1917 // *Kivelson V. A., Greene R. H. (eds). Orthodox Russia. Belief and Practice under the Tsars*. University Park (Penn.), 2003. P. 239–251.

Wiech S. «Dyktatura serca» na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedynskiego (1826–1883). Kielce, 2010.

Wiech S. Rządy warszawskiego generała-gubernatora Piotra Albiedynskiego – lata nadziei, lata złudzeń // *Szwarc A., Wiczorkiewicz P. P. (red.). Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w*

polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały. Warszawa, 2002. S. 83–114.

Wiech S. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–1896). Kielce, 2002.

Wiech S. Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896. Kielce, 2007.

Wierzbicki A. Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku. Warszawa, 2010.

Wilson K. Introduction. Histories, empires, modernities // Wilson K. (ed.). A New Imperial History. Culture, Identity, and Modernity in Britain and the Empire, 1660–1840. Cambridge, 2004. P. 1–26.

Winkler H. A. Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München, 2009.

Wojciechowski K. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Wrocław, 1986.

Woolhiser C. Constructing National Identities in the Polish-Belarusian Borderlands // Ab Imperio. 2003. No. 1. P. 293–346.

Worobec C. D. Peasant Russia. Family and Community in the Post-Emancipation Period. DeKalb, 1995.

Wortman R. Ceremony and Empire in the Evolution of Russian Monarchy // Evtuhov C., Gasparov B., Ospovat A., Hagen M. von (eds). Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire. Moscow, 1997. P. 23–39.

Wortman R. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. From Alexander II to the Abdication of Nicholas II. Princeton, 2000.

Wortman R. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. From Peter the Great to the Death of Nicholas I. Princeton, 1995.

Yaney G. L. The Urge to Mobilize. Agrarian Reform in Russia, 1861–1930. Urbana, 1982.

Yaroshevski D. Empire and Citizenship // Brower D. R., Lazzerini E. J. (eds). Russia's Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917. Bloomington, 1997. P. 58–79.

Zakharova L. The reign of Alexander II. A watershed? // Lieven D. (ed.). The Cambridge History of Russia. Cambridge, 2006. P. 593–616.

Zamoyski A. 1815. Napoleons Sturz und der Wiener Kongress. München, 2014.

Zasztowt L. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905 // Brzozowski S., Suchodolski B. (red.). Historia nauki polskiej. Wrocław, 1987. S. 599–633.

Zasztowt L. Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905. Wrocław, 1989.

Zawadzki W. H. A Man of Honour. Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland, 1795–1831. Oxford, 1993.

Zawadzki W. H. Russia and the Re-opening of the Polish Question, 1801–1814 // The International History Review. 1985. Vol. 7. No. 1. P. 19–44.

Zernack K. Negative Polenpolitik als Grundlage deutsch-russischer Diplomatie in der Mächtepolitik des 18. Jhs // Liszkowski U. (Hg.). Rußland und Deutschland. Festschrift für Georg von Rauch. Stuttgart, 1974.

Zernack K. Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäischen Geschichte. Berlin, 1994.

Zielińska Z. Katharina II. und Polen zu Beginn der Regierungszeit von Stanislaw August. Politische Ziele und mentale Archetypen // Scharf C. (Hg.). Katharina II., Russland und Europa. Beiträge zur Internationalen Forschung. Mainz, 2001. S. 75–84.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Ил. 1. Представители государственной власти и местной общественности перед памятником Копернику в Варшаве. Фотография А. Гуртлера. 1910

Национальный музей, Варшава / Muzeum Narodowego w Warszawie
На следующих разворотах:



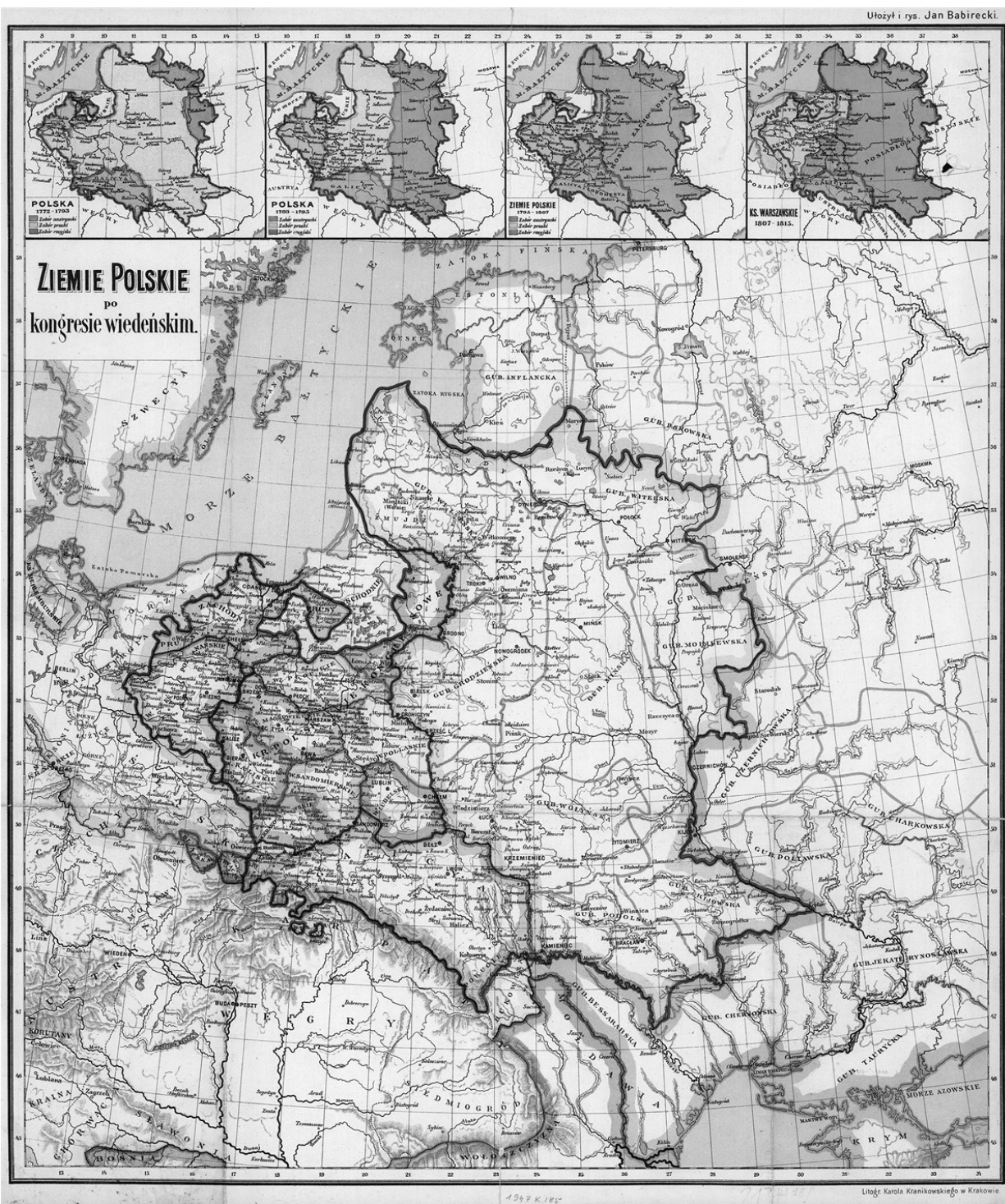
Ил. 2. Карта: раздел Польши 1772 года. Королевство Польша и Великое княжество Литовское (Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae). Карту составил по новейшим данным Тобиас Конрад Лоттер. Аугсбург, 1772

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie

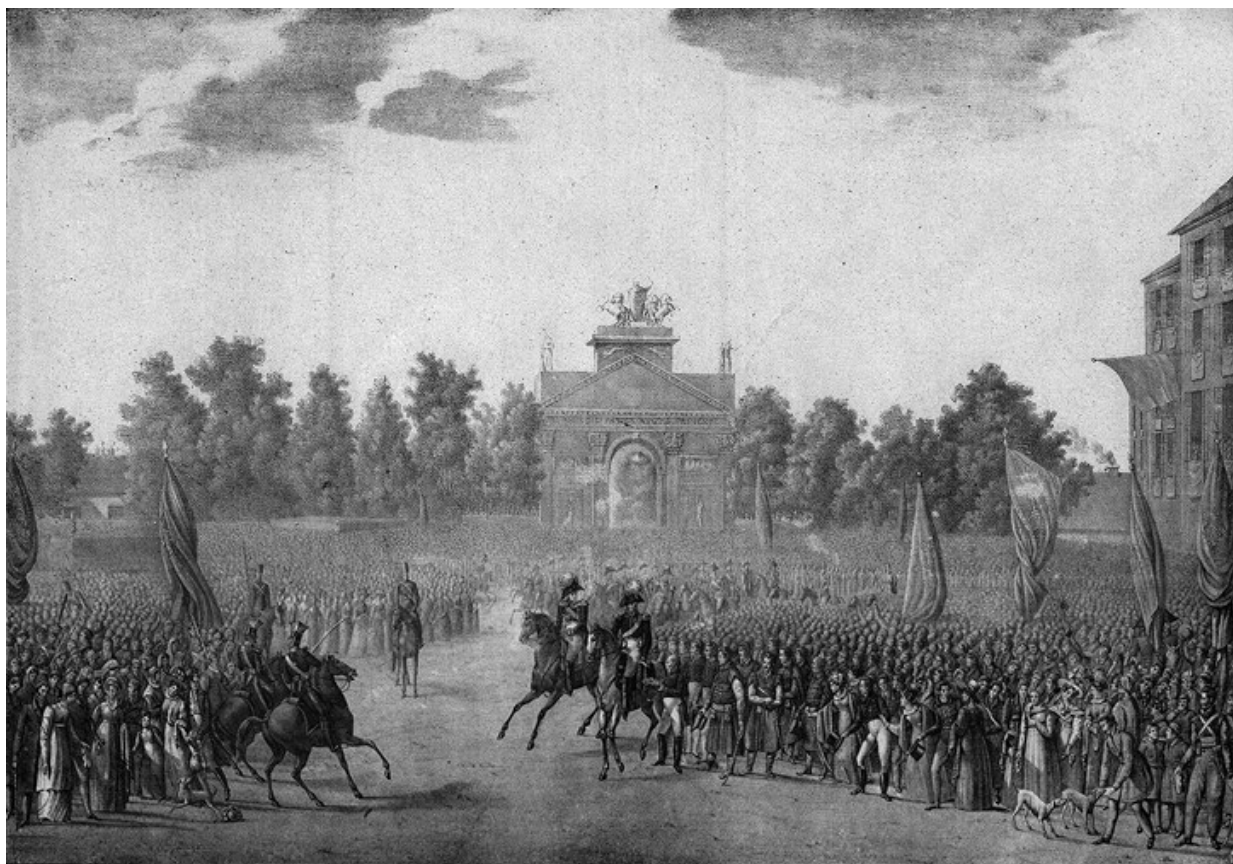


Ил. 3. Карта: разделы Польши в 1793–1795 годах. Королевство Польша и Великое княжество Литовское (Regnum Poloniae et Magnum Ducatum Lithuaniae). Карту составил по новейшим данным Иоганн Георг Пробст. Аугсбург, 1793

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 4. Польские земли после Венского конгресса (1815). Карту составил Ян Бабицкий. Kraków: Litogr. Karola Kranikowskiego, 1898
 Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 5. Людвик Ховард. Въезд в Варшаву наисветлейшего Александра I Императора Всероссийского, Короля польского 12 числа ноября 1815 года. Warszawa; drukowano w lit. J. Koźmińskiego, 1829

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 6. Герои Восстания 1830–1831. Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich [1927–1936] (Kraków: «Akropol»)

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 7. Варшава: открытие памятника фельдмаршалу князю Паскевичу-Эриванскому в присутствии Е. И. В. Государя Императора, 21 июня. С фотографии Клоха и Дуткевича, рисов. на дер. А. О. Адамов, грав. Ф. Герасимов. После 1870

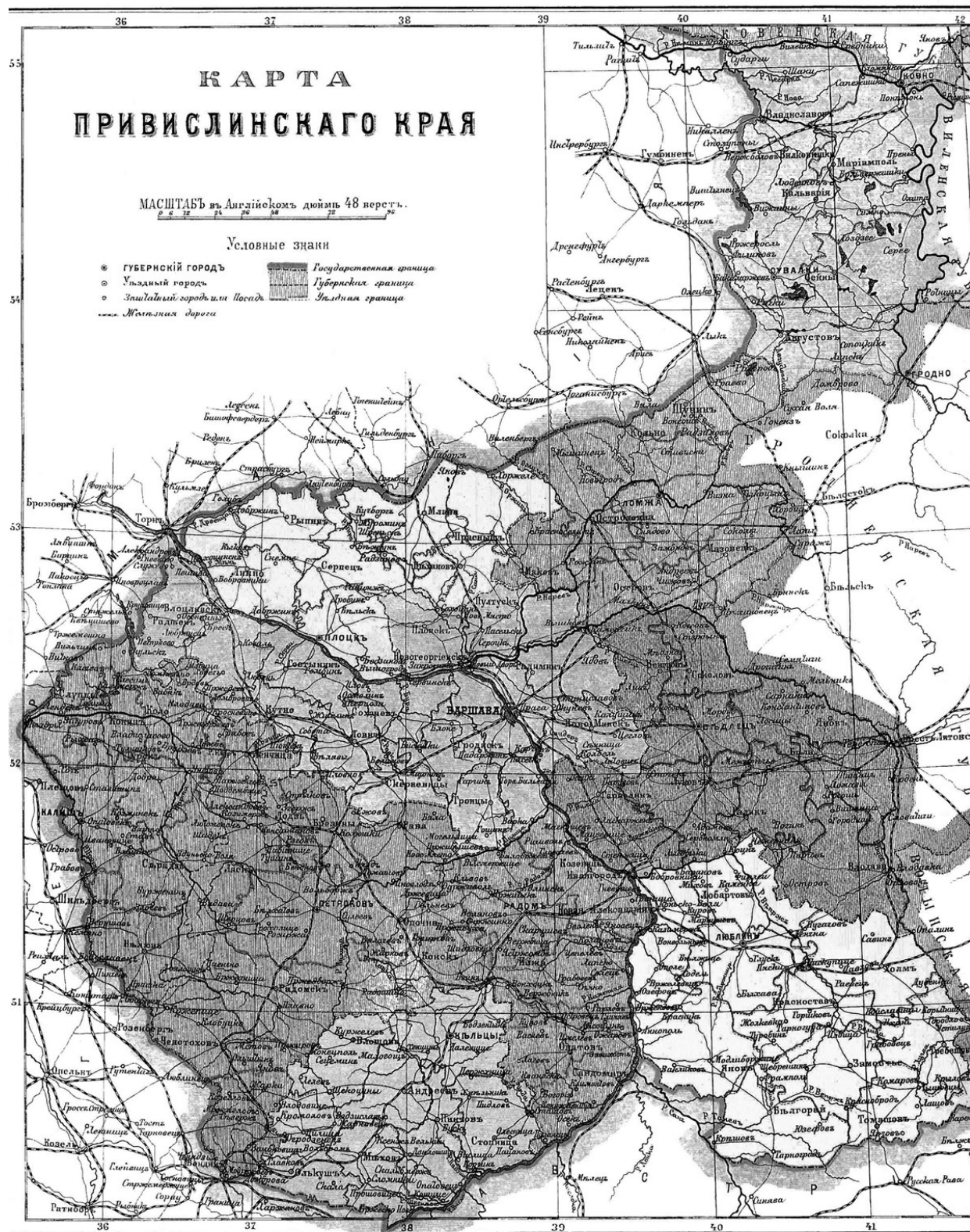
Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 8. Александр Игнаций Велёпольский. Фотография Кароля Бейера. 1860-е

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie

Источник: Olgebrand's Encyclopedia. Варшава, 1902



Ил. 10. Карта Привислинского края. 1896

Источник: Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз
и И. А. Ефрон. СПб., 1898. Т. 25 (Прж–При). С. 141–143



Ил. 11. Январское восстание (повстанцы с оружием в руках).
Фотография Валерия Ржевского. 1863

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w
Warszawie



Ил. 12. Королевский дворец в Варшаве, резиденция генерал-губернаторов. Ок. 1910
Национальный музей, Варшава / Muzeum Narodowego w Warszawie



Ил. 13. Михаил Зичи. Портрет Петра Павловича Альбединского.
1868

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Ил. 14. Александро-Невский собор в Варшаве. Почтовая карточка.
Warszawa: nakładem A. Chlebowski i S. Michałowski, до 1916

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w
Warszawie



Ил. 15. Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко. Генерал-губернатор
в Царстве Польском с 1883 по 1894 год. Фотография. 1880
Библиотека Конгресса США / The Library of Congress, USA



Ил. 16. Александр Константинович Багратион-Имеретинский (1837–1900). Генерал-губернатор в Царстве Польском с 1896 по 1900 год. Фотография Я. Мечковского

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 17. Георгий Антонович Скалон
Почтовая карточка

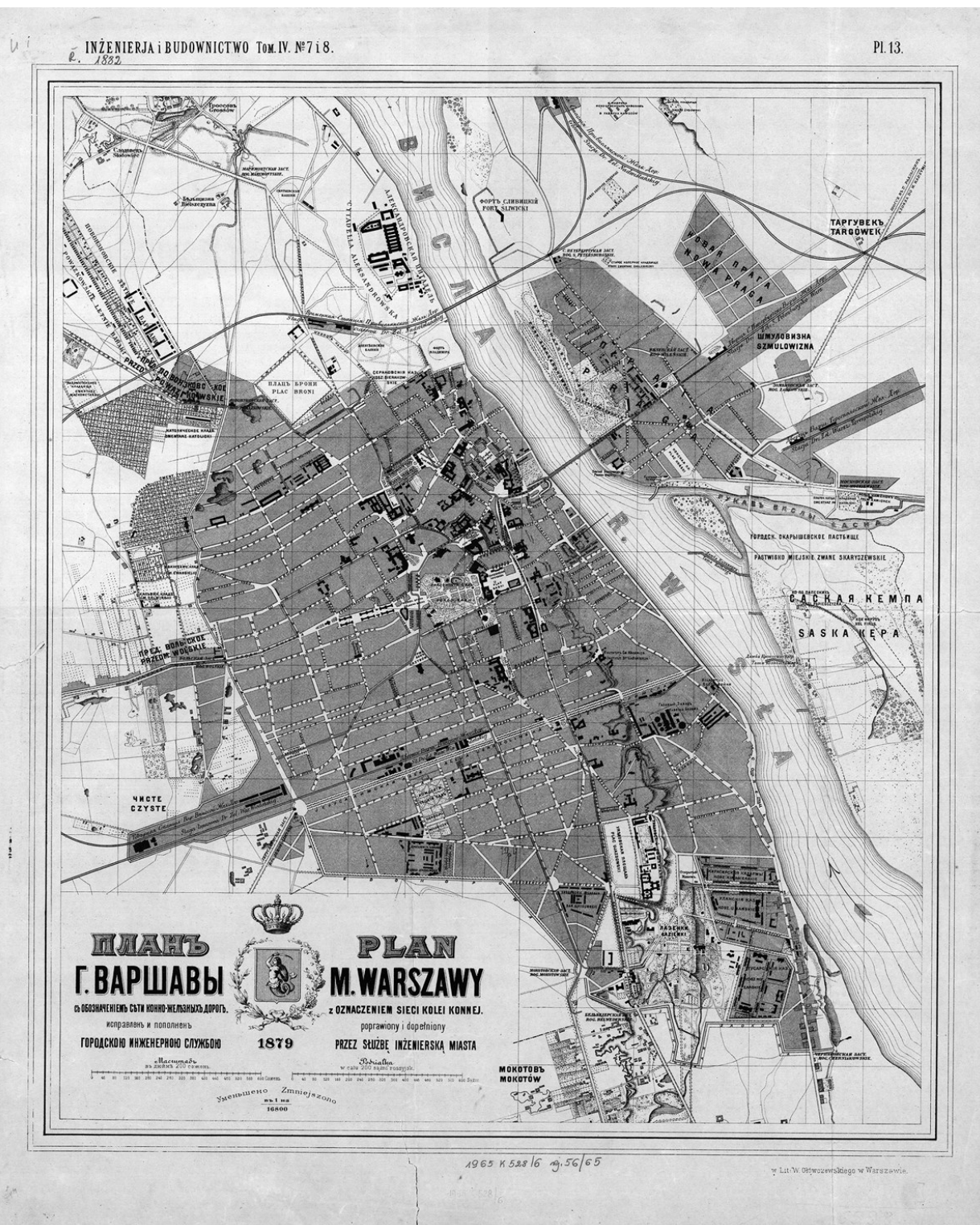


Ил. 18. Приветственный комитет варшавских граждан во время визита Николая II в 1897 году

Национальный музей, Варшава / Muzeum Narodowego w Warszawie

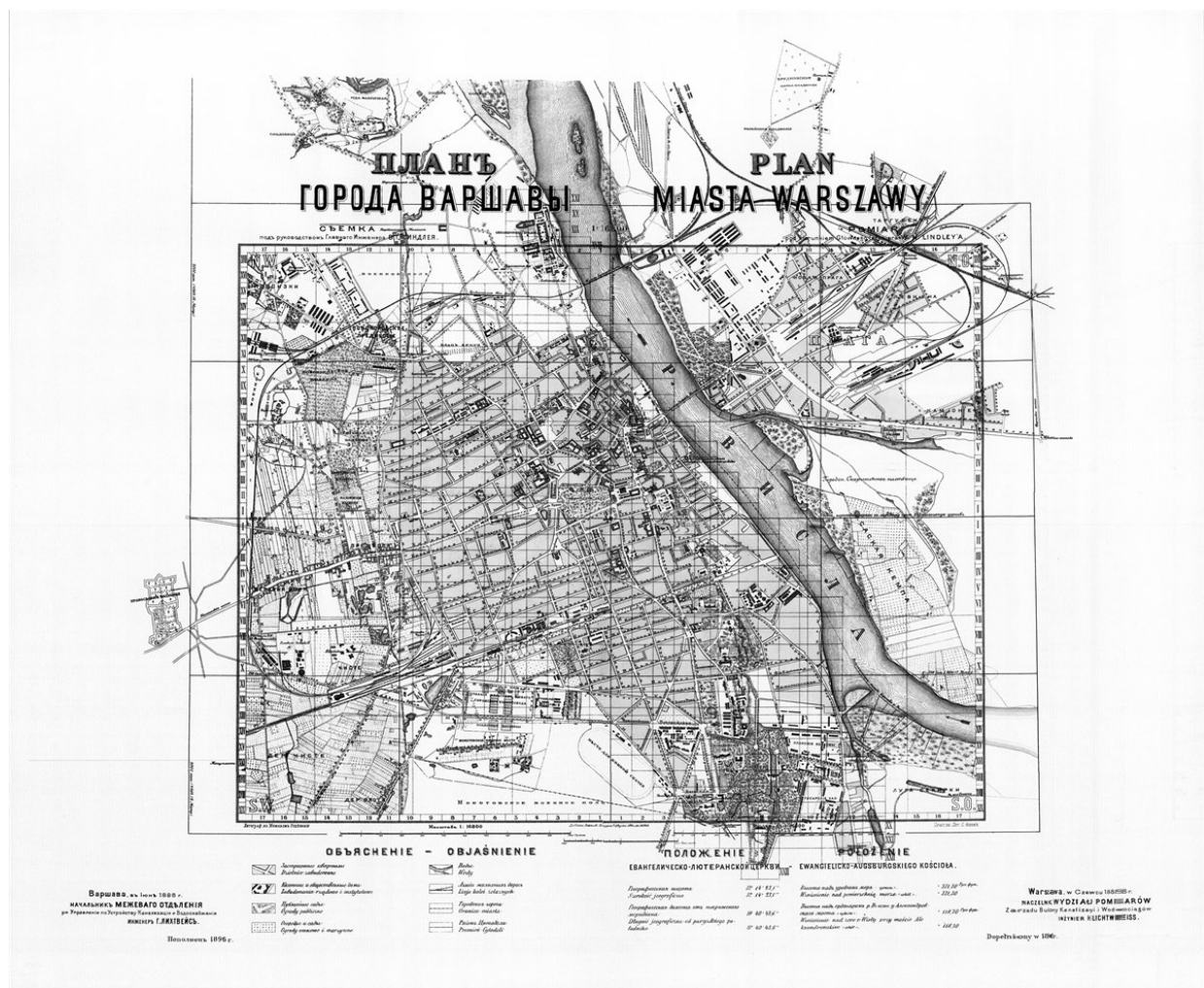


Ил. 19. Улица Маршалковская. Почтовая карточка. До 1939
Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w
Warszawie



Ил. 20. План Варшавы 1879 года. Создан под руководством Альфонса Гротовского

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 21. План Варшавы 1896 года. Создан под руководством Уильяма Г. Линдли, переработан Г. Лихтвайсом

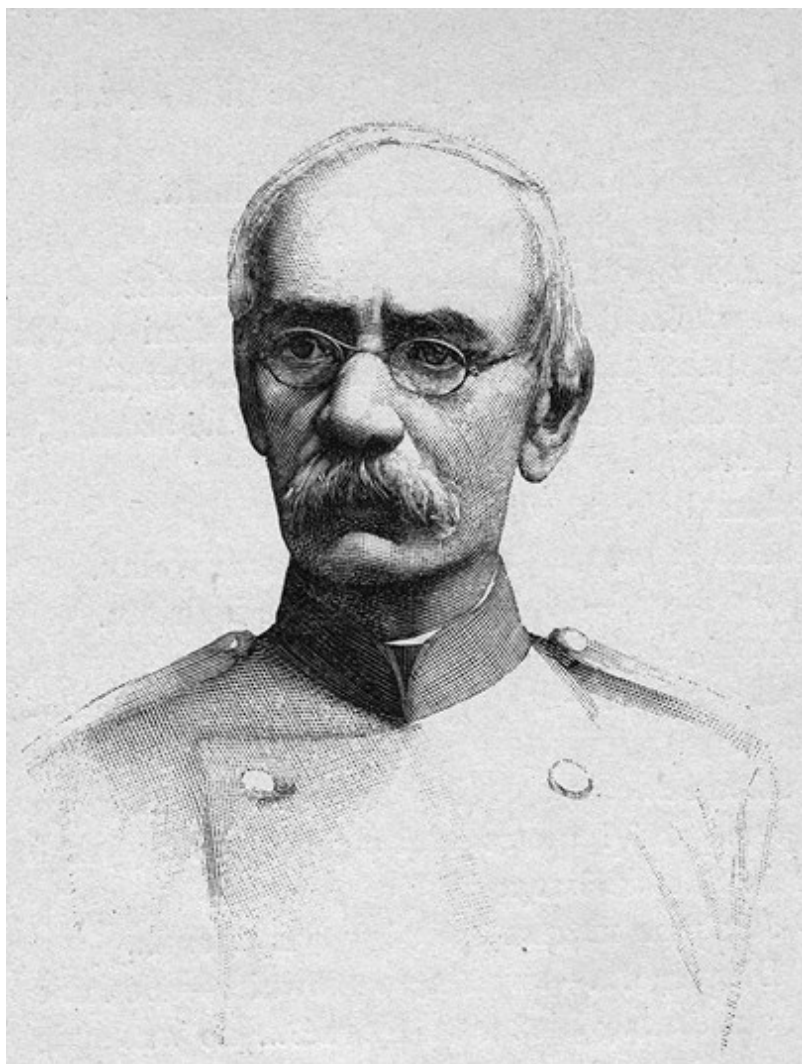


Ил. 22. Варецкая площадь. Почтовая карточка. Warszawa: Chlebowski i Michałowski p. f. «Świt», 1914

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie

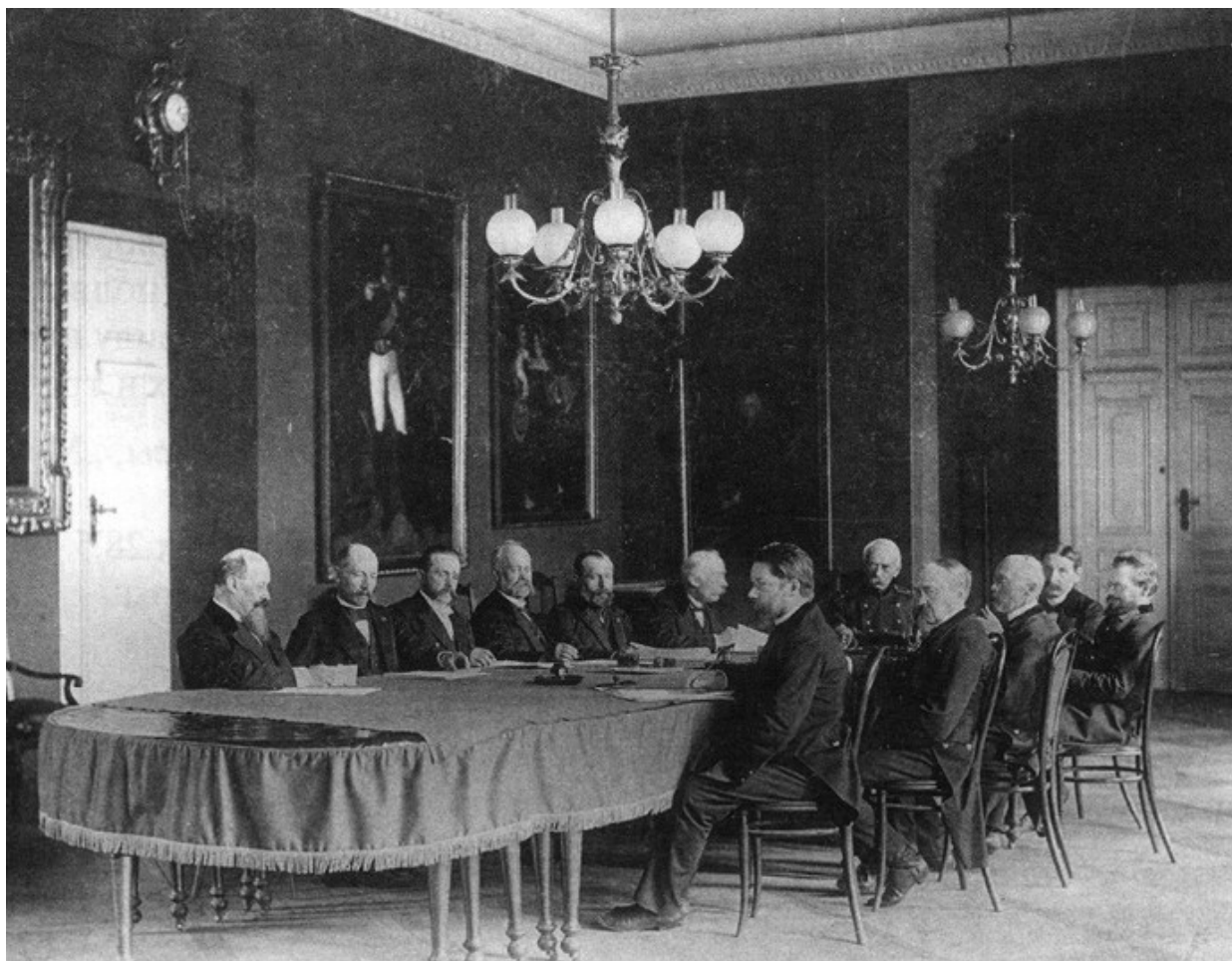


Ил. 23. Варшавская ратуша. Почтовая карточка. 1890–1900
Библиотека Конгресса США / The Library of Congress, USA



Ил. 24. Сократ Иванович Старынкевич (1820–1902). Президент города Варшавы с 1875 по 1892 год

Портрет из «Иллюстрированного еженедельника», 1892. Серия 5, т. 6, № 144, с. 212. Публичная библиотека Варшавы – Библиотека Мазовецкого Воеводства / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego



Ил. 25. Последнее заседание Варшавского магистрата под председательством Сократа Старынкевича. Фотография Конрада Бранделя (18 сентября 1892 года)

Исторический музей Варшавы / Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Arch. Fot. Nr. inw. V. 13691



Ил. 26. Политехнический институт в Варшаве. Рис. Янины Багенской. Почтовая карточка. Ок. 1910

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 27. Открытие памятника Адаму Мицкевичу. Фотография
Станислава Богацкого (24 декабря 1898 года)

Исторический музей Варшавы / Muzeum Historyczne m. st.
Warszawy. Arch. Fot. Nr. inw. V. 18234



Ил. 28. Отель «Бристоль» на улице Краковское Предместье (1900 год). Album Widoków Warszawy. Warszawa, 1905



Ил. 29. Инженеры и чиновники магистрата посещают строительство третьего моста через Вислу. Фотография Юзефа Б. Цвикеля. 1912

Исторический музей Варшавы / Muzeum Historyczne m. st. Warszawy



Ил. 30. Третий мост через Вислу. Фотография Станислава Нофока-Совиньского. 1916

Исторический музей Варшавы / Muzeum Historyczne m. st. Warszawy



Ил. 31. Императорский Варшавский университет, библиотека.
Почтовая карточка. Ок. 1910

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w
Warszawie



Ил. 32. Демонстрация в Варшаве 5 ноября 1905 года. Почтовая карточка

Национальная библиотека Польши / Biblioteka Narodowa w Warszawie



Ил. 33. Российские войска уходят. Фотография Станислава Нофока-Совиньского (4 августа 1915 года)

Исторический музей Варшавы / Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Arch. Fot. Nr. inw. neg. 34615



Ил. 34. Российские войска уходят из Варшавы. Фотография. 1915
Национальный цифровой архив Польши / Narodowe Archiwum
Cyfrowe



Ил. 35. Руины собора святого Александра Невского. 1925
Национальный цифровой архив Польши / Narodowe Archiwum
Cyfrowe

notes

См. предисловие к немецкому изданию.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy [далее – APW]. T. 24 (Warszawski Wydział dla Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa [далее – WWO]). Sygn. 263. Kart. 1–6, здесь kart. 5v.

APW. T. 24. Sygn. 263. Kart. 5v.

С 1864 года эта территория, как правило, называлась Привислинским краем: правительственные инстанции царской России стали избегать всякого указания на самостоятельную польскую традицию государственности. Вместе с тем даже во внутренней переписке правительственных ведомств отчасти продолжали использовать название «Царство Польское». В настоящем исследовании эти два понятия употребляются как синонимы.

В Царстве Польском на момент переписи населения 1897 года было более 9,4 млн жителей. Плотность населения здесь была значительно выше, чем в остальной империи, а Варшава с ее почти 700 тыс. жителей была третьим по величине городом страны.

Эта функция колоний как лабораторий изучена историками на материале самых разных областей. Применительно к Российской империи следует указать на работы: *Mogilner M. Russian Physical Anthropology of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries. Imperial Race, Colonial Other, Degenerate Types, and the Russian Racial Body* // Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). *Empire Speaks Out. Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire*. Leiden, 2009. P. 155–190; *Могильнер М. Homo Imperii. История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.)*. М., 2008; *Sahadeo J. Epidemic and Empire. Ethnicity, Class, and «Civilization» in the 1892 Tashkent Cholera Riot* // *Slavic Review*. 2005. Vol. 64. No. 1. P. 117–139.

Например, в годы царствования Александра III 30% всех резолюций, подписанных императором по представлению Комитета министров, касались польских провинций. См.: *Горизонтов Л. Е.* Парадоксы имперской политики. Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М., 1999. С. 215.

Об этом см. интересные размышления Алексея Миллера: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. Essay in the Methodology of Historical Research. Budapest, 2008. P. 10–20 [см. рус. изд. этой кн.: *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006]; *Idem.* Between Local and Inter-Imperial. Russian Imperial History in Search of Scope and Paradigm // *Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History.* 2004. Vol. 5. No. 1. P. 7–26. Похожее направление мысли встречаем мы и в следующей работе: *Мацузато К.* Генерал-губернаторства в Российской империи. От этнического к пространственному подходу // Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. (ред.). Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань, 2004. С. 427–458.

Принципиальное различие между Привислинским краем и так называемыми западными губерниями – более крупной частью польско-литовских земель, оккупированных или инкорпорированных Россией после разделов XVIII века, – обсуждается в главе «Структуры, акторы и сферы российского владычества в Царстве Польском после 1863 года».

См. также: *Křen J.* Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780–1918. München, 1996.

Наиболее показательным примером является, конечно, Конституция 1815 года, которая гарантировала Царству Польскому особое положение и обеспечила его превращение в экспериментальную лабораторию для alexandrovskikh конституционных реформ. Подробнее об этом см. главу II.

См.: [Анонимная публикация.] Политические итоги. Русская политика в Польше. Очерк Варшавского публициста / Пер. с польск. Лейпциг, 1896. С. 19.

Об этом см. тезисы: *Chakrabarty D.* Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, 2000.

Более полная библиография по этой теме содержится в работе:
Rolf M. Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im
Russischen Imperium (1864–1915). München, 2015.

См., в частности: *Hall C.* Civilising Subjects. Metropole and Colony in the English Imagination, 1830–1867. Cambridge, 2002; *Stoler A. L., Cooper F.* Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda // *Stoler A. L., Cooper F.* (eds). Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World. Berkeley, 1997. P. 1–56; *Wilson K.* Introduction. Histories, empires, modernities // *Wilson K.* (ed.). A New Imperial History. Culture, Identity, and Modernity in Britain and the Empire, 1660–1840. Cambridge, 2004. P. 1–26.

См., в частности: *Bhabha H. K.* Die Verortung der Kultur. Tübingen, 2000. S. 5.

См., в частности: *Eckert A.* Kolonialismus, Moderne und koloniale Moderne in Afrika // Baberowski J., Kaelble H., Schriewer J. (Hg.). Selbstbilder und Fremdbilder. Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel. Frankfurt am Main, 2008. S. 53–66.

См., например: *Binder H.* Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik. Wien, 2005; *Buchen T., Rolf M.* (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. Imperiale Biographien in Russland und Österreich-Ungarn (1850–1918) // *Elites and Empire. Imperial Biographies in Russia and Austria-Hungary (1850–1918)*. Berlin, 2015; *Maner H.-C.* (Hg.). Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens. Münster, 2005.

По поводу постулата о многообразии модерности см. прежде всего:
Eisenstadt S. N. Die Vielfalt der Moderne. Weilerswist, 2000.

См., в частности: *Baberowski J.* Diktaturen der Eindeutigkeit. Ambivalenz und Gewalt im Zarenreich und in der frühen Sowjetunion // *Baberowski J.* (Hg.). *Moderne Zeiten? Krieg, Revolution und Gewalt im 20. Jahrhundert.* Göttingen, 2006. S. 37–59, прежде всего S. 47–49; *Holquist P.* *Violent Russia, Deadly Marxism? Russia in the Epoch of Violence, 1905–1921* // *Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History.* 2003. Vol. 4. No. 3. P. 627–652, прежде всего p. 634–636.

На отсутствие дискурса о «колониях» в Российской империи недавно еще раз указал Майкл Ходарковский. См.: *Khodarkovsky M. M. Between Europe and Asia. Russia's State Colonialism in Comparative Perspective, 1550s–1900s* // *Canadian-American Slavic Studies*. 2018. Vol. 52. No. 1. P. 1–29. Схожие аргументы выдвигаются в статье: *Sunderland W. Empire Without Imperialism? Ambiguities of Colonization in Tsarist Russia* // *Ab Imperio*. 2000. No. 2. P. 101–114. Призыв серьезно относиться к «языкам самоописания» империи и ее акторов содержится в работе: *Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. В поисках новой имперской истории* // Они же (ред.). *Новая имперская история постсоветского пространства*. С. 7–32. См. также: *Dolbilov M. Loyalty and Emotion in Nineteenth-Century Russian Imperial Politics* // *Osterkamp J., Schulze Wessel M. (eds). Exploring Loyalty*. Göttingen, 2017. P. 17–44; *Gerasimov I. V., Glebov S. V., Kaplunovskij A. P., Mogil'ner M. B., Semyonov A. M. In Search of New Imperial History* // *Ab Imperio*. 2005. No. 1. P. 33–56; *Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. Языки самоописания империи и нации как исследовательская проблема и политическая дилемма* // Там же. С. 1–12; *Gerasimov I., Glebov S., Kusber J., Mogilner M., Semyonov A. New Imperial History and the Challenges of Empire* // *Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). Empire Speaks Out*. P. 3–32; *Миллер А. (ред.). «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода*. М., 2012; *Sdvižkov D. Империя / «Ich» und das Imperium. Das Kaiserreich und die russische Autobiographik, 1830–1860* // *Aust M., Schenk F. B. (Hg.). Imperial Subjects. Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert*. Köln, 2015. S. 113–134. Важны также сборники: *Berger S., Miller A. (eds). Nationalizing Empires*. Budapest, 2015. P. 1–30; *Burbank J., Ransel D. L. (eds). Imperial Russia. New Histories for the Empire*. Bloomington, 1998; *Chulos C. J., Remy J. (eds). Imperial and National Identities in Pre-Revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Russia*. Helsinki, 2002; *Evtuhov C., Gasparov B., Ospovat A., Hagen M. von (eds). Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire*. М., 1997; *Geraci R. P.,*

Khodarkovsky M. (eds). *Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia*. Ithaca, 2001; *Hosking G.* *Russia. People and Empire, 1552–1917*. Cambridge (Mass.), 1997; *Карпачев М., Долбилов М., Минаков А.* (ред.). *Российская империя: стратегия стабилизации и опыты обновления*. Воронеж, 2004; *Кром М. М.* (ред.). *Новая политическая история: Сборник научных работ*. СПб., 2004; *Miller A., Rieber A. J.* (eds). *Imperial Rule*. Budapest, 2004; *Miller A.* *The Romanov Empire and Nationalism*. См. также историографические обзоры: *Sabirova A.* Становление проблематики имперских и национальных исследований в современной российской научной периодике // Герасимов И. В., Глебов С. В., Каплуновский А. П., Могильнер М. Б., Семенов А. М. (ред.). *Новая имперская история постсоветского пространства*. С. 575–598; *Семенов А. М.* Англо-американские исследования по истории Российской империи и СССР // Там же. С. 613–628.

О польской претензии на европейскость см.: *Eile S.* Literature and Nationalism in Partitioned Poland, 1795–1918. Houndmills, 2000. P. 46–83; *Landgrebe A.* «Wenn es Polen nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden». Die Entwicklung des polnischen Nationalbewusstseins im europäischen Kontext von 1830 bis in die 1880er Jahre. Wiesbaden, 2003. S. 112–227; *Marung S.* Zivilisierungsmissionen *à la polonaise*. Polen, Europa und der Osten // Hadler F., Middell M. (Hg.). Verflochtene Geschichten: Ostmitteleuropa. Leipzig, 2010. S. 100–123.

См.: *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb, 1996. P. 4. На эскалацию войны и значение этой динамики для усиления этнонационалистических сепаратистских настроений указано также в работах: *Бахтурина А.* Окраины Российской империи. Государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). М., 2004. Прежде всего с. 15–77; *Balkelis T.* In Search of a Native Realm. The Return of World War One Refugees to Lithuania, 1918–24 // Baron N., Gatrell P. (eds). Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia, 1918–1924. London, 2004. P. 74–97; *Gatrell P.* War, Population Displacement and State Formation in the Russian Borderlands, 1914–24 // Ibid. P. 10–34; *Roshwald A.* Ethnic Nationalism and the Fall of the Empires. Central Europe, Russia, and the Middle East, 1914–1923. London, 2001; *Sanborn J. A.* Drafting the Russian Nation. Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb, 2003. Прежде всего p. 74–82.

Об этом см. также: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

Miller A. The Romanov Empire and Nationalism. P. 10–20. См. также недавно вышедшую работу: *Berger S., Miller A.* Introduction. Building Nations in and with Empires. A Reassessment // *Berger S., Miller A.* (eds). *Nationalizing Empires*. Budapest, 2015. P. 1–30.

Из новейшей литературы о месте России в польской политической и культурной вселенной см., например: *Хорев В. А.* (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; *Он же* (ред.) Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; *Fiećko J., Trybuś K.* (red.). *Obraz Rosji w literaturze polskiej.* Poznań, 2012; *Kirwiel E., Maj E., Podgajna E.* (red.). *Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna.* Lublin, 2011; *Iidem* (red.). *Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna.* Lublin, 2012; *Kminikowska A., Pękała E.* (red.). *Polacy – Rosjanie. Wzajemne relacje.* Gdańsk, 2007; *Лескинен М. В.* Польша и поляки в российских этнографических очерках конца XIX в. // *Хорев В. А.* (ред.). Россия – Польша. С. 134–155; *Lewandowski A., Radomski G., Woydyło W.* (red.). *Rosja w polskiej myśli politycznej XX–XXI wieku.* Toruń, 2013; *Lewicki J.* О uprzedzeniach w odbiorze i interpretacji wpływów rosyjskich w architekturze polskiej (o nieznanych i pomijanych przykładach inspiracji sztuką Cesarstwa Rosyjskiego) // *Kminikowska A., Pękała E.* (red.). *Polacy – Rosjanie.* S. 39–46, 217–226; *Cybulski M.* *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863–1918).* Warszawa, 2009.

Здесь, однако, надо указать на то, что данное исследование посвящено антагонизму преимущественно между поляками и Российской империей, а «еврейский вопрос» занимает второстепенное место. Это объясняется иерархией тем, которые привлекали внимание имперских акторов, описываемых в книге. Для представителей петербургских властей «польский вопрос» – по крайней мере, когда речь шла о Царстве Польском – однозначно имел приоритетное значение.

Направления для дальнейших исследований в этой области задали прежде всего Лукаш Химяк, Анджей Хвальба, Леонид Горизонтов, Ян Козловский, Кшиштоф Лятавец, Анджей Новак, Роберт Пшигородзкий, Катя Владимиров и Теодор Уикс. См.: *Chimiak Ł.* Memoriał General-Gubernatora Skąłona w sprawie obchodów w Warszawie setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego // *Przegląd Historyczny*. 1996. T. 5. S. 161–165; *Idem.* Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. // *Ibid.* 1997. T. 88. No. 4. S. 441–458; *Idem.* Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego. Wrocław, 1999; *Chwalba A.* Imperium korupcji w Rosji w Królestwie Polskim w latach 1861–1917. Kraków, 1995; *Idem.* Polacy w służbie Moskali. Warszawa, 1999; *Głębocki H.* Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków, 2000; *Горизонтов Л. Е.* Парадоксы имперской политики; *Kozłowski J.* Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867–1875 // *Przegląd Historyczny*. 1996. T. LXXXVII. No. 4. S. 819–841; *Idem.* Dygnitarze rosyjscy nad Wisłą po powstaniu styczniowym // *Kwartalnik Historyczny*. 2001. T. 108. No. 2. S. 101–109; *Idem.* Urzędnicy polscy w Królestwie Kongresowym po powstaniu styczniowym (do 1880 r.) // *Szwarc A., Wieczorkiewicz P. P.* (red.). Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały. Warszawa, 2002. S. 71–82; *Latawiec K.* Naczelnicy powiatów gubernii lubelskiej w latach 1867–1915. Próba charakterystyki grupy // *Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska: Historia*. 2003. T. 58. S. 73–96; *Nowak A.* (ed.). *Imperiological studies. A Polish perspective*. Kraków, 2011; *Paszkiewicz P.* W służbie Imperium Rosyjskiego 1721–1917. Funkcje i treści ideowe rosyjskiej architektury sakralnej na zachodnich rubieżach Cesarstwa i poza jego granicami. Warszawa, 1999; *Przygodzki R. L.* Russians in Warsaw. Imperialism and National Identities, 1863–1915. PhD Dis. Northern Illinois University. DeKalb, 2007; *Vladimirov K.* The World of Provincial Bureaucracy in Late 19th and 20th Century Russian Poland. Lewiston, 2004; *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia. Более полную библиографию см. в кн.: *Rolf M.* Imperiale Herrschaft im Weichselland; а также на сайте: <https://uol.de/geschichte/geschichte-europas-der-neuzeit->

mit-schwerpunkt-osteuropa/forschungsschwerpunkte/imperiale-herrschaft-
im-weichselland/imperiale-herrschaft-im-koenigreich-polen-materialien/
(короткая ссылка: . <https://bit.ly/2RX90ZA>).

Об этом направлении политики Петербурга см.: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). *Западные окраины Российской империи*. М., 2006. С. 65–68, и, прежде всего, *Zernack K.* Negative Polenpolitik als Grundlage deutsch-russischer Diplomatie in der Mächtepolitik des 18. Jhs // *Liszkowski U.* (Hg.). *Rußland und Deutschland. Festschrift für Georg von Rauch*. Stuttgart, 1974.

См. также: *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». The Romanov Empire and the Polish Uprisings of 1830–31 and 1863–64 // Leonard J., Hirschhausen U. von (eds). *Comparing Empires. Encounters and Transfers in the Long Nineteenth Century*. Göttingen, 2011. P. 425–452, прежде всего р. 425–427; *Müller M. G.* Die Erste Teilung Polens und ihre Folgen // Bömelburg H.-J. (Hg.). *Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden*. Stuttgart, 2017. S. 513–527; *Idem.* Polen zwischen Preussen und Russland. Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736–1752. Berlin, 1983; *Idem.* Die Teilungen Polens 1772, 1793, 1795. München, 1984; *Idem.* Hegemonialpolitik und imperiale Expansion. Die Teilungen Polens // Hübner E., Kusber J., Nitsche P. (Hg.). *Russland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus – Aufklärung – Pragmatismus*. Köln, 1998. P. 397–410; *Roos H.* Die polnische Nationsgesellschaft und die Staatsgewalt der Teilungsmächte in der europäischen Geschichte (1795–1863) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1966. Bd. 14. H. 3. S. 388–399; *Schulze Wessel M.* Russlands Blick auf Preußen. Die polnische Frage in der Diplomatie und politischen Öffentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates 1697–1947. Stuttgart, 1995. S. 80–92; *Zernack K.* Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäischen Geschichte. Berlin, 1994. S. 282–295; *Zielińska Z.* Katharina II. und Polen zu Beginn der Regierungszeit von Stanislaw August. Politische Ziele und mentale Archetypen // Scharf C. (Hg.). *Katharina II., Russland und Europa. Beiträge zur Internationalen Forschung*. Mainz, 2001. S. 75–84, здесь S. 75–77. По теме в целом см. сборник: *Bömelburg H.-J., Gestrich A., Schnabel-Schüle H.* (Hg.). *Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung – Vergleichsebenen*. Osnabrück, 2013.

См.: *Kriegseisen W.* Die Reformpolitik Stanislaw August Poniatowskis. Grundlage, Programme, Trägerschichten, Resultate // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. S. 495–511; *Müller M. G.* Die Erste Teilung Polens. S. 518–519; *Idem.* Der polnische Adel von 1750 bis 1863 // Wehler H.-U. (Hg.). Europäischer Adel 1750–1950. Göttingen, 1990. S. 217–242; *Zernack K.* Polen und Rußland. S. 280–281.

См.: *Aretin K. O. F. von*. Tausch, Teilung und Länderschacher als Folgen des Gleichgewichtssystems der europäischen Großmächte. Die polnischen Teilungen als europäisches Schicksal // *Zernack K. (Hg.)*. Polen und die polnische Frage in der Geschichte der Hohenzollernmonarchie 1701–1871. Berlin, 1982. S. 53–68, здесь S. 56–57; *Müller M. G.* Polen, die deutschen Staaten und Russland in den internationalen Beziehungen im 18. Jahrhundert. Systemzwänge und Handungsspielräume // *Dmitrów E. (Hg.)*. Deutschlands östliche Nachbarschaften. Eine Sammlung von historischen Essays für Hans Henning Hahn. Frankfurt am Main, 2009. S. 57–75, здесь S. 63–64.

См.: *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Прежде всего р. 425–427; *Müller M. G.* Die Erste Teilung Polens; *Idem.* Die Teilungen Polens.

См.: *Altieri R.* Polen als Spielball der Mächte? // *Altieri R.* (Hg.). Spielball der Mächte. Beiträge zur polnischen Geschichte. Bonn, 2014. S. 7–13; *Hochedlinger M.* «Herzensfreundschaft» – Zweckgemeinschaft – Hypothek? Das russisch-österreichische Bündnis von 1781 bis zur zweiten Teilung Polens // *Scharf C.* (Hg.). Katharina II., Russland und Europa. S. 183–225; *Idem.* Krise und Wiederherstellung. Österreichische Großmachtpolitik zwischen Türkenkrieg und «Zweiter Diplomatischer Revolution» 1787–1791. Berlin, 2000; *Horn D. B.* British opinion and the first partition of Poland. Edinburgh, 1945.

По следующей далее проблематике см. подробнее: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 68–73; *Drozdowski M.* Die Reformen des Großen Sejms in der Praxis // *Jaworski R.* (Hg.). Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791. Frankfurt am Main, 1993. S. 43–53; *Grodziski S.* Die Verfassung vom 3. Mai 1791. Das erste polnische Grundgesetz // *Aus Politik und Zeitgeschichte.* 1987. Bd. 30/31. S. 40–46; *Kleinmann Y.* Der Vierjährige Sejm. Von der Adelsrepublik zur Staatsbürgergesellschaft? // *Bömelburg H.-J.* (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. S. 529–567; *Eadem.* Die Verfassung vom 3. Mai 1791. Inhalt, Kontroversen, nationale und europäische Bedeutung // *Bömelburg H.-J.* (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. S. 567–605; *Liszkowski U.* Russland und die polnische Maiverfassung // *Jaworski R.* (Hg.). Nationale und internationale Aspekte. S. 64–85; *Olszewski H.* Die Maikonstitution als Krönung der Reformbewegung in Polen im 18. Jahrhundert // *Ibid.* S. 24–42; *Unruh G.-C. von.* Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 als Beitrag zur konstitutionellen Entwicklung in Europa. Erster religiöser Minderheitenschutz // *Unruh G.-C. von.* Des Menschen Heimat im Staat: ausgewählte Aufsätze. Berlin, 2019. S. 379–380; *Vahle H.* Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 im zeitgenössischen deutschen Urteil // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 1971. Bd. 19. S. 347–370.

О тексте Конституции см.: Die polnische Verfassung vom 3. Mai 1791 // Gosewinkel D. (Hg.). Die Verfassungen in Europa 1789–1949. Wissenschaftliche Textedition unter Einschluß sämtlicher Änderungen und Ergänzungen sowie mit Dokumenten aus der englischen und amerikanischen Verfassungsgeschichte. München, 2006. S. 376–384.

См.: *Kleinmann Y.* Die Verfassung vom 3. Mai 1791. S. 580. См. также: *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Прежде всего р. 425–427.

См.: *Liszkowski U.* Russland und die polnische Maiverfassung. S. 64–65; *Müller M. G.* Zweite Teilung, Kościuszko-Aufstand, Dritte Teilung // Bömelburg H.-J. (Hg.). Polen in der europäischen Geschichte. S. 612–614.

См.: *Müller M. G.* Zweite Teilung. S. 614–615; *Idem.* Die Teilungen Polens. S. 51–53.

См.: *Idem.* Zweite Teilung. S. 615.

См.: *Moritz E.* Preußen und der Kościuszko-Aufstand 1794. Zur preußischen Polenpolitik in der Zeit der Französischen Revolution. Berlin, 1968. S. 47; *Müller M. G.* Zweite Teilung; *Idem.* Die Teilungen Polens, прежде всего S. 54–56; *Ströbel A.* Die polnischen Teilungen. Ein analytischer Vergleich // Altieri R. (Hg.). Spielball der Mächte. S. 14–37.

См.: *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Прежде всего р. 425–427; *Müller M. G.* Zweite Teilung. S. 618; *Idem.* Die Teilungen Polens. S. 54–56; *Ströbel A.* Die polnischen Teilungen. S. 30–34.

Об этом «мотиве завоевания» см. прежде всего работу Ричарда Уортмана: *Wortman R. Ceremony and Empire in the Evolution of Russian Monarchy* // Evtuhov С., Gasparov В., Ospovat А., Hagen М. von (eds). Kazan, Moscow, St. Petersburg. P. 23–39. И более подробно – в его же двухтомнике о сценариях имперской власти: *Idem. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. From Peter the Great to the Death of Nicholas I.* Princeton, 1995; *Idem. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. From Alexander II to the Abdication of Nicholas II.* Princeton, 2000 [рус. изд.: *Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т.* М., 2000]. См. также: *Utz R. Rußlands unbrauchbare Vergangenheit. Nationalismus und Außenpolitik im Zarenreich.* Wiesbaden, 2008. Прежде всего S. 216–245.

Об этом фундаментальном механизме инкорпорации, действовавшем в домодерной многонациональной державе, см.: *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992. S. 134–138; о польско-литовских территориях: *Ibid.* S. 103–104. О кооптации дворянства западных провинций Российской империи см. прежде всего: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. Гл. 3; *Ganzenmüller J.* Ordnung als Repräsentation von Staatsgewalt. Das Zarenreich in der litauisch-weißrussischen Provinz (1772–1832) // *Baberowski J., Feest D., Gumb C.* (Hg.). Imperiale Herrschaft in der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich. Frankfurt am Main, 2008. P. 59–80; *Idem.* Zwischen Elitenkooptation und Staatsausbau. Der polnische Adel und die Widersprüche russischer Integrationspolitik in den Westgouvernements des Zarenreiches (1772–1850) // *Historische Zeitschrift.* 2010. Bd. 291. S. 625–662; *Kraft C.* Polnische militärische Eliten in gesellschaftlichen und politischen Umbruchprozessen 1772–1831 // *Gestrich A., Schnabel-Schuele H.* (Hg.). Fremde Herrscher – Fremdes Volk. Inklusions– und Exklusionsfiguren bei Herrschaftswechseln in Europa. Frankfurt am Main, 2006. S. 271–295; *Müller M. G.* Der polnische Adel; *Velychenko S.* Identities, Loyalties, and Service in Imperial Russia. Who Administered the Borderlands? // *Russian Review.* 1995. Vol. 54. No. 2. P. 188–208. О схожих процессах в Галиции после включения ее в монархию Габсбургов см.: *Řezník M.* Neuorientierung einer Elite. Aristokratie, Ständewesen und Loyalität in Galizien (1772–1795). Frankfurt am Main, 2016.

См. прежде всего: *Bömelburg H.-J.* Inklusion und Exklusion nach der Ersten Teilung Polen-Litauens. Die österreichische, preußische und russländische Regierungspraxis in Galizien, Westpreußen und den weißrussischen Gouvernements Polack und Mahileŭ im Vergleich (1772–1806/07) // *Bömelburg H.-J., Gestrich A., Schnabel-Schüle H.* (Hg.). Die Teilungen Polen-Litauens. S. 171–200; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 75–80; *Czubaty J.* Zasada «dwóch sumień». Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815). Warszawa, 2005; *Ganzenmüller J.* Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Elitenintegration und Staatsausbau im Westen des Zarenreiches (1772–1850). Köln, 2013. Прежде всего Кар. 1–3; *Portnov A.* «Unsere Leute» identifizieren. Die «ukrainischen Territorien» 1772–1831 // *Bömelburg H.-J., Gestrich A., Schnabel-Schüle H.* (Hg.). Die Teilungen Polen-Litauens. S. 201–244. Об особенностях интеграционной политики в западных губерниях в более поздний период см.: *Долбилов М. Д.* Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // *Ab Imperio.* 2001. № 1–2. С. 227–268; *Dolbilov M.* Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire's Northwestern Region in the 1860s // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.* 2004. Vol. 5. No. 2. P. 245–272; *LeDonne J. P.* Frontier Governors General, 1772–1825. I. The Western Frontier // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 1999. Bd. 47. H. 1. S. 57–81; *Idem.* Frontier Governors General, 1772–1825. II. The Southern Frontier // *Ibid.* 2000. Bd. 48. H. 2. S. 161–183; *Miller A.* Shaping Russian and Ukrainian Identities in the Russian Empire During the Nineteenth Century. Some Methodological Remarks // *Ibid.* Bd. 49. H. 2. S. 257–263; *Idem.* The Ukrainian Question. The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century. Budapest, 2003; *Velychenko S.* Identities, Loyalties, and Service; *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia.

См., в частности: *Flynn J. T.* The University Reform of Tsar Alexander I, 1802–1835. Washington, 1988. P. 40–50, 112–122; *Kusber J.* Eliten– und Volksbildung im Zarenreich während des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Studien zu Diskurs, Gesetzgebung und Umsetzung. Stuttgart, 2004. Прежде всего S. 375–381; *Saunders D.* Russia in the Age of Reaction and Reform, 1801–1881. London, 1992. P. 19–25; *Völkl E.* Zar Alexander I. und die «polnische Frage» // *Saeculum*. 1973. Bd. 24. S. 112–132; *Zawadzki W. H.* Russia and the Re-opening of the Polish Question, 1801–1814 // *The International History Review*. 1985. Vol. 7. No. 1. P. 19–44. О Чарторыйском см. также: *Czubaty J.* Zasada «dwóch sumień»; *Morley C.* Alexander I. and Czartoryski. The Polish Question from 1801–1813 // *Slavonic and East European Review*. 1946. Vol. 25. P. 405–426; *Zawadzki W. H.* A Man of Honour. Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland, 1795–1831. Oxford, 1993. P. 259–280. О польской Образовательной комиссии см.: *Suchodolski B.* Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski. Warszawa, 1973.

Текст Конституции 1807 года см. в кн.: *Pölitz K. H. L.* (Hg.). *Die europäischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf unsere heutige Zeit.* Leipzig, 1833. S. 17–22. Также см.: *Рейнке Н. М.* Очерк законодательства Царства Польского (1807–1881 г.). СПб., 1902. Гл. 1. После поражения Австрии и заключения Шенбруннского мирного договора в 1809 году территория Герцогства Варшавского расширилась за счет некоторых земель Западной Галиции, а численность населения выросла до 4,4 млн человек. О Герцогстве см. также: *Breyer R.* *Südpreußen, Neuostpreußen und das Herzogtum Warschau* // *Rogall J.* (Hg.). *Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land der großen Ströme. Von Polen nach Litauen.* Berlin, 1996. S. 172–193; *Czubaty J.* *Księstwo Warszawskie (1807–1815).* Warszawa, 2011; *Idem.* *Zasada «dwóch sumień»*; *Senkowska-Gluck M.* *Das Herzogtum Warschau* // *Sieburg H.-O.* (Hg.). *Napoleon und Europa.* Köln, 1971. S. 221–230.

По следующей далее проблематике см. прежде всего: *Hahn H.-H.* Die Polenbestimmungen der Wiener Schlußakte. Eine politische und völkerrechtshistorische Analyse // *Dybaś B.* (Hg.). Die polnische Frage und der Wiener Kongress 1814–1815. Wien, 2020 [в печати]. См. также: *Eich U.* Rußland und Europa. Studien zur russischen Deutschlandpolitik in der Zeit des Wiener Kongresses. Köln, 1986. Прежде всего S. 256–275; *Gruner W. D.* Der Wiener Kongress 1814/15. Stuttgart, 2014; *Kraehe E. E.* Metternich's German Policy. Princeton (N. J.), 1983. Vol. II: The Congress of Vienna, 1814–1815; *Кулик М.* Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830 // *Славяноведение.* 2013. № 1. С. 105–107; *Schroeder P. W.* The Transformation of European Politics 1763–1848. Oxford, 1994. Chap. 12; *Siemann W.* Metternich. Stratege und Visionär. Eine Biographie. München, 2016. Прежде всего S. 504; *Thackeray F. W.* Antecedents of Revolution. Alexander I and the Polish Kingdom 1815–1825. Boulder (Col.), 1980; *Völkl E.* Zar Alexander I. und die «polnische Frage»; *Zamoyski A.* 1815. Napoleons Sturz und der Wiener Kongress. München, 2014; *Zawadzki W. H.* Russia and the Re-opening of the Polish Question; *Zernack K.* Polen und Rußland. S. 313–314. О концепциях и представлениях Александра в этот период см. также: *Martin A. M.* Romantics, Reformers, Reactionaries. Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997. P. 143–168; *Zawadzki W. H.* A Man of Honour. P. 259–280.

См.: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 83–84.

См.: *Hahn H.-H.* Die Polenbestimmungen der Wiener Schlußakte.

Ibid.

О принципиальной разнице между Царством Польским и западными губерниями и об углублении противоречий на протяжении XIX века см.: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины; *Долбилов М. Д.* Культурная идиома возрождения России; *Matsuzato K.* The Issue of Zemstvos in Right Bank Ukraine 1864–1906. Russian Anti-Polonism Under the Challenges of Modernization // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2003. Bd. 51. H. 2. S. 218–235; *Miller A.* The Ukrainian Question; *Portnov A.* «Unsere Leute» identifizieren; *Rodkiewicz W.* Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire (1863–1905). Lublin, 1998; *Сталюнас Д.* Границы в пограничье. Белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на западных окраинах в период Великих реформ // *Ab Imperio*. 2003. № 1. С. 262–292; *Vulpius R.* Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung 1860–1920. Wiesbaden, 2005; *Weeks T. R.* Defining Us and Them. Poles and Russians in the «Western Provinces», 1863–1914 // *Slavic Review*. 1994. Vol. 53. No. 1. P. 26–40; *Idem.* Nation and State in late imperial Russia; *Idem.* A National Triangle. Lithuanians, Poles and the Russian Imperial Government // *Evtuhov C., Gasparov B., Ospovat A., Hagen M. von* (eds). Kazan, Moscow, St. Petersburg. P. 365–380; *Woolhiser C.* Constructing National Identities in the Polish-Belarusian Borderlands // *Ab Imperio*. 2003. No. 1. P. 293–346.

Конституция 1815 года опубликована в кн.: *Pölitz K. H. L.* (Hg.). *Die europäischen Verfassungen.* S. 24–33; *Сергеевский Н. Д.* (ред.). Конституционная хартия 1815 г. и некоторые другие акты бывшего Царства Польского (1814–1881). СПб., 1907.

По проблематике, затрагиваемой в следующем абзаце, см. также: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 81–92; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». P. 427–429; *Кулик М.* Польша и Россия. С. 105–107; *Thackeray F. W.* Antecedents of Revolution; *Zawadzki W. H.* A Man of Honour. P. 259–280.

См. речь Александра при открытии сейма в 1817 году: *Pölitz K. H. L.* (Hg.). *Die europäischen Verfassungen*. S. 33–36. Об открытии университета в Варшаве см. также: *Александренко В. Н.* Из истории Варшавского университета. СПб., 1908; *Щелков И. П.* Очерк истории высших учебных заведений в Варшаве до открытия Императорского Университета // *Варшавские университетские известия*. 1893. № 8. С. 1–32. См. также: *Kizwalter T.* (red.). *Monumenta Universitatis Varsoviensis. Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego*. Warszawa, 2016. Cz. I. Lata: 1816–1915; *Kulecka A.* (red.). *Urzednicy i urzedy w spoleczenstwie XIX wieku. Zbiór studiów*. Warszawa, 2017; *Swiderski B.* *Myth and Scholarship. University Students and Political Development in XIX Century Poland*. Kopenhagen, 1987. Особенно p. 86–129.

Обзорная работа по этой теме: *Kulecka A.* (red.). *Urzednicy i urzedy.*

Наиболее важная общая работа по этой теме: *Trencsényi B., Kopeček M.* (eds). *Late Enlightenment. Emergence of the Modern «National Idea»*. Budapest, 2006. Part 1: *Images of the Future (from the 1780s to 1863)*. Также см.: *Jedlicki J.* *A Suburb of Europe. Nineteenth-Century Polish Approaches to Western Civilization*. Budapest, 1999; *Idem.* *Błędne koło 1832–1864*. Warszawa, 2008. T. 2: *Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku*.

См.: *Jaworski R.* Das geteilte Polen (1795–1918) // *Jaworski R., Lübke C., Müller M. G. (Hg.). Eine kleine Geschichte Polens.* Frankfurt am Main, 2000. S. 260–261; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland 1795–1918. Seattle, 1974. P. 79–82.

О Лодзи см. в особенности: *Pietrow-Ennker B.* Wirtschaftsbürger und Bürgerlichkeit im Königreich Polen. Das Beispiel von Lodz, dem «Manchester des Ostens» // *Geschichte und Gesellschaft*. 2005. № 2. S. 169–202; *Eadem.* Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft? Modernisierungsprozesse in Lodz (1820–1914) // *Hensel J.* (Hg.). Polen, Deutsche, Juden. in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft. Osnabrück, 1999. S. 103–130 и другие статьи в этом сборнике; *Porter-Szűcs B.* Religion in Everyday Urban Life. Shaping Modernity in Łódź and Manchester, 1820–1914 // *Berglund B. R., Porter-Szűcs B.* (eds). *Christianity and Modernity in Eastern Europe*. Budapest, 2013.

Станислав Сташиц умер в 1826 году. Юлиан Немцевич прожил бурную жизнь: был адъютантом Костюшко, соратником Наполеона, несколько раз оказывался в изгнании, потом стал статс-секретарем в Царстве Польском и наконец в 1828 году был назначен президентом Научного общества. О том, как менялась Варшава, см. общие работы: *Getka-Kenig M.* Architektura i prestiż nowoczesnego urzędu. Przypadek budynków ministerialnych w Warszawie, stolicy konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1785–1830) // Kulecka A. (red.). Urzędnicy i urzędy. S. 39–52; *Leśniakowska M.* Architektura w Warszawie. Warszawa, 2005; *Łupienko A.* Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa, 2012.

См. также: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 91–92; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 429–430.

О Новосильцеве см., в частности: *Flynn J. T.* The University Reform of Tsar Alexander I. P. 119–123; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. Cambridge, 2001. P. 125–127; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 95–96.

О цензурных мерах после восстания декабристов в России вообще см.: *Lincoln W. B.* Nicholas I. Emperor and Autocrat of All the Russias. DeKalb, 1989. P. 235–250; *Squire P. S.* The Third Department. The establishment and practices of the political police in Russia of Nicholas I. Cambridge, 1968. Особенно p. 177–238.

По рассматриваемой далее проблематике см.: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 94–96; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». P. 430–431; *Ganzenmüller J.* Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Особенно S. 102–143; *Petronis V.* Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800–1914. Stockholm, 2007. P. 100–109; *Rodkiewicz W.* Russian Nationality Policy. P. 135–136, 159–162; *Seegel S. J.* Mapping Europe's Borderlands. Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, 2012. Особенно p. 74–76; *Staliunas D.* (ed.). Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century. Brighton (MA), 2016; *Idem.* Making Russians. Meaning and Practices of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam, 2007. Особенно p. 57–70.

Ср.: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 59–60, 168–173 [рус. изд.: *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. С. 54–77, 147–170].

Ср. в особенности: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 103–117; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 434–439; *Ganzenmüller J.* Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Особенно Кар. II и III.

Ср.: *Davies N.* Heart of Europe. The Past in Poland's Present. Oxford, 2001. P. 142–146; *Кулик М.* Польша и Россия; *Müller M. G.* Der polnische Adel. S. 217–242.

Основная общая работа по этой проблематике: *Trencsényi B., Kopeček M.* (eds). *National Romanticism. The Formation of National Movements*. Budapest, 2007. Также см.: *Jedlicki J.* *A Suburb of Europe; Idem.* *Błędne koło 1832–1864. T. 2: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 roku.*

Ср.: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 96–100; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 431–433.

Ср., в частности: *Кашитанова О. С.* Польский вопрос в международной политике 1830-х – начала 1860-х гг. // Фалькович С. М. (ред.). *Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е годы XIX в.* М., 2016. С. 383–461; *Zernack K.* Polen und Rußland. S. 323–324.

По рассматриваемой далее проблематике см., в частности:
Носов Б. В. Подавление восстания 1830–1831 гг. и установление режима чрезвычайного управления // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 15–89.

См., в частности: *Davies N.* Heart of Europe. P. 142–148; *Gill A.* Freiheitskämpfe der Polen im 19. Jahrhundert. Erhebungen – Aufstände – Revolutionen. Frankfurt am Main, 1997. S. 131–188; *Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W.* Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Warszawa, 1994; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. P. 129–141; *Roos H.* Die polnische Nationsgesellschaft. S. 388–399.

См. об этом подробнее в работах: *Фалькович С. М.* Польская «Великая эмиграция» 1831 – начала 1860-х гг. // *Фалькович С. М.* (ред.). Меж двух восстаний. С. 461–603; *Kizwalter T.* Über die Modernität der Nation. Der Fall Polen. Osnabrück, 2013; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 112–113; *Trencsényi B., Kopeček M.* (eds). National Romanticism; *Winkler H. A.* Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München, 2009. Kap. «Europa in den frühen 1830er Jahren».

Об этом см.: *Eile S.* Literature and Nationalism in Partitioned Poland. Особенно p. 46–83; *Landgrebe A.* «Wenn es Polen nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden». Особенно S. 166–176; *Petersen H.-C.* «Us» and «Them»? Polish Self-Descriptions and Perceptions of the Russian Empire between Homogeneity and Diversity (1815–1863) // Gerasimov I., Kusber J., Semyonov A. (eds). *Empire Speaks Out*. P. 89–120; *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century Poland. Oxford, 2000. P. 17–37; *Walicki A.* National Messianism and the Historical Controversies in the Polish Thought of 1831–1848 // Sussex R., Eade J. C. (eds). *Culture and Nationalism in Nineteenth-Century Eastern Europe*. Columbus, 1985. P. 128–142; *Wierzbicki A.* Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku. Warszawa, 2010. Особенно gl. 2.

Пушкин А. С. Клеветникам России // Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1957. Т. 3: Стихотворения 1827–1836 гг. См. также: *Хорев В. А.* Роль польского восстания 1830 г. в историографии и историософии // Липатов А. В., Шайтанов И. О. (сост.). Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000. С. 100–109 и другие статьи этого сборника; кроме того: *Он же* (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; *Он же* (ред.). Россия – Польша; *Волков В. К.* (ред.). *Studia polonica*: К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.

Об этом см.: *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». P. 434–437; *Фалькович С. М., Носов Б. В.* Предисловие // *Фалькович С. М.* (ред.). *Меж двух восстаний*. С. 9–15, особенно 11–12; *Он же.* Заключение // Там же. С. 739–740; *Глуховский П., Горизонтов Л. Ф. В.* Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века. Эволюция идентичности и политических воззрений. СПб., 2013; *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. S. 199–201; *Miller A.* Natsiia, Narod, Narodnost' in Russia in the 19th Century. Some Introductory Remarks to the History of Concepts // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2008. Bd. 56. H. 3. S. 379–390; *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 139–159; *Zernack K.* Polen und Rußland. S. 323–330.

См., в частности: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 100–111; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 433–439; *Saunders D.* Russia in the Age of Reaction and Reform. Р. 176–179; *Kieniewicz S.* Historia Polski 1795–1918. Warszawa, 1983. S. 113–116; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. Р. 135–139; *Rhode G.* Kleine Geschichte Polens. Darmstadt, 1965. S. 354–363.

О статуте см.: *Фалькович С. М.* Заключение. С. 735–741; а также: *Он же* (ред.). Меж двух восстаний. Приложение. С. 741–751. О Паскевиче см.: *Щербатов А. Г.* Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность: В 6 т. СПб., 1888–1899. О варшавском периоде его жизни см. тома 4–6. О его службе на Кавказе см. также: *Baddeley J. F.* The Russian Conquest of the Caucasus. New York, 1969. P. 160; *Khodarkovsky M.* Bitter Choices. Loyalty and Betrayal in the Russian Conquest of the North Caucasus. Ithaca, 2011 [рус. изд.: *Ходарковский М.* Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа / Пер. с англ. А. Терещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2016. – *Примеч. ред.*].

Об этом и о событиях, упоминаемых в следующем абзаце, подробнее см.: *Носов Б. В.* Политика царского правительства в Королевстве Польском времени наместничества И. Ф. Паскевича // *Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 89–199.*

Об этом см.: *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. S. 199–200.

Ср.: *Погодин А. Л.* Виленский учебный округ 1803–1831 гг. СПб., 1901. См. также: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 103–111; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 434–439; *Ganzenmüller J.* Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. Kap. III; *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia. Р. 174; *Idem.* Religion and Russification. Russian Language in the Catholic Churches of the «Northwestern Provinces» after 1863 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.* 2001. Vol. 2. № 1. Р. 87–110, здесь р. 92–94; *Woolhiser C.* Constructing National Identities. Р. 303–304.

Zernack K. Polen und Rußland. S. 331.

См. прежде всего: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 103–111; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 436–439; *Долбилов М., Сталюнас Д.* Обратная уния. Из истории отношений между католицизмом и православием в Российской империи 1840–1873. Вильнюс, 2010. Особенно с. 18–21; *Ganzenmüller J.* Russische Staatsgewalt und polnischer Adel. S. 283–300; *Miller A.* The Ukrainian Question. Р. 49–60; *Subtelny O.* Ukraine: A History. Toronto, 1988. Р. 210–212.

Об этой интеграционной политике после 1831 года см.:
Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 103–111;
Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 434–439;
Ganzenmüller J. Zwischen Elitenkooptation und Staatsausbau. S. 625–662.

О деятельности цензурных органов в Варшаве см.: Государственный архив Российской Федерации [далее – ГАРФ]. Ф. 312. Оп. 1: Варшавский комитет по делам печати (1896–1915); а кроме того: Archiwum Główne Akt Dawnych [далее – AGAD]. Warszawski Komitet Cenzury [далее – WKC]. Также см.: *Prussak M.* (red.). Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie. Warszawa, 1994; *Каишанова О. С.* Развитие просвещения и культуры в Королевстве Польском в 30-х – начале 60-х гг. XIX в. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 603–655. О цензуре см.: *Гринченко Н. А.* История цензурных учреждений в России в первой половине XIX века // Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А. (ред.). Цензура в России. История и современность. Сборник научных трудов. СПб., 2001. С. 15–46, 21–22; *Каутуж А. В.* О царском цензурном «шлагбауме» в Варшаве второй половины XIX в. // Взаимосвязи славянской литературы. Л., 1966. С. 152–155, здесь с. 152.

Ср.: *Макарова Г. В.* Патриотическое общественное движение в Королевстве Польском в 1830-х – начале 1860-х гг. // *Фалькович С. М.* (ред.). *Меж двух восстаний.* С. 271–383.

См.: *Кашитанова О. С.* Развитие просвещения и культуры в Королевстве Польском.

О репрессивном характере того времени см., в частности: *Davies N.* God's Playground. A History of Poland. 1795 to the Present. Oxford, 2005. P. 225–245. О цитадели см.: *Król S.* Cytadela Warszawska. Warszawa, 1978.

См.: *Paszkiewicz P.* Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915. Warszawa, 1991. S. 138–178 и илл. 96–100; *Sokoł K., Sosna A.* Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815–1915. M., 2005.

Cp.: *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 123.

Об этом см., в частности: *Kieniewicz S.* Historia Polski. 1983. S. 120–126; *Hensel J.* (Hg.). Polen, Deutsche, Juden; *Pietrow-Ennker B.* Wirtschaftsbürger und Bürgerlichkeit; *Pietrow-Ennker B.* Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft? Особенно S. 107–117; *Landau Z., Tomaszewski J.* Wirtschaftsgeschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert. Berlin, 1986; *Марней Л. П.* Экономическое развитие Королевства Польского и Российской империи в 30–50-х гг. XIX в. // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 199–271.

См.: *Марней Л. П.* Экономическое развитие Королевства Польского; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 122–124.

См.: *Gebhard J.* Lublin. Eine polnische Stadt im Hinterhof der Moderne (1815–1914). Köln, 2006. S. 75–93. Также см.: *Idem.* Ein problematisches Modernisierungsexempel. Lublin 1815–1914 // Goehrke C., Pietrow-Ennker B. (Hg.). Städte im östlichen Europa. Zur Problematik von Modernisierung und Raum vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Zürich, 2006. S. 215–251.

Cp.: *Chwalba A.* Historia Polski 1795–1918. Kraków, 2001. S. 285–287.

Ср.: *Пильц Э. И.* Поворотный момент в нашей истории // Пильц Э. И. Поворотный момент в русско-польских отношениях. Три статьи Петра Варты (Э. И. Пильца) / Пер. с польск. СПб., 1897. С. 6–9; *Сидоров А. А.* Русские и русская жизнь в Варшаве (1815–1895): Исторический очерк. Варшава, 1899. Вып. 2. С. 120–121; *Он же.* Русские государи в Варшаве. Варшава, 1897. С. 20–21; *Татищев С.* Император Александр Второй. М., 1996 [первое изд. – 1911]. Т. 1. С. 233–234. См. также: *Уортман Р.* Поездки Александра II по Российской империи // Кукушкин Ю. С., Захарова Л. Г. (ред.). П. А. Зайончковский. 1904–1983 гг. Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998. С. 220–237, здесь с. 223.

О Крымской войне см.: *Edgerton R. B.* Death or Glory. The Legacy of the Crimean War. Boulder (Col.), 1999; *Figes O.* Crimea: The Last Crusade. London, 2010; *Idem.* The Crimean War: A History. New York, 2011. Что касается Великих реформ, то по-прежнему актуальны работы: *Lincoln W. B.* The Great Reforms. Autocracy, Bureaucracy, and the Politics of Change in Imperial Russia. DeKalb, 1990; *Eklof B., Bushnell J., Zakharova L.* (eds). Russia's Great Reforms 1855–1881. Bloomington, 1994.

Ядро реформ в этом смысле составляло, несомненно, освобождение крестьян, которое в 1861 году было осуществлено вопреки мощному сопротивлению. 11 млн крестьян получили личную свободу, и тем самым значительная часть населения была выведена из-под власти помещиков, что открыло простор для расширения сферы действия как государственных структур, так и учреждений самоуправления. См. об этом: *Leonard C. S. Agrarian Reform in Russia. The Road from Serfdom.* New York, 2011; *Macey D. A. J. Government and Peasant in Russia 1861–1906. The Prehistory of the Stolypin Reforms.* DeKalb, 1987; *Worobec C. D. Peasant Russia. Family and Community in the Post-Emancipation Period.* DeKalb, 1995; *Yaney G. L. The Urge to Mobilize. Agrarian Reform in Russia, 1861–1930.* Urbana, 1982.

О топосе «гражданственности» см., в частности: *Baberowski J.* Auf der Suche nach Eindeutigkeit. Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und der Sowjetunion // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1999. Bd. 47. H. 3. S. 482–503, особенно S. 489–490; *Beyrau D.* Liberaler Adel und Reformbürokratie im Rußland Alexanders II // *Langewiesche D.* (Hg.). *Liberalismus im 19. Jahrhundert*. Göttingen, 1988. S. 499–514; *Yaroshevski D.* *Empire and Citizenship* // *Brower D. R., Lazzerini E. J.* (eds). *Russia's Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917*. Bloomington, 1997. P. 58–79.

Об этом и по обсуждаемой далее проблематике см. также:
Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 123–176;
Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». Р. 439–443.

Об этноконфессиональной и языковой политике в западных губерниях в годы Великих реформ см., в частности: *Долбилов М. Д.* Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010; *Сталюнас Д.* Границы в пограничье.

Об этом и вообще о периоде либерализации и радикализации 1856–1863 годов см., в частности: *Chwalba A.* Historia Polski. S. 323–331; *Davies N.* God's Playground. P. 256–272; *Гетманский А. Е.* Политика России в польском вопросе (60-е годы XIX века) // Вопросы истории. 2004. № 5. С. 24–45, здесь с. 24–25; *Kieniewicz S.* Historia Polski. 1983. S. 233–240; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. P. 146–151; *Носов Б. В.* Накануне Январского восстания (1856–1862 гг.) // Фалькович С. М. (ред.). Меж двух восстаний. С. 655–735; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 155–179.

См. характеристику, данную Велёпольскому одним известным приверженцем «угоды» – Влодзимежем Спасовичем: *Спасович В. Д.* Жизнь и политика маркиза Велёпольского. Эпизод из истории русско-польского конфликта и вопроса. СПб., 1882.

О Главной школе и ее знаменитых выпускниках см., в частности: [Анонимная публикация.] Политические итоги. С. 33–41; *Щелков И. П.* Очерк истории высших учебных заведений в Варшаве до открытия Императорского Варшавского Университета // Варшавские университетские известия. 1893. № 9. С. 33–63. См. также: *Corrsin S. D.* Warsaw before the First World War. Poles and Jews in the Third City of the Russian Empire 1880–1914. New York, 1989. P. 17; *Zasztowt L.* Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905 // Brzozowski S., Suchodolski B. (red.). Historia nauki polskiej. Wrocław, 1987. S. 599–633.

В частности, идею правовой эмансипации евреев активно критиковали Юзеф Игнаций Крашевский и издававшаяся им *Gazeta Warszawska*. Крашевскому был дорог воображаемый идеал польской дворянской традиции, которая теперь подвергалась натиску сил модернизации, чьими наиболее яркими представителями казались ему преуспевающие предприниматели-евреи, такие как Леопольд Кроненберг. См.: *Haumann H. Geschichte der Ostjuden. München, 1998. S. 88; Weeks T. R. From Assimilation to Antisemitism. The «Jewish Question» in Poland, 1850–1914. DeKalb, 2006. P. 37–42.*

См.: *Haumann H.* Geschichte der Ostjuden. S. 88; *Weeks T. R.* From Assimilation to Antisemitism. P. 41–42.

См. также сообщения русских свидетелей происходившего, собранные в кн.: *Подвысоцкий А. И.* (ред.). Записки очевидца о событиях в Варшаве в 1861 и 1862 годах. СПб., 1869.

См. также: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 145–149; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». Р. 441–442.

См.: Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины. С. 150–155; Miller A., Dolbilov M. «The Damned Polish Question». P. 442–443; Stadelmann M. Großfürst Konstantin Nikolaevič. Der persönliche Faktor und die Kultur des Wandels in der russischen Autokratie. Wiesbaden, 2012. S. 295–396.

Cp.: *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. P. 147–150; *Stadelmann M.* Großfürst Konstantin Nikolaewiĉ. S. 341–351; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 167–172.

Об обсуждаемой далее проблематике более подробно см.: *Chwalba A.* Historia Polski. S. 332–341; *Долбилов М. Д., Муллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 177–184; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». P. 443–446; *Kieniewicz S.* Warszawa w powstaniu styczniowym. Warszawa, 1965; *Idem.* Powstanie styczniowe. Warszawa, 1972; *Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W.* Trzy powstania narodowe; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. P. 146–154; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 155–179.

О «польской смуте» см., например: *Татищев С. С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 422–458.

Примерно так же эскалация напряженности в 1861–1863 годах обсуждалась и в российской публичной сфере. См., в частности: *Подвысоцкий А. И.* (ред.). Записки очевидца. Особенно с. 117–128; *Погодин М. П.* Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний М. П. Погодина. 1831–1867. М., 1867. Особенно с. 177–189.

Cp.: *Kieniewicz S.* Historia Polski. 1983. S. 259–265; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland. P. 151–152.

Об этом подробнее: *Kieniewicz S.* Warszawa w powstaniu styczniowym. Warszawa, 1983.

См.: *Stadelmann M.* Großfürst Konstantin Nikolaevič. S. 392–393. См. также: *Качинская Э.* Поляки в Сибири (1815–1914). Социально-демографический аспект // Романов П. С. (ред.). Сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. С. 265–277.

О значении «польского вопроса» в нарождавшемся российском террористическом движении см., в частности: *Rindlisbacher S.* Leben für die Sache. Vera Figner, Vera Zasulič und das radikale Milieu im späten Zarenreich. Wiesbaden, 2014. S. 110–111, 203.

См. многочисленные статьи Каткова, особенно: *Катков М. Н.* 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в Московских Ведомостях, Русском Вестнике и Современной Летописи. М., 1887. Кроме того, см.: *Аксаков И. С.* Польский вопрос и западно-русское дело // Сочинения. М., 1886. Т. 1. С. 3–462. О Каткове см. также: *Katz M. Mikhail N. Katkov. A Political Biography, 1818–1887.* Den Haag, 1966; *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 56–57 [рус. изд.: *Миллер А.* Империя Романовых. С. 54–77]; *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855–1875. Köln, 2000. Особенно S. 204–210, 271–273; *Utz R.* Rußlands unbrauchbare Vergangenheit. Besonders S. 218–220.

См. раздел «Введение» в кн.: *Соловьев С. М.* История падения Польши. М., 1863. Голосов, высказывавшихся против такой позиции и в пользу примирения, было совсем немного. См., например: *Любимов П.* Польский вопрос и чем может быть война с Россией? СПб., 1863.

См., например: *Гильфердинг А. Ф.* Положение и задача России в Царстве Польском. СПб., 1863; *Юзефович М. В.* Возможен ли мир с нами польской шляхты? Вильна, 1864. С. 1–10; *Кулжинский И.* История Польши. Киев, 1864; *Милютин Н. А.* Исследования в Царстве Польском (по Высочайшему повелению): В 5 т. СПб., 1864. Т. 5. Особенно с. 65; *Прудников М.* Чего же хочет Польша? СПб., 1863; *Шипов С. П.* О некоторых предметах польского вопроса, требующих разъяснения. М., 1863.

Об этом см.: *Beyrau D.* Liberaler Adel und Reformbürokratie. S. 503–507; *Grandits H., Judson P., Rolf M.* Empires and Nations in the late 19th and early 20th centuries // *Ferhadbegovic S., Puttkamer J. von, Borodziej W.* (eds). *The Jena History of Twentieth-Century Central and Eastern Europe.* London, 2020 (в печати); *Renner A.* Russischer Nationalismus. Besonders S. 185–273, 375–383; *Walicki A.* The Slavophile Thinkers and the Polish Question in 1863 // *Ransel D. L., Shallcross B.* (eds). *Polish Encounters, Russian Identity.* Bloomington, 2005. P. 89–99; *Zakharova L.* The reign of Alexander II. A watershed? // *Lieven D.* (ed.). *The Cambridge History of Russia.* Cambridge, 2006. P. 593–616, здесь p. 610–611. Наиболее важные общие работы о роли российской общественности в конфликтах 60-х годов: *Głębocki H.* Fatalna sprawa; *Renner A.* Nationalismus und Diskurs. Zur Konstruktion nationaler Identität im Russischen Zarenreich nach 1855 // *Hirschhausen U. von, Leonhard J.* (Hg.). *Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich.* Göttingen, 2001. S. 433–449; *Walicki A.* The Slavophile Controversy. History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Oxford, 1975. Также см.: *Beyrau D.* Russische Interessenzonen und europäisches Gleichgewicht 1860 bis 1870 // *Kolb E.* (Hg.). *Europa vor dem Krieg von 1870.* München, 1987. S. 65–76, здесь S. 66–72; *Dolbilov M.* Russification and the Bureaucratic Mind; *Geyer D.* Der russische Imperialismus. Studien über den Zusammenhang von innerer und auswärtiger Politik 1860–1914. Göttingen, 1977. S. 46–47; *Katz M.* Mikhail N. Katkov; *Radziejowski J.* The Image of the Pole in Russian Publicistic Writings (1864–1918) // *Acta Poloniae Historica.* 1992. Vol. 66. P. 115–139, особенно p. 115–124; *Staliunas D.* Making Russians. P. 57–59; *Utz R.* Rußlands unbrauchbare Vergangenheit. S. 218–220; *Zernack K.* Polen und Rußland. S. 342–345.

Особенно это заметно в работах: *Renner A.* Russischer Nationalismus. S. 272–273; *Utz R.* Rußlands unbrauchbare Vergangenheit. Besonders S. 218–220.

Renner A. Russischer Nationalismus. S. 375.

AGAD. Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego [далее – KGGW]. Sygn. 1773. Kart. 20–20 ob.

См.: *Милютин Н. А.* Исследования в Царстве Польском. Т. 5; APW. Т. 151. Cz. 3 (Kancelaria Gubernatora Warszawskiego [далее – KGW]). Sygn. 543. Kart. 3–6, особенно kart. 3–4. Об обширной деятельности комитета свидетельствуют документы в: ГАРФ. Ф. 1141. Оп. 1 [Учредительный комитет в Царстве Польском, 1864–1871]. См. также: *Рейнке Н. М.* Очерк законодательства Царства Польского. С. 114–116; *Татищев С. С.* Император Александр II. 1903. Т. 1. С. 499–510; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 184–199; *Miller A., Dolbilov M.* «The Damned Polish Question». P. 446–447.

Cp.: *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich. S. 179–181; *Kieniewicz S.* Historia Polski. 1983. S. 257–259; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 175–177.

См.: *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. P. 39–42;
Weeks T. R. From Assimilation to Antisemitism. Особенно p. 44–50.

О западных губерниях после 1863–1864 годов см., в частности: *Beauvois D.* La bataille de la terre en Ukraine, 1863–1914. Les Polonais et les conflits socio-ethniques. Lille, 1993; *Idem.* Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine 1793–1830. Paris, 1996; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины; *Долбилов М. Д.* Русский край, чужая вера; *Он же.* Культурная идиома возрождения России; *Dolbilov M.* Russification and the Bureaucratic Mind; *Комзолова А. А.* Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М., 2005; *LeDonne J. P.* Frontier Governors General, 1772–1825. I. The Western Frontier; *Idem.* Frontier Governors General, 1772–1825. II. The Southern Frontier; *Matsuzato K.* The Issue of Zemstvos; *Miller A.* Shaping Russian and Ukrainian Identities; *Idem.* The Ukrainian Question; *Rodkiewicz W.* Russian Nationality Policy; *Snyder T.* The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. New Haven, 2003; *Staliunas D.* The Pole in the Policy of the Russian Government. Semantics and Praxis in the Mid-Nineteenth Century // *Lithuanian Historical Studies*. 2000. Vol. 5. P. 45–67; *Сталюнас Д.* Границы в пограничье; *Velychenko S.* Identities, Loyalties, and Service; *Vulpis R.* Ukrainische Nation und zwei Konfessionen. Der Klerus und die ukrainische Frage // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2000. Bd. 49. H. 2. S. 240–256; *Idem.* Nationalisierung der Religion; *Weeks T. R.* Defining Us and Them; *Idem.* Nation and State in Late Imperial Russia; *Idem.* A National Triangle; *Woolhiser C.* Constructing National Identities.

См.: *Лелива, граф* [Тышкевич А.]. Русско-польские отношения. Лейпциг, 1895. С. 220–221; *Берг Н. В.* Записки Н. В. Берга о польских заговорах и восстаниях. М., 1873. С. 5–12.

К «западным губерниям» относились следующие девять: Ковенская, Виленская, Витебская, Гродненская, Минская, Могилевская, Волынская, Киевская и Подольская. Подчинялись они по большей части генерал-губернаторам в Вильне и Киеве. См.: *Beauvois D.* La bataille de la terre en Ukraine; *Idem.* Pouvoir russe et noblesse polonaise; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины; *Долбилов М. Д.* Русский край, чужая вера; *Он же.* Культурная идиома возрождения России; *Dolbilov M.* Russification and the Bureaucratic Mind; *Комзолова А. А.* Политика самодержавия в Северо-Западном крае; *LeDonne J. P.* Frontier Governors General, 1772–1825. I. The Western Frontier; *Idem.* Frontier Governors General, 1772–1825. II. The Southern Frontier; *Matsuzato K.* The Issue of Zemstvos; *Miller A.* Shaping Russian and Ukrainian Identities; *Idem.* The Ukrainian Question; *Rodkiewicz W.* Russian Nationality Policy; *Snyder T.* The Reconstruction of Nations; *Staliunas D.* The Pole in the Policy; *Сталюнас Д.* Границы в пограничье; *Velychenko S.* Identities, Loyalties, and Service; *Vulpius R.* Ukrainische Nation und zwei Konfessionen; *Idem.* Nationalisierung der Religion; *Weeks T. R.* Defining Us and Them; *Idem.* Nation and State in Late Imperial Russia; *Idem.* A National Triangle; *Woolhiser C.* Constructing National Identities in the Polish-Belarusian Borderlands.

См.: Сборник административных постановлений Царства Польского. Ведомство внутренних и духовных дел. Варшава, 1866. Т. 1; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 254. Д. 1 [Обозрение мер Правительства, принятых по Царству Польскому после 1863 года, 1880].

Позже, в ретроспективных описаниях, эти отдельные мероприятия зачастую начинали выглядеть как части единой концепции. См., например: *Askenazy S.* Sto lat zarządu w Królestwie Polskiem 1800–1900. Lwów, 1903; *Koskowski B.* Ustrój administracyjny // *Gloger Z.*, *Janowski A.*, *Koskowski B.* et al. (red.). Królestwo Polskie. Warszawa, 1905. S. 179–180; *Krzemiński S.* Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863–1888). Lemberg, 1892; *Wasilewski L.* Administracja rosyjska w Królestwie Polskim. Wien, 1915.

См.: Сборник циркуляров военно-полицейского управления в Царстве Польском 1863–1866 годов. Варшава, 1867. См. также: *Долбилов М.* Конструирование образов мятежа. Политика М. Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае в 1863–1865 гг. как объект историко-антропологического анализа // Филлюшкин А. И. (ред.). *Actio Nova 2000: Сборник статей.* М., 2000. С. 338–408.

См.: *Качинская Э.* Поляки в Сибири. С. 265–277.

См.: *Милютин Н. А.* Исследования в Царстве Польском. Т. 1–5; APW. Т. 151. Cz. 3 (KGW). Sygn. 543. Kart. 3–6, здесь прежде всего kart. 3–4. См. также: *Татищев С. С.* Император Александр II. 1903. Т. 1. С. 499–510. Кроме того, см.: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 184–199.

Эта новая терминология, впрочем, так никогда полностью и не вытеснила старую. Даже в ведомственной корреспонденции, датируемой десятилетиями спустя после 1864 года, еще регулярно встречается название «Царство Польское», и в титулатуру императора по-прежнему входил титул «Царь Польский». См.: ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 277. Л. 16–20, здесь л. 17.

По поводу обширной деятельности комитета см. документы его фонда в: Там же. Ф. 1141. Оп. 1 [Учредительный комитет в Царстве Польском, 1864–1871]. См. также: *Рейнке Н. М.* Очерк законодательства Царства Польского. С. 114–116; *Татищев С. С.* Император Александр II. 1903. Т. 1. С. 499–510; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 184–199.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 34. Привислинский край включал десять губерний: Калишскую, Келецкую, Ломжинскую, Люблинскую, Петроковскую, Плоцкую, Радомскую, Седлецкую, Сувалкскую и Варшавскую.

Детальное описание административной структуры см. в разделе «Система управления Привислинским краем после подавления Январского восстания».

Так, поляк и католик Каликст Витковский в 1863–1875 годах был президентом (городским головой) Варшавы. Поляком был и Михаил Ячевский, который в 1905–1910 годах руководил канцелярией генерал-губернатора, а в 1910–1915 – был губернатором Петроковской губернии. А губернаторы Владимир Тхоржевский, Константин Стефанович, Михаил Арцимович и Дионис Лабудзинский не только являлись поляками, но и крещены были в католическую веру; потом они, правда, перешли в православие. О них см.: *Chimiak Ł. Gubernatorzy rosyjscy*. S. 73; *Nowak A. Walka o kresy, walka o przetrwanie. XIX-wieczne Imperium Rosyjskie wobec Polaków, Polacy wobec Imperium (przegląd historiograficzny)* / Борьба за окраины, борьба за выживание. Российская империя XIX в. и поляки, поляки и империя (обзор современной польской историографии) // Долбилов М. Д., Миллер А. И. (ред.). Западные окраины Российской империи. С. 429–464, здесь с. 449.

Из остальных 17% подавляющее большинство составляли лютеране. См.: *Chwalba A.* Polacy w służbie Moskali. S. 40; *Vladimirov K.* The World of Provincial Bureaucracy. P. 51–52; *Wiech S.* Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–1896). Kielce, 2002. S. 223; ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 25.

За службу в Царстве Польском полагались и другие привилегии – такие, как ускоренное чинопроизводство и более ранний выход на пенсию. См.: Российское законодательство X–XX вв. М., 1985. Т. 6. С. 245–256.

AGAD. KGGW. Sygn. 9241. Kart. 1. Для сравнения: в 1906–1914 годах генерал получал в год 7,8 тыс. рублей, а человек, назначенный на должность члена Государственного совета, получал в 1909 году от 10 до 20 тыс. рублей в год.

Ibid. Kart. 2. Для сравнения: при начале своей службы в Варшавском университете, в 1893 году, профессор русского языка Карский получал 2 тыс. рублей в год.

Chimiak Ł. Gubernatorzy rosyjscy. S. 68. Для сравнения: учитель мог заработать в год до 540 рублей, а квалифицированный рабочий в Царстве Польском легко мог заработать более 300 рублей. Таким образом, провинциальные губернаторы в Польше получали значительно меньше, чем высшие чиновники какой-либо внутрироссийской губернии, где годовое жалованье в 100 тыс. рублей было нормой.

AGAD. KGGW. Sygn. 8316. Kart. 4–4v.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43, здесь л. 4–4 об.

Там же. Л. 43–43 об.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 25–27, здесь л. 25 об. – 26.

Там же. Л. 26.

Там же.

Там же. Л. 25 об. – 26 об.

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 6–8.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 30–45, здесь л. 33 об.

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 1–3v.

См.: *Starynkevič S.* Projekt Kanalizacyi i Wodociągu w mieście
Warszawie. Warszawa, 1879.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 16 об. – 20.

Апухтин был попечителем Варшавского учебного округа с 1879 по 1897 год. См. также: *Kraushar A. [Alkar]. Czasy szkolne za Apuchtina: kartka z pamiętnika (1879–1897)*. Warszawa, 1915.

Таким образом, среди польских подданных империи процент неграмотных был не намного ниже, чем среди русских (из которых около 76% не умели читать). Впрочем, в обоих случаях были очень значительны региональные различия.

Милютин Н. А. Исследования в Царстве Польском. Т. 5. С. 65.

См.: *Новодворский В.* Царство Польское // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1903. Т. 37А.

См.: *Качинская Э.* Поляки в Сибири.

См.: Сборник документов, уясняющих отношения латино-польской пропаганды к русской вере и народности. Вильна, 1865–1866. Т. 1–2.

О том, как православная церковь и Российское государство обходились с униатами, см.: *Долбилов М., Сталюнас Д.* Обратная уния; *Полунов А. Ю.* Духовное ведомство и униатский вопрос. 1881–1894 // Кукушкин Ю. С., Захарова Л. Г. (ред.). П. А. Зайончковский. С. 256–264; *Weeks T. R.* Between Rome and Tsargrad. The Uniate Church in Imperial Russia // Geraci R. P., Khodarkovsky M. (eds). Of Religion and Empire. P. 70–91; *Werth P. W.* Orthodoxy as Ascription (and Beyond). Religious Identity on the Edges of the Orthodox Community, 1740–1917 // Kivelson V. A., Greene R. H. (eds). Orthodox Russia. Belief and Practice under the Tsars. University Park (Penn.), 2003. P. 239–251, здесь р. 241–244; *Верт П.* Трудный путь к католицизму. Вероисповедная принадлежность и гражданское состояние после 1905 г. // *Lietuvių Katalikų mokslo akademijos metraštis*. 2005. T. 26. P. 447–474, здесь 241–244; *Woolhiser C.* Constructing National Identities.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 48–73 об., здесь л. 59 об.

Там же. Д. 97. Л. 30–45.

См.: *Рейнке Н. М.* Каким гражданским законам подведомы русские уроженцы, пребывающие в Царстве Польском? Варшава, 1884.

Отчет за 1905 год. Экономическое и культурное развитие Царства Польского за сорок лет, 1864–1904 // Труды Варшавского статистического комитета. Варшава: Варшавский статистический комитет, 1906. Т. 22. Об этом см. также: *Правилова Е. А.* Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917. М., 2006. С. 76–80; *Pravilova E.* From the Zloty to the Ruble. The Kingdom of Poland in the Monetary Politics of the Russian Empire // Burbank J., Hagen M. von, Remnev A. (eds). Russian Empire. Space, People, Power, 1700–1930. Bloomington, 2007. P. 295–319; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 196.

Ретроспективно многие авторы подчеркивали этот интеграционный аспект. См., например: *Tennenbaum H.* Rynki rosyjskie // *Z Rosja czy przeciw Rosji?* Warszawa, 1916. S. 73–85.

См., например: *Gill A.* Freiheitskämpfe der Polen; *Rohr E. K.* Russifizierungspolitik im Königreich Polen nach dem Januaraufstand 1863/64. Berlin, 2003; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. P. 196.

См.: *Kappeler A.* The Ambiguities of Russification // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2004. Vol. 5. No. 2. P. 291–297; *Миллер А.* Русификации: классифицировать и понять // *Ab Imperio*. 2000. № 2. С. 133–148; *Miller A.* «Russifications»? In Search for Adequate Analytical Categories // *Hausmann G., Rustemeyer A. (Hg.). Imperienvergleich. Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler.* Wiesbaden, 2009. S. 123–144; *Rodkiewicz W.* Russian Nationality Policy. Прежде всего р. 29–43; *Weeks T. R.* Russification. Word and Practice 1863–1914 // *Proceedings of the American Philosophical Society*. 2004. Vol. 148. No. 4. P. 471–489.

С этим согласен и Теодор Уикс: *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia. P. 197.

Об этом см.: *Горизонтов Л. Е.* Парадоксы имперской политики. С. 191–214.

AGAD. Pomocnik Generał-Gubernatora Warszawskiego do Spraw Policyjnych [далее – PomGGW]. Sygn. 1212. Kart. 75–75v.

См.: *Аксаков И. С.* Польский вопрос и западно-русское дело; *Катков М. Н.* 1863 год. Собрание статей. См. также: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 56, 170.

См. также: *Geyer D.* Der russische Imperialismus. S. 46.

См.: *Maiorova O.* War as Peace. The Trope of War in Russian Nationalist Discourse during the Polish Uprising of 1863 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2000. Vol. 6. No. 3. P. 501–534; *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. С. 158–160; *Солодухина И. И.* Польский вопрос в русской публицистике в 60-е гг. XIX века по страницам газеты «День» // Московский государственный открытый педагогический университет. Ученые записки кафедры всеобщей истории. М., 1996. С. 54–63.

См.: *Thaden E. C.* Introduction // *Thaden E. C.* (ed.). *Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914*. Princeton, 1981. P. 3–14, прежде всего р. 8–9; *Idem.* The Russian Government // *Ibid.* P. 15–110. Прежде всего р. 33–53, 76–87.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43, здесь л. 1–3. Подробнее об этом см. в работе: *Grandits H., Judson P., Rolf M. Empires and Nations.*

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 24 об.

Спасович В. Д. Записка в цензурный комитет // Атенеум. 1880.
1 сентября. С. 1–2.

Об этом см.: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 56–59.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 45а–81, здесь л. 51. Об ограниченной эффективности и недостаточной последовательности концепций русификации в западных губерниях см., в частности: *Dolbilov M.* Russification and the Bureaucratic Mind; *Miller A.* Between Local and Inter-Imperial.

Апухтин объявил, что его цель – чтобы «польских детей няньки баюкали русскими песнями» (цит. по: *Porycki J.* Aleksander Apuchtin – właściciel majątku Kułaki // *Ciechanowiecki Rocznik Muzealny*. Ciechanowiec, 2006).

См.: *Лелива, граф* [Тышкевич А.]. Русско-польские отношения. С. 38–63.

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 254. Д. 1. Л. 1–12 [Обозрение мер
Правительства, принятых по Царству Польскому после 1863 года];
Сборник административных постановлений Царства Польского. Т. 1.

В 1888–1890 годах в Варшавском военном округе приходилось 43 солдата на тысячу жителей – это была самая большая плотность войск во всей Российской империи.

См.: *Ascher A.* The Revolution of 1905. Russia in Disarray. Stanford, 1988. P. 158; *Dziewanowski M. K.* The Polish Revolutionary Movement and Russia, 1904–1907 // McLean H., Malia M. E., Fischer G. (eds). Russian Thought and Politics. Cambridge, 1957. P. 375–394, здесь p. 392; *Гумб К.* Угрожать и наказывать. Русская армия в Варшаве в 1904–1906 гг. // *Ab Imperio*. 2008. № 3. С. 157–194.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 30–45.

Так, наместник Берг занимал свою должность одиннадцать лет, его преемник, генерал-губернатор Коцебу, – шесть лет. Дольше всех прослужил в Варшаве генерал-губернатор Гурко (свыше одиннадцати лет), но и Скалон пробыл генерал-губернатором в Царстве Польском очень долго – более девяти лет.

Российский государственный исторический архив [далее – РГИА].
Ф. 1270. Оп. 1.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 72–75 об.

Там же. Л. 1–43.

Там же. Д. 89. Л. 61–62.

См.: *Robbins R. G.* The Tsar's Viceroys. Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Ithaca, 1987. Прежде всего р. 63–64, 71, 85–90.

РГИА. Ф. 1327 (1905–1915). Оп. 2. Д. 21. Л. 122–125.

См.: *Новодворский В.* Царство Польское.

Схожие результаты дали и исследования по другим окраинам Российской империи. См., например, по западным регионам: *Dolbilov M.* Russian Nationalism and the Nineteenth-Century Policy of Russification in the Russian Empire's Western Region // Matsuzato K. (ed.). *Imperiology. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire.* Sapporo, 2007. P. 141–158; *Staliunas D.* Between Russification and Divide and Rule. Russian Nationality Policy in the Western Borderlands in the mid-19th Century // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 2007. Bd. 55. H. 3. S. 357–373; *Weeks T. R.* A National Triangle.

AGAD. KGGW. Sygn. 9068. Kart. 156–156v.

Об этом см.: *Нейдгарт Д. Б.* Всеподданнейший отчет о произведенной в 1910 году по Высочайшему повелению Гофмейстером Двора Его Императорского Величества Сенатором Нейдгартом ревизии правительственных и общественных установлений Привислинского края и Варшавского военного округа: В 2 т. СПб., 1911. О конфликте между Скалоном и Нейдгартом см. также: *Горизонтов Л. Е.* Выбор носителя «русского начала» в польской политике Российской империи. 1831–1917 // Хорев В. А. (ред.). Поляки и русские в глазах друг друга. С. 107–116, здесь с. 110–111.

Об этом см.: *Chimiak Ł.* Gubernatorzy rosyjscy. S. 276–279.

В 1880 году всего лишь один из десяти высокопоставленных провинциальных чиновников имел за плечами военную карьеру. Это были в основном люди старшего поколения, родившиеся до 1820 года, которые были направлены в Привислинский край в первые десятилетия после разгрома Январского восстания 1863 года. Из родившихся же после 1820 года 90% имели университетское образование.

Чины по Табели о рангах представляли собой пожалованные почетные титулы и не соответствовали в точности ступеням «штатной» системы, по которой Министерство внутренних дел ставило каждый вид служебной деятельности в соответствие тому или иному «рангу», или «классу». Так, служба губернатором провинции автоматически означала согласно этой системе четвертый класс, а вице-губернатором – пятый. См.: *Евреинов В. А.* Гражданское чиновничество в России. СПб., 1888. С. 110–112.

Бывали и многочисленные случаи очень короткой службы – по два или три года. Так, варшавский губернатор Евгений Рожнов провел на своей должности всего лишь три года, с 1863 по 1866-й. Особенно часто меняли свои посты провинциальные губернаторы.

См. также: *Chimiak Ł.* Gubernatorzy rosyjscy. S. 237–244.

См. также: *Chimiak Ł.* Gubernatorzy rosyjscy. S. 230–236.

ГАРФ. Ф. 996. Оп. 1 [Дневник К. К. Миллера, 1887–1910]; AGAD.
KGGW. Sygn. 6481. Kart. 2–38v.

ГАРФ. Ф. 102 (Департамент полиции Министерства внутренних дел, 1881–1914). Оп. 255. Д. 1.

Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 26 об. – 27 об.

См., в частности, воспоминания начальника варшавской охраны:
Заварзин П. П. Работа тайной полиции: Воспоминания. Париж, 1924.

См. донесение британского генерального консула Мюррея от 13 июля 1906 года: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs. Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print. Part I: From the Mid-Nineteenth Century to the First World War. Series A: Russia, 1859–1914.* Bethesda, 1983. Vol. 4. P. 131 (Doc. 86).

См. документы Варшавского цензурного комитета в: ГАРФ. Ф. 312.
Оп. 1. Ед. хр. 6 (1896–1915); AGAD. WКС. Sygn. 1–162.

См., например: *Дьячан Ф. Н.* Ко дню юбилея пятидесятилетней службы А. Л. Апухтина, попечителя Варшавского учебного округа. М., 1890.

См.: Гминный законник. Узаконения, распоряжения и разъяснения для руководства должностных лиц гминного управления в губерниях Царства Польского. СПб., 1896.

AGAD. KGGW. Sygn. 5855. Kart. 8–8v. Доходы городской казны в 1865 году составили 1,6 млн рублей. В 1878 году они выросли до 2 млн рублей, в 1888-м – магистрат распоряжался уже 3,9 млн, а в 1894-м – 5,3 млн рублей. К 1914 году бюджет города увеличился во много раз и насчитывал уже 16,1 млн рублей. Подробнее см.: Финансы города Варшавы за 22-летний период (1878–1899). Варшава: Статистический отдел Магистрата города Варшавы, 1901. С. 14–17.

Граф и генерал-фельдмаршал Федор Федорович Берг (Фридрих Вильгельм Ремберт фон Берг, 1794–1874) еще раньше, когда в 50-е годы был генерал-губернатором Финляндии, снискал себе репутацию человека, не останавливающегося ни перед чем в отстаивании интересов центральной власти. В 1861 году, после многочисленных конфликтов с местным шведским и финским обществом, Александр II отозвал его. В качестве помощника великого князя Константина, в то время императорского наместника в Царстве Польском, Берг играл важную роль уже во время начальной фазы Январского восстания. В 1866 году он был произведен в фельдмаршалы и стал членом Государственного совета, оставаясь при этом наместником и продолжая жить в Варшаве. Умер он во время поездки в Петербург в январе 1874 года.

Граф и генерал от инфантерии Павел Евстафьевич Коцебу (Пауль Деметриус фон Коцебу, 1801–1884) был сыном писателя Августа Фридриха Фердинанда фон Коцебу, но вырос в Петербурге. Он тоже приобрел как военный, так и административный опыт, служа на окраинах Российской империи, прежде чем его назначили в Варшаву. Так, уже в 20–40-е годы он неоднократно участвовал в боевых действиях на Кавказе, а в августе 1831 года участвовал в оккупации Варшавы. При Александре II с 1862 по 1874 год занимал должность генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, а также был командующим войсками Одесского военного округа. В 1880 году Коцебу был назначен членом Государственного совета и переведен в Петербург, чтобы в качестве эксперта участвовать в подготовке Госсоветом реформы местного военного управления.

Такова меткая характеристика, данная в работе: *Wiech S.* Rządy warszawskiego generała-gubernatora Piotra Albiedynskiego – lata nadziei, lata złudzeń // Szwarc A., Wieczorkiewicz P. P. (red.). Unifikacja za wszelką cenę. S. 83–114. См. также: *Wiech S.* Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896. Kielce, 2007; *Idem.* «Dyktatura serca» na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje kariery wojskowo-urzędniczej Piotra Albiedyńskiego (1826–1883). Kielce, 2010.

Петр Павлович Альбединский (1826–1883) воспитывался в Пажеском корпусе, а затем избрал военную карьеру и дослужился до генерала от кавалерии. Назначение генерал-губернатором в Варшаву получил в сравнительно молодом возрасте: ему было всего 54 года; таким образом, он был гораздо моложе всех остальных царских наместников в Привислинском крае. Незадолго до своей ранней кончины, в 1881 году, Альбединский тоже был назначен членом Государственного совета.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43.

Там же. Л. 3–5.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 15–16 об., 20, 23 об.

Там же. Л. 35–38 об.

Там же. Л. 45а–81.

AGAD. KGGW. Sygn. 1767. Kart. 3–5v.

AGAD. KGGW. Sygn. 1773. Kart. 19–53v.

Ibid. Kart. 23v–27, 31.

AGAD. KGGW. Sygn. 1773. Kart. 27 ob.

См.: *Кулаковский П. А.* Поляки и вопрос об автономии Польши. СПб., 1906; *Он же.* Польский вопрос в прошлом и настоящем. СПб., 1907.

См. речи Лавровского в Варшавском университете: *Лавровский Н. А.* Речь, произнесенная на торжественном акте Императорского Варшавского университета // Варшавские университетские известия. 1884. № 9. С. 3–8; 1886. № 6. С. 3–12; 1887. № 6. С. 3–4; 1888. № 6. С. 1–5; 1890. № 6. С. 1–10.

Об этом более подробно см.: *Paszkiewicz P.* Pod berłem Romanowów; *Idem.* The Russian Orthodox Cathedral of Saint Alexander Nevsky in Warsaw. From the History of Polish-Russian Relations // Polish Art Studies. 1992. Vol. 14. P. 64–71; *Rolf M.* Russische Herrschaft in Warschau. Die Aleksandr-Nevskij-Kathedrale im Konfliktraum politischer Kommunikation // Sperling W. (Hg.). Jenseits der Zarenmacht. Dimensionen des Politischen im Russischen Reich 1800–1917. Frankfurt am Main, 2008. S. 163–189.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 34.

Там же.

Старынкевич был с 1875 по 1892 год президентом Варшавы. В своих мемуарах он сам описывает поддержку со стороны генерал-губернатора. См.: *Starynkiewicz S. Mój Dziennik // Rocznik Warszawski*. 2002. № XXXI. S. 191–222, прежде всего S. 201–222; *Idem. Dziennik 1887–1897*. Warszawa, 2005.

Свою карьеру в Царстве Польском Миллер начал при Альбединском, в 1885–1887 годах был вице-губернатором в Кельце, а в 1887–1890 – губернатором в Плоцке. Должность петроковского губернатора он занимал с 1890 по 1904 год.

AGAD. KGGW. Sygn. 1767. Kart. 3–5v, здесь kart. 4–4v.

Граф и генерал от инфантерии Павел Андреевич Шувалов (1830–1908) получил воспитание тоже в Пажеском корпусе, за время своей военной карьеры участвовал в Крымской и Русско-турецкой (1877–1878 годов) войнах, однако более всего отличился деятельностью в качестве дипломата в Берлине: будучи российским послом в Германской империи, в 90-е годы способствовал прекращению «таможенной войны» и заключению германо-российского договора 1894 года. Император и его также назначил членом Государственного совета.

Цит. по: Военная энциклопедия: В 18 т. / Под ред. К. И. Величко, В. Ф. Новицкого, А. В. фон-Шварца и др. СПб./Пг.; М.: Т-во И. Сытина, 1911–1915. Т. 10: Елисавета Петровна – Инициатива. С. 594–595.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 7–38.

Там же. Л. 34 об.

Там же. Л. 11.

См.: Сулиговский А. Городское управление в губерниях Царства Польского // Вестник Европы. 1902. № 37/6. С. 675–697, здесь с. 697.

APW. T. 151. Cz. 3 (KGW). Sygn. 543. Kart. 24–29v.

См., в частности: *Nawroczyński B.* Nasza walka o szkołę polską, 1901–1917. Warszawa, 1932. S. 222.

См.: Джаксон Т. Н., Комаров А. А., Михайлова Ю. Л., Назарова Е. Л. (ред.). Россия и Прибалтийский регион в XIX–XX вв.: проблемы взаимоотношений в меняющемся мире. М., 2013; Thaden E. C. Russia's Western Borderlands, 1710–1870. Princeton, 1984.

См.: *Пильц Э. И.* Приезд Государя Императора в Варшаву // Пильц Э. И. Поворотный момент в русско-польских отношениях. С. 13–14. Такое восприятие, между прочим, резко контрастирует с теми характеристиками, которые обычно дают правлению Николая II, называя его временем упадка, а самого царя – неспособным к принятию решений и управлению страной, реакционным монархом. Такие оценки определялись телеологической перспективой, направленной на революции 1905 и 1917 годов. Об этих негативных оценках Николая II и его (без)деятельности см., например: *Miliukov P., Seignobos C., Eisenmann L.* (eds). *History of Russia. Reforms, Reaction, Revolutions (1855–1932)*. New York, 1969. P. 160–163.

Существовал широкий спектр подобных движений, которые в 90-е годы XIX века институционально оформились в виде партий, – например, Польская социалистическая партия (PPS) с ее Парижской программой 1893 года; Социал-демократия Царства Польского (с 1893 года – SDKP, с 1900-го – Социал-демократия Царства Польского и Литвы, SDKPiL); с 1897 года – еврейский Бунд, и только в 1899 году официально стала называть себя «партией» национал-демократия.

Тайны нашей государственной политики в Польше: Сборник секретных документов. Лондон: Russian Free Press Fund, 1899.

Михаил Иванович Чертков (1829–1905) был генералом от кавалерии и тоже членом Государственного совета.

См.: По применению 7-го пункта Высочайшего Указа от 12-го декабря 1904 г. к жителям губерний Царства Польского. По ограничениям в праве пользоваться родным языком. Ограничения по обучению и воспитанию юношества. Ограничения по военной и гражданской службе. СПб., 1905.

Георгий Антонович Скалон (1847–1914) был генералом от кавалерии. В ходе своей военной карьеры участвовал в Русско-турецкой войне и занимал в 1893–1897 годах различные руководящие должности в Царстве Польском. В частности, исполнял обязанности «генерала для особых поручений» при командующем войсками Варшавского военного округа и командовал лейб-гвардии Уланским Его Величества полком в Варшаве. После четырех лет службы под началом Шувалова и Имеретинского Скалон был вызван в Петербург и там несколько лет спустя – послужив еще недолго в Гродненской губернии – стал советником при дворе императора Николая II.

Яков Григорьевич Жилинский (1853–1918?) также был генералом от кавалерии. Военное образование он получил в Академии Генерального штаба, во время Русско-японской войны был назначен начальником полевого штаба заместителя на Дальнем Востоке, адмирала Е. И. Алексеева. Должность начальника Генерального штаба русской армии занимал с 1909 по 1914 год. Жизнь Жилинского оборвалась во время Гражданской войны – вероятно, он был казнен большевиками.

Князь Павел Николаевич Енгальчев (1864–1944) на рубеже XIX–XX веков несколько лет был российским военным атташе в Германии. Исход православного населения города был почти поголовным: если в 1914 году в Варшаве еще было 40 тыс. жителей православного вероисповедания, то в 1917-м – всего лишь 3961 человек.

Соображения об эвристической ценности таких «имперских биографий» для изучения многонациональных империй XIX века см. в работах: *Rolf M.* Imperiale Biographien. Lebenswege imperialer Akteure in Groß- und Kolonialreichen (1850–1918) – zur Einleitung // *Geschichte und Gesellschaft*. 2014. Bd. 40. No. 1. S. 5–21; *Buchen T., Rolf M.* Elites and Their Imperial Biographies. Introduction // *Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich*. S. 33–37.

См.: *Lieven D.* Russia's Rulers Under the Old Regime. New Haven, 1989. P. 133–136. О провинциальной администрации см.: *Vladimirov K.* The World of Provincial Bureaucracy. P. 72–73.

Так, Максимович и Жилинский смогли удержаться на своих постах лишь менее года. Понижает среднее значение и недолгое пребывание в должности Альбединского, оборвавшееся уже через три года – с его преждевременной смертью. Генерал-губернаторы Имеретинский и Чертков пробыли в должности по пять лет.

После 1906 года, когда была созвана Дума, функция Государственного совета изменилась: он превратился в верхнюю палату парламента с законодательными компетенциями. Отныне лишь половину его членов назначал император, другая же половина избиралась. См.: *Демин В. А.* Верхняя палата Российской империи. 1906–1917. М., 2006. С. 86–112.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 277. Л. 25–26.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43.

Там же. Д. 97. Л. 30–45, здесь л. 32 об.

AGAD. KGGW. Sygn. 1767. Kart. 3–5v.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43, здесь л. 2.

AGAD. KGGW. Sygn. 6469. Kart. 13–25, здесь kart. 14 ob.

Ibid. Здесь kart. 13–14.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 8.

AGAD. KGGW. Sygn. 6469. Kart. 77–78v, здесь kart. 77 ob.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 43.

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 6–8, здесь kart. 7 ob.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 7–8.

Там же. Л. 59 об.

См., например: *Дружинин А. Н., Точинский А. И.* «Царство Польское» на русском рынке. Опыт подсчета товарного обмена окраины с центром в связи с ее производительными силами. Варшава, 1900.

AGAD. KGGW. Sygn. 6469. Kart. 77–78v, здесь kart. 77 ob.

Отпечаток этого же дуализма лежал и на мышлении многих акторов в Петербурге. О «ментальных картах» русских националистов см., например: *Miller A. The Empire and the Nation in the Imagination of Russian Nationalism* // Miller A., Rieber A. J. (eds). *Imperial Rule*. P. 9–45; *Миллер А. И. Империя Романовых и национализм*. С. 147–170.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 25–27, здесь л. 25.

Там же. Д. 76. Л. 1–43, здесь л. 4–4 об.

AGAD. KGGW. Sygn. 1773. Kart. 23.

Речь Александра II цит. по: *Татищев С. С.* Император Александр Второй. 1996 [1911]. Т. 1. С. 233–234.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 43.

Там же. Д. 277. Л. 16–20, здесь л. 19.

См., например, «Новости», цит. по: Варшавский дневник.
21.08.1897. № 222. С. 2.

См.: [Анонимный автор.] Русская империя. Польский взгляд на русские государственные вопросы. Берлин, 1882. С. 190–255, прежде всего с. 253–255; Вопрос о «русско-польском примирении» и польские задачи. СПб., 1903. С. 5.

См.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СПб., 1881 (репринт: М., 1989). С 616. См. об этом также в особенности кн.: *Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм. Прежде всего с. 61–62.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 45–81, здесь л. 79.

Там же. Л. 54, 79.

Там же. Д. 94. Л. 55 об. – 58 об., здесь л. 55 об. – 56.

Там же. Л. 57.

Этот призыв также принадлежал Победоносцеву. См.: Там же. Л. 57 об.

Там же. Л. 57.

РГИА. Ф. 1327 (1905–1915). Оп. 2. Д. 21. Л. 122–125, здесь л. 123.

Данный топос был весьма распространен и в русской публицистике – см., например: *Малышевский И. И.* Западная Русь в борьбе за веру и народность. СПб., 1895. Об этом см. в первую очередь: *Gorizontov L.* The Geopolitical Dimension of Russian-Polish Confrontation in Nineteenth and Early Twentieth Centuries // Ransel D. L., Shallcross B. (eds). Polish Encounters, Russian Identity. P. 122–143, прежде всего p. 136–137; *Staliunas D.* Making Russians. P. 69–70.

Это с некоторыми оговорками относилось и к западным губерниям. В принципе и здесь тоже с очень большой осторожностью употребляли понятие «русификация», хотя, как известно, в «исконно русском» характере этого края у имперских политических деятелей никаких сомнений не было. См.: *Долбилов М. Д.* Русский край, чужая вера; *Staliunas D.* Making Russians. Прежде всего р. 57–70.

AGAD. KGGW. Sygn. 1773. Kart. 19–53v, здесь kart. 19.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–43, здесь л. 4 об.

Там же. Д. 94. Л. 25–27, здесь 26 об.

Так выразился Победоносцев на одном заседании Комитета министров. См.: Там же. Л. 57.

Там же. Д. 97. Л. 30–45, здесь л. 32 об. – 34.

AGAD. KGGW. Sygn. 6469. Kart. 77–78v, здесь kart. 77v.

Ibid. Kart. 13–25, здесь kart. 17v.

AGAD. KGGW. Sygn. 2606 (1906–1910). Kart. 8–9v, здесь kart. 9.

Ibid. Sygn. 9012. Kart. 110b.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 156. Л. 25–27, здесь л. 25.

Там же. Л. 25–27.

AGAD. KGGW. Sygn. 1893. Kart. 1–89v, здесь kart. 68 ob.

Ibid. Sygn. 2606. Kart. 8–9v.

Нейдгарт Д. Б. Всеподданнейший отчет. Т. 1. О «Русском доме»
см. с. 73–94.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. Минск, 2003. С. 50–53.
О появлении такого этнонационального русоцентризма у части высшей бюрократии и верхушки армии в Российской империи первых лет XX столетия см. также: *Miller A.* The Empire and the Nation. P. 211–216.

Для провинциальной прессы и после законов 1905–1906 годов предварительная цензура сохранялась. Общую информацию см. в работах: *Чернуха В. Г.* Цензура в Европе и России // *Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А.* (ред.). *Цензура в России.* С. 8–14, прежде всего с. 11; *Ferenczi C.* Funktion und Bedeutung der Presse in Russland vor 1914 // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* 1980. Bd. 30. H. 1. S. 362–398, здесь S. 367; *Фут П.* Санкт-Петербургский цензурный комитет. 1828–1905. Персональный состав // *Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А.* (ред.). *Цензура в России.* С. 47–65; *Гринченко Н. А.* История цензурных учреждений. С. 15–46; *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. по подлинным делам Третьего отделения собст. Е. И. Величества канцелярии. СПб., 1909. Особенно с. 483–488; *Луночкин А. В.* От сотрудничества к конфронтации. Газета «Голос» и цензура // *Фирсов В. П., Жирков Г. В., Конашев М. Б., Орлов С. А.* (ред.). *Цензура в России.* С. 77–94; *Патрушева Х. Г.* Цензура в России во второй половине XIX века в воспоминаниях современников // Там же. С. 95–101; *Жирков Г. В.* История цензуры в России XIX–XX вв.: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001.

Общую информацию о деятельности цензурных инстанций в Варшаве см. в архивном фонде ведомства в: ГАРФ. Ф. 312. Оп. 1: Варшавский комитет по делам печати (1896–1915); AGAD. WKS. Также см.: *Prussak M.* (red.). *Świat pod kontrolą*. Более подробно см.: *Rolf M.* «Approved by the Censor». Tsarist Censorship and the Public Sphere in Imperial Russia and the Kingdom of Poland (1860–1914) // *Behrends J. C., Lindenberger T.* (eds). *Underground Publishing and the Public Sphere. Transnational Perspectives*. Wien, 2014. P. 31–74.

Капуж А. В. О царском цензурном «шлагбауме». С. 152–155, здесь с. 152–153.

См. протоколы заседания Цензурного комитета в: AGAD. WKS. Sygn. 35 [протоколы за 1879 год], 36 [протоколы за 1885 год], 42 [протоколы за 1897 год], 11 [протоколы за 1911 год].

Ibid. KGGW. Sygn. 8316. Kart. 1–2v.

Ibid. Kart. 2v.

Ibid. Kart. 6.

AGAD. KGGW. Sygn. 8316. Kart. 7–8.

По поводу обсуждаемого далее см. протоколы заседания Цензурного комитета в: Ibid. WКС. Sygn. 35. Kart. 1–286 [протоколы за 1879 год]; Sygn. 36. Kart. 1–209 [протоколы за 1885 год]; Sygn. 41. Kart. 1–102 [протоколы за 1891 год]; Sygn. 21. Kart. 1–28 [протоколы за 1901–1902 годы]; Sygn. 11 [протоколы за 1911 год].

AGAD. WKC. Sygn. 77. Kart. 105–105v.

AGAD. WKC. Sygn. 77. Kart. 257–257v.

Ibid. Sygn. 36. Kart. 15–18 [протокол № 5, 31.01.1885 года], 158–161 [протокол № 40, 26.09.1885 года], 209–217 [протокол № 31, 12.08.1897 года].

Ibid. Kart. 24–27 [протокол № 7, 14.02.1885 года].

Ibid. Kart. 42–45 [протокол № 12, 20.03.1885 года]; Sygn. 42. Kart. 1–4 [протокол № 1, 07.01.1897 года], 5–12v [протокол № 2, 14.01.1897 года].

AGAD. WKC. Sygn. 42. Kart. 187–191v [протокол № 47,
14.11.1885 года].

См.: *Suligowski A.* Kwestya Mieszkań. Warszawa, 1889.

AGAD. WKC. Sygn. 36. Kart. 117–122 [протокол № 30,
17.07.1885 года].

См.: *Balmuth D.* The Origins of the Tsarist Epoch of Censorship Terror // *American Slavic and East European Review*. 1960. Vol. 19. No. 4. P. 497–520, здесь p. 498; *Жирков Г. В.* История цензуры. С. 130–135.

AGAD. WKC. Sygn. 36. Kart. 19–22 [протокол № 6, 07.02.1885 года], 187–191v [протокол № 47, 14.11.1885 года], 179–193 [протокол № 27, 15.07.1897 года].

Ibid. Kart. 117–122 [протокол № 30, 17.07.1885 года], здесь kart. 175.

Ibid. KGGW. Sygn. 703. Kart. 32–32v.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 30–45.

Там же. Д. 94. Л. 47.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 310. Л. 2–6.

Там же. Л. 6.

См.: *Blobaum R. E.* Feliks Dzierżyński and the SDKPiL. A Study of the Origins of Polish Communism. New York, 1984; *Naimark N. M.* The History of the «Proletariat». The Emergence of Marxism in the Kingdom of Poland, 1870–1887. Boulder (Col.), 1979; *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. P. 119–127.

См.: *Piskurewicz J., Zasztowt L.* Towarzystwo Naukowe Warszawskie // Rocznik TNW. 1986. T. XLIX. S. 35–103; *Sdvižkov D.* Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichenden Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg. Göttingen, 2006. S. 121–123; *Zasztowt L.* Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905. Wrocław, 1989.

AGAD. KGGW. Sygn. 1893. Kart. 176–183.

См.: *Askenazy S.* Sto lat zarządu w Królestwie Polskiem; *Baudouin de Courtenay J.* W sprawie «antysemityzmu postępowego». Kraków, 1911.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 104. Kart. 1.

Капууж А. В. О царском цензурном «шлагбауме». С. 154.

Общую информацию см. в кн.: *Пильц Э. И.* Пруссия и поляки. СПб., 1891; *Спасович В. Д.* Польская фантазия на славянофильскую тему (1872) // *Спасович В. Д.* Сочинения. Т. 4. СПб., 1891. С. 259–287. О польской политической и культурной жизни на берегах Невы см.: *Bazyłow L.* Polacy w Petersburgu. Wrocław, 1984; *Горизонтов Л. Е.* Парадоксы имперской политики. С. 35–118.

AGAD. WKC. Sygn. 15. Kart. 35 [протокол от 17.10.1884 года].

Спасович В. Д. Записка в цензурный комитет.

См., например: *Он же*. Сочинения. Т. 5. СПб., 1893; *Он же*. Застольные речи (1873–1901). Лейпциг, 1903.

См. также: *Weeks T. R.* From Assimilation to Antisemitism. P. 165–169.

Об этом см.: *Клейнман И. А.* Между молотом и наковальней (польско-еврейский кризис). СПб., 1910.

См.: *Kindler K.* Die Cholmer Frage 1905–1918. Frankfurt am Main, 1990. S. 162–164; *Штакельберг Ю. И.* Об эмблематике польского восстания 1863 г. // Дьяков В. А., Миллер И. С. (ред.). Связи революционеров России и Польши XIX – начала XX в. М., 1968. С. 81–95.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 31.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 277. Л. 6–7 об., 16–20. Подробно об этом см. в статье: *Рольф М.* Император в Варшаве. Визуализации империи на исходе XIX столетия // Нагорная О., Нарский И., Никонова О. (ред.). Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 2008. С. 319–338.

Bałabuch H. Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865–1915. Lublin, 2001; *Kmiecik Z.* Prasa warszawska w latach 1886–1904. Wrocław, 1989.

Так, Kurjer Warszawski имел на рубеже веков 30 тыс. подписчиков; в Варшаве одно время издавалось больше газет, чем в Риге.

AGAD. WKC. Sygn. 77. Kart. 205–205v.

Ibid. Sygn. 78. Kart. 41.

Дымина Л. Холмский вопрос. СПб., 1910.

AGAD. KGGW. Sygn. 1773. Kart. 20–20v. См. также: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 56, 170.

См. также: *Есинов В. В.* «Варшавский дневник» за 50 лет. Варшава, 1914; *Любарский И.* «Варшавский дневник» и первый его редактор // Исторический вестник. 1893. № 54. С. 148–159.

Цифры относятся к 1895 году. См.: *Жирков Г. В.* История цензуры. С. 175.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 89. Л. 4–4 об.

Кулаковский П. А. Польский вопрос в прошлом и настоящем; *Он же.* Значение «польской школьной матрицы» и ее закрытие // *Кулаковский П. А.* Русский русским. СПб., 1908. Вып. 2.

«Русским элементом» чиновники именовали, с одной стороны, всех православных жителей Царства Польского, а с другой – весь мир за пределами государственного аппарата, т. е. представителей общества. См.: ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–114, здесь л. 3.

Варшавский Университет и бывшая Варшавская Главная Школа. СПб., 1908; *Скворцов И. В.* Русская школа в Привислянье с 1879 по 1897 год. Варшава, 1897.

См. об Уварове более подробно: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 139–160.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 7.

См.: *Cadiot J.* Searching for Nationality. Statistics and National Categories at the End of the Russian Empire (1897–1917) // *Russian Review*. 2005. Vol. 64. No. 3. P. 440–455, здесь p. 441–446.

Краткий отчет о состоянии и деятельности Императорского
Варшавского университета за 1905–1906 академический год //
Варшавские университетские известия. 1906. № 5–6. С. 1–68.

См.: Экономическое и культурное развитие Царства Польского за сорок лет, 1864–1904. Варшава, 1906.

Есинов В. В. Привислинский край. Варшава, 1907. С. 6–12.

AGAD. KGGW. Sygn. 9012. Kart. 1–2.

См.: *Chimiak Ł.* Gubernatorzy rosyjscy. S. 70–71; *Долбилов М. Д.* Поляк в имперском политическом лексиконе // Миллер А. И. (ред.). «Понятия о России». С. 292–339.

См.: ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 9–10.

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 1–3v.

AGAD. KGGW. Sygn. 6481. Kart. 2–38v, здесь kart. 11v–12.

Ibid. Sygn. 1893. Kart. 169.

См.: *Klier J. D.* Imperial Russia's Jewish Question, 1855–1881. Cambridge, 1995.

См.: *Staliunas D.* Making Russians. P. 52–55.

См.: Ibid. Р. 100–105; а также: *Долбилов М. Д.* Русский край, чужая вера. Об аграрной реформе 1864 года и значительной роли Н. А. Милютина см.: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 194–199.

См.: *Staliunas D.* Between Russification and Divide and Rule;
Weeks T. R. Official Russia and the Lithuanians, 1863–1905 // Lithuanian
Historical Studies. 2000. Vol. 5. P. 68–84.

Варшавский Университет и бывшая Варшавская Главная Школа.
С. 10.

См.: *Коцюбинский Д. А.* Русский национализм в начале XX столетия. М., 2001. С. 102–104; *Miller A.* The Empire and the Nation. С. 17; *Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм. С. 160–161.

См.: *Францев В. А.* Карты русского и православного населения Холмской Руси. Варшава, 1909.

Так, например, писал М. Коялович: *Коялович М. О.* Мистификация папских возгласов против России. Вильна, 1864. С. 11–20.

Например: *Смородинов В. Г.* Попечитель Варшавского учебного округа Александр Львович Апухтин. СПб., 1912. С. 4.

См.: *Stauter-Halsted K.* The Nation in the Village. The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914. Ithaca, 2004. P. 47–49.

Koneczny F. Polen zwischen Ost und West (Auszug) // Chwalba A. (Hg.). Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis. Frankfurt am Main, 1994. S. 133–138.

См.: *Brock P.* Polish Nationalism // Sugar P. F., Lederer I. J. (eds). Nationalism in Eastern Europe. Seattle, 1971. P. 310–372, здесь p. 342–343; *Krzywiec G., Garlinski J.* Chauvinism, Polish style. The case of Roman Dmowski (Beginnings. 1886–1905). Frankfurt am Main, 2016; *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. P. 176–182, 189–193, 200–232.

Dmowski R. Deutschland, Rußland und die polnische Frage (Auszüge) // Chwalba A. (Hg.). Polen und der Osten. S. 111–128, здесь S. 127. См. также: *Staliunas D.* Wilno czy Kowno? Problem centrum narodowego Litwinów na początku XX wieku // Linek B., Struve K. (red.). Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. / Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Opole; Marburg, 2000. P. 259–267.

Guesnet F. «Die beiden Bekenntnisse leben weit entfernt voneinander, sie kennen und schätzen sich gegenseitig nicht». Das Verhältnis von Juden und Deutschen im Spiegel ihrer Organisationen im Lodz des 19. Jahrhunderts // Hensel J. (Hg.). Polen, Deutsche, Juden. S. 139–170.

См.: *Vulpius R.* Nationalisierung der Religion. Besonders S. 193–197.

AGAD. KGGW. Sygn. 1893. Kart. 176–183.

Ibid. PomGGW. Sygn. 727. Kart. 1–2v; Sygn. 730. Kart. 65–66.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 263. Kart. 5v.

AGAD. KGGW. Sygn. 1893. Kart. 34v–35.

Например, наместник Берг и генерал-губернатор Скалон были протестантами.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики. С. 157–185.

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 21. Л. 173–186 об.

Chimiak Ł. Gubernatorzy rosyjscy. S. 295–304.

См.: ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 277. Л. 32 об.

Такова же аргументация Алексея Миллера в работе: *Miller A. The Empire and the Nation*. P. 14, 21.

Более подробно о соборе Святого Александра Невского см.: *Paszkiewicz P.* Pod berłem Romanowów. S. 114–137; *Przygodzki R. L.* Russians in Warsaw. P. 206–230; *Rolf M.* Russische Herrschaft in Warschau; *Сокол К. Г.* Русская Варшава: Справочник-путеводитель. М., 2002.

AGAD. KGGW. Sygn. 1773. Kart. 19–53v, здесь kart. 19.

Празднование 300-летия царствования Дома Романовых // Варшавский епархиальный листок. 1913. № 5.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 89. Л. 28.

См.: [Анонимная публикация.] Политические итоги. С. 1.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 89. Л. 25–25 об.

Там же. Л. 28–29.

Там же. Л. 30–31.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 89. Л. 42–43.

Там же. Л. 36–36 об.

Там же. Л. 47 об.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 89. Л. 61–62.

Об этом см.: *Kraushar A. [Alkar]*. Czasy szkolne za Apuchtina.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 55.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 7.

Там же. Д. 89. Л. 5–7 об.

Недоверие к католическому ксендзу отражается уже в том отчете, который статс-секретарь Н. А. Милютин в 1863–1864 годах представил по результатам своей поездки по учебным заведениям Царства Польского. См.: *Милютин Н. А.* Исследования в Царстве Польском. Т. 5. С. 65. См. также: *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 194–199.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 57.

Там же. Д. 97. Л. 9–11.

Милютин Н. А. Исследования в Царстве Польском. Т. 5. С. 65.

См.: *Rolf M.* A Continuum of Crisis? The Kingdom of Poland in the Shadow of Revolution (1905–1915) // Fischer von Weikersthal F., Grüner F., Hohler S., Schedewie F., Utz R. (eds). The Russian Revolution of 1905 in Transcultural Perspective. Identities, Peripheries, and the Flow of Ideas. Bloomington, 2013. P. 159–174.

См. прежде всего: *Brower D. R.* The Russian City between Tradition and Modernity, 1850–1900. Berkeley, 1990. Прежде всего p. 22–31.

См., в частности: *Brzostek B.* Paryże innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek. Warszawa, 2015.

Об этом см. также: *Gerasimov I. V., Glebov S. V., Kaplunovskij A. P., Mogil'ner M. B., Semyonov A. M.* Homo Imperii Revisits the «Biographic Turn» // *Ab Imperio*. 2009. No. 1. P. 17–21, здесь p. 18–19.

Soltan A. Kształtowanie się wielkomiejskiego oblicza Warszawy // Sankt Petersburg i Warszawa na przełomie XIX i XX wieku. Początki nowoczesnej infrastruktury miejskiej / Санкт-Петербург и Варшава на рубеже XIX и XX веков. Начало современной городской инфраструктуры. Warszawa: Muzeum Historyczne M. St. Warszawy, 2000. S. 79–86, здесь s. 79.

Caumanns U. Miasto i zdrowie a perspektywa porównawcza. Uwagi metodyczne na przykładzie reform sanitarnych w XIX-wiecznej Warszawie // *Medycyna Nowożytna*. 2000. T. 7. No. 1. S. 45–62;
Corrsin S. D. Warsaw before the First World War. P. 40–41.

421

AGAD. KGGW. Sygn. 5514. Kart. 1, 28.

Итоги санитарной переписи гор[ода] Варшавы. Варшава:
Варшавский постоянный санитарный комитет, 1893.

Sprawozdanie Warszawskiego towarzystwa higienicznego. Warszawa, 1899.

Prus B. Kroniki. Warszawa, 1954. T. III. S. 132–133.

Strasburger E. Gospodarka naszych wielkich miast. Kraków, 1913.
S. 28.

Цит. по: *Drozdowski M. M.* Warszawiacy i ich miasto w latach drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1973. S. 12.

Kozińska-Witt H. Krakau in Warschaus langem Schatten. Konkurrenzkämpfe in der polnischen Städtelandschaft 1900–1939. Stuttgart, 2008. S. 124, см. также S. 37–40.

AGAD. KGGW. Sygn. 6469. Kart. 13–16. См. также: *Глезеров С.* Петербург Серебряного века. Быт и нравы. М., 2007. С. 136–143; *Розенталь И. С.* Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2004. С. 42–81.

Михневич В. Варшава и варшавяне. СПб., 1881.

Есинов В. В. Варшава и Лодзь, их прошлое и настоящее. Варшава, 1907. С. 9.

См. автобиографические записки И. Шумилина «Старая Варшава и Варшава в начале 20 столетия» (цит. по: *Przygodzki R. L. Russians in Warsaw*. С. 167).

См.: *Wendland A. V.* «Europa» zivilisiert den «Osten». Stadthygienische Interventionen, Wohnen und Konsum in Wilna und Lemberg 1900–1930 // Janatková A., Kozińska-Witt H. (Hg.). Wohnen in der Großstadt 1900–1939. Wohnsituation und Modernisierung im europäischen Vergleich. Stuttgart, 2006. S. 271–296, здесь S. 271–273.

См.: *Majewski J. S.* Warszawa nieodbudowana. Metropolia belle époque. Warszawa, 2003. S. 197; *Herbst S.* Ulica Marszałkowska. Warszawa, 1978. S. 114–117.

Об этом см.: *Kamiński Z.* Dzieje Życia w pogoni za sztuką. Warszawa, 1975. Прежде всего s. 200–208.

Об этом см., в частности: *Jedlicki J.* A Suburb of Europe. P. 178.

Об этом также см. более подробно в статье: *Rolf M. Between State Building and Local Cooperation. Russian Rule in the Kingdom of Poland, 1864–1915* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2018. Vol. 19. No. 2. P. 385–416.

AGAD. KGGW. Sygn. 7031. Kart. 1–97.

AGAD. KGGW. Sygn. 6442. Kart. 2.

Каликст Витковский пробыл в должности президента города (городского головы) двенадцать лет (с 1863 по 1875 год), Сократ Старынкевич – целых семнадцать (с 1875 по 1892 год), Николай Бибииков – четырнадцать (с 1892 по 1906 год), Виктор Литвинский же – всего три года (с 1906 по 1909 год), а Александр Миллер – шесть лет (с 1909 по 1915 год).

Исключение составляли Александр Миллер и Виктор Литвинский: пребывание первого в должности закончилось с приходом в Варшаву германских войск в 1915 году, а второй покинул свой пост, согласно официальной версии, по состоянию здоровья, но на самом деле был принужден уйти в отставку под давлением тяжких обвинений в коррупции.

Таким образом, по сравнению с другими городами Российской империи Варшава занимала относительно хорошие позиции и не отставала от Москвы, где доходы городской казны сильно выросли после 1900 года.

Финансы города Варшавы за 22-летний период (1878–1899).
Варшава: Статистический отдел Магистрата города Варшавы, 1901.

См.: Города России в 1910 г. СПб., 1914. С. 774–883.

Herbst S. Ulica Marszałkowska. S. 112–128; *Słoniowa A.* Sokrates Starynkiewicz. Warszawa, 1981. S. 56–100.

Starynkiewicz S. Mój Dziennik. S. 191–222; *Idem.* Dziennik 1887–1897.

См.: *Starynkevič S.* Projekt Kanalizacyi i Wodociągu. S. 1–15.

AGAD. KGGW. Sygn. 7709. Kart. 154–155.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 36 об.

Starynkiewicz S. Dziennik 1887–1897. Например, s. 162–163.

450

AGAD. KGGW. Sygn. 5857. Kart. 5.

Об этом см.: *Chwalba A.* Polacy w służbie Moskali; *Vladimirov K.* The World of Provincial Bureaucracy. Особенно р. 39–61. Также см.: *Chimiak Ł.* Rosyjscy gubernatorzy lubelscy w latach 1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego // Stegner T. (red.). Między Odrą i Dnieprem. Wyznania i narody. Zbiór studiów. Gdańsk, 1997. S. 208–235; *Долбилов М. Д., Миллер А. И.* (ред.). Западные окраины. С. 177–206.

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 1–14.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 915. Л. 35–36.

AGAD. Dyrekcja Warszawskich Teatrów Rządowych. Sygn. 1. Kart. 9–15.

См.: Варшавский магистрат. Отделение общественного призрения. Отчет о состоянии общественного призрения в городе Варшаве: В 7 т. Варшава, 1873–1914.

456

AGAD. KGGW. Sygn. 2606. Kart. 8.

Ibid. Sygn. 7031. Kart. 96–96v.

Ibid. Sygn. 6442. Kart. 15.

Ibid. Kart. 47.

Репорты варшавского обер-полицмейстера хранятся в: РГИА.
Ф. 1276. Оп. 17; Ф. 1282. Оп. 3; Ф. 1284. Оп. 223; Ф. 1284. Оп. 194.

461

AGAD. KGGW. Sygn. 279. Kart. 1.

APW. T. 151. Cz. 3 (KGW). Sygn. 567. Kart. 14.

AGAD. KGGW. Sygn. 5820. Kart. 1–1v.

Ibid. Kart. 91–92v.

Ibid. Sygn. 7709. Kart. 171–171v.

AGAD. KGGW. Sygn. 7709. Kart. 154–155.

Ibid. Kart. 1–4.

AGAD. KGGW. Sygn. 5820. Kart. 47–55.

Ibid. Sygn. 6481. Kart. 4–6.

См.: *М. М.* (сост.). Путеводитель по Варшаве и ее окрестностям. Варшава, 1873. С. 27–31, 36–38, 68–71.

471

AGAD. KGGW. Sygn. 7031. Kart. 9.

Всеподданнейшие отчеты о состоянии Варшавского генерал-губернаторства. РГИА. Библиотека. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–24 об. (1884), 63–80 (1897), 96–111 (1899), 112–119 об. (1899); Д. 10. Л. 5 (1903).

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 33 об. – 36, 72–75 об.

AGAD. KGGW. Sygn. 6072. Kart. 1–2.

Нейдгарт Д. Б. Всеподданнейший отчет. Т. 1. С. 25.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 58–59.

477

AGAD. KGGW. Sygn. 7739. Kart. 21–22.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 11–13, 31–32.

См.: *Beylin K.* W Warszawie w latach 1900–1914. Warszawa, 1972.
S. 28–39.

См.: *Szyller S.* O attykach polskich i polskich dachach wklęsłych.
Warszawa, 1909.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 11–12.

Официально мост до 1915 года назывался так: «Мост Нашего Милостивого Государя Царя Николая II». После окончания русского владычества в Варшаве он был переименован в мост Понятовского.

Нейдгарт Д. Б. Всеподданнейший отчет. Т. 1. С. 24–32
(Сооружение третьего моста через р. Вислу).

Из кредита в 33 млн рублей, предоставленного в 1903 году городу Варшаве, 4,5 млн предназначались для постройки этого моста. См.: Там же. С. 25.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32.

Пильц Э. И. Поворотный момент в русско-польских отношениях;
Спасович В. Д., Пильц Э. И. (ред.). Очередные вопросы в Царстве
Польском. СПб., 1902. Т. 1.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 916. Л. 38–39.

См., например: *Blejwas S. A.* Warsaw Positivism – Patriotism Misunderstood // *The Polish Review*. 1982. Vol. 27. No. 1–2. P. 47–54.

Об этом см.: *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. P. 104–128.

См.: *Świętochowski A.* Walka o byt // *Prawda*. 1883. № 3; *Idem.* My i wy // *Świętochowski A.* Wybór pism krytycznoliterackich. Warszawa, 1973. S. 69; *Suligowski A.* Projekty ustaw samorządu miejskiego w Królestwie Polskiem. Warszawa, 1906.

См.: *Prus B.* Kroniki wybór. Warszawa, 1987.

См.: *Suligowski A.* Kwestya Mieszkań; *Idem.* Kwestye Miejskie // *Suligowski A. Pisma.* Warszawa, 1915. T. 2. S. 7–16.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 33 об. – 36, 72–75 об.

См. также: *Słoniowa A.* Sokrates Starynkiewicz. S. 100–111.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 277. Л. 16–20.

AGAD. KGGW. Sygn. 949. Kart. 35.

Спасович В. Д., Пильц Э. И. (ред.). Очередные вопросы в Царстве Польском. Т. 1. С. 1–31.

APW. T. 151. Cz. 3 (KGW). Sygn. 543. Kart. 24–29v.

AGAD. KGGW. Sygn. 7031. Kart. 38–39.

Ibid. Sygn. 6519. Kart. 2.

Ibid. Sygn. 7739. Kart. 48–49.

См. публичное заявление Скалона в издании: Варшавский
дневник. 21.10.1908. № 292. С. 2.

AGAD. KGGW. Sygn. 6519. Kart. 2–5.

Szokalski J. Instytucja tanich mieszkań im[ienia] Hipolita i Ludwiki
małż. Wawelbergów. Warszawa, 1904.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 120–137.

AGAD. KGGW. Sygn. 7381. Kart. 1.

См.: *Kronenberg L. J.* Wspomnienia. Warszawa, 1933.

См.: *Moszynski M.* Niemojewski, Andrzej // Benz W. (Hg.). Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. München, 2009; а также: *Suligowski A.* Projekt przyszłego samorządu miejskiego. Warszawa, 1911. Прежде всего s. 12–16.

См. также: *Singer B.* Moje Nalewki. Warszawa, 1993. В 1882 году евреи составляли 33,4% населения Варшавы, в 1897-м – 33,7%, а в 1914-м – 38,1%. См.: *Bloch B.* Urban Ecology of the Jewish Population of Warsaw, 1897–1939 // *Papers in Jewish Demography*. 1981. P. 381–399.

AGAD. KGGW. Sygn. 5820. Kart. 47–55.

Ibid. Kart. 22–23.

Ibid. Sygn. 6486. Kart. 1–2.

APW. T. 25. Sygn. 125. Kart. 24, 25.

AGAD. KGGW. Sygn. 7709. Kart. 74.

AGAD. KGGW. Sygn. 7709. Kart. 22–23.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 9–11.

Geyer D. «Gesellschaft» als staatliche Veranstaltung. Bemerkungen zur Sozialgeschichte der russischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1966. Bd. 14. H. 1. S. 21–50.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 916. Л. 38–39. См.: *Пиетров-Эннкер Б., Ульянова Г. Н.* (ред.). Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX – начало XX века. М., 2007.

См.: *Cegielski J.* Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–1964. Warszawa, 1968. S. 85.

AGAD. KGGW. Sygn. 6036. Kart. 79–83.

521

AGAD. KGGW. Sygn. 7031. Kart. 31.

Ibid. Sygn. 5300. Kart. 9–11.

Ibid. Sygn. 6416. Kart. 1.

Ibid. Kart. 2–4.

525

AGAD. KGGW. Sygn. 5822. Kart. 1–1v.

Gebhard J. Lublin. Eine polnische Stadt. S. 167–170; *Hamm M. F.* Kiev: A Portrait, 1800–1917. Princeton, 1986. P. 41–43.

AGAD. KGGW. Sygn. 6036. Kart. 60–61v.

Нейдгарт Д. Б. Всеподданнейший отчет. Т. 1. С. 21.

AGAD. KGGW. Sygn. 5820. Kart. 91–92v.

Омнибусное сообщение // Варшавское слово. 1910. 12 (25) июля.
№ 64. С. 1–2.

Нейдгарт Д. Б. Всеподданнейший отчет. Т. 1. С. 16, 22.

Там же. С. 16–17.

См., например: *Hamm M. F.* Continuity and Change in Late Imperial Kiev // *Hamm M. F.* (ed.). *The City in Late Imperial Russia*. Bloomington, 1986. P. 79–122, здесь p. 89–90 и 99–102; *Henriksson A.* Riga. Growth, Conflict and the Limitations of Good Government, 1850–1914 // *Ibid.* P. 177–207, здесь p. 184–190.

AGAD. KGGW. Sygn. 6176. Kart. 19–20.

AGAD. KGGW. Sygn. 7381. Kart. 6–7.

Ibid. Dyrekcja Warszawskich Teatrów Rządowych. Sygn. 1. Kart. 2–5.

AGAD. KGGW. Sygn. 6361. Kart. 3–6.

Ibid. Sygn. 6302. Kart. 5–5v.

AGAD. KGGW. Sygn. 7031. Kart. 42–44v.

Ibid. Sygn. 5937. Kart. 14–15v.

Ibid. Kart. 38.

AGAD. KGGW. Sygn. 6247. Kart. 1–141.

Ibid. Sygn. 6412. Kart. 3–3v.

Ibid. Sygn. 1216. Kart. 14–15.

AGAD. KGGW. Sygn. 6247. Kart. 30–38.

Ibid. Kart. 20.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1005. Л. 6.

См.: *Нейдгарт Д. Б.* Всеподданнейший отчет.

AGAD. KGGW. Sygn. 6247. Kart. 20.

550

AGAD. KGGW. Sygn. 5937. Kart. 58.

Нейдгарт Д. Б. Всеподданнейший отчет. Т. 1. С. 22.

Там же. С. 33–35.

AGAD. PomGGW. Sygn. 95. Kart. 1–14.

Ibid. KGGW. Sygn. 5820. Kart. 43–43v.

AGAD. KGGW. Sygn. 1216. Kart. 6–13.

Ibid. Sygn. 7709. Kart. 166.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 916. Л. 38–39.

Дружинин А. Н. Проституция в г. Плоцке в 1910 г. (Эскиз о мерах к пресечению совращения девушек в Плоцкой губ.). Плоцк, 1910. С. 12–15.

См. также: *Chwalba A.* Polacy w służbie Moskali; *Kijas A.* Polacy w życiu społeczno-politycznym Moskwy na przełomie XIX/XX wieku // Kraszewski P. (red.). *Cywilizacja Rosji imperialnej*. Poznań, 2002. S. 213–226.

AGAD. KGGW. Sygn. 1893. Kart. 16v–17.

AGAD. PomGGW. Sygn. 95. Kart. 1–14.

Ibid. Sygn. 378. Kart. 108–112.

Ibid. KGGW. Sygn. 4391. Kart. 2–5.

См.: *Володин А. Ю.* История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. М., 2009. Прежде всего с. 18–49.

AGAD. KGGW. Sygn. 5937. Kart. 58.

См. также: *Petrozolin-Skowrońska B.* (red.). Encyklopedia Warszawy z suplementem. Warszawa, 1994. S. 511.

AGAD. PomGGW. Sygn. 95. Kart. 1–14.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 263. Kart. 1–6v.

AGAD. PomGGW. Sygn. 378. Kart. 123–125.

Михневич В. Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 1–2.

Konczyński J. Ludność Warszawy. Warszawa, 1913. S. XXIV.

Сидоров А. А. Русские и русская жизнь в Варшаве. Варшава, 1900.
Вып. 3. С. 148–149.

Устав русского собрания в Варшаве. Варшава, б. г. § 39. С. 24–25;
§ 42. С. 46.

Русское дело в Привислинском крае // Привислинский календарь на 1898 год. Варшава, 1898. С. 17–19.

См.: *Сидоров А. А.* Исторический очерк русской печати в Привислинском крае. Варшава, 1896. С. 20–23.

AGAD. KGGW. Sygn. 7258. Kart. 1–1v.

См.: *Акаемов Н. Ф.* Адрес-календарь гор[ода] Варшавы на 1904 год. Варшава, 1903. С. 365–375.

О Кіеве см., в частности: *Hillis F.* Children of Rus'. Right-Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation. Ithaca, 2013; *Eadem.* Making and Breaking the Russian Empire. The Case of Kiev's Shul'gin Family // Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. S. 178–198.

См.: *Михневич В.* Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 170–211.

580

AGAD. KGGW. Sygn. 1927. Kart. 3–8v.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 7–8.

Михневич В. Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 47–48.

См.: *Вецкий Н. А.* К вопросу о Варшавском университете. Варшава, 1906. С. 24–26.

Устимович М. П. Заговоры и покушение на жизнь наместника Его Императорского Величества в Царстве Польском. Варшава, 1870.

См.: *Катков М. Н.* 1863 год. Собрание статей. См. также: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 56, 170.

Михневич В. Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 46–48.

Сидоров А. А. Русские и русская жизнь в Варшаве. Вып. 3. С. 183.

См. дневниковые записи Аполлона Бенкевича в: ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 371 (Дневник А. А. Бенкевича). Л. 3 [01.01.1907. Новогодний прием во дворце у генерал-губернатора]; Д. 372. Л. 2 [01.01.1908. Новогодний прием у генерал-губернатора].

См. также: *Москвич Г. Г.* Путеводитель по Варшаве. СПб., 1907.
С. 101–104.

590

AGAD. KGGW. Sygn. 7031. Kart. 1–4.

См., например: *Дрель Н. Я.* Разница между русским освободительным движением и современным польским и автономия Польши по данным польской прессы. Варшава, 1906.

AGAD. KGGW. Sygn. 2548. Kart. 1.

О программе см.: Предвыборные известия Русского общества в Варшаве. 1907. 30 августа. № 1. С. 1. Общую информацию см. в кн.: *Смирнов А. Ф.* Государственная Дума Российской империи 1906–1917. Историко-правовой очерк. М., 2008.

AGAD. KGGW. Sygn. 7722. Kart. 9–14v.

Дневник помощника прокурора Варшавского окружного суда А. А. Бенкевича. ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 371. Л. 186 [запись от 12.12.1907. Посещение театра женой Бенкевича]; Д. 372. Л. 194 [26.12.1908. Посещение театра «Иллюзион» женой и дочерью Бенкевича].

Там же. Д. 370. Л. 3 [01.01.1902], 84 [19.12.1902]; Д. 371. Л. 191 об. [19.12.1907]; Д. 372. Л. 190 об. [19.12.1908].

Там же. Д. 371. Л. 185 об. [11.12.1907].

Там же. Д. 372. Л. 187 [12.12.1908].

Там же. Д. 371. Л. 60 [18.04.1907].

ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 371. Л. 82 об. [14.12.1902].

Там же. Л. 79–96 об., 149 [1907. Фотографии].

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 6–8. См. также: *Mironov B. N.* Wages and Prices in Imperial Russia, 1703–1913 // *Russian Review*. 2010. Vol. 69. No. 1. P. 47–72.

Михневич В. Варшава и варшавяне. СПб., 1881. С. 48–52.

AGAD. KGGW. Sygn. 6481. Kart. 11v–13v, 22–25.

Миллер был из прибалтийских немцев, но православного вероисповедания. См.: ГАРФ. Ф. 996. Оп. 1 (Дневник – Миллер, Константин Константинович).

Истомин В. А. Национально-патриотические школы. М., 1907.
С. 12.

Скворцов И. В. Русская школа в Привислянъе. С. 11–12.

AGAD. KGGW. Sygn. 2606. Kart. 5.

Варшавский русский календарь на 1904 год. Варшава, 1903.

См.: Адрес-календарь с табелью домов и планом г. Варшавы на 1893 год. Варшава, 1893.

Весьма плодовитый варшавский автор путеводителей Николай Акаемов был с 1867 года главным редактором «Варшавской полицейской газеты».

*В. З. (сост.). Путеводитель по Варшаве и ее окрестностям.
Варшава, 1893. С. 57.*

М. М. (сост.). Путеводитель по Варшаве и ее окрестностям. С. 188–189.

Акаемов Н. Ф. Путеводитель по Варшаве. Варшава, 1902. С. 59.

В. З. (сост.). Путеводитель по Варшаве и ее окрестностям. С. 61–62.

Москвич Г. Г. Путеводитель по Варшаве. С. 1–2.

Thugutt S. Przewodnik po Warszawie z planem miasta. Warszawa, 1912. S. 15.

То же самое и в следующем путеводителе: *Fryze F., Chodorowicz I.*
Przewodnik po Warszawie i jej okolicach na rok 1873/4. Warszawa, 1873.

AGAD. KGGW. Sygn. 9012. Kart. 27–28.

Ibid. Sygn. 7031. Kart. 1–4.

Ibid. Sygn. 5105. Kart. 1–138.

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 21. Л. 100–101.

Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 915. Л. 4 об., 6 об. – 8.

Там же. Д. 277. Л. 34.

Предвыборные известия Русского общества в Варшаве. 1907.
14 сентября. № 3. С. 2.

AGAD. KGGW. Sygn. 2607. Kart. 5–5v.

В период 1894–1905 годов от 57 до 66% студентов были католического вероисповедания, около 19% – иудейского и 17% – православного. См.: Студенты Императорского Варшавского Университета. Харьков, 1895. Об Императорском Варшавском университете более подробно см.: *Баженова А.* Историки Императорского Варшавского Университета 1869–1915. Просвещение, наука, политика. Люблин, 2014; *Ihnatowicz I.* Uniwersytet Warszawski w latach 1869–1899 // *Kieniewicz S.* (red.). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915. Warszawa, 1981. S. 378–494; *Иванов А. Е.* Русский университет в Царстве Польском. Из истории университетской политики самодержавия. Национальный аспект // Отечественная история. 1997. № 6. С. 23–33; *Kiepuska H.* Uniwersytet Warszawski w latach 1899–1915 // *Kieniewicz S.* (red.). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego. S. 495–564; *Kizwalter T.* (red.). Monumenta Universitatis Varsoviensis. Cz. I. Lata: 1816–1915; *Михальченко С. И.* Из истории юридического факультета Варшавского университета (конец XIX – начало XX века) // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках: Сборник научных статей. Воронеж, 1999. С. 71–81; *Михальченко С. И.* К истории Общества истории, филологии и права при Варшавском университете // Там же. Воронеж, 2000. С. 146–153; *Rolf M.* Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915). Warszawa, 2016. S. 310–344. О системе высшего образования в Российской империи в целом см.: *Чирскова И. М.* Университеты в системе правительственной политики России второй половины XIX века // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках. 2000. С. 65–84; *Иванов А. Е.* Профессорско-преподавательский корпус высшей школы России конца XIX – начала XX века: общественно-политический облик // История СССР. 1990. № 5. С. 60–76; *Он же.* Высшая школа в российской провинции. География размещения (правительственная политика и общественная инициатива). Конец XIX – начало XX вв. // Шмидт С. О. (ред.). Российская провинция XVIII–XX веков. Пенза, 1996. С. 51–60; *Лантева Л. П.* История российских университетов в XVIII – начале XX века в новейшей отечественной литературе (1985–

1999 годы) // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках. 2000. С. 3–28; *Маурер Т.* Университет и (его) город. Новая перспектива для исследования истории российских университетов // Дмитриев А. Н., Маурер Т. (ред.). Университет и город в России (начало XX века). М., 2009. С. 5–104 и другие статьи этого сборника.

См.: *Лантева Л. П.* В. А. Францев как исследователь русско-польских научных связей в XIX в. // Шапов Я. Н., Фалькович С. М., Щавелева Н. И. (ред.). Культурные связи России и Польши XI–XX вв. М., 1998. С. 128–140.

См.: Программа преподавания в 1871/72 академическом году // Варшавские университетские известия. 1872. № 2. С. 25–67.

Сильные волнения сотрясали университет особенно в 1883, 1897 и 1903 годах. См.: APW. Т. 25. Sygn. 537. Kart. 6–9.

См.: *Будилович А. С.* Вопрос об окраинах России, в связи с теорией самоопределения народностей и требованиями государственного единства. СПб., 1906.

См.: Бычков А. Ф. П. А. Лавровский (некролог). СПб., 1886;
Чечулин Н. Д. И. П. Корнилов. Некролог. СПб., 1901.

Филевич И. П. И. С. Аксаков и польский вопрос. СПб., 1887; *Лавровский П. А.* Известие о состоянии униатской церкви у русских в Галиции. Харьков, 1862; *Первольф И. И.* Славяне, их взаимные отношения и связи: В 3 т. Варшава, 1886–1890. Об Александре Яцимирском см. документы: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки [далее – РГБ]. Ф. 44. Оп. 9. Д. 13. Обзорные работы по теме: *Дьяков В. А.* Славянофильские тенденции в польской общественной мысли накануне и во время Славянского съезда 1848 г. // Досталь М. Ю. (ред.). Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994. С. 40–59; *Дьяков В. А., Миллер И. С., Мыльников А. С.* Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979; *Фалькович С. М.* Сотрудничество русских и польских неославистов и Славянские съезды начала XX в. // Досталь М. Ю. (ред.). Славянские съезды. С. 113–127; *Лантева Л. П.* Изучение славянских литератур в университетах России в XIX – начале XX века // Чесноков В. И. (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках. 1999. С. 101–120; *Мамонов А. В.* Самодержавие и «славянское движение» в России в 1875–1877 годах // Отечественная история. 2004. № 3. С. 60–77; *Милуков П. Н.* Национальный вопрос. Происхождение национальности и национальные вопросы в России. Прага, 1925. С. 98–118, 130–138; *Он же.* Воспоминания. М., 2001. С. 381–384; *Волков В. К.* (ред.). Российско-польские научные связи в XIX–XX вв. М., 2003.

Леонтович Ф. И. Национальный вопрос в древней России // Варшавские университетские известия. 1895. № 1. С. 17–65.

См. собрание волынских, седлецких, холмских и киевских народных песен: Отдел рукописей РГБ. Ф. 44. Оп. 18. Д. 13.

О варшавском студенчестве во время революции 1905 года см.: *Бардах Ю.* Русские союзники борьбы за польскую высшую школу в Царстве Польском в 1905–1906 гг. // Шапов Я. Н., Фалькович С. М., Щавелева Н. И. (ред.). Культурные связи России и Польши. С. 141–158; *Blobaum R. E.* Rewolucja. Russian Poland, 1904–1907. Ithaca, 1995. P. 157–187; *Постников Н. Д.* Террор польских партий против представителей русской администрации в 1905–1907 гг. // Морозов К. Х. (ред.). Индивидуальный политический террор в России. XIX – начало XX в. М., 1996. С. 112–117; *Табачников Б. Я.* Студенческое движение в высших учебных заведениях Королевства Польского в 1910–1911 гг. // Дьяков В. А., Миллер И. С. (ред.). Связи революционеров России и Польши. С. 122–131.

Доля студентов-католиков снова превысила 10% только в 1915 году.

Есинов В. В. Материалы к истории Императорского Варшавского университета. Варшава, 1913. Т. 1.

Либералами были также кристаллограф Георгий Викторович Вульф и историк Николай Иванович Кареев, который некоторое время (1879–1885) преподавал в Варшавском университете. См.: *Kareev N. I. Profesura w Warszawie // Przegląd Historyczny*. 1978. № 69. S. 263–278; а также: *Дьяков В. А., Миллер И. С., Мильников А. С.* Славяноведение. С. 271–272; *Лантева Л. П.* Русский историк Н. И. Кареев (1880–1931) и его взаимоотношения с политическими режимами России // *Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов*. Брянск: Центр славяноведения, 2000. С. 88–95; *Сонин А. С.* Георгий Викторович Вульф (1863–1925). М., 2001.

AGAD. KGGW. Sygn. 9012. Kart. 114–114v.

В связи с описываемыми дальше событиями см. предвыборное воззвание от 29 сентября 1912 года: Отдел рукописей РГБ. Ф. 44. Оп. 8. Д. 39.

См. состав списков выборщиков в Русском обществе: Предвыборные известия Русского общества. № 5 (01.10.1907). С. 2–3. См. также: *Лаптева Л. П.* Славянский вопрос в мировоззрении П. А. Кулаковского (по архивным материалам) // Дьяков В. А. (ред.). Славянская идея. История и современность. М., 1998. С. 111–126; *Коцюбинский Д. А.* Русский национализм. С. 30–37, 149–151; *Кириянов Ю. И.* Русское собрание. 1900–1917. М., 2003. С. 53–54.

Ср. серию публикаций П. А. Кулаковского «Русский русским» (СПб., 1907–1913. Вып. 1–5).

Истомин В. А. Национально-патриотические школы. С. 5
(«О национализации государственной школьной системы»).

«Почему в Варшаве должен быть Русский университет?» –
рукописное эссе анонимного автора, около 1900 года (Отдел рукописей
РГБ. Ф. 44. Оп. 14. Д. 3. Л. 10).

Об этом открыто сказано в кн.: Варшавский Университет и бывшая Варшавская Главная Школа. С. 27.

Проф[ессор] А. Л. Погодин о русских выборах в Варшаве // Предвыборные известия Русского общества. 19.10.1907. № 7. С. 3.

AGAD. KGGW. Sygn. 9012. Kart. 101.

См.: *Троцкий Л. Д.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1991.
С. 161.

См.: *Blobaum R. E.* Rewolucja. S. 72–74; *Holquist P.* Violent Russia, Deadly Marxism? P. 636.

См.: *Ascher A.* The Revolution of 1905. P. 158; *Dziewanowski M. K.* The Polish Revolutionary Movement. Здесь р. 392.

См.: *Geyer D.* Der russische Imperialismus. S. 185; а также: *Kier Wise A.* Aleksander Lednicki. A Pole among Russians, a Russian among Poles. Polish-Russian Reconciliation in the Revolution of 1905. New York, 2003. P. 147–168.

См.: *Blobaum R. E.* Rewolucja. S. 188–233; *Weeks T. R.* 1905 as a Watershed in Polish-Jewish Relations // Hoffman S., Mendelsohn E. (eds). The Revolution of 1905 and Russia's Jews. Philadelphia, 2008. P. 128–139.

Waldmann P. Gesellschaften im Bürgerkrieg. Zur Eigendynamik entfesselter Gewalt // Zeitschrift für Politik. 1995. Bd. 45. Heft 4. S. 343–368, здесь S. 360.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32, здесь kart. 3.

656

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 12–17 об.

Там же. Л. 30–45, здесь л. 30–33.

AGAD. KGGW. Sygn. 2212. Kart. 3.

См.: *Kiepuska H.* Warszawa w rewolucji 1905–1907. Warszawa, 1974. S. 60; а также: *Blobaum R. E.* Rewolucja. S. 41–44.

Ascher A. The Revolution of 1905. P. 157.

См.: *Blobaum R. E.* Rewolucja. S. 72–114.

AGAD. KGGW. Sygn. 2581. Kart. 2–2v, 8–8v.

Ibid. Kart. 34–35v.

664

Отдел рукописей РГБ. Ф. 44. Оп. 4. Д. 76.

Katscher L. (Hg.). *Russisches Revolutions-Tagebuch 1905. Ein Werdegang in Telegrammen.* Leipzig, 1906. S. 22–23. См. также: *Miqso J.* Walka o narodową szkołę w Królestwie Polskim w latach 1905–1907 (w stulecie strajku szkolnego) // *Rozprawy z Dziejów Oświaty.* 2005. T. 44. S. 75–103.

666

AGAD. KGGW. Sygn. 2489.

Lewis R. D. Revolution in the Countryside. Russian Poland, 1905–1906 // The Carl Beck Papers in Russian and East. European Studies. 1986. Vol. 506. No. 30. P. 13.

См.: *Есипов В. В.* Народная нравственность // Есипов В. В. (ред.). Некоторые черты по статистике народного здоровья и народной нравственности в 10 губерниях Царства Польского за 1904–1906 годы. Варшава: Варшавский статистический комитет, 1907. С. 59–65, здесь с. 62–64.

AGAD. KGGW. Sygn. 5105. Kart. 1–138; Sygn. 5227. Kart. 1–115.

Ibid. Sygn. 1893. Kart. 1–89v, здесь kart. 15v.

AGAD. KGGW. Sygn. 2581. Kart. 49–51.

Донесение Г. Нормана, уполномоченного представителя британского генерального консула, от 4 мая 1905 года см. в кн.: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 3. P. 111 (Doc. 87).

AGAD. KGGW. Sygn. 2491. Kart. 22.

Из донесения Г. Нормана, уполномоченного представителя британского генерального консула. Цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 3. P. 112 (Doc. 87).

AGAD. KGGW. Sygn. 342.

Об этом см. также: *Blobaum R. E.* Criminalizing the «Other». Crime, Ethnicity, and Antisemitism in Early Twentieth-Century Poland // *Blobaum R. E. (ed.). Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland.* Ithaca, 2005. P. 81–102, здесь p. 87–88.

Донесение из Лодзи, авторизованное английским генеральным консулом в Варшаве, цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 3. P. 131–133 (Doc. 110).

678

AGAD. KGGW. Sygn. 703. Kart. 30.

Донесения германского консула в Варшаве, Кольхааса, цит. по:
Kusber J. Krieg und Revolution in Russland 1904–1906. Das Militär im
Verhältnis zu Wirtschaft, Autokratie und Gesellschaft. Stuttgart, 1997. S. 71.

680

AGAD. KGGW. Sygn. 2573. Kart. 23.

Назначение Скалона состоялось 28 августа 1905 года. Он уже с мая 1905 года работал в Варшаве, в качестве помощника командующего войсками, и за эти четыре месяца составил себе непосредственное – армейское – представление о происходящем.

AGAD. KGGW. Sygn. 2573. Kart. 62.

См.: *Katscher L.* (Hg.). Russisches Revolutions-Tagebuch. S. 118;
KGGW. Sygn. 2621. Kart. 3.

Katscher L. (Hg.). Russisches Revolutions-Tagebuch. S. 140–145, 155.

AGAD. PomGGW. Sygn. 95. Kart. 1–14.

Kiepuska H. Warszawa 1905–1907. Warszawa, 1991. S. 88–91.

Донесение Г. Нормана, уполномоченного представителя британского генерального консула, цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 3. P. 111–112 (Doc. 87).

AGAD. KGGW. Sygn. 2525, 2527.

См. также: *Weinberg R.* The Pogrom of 1905 in Odessa. A Case Study // Klier J. D., Lambroza S. (eds). *Pogroms. Anti-Jewish Violence in Modern Russian History*. Cambridge, 1992. P. 248–289, здесь p. 264–266.

См.: *Fuller W. C.* Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881–1914. Princeton, 1985. P. 182; а также: *Daly J. W.* The Watchful State. Security Police and Opposition in Russia, 1906–1917. DeKalb, 2004. P. 44.

691

AGAD. KGGW. Sygn. 2585. Kart. 22.

Цит. по: *Baberowski J.* Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich 1864–1914. Frankfurt am Main, 1996. S. 764.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 12–17 об., здесь л. 14.

AGAD. KGGW. Sygn. 2980. Kart. 6.

Ibid. Sygn. 3173. Kart. 1–2v.

Донесение британского генерального консула Мюррея от 13 июля 1906 года цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 4. P. 132 (Doc. 86).

AGAD. PomGGW. Sygn. 1212. Kart. 75–75v.

Ibid. KGGW. Sygn. 2520. Kart. 22.

Донесение британского генерального консула Мюррея от 13 июля 1906 года цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 4. P. 131 (Doc. 86).

700

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 21. Л. 45.

Донесение от 13 июля 1906 года. Цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 4. P. 132–133 (Doc. 86).

См.: *Есипов В. В.* Народная нравственность.

См. донесение Мюррея от 13 июля 1906 года, цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 4. P. 131–133 (Doc. 86).

Такое наблюдение сделал британский консул в Варшаве в 1907 году. См.: Ibid. P. 364.

Десять губерний Царства Польского в цифрах. Варшава: Варшавский статистический комитет, 1908. С. 44–45.

AGAD. KGGW. Sygn. 2767. Kart. 1; Ibid. PomGGW. Sygn. 109.
Kart. 32–32v.

Статистические данные Британского генерального консульства от 6 октября 1906 года, цит. по: *Lieven D.* (ed.). *British Documents on Foreign Affairs*. Vol. 4. P. 235 (Doc. 159). Консульский округ включал как территорию Царства Польского, так и значительную часть бывших восточных областей Польско-Литовского государства.

См.: *Есипов В. В.* Народная нравственность. С. 64–65.

AGAD. KGGW. Sygn. 2573. Kart. 14–22v.

Ibid. PomGGW. Sygn. 264. Kart. 1–17.

См.: *Suligowski A.* Motywy do projektu ustawy miejskiej dla miast Królestwa Polskiego // *Suligowski A. Pisma.* Warszawa, 1915. T. 1. S. 91–113, 121–125.

См.: *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. P. 119–129;
Trees P. Wahlen im Weichselland. Die Nationaldemokraten in Russisch-Polen und die Dumawahlen 1905–1912. Stuttgart, 2007. S. 64–77.

ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 97. Л. 30–45, здесь л. 33 и 33 об.

Kalabiński S. (red.). Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905–1907 w Królestwie Polskim. Materiały archiwalne. Warszawa, 1956. S. 305.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32, здесь kart. 7–8.

См., например: *Sienkiewicz H.* Wiry. 1910.

ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1 (1905). Д. 1893. Л. 1.

РГИА. Ф. 1327 (1905–1915). Оп. 2. Д. 21. Л. 122–125, здесь л. 123
об. – 124 об.

AGAD. KGGW. Sygn. 8855. Kart. 14–15.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32, здесь kart. 3–4.

См.: *Trees P.* Wahlen im Weichselland. S. 257–258.

Lüdtke A., Wildt M. Einleitung. Staats-Gewalt. Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes // Lüdtke A., Wildt M. (Hg.). Staats-Gewalt. Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes. Historische Perspektiven. Göttingen, 2008. S. 9–38, здесь S. 23.

См.: *Москвич Г. Г.* Путеводитель по Варшаве.

AGAD. KGGW. Sygn. 5855. Kart. 1–3.

См.: *Daly J. W.* The Watchful State. P. 44; *Fuller W. C.* Civil-Military Conflict. P. 182.

AGAD. KGGW. Sygn. 3173. Kart. 1–49.

Об этом подробно см.: *Trees P. Wahlen im Weichselland*. S. 271–309.

См.: *Brzoza C., Stepan K.* (red.). Posłowie Polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. Słownik biograficzny. Warszawa, 2001. S. 7–8, 14–15; *Смирнов А. Ф.* Государственная Дума. С. 335–343.

См.: *Dziewanowski M. K.* The Polish Revolutionary Movement. P. 389.

730

AGAD. WKC. Sygn. 21. Kart. 1–565.

Suligowski A. Projekty ustaw samorządu miejskiego w Królestwie Polskiem.

732

AGAD. WKC. Sygn. 77. Kart. 5.

733

AGAD. KGGW. Sygn. 7221. Kart. 1–17.

Ibid. Sygn. 7531. Kart. 1–38.

Ibid. Sygn. 7722. Kart. 9–14v.

ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 2. Д. 370–372. Л. 60 [Дневник А. А. Бенкевича, запись от 18 апреля 1907 г.]. Донесение французского консула от 4 мая 1907 года, цит. по: *Beylin K.* W Warszawie w latach 1900–1914. S. 249–250.

AGAD. KGGW. Sygn. 2581. Kart. 49–51.

Об этом см.: *Blobaum R. E.* Rewolucja. S. 178–179.

См.: *Staszyński E.* Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim. Od powstania styczniowego do I wojny światowej. Warszawa, 1968. S. 207–209, 238–240.

См.: *Wojciechowski K.* Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Wrocław, 1986. Стаття «Uniwersytet dla Wszystkich».

741

AGAD. KGGW. Sygn. 8866. Kart. 32–33.

Ibid. Sygn. 6302. Kart. 5–5v.

Ibid. Sygn. 3772. Kart. 59.

744

AGAD. KGGW. Sygn. 4405. Kart. 1.

Ibid. PomGGW. Sygn. 264. Kart. 1–17.

Ibid. KGGW. Sygn. 6247. Kart. 20.

Ibid. Sygn. 4888. Kart. 1–19.

Слова Столыпина приведены по: *Hagen M.* Das Nationalitätenproblem Russlands in den Verhandlungen der III. Duma 1907–1911. PhD Dis. Universität Göttingen. Göttingen, 1964. S. 59–61.

В качестве примеров см.: с польской стороны – *Дымиша Л.* Холмский вопрос; с русской – *Батюшков П. Н.* Холмская Русь. СПб., 1887.

750

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 1–3v.

Ibid. PomGGW. Sygn. 1212. Kart. 44–45.

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 21. Л. 45.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32, здесь kart. 1–3 и 15.

Михаил Гершензон в 1909 году писал о русской интеллигенции: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» (*Гершензон М. Творческое самосознание // Вехи [1909];* цит. по: *Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 90*). Впрочем, фраза эта вызвала бурю негодования и в России.

См.: *Sienkiewicz H.* Wirren. Zürich, 2005. (*Sienkiewicz H.* Wiry. 1910.)

756

AGAD. KGGW. Sygn. 1893. Kart. 104–111v.

См.: Приложения к стенографическим отчетам Государственной Думы. III созыв. Сессия V. СПб., 1912. Т. 3. № 374.

Брусилов же, например, характеризовал скалоновскую администрацию как «немецкую клику». См.: *Брусилов А. А. Мои воспоминания*. С. 51–53.

См.: *Dmowski R.* Niemcy, Rosja a sprawa polska. Warszawa, 1908;
а также: *Idem.* Upadek myśli konserwatywnej w Polsce. Warszawa, 1914.

См.: *Corrsin S. D.* Works on Polish-Jewish Relations Published since 1990. A Selective Bibliography // *Blobaum R. E.* (ed.). *Antisemitism and Its Opponents*. P. 326–341; *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 93–137 [*Миллер А.* Империя Романовых и национализм. С. 96–146].

См.: *Guesnet F.* Polnische Juden im 19. Jahrhundert. Lebensbedingungen, Rechtsnormen und Organisation im Wandel. Köln, 1998. S. 61.

Об этом см.: *Opalski M., Bartal I.* Poles and Jews. A Failed Brotherhood. Hanover, 1992; *Weeks T. R.* From Assimilation to Antisemitism. P. 44–52.

Об этом см.: *Cata A.* Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa, 1898; *Rolf M.* Between State Building and Local Cooperation; *Weeks T. R.* Poles, Jews, and Russians, 1863–1914. The Death of the Ideal of Assimilation in the Kingdom of Poland // *Polin*. 1999. Vol. 12. P. 242–256; *Idem*. The Best of both Worlds. Creating the Żyd-Polak // *East European Jewish Affairs*. 2004. Vol. 34. No. 2. P. 1–20, здесь p. 15–16.

См.: *Moszynski M.* Niemojewski, Andrzej; *Opalski M., Bartal I.* Poles and Jews; *Stegner T.* Liberalowie Królestwa Polskiego wobec kwestii żydowskiej na początku XX wieku // *Przegląd Historyczny*. 1989. T. 80. S. 69–88; *Weeks T. R.* Polish «Progressive Antisemitism». 1905–1914 // *East European Jewish Affairs*. 1995. Vol. 25. P. 49–68.

Dmowski R. Mysli nowoczesnego Polaka. Lemberg, 1902. См. также: *Fountain A.* Roman Dmowski. Party, Tactics, Ideology 1895–1907. New York, 1980; *Hausmann K. G.* Die politischen Ideen Roman Dmowskis. Ein Beitrag zur Geschichte des Nationalismus in Ostmitteleuropa. Kiel, 1968; *Kizwalter T.* Über die Modernität der Nation. S. 345–384; *Krzywiec G.* Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemitycznych na ziemiach polskich początku XX wieku. Warschau, 2017; *Krzywiec G., Garlinski J.* Chauvinism, Polish style.

Trees P. Wahlen im Weichselland. S. 81–83. См. также: *Krzywiec G.*, *Garlinski J.* Chauvinism, Polish style; *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. P. 227–232.

Guesnet F. Polnische Juden. S. 63–80; *Pickhan G.* Polen // Benz W. (Hg.). Handbuch des Antisemitismus. S. 276–283, здесь S. 280.

См.: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 93–137, 124–125 [рус. изд.: *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. С. 141–142]; а также: *Corrsin S. D.* Language Use in Cultural and Political Change in Pre-1914 Warsaw. Poles, Jews, and Russification // *The Slavonic and East European Review*. 2002. Vol. 68. No. 1. P. 69–90, прежде всего p. 84–85; *Guesnet F.* «Wir müssen Warschau unbedingt russisch machen». Die Mythologisierung der russisch-jüdischen Zuwanderung ins Königreich Polen zu Beginn unseres Jahrhunderts am Beispiel eines polnischen Trivialromans // *Behring E. u. a. (Hg.).* Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel– und Südosteuropas. Stuttgart, 1999. S. 99–116.

См., например: *Dmowski R.* Separatyzm żydowski i jego źródła. Warszawa, 1909; *Niemojewski A.* W sprawie takzwanych Litwaków // *Myśl* niepodległa. 1909. Nr. 114. S. 1403–1411; *Gruszecki A.* Litwackie mrowie. Powieść współczesna. Warszawa, 1911.

AGAD. PomGGW. Sygn. 378. Kart. 123–125.

См.: *Marzec W.* Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź, 2014; *Idem.* Rising Subjects. Forging the Political During the 1905 Revolution in Russian Poland. PhD Dis. Budapest, 2017; *Idem.* What Bears Witness of the Failed Revolution? The Rise of Political Antisemitism during the 1905–1907 Revolution in the Kingdom of Poland // *Eastern European Politics and Societies*. 2016. Vol. 30. No. 1. P. 189–213; *Ury S.* Barricades and Banners. The Revolution of 1905 and the Transformation of Warsaw Jewry. Stanford, 2012.

См.: *Friedrich A.* Polish Literature's Portrayal of Jewish Involvement in 1905 // Hoffman S., Mendelsohn E. (eds). The Revolution of 1905 and Russia's Jews. P. 143–151.

См.: *Corrsin S. D.* Warsaw before the First World War. P. 86–87;
Trees P. Wahlen im Weichselland. S. 222–225.

См.: *Blobaum R. E.* Criminalizing the «Other». P. 85–88.

См.: Ibid. P. 93–97; *Weeks T. R.* Fanning the Flames. Jews in the Warsaw Press, 1905–1912 // East European Jewish Affairs. 1998/99. Vol. 28. P. 63–81.

См.: *Клейнман И. А.* Между молотом и наковальней.

См. прежде всего: *Porter B. A.* When Nationalism Began to Hate. Chap. 7 and 8. См. также: *Porter-Szűcs B.* Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland. Oxford, 2011; *Rolf M.* Die Revolution von 1905 und der Wandel der Nationsbilder im Russischen Reich // Frie E., Planert U. (Hg.). Revolution, Krieg und die Geburt von Staat und Nation. Staatsbildung in Europa und den Amerikas 1770–1930. Tübingen, 2016. S. 193–210; *Ury S.* Barricades and Banners. P. 172–214.

См. о частном еврейском коммерческом училище (1908): AGAD. KGGW. Sygn. 7440. Kart. 1–6. О Еврейском благотворительном обществе (1908–1909): Ibid. Sygn. 7787. Kart. 1–7. Об Обществе вспомоществования бедным евреям (1908–1911): Ibid. Sygn. 7690. Kart. 1–5; Sygn. 7462. Kart. 1–5; Sygn. 7924. Kart. 1.

Об этом см.: *Cohen B. C.* The Press, the Public and Foreign Policy. Princeton, 1963. P. 13.

См.: *Jedlicki J.* Resisting the Wave. Intellectuals against Antisemitism in the Last Years of the «Polish Kingdom» // Blobaum R. E. (ed.). Antisemitism and Its Opponents. P. 60–80, прежде всего p. 71–76.

Об этом см.: *Blobaum R. E.* The Politics of Antisemitism in Fin-de-Siecle Warsaw // *The Journal of Modern History*. 2001. Vol. 73. No. 2. P. 275–306, здесь р. 294–298; *Corrsin S. D.* Warsaw before the First World War. P. 89–104; *Golczewski F.* Polnisch-jüdische Beziehungen 1881–1922. Eine Studie zum Antisemitismus in Osteuropa. Wiesbaden, 1981. S. 90–120.

См.: *Blobaum R. E.* The Politics of Antisemitism in Fin-de-Siecle Warsaw. P. 298–301; *Weeks T. R.* Zwischen zwei Feinden. Polnisch-jüdische Beziehungen und die russischen Behörden zwischen 1863 und 1914. Leipzig, 1998. S. 16–17.

См. рапорт обер-полицмейстера за 1913 год от 2 марта 1915 года в кн.: *Kiepuska H., Pustula Z. Raporty Warszawskich Oberpolicmajstrów (1892–1913)*. Wrocław, 1971. Dok. 21. S. 125. Не приходится удивляться, что еврейская общественность России очень внимательно следила за этим конфликтом. См., например: *Гартглас А., Давидсон А., Жаботинский В., Кирирот Я.* Поляки и Евреи. СПб., 1913. Прежде всего с. 52–81 и 82–95.

Blobaum R. E. Introduction // *Blobaum R. E.* (ed.). *Antisemitism and Its Opponents*. P. 6–7.

AGA. KGGW. Sygn. 6412. Kart. 3–3v.

О межвоенном периоде см.: *Pickhan G.* Kulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit. Jüdische Identitätskonstruktionen im Polen der Zwischenkriegszeit // Kampling R. (Hg.). «Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel» (Num. 24, 5). Beiträge zur Geschichte jüdisch-europäischer Kultur. Frankfurt am Main, 2009. S. 157–170; *Steffen K.* Jüdische Polonität. Ethnizität und Identität im Spiegel der polnischsprachigen jüdischen Presse 1918–1939. Göttingen, 2004.

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32, здесь kart. 16–17.

Рапорт обер-полицмейстера за 1912 год от 3 декабря 1913 года –
см.: *Kiepuska H., Pustula Z. Raporty Warszawskich Oberpolicmajstrów.*
Dok. 20. S. 119.

ГАРФ. Ф. 102. 4-е д-во (1912). Д. 310.

Рапорт обер-полицмейстера за 1913 год – см.: *Kiepurska H., Pustula Z. Raporty Warszawskich Oberpolicmajstrów. S. 125.*

Ochs M. Tsarist officialdom and anti-Jewish pogroms in Poland // Klier J. D., Lambroza S. (eds.). *Pogroms: anti-Jewish violence in modern Russian history*. Cambridge, N. Y., 1992. P. 164–189; AGAD. WKC. Sygn. 36. Kart. 187–191v.

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 26. Л. 116, 117.

См.: *Golczewski F.* Polnisch-jüdische Beziehungen. Прежде всего S. 86–89; *Löwe H.-D.* The Tsar and the Jews. Reform, Reaction, and Anti-Semitism in Imperial Russia, 1772–1917. Chur, 1993. P. 223–225.

Об этом же пишет Ханс Роггер: *Rogger H. The Jewish Policy of Late Tsarism. A Reappraisal* // Rogger H. (ed.). *Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia*. Berkeley, 1986. P. 25–39; *Weinberg R. The Pogrom of 1905 in Odessa*. Здесь p. 267–268.

AGAD. KGGW. Sygn. 6412. Kart. 1–6.

AGAD. PomGGW. Sygn. 1212. Kart. 86–89.

РГИА. Читальный зал. Оп. 1. Д. 69. Л. 119–121.

APW. T. 22 (Zarząd Oberpolicmajstra Warszawskiego). Sygn. 22.
Kart. 1.

РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 989. Л. 17–20.

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 21. Л. 279.

801

РГИА. Ф. 821. Оп. 128. Д. 989. Л. 50–56.

Таково было ретроспективное суждение помощника варшавского генерал-губернатора. См.: APW. T. 24 (WWO). Sygn. 261. Kart. 1–32.

Ibid. Kart. 1–32, прежде всего kart. 16–17.

Ibid. Sygn. 263. Kart. 1–6v.

См.: *Staliunas D.* Between Russification and Divide and Rule. P. 357–373.

См.: *Pistohlkors G. von.* «Russifizierung» in den baltischen Provinzen und in Finnland im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert // *Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung.* 1984. Bd. 33. S. 592–606. Прежде всего S. 416–435.

См.: *Balkelis T.* The Making of Modern Lithuania. London, 2009;
Hroch M. Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen
Völkern Europas. Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen
Entwicklung der patriotischen Gruppen. Prag, 1968.

AGAD. KGGW. Sygn. 9012. Kart. 110 [Программа Русского общества в Варшаве, август–сентябрь 1907 года]; Предвыборные известия Русского общества. 1907. 30 августа. № 1. С. 1.

См.: *Blobaum R. E.* Rewolucja. Прежде всего р. 131–133, 147–148, 155–156.

РГИА. Ф. 1284. Оп. 194 (1913). Д. 87. Л. 5.

Варшавский дневник. 1908. 21 октября. № 292. С. 2; AGAD.
KGGW. Sygn. 7739. Kart. 59.

AGAD. PomGGW. Sygn. 390.

Ibid. KGGW. Sygn. 6481. Kart. 2–38 ob., здесь kart. 5 и 30–30v. См. также: *Р. И.* Евреи в Привислянском крае. СПб., 1892; *В. Р.* [*Гурко В. И.*] Очерки Привислянья. М., 1897.

AGAD. KGGW. Sygn. 9068. Kart. 101, 146–155. К такому же выводу приходит и Т. Уикс: *Weeks T. R. Zwischen zwei Feinden. S. 19.*

APW. T. 24 (WWO). Sygn. 263. Kart. 1–6.

ГАРФ. Ф. 726. Оп. 1. Д. 21. Л. 100–101.

817

AGAD. KGGW. Sygn. 5076. Kart. 1–3v.

Эвакуации подлежали в числе прочих такие учреждения, как Варшавский университет. См.: *Данилов А. Г.* Университет. Варшава – Ростов-на-Дону (1915–1917 годы) // *Чесноков В. И.* (ред.). Российские университеты в XVIII–XX веках. 2000. С. 123–145.

Об этом см.: *Achmatowicz A.* Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915. Warszawa, 2003; *Mankoff J. A.* Russia and the Polish Question, 1907–1917. Nationality and Diplomacy. PhD Dis. Yale University. Yale, 2006. P. 151–167.

Holquist P. Violent Russia, Deadly Marxism?

О недавно возникшей дискуссии по поводу перехода от имперского принципа к национальному см. также: *Berger S., Miller A.* Introduction. Building Nations in and with Empires; общая работа: *Berger S., Miller A.* (eds). Nationalizing Empires.

Общую информацию об усилении русских националистов после 1909 года см. в кн.: *Hagen M.* Die Entfaltung politischer Öffentlichkeit in Rußland 1906–1914. Wiesbaden, 1982. Прежде всего S. 227–234; *Miller A.* The Empire and the Nation. P. 211–216.

Обзор экономического развития Царства Польского см. в таких работах, как: *Chwalba A.* Historia Polski; *Kieniewicz S.* Historia Polski 1795–1918. Warszawa, 1975; *Lukowski J., Zawadzki H.* A Concise History of Poland; *Wandycz P. S.* The Lands of Partitioned Poland. Прежде всего р. 197–207.

См.: *Baberowski J.* Kriege in staatsfernen Räumen. Rußland und die Sowjetunion 1905–1950 // Beyrau D., Hochgeschwender M., Langewiesche D. (Hg.). Formen des Krieges. Von der Antike bis zur Gegenwart. Paderborn, 2007. S. 291–309.

См.: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. P. 54–57;
Staliunas D. Making Russians. P. 57–70.

Примером может служить обер-прокурор Синода Победоносцев. См.: ГАРФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 94. Л. 57. Об Уварове более подробно см. в кн.: *Miller A. The Romanov Empire and Nationalism*. P. 139–160; *Riasanovsky N. V. Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855*. Berkeley, 1961.

См., в частности: *Engelstein L.* Slavophile Empire. Imperial Russia's Illiberal Path. Ithaca, 2009; *Walicki A.* The Slavophile Controversy.

См., в частности: *Bassin M.* Geographies of imperial identity // *Lieven D.* (ed.). *The Cambridge History of Russia*. P. 45–63; *Miller A.* The Empire and the Nation; *Idem.* The Romanov Empire and Nationalism [рус. изд.: *Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм. С. 147–170]; *Tolz V.* *Russia. Inventing the Nation*. London, 2001; *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia. P. 3–18.

См., в частности: *Miller A.* The Romanov Empire and Nationalism. Прежде всего р. 168–173; *Rodkiewicz W.* Russian Nationality Policy. P. 135–136, 159–162; *Weeks T. R.* Nation and State in Late Imperial Russia. P. 73.

Ср. критическое интервью, данное ведущим кандидатом от русских либералов в Варшаве Александром Погодиным газете «Слово». Оно было перепечатано в «Известиях Русского общества». (19.10.1907. № 7. С. 3).

[Анонимная публикация.] Политические итоги. С. 12–19.

См., например: *Будилович А. С.* Вопрос об окраинах России; *Евреинов Г. А.* Национальные вопросы на инородческих окраинах России. Схема политической программы. СПб., 1908.

Таким образом, не случайно ряд государственных деятелей, таких как Плеве или Столыпин, которые сыграли ведущую роль в переходе от имперского принципа к национальному, были родом из этих краев.

Прежде всего здесь следует вновь подчеркнуть роль Платона Кулаковского, участвовавшего в издании «Библиотеки окраин России», а также еженедельной газеты «Окраины России» и выпустившего много томов, посвященных приграничным районам. См., например: *Кулаковский П. А.* Русский русским. Вып. 1–5.

См.: *B. P.* [Гурко В. И.] Очерки Привислянья. Об этом см. также: *Rolf M.* Between State Building and Local Cooperation; *Idem.* What Is the «Russian Cause» and Whom Does It Serve? Russian Nationalists and Imperial Bureaucracy in the Kingdom of Poland.

См.: *Hagen M.* Die Entfaltung politischer Öffentlichkeit. S. 88, 227–234.

AGAD. KGGW. Sygn. 9012. Kart. 114–114v.

См. прежде всего: *Chakrabarty D.* Provincializing Europe.

См., в частности: *Staliunas D.* Between Russification and Divide and Rule.

Влияние же, которым обладали поляки в кругах русских либералов, было скорее ограниченным. Отдельные заметные деятели в Петербурге, такие как Эразм Пильц, Влодзимеж (в русском обиходе – Владимир Данилович) Спасович или Александр Ледницкий, поддерживали связи с кадетами; ключевую роль в польско-русской коммуникации играл прежде всего Ледницкий. Однако националистическая, антилиберальная и антисемитская позиция Дмовского и его национал-демократов в Думе быстро оказала на русских либералов, озабоченных «польским вопросом», отрезвляющее действие. Об этом см.: *Горизонтов Л. Е.* Парадоксы имперской политики. С. 35–118.

[Анонимная публикация.] Политические итоги. С. 12.

См., в частности: *Hall C.* Civilising Subjects; *Lambert D., Lester A.* Introduction. Imperial Spaces, Imperial Subjects // *Lambert D., Lester A.* (eds). *Colonial Lives Across the British Empire. Imperial Careering in the Long Nineteenth Century.* Cambridge, 2006. P. 1–31; *Stoler A. L., Cooper F.* Tensions of Empire; *Wilson K.* Introduction. Histories, empires, modernities.

Об этом см., в частности: *Binder H.* Galizien in Wien; *Buchen T.* Religiöse Mobilisierung im Reich. Die imperialen Lebensläufe und politischen Karrieren von Joseph Bloch und Stanisław Stojalowski in der Habsburgermonarchie // *Geschichte und Gesellschaft*. 2014. Bd. 40. H. 1. S. 117–141.

См., в частности: *Boyer J. W.* Karl Lueger. Christlichsoziale Politik als Beruf. Köln, 2010; *Miller A.* Galicia after the Ausgleich. Polish-Ruthenian Conflict and the Attempts of Reconciliation // Central European University History Department Yearbook. 1993. P. 135–143; *Treichler M.* «Polnisches Piemont»? Die Autonomie Galiziens innerhalb Cisleithaniens und das polnisch-ruthenische Verhältnis in Galizien. München, 2007.

Об этом см. более подробно: *Grandits H., Judson P., Rolf M.* Empires and Nations.

См.: *Brauneder W.* Parlamentarismus und Parteiensysteme in der Österreichisch-Cisleithanischen Reichshälfte 1867–1918 // Erdödy G. (Hg.). Das Parteienwesen Österreich-Ungarns. Budapest, 1983; *Hanisch E.* Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Wien, 1994. S. 209–241; *Wandruszka A.* Ein vorbildlicher Rechtsstaat? // Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Wien, 1975. P. IX–XVIII.

См., в частности: *Judson P. M.* Introduction // Judson P. M., Rozenblit M. L. (eds). *Constructing Nationalities in East Central Europe*. New York, 2004. P. 1–18; *Stachel P.* Ein Staat, der an einem Sprachfehler zugrunde ging. Die «Vielsprachigkeit» des Habsburgerreiches und ihre Auswirkungen // Feichtinger J., Stachel P. (Hg.). *Das Gewebe der Kultur. Kulturwissenschaftliche Analysen zur Geschichte und Identität Österreichs in der Moderne*. Innsbruck, 2001. S. 11–46.

См.: *Deák I.* Der K. (u.) K. Offizier 1848–1918. Wien, 1991; *Marin I.* Reforming the Better to Preserve. A K. u. K. General's Views on Hungarian Politics // Buchen T., Rolf M. (Hg.). Eliten im Vielvölkerreich. S. 155–177.

Döblin A. Reise in Polen. München, 2000. S. 16.

Ibid. S. 16–17.

Более подробную библиографию, в которой полнее учтена литература на английском, немецком и польском языках, см. на сайте: <https://uol.de/geschichte/geschichte-europas-der-neuzeit-mit-schwerpunkt-osteuropa/forschungsschwerpunkte/imperiale-herrschaft-im-weichselland/imperiale-herrschaft-im-koenigreich-polen-materialien/> (короткая ссылка: <https://bit.ly/2RX90ZA>). Отсылаю читателя также к исходной немецкой публикации, где более пространно цитируется немецко— и англоязычная исследовательская литература, а в приложении даны подробные указатели имен и опубликованных источников: *Rolf M. Imperiale Herrschaft im Weichselland. Das Königreich Polen im Russischen Imperium (1864–1915)*. München, 2015.